

П

ВИКТОР ПЕЛЕВИН



Мегапроект «Антология сатиры и юмора России XX века» — первая попытка собрать воедино творения лучших сатириков и юмористов уходящего столетия.

Внимание: книга содержит нецензурную лексику!

- -
 -
 - [GENERATION P](#)
 - [Памяти среднего класса](#)
 -
 - [Поколение «П»](#)
 - [Драфт Подиум](#)
 - [Тихамат-2](#)
 - [Три загадки Иштар](#)
 - [Бедные люди](#)
 - [Путь к себе](#)
 - [Номо sapiens](#)
 - [Тихая гавань](#)
 - [Вавилонская марка](#)
 - [Вовчик Малой](#)
 - [Институт пчеловодства](#)
 - [Облако в штанах](#)
 - [Исламский фактор](#)
 - [Критические дни](#)
 - [Золотая комната](#)
 -
 - [ОМОН РА](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [Стихотворения](#)
 - [* * *](#)
 - [ВЕЧНОЕ НЕВОЗВРАЩЕНИЕ](#)
 - [* * *](#)
 - [ЭЛЕГИЯ 2](#)
 - [ПАМЯТИ МАРКА АВРЕЛИЯ](#)

- ***
- ***

- _____

- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15

- ПРИНЦ ГОСПЛАНА

- Loading...
- Level 1
- Level 2
- Level 3
- Level 4
- Autoexec, bat — level 4
- Level 5
- Level 6
- Level 7
- Level 8
- Level 12
- Game paused
- Level 1

- ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ

- ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ

- ЗАТВОРНИК И ШЕСТИПАЛЬНЫЙ

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

- БУБЕН НИЖНЕГО МИРА

- НИЖНЯЯ ТУНДРА

- МАКЕДОНСКАЯ КРИТИКА

- TIME OUT

- ФОКУС-ГРУППА

- ОДИН ВОГ

- INFO

-

- notes

- 1

- [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
 - [26](#)
 - [27](#)
 - [28](#)
 - [29](#)
 - [30](#)
 - [31](#)
 - [32](#)
 - [33](#)
 - [34](#)
 - [35](#)
 - [36](#)
 - [37](#)
 - [38](#)
 - [39](#)
 - [40](#)
 - [41](#)
 - [42](#)
 - [43](#)
 - [44](#)
-

Антология Сатиры и Юмора России XX века



Антология Сатиры и Юмора России XX века

ВИКТОР ПЕЛЕВИН

МОСКВА «ЭКСМО» 2009

*

АНТОЛОГИЯ САТИРЫ И ЮМОРА РОССИИ XX ВЕКА

Виктор Пелевин

Серия основана в 2000 году

С июня 2003 г. за создание «Антологии Сатиры и Юмора России XX века» издательство «Эксмо» — лауреат премии международного фестиваля «Золотой Остап»

*

Редколлегия:

Аркадий Арканов, [Никита Богословский], Владимир Войнович,
Игорь Иргеньев, проф., доктор филолог, наук Владимир Новиков,
Лев Новоженев, Бенедикт Сарнов, Александр Ткаченко,
академик Вилен Федоров, Леонил Шкурович

Главный редактор, автор проекта *Юрий Кушак*

Дизайн обложки *Иван Величко, Ахмед Мусин*

© В. Пелевин, текст, 2009

© Ю. Н. Кушак, составление, 2009

© И. Величко, оформление обложки, 2009

© ООО «Издательство «Эксмо», 2009

GENERATION P

Все упоминаемые в тексте торговые марки являются собственностью их уважаемых владельцев, и все права сохранены. Название товаров и имена политиков не указывают на реально существующие рыночные продукты и относятся только к проекциям элементов торгово-политического информационного пространства, принудительно индуцированным с качестве объектов индивидуального ума.

Автор просит воспринимать их исключительно в этом качестве. Остальные совпадения случайны. Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.

*I'm sentimental, if you know what I mean;
I love the country but I can't stand the scene.
And I'm neither left or right.
I'm Just staying home tonight,
getting lost in that hopeless little screen^[1].*

Leonard Cohen

России жило беспечальное юное поколение, которое улыбнулось лету, морю и солнцу — и выбрало «Пепси».

Сейчас уже трудно установить, почему это произошло. Наверно, дело было не только в замечательных вкусовых качествах этого напитка. И не в кофеине, который заставляет ребятшек постоянно требовать новой дозы, с детства надежно вводя их в кокаиновый фарватер. И даже не в банальной взятке — хочется верить, что партийный бюрократ, от которого зависело заключение контракта, просто взял и полюбил эту темную пузырящуюся жидкость всеми порами своей разуверившейся в коммунизме души.

Скорей всего, причина была в том, что идеологи СССР считали, что истина бывает только одна. Поэтому у поколения «П» на самом деле не было никакого выбора, и дети советских семидесятых выбирали «Пепси» точно так же, как их родители выбирали Брежнева.

Как бы там ни было, эти дети, лежа летом на морском берегу, подолгу глядели на безоблачный синий горизонт, пили теплую пепси-колу, разлитую в стеклянные бутылки в городе Новороссийске, и мечтали о том, что когда-нибудь далекий запрещенный мир с той стороны моря войдет в их жизнь.

Прошло десять лет, и этот мир стал входить — сначала осторожно и с вежливой улыбкой, а потом все уверенней и смелее. Одной из его визитных карточек оказался клип, рекламирующий «Пепси-колу», — клип, который, как отмечали многие исследователи, стал поворотной точкой в развитии всей мировой культуры. В нем сравнивались две обезьяны. Одна из них пила «обычную колу» и в результате оказалась способна выполнять некоторые простейшие логические действия с кубиками и палочками. Другая пила пепси-колу. Весело ухая, она отъезжала в направлении моря на джипе в обнимку с девицами, которые явно чихать хотели на женское равноправие (когда приходится тесно общаться с обезьянами, лучше просто не думать о подобных вещах, потому что равноправие и неравноправие будут одинаково тяжелы для души).

Если вдуматься, уже тогда можно было понять, что дело не в пепси-коле, а в деньгах, с которыми она прямо связывалась. К этому выводу приводили, во-первых, классическая фрейдистская ассоциация, обусловленная цветом продукта; во-вторых, логическое умозаключение — поглощение пепси-колы позволяет приобретать дорогие машины. Но мы не собираемся глубоко анализировать этот клип (хотя, может быть, именно здесь нашлось бы объяснение того, почему так называемые шестидесятники упорно называют поколение «П» говнососами). Для нас важно только то, что окончательным символом поколения «П» стала обезьяна на джипе.

Немного обидно было узнать, как именно ребята из рекламных агентств на Мэдисон-авеню представляют себе свою аудиторию, так называемую target group. Но трудно было не поразиться их глубокому знанию жизни. Именно этот клип дал понять большому количеству прозябавших в России обезьян, что настала пора пересаживаться в джипы и входить к дочерям человеческим.

Глупо искать здесь следы антирусского заговора. Антирусский заговор, безусловно, существует — проблема только в том, что в нем участвует все взрослое население России. Так что «Пепси-кола» здесь совершенно ни при чем. Случившееся было частью всемирного

процесса, отраженного во множестве книг (достаточно вспомнить «Ожидание обезьян» Андрея Битова или «Бразаавильский пляж» Вильяма Бойда). Не обошел этот процесс и Америку, хотя там все произошло совсем иначе — «Кока-кола» полностью, окончательно и необратимо вытеснила «Пепси-колу!» с красного цветового поля, что для понимающего человека равнозначно победе при Ватерлоо. Это было связано с деятельностью религиозных правых, которые очень сильны в Соединенных Штатах. Они не признают эволюции; «Кока-кола» лучше вписывается в их картину мира, потому что пьющая ее обезьяна так и остается обезьяной. Впрочем, мы слишком долго говорим об обезьянах — а собирались ведь искать человека.

Вавилен Татарский родился задолго до этой исторической победы красного над красным. Поэтому он автоматически попал в поколение «П», хотя долгое время не имел об этом никакого понятия. Если бы в те далекие годы ему сказали, что он, когда вырастет, станет копирайтером, он бы, наверно, выронил от изумления бутылку «Пепси-колы» прямо на горячую гальку пионерского пляжа. В те далекие дни детям положено было стремиться к сияющему шлему пожарного или белому халату врача. Даже мирное слово «дизайнер» казалось сомнительным неологизмом, прижившимся в великом русском языке по лингвистическому лимиту, до первого серьезного обострения международной обстановки.

Но в те дни в языке и в жизни вообще было очень много сомнительного и странного. Взять хотя бы само имя «Вавилен», которым Татарского наградила отец, соединявший в своей душе веру в коммунизм и идеалы шестидесятничества. Оно было составлено из слов «Василий Аксенов» и «Владимир Ильич Ленин». Отец Татарского, видимо, легко мог представить себе верного ленинца, благодарно постигающего над вольной аксеновской страницей, что марксизм изначально стоял за свободную любовь, или помешанного на джазе эстета, которого особо протяжная рулада саксофона заставит вдруг понять, что коммунизм победит. Но таков был не только отец Татарского, — таким было все советское поколение пятидесятых и шестидесятых, подарившее миру самодеятельную песню и кончившее в черную пустоту космоса первым спутником — четыреххвостым сперматозоидом так и не наставшего будущего.

Татарский очень стеснялся своего имени, представляясь по возможности Вовой. Потом он стал врать друзьям, что отец назвал его так потому, что увлекался восточной мистикой и имел в виду древний город Вавилон, тайную доктрину которого ему, Вавилену, предстоит унаследовать. А сплав Аксенова с Лениным отец создал потому, что был последователем манихейства и натурфилософии и считал себя обязанным уравновесить светлое начало темным. Несмотря на эту блестящую разработку, в возрасте восемнадцати лет Татарский с удовольствием потерял свой первый паспорт, а второй получил уже на Владимира.

После этого его жизнь складывалась самым обычным образом. Он поступил в технический институт — не потому, понятное дело, что любил технику (его специальностью были какие-то электроплавильные печи), а потому что не хотел идти в армию. Но в двадцать один год с ним случилось нечто, решившее его дальнейшую судьбу.

Летом, в деревне, он прочитал маленький томик Бориса Пастернака. Стихи, к которым он раньше не питал никакой склонности, до такой степени потрясли его, что несколько недель он не мог думать ни о чем другом, а потом начал писать их сам. Он навсегда запомнил ржавый каркас автобуса, косо вросший в землю на опушке подмосковного леса. Возле этого каркаса ему в голову пришла первая в жизни строка — «Сардины облаков

плывут на юг» (впоследствии он стал находить, что от этого стихотворения пахнет рыбой). Словом, случай был совершенно типичным и типично закончился — Татарский поступил в Литературный институт. Правда, на отделение поэзии он не прошел — пришлось довольствоваться переводами с языков народов СССР. Татарский представлял себе свое будущее примерно так: днем — пустая аудитория в Литинституте, подстрочник с узбекского или киргизского, который нужно зарифмовать к очередной дате, а по вечерам — труды для вечности.

Потом незаметно произошло одно существенное для его будущего событие. СССР, который начали обновлять и улучшать примерно тогда же, когда Татарский решил сменить профессию, улучшился настолько, что перестал существовать (если государство способно попасть в nirvanу, это был как раз такой случай). Поэтому ни о каких переводах с языков народов СССР больше не могло быть и речи. Это был удар, но его Татарский перенес. Оставалась работа для вечности, и этого было довольно.

И тут случилось непредвиденное. С вечностью, которой Татарский решил посвятить свои труды и дни, тоже стало что-то происходить. Этого Татарский не мог понять совершенно. Ведь вечность — так, во всяком случае, он всегда думал — была чем-то неизменным, неразрушимым и никак не зависящим от скоротечных земных раскладов. Если, например, маленький томик Пастернака, который изменил его жизнь, уже попал в эту вечность, то не было никакой силы, способной его оттуда выкинуть.

Оказалось, что это не совсем так. Оказалось, что вечность существовала только до тех пор, пока Татарский искренне в нее верил, и нигде за пределами этой веры ее, в сущности, не было. Для того чтобы искренне верить в вечность, надо было, чтобы эту веру разделяли другие, — потому что вера, которую не разделяет никто, называется шизофренией. А с другими — в том числе и теми, кто учил Татарского держать равнение на вечность, — начало твориться что-то странное.

Не то чтобы они изменили свои прежние взгляды, нет. Само пространство, куда были направлены эти прежние взгляды (взгляд ведь всегда куда-то направлен), стало сворачиваться и исчезать, пока от него не осталось только микроскопическое пятнышко на ветровом стекле ума. Вокруг замелькали совсем другие ландшафты.

Татарский пробовал бороться, делая вид, что ничего на самом деле не происходит. Сначала это получалось. Тесно общаясь с другими людьми, которые тоже делали вид, что ничего не происходит, можно было на некоторое время в это поверить. Конец наступил неожиданно.

Однажды во время прогулки Татарский остановился у закрытого на обед обувного магазина. За его витриной оплывала в летнем зное толстая миловидная продавщица, которую Татарский почему-то сразу назвал про себя Манькой, а среди развала разноцветных турецких подделок стояла пара обуви несомненно отечественного производства.

Татарский испытал чувство мгновенного и пронзительного узнавания. Это были остроносые ботинки на высоких каблуках, сделанные из хорошей кожи. Желто-рыжего цвета, простроченные голубой ниткой и украшенные большими золотыми пряжками в виде арф, они не были просто безвкусными или пошлыми. Они явственно воплощали в себе то, что один пьяненький преподаватель советской литературы из Литинститута называл «наш гештальт», и это было так жалко, смешно и трогательно (особенно пряжки-арфы), что у Татарского на глаза навернулись слезы. На ботинках лежал густой слой пыли — они были явно не востребованы эпохой.

Татарский знал, что тоже не востребован эпохой, но успел сжиться с этим знанием и даже находил в нем какую-то горькую сладость. Оно расшифровывалось для него словами Марины Цветаевой: «Разбросанным в пыли по магазинам (Где их никто не брал и не берет!), Моим стихам, как драгоценным винам, Настанет свой черед». Если в этом чувстве и было что-то унижительное, то не для него — скорее для окружающего мира. Но, замерев перед витриной, он вдруг понял, что пылится под этим небом не как сосуд с драгоценным вином, а именно как ботинки с пряжками-арфами. Кроме того, он понял еще одно: вечность. в которую он раньше верил, могла существовать только на государственных дотациях — или, что то же самое, как нечто запрещенное государством. Больше того, существовать она могла только в качестве полусознанного воспоминания какой-нибудь Маньки из обувного. А ей, точно так же, как ему самому, эту сомнительную вечность просто вставляли в голову в одном контейнере с природоведением и неорганической химией. Вечность была произвольной — если бы, скажем, не Сталин убил Троцкого, а наоборот, ее населяли бы совсем другие лица. Но даже это было неважно, потому что Татарский ясно понимал: при любом раскладе Маньке просто не до вечности, и, когда она окончательно перестанет в нее верить, никакой вечности больше не будет, потому что где ей тогда быть? Или. как он записал в свою книжечку, придя домой:

«Когда исчезает субъект вечности, то исчезают и все ее объекты. — а единственным субъектом вечности является тот, кто хоть изредка про нее вспоминает».

Больше он не писал стихов: с гибелью советской власти они потеряли смысл и ценность. Последние строки, созданные им сразу после этого события, были навеяны песней группы «ДДТ» («Что такое осень — это листья...») и аллюзиями из позднего Достоевского, Кончалось стихотворение так:

Что такое вечность — это банька,
Вечность — это банька с пауками.
Если эту баньку
Позабудет Манька,
Что же будет с Родиной и с нами?

Как только вечность исчезла, Татарский оказался в настоящем. Выяснилось, что он совершенно ничего не знает про мир, который успел возникнуть вокруг за несколько последних лет.

Этот мир был очень странным. Внешне он изменился мало — разве что на улицах стало больше нищих, а всё вокруг — дома, деревья, скамейки на улицах — вдруг как-то сразу постарело и опустилось. Сказать, что мир стал иным по своей сущности, тоже было нельзя, потому что никакой сущности у него теперь не было. Во всем царила страшноватая неопределенность. Несмотря на это, по улицам неслись потоки «мерседесов» и «тойот», в которых сидели абсолютно уверенные в себе и происходящем крепыши, и даже была, если верить газетам, какая-то внешняя политика.

По телевизору между тем показывали те же самые хари, от которых всех тошнило последние двадцать лет. Теперь они говорили точь-в-точь то самое, за что раньше сажали других, только были гораздо смелее, тверже и радикальнее. Татарский часто представлял себе Германию сорок шестого года, где доктор Геббельс истерически орет по радио о пропасти, в которую фашизм увлек нацию, бывший комендант Освенцима возглавляет комиссию по отлову нацистских преступников, генералы СС просто и доходчиво говорят о либеральных ценностях, а возглавляет всю лавочку прозревший наконец гауляйтер Восточной Пруссии. Татарский, конечно, ненавидел советскую власть в большинстве ее проявлений, но все же ему было непонятно — стоило ли менять империю зла на банановую республику зла, которая импортирует бананы из Финляндии.

Впрочем, Татарский никогда не был большим моралистом, поэтому его занимала не столько оценка происходящего, сколько проблема выживания. Никаких связей, которые могли бы ему помочь, у него не было, поэтому он подошел к делу самым простым образом — устроился продавцом в коммерческий ларек недалеко от дома.

Работа была простой, но нервной. В ларьке было полутемно и прохладно, как в танке; с миром его соединяло крохотное окошко, сквозь которое еле можно было просунуть бутылку шампанского. От возможных неприятностей Татарского защищала решетка из толстых прутьев, грубо приваренная к стенам. По вечерам он сдавал выручку пожилому чечену с тяжелым золотым перстнем: иногда даже удавалось выкроить кое-что поверх зарплаты. Время от времени к ларьку подходили начинающие бандиты и ломающимися голосами требовали денег за свою крышу. Татарский устало отсылал их к Гусейну. Гусейн был худеньким невысоким парнем с постоянно маслянистыми от опиатов глазами; обычно он лежал на матрасе в полупустом вагончике, которым кончалась шеренга ларьков, и слушал суфийскую музыку. Кроме матраса, в вагончике были стол и несгораемый шкаф, в котором лежало много денег и стояла замысловатая модель автомата Калашникова с подствольным гранатометом.

Работая в ларьке (продолжалось это чуть меньше года), Татарский приобрел два новых качества. Первым был цинизм, бескрайний, как вид с Останкинской телебашни. Второе качество было удивительным и труднообъяснимым. Татарскому достаточно было коротко глянуть на руки клиента, чтобы понять, можно ли его обсчитать и на сколько именно, можно ли ему нахамить или нет, вероятно ли получить фальшивую банкноту и можно ли самому сунуть такую банкноту вместе со сдачей. Здесь не существовало никакой

четкой системы. Иногда в окошке появлялся кулак, похожий на волосатую дыню, но было ясно, что его обладателя можно смело посылать во все шесть направлений. А иногда сердце Татарского тревожно замирало при виде узкой женской ладони с наманикюренными ногтями.

Однажды у Татарского спросили пачку «Давидофф». Рука, положившая смятую стотысячную купюру на прилавок, была малоинтересной. Татарский отметил тонкую, еле заметную дрожь пальцев, посмотрел на аккуратно опиленные ногти и понял, что клиент злоупотребляет стимуляторами. Это вполне мог быть, например, бандит средней руки или бизнесмен — или, как чаще всего бывало, нечто среднее.

— Какой «Давидофф»? Простой или облегченный? — спросил Татарский.

— Облегченный, — ответил клиент, наклонился и заглянул в окошко.

Татарский вздрогнул — перед ним стоял его однокурсник по Литинституту Сергей Морковин. Когда-то он был одной из самых ярких личностей на курсе и сильно косил под Маяковского — носил желтый свитер и писал эпатазирующие стихи («Мой стих, членораздельный, как топор...» или «О, Лица Крика! О, Мата Хари!»). Он почти не изменился, только в волосах появился аккуратный пробор, а в проборе — несколько седых волос.

— Вова? — спросил Морковин удивленно. — Что ты тут делаешь?

Татарский не нашелся, что ответить.

— Понятно, — сказал Морковин. — А ну-ка пойдем отсюда к черту.

После недолгих уговоров Татарский закрыл палатку на ключ и, боязливо косясь на вагончик Гусейна, пошел вслед за Морковиным к его машине. Они поехали в дорогой китайский ресторан «Храм Луны», поужинали, сильно выпили, и Морковин рассказал, чем он в последнее время занимался. А занимался он рекламой.

— Вова, — говорил он, хватая Татарского за руку и сверкая глазами, — сейчас особое время. Такого никогда раньше не было и никогда потом не будет. Лихорадка, как на Клондайке. Через два года все уже будет схвачено. А сейчас есть реальная возможность вписаться в эту систему, придя прямо с улицы. Ты чего, в Нью-Йорке полжизни кладут, чтобы только с правильными людьми встретиться за обедом, а у нас...

Многого из того, что говорил Морковин, Татарский просто не понимал. Единственное, что он четко уяснил из разговора, — это схему функционирования бизнеса эпохи первоначального накопления и его взаимоотношения с рекламой.

— В целом, — говорил Морковин, — происходит это примерно так. Человек берет кредит. На этот кредит он снимает офис, покупает джип «Чероки» и восемь ящиков «Смирновской». Когда «Смирновская» кончается, выясняется, что джип разбит, офис заблеван, а кредит надо отдавать. Тогда берется второй кредит — в три раза больше первого. Из него гасится первый кредит, покупается джип «Гранд Чероки» и шестнадцать ящиков «Абсолюта». Когда «Абсолют»...

— Я понял. — перебил Татарский. — А что в конце?

— Два варианта. Если банк, которому человек должен, бандитский, то его в какой-то момент убивают. Поскольку других банков у нас нет, так обычно и происходит. Если человек, наоборот, сам бандит, то последний кредит перекидывается на Государственный банк, а человек объявляет себя банкротом. К нему в офис приходят судебные исполнители, описывают пустые бутылки и заблеванный факс, а он через некоторое время начинает все сначала. Правда, у Госбанка сейчас появились свои бандиты, так что ситуация чуть сложнее,

но в целом картина не изменилась.

— Ага, — задумчиво сказал Татарский. — Но я не понял, какое отношение все это имеет к рекламе.

— Вот здесь и начинается самое главное. Когда примерно половина «Смирновской» или «Абсолюта» еще не выпита, джип еще ездит, а смерть кажется далекой и абстрактной, в голове у человека, который все это заварил, происходит своеобразная химическая реакция. В нем просыпается чувство безграничного величия, и он заказывает себе рекламный клип. Причем он требует, чтобы этот клип был круче, чем у других идиотов. По деньгам на это уходит примерно треть каждого кредита. Психологически все понятно. Открыл человек какое-нибудь малое предприятие «Эверест», и так ему хочется увидеть свой логотипчик по первому каналу, где-нибудь между «БМВ» и «Кока-колой», что хоть в петлю. Так вот, в момент, когда в голове у клиента происходит эта реакция, из кустов появляемся мы.

Татарскому было очень приятно услышать это «мы».

— Ситуация выглядит так, — продолжал Морковин. — Есть несколько студий, которые делают ролики. Им позарез нужны толковые сценаристы, потому что от сценариста сейчас зависит все. Работа заключается в следующем — люди со студии находят клиента, который хочет показать себя по телевизору. Ты на него смотришь. Он что-то говорит. Ты его выслушиваешь. Потом ты пишешь сценарий. Он обычно размером в страницу, потому что клипы короткие. Это может занять у тебя две минуты, но ты приходишь к нему не раньше чем через неделю, — он должен считать, что все это время ты бегал по комнате, держась руками за голову, и думал, думал, думал. Он читает то, что ты написал, и в зависимости от того, нравится ему сценарий или нет, заказывает ролик твоим людям или обращается к другим. Поэтому для студии, с которой ты работаешь, ты самый важный персонаж. От тебя зависит заказ. И если тебе удастся загипнотизировать клиента, ты берешь десять процентов от общей стоимости ролика.

— А сколько стоит ролик?

— Обычно от пятнадцати до тридцати. В среднем считаем, что двадцать.

— Чего? — недоверчиво спросил Татарский.

— Господи, ну не рублей же. Тысяч долларов.

Татарский за долю секунды сосчитал, сколько будет десять процентов от двадцати тысяч, сглотнул и по-собачьи посмотрел на Морковина.

— Это, конечно, ненадолго, — сказал Морковин. — Пройдет год или два, и все будет выглядеть иначе. Вместо всякой пузатой мелочи, которая кредитруется по пустякам, люди будут брать миллионы баксов. Вместо джипов, которые бьют о фонари, будут замки во Франции и острова в Тихом океане. Вместо вольных стрелков будут серьезные конторы. Но суть происходящего в этой стране всегда будет той же самой. Поэтому и принцип нашей работы не изменится никогда.

— Господи, — сказал Татарский, — такие деньги... Как-то даже боязно.

— Вечный вопрос, — засмеялся Морковин. — Тварь ли я дрожащая или право имею?

— Ты, похоже, на него ответил.

— Да. — сказал Морковин, — было дело.

— И как же?

— А очень просто. Тварь дрожащая, у которой есть неотъемлемые права. И лэвэ тоже. Кстати, может, тебе одолжить, а? У тебя вид какой-то запущенный. Отдашь, когда раскрутишься.

— Спасибо, у меня пока есть, — сказал Татарский. — А ты не знаешь случайно, откуда это слово взялось — «лэвэ»? Мои чечены говорят, что его и на Аравийском полуострове понимают. Даже в английском что-то похожее есть...

— Случайно знаю, — ответил Морковин. — Это от латинских букв «L» и «V». Аббревиатура liberal values^[2]

На следующий день Морковин отвел Татарского в довольно странное место. Оно называлось «Драфт Подиум» (после нескольких минут напряженной умственной работы Татарский оставил попытки понять, что это означает). Помещался «Драфт Подиум» в подвале старого кирпичного дома недалеко от центра. Туда вела тяжелая стальная дверь, за которой оказалось небольшое помещение, плотно заставленное техникой. Там Татарского ждало несколько молодых людей. Главным был небритый парень по имени Сергей, похожий на Дракулу в юности. Он объяснил Татарскому, что небольшой кубический ящик из синей пластмассы, стоящий на пустой картонной коробке, — это компьютер «Силикон Графике», который стоит черт знает сколько, а программа «Софт Имаж», которая на нем установлена, стоит в два раза больше. «Силикон» был главным сокровищем этой подземной пещеры. Еще в комнате было несколько компьютеров попроще, сканеры и какой-то сложный видеоманитофон со множеством индикаторов. На Татарского большое впечатление произвела одна деталь — на видеоманитоне было круглое колесико с рукояткой, вроде тех, что бывают на швейных машинках, и с его помощью можно было вручную прокручивать кадры.

На примете у «Драфт Подиума» был один очень перспективный клиент.

— Объекту примерно пятьдесят лет, — затягиваясь ментоловой сигаретой, говорил Сергей. — Раньше работал учителем физики. Когда бардак только начинался, организовал кооператив по выпечке тортиков «Птичье молоко» и за два года сделал такие деньги, что сейчас снял в аренду целый кондитерский комбинат в Лефортове. Недавно взял большой кредит. Позавчера у него начался запой, а запои у него примерно по две недели.

— Откуда такие сведения? — поинтересовался Татарский.

— Секретарша, — сказал Сергей. — Так вот, брать его надо сейчас и нести сценарий, пока он не успел отойти. Когда он трезвый, его всегда жаба душит. У нас встреча завтра в час в его конторе.

На следующий день Морковин приехал к Татарскому домой рано. Он привез с собой большой полиэтиленовый пакет ярко-желтого цвета. В пакете был бордовый пиджак из материала, похожего на шинельное сукно. На его нагрудном кармане посверкивал сложный герб, напоминающий эмблему с пачки «Мальборо». Морковин сказал, что этот пиджак — клубный. Татарский не понял, но послушно надел. Еще Морковин достал из пакета пижонский блокнот в кожаной обложке, невероятно толстую ручку с надписью «Zoom» и пейджер — тогда они только появились в Москве.

— Эту штуку наденешь на пояс, — сказал он. — Вы встречаетесь с клиентом в час, а в час двадцать я тебе на этот пейджер позвоню. Когда он запищит, снимешь его с пояса и со значением на него посмотришь. Все время, пока клиент будет говорить, делай пометки в блокноте.

— Зачем все это? — любопытствовал Татарский.

— Неужели не ясно? Клиент платит большие деньги за лист бумаги и несколько капель чернил из принтера. Он должен быть абсолютно уверен, что перед ним деньги за это же

самое заплатило много других людей.

— По-моему, — сказал Татарский, — как раз из-за всех этих пиджаков и пейджеров у него могут возникнуть сомнения.

— Усложняешь, — махнул рукой Морковин. — Жизнь проще и глупее. И вот еще...

Он вынул из кармана узкий футляр, открыл его и протянул Татарскому. В футляре лежали тяжелые, краси-во-уродливые часы из золота и стали.

— Это «Ролекс Уйстер». Осторожней, не сбей позолоту — они фальшивые. Я их только на дело беру. Когда будешь говорить с клиентом, ты ими так, знаешь, побрякивай. Помогает.

Татарский был очень воодушевлен поддержкой. В половине первого он вышел из метро. Ребята из «Драфт Подиума» уже ждали его недалеко от входа. Приехали они на длинном черном «мерседесе». Татарский уже достаточно разобрался в бизнесе, чтобы понять, что машина нанята часа на два. Сергей был все так же небрит, но теперь в его небритости было что-то мрачно-стильное — наверно, из-за темного пиджака с невероятно узкими лацканами и бабочки. Рядом с ним сидела Лена, которая занималась контрактами и бухгалтерией. На ней было простое черное платье (ни украшений, ни косметики), а в руке она держала папку с золотым замочком. Когда Татарский влез в машину, все трое переглянулись, и Сергей сказал шоферу:

— Вперед.

Лена нервничала. Всю дорогу, приххатывая, она рассказывала про какого-то Азадовского — видимо, любовника своей подруги. Этот Азадовский вызывал у нее чувство, близкое к восхищению: приехав в Москву с Украины, он вселился к ее знакомой, прописался на ее площади, потом вызвал из Днепропетровска сестру с двумя детьми, прописал их там же и тут же, без всякой паузы, разменял квартиру через суд, отправив подругу в комнату в коммуналке.

— Этот человек далеко пойдет! — повторяла Лена.

Ее особенно впечатляло то, что сестра с детьми сразу же после этой операции была сослана назад в Днепропетровск; вообще, в рассказе присутствовали такие подробности, что под конец поездки Татарскому стало казаться, что он прожил половину жизни в квартире с Азадовским и его близкими. Впрочем, Татарский нервничал не меньше Лены.

Клиент (его имя так и осталось неизвестным) был удивительно похож на тот образ, который сложился в голове у Татарского после вчерашнего разговора. Это был короткий и плотный мужичок с хитрым лицом, на котором только начала рассасываться похмельная гримаса, — видимо, он выпил первый стакан незадолго до встречи.

После короткого обмена любезностями (говорила в основном Лена; Сергей сидел в углу, закинув ногу на ногу, и курил) Татарский был представлен в качестве сценариста. Сев за стол перед клиентом, он бухнул «Ролексом» о стол и раскрыл блокнот. Сразу же выяснилось, что клиенту сказать особо нечего. Без сильного галлюциногена было сложно вдохновиться деталями его бизнеса — он главным образом упирал на какие-то поддоны с фторовым покрытием, к которым ничего не прилипает. Слушая и чуть отворачивая лицо в сторону, Татарский кивал и ставил в блокноте бессмысленные закорючки. Краем глаза он осмотрел комнату — в ней тоже не было ничего интересного, если не считать голубой пыжиковой шапки, явно очень дорогой, которая лежала на верхней полке в пустом застекленном шкафу.

Как и было обещано, через несколько минут на поясе у него зазвонил пейджер. Татарский снял с ремня черный пластмассовый ящичек. В его окошке были слова: «Welcome to the route 666»^[3].

«Шутник, а?» — подумал Татарский.

— Это не из «Видео Интернешнл»? — спросил из угла Сергей.

— Нет, — ответил Татарский, принимая подачу. — Мне эти лохи, слава Богу, больше не звонят. Это Слава Зайцев, На сегодня все отменяется.

— Почему? — спросил Сергей, поднимая бровь. — Если он думает, что нам это нужнее, чем ему...

— Потом поговорим, — сказал Татарский. Клиент тем временем задумчиво и насупленно глядел на свою пыжиковую шапку в застекленном шкафу. Татарский посмотрел на его руки. Они были сцеплены замком, а большие пальцы быстро вращались друг вокруг друга, словно наматывая на себя невидимую нить. Это и был момент истины.

— А вы не боитесь, что все может кончиться? — спросил Татарский. — Ведь время сами знаете какое. Вдруг все рухнет?

Клиент поморщился и с недоумением поглядел сначала на Татарского, а потом на его спутников. Его пальцы перестали крутиться.

— Боюсь, — ответил он, поднимая глаза. — А кто не боится-то? Странные какие-то у вас вопросы.

— Извините, — сказал Татарский. — Это я так.

Минут через пять беседа кончилась. Сергей взял у клиента бланк с его логотипом — это был стилизованный пирожок в овале, под которым стояли буквы «ЛКК». Договорились о встрече через неделю; Сергей обещал, что к этому времени будет готов сценарий ролика и какие-то «раскадровка» и «баланс».

— У тебя что, крыша поехала? — спросил Сергей Татарского, когда они вышли на улицу. — Кто ж такие вопросы задает?

— Ничего, — сказал Татарский. — Зато теперь я знаю, чего он хочет.

«Мерседес» довез всех троих до ближайшего метро.

Вернувшись домой. Татарский за несколько часов написал сценарий. Уже давно он не чувствовал такого вдохновения. В сценарии не было конкретного сюжета — он состоял из чередования исторических реминисценций и метафор. Росла и рушилась Вавилонская башня, разливался Нил, горел Рим, скакали куда-то по степи бешеные гунны — а на заднем плане вращалась стрелка огромных прозрачных часов.

«Род приходит, и род уходит, — говорил глухой и демонический (Татарский так и написал в сценарии) голос за кадром, — а земля пребывает вовеки».

Но даже земля с развалинами империй и цивилизаций погружалась в конце концов в свинцовый океан; над его ревущей поверхностью оставалась одинокая скала, как бы рифмующаяся своей формой с Вавилонской башней, с которой начинался сценарий. Камера наезжала на скалу, и становился виден выбитый в камне пирожок с буквами «ЛКК», под которым был девиз, найденный Татарским в сборнике «Крылатые латинизмы»:

MEDIIS TEMPORIBUS PLACIDUS.

СПОКОЙНЫЙ СРЕДИ БУРЬ.

ЛЕФОРТОВСКИЙ КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ

В «Драфт Подиуме» к произведению Татарского отнеслись с ужасом.

— Технически это сделать несложно, — сказал Сергей. — Надрать видеоряда из старых фильмов, подкрасить, растянуть. Но ведь это полная шиза. Даже как-то смешно.

— Шиза, — согласился Татарский. — И смешно. Только ты скажи, чего ты хочешь?

Премии в Каннах получить или заказ?

Через пару дней Лена повезла клиенту несколько вариантов сценария, написанных другими людьми. В них были задействованы юный повар неясной сексуальной ориентации (предлагался классический сюжет с поручиком Ржевским и вишневой косточкой; слоган был «А повар ел пирожное с вишней»), черные «мерседесы», набитый долларами чемодан и прочие народные архетипы. Все это клиент отверг без объяснения причин. В отчаянии Лена показала сценарий, написанный Татарским.

В студию она вернулась с договором на тридцать пять тысяч, из которых двадцать выплачивалось авансом. Это был рекорд. По ее словам, прочитав сценарий, клиент повел себя как гаммельнская крыса, услышавшая целый духовой оркестр.

— Можно было сорок снять, — сказала она. — Я поздно поняла, дура.

Деньги пришли на счет через пять дней, и Татарский получил честно заработанные две тысячи. Сергей со своей командой уже собирался ехать в Ялту, чтобы снять подходящую скалу, на которой в последних кадрах должен был появиться высеченный в граните пирожок, когда клиента нашли мертвым в его офисе. Кто-то задушил его телефонным проводом. На теле нашли традиционные следы электроутога, а во рту — вдавленное безжалостной рукой пирожное «Ноктюрн» (пропитанный ликером бисквит, минорно-горький шоколад, чуть присыпанный трагическим инеем тертого кокоса).

«Род приходит, и род уходит, — философски подумал Татарский, — а своя рубашка к телу ближе».

Так Татарский стал копирайтером. Ни с кем из своего прежнего начальства он объясняться не стал, а просто положил ключи от ларька на крыльцо вагончика, где сидел Гусейн. Ходили слухи, что за выход из бизнеса чечены требуют больших отступных.

Довольно быстро он оброс новыми знакомствами и стал работать сразу на несколько студий. Такие прорывы, как со спокойным среди бурь Лефортовским кондитерским комбинатом, происходили, к сожалению, не особенно часто. Скоро Татарский понял, что, если один из десяти проектов кончается успешно, это уже большая удача. Денег он зарабатывал не особенно много, но все равно выходило больше, чем на ниве розничной торговли. Про свою первую рекламную работу он вспоминал с неудовольствием, находя в ней какую-то постыдно-поспешную готовность недорого продать все самое высокое в душе. А когда заказы пошли один за другим, он понял, что в бизнесе никогда не следует проявлять поспешности, иначе сильно сбавляешь цену, а это глупо: продавать самое святое и высокое надо как можно дороже, потому что потом торговать будет уже нечем. Впрочем, Татарский знал, что это правило распространяется не на всех. По-настоящему виртуозные мастера жанра, которых он видел иногда по телевизору, ухитрялись продавать самое высокое ежедневно, но таким образом, что не было никаких формальных поводов сказать, будто они что-то продали, и на следующий день они могли смело начинать всё заново. Как это достигалось. Татарский не мог даже представить.

Постепенно стала прослеживаться одна очень неприятная тенденция: заказчик получал разработанный Татарским проект, вежливо объяснял, что это не совсем то, что требуется, а через месяц или два Татарский натыкался на клип, явно сделанный по его идее. Искать правды в таких случаях было бесполезно.

Посоветовавшись с новыми знакомыми, Татарский попытался запрыгнуть ступенькой выше в рекламной иерархии и стал разрабатывать рекламные концепции. Эта работа мало

отличалась от прежней. Была одна волшебная книга, прочтя которую можно было уже никого не стесняться и ни в чем не сомневаться. Она называлась «Positioning: a battle for your mind»^[4], а написали ее два продвинутых американских колдуна. По своей сути она была совершенно неприменима в России. Насколько Татарский мог судить, никакого сражения между товарами за ниши в развороченных отечественных мозгах не происходило; ситуация больше напоминала дымящийся пейзаж после атомного взрыва. Но все же книга была полезной. Там было много шикарных выражений вроде line extention, которые можно было вставлять в концепции и базары. Татарский понял, чем эра застаивания империализма отличается от эпохи первоначального накопления капитала. На Западе заказчик рекламы и копирайтер вместе пытались промыть мозги потребителю, а в России задачей копирайтера было законопатить мозги заказчику. Кроме того, Татарский понял, что Морковин был прав и эта ситуация не изменится никогда. Покурив однажды очень хорошей травы, он случайно открыл основной экономический закон постсоциалистической формации: первоначальное накопление капитала является в ней также и окончательным.

Перед сном Татарский иногда перечитывал книгу о позиционировании. Он считал ее своей маленькой Библией: сравнение было тем более уместным, что в ней встречались отзвуки религиозных взглядов, которые особенно сильно действовали на его непорочную душу: «Романтические копирайтеры пятидесятых, уже перешедшие в огромное рекламное агентство на небесах...»

Предсказание Морковина стало сбываться — в рекламе оставалось все меньше и меньше работы для одиночек, и постепенно в карьере Татарского настала штилевая полоса. Работа уходила в агентства, которые имели в штате своих собственных копирайтеров и так называемых кри-эйторов. Эти агентства множились неудержимо — как грибы после дождя или, как Татарский написал в одной концепции, гробы после вождя.

А вождь наконец-то покидал насиженную Россию. Его статуи увозили за город на военных грузовиках (говорили, что какой-то полковник придумал переплавлять их на цветной металл и много заработал, пока не грохнули), но на смену приходила только серая страшноватость, в которой душа советского типа быстро догнивала и проваливалась внутрь самой себя. Газеты уверяли, что в этой страшноватости давно живет весь мир и оттого в нем так много вещей и денег, а понять это мешает только «советская ментальность».

Что такое «советская ментальность», или сакраментальный «совок». Татарский понимал не до конца, хотя пользовался этим выражением часто и с удовольствием. Но с точки зрения его нового нанимателя, Дмитрия Пугина, он и не должен был ничего понимать. Он должен был такой ментальностью обладать. Именно в этом и заключался смысл его занятия — приспособливать западные рекламные концепции под ментальность российского потребителя. Работа была free lance — Татарский переводил это выражение как «свободный копейщик», имея в виду прежде всего свою оплату.

Пугин, мужчина с черными усами и блестящими черными глазами, очень похожими на две пуговицы, нарисовался случайно, в гостях у общих знакомых. Узнав, что Татарский занимается рекламой, он проявил к нему умеренный интерес. А Татарский сразу преисполнился к Пугину иррациональным уважением — его поразило, что тот сидел за чаем прямо в длиннополном черном пальто.

Тогда-то и заговорили о советской ментальности. Пугин признался, что в былые дни обладал ею и сам, но начисто утратил ее, несколько лет проработав таксистом в Нью-Йорке. Соленые ветра Брайтон-Бич выдули из его головы затхлые советские конструкции и заразили неудержимой тягой к успеху.

— В Нью-Йорке особенно остро понимаешь, — сказал он Татарскому за водочкой, к которой перешли после чая, — что можно провести всю жизнь на какой-нибудь маленькой вонючей кухне, глядя в обосранный грязный двор и жуя дрянную котлету. Будешь вот так стоять у окна, глядеть на это говно и помойки, а жизнь незаметно пройдет.

— Интересно, — задумчиво отозвался Татарский, — а зачем для этого ехать в Нью-Йорк? Разве...

— А потому что в Нью-Йорке это понимаешь, а в Москве нет, — перебил Пугин. — Правильно, здесь этих вонючих кухонь и обосранных дворов гораздо больше. Но здесь ты ни за что не поймешь, что среди них пройдет вся твоя жизнь. До тех пор, пока она действительно не пройдет. И в этом, кстати, одна из главных особенностей советской ментальности.

Мнения Пугина были в чем-то спорными, но то, что он предлагал, было просто, понятно и логично. Насколько Татарский мог судить из глубин своей советской ментальности. Проект являлся просто хрестоматийным образцом американской предприимчивости.

— Смотри. — говорил Пугин, прищуренно глядя в пространство над головой

Татарского, — совок уже почти ничего не производит сам. А людям ведь надо что-то есть и носить? Значит, сюда скоро пойдут товары с Запада. А одновременно с этим хлынет волна рекламы. Но эту рекламу нельзя будет просто перевести с английского на русский, потому что здесь другие... как это... cultural references... Короче, рекламу надо будет срочно адаптировать для русского потребителя. Теперь смотри, что делаем мы с тобой. Мы с тобой берем и загодя — понимаешь? — загодя подготавливаем болванки для всех серьезных брэндов. А потом, как только наступает время, приходим с папочкой в представительство и делаем бизнес. Главное — вовремя обзавестись хорошими мозгами!

И Пугин хлопал ладонью по столу — он явно считал, что уже обзавелся ими. Но у Татарского возникло вялое чувство, что его опять дурят. Перспективы работы на Пугина прорисовывались смутно — хотя работа была вполне конкретной, было неясно, как и когда за нее будут платить.

В качестве пробного шара Пугин дал задание на разработку эскизной концепции для «Спрайта» — сначала он хотел дать еще и «Мальборо», но внезапно передумал, сказав, что Татарскому рано за это браться. Тут, как впоследствии понял Татарский, и проявилась советская ментальность, за которую он был востребован. Весь его скепсис в отношении Пугина мгновенно растаял от обиды, что тот не доверил ему «Мальборо». Но эта обида была смешана с радостью от того, что «Спрайт» ему все-таки остался, и, захваченный водоворотом этих чувств, он даже не задумался, почему это какой-то таксист с Брайтон-Бич, который не дал ему ни копейки денег, уже решает, можно ему думать о концепции для «Мальборо» или нет.

В проект для «Спрайта» Татарский вложил все свое понимание ушибленного исторического пути Родины. Перед тем как сесть за работу, он перечитал несколько избранных глав из книги «Positioning: a battle for your mind» и целую кучу газет разных направлений. Газет он не читал давно, и от прочитанного пришел в смятение. Это, конечно, сказалось на продукте.

Необходимо в первую очередь учитывать, — написал он в концепции. — что ситуация, которая сложилась к настоящему моменту в России, долго существовать не может.

В ближайшем будущем следует ожидать полной остановки большинства жизненно необходимых производств, финансового краха и серьезных социальных потрясений, что неизбежно закончится установлением военной диктатуры. Вне зависимости от своей политической и экономической программы будущая диктатура попытается обратиться к националистическим лозунгам; господствующей государственной эстетикой станет ложнославянский стиль. (Этот термин употребляется нами не в негативно-оценочном смысле. В отличие от славянского стиля, которого не существует в природе, ложнославянский стиль является разработанной и четкой парадигмой.) А в его знаково-символическом поле традиционная западная реклама немыслима. Поэтому она или будет запрещена полностью, или будет подвергаться жесткой цензуре. Это необходимо принимать во внимание при составлении сколько-нибудь долговременной стратегии.

Рассмотрим классический позиционный слоган «Sprite — the Uncola». Его использование в России представляется крайне целесообразным, но по несколько иным причинам, чем в Америке. Термин «Uncola» (то есть не-кола) крайне успешно позиционирует «Спрайт» против «Пепси-колы» и «Кока-колы», создавая особую нишу для этого продукта в сознании западного потребителя. Но, как известно, в странах Восточной Европы «Кока-кола» является скорее идеологическим фетишем, чем прохладительным напитком. Если, например, напитки «Херши» обладают устойчивым «вкусом победы», то «Кока-кола» обладает «вкусом свободы», как это было заявлено

в семидесятые и восьмидесятые годы целым рядом восточноевропейских перебежчиков. Поэтому для отечественного потребителя термин «Uncola» имеет широкие антидемократические и антилиберальные коннотации, что делает его крайне привлекательным и многообещающим в условиях военной диктатуры.

В переводе на русский «Uncola» будет «Не-кола». По своему звучанию (похоже на имя «Никола») и вызываемым ассоциациям это слово отлично вписывается в эстетику вероятного будущего. Возможные варианты слоганов:

СПРАЙТ. НЕ-КОЛА ДЛЯ НИКОЛЫ

(Имеет смысл подумать о введении в сознание потребителя «Никола Спрайтова» — персонажа наподобие Рональда Макдональда, только глубоко национального по духу.)

ПУСТЬ НЕТУ НИ КОЛА И НИ ДВОРА.

СПРАЙТ. НЕ-КОЛА ДЛЯ НИКОЛЫ

(Второй слоган нацелен на маргинальные группы.)

Кроме того, необходимо подумать об изменении оформления продукта, продаваемого на российском рынке. Здесь тоже необходимо ввести элементы ложнославянского стиля. Идеальным символом представляется березка. Было бы целесообразно поменять окраску банки с зеленой на белую в черных полосках наподобие ствола березы. Возможный текст в рекламном ролике:

«Я в весеннем лесу

Пил березовый Спрайт».

Прочитав принесенную Татарским распечатку, Пугин сказал:

— The Uncola — это слоган «Севен-Ап», а не «Спрайта».

После этого он некоторое время молчал, глядя на Татарского своими глазами-пуговицами. Татарский тоже молчал, вспоминая, сколько раз в жизни он уже бывал в таком идиотском положении.

— Но это ничего, — сжалился наконец Пугин. — Использовать можно. Если не для «Спрайта», так для «Севен-Ап» Так что можно считать, что экзамен ты сдал. Теперь попробуй какой-нибудь другой брэнд.

— А какой? — с облегчением спросил Татарский.

Пугин подумал, пошарил в карманах и протянул ему начатую пачку «Парламента».

— И еще плакат для них придумай, — сказал он.

С «Парламентом» все оказалось сложнее. Для начала Татарский написал обычное:

Совершенно ясно, что при составлении сколько-нибудь серьезной рекламной концепции следует прежде всего учитывать...

После этого он надолго замер. Что следовало прежде всего учитывать, было на самом деле совершенно неясно. Цртственной ассоциацией, которую с трудом выжимало из него слово «Парламент», были войны Кромвеля в Англии. То же самое, видимо, относилось к среднему российскому потребителю, читавшему в детстве Дюма. Полчаса Отдельного напряжения всех духовных сил привели только к рождению слогана-дегенерата:

Когда «Парламент» кончился, Татарский захотел курить. Он обыскал всю квартиру в поисках курева и нашел старую пачку «Явы». Сделав две затяжки, он бросил сигарету в унитаз и кинулся к столу. У него родился текст, который в первый момент показался ему решением:

PARLIAMENT — THE UNHVA

Но сразу же он вспомнил, что слоган должен быть на русском. После долгих мучений он записал:

ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?
ПАРЛАМЕНТ. НЕЯВА

Поняв, что это некачественная калька со слова *uncola*, он почти было сдался. И вдруг его осенило. Курсовая по истории, которую он писал в Литинституте, называлась «Краткий очерк истории парламентаризма в России». Он уже ничего из нее не помнил, но был совершенно уверен, что в ней хватит материала на три концепции, не то что на одну. Приплясывая от возбуждения, он направился по коридору ко встроенному шкафу, где хранились его старые бумаги.

Через полчаса поисков стало ясно, что курсовой он не найдет. Но было уже как-то не до нее — разбирая скопившиеся в стенном шкафу залежи, он нашел на антресольной полке несколько объектов, хранившихся там еще со школьных времен: изуродованный ударами туристского топорика бюст Ленина (Татарский вспомнил, что после экзекуции сам спрятал его в труднодоступном месте, опасаясь возмездия), тетрадь по обществоведению, заполненная рисунками танков и атомных взрывов, и несколько старых книг.

Все это переполнило его такой безысходной ностальгией, что работодатель Пугин вызвал в нем отвращение и ненависть, после чего подвергся полному вытеснению из сознания вместе со своим «Парламентом».

Найденные книги, как Татарский с нежностью вспомнил, были отобраны из макулатуры, которую их посылали собирать после уроков. Среди них были томик изданного в шестидесятые годы левого французского экзистенциалиста, прекрасно оформленный сборник статей по теоретической физике «Бесконечность и Вселенная» и папка-скоросшиватель с крупной надписью «Тихамат» на корешке.

Книгу «Бесконечность и Вселенная» Татарский помнил, а папку нет. Раскрыв ее, он прочел на первой странице:

ТИХАМАТ-2

Море земное.

Хронологические таблицы и примечания.

Бумаги, подшитые в папку, явно относились к предкомпьютерной эре. Татарский помнил кучу самиздатовских книг, которые ходили именно в таком формате — две уменьшенные вдвое машинописные страницы, отполированные на один лист. У него в руках было, судя по всему, приложение к диссертации по истории древнего мира. Татарский начал что-то вспоминать: кажется, в детстве он даже не открывал эту папку, а понял слово

«Тихамат» как некую разновидность сопромата пополам с истматом, настоящую на народной мудрости насчет того, что тише едешь — дальше будешь. А взял он этот труд исключительно из-за красивого скоросшивателя, после чего просто забыл про него.

Оказалось, однако, что «Тихамат» — то ли имя древнего божества, то ли название океана, то ли все это вместе. Татарский понял из сноски, что слово можно было примерно перевести на русский как «Хаос».

Большую часть места в папке занимали «таблицы царей». Они были довольно однообразны — в них перечислялись труднопроизносимые имена с римскими цифрами и сообщалось, кто и когда выступил в поход, заложил стену, взял город и так далее. В нескольких местах сравнивались разные источники, и из этого сравнения делался вывод, что несколько событий, вошедших в историю как последовательные, были на самом деле одним и тем же происшествием, так поразившим современников и потомков, что его эхо раздвоилось и растроилось, а потом каждое из них зажило своей жизнью. Автору это открытие, как следовало из его торжествующе-извиняющегося тона, явно представлялось революционным и даже иконоборческим, что заставило Татарского лишней раз задуматься о тщете всех человеческих трудов. Никакого потрясения от того, что Ашуретилшамерситубаллисту II оказался на самом деле Небухаданаззером III, он не испытал — неведомый историк со своим пафосом по этому поводу был немного смешон. Цари тоже были смешны: про них даже не было толком известно, люди они или ошибки переписчика глиняных табличек, и след от них остался только на этих самых табличках. Татарский, во всяком случае, никогда раньше про них не слышал; слово «Небухаданаззер» показалось ему отличным определением человека, который страдает без опохмелки.

Вслед за хронологическими таблицами шли статьи-примечания к неизвестному тексту — в папке было много вклеенных фотографий каких-то древностей. Вторая или третья по счету статья, на которую наткнулся Татарский, была озаглавлена:

ВАВИЛОН: ТРИ ХАЛДЕЙСКИЕ ЗАГАДКИ

Сквозь букву «О» в слове «Вавилон» проступала замазанная «Е» — это была просто исправленная опечатка, но Татарский при виде ее пришел в волнение. Данное при рождении и отвергнутое при совершеннолетию имя настигло его в тот момент, когда он совершенно забыл о той роли, которую, как он рассказывал друзьям в детстве, должны были сыграть в его судьбе тайные доктрины Вавилона.

Под заголовком был снимок оттиска печати — решетчатая дверь на вершине то ли горы, то ли ступенчатой пирамиды, возле которой стоял бородатый человек в юбке, с чем-то вроде пледа, перекинутого через плечо. Татарскому показалось, что человек держит за тонкие косы две отрубленных головы. Но у одной головы не было черт лица, а вторая весело улыбалась. Татарский прочел надпись под рисунком: «Халдей с маской и зеркалом на зиккурате». Сев на стопку вынутых из шкафа книг, он стал читать текст под фотографией.

Стр. 123. Зеркало и маска — ритуальные предметы Иштар. Каноническое изображение, наиболее полно выражающее сакральный символизм ее культа — Иштар в золотой маске, смотрящаяся в зеркало. Золото суть тело богини; его негативная проекция — свет звезд. Отсюда некоторыми исследователями делается предположение, что третьим ритуальным предметом богини является мухомор, шляпка которого является

природной картой звездного неба В этом случае именно мухомор следует считать» небесным грибом», упоминающимся в различных текстах. Это косвенно подтверждается деталями мифа о трех великих эрах — красного, синего и желтого неба Красный мухомор связывает халдея с прошлым: через него становится доступной мудрость и сила эры красного неба Коричневый мухомор («коричневый» и «желтый» по-аккадски обозначались одним словом), напротив, связывает с будущим, и через него возможно овладеть всей его неисчерпаемой энергией».

Перевернув наугад несколько страниц. Татарский опять наткнулся на слово «мухомор».

Стр. 145. Три халдейские загадки (Три загадки Иштар). Предание о трех халдейских загадках гласило, что мужем богини мог стать любой житель Вавилона. Для этого он должен был выпить особый напиток и взойти на ее зиккурат. Неизвестно, что имелось в виду: церемониальное восхождение на реальную постройку в Вавилоне или галлюцинаторный опыт. В пользу второго предположения говорит то, что напиток приготавливался по довольно экзотическому рецепту: в него входили» моча красного осла» (возможно, традиционная в древней алхимии киноварь) и небесные грибы» (видимо, мухомор — см. Зеркало и маска»).

По преданию, путь к богатству и совершенной мудрости (а вавилоняне не разделяли этих двух понятий — они скорее считались взаимно переходящими друг в друга и рассматривались как различные аспекты одного и того же) лежал через сексуальный союз с золотым идолом богини, который находился в верхней комнате зиккурата Считалось, что дух Иштар в определенные часы сходит на этого идола.

Чтобы быть пропущенным к идолу, необходимо было разгадать три загадки Иштар. Эти загадки до нас не дошли. Отметим спорную точку зрения Клода Греко (см. 11, 12), который полагает, что речь идет о наборе ритмизованных и весьма полисемантических из-за своей омонимичности заклинаний на древнеаккадском, найденных на раскопках в Ниневи.

Гораздо более убедительной, однако, представляется версия, основанная сразу на нескольких источниках: три загадки Иштар представляли собой три символических объекта которые вручались вавилонянину, пожелавшему стать халдеем. Он должен был разъяснить значение этих предметов (мотив символического послания). На спиральном подъеме на зиккурат было три заставы, где будущему халдею по очереди предлагались эти объекты. Того, кто решал хоть одну загадку неправильно, стража заставы сталкивала с зиккурата вниз, что означало верную гибель. (Есть основания выводить позднейший культ Кибелы, основанный на ритуальном самооскоплении, из культа Иштар: самооскопление, видимо, играло роль замещающей жертвы.)

Тем не менее желающих было множество, так как ответы, которые позволяли пройти на вершину зиккурата и соединиться с богиней, все же существовали. Раз в несколько десятилетий это кому-нибудь удавалось. Человек, который решал все три загадки правильно, всходил на вершину и встречался с богиней, после чего становился посвященным халдеем и ее ритуальным земным мужем (возможно, таких было несколько).

По одной из версий, ответы на три загадки Иштар существовали и в письменном виде. В специальных местах в Вавилоне продавались запечатанные таблички с ответами на вопросы богини (по другой версии, речь идет о магической печати, на которой были

вырезаны ответы). Изготовлением этих табличек и торговлей ими занимались жрецы главного храма Энкиду — бога-покровителя Лотереи. Считалось, что через посредничество Энкиду богиня выбирает себе очередного мужа. Это снимало хорошо известный древним вавилонянам конфликт между божественным предопределением и свободой воли. Поэтому большинство решавшихся взойти на зиккурат покупало глиняные таблички с ответами; считалось, что табличку можно распечатать, только взойдя на зиккурат.

Эта практика и называлась Великой Лотереей (устоявшийся термин, которым мы обязаны многочисленным беллетристам, вдохновлявшимся этой легендой, но более точный вариант перевода — «Игра Без Названия»). В ней существовали только выигрыш и смерть, так что в определенном смысле она была беспроигрышной. Некоторые смельчаки решались подниматься на зиккурат без таблички с подсказкой.

По другой трактовке, три вопроса Иштар были не загадками, а скорее символическими ориентирами, указывающими на определенные жизненные ситуации. Вавилонянин должен был пройти их и представить доказательства своей мудрости страже зиккурата, что делало возможным встречу с богиней. (В этом случае вышеописанный подъем на зиккурат представляется скорее метафорой.) Бытовало поверье, что ответы на три вопроса Иштар скрыты в словах «рыночных песен», которые поют каждый день на вавилонском базаре, но сведений об этих песнях или этом обычае не сохранилось».

Протерев папку от пыли. Татарский спрятал ее назад в шкаф, решив, что когда-нибудь непременно прочтет все полностью.

Курсовой по истории русского парламентаризма в шкафу не нашлось. Впрочем, к концу поисков Татарский понял: история парламентаризма в России увенчивается тем простым фактом, что слово «парламентаризм» может понадобиться разве что для рекламы сигарет «Парламент» — да и там, если честно, можно обойтись без всякого парламентаризма.

Три загадки Иштар

На следующий день Татарский, все еще погруженный в мысли о сигаретной концепции, встретил в начале Тверской улицы своего одноклассника Андрея Гиреева, о котором ничего не слышал несколько лет. Гиреев поразил его своим нарядом — синей рясой, поверх которой была накинута расшитая непальская жилетка. В руках он держал что-то вроде большой кофемолки, покрытой тибетскими буквами и украшенной цветными лентами, ручку которой он вращал; несмотря на крайнюю экзотичность всех элементов его наряда, в сочетании друг с другом они смотрелись настолько естественно, что как бы нейтрализовывали друг друга. Никто из прохожих не обращал на Гиреева внимания: подобно фонарному столбу или рекламе «Пепси-колы», он выпадал из поля восприятия из-за полной визуальной неинформативности.

Татарский сначала узнал Гиреева в лицо и только потом обратил внимание на богатые детали его облика. Внимательно поглядев ему в глаза, он понял, что Гиреев не в себе, хотя вроде не пьян. Несмотря на это, тот был собран, тих и внушал доверие.

Он сказал, что живет под Москвой в поселке Расторгуево, и пригласил в гости. Татарский согласился, и они нырнули в метро, а на «Варшавской» пересели в электричку. Ехали молча; Татарский изредка отрывался от вида за окном и смотрел на Гиреева. Тот в своей диковатой одежде казался последним осколком погибшей вселенной — не советской, потому что в ней не было бродячих тибетских астрологов, а какой-то другой, существовавшей параллельно советскому миру и даже вопреки ему, но пропавшей вместе с ним. И ее было жалко, потому что многое, что когда-то нравилось Татарскому и трогало его душу, приходило из этой параллельной вселенной, с которой, как все были уверены, ничего никогда не может случиться. А произошло с ней примерно то же самое, что и с советской вечностью, и так же незаметно.

Гиреев жил в покосившемся черном доме, перед которым был одичавший сад, заросший высокими, в полтора человеческих роста, зонтиками. По уровню удобств его жилью было переходной формой между деревней и городом: в будке-уборной сквозь дыру были видны мокрые и осклизлые канализационные трубы, проходящие над выгребной ямой, но откуда и куда они вели, было неясно. Однако в доме были газовая плита и телефон.

Гиреев усадил Татарского за стол на веранде и насыпал в заварной чайник крупно смолотого порошка из красной жестяной банки с белой надписью по-эстонски.

— Что это? — спросил Татарский.

— Мухоморы, — ответил Гиреев и налил в чайник кипятку. По комнате разнесся запах грибного супа.

— Ты что, собираешься это пить?

— Не бойся, — сказал Гиреев, — коричневых тут нет.

Он произнес это таким тоном, будто снял все мыслимые возражения, и Татарский не нашелся, что ответить. Минуту он колебался, а потом вспомнил, что вчера как раз читал о мухоморах, и поборол сомнения. На вкус мухоморный чай оказался довольно приятным.

— И чего от него будет?

— Сам увидишь, — ответил Гиреев. — Еще будешь их на зиму сушить.

— А что сейчас делать?

— Что хочешь, — сказал Гиреев.

— Говорить можно?

— Говори.

Полчаса прошло за малосодержательной беседой об общих знакомых. Ни с кем из них, как и следовало ожидать, не произошло за это время ничего интересного. Только один, Леша Чикунов, отличился — выпил несколько бутылок «Финляндии» и звездной январской ночью замерз насмерть в домике на детской площадке.

— Ушел в Валгаллу, — скупо прокомментировал Гиреев.

— Откуда такая уверенность? — спросил Татарский, но тут же вспомнил бегущих оленей и багровое солнце с этикетки и внутренне согласился.

Между тем в его теле появилась какая-то еле ощутимая веселая расслабленность. В груди возникали волны приятной дрожи, проходили по туловищу и рукам и затихали, чуть-чуть не добравшись до пальцев. А Татарскому отчего-то захотелось, чтобы эта дрожь непременно дошла до пальцев. Он понял, что выпил мало. Но чайник был уже пуст.

— Есть еще? — спросил он.

— Во, — сказал Гиреев, — о чем я и говорил.

Он встал, вышел из комнаты и возвратился с развернутой газетой, на которой были рассыпаны сухие кусочки нарезанных мухоморов. На некоторых из них остались лоскутки красной кожицы со стянувшимися белыми бляшками, на других были приставшие волокна газетной бумаги с зеркальными отпечатками букв.

Кинув несколько кусочков в рот, Татарский разжевал их и проглотил. Сушеные мухоморы немного напоминали по вкусу картофельные хлопья, только были вкуснее — Татарский подумал, что их можно было бы продавать, как чипсы, в пакетиках, и здесь, видимо, скрывалась одна из дорог к быстрому обогащению, джипу, рекламному клипу и насильственной смерти. Задумавшись, каким мог бы быть этот клип, он отправил в рот новую порцию и огляделся по сторонам. Некоторые из предметов, украшавших комнату, стали заметны ему только сейчас. Например, лист бумаги, висевший на стене на самом видном месте, — на нем была извилистая буква, не то санскритская, не то тибетская, похожая на дракона с изогнутым хвостом.

— Что это? — спросил он Гиреева.

Гиреев покосился на стену.

— Хум, — сказал он.

— А зачем тебе?

— Я таким образом путешествую.

— Куда? — спросил Татарский.

Гиреев пожал плечами.

— Трудно объяснить, — сказал он. — Хум. Когда не думаешь, многое становится ясно.

Но Татарский уже забыл о своем вопросе. Его захлестнула волна благодарности к Гирееву за то, что тот привез его сюда.

— Знаешь, — сказал он, — у меня сейчас тяжелый период. Общаюсь в основном с банкирами и рекламодателями. Загружают просто свинцово. А у тебя здесь... Прямо как домой вернулся.

Гиреев, видимо, понимал, что с ним происходит.

— Пустяки, — сказал он. — Не бери в голову. Ко мне зимой приезжала пара таких рекламодателей. Хотели сознание расширить. А потом босиком по снегу убежали. Пошли погуляем?

Татарский с радостью согласился. Выйдя за калитку, они пошли через поле, перерытое свежими канавами. Тропинка дошла до леса и запетляла между деревьев. Зудящая дрожь в руках Татарского становилась все сильнее. но все равно никак не доходила до пальцев. Заметив, что среди деревьев растет много мухоморов, он отстал от Гиреева и сорвал с земли несколько штук. Они были не красными, а темно-коричневыми и очень красивыми. Быстро съев их, он догнал Гиреева, который ничего не заметил.

Скоро лес кончился. Они вышли на большой открытый участок — колхозное поле, обрывавшееся у реки. Татарский поглядел вверх: над полем висели высокие неподвижные облака и догорал невыразимо грустный оранжевый закат, какие бывают иногда осенью под Москвой. Пройдясь по дорожке вдоль края поля, они сели на поваленное дерево. Говорить не хотелось.

Татарскому вдруг пришла в голову возможная рекламная концепция для мухоморов. Она основывалась на смелой догадке, что высшей формой самореализации мухомора как гриба является атомный взрыв — нечто вроде светящегося нематериального тела, которое обретают некоторые продвинутые мистики. А люди — просто вспомогательная форма жизни, которую мухомор использует для достижения своей высшей цели, подобно тому как люди используют плесень для приготовления сыра. Татарский поднял глаза на оранжевые стрелы заката, и поток его мыслей прервался.

— Слушай, — через несколько минут нарушил тишину Гиреев, — я о Леше Чикунове опять вспомнил. Жалко его, правда?

— Правда, — отозвался Татарский.

— Как это странно — он умер, а мы живем... Только я подозреваю, что каждый раз, когда мы ложимся спать, мы точно так же умираем. И солнце уходит навсегда, и заканчивается вся история. А потом небытие надоедает само себе, и мы просыпаемся. И мир возникает снова.

— Как это небытие может надоесть само себе?

— Когда ты просыпаешься, ты каждый раз заново появляешься из ниоткуда. И все остальное точно так же. А смерть — это замена знакомого утреннего пробуждения чем-то другим, о чем совершенно невозможно думать. У нас нет для этого инструмента, потому что наш ум и мир — одно и то же.

Татарский попытался понять, что это значит, и заметил, что думать стало сложно и даже опасно, потому что его мысли обрели такую свободу и силу, что он больше не мог их контролировать. Ответ сразу же появился перед ним в виде трехмерной геометрической фигуры. Татарский увидел свой ум — это была ярко-белая сфера, похожая на солнце, но абсолютно спокойная и неподвижная. Из центра сферы к ее границе тянулись темные скрученные ниточки-волоконца. Татарский понял, что это и есть его пять чувств. Волоконце чуть потолще было зрением, потоньше — слухом, а остальные были почти невидимы. Вокруг этих неподвижных волокон плясала извивающаяся спираль, похожая на нить электрической лампы, которая то совпадала на миг с одним из них, то завивалась сама вокруг себя светящимся клубком вроде того, что оставляет в темноте огонек быстро вращаемой сигареты. Это была мысль, которой будет занят его ум.

«Значит, никакой смерти нет, — с радостью подумал Татарский. — Почему? Да потому, что ниточки исчезают, но шарик-то остается!»

То, что ему удалось сформулировать ответ на вопрос, терзавший человечество последние несколько тысяч лет, в таких простых и всякому понятных терминах, наполнило

его счастьем. Ему захотелось поделиться своим открытием с Гиреевым, и он, взяв его за плечо, попытался произнести последнюю фразу вслух. Но его рот произнес что-то другое, бессмысленное — все слоги, из которых состояли слова, сохранились, но оказались хаотически перемешанными. Татарский подумал, что ему надо выпить воды, и сказал испуганно глядящему на него Гирееву:

— Мне бы хопить вотелось поды!

Гиреев явно не понимал, что происходит. Но было ясно, что происходящее ему не нравится.

— Мне бы похить дытелось вохо! — кротко повторил Татарский и попытался улыбнуться.

Ему очень хотелось, чтобы Гиреев улыбнулся в ответ. Но Гиреев повел себя странно — встав с места, он попятился от Татарского, и тот понял, что означает выражение «проступивший на лице ужас». Этот самый ужас явственно отпечатался на лице его друга. Сделав несколько неуверенных шагов назад, Гиреев повернулся и побежал. Это оскорбило Татарского до глубины души.

Между тем уже начинали сгущаться сумерки. Непальская жилетка Гиреева, мелькавшая в синей мгле между деревьями, была похожа на большую бабочку. Возможность погони показалась Татарскому волнующей. Он припустился следом за Гиреевым, высоко подпрыгивая, чтобы не споткнуться о какое-нибудь корневище или кочку. Скоро выяснилось, что он бежит гораздо быстрее Гиреева — просто несопоставимо быстрее. Несколько раз обогнав его и вернувшись назад, он заметил, что бежит не вокруг Гилева, а вокруг обломка сухого ствола в человеческий рост. Это несколько привело его в чувство, и он побрел по тропинке туда, где, как ему казалось, была станция.

По дороге он съел еще несколько мухоморов, которые показали ему себя среди деревьев, и вскоре очутился на широкой грунтовке, с одной стороны которой шел забор из крашеной проволочной сетки.

Впереди появился прохожий. Татарский подошел к нему и вежливо спросил:

— Вы ска нежите стан пройти до акции? Ну, где торек-трички хо?

Поглядев на Татарского, прохожий отшатнулся и побежал прочь. Похоже, сегодня все реагировали на него одинаково. Татарский вспомнил своего чеченского нанимателя и весело подумал: «Вот бы встретить Гусейна! Интересно. а он испугался бы?»

Когда вслед за этим на обочине дороги появился Гусейн, испугался сам Татарский. Гусейн молча стоял в траве и никак не реагировал на приближение Татарского. Но тот затормозил сам, подошел к нему тихим детским шагом и виновато замер.

— Чего хотел? — спросил Гусейн.

От испуга Татарский даже не заметил, нормально он говорит или нет. А сказал он нечто предельно неуместное:

— Я буквально на секунду. Я хотел спросить тебя как представителя target group: какие ассоциации вызывает у тебя слово «парламент»?

Гусейн не удивился. Чуть подумав, он ответил:

— Была такая поэма у аль-Газзави. «Парламент птиц» Это о том, как тридцать птиц полетели искать птицу по имени Семург — короля всех птиц и великого мастера.

— А зачем они полетели искать короля, если у них был парламент?

— Это ты у них спроси. И потом, Семург был не просто королем, а еще и источником великого знания. А о парламенте так не скажешь.

— И чем все кончилось? — спросил Татарский.

— Когда они прошли тридцать испытаний, они узнали, что слово «Семург» означает «тридцать птиц».

— От кого?

— Им это сказал божественный голос.

Татарский чихнул. Гусейн сразу замолчал и отвернул помрачневшее лицо. Довольно долго Татарский ждал продолжения, пока не понял, что Гусейн — это столб с прибитым плакатом «Костров не жечь!», плохо различимым в полутьме. Это его расстроило — как оказалось, Гиреев и Гусейн заодно. История Гусейна ему понравилась, йо стало ясно, что ее деталей он не узнает, а в таком виде она не тянула на концепцию для сигарет. Татарский пошел дальше, размышляя, что заставило его трусливо остановиться возле столба-Гусейна, который даже не попросил его об этом.

Объяснение было не самым приятным: это был не до конца выдавленный из себя раб, рудимент советской эпохи. Немного подумав, Татарский пришел к выводу, что раб в душе советского человека не сконцентрирован в какой-то одной ее области, а, скорее, окрашивает все происходящее на ее мглистых просторах в цвета вялотекущего психического перитонита, отчего не существует никакой возможности выдавить этого раба по каплям, не повредив ценных душевных свойств. Эта мысль показалась Татарскому важной в свете его предстоящего сотрудничества с Пугиным, и он долго шарил по карманам в поисках ручки, чтобы записать ее. Ручки, однако, не нашлось.

Зато навстречу вышел новый прохожий — на этот раз точно не галлюцинация. Это стало ясно после попытки Татарского одолжить ручку — прохожий побежал от него прочь, побежал по-настоящему быстро и не оглядываясь.

Татарский никак не мог взять в толк, что именно в его поведении действует на встречных таким устрашающим образом. Возможно, людей пугала странная дисфункция его речи — то, что слова, которые он, дытался произнести, распадались на слоги, которые потом склеивались друг с другом случайным образом. Но в этой неадекватной реакции было все же и что-то лестное.

Татарского вдруг настолько поразила одна мысль, что он остановился и хлопнул себя ладонью по лбу. «Да это же вавилонское столпотворение! — подумал он. — Наверно, пили эту мухоморную настойку, и слова начинали ломаться у них во рту, как у меня. А потом это стали называть смещением языков. Правильнее было бы говорить «смещение языка»...»

Татарский чувствовал, что его мысли полны такой силы, что каждая из них — это пласт реальности, равноправный во всех отношениях с вечерним лесом, по которому он идет. Разница была в том, что лес был мыслью, которую он при всем желании не мог перестать думать. С другой стороны, воля почти никак не участвовала в том, что происходило в его уме. Как только он подумал о смещении языков, ему стало ясно, что воспоминание о Вавилоне и есть единственный возможный Вавилон: подумав о нем, он тем самым вызвал его к жизни. И мысли в его голове, как грузовики со стройматериалом, понеслись в сторону этого Вавилона, делая его все вещественнее и вещественнее.

«Смещение языков называлось вавилонским столпотворением, — думал он. — А что такое вообще «столпотворение»? Похоже на столоверчение...»

Он покачнулся, почувствовав, как земля под ним плавно закружилась. На ногах он удержался только потому, что ось вращения земли проходила точно сквозь его макушку. «Нет, — подумал он, — столоверчение здесь ни при чем. Столпотворение — это столп и

творение. Творение столпа, причем не строительство, а именно творение. То есть смешение языка и есть создание башни. Когда происходит смешение языка, возникает вавилонская башня. Или, может быть, не возникает, а просто открывается вход на зиккурат. Ну да, конечно. Вот он, вход».

В проволочном заборе, вдоль которого Татарский шел уже долгое время, появились большие ворота, украшенные рельефными красными звездами. Над ними горела мощная лампа под колпаком — ее ярко-белый свет освещал многочисленные граффити, которые покрывали зеленую жуть ворот. Татарский остановился.

Минуту или две он изучал традиционные для средней полосы попытки записать названия окрестных деревень латиницей, чьи-то имена под грубыми коронами, символические изображения пениса и вульвы, английские глаголы «ебать» и «сосать» в третьем лице единственного числа настоящего времени, но с непонятными апострофами и многочисленные торговые марки музыкального бизнеса. Затем его взгляд наткнулся на нечто странное.

Это была крупная — значительно больше остальных, через все ворота — надпись флюоресцентной оранжевой краской (она ярко светилась под лучами электролампы):

THIS GAME HAS NO NAME^[5]

Как только Татарский прочел ее, весь остальной этнографический материал перестал восприниматься его сознанием — в нем остались только эти пять мерцающих слов. Ему казалось, что он понимает их смысл на очень глубоком уровне, и, хоть он вряд ли смог бы объяснить его кому-нибудь другому, этот смысл несомненно требовал перелезть через забор. Это оказалось несложно.

За воротами была замороженная стройка — обширная зона запустения с редкими следами присутствия человека. В центре площадки стояло недостроенное здание — то ли фундамент какого-то космического локатора, то ли просто многоярусный гараж: строительство прервали на такой стадии, когда готовы были только несущие конструкции и стены. Постройка походила на ступенчатый цилиндр из нескольких бетонных боксов, стоящих друг на друге. Вокруг них поднималась спиральная дорога на железобетонных опорах, которая кончалась у верхнего бокса, увенчанного маленькой кубической башенкой с красной лампой-маяком.

Татарский подумал, что это один из начатых в семидесятые годы военных объектов, которые не спасли империю, но зато сформировали эстетику «Звездных войн». Ему вспомнился астматически присвистывающий Дарт Вейдер, и он поразился, до чего же это была прекрасная метафора карьерного коммуниста: наверняка где-то на звездолете у него была еще искусственная почка и две бригады врачей, и в фильме, как Татарскому смутно припомнилось, присутствовали намеки на это. Впрочем, думать о Дарте Вейдере в таком состоянии было опасно.

Нестроенное здание освещали три или четыре прожектора — они пятнами выхватывали из сумрака куски бетонной стены, участки спиральной дороги и верхнюю башенку с мигающим маячком. Если бы не этот красный маячок, в полутьме недостроенность здания сошла бы за его обветшалость от времени, и сооружению можно было бы дать тысячу или все десять тысяч лет. Впрочем, Татарский подумал, что маячок тоже мог гореть от какого-то немыслимо древнего электричества, подведенного под землей

из Египта или Вавилона.

Недавние следы человека были заметны только у ворот, где он стоял. Здесь размещалось что-то вроде филиала военной части — несколько вагончиков-бытовок, турник, щит с противопожарными ведром и ломом и стенд с плакатом, на котором одинаковые солдаты с печатью странной самоуглубленности на лицах демонстрировали приемы строевой подготовки. Татарский совершенно не удивился, увидев огромный гриб с жестяной шляпкой и телефоном, приделанным к столбу-ножке, — он понял, что это место часового. Сначала он решил, что часового на посту нет, но потом увидел, что коническая шляпка гриба выкрашена в красный цвет и украшена симметричными белыми пятнами.

— Все не так просто, — прошептал он.

В этот момент тихий и насмешливый голос произнес где-то рядом:

— This game has no name. It will never be the same^[6].

Татарский обернулся. Вокруг никого не было, и он понял, что это слуховая галлюцинация. Ему стало чуть страшновато, но в происходящем, несмотря ни на что, было заключено какое-то восхитительное обещание.

— Вперед, — прошептал он и, пригибаясь, быстро заскользил сквозь сумрак к ведущей на зиккурат дороге.

«Все-таки, — подумал он, — это что-то вроде многоярусного гаража».

— С висячими садами, — тихонько поддакнул голос в его голове.

То, что голос заговорил по-русски, убедило Татарского, что это галлюцинация, но заставило еще раз вспомнить о смешении языков. Словно в ответ на его мысль голос произнес длинную фразу на неизвестном наречии с большим количеством шипящих. Татарский решил не обращать на него внимания, тем более что уже вступил на спиральный подъем.

Издали он не оценил настоящих размеров здания. Дорога была достаточно широка, чтобы на ней могли разъехаться два грузовика («Или колесницы, — радостно добавил голос, — колесницы четверками! Вот были колесницы!»). Она была построена из бетонных плит, стыки между которыми не были заделаны. Из этих стыков торчали высокие растения — Татарский не знал их названия, но с детства помнил, что их прочные стебли можно использовать вместо шнурков в ботинках. В стене справа время от времени появлялись широкие проемы, которые вели в толщу зиккурата. Внутри были обширные пустоты, заваленные строительным мусором. Дорога все время уходила за угол и как бы обрывалась в небо, поэтому Татарский шел осторожно и держался рукой за стену. С одной стороны башню освещали прожектора со стройплощадки, а с другой — луна, висевшая в просвете высокого облака. Было слышно, как где-то наверху постукивает от ветра незакрытая дверь; этот же ветер принес далекий собачий лай. Татарский сбавил шаг и стал идти совсем медленно.

Под ногой что-то хрустнуло. Это была пустая сигаретная пачка. Подняв ее, он вышел в пятно света и увидел, что это «Парламент» — ментоловый сорт. Но удивительным было другое — на лицевой стороне пачки переливалась рекламная голограмма с тремя пальмами.

— Все сходится, — прошептал он и пошел вперед, внимательно глядя под ноги.

Следующая находка ждала ярусом выше — он издали заметил монету, блестящую под луной. Он никогда не видел такой раньше — три песо Кубинской республики с портретом Че Гевары. Татарского ничуть не удивило, что кубинская монета валяется на военной стройке, — он вспомнил, как в финале фильма «Golden Eye»^[7] где-то на острове Свободы поднималась из-под воды циклопическая антенна советского производства. Это, видимо,

была плата за ее строительство. Он положил монету в пачку «Парламента» и спрятал в карман в полной уверенности, что его ждет что-то еще.

Он не ошибся. Дорога кончалась у самого верхнего бокса, перед которым лежала куча строительного мусора и сломанные ящики. Среди мусора Татарский заметил странный кубик и поднял его. Это была точилка для карандашей в форме телевизора, на пластмассовом экране которого кто-то нарисовал шариковой авторучкой большой глаз. Точилка была старой — такие делали в семидесятые годы, и было удивительно, что она так хорошо сохранилась.

Очистив точилку от прилипшей грязи. Татарский сунул ее за пазуху и огляделся, размышляя, что делать дальше. Идти внутрь бокса было страшно — там было темно, и легко можно было сломать себе шею, упав в какую-нибудь дыру. Где-то сверху под ветром опять стукнула дверь, и Татарский вспомнил, что на вершине сооружения была маленькая башенка с красной лампой-маячком. Она была не видна оттуда, где он стоял, но вверх вела короткая пожарная лестница.

Башенка оказалась техническим помещением, где должны были стоять моторы лифтов. Ее дверь была открыта. Сразу за дверью на стене был выключатель. Включив свет. Татарский увидел следы сурового солдатского быта: деревянный стол, два табурета и пустые пивные бутылки в углу. То, что это следы именно солдатского быта, было ясно по наклеенным на стены журнальным фотографиям женщин. Некоторое время Татарский изучал их. Одна из них, совершенно голая и золотая от загара, бегущая по песку тропического пляжа, показалась ему очень красивой. Дело было даже не в ее лице или фигуре, а в удивительной и неопределимой свободе движения, которое удалось поймать фотографу. Песок, море и листья пальм на фотографии были такими яркими, что Татарский тяжело вздохнул — скудное московское лето уже прошло. Он закрыл глаза, и несколько секунд ему казалось, что он слышит далекий шум моря.

Сев за стол, он разложил на нем свои находки и еще раз осмотрел их. Пальмы с пачки «Парламента» и с фотографии на стене были очень похожи, и он подумал, что они растут в такой точке мира, куда он никогда не попадет — даже, по русскому обычаю, на танке, — а если и попадет, то только тогда, когда ему уже ничего не будет нужно ни от этой женщины, ни от этого песка, ни от этого моря, ни от себя самого. Меланхолия, в которую его погрузила эта мысль, была такой глубокой, что на самом ее дне он неожиданно увидел свет: ему в голову пришел искомый слоган и идея плаката для «Парламента». Торопливо вытащив записную книжку, он застрочил:

Плакат представляет собой фотографию набережной Москвы-реки, сделанную с моста, на котором в октябре 93 года стояли исторические танки. На месте Белого дома мы видим огромную пачку «Парламента» (компьютерный монтаж). Вокруг нее в изобилии растут пальмы. Слоган — цитата из Грибоедова:

И ДЫМ ОТЕЧЕСТВА НАМ СЛАДОК
И ПРИЯТЕН.
ПАРЛАМЕНТ

Спрятав книжку в карман, он собрал со стола свои находки и в последний раз оглядел комнатку. У него мелькнула мысль, что можно было бы забрать на память фотографию бегущей по песку женщины, но он не стал этого делать. Выключив свет, вышел на крышу и остановился, чтобы глаза привыкли к темноте. «Что теперь? — подумал он. — На станцию».

Бедные люди

Приключение, пережитое в подмосковном лесу, оказало благоприятное действие на профессиональные способности Татарского. Сценарии и концепции стали даваться ему намного легче, а за слоган для «Парламента» Пугин даже выдал небольшой аванс: он сказал, что Татарский попал в самую точку, потому что до девяносто третьего года пачка «Парламента» стоила столько же, сколько пачка «Мальборо», а после известных событий «Парламент» быстро стал самым популярным в Москве сортом сигарет и теперь стоит в два раза дороже. Впоследствии *дым Отчества* так и канул в Лету или, если точнее, в зиму, которая наступила неожиданно рано. Единственным сомнительным эхом этого слогана в заснеженном рекламном пространстве Москвы оказалась фраза «С корабля на бал», взятая неизвестным коллегой Татарского у того же Грибоедова. Она мелькала одно время на щитовой рекламе ментоловых сигарет — яхта, синь, фуражка с крабом и длинные ноги. Татарский ощутил по этому поводу укол ревности, но несильный — девушка с ментоловой рекламы была подобрана под вкусы настолько широкой целевой группы, что текст самопроизвольно читался как «С корабля на бля».

Волна мухоморной энергии, прошедшая по его нервной системе, почему-то лучше всего отливалась в тексты для сигарет — наверно, по той же причине, по которой первый по-настоящему удавшийся любовный или наркотический опыт определяет пристрастия на всю жизнь. Следующей его большой удачей (не только по его собственному мнению, но и по мнению Пугина, который опять удивил, дав немного денег) был текст, написанный для сигарет «Давидофф», что было символично, потому что именно с них и началась его карьера. Текст опирался на рекламу «Давидофф Классик», заполнившую все щиты в центре: мрачные тона, крупное увядающее лицо, в глазах которого мерцало какое-то невыносимо тяжелое знание, и подпись:

ПОНИМАНИЕ ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ.
DAVIDOFF CLASSIC

При первом взгляде на это мудрое морщинистое лицо Татарский задался вопросом, что же такое знает этот зарубежный курильщик. Первая пришедшая в голову версия была довольно мрачна: визит в онкологический центр, рентген и страшный диагноз.

Проект Татарского был полностью противоположен: светлый фон, юное лицо, отмеченное невежественным счастьем, белая пачка с легкими золотыми буквами и текст:

ВО МНОГОЙ МУДРОСТИ МНОГО ПЕЧАЛИ,
И УМНОЖАЮЩИЙ ПОЗНАНИЯ УМНОЖАЕТ СКОРБЬ.
DAVIDOFF LIGHTS

Пугин сказал, что это вряд ли возьмет представитель «Davidoff», но очень даже может взять какой-нибудь другой сигаретный дилер. «Я поговорю с Усиевичем, — бросил он Татарскому, — у него шестнадцать брэндов в эксклюзиве». Татарский записал эту фразу в свою книжечку и потом несколько раз употреблял невзначай при разговорах с заказчиками; его врожденная застенчивость проявлялась в том, что обычно он уменьшал число брэндов вдвое.

Работа, которая приносила основные деньги, была скучна, тягостна и даже, пожалуй,

позорна: «У наших уши на макушке! Дисконт на гаражи-ракушки!» Или: «Мировой Pantene-pro V! Господи, благослови!» Остаточный литературоцентризм редакторов и издателей — своего рода реликтовый белый шум советской психики — все-таки давал свои скудные маленькие плоды.

В начале зимы Татарский кое-как подремонтировал свою однокомнатную квартиру (дорогой итальянский смеситель на фоне отстающего от стен василькового кафеля советской поры напоминал золотой зуб во рту у прокаженного, но на капитальные перемены денег не было). Еще он купил новый компьютер, хотя в этом не было особой нужды — просто стали возникать проблемы с распечаткой текстов, набранных в старом любимом редакторе. Еще один глухой стон под железной пятой Майкрософта. Но Татарский не сильно горевал по этому поводу, хотя отметил глубоко символический характер происходящего: программа-посредник становилась самым главным посланием, стягивая на себя невероятное количество компьютерной памяти и ресурсов, и этим очень напоминала обнаглевшего «нового русского», который прокручивает через свой банк учительские зарплаты.

Чем дальше он углублялся в джунгли рекламного дела, тем больше у него возникало вопросов, на которые он не находил ответа не только в «Positioning: a battle for your mind» Эла Райса, но даже и в последней книге на эту тему, «The Final Positioning»^[8]. Один искусствовед в штатском от Кензо клялся Татарскому, что все темы, которых не коснулся Эл Райс, разобраны в «Confessions of an Advertising Man»^[9] Дэвида Огилви. Татарский и без этого искусствоведа уважал Дэвида Огилви; в глубине души он полагал, что это тот самый персонаж «1984» Джорджа Оруэлла, который возник на секунду в воображении главного героя, совершил виртуальный подвиг и исчез в океане небытия. То, что товарищ Огилви, несмотря на свою удвоенную нереальность, все-таки выплыл на бережок, закурил трубочку, надел твидовый пиджак и стал всемирно признанным асом рекламы, наполняло Татарского мистическим восхищением перед своей профессией.

Но особо ему помогла книга Россера Ривса — он вычитал в ней два термина, «внедрение» и «вовлечение», которые оказались очень полезными в смысле кидания понтов. Первый проект на основе двух этих понятий ему удалось создать для кофе «Нескафе Голд».

Давно известно, — написал Татарский через двадцать минут после того, как это стало ему известно. — что существует два основных показателя эффективности рекламной кампании — внедрение и вовлечение. «Внедрение» означает процент людей, которые запомнили рекламу. «Вовлечение» — процент вовлеченных в потребление с помощью рекламы. Проблема, однако, состоит в том, что яркая скандальная реклама, способная обеспечить высокое внедрение, вовсе не гарантирует высокого вовлечения. Аналогично умно раскрывающая свойства товара кампания, способная обеспечить высокое вовлечение, не гарантирует высокого внедрения. Поэтому мы предлагаем применить новый подход — создать своего рода бинарную рекламу, в которой функции внедрения и вовлечения будут выполняться разными информационными блоками. Рассмотрим такой подход на примере рекламной кампании кофе «Нескафе Голд».

Первый шаг кампании направлен исключительно на внедрение в сознание максимального числа людей торговой марки «Нескафе Голд» (мы исходим из того, что для этого годятся все средства). К примеру — организуется фиктивное минирование нескольких крупных магазинов и вокзалов — их число должно быть как можно большим. В органы МВД и ФСК поступают звонки от анонимной террористической организации с сообщением о заложенных взрывных устройствах. Но обыски, осуществляемые милицией в указанных террористами местах, приводят только к обнаружению большого количества банок «Нескафе Голд», упакованных в пакеты и

сумки. На следующее утро об этом сообщают все журналы, газеты и телевидение, после чего этап внедрения можно считать завершенным (его успешность прямо зависит от массовости акции). Сразу же после этого начинается второй этап — вовлечения. На этой стадии кампания ведется по классическим правилам; с первым этапом ее соединяет только базовый слоган — «Нескафе Голд: Взрыв вкуса!». Приведем сценарий рекламного клипа.

Лавка в скверике. На ней сидит молодой человек в красном спортивном костюме, с суровым и волевым лицом. Через дорогу от скверика — припаркованный возле шикарного особняка «Мерседес-600» и два джипа. Молодой человек смотрит на часы. Смена кадра — из особняка выходят несколько человек в строгих темных костюмах и темных очках — это служба безопасности. Они окружают подходы к «мерседесу», и один из них дает команду в рацию. Из особняка выходит маленький толстячок с порочным лицом, пугливо оглядывается и сбегает по ступеням к машине. После того как он исчезает за тонированным стеклом «мерседеса», охрана садится в джипы. «Мерседес» трогается с места, и тут же один за другим гремят три мощных взрыва. Машины разлетаются на куски; улица, где они только что стояли, скрывается в дыму. Смена кадра — молодой человек на лавке вынимает из сумки термос и красную чашку с золотой полоской. Налив кофе в чашку, он отхлебывает из нее и закрывает глаза от наслаждения. Голос за кадром: «Братан развел его втемную. Но слил не его, а всех остальных. Нескафе Голд. Реальный взрыв вкуса».

Но термин «вовлечение» не просто оказался полезным в работе. Он заставил Татарского задуматься над тем, кого и куда он вовлекает и, что самое главное, кто и куда вовлекает его.

Эти мысли первый раз посетили его, когда он читал статью под пышным названием «Уже Восторг В Растущем Зуде...», посвященную «культовым порнофильмам». Автора статьи звали Саша Бло. Если судить по тексту, это было холодное и утомленное существо неопределенного пола, писавшее в перерывах между оргиями, чтобы донести свое мнение до десятка-другого таких же падших сверхчеловеков. Тон Саша Бло брал такой, что делалось ясно: де Сад и Захер-Мазох не годятся в его круг даже швейцарами, а Чарли Мэнсон в лучшем случае сможет держать подсвечники. Словом, его статья была совершенным по форме яблоком порока, червивым, вне всяких сомнений, лично древним змеем.

Но Татарский крутился в бизнесе уже давно. Во-первых, он знал, что все эти яблоки годятся разве для того, чтобы выманывать подмосковных пэтэушников из райского сада детства. Во-вторых, он сомневался в существовании культовых порнофильмов, — он готов был поверить в это только по предъявлении живых участников культа. В-третьих, и главное, он хорошо знал самого этого Сашу Бло.

Это был немолодой, толстый, лысый и печальный отец троих детей. Звали его Эдик. Отрабатывая квартирную аренду, он писал сразу под тремя или четырьмя псевдонимами в несколько журналов и на любые темы. Псевдоним «Бло» они придумали вместе с Татарским, заимствовав название у найденного под ванной флакона жидкостистеклоочистителя ярко-голубого цвета (искали спрятанную женой Эдика водку). В слове «БЛО» чувствовались неиссякаемые запасы жизненной силы и одновременно что-то негуманоидное, поэтому Эдик берег его. Он подписывал им только статьи, которые дышали такой беспредельной свободой и, так сказать, амбивалентностью. что подпись вроде «Сидоров» или «Петухов» была бы нелепа. В московских глянцевах журналах был большой спрос на эту амбивалентность, такой большой, что возникал вопрос — кто ее внедряет? Думать на эту тему было, если честно, страшновато, но, прочитав статью про восторг растущего зуда. Татарский вдруг понял: внедрял ее не какой-нибудь демонический шпион, не какой-нибудь падший дух. принявший человеческое обличье, а Эдик.

Конечно, не один — на Москву было, наверно, сотни две-три таких Эдиков, универсалов, придушенных бытовым чадом и обремененных детьми. Их жизнь проходила не среди кокаиновых линий, оргий и споров о Берроузе с Уорхоллом, как можно было бы заключить из их сочинений, а среди пеленок и неизбывных московских тараканов. В них не было ни снобской заносчивости, ни змеящейся похоти, ни холерного дендизма, ни склонностей к люциферизму, ни даже реальной готовности хоть раз проглотить марку кислоты — несмотря на ежедневное употребление слова «кислотный». Но у них были проблемы с пищеварением, деньгами и жильем, а внешне они напоминали не Гэри Олдмена, как хотелось верить после знакомства с их творчеством, а скорее Дэнни де Вито.

Татарский не мог устремиться доверчивым взглядом в даль, нарисованную для него Сашей Бло, потому что понимал физиологию возникновения этой дали из лысой головы придавленного жизнью Эдика, точно так же прикованного к своему компьютеру, как приковывали когда-то к пулеметам австрийских солдат. Поверить в его продукт было труднее, чем прийти в возбуждение от телефонного секса, зная, что за охрипшим от страсти голосом собеседницы прячется не обещанная фотографией блондинка, а простуженная старуха, вяжущая носок и читающая набор стандартных фраз со шпаргалки, на которую у нее течет из носа.

«Но откуда мы — то есть я и Эдик — узнаем, во что *вовлечь* других? — думал Татарский. — С одной стороны, конечно, понятно — интуиция. Справок о том, что и как делать, наводить не надо — когда приходишь до некоторого градуса отчаяния, начинаешь улавливать все сам. Главную, так сказать, тенденцию чувствуешь голодным желудком. Но откуда берется сама эта тенденция? Кто ее придумывает, если все в мире — а в этом я уверен — просто пытаются ее уловить и продать, как мы с Эдиком, или угадать и напечатать, как редакторы всех этих глянцевого журналов?»

Мысли на эту тему были мрачны. Они отразились в сценарии клипа для стирального порошка «Ариэль», написанном вскоре после этого случая.

Сценарий основывается на образах из «Бури» Шекспира. Гремит грозная и торжественная музыка. В кадре — скала над морем. Ночь. Внизу, в мрачном лунном свете, вздымаются грозные волны. Вдали виден древний замок — он тоже освещен луной. На скале стоит девушка дивной красоты. Это Миранда. На ней средневековое платье красного бархата и высокий колпак со спадающей вуалью. Она поднимает руки к луне и трижды повторяет странное заклинание. Когда она произносит его в третий раз, слышится раскат далекого грома. Музыка становится громче и тревожней. С луны, видной в просвете туч, протягивается широкий луч света и падает на утес у ног Миранды. На ее лице смятение — видно, что она и страшится того, что должно произойти, и хочет этого. Становятся слышны поющие женские голоса, полные ужаса и счастья, — они как бы передают ее состояние. По лучу вниз скользит тень — она приближается, и, когда мелодия достигает крещендо, мы видим гордого и прекрасного духа в развевающемся одеянии, с длинными волосами, осеребренными луной. На его голове тонкий венец с алмазами. Это Ариэль. Он долетает почти до Миранды, останавливается в воздухе и протягивает ей руку. После секундной борьбы Миранда протягивает руку ему навстречу. Следующий кадр: крупно даны две встречающиеся руки. Внизу слева — слабая и бледная рука Миранды, вверху справа — прозрачная и сияющая рука духа. Они касаются друг друга, и все заливают ослепительный свет. Следующий кадр: две пачки порошка. На одной надпись «Ариэль». На другой, блекло-серой, надпись «Обычный Калибан». Голос Миранды за кадром: «Об Ариэле я услышала от подруги».

Возможно, конкретные решения этого клипа были навеяны большой черно-белой

фотографией, висевшей у Татарского над столом. Это была реклама какого-то бутика — на ней был изображен молодой человек с длинными волосами и ухоженной щетиной, в широком роскошном пальто, небрежно накинутом на плечи. — ветер кругло надувал пальто, и это рифмовалось с парусом видной на горизонте лодки. Волны, расшибаясь о камни и выплескиваясь на берег, чуть-чуть не достигали его лаковых туфель. На его лице была хмуро-резкая гримаса, и чем-то он был похож на раскинувших крылья птиц (не то орлов, не то чаек), залетевших в мглистое небо из приложения к последнему «Фотошопу» (поглядев на фотку внимательней, Татарский решил, что оттуда же приплыла и видная на горизонте лодка).

Композиция была настолько перенасыщена романтизмом и вместе с тем до того неромантична, что Татарский, созерцая ее долгими днями, понял: все понятия, на которые пыталась опереться эта фотография, были выработаны где-то веке в девятнадцатом; их остатки перешли вместе с мощами графа Монте-Кристо в двадцатый, но на рубеже двадцать первого наследство графа было уже полностью промотано. Слишком много раз человеческий ум продавал сам себе эту романтику, чтобы сделать коммерцию на последних оставшихся в нем некоммерческих образах. Сейчас, даже при искреннем желании обмануться, почти невозможно было поверить в соответствие продаваемого внешнего подразумеваемому внутреннему. Это была *пустая* форма, которая уже давно не значила того, что должна была значить по номиналу. Все съела моль: при виде условного Нибелунга со студийной фотографии возникала мысль не о гордом готическом духе, который подразумевался пеной волн и бакенбард, а о том, дорого ли брал фотограф, сколько платили за съемку манекенщику и платил ли манекенщик штраф, когда ему случалось испачкать персональным лубрикантом сиденье казенных штанов из весенней коллекции. И это касалось не только фотографии над столом Татарского, но и любой картинке из тех, которые волновали когда-то в детстве: пальмы, пароход, синее вечернее небо. — надо было быть клиническим идиотом, чтобы сохранить способность проецировать свою тоску по несбыточному на эти стопроцентно торговые штампы.

Татарский окончательно запутался в своих выкладках. С одной стороны, выходило, что он с Эдиком мастерил для других фальшивую панораму жизни (вроде музейного изображения битвы, где перед зрителем насыпан песок и лежат дырявые сапоги и гильзы, а танки и взрывы нарисованы на стене), повинувшись исключительно предчувствию, что купят и что нет. И он, и другие участники изнурительного рекламного бизнеса вторгались в визуально-информационную среду и пытались так изменить ее, чтобы чужая душа рассталась с деньгами. Цель была проста — заработать крошечную часть этих денег. С другой стороны, деньги были нужны, чтобы попытаться приблизиться к объектам этой панорамы самому. В сущности, это было так же глупо, как пытаться убежать в картину, нарисованную на стене. Правда, богатый человек, как казалось Татарскому, мог выйти за пределы фальшивой реальности. Он мог покинуть пределы обязательной для нищих панорамы. Что представлял из себя мир богатых. Татарский на самом деле не очень знал. В его сознании крутились только смутные образы, штампы из рекламы, которые он сам ретранслировал уже долгое время, отчего и не мог им верить. Было понятно, что только у богатых можно узнать, какие горизонты раскрывает перед человеком увесистый счет, и однажды Татарскому это удалось — по чистой случайности.

Пропивая как-то в «Бедных людях» мелкий гонорар, он подслушал разговор двух известных телешоуменов — дело было за полночь, и они продолжали начатую в другом

месте пьянку. Татарский сидел всего в паре метров от них, но они обращали на него не больше внимания, чем если бы он был чучелом копирайтера, прибитым к лавке для создания интерьера.

Несмотря на то что оба шоумена были изрядно пьяны, они не потеряли сверкающей вальяжности, какого-то голографического блеска в каждой складке одежды, как будто это не их физические тела сидели за соседним столом, а просто рядом с Татарским работал огромный телевизор, по которому их показывали. Заметив этот труднообъяснимый, но несомненный эффект. Татарский подумал, что в загробной бане им придется долго отскабливать человеческое внимание, ввевшееся в поры их душ. Впрочем, даже в пьяном состоянии Татарский насторожился: вечность опять норовит принять форму бани. Угасив эту мысль, он стал просто слушать. Шоумены говорили о делах — у одного из них, как понял Татарский, были проблемы с контрактом.

— Только бы на следующий год продлили, — сжимая кулаки, говорил он.

— Ну продлят, — отвечал другой, — а потом? Ведь год пройдет — и опять то же самое. Опять будешь валидол глотать...

— Денег наворую, — тихо, как бы по секрету и как бы в шутку, ответил первый.

— А дальше что?

— Дальше? А дальше у меня есть серьезный и продуманный план...

Он навалился на стол и налил себе водки.

— Не хватает пятисот тысяч, — сказал он. — Вот их и хочу украсть.

— Какой план?

— Никому не скажешь? Слушай...

Он полез во внутренний карман пиджака, долго там шарил и наконец вынул сложенный вчетверо лист глянцевого бумаги.

— Вот, — сказал он, — тут написано... Королевство Бутан. Единственная в мире страна, где запрещено телевидение. Понимаешь? Совсем запрещено. Тут написано, что недалеко от столицы у них есть целая колония, где живут бывшие телемагнаты. Если ты всю жизнь работал на телевидении, то самое крутое, что ты можешь сделать, когда уходишь от дел, — это уехать в Бутан.

— Тебе для этого пятьсот тысяч нужно?

— Нет. Это мне здесь заплатить, чтоб в Бутане потом не искали. Ты можешь себе представить? Запрещено! Ни одного телевизора, только в контрразведке! И в посольствах!

Второй взял у него лист, развернул его и стал читать.

— То есть, понимаешь, — не умолкал первый, — если кто-то хранит у себя телевизор и про это узнают власти, к нему приходит полиция, понимаешь? Берут этого пидараса и ведут в тюрьму. А может, вообще расстреливают.

Он произносил слово «пидарас» с тем сабельно-свистящим придыханием, которое встречается только у латентных гомосексуалистов, лишивших себя радостей любви во имя превратно понятого общественного договора. Второй все понимал и не обижался — он разглядывал статью.

— А, — сказал он, — из журнала. Действительно интересно... Кто написал-то? Где... Какой-то Эдуард Дебир-сян...

Чуть не опрокинув стул. Татарский встал и направился в туалет. Его не удивило такое отношение телевизионщиков к своему труду, хотя степень духовной извращенности этих людей давала возможность допустить, что кто-то из них даже любит свою работу. Доконало

его другое. У Саши Бло была особенность — те материалы, которые ему нравились, он подписывал своим настоящим именем. А больше всего на свете ему нравилось выдавать продукты своего разыгравшегося воображения за хронику реальных событий — но он позволял это себе довольно редко.

Раскатав дорожку кокаина прямо на холодной белой щеке сливного бачка, Татарский, не дробя комков, втянул ее через свернутую сторублевку (доллары уже кончились), вытащил свою книжечку и записал:

Сама по себе стена, на которой нарисована панорама несуществующего мира, не меняется. Но за очень большую сумму можно купить в качестве вида за окном намалеванное солнце, лазурную бухту и тихий вечер. К сожалению, автором этого фрагмента тоже будет Эдик — но даже это не важно, потому что само окно, для которого покупается вид, тоже нарисовано. Тогда, может быть, и стена нарисована? Но кем и на чем?

Он поднял глаза на стену туалета, словно в надежде увидеть там ответ. На кафеле красным фломастером были начерчены веселые округлые буквы короткого слогана:

TRAPPED? MASTURBATE! [f101](#)

Вернувшись в зал, он сел подальше от шоуменов и попытался последовать народной мудрости — расслабиться и получить удовольствие. Это, однако, не удалось — как всегда. Отвратительный московский кокаин, разбодя-женный немытыми руками длинной цепи дилеров, оставлял в носоглотке букет аптечных запахов — от стрептоцида до аспирина — и рождал в теле тяжелое напряжение и дрожь. Говорили, что порошок, за грамм которого в Москве берут сто пятьдесят долларов, вообще никакой не кокаин, а смесь эстонского «спиды» с российским фармакологическим ассортиментом: мало того, половина дилеров почему-то всегда заворачивала порошок в гляцевую рекламу «тойоты Camry», вырезанную из какого-нибудь журнала, и Татарского мучила невыносимая догадка, что они наживаются не только на чужом здоровье, но и на PR-сервисе. Каждый раз Татарский спрашивал себя, зачем он и другие платят такие деньги, чтобы вновь подвергнуть себя унижительной и негигиеничной процедуре, в которой нет ни одной реальной секунды удовольствия, а только мгновенно возникающий и постепенно рассасывающийся отходняк. Единственное объяснение, которое приходило ему в голову, было следующим: люди нюхали не кокаин, а деньги, и свернутая стодолларовая купюра, которой требовал неписанный ритуал, была даже важнее самого порошка. Если бы кокаин продавался в аптеках по двадцать копеек за грамм как средство для полоскания при зубной боли, подумал он, его нюхали бы только панки — как это, собственно, и было в начале века. А вот если бы клей «Момент» стоил тысячу долларов за флакон, его охотно нюхала бы вся московская золотая молодежь и на презентациях и фуршетах считалось бы изысканным распространять вокруг себя летучий химический запах, жаловаться на отмирание нейронов головного мозга и надолго уединяться в туалете. Кислотные журналы посвящали бы пронзительные cover stories эстетике пластикового пакета, надеваемого на голову при этой процедуре (писал бы, понятно, Саша Бло), и тихонько подверстывали бы в эти материалы рекламу каких-нибудь часов, трусиков и одеколончиков...

— О! — воскликнул Татарский, хлопнул себя по лбу, вытащил записную книжку и открыл ее на букве «О»:

Одеколony молодежной линии (независимо от производителя), — записал ОН. — Связать с деньгами и императором Веспасианом (налог на сортиры, слоган «Деньги не пахнут»). Видеоряд произвольный. Пример:

ДЕНЬГИ ПАХНУТ!
«БЕНДЖАМИН»

НОВЫЙ ОДЕКОЛОН ОТ ХУГО БОСС

Спрятав книжку, он почувствовал, что пик мерзостного ощущения уже прошел и он вполне в силах дойти до стойки и взять что-нибудь выпить. Ему хотелось текилы, но, добравшись до бармена, он почему-то взял «смирновки», которую терпеть не мог. Проглотив порцию прямо у стойки, он взял еще одну и пошел назад к своему столу. У него успел появиться сосед, мужик лет сорока с длинными сальными волосами и бородкой, одетый в какую-то несуразную курточку с вышивкой, — по виду типичный бывший хиппи, один из тех, кто не сумел вписаться ни в прошлое, ни в настоящее. На шее у него висел большой медный крест.

— Простите, — сказал Татарский, — я здесь сидел.

— И садись на здоровье, — сказал сосед. — Тебе что, весь стол нужен?

Татарский пожал плечами и сел напротив.

— Меня Григорием зовут. — приветливо сказал сосед. Татарский поднял на него утомленные глаза.

— Вова, — сказал он.

Встретившись с ним взглядом, Григорий нахмурился и жалостливо покачал головой.

— Во как колбасит тебя, — сказал он. — Нюхаешь?

— Так, — сказал Татарский. — Бывает изредка.

— Дурак, — сказал Григорий. — Ты только подумай: слизистая оболочка носа — почти что открытый мозг... А откуда этот порошок взялся и кто в него какими местами лазил, ты думал когда-нибудь?

— Только что, — признался Татарский. — А что значит — какими местами? Какими в него местами лазить можно, кроме носа?

Григорий оглянулся по сторонам, вытащил из-под стола бутылку водки и сделал большой глоток из горлышка.

— Может, знаешь, был такой писатель американский — Харольд Роббинс? — спросил он, пряча бутылку.

— Нет, — ответил Татарский.

— Мудак он полный. Но его читают все учительницы английского. Поэтому в Москве так много его книжек, а дети так плохо знают язык. У него в одном романе фигурировал негр, ебырь-профессионал. который тянул богатых белых теток. Так этот негр перед процедурой посыпал свою...

— Понял, не надо, — проговорил Татарский. — Меня вырвет сейчас.

— ...свою огромную черную залупу чистым кокаином, — с удовольствием договорил Григорий. — Ты спросишь: при чем здесь этот негр? Я тебе отвечу. Я недавно «Розу Мира» перечитывал, то место, где о народной душе. Андреев писал, что она женщина и зовут ее Навна. Так мне потом видение было — лежит она как бы во сне, на белом таком камне, и склонился над ней такой черный, смутно видимый, с короткими крыльями, лица не

разобрать, и, значит, ее...

Григорий притянул руками к животу невидимый штурвал.

— Хочешь знать, что вы все употребляете? — прошептал он, приближая к Татарскому искаженное лицо. — Вот именно. То, чем он себе посыпает. И в тот момент, когда он всовывает, вы колете и нюхаете. А когда он вынимает, вы бегаєте и ищете, где бы взять... А он все всовывает и вынимает, всовывает и вынимает...

Татарский наклонился в просвет между столом и лавкой, и его вырвало. Осторожно поднял глаза на бармена: тот был занят разговором с кем-то из посетителей и вроде ничего не заметил. Поглядев по сторонам, он увидел на стене рекламный плакат. Изображен на нем был поэт Тютчев в пенсне, со стаканом в руке и пледом на коленях. Его пронизательно-грустный взгляд был устремлен в окно, а свободной рукой он гладил сидящую рядом собаку. Станным, однако, казалось то, что кресло Тютчева стояло не на полу, а на потолке. Татарский опустил взгляд чуть ниже и прочел слоган:

UMOM ROSSIJU NYE PONYAT,
V ROSSIJU MOJNO TOLKO VYERIT.
«SMIRNOFF»

Все было спокойно. Татарский разогнулся. Он чувствовал себя значительно лучше. Григорий откинулся назад и сделал еще один глоток из бутылки.

— Отвратительно, — констатировал он. — Жить надо чисто.

— Да? А как это? — спросил Татарский, вытирая рот салфеткой.

— Только ЛСД. Только на кишку, и только с молитвой.

Татарский помотал головой, как вылезшая из воды собака.

— Где ж его взять-то?

— Как где? — оскорбился Григорий. — Ну-ка, перелезай сюда.

Татарский послушно встал со своего места, обошел вокруг стола и подсел к нему.

— Я их уже восемь лет собираю, — сказал Григорий, вынимая из-под куртки небольшой альбом для марок. — Глянь-ка.

Татарский раскрыл альбом.

— Ни фига себе, — сказал он. — Сколько их тут разных.

— Это что, — сказал Григорий. — У меня здесь только на обмен и на продажу. А дома у меня две полки таких альбомчиков.

— А они что, все по-разному действуют?

Григорий кивнул.

— А почему?

— Во-первых, разный химический состав. Я сам глубоко не вникал, но к кислоте всегда что-то подмешано. Фенаминчик там, барбитура или еще что. А когда всё вместе действует, эффект получается кумулятивный. Но все-таки самое главное — это рисунок. Ты ведь никуда не можешь деться от факта, что глотаешь Мэла Гибсона или красную гвоздику, понимаешь? Твой ум это помнит. И когда кислота до него доходит, все идет по намеченному руслу. Трудно объяснить... Ты ее вообще ел хоть раз?

— Нет, — сказал Татарский. — Я больше по мухоморам. Григорий вздрогнул и перекрестился.

— Тогда чего тебе рассказывать. — сказал он, поднимая на Татарского недоверчивый взгляд. — Сам понимать должен.

— Да я понимаю, понимаю, — сказал Татарский небрежно. — А вот эти, с черепом и костями, их тоже кто-то берет? Есть любители?

— Всякие берут. Люди ведь тоже всякие.

Татарский перевернул страницу.

— Ух ты, красота какая, — сказал он. — Это Алиса в Стране чудес?

— Ага. Только это блок. Двадцать пять доз. Дорогой. Вот эта хорошая, с распятием. Только не знаю, как она на твои мухоморы ляжет. С Гитлером не советую. Сначала круто, но потом обязательно будет несколько секунд вечных мучений в аду.

— Как это — несколько секунд вечных мучений? Если всего несколько секунд, то почему они вечные?

— Это только пережить можно. М-да. А можно и не пережить.

— Понял, — сказал Татарский, переворачивая страницу. — А твой глюк по «Розе Мира» — он у тебя от какой был? Здесь она есть?

— Не глюк, а видение, — поправил Григорий. — Здесь такой нет. Это редкая марочка была, с драконом-победоносцем. Из немецкой серии «Bad trip Иоанна Богослова»^[11]. Тоже не советую. Они чуть повыше обычных и поуже, и твердые такие. Даже скорее не марочка, а таблетка с наклейкой. Много вещества. Знаешь, я бы тебе вот эту посоветовал, с синим Раджнишем. Мягкая, добрая. И на бухло отлично ляжет...

Внимание Татарского привлекли три одинаковых сиреневых квадратика, стоявшие между маркой с «Титаником» и маркой с каким-то смеющимся восточным божеством.

— А вот эти три одинаковых — что это такое? — спросил он. — Кто здесь нарисован? С бородкой и в колпаке? Не поймешь — не то Ленин, не то дядя Сэм.

Григорий одобрительно хмыкнул.

— Вот что такое инстинкт, — сказал он. — Кто здесь нарисован, я не знаю. Но вещь это очень крутая. Отличается она тем, что здесь кислота смешана с метаболитом. Поэтому действовать начинает очень быстро и очень резко, минут через двадцать. И дозняк здесь такой, что на взвод солдат хватит. Я бы тебе не дал такую, но если ты мухоморы ел...

Татарский заметил, что на них внимательно смотрит охранник.

— Беру, — сказал он, — сколько?

— Двадцать пять долларов, — сказал Гриша.

— У меня сто рублей только осталось.

Гриша подумал секунду и махнул рукой.

— Давай, — согласился он.

Татарский протянул ему свернутую трубочкой банкноту, взял марку и спрятал ее в нагрудный карман.

— Во, — сказал Гриша, убирая альбом. — А эту дрянь ты больше не нюхай. От нее еще никому ничего хорошего не было. Только усталость, стыд за вчерашнее и кровь из носа.

— Ты знаешь, что такое сравнительное позиционирование? — спросил Татарский.

— Нет, — ответил Григорий. — Что это?

— Это рекламная техника, в которой ты достиг выдающегося мастерства.

Григорий собирался сказать что-то в ответ, но не успел — над столом нависла тяжелая туша охранника.

— Ребятки, — сказал он, — шли бы вы себе в какой парадняк потемнее. У вас на это сорок секунд.

На следующее утро Татарского разбудил телефонный звонок. Первым его чувством была досада — звонок перебил очень странный и красивый сон. в котором Татарский сдавал экзамен. Во сне он сначала тянул один за другим три билета, а потом поднимался вверх по длинному спиральному подъему, вроде того, который был в одном из корпусов его первого института, где он изучал электроплавильные печи. Ему надо было найти экзаменаторов самому, но каждый раз, когда он открывал одну из дверей, вместо аудитории перед ним открывалось закатное подмосковное поле, по которому он гулял с Гиреевым в тот достопамятный вечер. Это было очень странно, потому что в своих поисках он успел подняться на несколько этажей вверх.

Проснувшись до конца, он немедленно вспомнил о Григории и его альбоме. «Купил, — подумал он с ужасом, — и съел...» Вскочив с кровати, он подошел к столу, выдвинул верхний ящик и увидел марку с улыбающимся сиреневым лицом. «Нет, — подумал он, — слава Богу...» Положив марку в самый дальний угол ящика, он накрыл ее коробкой цветных карандашей.

Телефон между тем все еще звонил. «Пугин», — решил Татарский и взял трубку.

— Алло, — сказал незнакомый голос, — могу я поговорить с Татарским... э-э... господином?

Татарский не обиделся — по запутавшейся интонации собеседника он понял, что тот по ошибке произнес сначала фамилию, а потом социальный артикль.

— Это я.

— Здравствуйте. Говорит Владимир Ханин из агентства «Тайный советчик». Ваш телефон у меня остался от Димы Пугина. Не могли бы мы с вами сегодня встретиться? Лучше прямо сейчас.

— А что такое? — спросил Татарский, уже понимая по этому «остался», что с Пугиным случилось что-то нехорошее.

— Дима скончался. Я знаю, что вы с ним работали. А он работал со мной. Так что косвенно мы знакомы. Во всяком случае несколько ваших работ, по которым вы ждете ответа от Пугина, у меня на столе.

— А как это случилось?

— При встрече, — сказал новый знакомый. — Запишите адрес.

Через полтора часа Татарский вошел в огромный комплекс комбината «Правда» — туда, где когда-то помещались редакции чуть ли не всех советских газет. На вахте для него был выписан пропуск. Он поднялся на восьмой этаж и нашел комнату с нужным номером; на ее двери висела металлическая табличка со словами «Идеологический отдел» — явное советское наследство.

Ханин был в комнате один. Это был мужчина средних лет с приятным бородатым лицом — он сидел за столом и что-то торопливо писал.

— Проходите и садитесь, — сказал он, не поднимая головы. — Я сейчас.

Татарский сделал два шага в глубь комнаты, увидел приклеенный скотчем к стене рекламный плакат и чуть не подавился собственной слюной. Как следовало из текста под фотографией, это была реклама нового вида отдыха с попеременным использованием совместно арендуемыми апартаментами — Татарский уже слышал, что это такое же

мошенничество, как и все остальное в жизни. Но дело было не в этом. Метровая фотография изображала три пальмы на каком-то райском острове, и эти три пальмы точь-в-точь повторяли голографический рисунок с пачки «Парламента», найденной им на зиккурате. Но даже это было пустяком по сравнению со слоганом. Под фотографией крупными черными буквами было написано:

IT WILL NEVER BE THE SAME!

— Я же говорю, садитесь! Вот стул.

Голос Ханина вывел Татарского из транса. Он сел и неловко пожал протянутую ему через стол руку.

— Чего там такое? — спросил Ханин, косясь на плакат.

— Так, — сказал Татарский. — Дежа вю.

— А! Понятно, — сказал Ханин таким тоном, словно ему и правда что-то стало понятно. — Значит, так. Сначала о Пугине...

Постепенно приходя в себя, Татарский стал слушать.

Это было явное ограбление по наводке, причем грабитель, судя по всему, знал, что Пугин работал таксистом в Нью-Йорке. История звучала жутко и не очень правдоподобно: когда Пугин прогрел мотор, к нему в машину, на заднее сиденье, сели двое и назвали адрес: Вторая авеню, угол Двадцать седьмой улицы. В каком-то рефлекторно-гипнотическом трансе Пугин тронулся с места, свернул в переулок — и это было все. что он успел рассказать милиции и врачам. В его теле насчитали семь пулевых ран — стреляли прямо сквозь спинку кресла. Пропало несколько тысяч долларов, которые Пугин вез с собой, и какая-то папочка — о ней он не переставая бредил до самой смерти.

— А папочка, — грустно сказал Ханин, — не пропала. Вот она. Он ее у меня забыл. Хочешь посмотреть? Я пока пару звонков сделаю.

Татарский взял в руки бесцветный скоросшиватель из картона. Ему вспомнилось усатое лицо Пугина, такое же бесцветное, как этот картон, и черные пуговицы его глаз, похожие на пластмассовые заклепки. Видимо, в папке были работы самого Пугина — тот столько раз намекал, что судит о чужих произведениях не просто как сторонний наблюдатель. Кое-что было по-английски. «Наверно, — решил Татарский, — он уже в Нью-Йорке начал». Пока Ханин говорил по телефону о каких-то расценках. Татарскому попало два настоящих шедевра. Первый был для Calvin Klein:

Изящный, чуть женственный Гамлет (общая стилистика — unisex), в черном трико и голубой курточке, надетой на голое тело, медленно бредет по кладбищу. Возле одной из могил он останавливается, нагибается и поднимает из травы череп розового цвета. Крупный план — Гамлет, слегка нахмутив брови, вглядывается в череп. Вид сзади — крупный план упругих ягодиц с буквами СК. Другой план — череп, рука, буквы СК на синей курточке. Следующий кадр — Гамлет подкидывает череп и бьет по нему пяткой. Череп взлетает высоко вверх, потом по дуге несется вниз и, словно в баскетбольное кольцо, проскакивает точно в бронзовый венок, который держит над одной из могил мраморный ангел. Слоган:

— JUST BE. CALVIN KLEIN^[121]

Второй слоган, который понравился Татарскому, был предназначен для московской сети магазинов Gap и был нацелен, как явствовало из предисловия, на англоязычную

прослойку, насчитывающую до сорока тысяч человек. На плакате предполагалось изобразить Антона Чехова: первый раз в полосатом костюме, второй раз — в полосатом пиджаке, но без штанов: при этом контрастно выделялся зазор между его голыми худыми ногами, чем-то похожий на готические песочные часы. Затем, уже без Чехова, повторялся контур просвета между его ногами, действительно превращенный в часы, почти весь песок в которых стек вниз. Текст был такой:

RUSSIA WAS ALWAYS NOTORIOUS FOR THE GAP BETWEEN CULTURE AND CIVILIZATION. NOW THERE IS NO MORE CULTURE. NO MORE CIVILIZATION. THE ONLY THING THAT REMAINS IS THE GAP. THE WAY THEY SEE YOU ^[131]

Перевернув еще несколько листов, Татарский наткнулся на свой собственный текст для «Парламента». Сразу стало ясно, что все остальное тоже придумал не Пугин. Воображение между тем успело нарисовать портрет замаскировавшегося титана рекламной мысли, способного срифмовать штаны хоть с Шекспиром, хоть с русской историей. Но этот виртуальный Пугин, подобно тяжелому металлу из конца периодической таблицы, просуществовал в сознании Татарского считанные секунды и распался.

Ханин попрощался и повесил трубку. Татарский поднял глаза и с удивлением увидел, что на столе стоит бутылка текилы, два стакана и блюдо с нарезанным лимоном — Ханин ловко сделал все приготовления во время разговора.

— Помянем? — спросил он.

Татарский кивнул. Чокнувшись, они выпили. Татарский раздавил деснами лимонную дольку и стал напряженно составлять подходящую к случаю фразу, но телефон зазвонил снова.

— Что? Что? — спросил Ханин в трубку. — Не знаю. Это дело очень серьезное. Так что езжайте прямо в Межбанковский комитет... Да-да, в башню.

Повесив трубку, он пристально поглядел на Татарского.

— А теперь, — сказал он, убирая со стола текилу, — давай разберем твои последние работы, если не возражаешь. Ты ведь понял, я полагаю, что Дима их мне носил?

Татарский кивнул.

— Значит, так... Про «Парламент» ничего не скажу — хорошо. Но если ты уж взялся за такую тему, зачем ты себя сдерживаешь? Расслабься! Идти — так до конца! Пусть на всех четырех танках стоит по Ельцину с цветком в одной руке и стаканом в другой...

— Мысль, — с воодушевлением согласился Татарский, почувствовав, что перед ним сидит человек с пониманием. — Но тогда надо убрать здание парламента и сделать это рекламой для этого виски... Как его — где четыре розы на этикетке...

— Бурбон «4 Roses»? — сказал Ханин и хмыкнул. — А чего, можно. Запиши себе где-нибудь.

Он пододвинул к себе несколько сшитых скрепкой листов, в которых Татарский сразу же узнал стоивший ему больших усилий проект для компании «ТАМПАКО», которая производила соки, но продавать почему-то собиралась акции, — он сдал его покойному Пугину недели две назад. Это был не сценарий, а концепция, то есть произведение довольно парадоксального жанра: разработчик как бы объяснял очень богатым людям, как им жить дальше, и просил дать ему за это немного денег. Листы со знакомым текстом были густо исчерканы красным.

— Ага, — сказал Ханин, разглядывая пометки, — а вот здесь у нас есть проблемы. Во-

первых, их сильно обидел один совет.

— Какой?

— Сейчас прочитаю, — сказал Ханин, переверачивая страницы, — где это... красным было подчеркнуто... да тут все почти подчеркнуто... ага, вот — в три черты. Слушай:

«Итак, существует два метода в рекламе акций: подход, формирующий у вкладчика образ фирмы-эмитента, и подход, формирующий у вкладчика образ вкладчика. На профессиональном языке эти подходы называются «куда нести» и «с кем нести». Их последовательное применение требует огромного.» — нет, это как раз им понравилось... ага, вот: «на наш взгляд, перед началом кампании целесообразно подумать об изменении названия фирмы. Это связано с тем, что на российском телевидении активно проводится реклама гигиенических средств ТАМПАКС. Это понятие занимает настолько устойчивую позицию в сознании потребителя, что для его вытеснения и замещения потребуются огромные затраты. Связь ТАМПАКО — ТАМПАКС чрезвычайно неблагоприятна для фирмы, производящей прохладительные напитки. Ассоциативный ряд, формируемый таким названием, — «напиток из тампонов». На наш взгляд, достаточно поменять предпоследнюю гласную в названии фирмы: ТАМПУКО или ТАМПЕКО. При этом негативная ассоциация снимается полностью...»

Ханин поднял глаза.

— Слов ты много выучил, хвалю, — сказал он. — Но как ты не понимаешь, что таких вещей не предлагают? Ведь они в этот свой «Тампако» всю кровь сердца влили. Это для них как... Короче, у людей полное самоотождествление со своим продуктом, а ты им такие вещи говоришь. Это как маме сказать: ваш сыночек, конечно, урод, но мы ему морду немного краской подведем, и будет нормально.

— Но ведь действительно название жуткое.

— Ты чего хочешь — чтобы они были счастливы или ты?

Ханин был прав. Татарский почувствовал себя вдвойне глупо, вспомнив, как в самом начале своей карьеры объяснял эту же мысль ребятам из «Драфт Подиума».

— А вообще концепция? — спросил он. — Там же много всего.

Ханин перевернул еще одну страницу.

— Как тебе сказать. Вот тут еще подчеркнули — это в конце, где опять про акции...

Читаю:

«Таким образом, на вопрос «куда нести» дается ответ «в Америку», а на вопрос «с кем нести» дается ответ «вместе со всеми, кто не понес в «МММ» и другие пирамиды, а ждал, когда можно будет отнести в Америку». Такова психологическая кристаллизация после первого этапа кампании — причем отметим, что реклама не должна обещать разместить средства вкладчиков в Америке, — она должна вызывать такое ощущение...» Кстати, на фига ты это подчеркнул? Что-то очень умное, да? Так, дальше... «Эффект достигается широким использованием в видеоряде звездно-полосатого флага, долларов и орлов. В качестве главного символа кампании предлагается использовать секвойю, у которой вместо листьев стодолларовые купюры, что вызовет подсознательную ассоциацию с денежным деревом из сказки о Буратино...»

— И что тут не так? — спросил Татарский.

— Секвойя — это хвойное дерево.

Татарский несколько секунд молчал, ощупывая кончиком языка дупло, неожиданно обнаружившееся в зубе. Потом сказал:

— Ну и что. Можно свернуть доллары в трубочки.

— Ты не знаешь, что такое «шлемаэл»? — спросил Ханин.

— Нет.

— Я тоже. Они тут написали на полях, чтобы этот «шлемазл» — то есть ты — больше к их заказам близко не подходил. Тебя не хотят.

— Ясно, — сказал Татарский. — Меня не хотят. А если они через месяц поменяют название? А через два начнут делать то, что я предложил? Тогда как?

— Никак, — сказал Ханин. — Сам знаешь.

— Знаю. — сказал Татарский и вздохнул. — А по другим заказам? Там для сигарет «West» было.

— Тоже облом, — сказал Ханин. — Сигареты тебе всегда удавались, но сейчас...

Он перевернул еще несколько страниц.

— Что я могу сказать... Видеоряд... где это... вот:

«Двое снятых сзади голых мужчин, высокий и низкий, обнявшись за бедра, ловят машину на хайвее. У низкого в руке пачка «West», высокий поднял руку, чтобы остановить машину — приближающийся голубой «кадиллак». Рука низкого с пачкой сигарет лежит на той же линии, на которой находится поднятая рука высокого, отчего образуется еще один смысловой слой — «хореографический»: камера как бы остановила на секунду яростно-эмоциональный танец, в который вылилось предвкушение близкой свободы. Слоган — Go West».

Это из песни этих пед-жоп-бойз, которую они из нашего гимна сделали, да? Высоко, ничего не скажешь. Но вот потом у тебя идет длинный абзац про гетеросексуальную часть целевой группы. Ты это зачем написал?

— Нет, я... Я подумал, что, если у заказчика этот вопрос встанет, он будет знать, что мы это учли...

— У заказчика совсем в другую сторону встал. Заказчик — это урка из Ростова, которому один митрополит два миллиона долларов сигаретами отдал. Он — урка, конечно, а не митрополит — на полях возле слова «гетеросексуальный» написал: «Это он че, о пидарасах?» И завернул концепцию. А жалко — шедевр. Вот если бы наоборот было — если бы урка митрополиту бабки отдавал, — на ура бы прошло. Там, ясное дело, совсем другая культура. Но что делать. Наш бизнес — это лотерея.

Татарский промолчал. Ханин размял сигарету и закурил.

— Лотерея, — повторил он со значением. — Тебе в этой лотерее последнее время не везет. И я знаю почему.

— Объясните.

— Видишь ли, — сказал Ханин, — это очень тонкий момент. Ты сначала стараешься понять, что понравится людям, а потом подсовываешь им это в виде вранья. А люди хотят, чтобы то же самое им подсунули в виде правды.

Такого Татарский абсолютно не ожидал.

— То есть как? Что? Как это «в виде правды»?

— Ты не веришь в то, что ты делаешь. Не участвуешь душой.

— Не участвую, — сказал Татарский. — Еще бы. А вы чего хотите? Чтобы я это «Тампако» себе в душу пустил? Да такого ни одна блядь с Пушкинской площади не сделает.

— Не надо только становиться в позу, — поморщился Ханин.

— Да нет, — сказал Татарский, успокаиваясь, — вы меня не так поняли. Поза сейчас у всех одна, просто надо же себя правильно позиционировать, верно?

— Верно.

— Так я почему говорю, что ни одна блядь не сделает? Дело тут не в отвращении.

Просто блядь во всех случаях деньги получает — понравилось клиенту или нет, а я должен сначала... Ну, вы понимаете. И только потом клиент будет решать... А на таких условиях абсолютно точно ни одна блядь работать не станет.

— Блядь, может, и не станет, — перебил Ханин. — А мы, если хотим в этом бизнесе выжить, станем. И не то еще сделаем.

— Не знаю, — сказал Татарский. — Не уверен до конца.

— Сделаем, Вава, — сказал Ханин и посмотрел Татарскому в глаза.

Татарский насторожился.

— А вы откуда знаете, что я не Вова, а Вава?

— Пугин сказал. А насчет позиционирования... Будем считать, что ты себя отпозиционировал и я твою мысль понял. Пойдешь ко мне в штат?

Татарский еще раз посмотрел на плакат с тремя пальмами и англоязычным обещанием вечных метаморфоз.

— Кем? — спросил он.

— Криэйтором.

— Это творцом? — переспросил Татарский. — Если перевести?

Ханин мягко улыбнулся.

— Творцы нам тут на хуй не нужны, — сказал он. — Криэйтором, Веша, криэйтором.

Выйдя на улицу. Татарский медленно побрел в сторону центра.

Радости от внезапно состоявшегося трудоустройства он почти не чувствовал. Его тревожило одно — он был уверен, что никогда не рассказывал Пугину историю про свое настоящее имя, а представлялся просто Владимиром. Существовала, впрочем, ничтожная вероятность, что он проболтался по пьяному делу, а потом про это забыл — пару раз они сильно напивались вместе. Другие объяснения были так густо замешаны на генетическом страхе перед КГБ, что их Татарский отмел сразу.

Впрочем, это было неважно.

— This game has no name, — прошептал он и сжал кулаки в карманах куртки.

Недостроенный советский зиккурат всплыл в его памяти в таких мелких подробностях, что несколько раз по пальцам прошла забытая мухоморная дрожь. Мистическая сила несколько перестаралась с количеством указаний, предъявленных его испуганной душе одновременно: сначала плакат с пальмами и знакомой строчкой, потом слова «башня» и «лотерея», как бы случайно употребленные Ханиным несколько раз за несколько минут, и, наконец, этот «Вава», который тревожил больше всего.

«Может, я ослышался. — думал Татарский. — Может, у него такая дикция... Но ведь я спросил, откуда он знает, что я Вава. А он сказал — от Пугина. Нет, нельзя так напиваться, нельзя».

Минут через сорок задумчивой медленной ходьбы он оказался у статуи Маяковского. Остановившись, некоторое время внимательно изучал ее. Бронзовый пиджак, в который советская власть навсегда одела поэта, опять вошел в моду — Татарский вспомнил, что совсем недавно видел такой же фасон на рекламе Кензо.

Обойдя статую кругом и полюбовавшись надежным задом горлана и главаря. Татарский окончательно понял, что в душу заползла депрессия. Ее можно было убрать двумя методами — выпить граммов сто водки или срочно что-нибудь купить, потратив долларов пятьдесят (некоторое время назад Татарский с удивлением понял, что эти два действия вызывают

сходное состояние легкой эйфории, длящейся час-полтора).

Водки не хотелось из-за только что всплывших воспоминаний о пьянках с Пугиным. Татарский огляделся. Магазинов вокруг было много, но все какие-то очень специальные. Жалюзи, например, ему были ни к чему. Он стал вглядываться в вывески на той стороне Тверской и вздрогнул от изумления. Это было уже чересчур: на стене дома по Садовому кольцу белела видная под острым углом вывеска с ясно различимым словом «Иштар».

Через минуту или две, немного запыхавшись, он уже подходил ко входу. Это был крошечный магазин-однодневка, только что переделанный из бутербродной, но уже несущий на себе печать упадка и скорого заката: плакат в окне объявлял пятидесятипроцентный сэйл.

Внутри, в удвоенной настенными зеркалами тесноте, размещалось несколько длинных вешалок с разнообразной джинсой и длинный стеллаж с обувью — главным образом кроссовками. Татарский, совсем как лермонтовский демон, окинул это кожано-резиновое великолепие скупающим взором, и на его высоком челе не отразилось ничего. Больше того, было вполне ясно: и тут кинули. Лет десять назад новая пара кроссовок, привезенная дальним родственником из-за бугра, становилась точкой отсчета нового периода в жизни — рисунок подошвы был подобием узора на ладони, по которому можно было предсказать будущее на год вперед. Счастье, которое можно было извлечь из такого приобретения, было безмерным. Теперь, чтобы заслужить право на такой же его объем, надо было покупать как минимум джип, а то и дом. На это у Татарского денег не было, и он не ожидал, что в обозримом будущем они появятся. Кроссовок, правда, можно было купить вагон, но они больше не радовали душу. Наморщив лоб. Татарский несколько секунд вспоминал, как этот феномен назывался на профессиональной фене, а вспомнив, достал книжечку и открыл ее на букву «Н», где была «недвижимость».

Инфляция счастья, — торопливо застрочил он, — надо платить за те же его объемы больше денег. Использовать при рекламе недвижимости:

Дамы и Господа! За этими стенами вас никогда не коснется когнитивный диссонанс! Поэтому вам совершенно незачем знать, что это такое.

— Вам помочь? — спросила девушка-продавщица.

Татарский сделал успокаивающий жест, раскрыл последнюю страницу, куда он сбрасывал все малофункциональное, и дописал:

Вещизм. Как ныне собирается Вещий Олег — то есть за вещами в Царьград. Первый барахольщик (еще и бандит — наехал на хазаров). Возможен клип для чартерных рейсов и шоп-туров в Стамбул:

Дамы и Господа! На том стояла и стоит земля Русская! Вариант — «Вернуться к Истоку».

— Что ищете? — повторила девушка-продавщица. Ей определенно не нравилось, что посетитель пишет что-то в книжечке, — это вполне могло кончиться наездом какой-нибудь инспекции.

— Мне бы что-нибудь из обуви, — с вежливой улыбкой ответил Татарский. — Легкое, на лето.

— Туфли? Кроссовки? Кеды?

— Кеды, — сказал Татарский. — Я уже столько лет не видел кедов.

Девушка подвела его к стеллажу.

— Вот, — сказала она. — На платформе.

Татарский взял в руки белый высокий кед.

— А чего это за фирма? — спросил он.

— Ноу нэйм, — сказала девушка. — Английские.

— Как-как? — спросил он с недоумением.

Девушка повернула кед задником, и он увидел на пятке резиновую нашлепку с надписью «NO NAME».

— А сорок третий размер у вас есть? — спросил Татарский.

Из магазина он вышел в новых кедах — ботинки, завернутые в пластиковый пакет, лежали в сумке. Он уже точно знал, что весь его сегодняшний маршрут не случаен. и очень боялся совершить ошибку, свернув куда-нибудь не туда. Поколебавшись, он медленно пошел вниз по Садовой.

Метров через пятьдесят ему попался табачный ларек. Подойдя к нему за сигаретами. Татарский удивился неожиданно большому выбору презервативов, больше подходившему для аптеки. Среди малазийских «Кама-сутр» с сисястыми шакти выделялось странное полупрозрачное приспособление из синей резины со множеством толстых шипов, очень похожее на голову главного демона из фильма «Hellraiser»^[14]. Под ним была табличка с подписью «многообразный».

Но внимание Татарского привлек аккуратный черно-желто-красный квадрат с похожим на печать германским орлом в двойном черном круге и надписью «Slco». Он так походил на маленький штандарт, что Татарский купил целых две пачки. На обороте упаковки было написано: «Покупая презервативы Sico, вы доверяетесь традиционному германскому качеству и контролю».

«Умно, — подумал Татарский. — Очень умно».

Несколько минут он размышлял на эту тему, сочиняя слоган. Наконец нужная фраза ярко вспыхнула в голове.

— Slco. «БМВ» в мире гандонов, — прошептал он и вытащил из кармана записную книжку. Раскрыв ее на букву «П». перенес туда свою находку. Там обнаружился другой забытый слоган из той же области, написанный для алых презервативов польско-индонезийского производства «Passion»:

МАЛ, ДА УД АЛ

Спрятав книжку. Татарский огляделся. Он стоял на углу Садово-Триумфальной и какой-то другой улицы, ответвляющейся вправо. Прямо перед его лицом на стене был плакат с надписью «Путь к себе» и зовущая за угол желтая стрелка. Душа Татарского на секунду оторопела, а потом ее заполнила мрачная догадка, что «Путь к себе» — это магазин.

— А что же еще! — пробормотал Татарский.

Магазин удалось найти только после изрядного петляния по прилегающим дворам — к концу дороги он вспомнил, что Гиреев рассказывал про это заведение, называя его сокращенно — «Пуке». Крупных вывесок нигде видно не было, только на двери непримечательного двухэтажного домика была табличка с рукописным словом «Открыто». Татарский, конечно, понял, что так было устроено не по недомыслию, а для нагнетания эзотерических предчувствий. Но тем не менее методика подействовала и на него — шагая по лестнице, ведущей в магазин, он заметил, что находится в состоянии легкого благоговения.

Сразу же за дверью он понял, что инстинкт вывел его в нужное место. Над прилавком висела черная майка с портретом Че Гевары и подписью «Rage Against the Machine» ^[15]. Под майкой была табличка «Бестселлер месяца!». Это было неудивительно — Татарский знал (и даже писал об этом в какой-то концепции), что в области радикальной молодежной культуры ничто не продается так хорошо, как грамотно расфасованный и политически корректный бунт против мира, где царит политкорректность и все расфасовано для продажи.

— Какие размеры? — спросил он продавщицу, очень миленькую девушку какого-то вавилонско-ассирийского типа.

— Одна осталась, — ответила та. — Как раз на вас.

Заплатив, он спрятал майку в сумку и нерешительно застыл у прилавка.

— Хрустальных шаров есть новая партия, берите, пока не разобрали, — промурлыкала девушка и стала перебирать стопку детских нагрудничков с руническими письменами.

— А зачем они? — спросил Татарский.

— Для созерцания.

Татарский собирался спросить, надо ли созерцать нечто через эти шары или в самих этих шарах, но неожиданно заметил на стене маленькую полочку — прежде она была скрыта майкой, которую он только что купил. На ней, под заметным слоем пыли, покоились два объекта труднодостижимой природы.

— Скажите, пожалуйста, — заговорил он, — а что это там такое? Это летающая тарелка, что ли? Что это на ней за узорчик?

— Это фрисби высшей практики, — сказала девушка, — а то, что вы называете узорчиком. — синяя буква «хум».

— А зачем? — спросил Татарский, в сознании которого скользнуло мрачное воспоминание, связанное с мухоморами и Гиреевым. — Чем она отличается от простой фрисби?

Девушка чуть скривила губы.

— Кидая фрисби с синей буквой «хум», вы не просто кидаете пластмассовый диск, а создаете заслуги. Десять минут кидания фрисби с синим «хум» по создаваемой заслуге эквивалентны трем часам медитации шаматха или одному часу медитации випашьяна.

— А-а, — неуверенно протянул Татарский. — А заслуга перед кем?

— Как перед кем!.. — сказала девушка, подняв брови. — Вы покупать собираетесь или вам поговорить хочется?

— Покупать, — сказал Татарский. — Но я же должен знать, что беру. А справа от высшей практики что?

— А это планшетка. Классика.

— Для чего она?

Девушка вздохнула. Видно было, что за день она устала от идиотов. Сняв планшетку с полки, она поставила ее на прилавок перед Татарским.

— Ставите на лист бумаги, — сказала она. — Можно на принтер вот за эти зажимы. Сюда пропускаете бумагу и ставите на медленную построчную подачу. Заряжать удобнее рулоном. В этот паз вставляете ручку, лучше брать гелевую с шариком. Сверху кладете руки — вот так, показываю. Потом входите в контакт с духом и позволяете рукам произвольно двигаться. Ручка будет записывать получающийся текст.

— Слушайте, — сказал Татарский, — вы только не сердитесь, но я правда хочу знать —

с каким духом?

— Брать будете — тогда скажу.

Татарский вынул бумажник и отсчитал нужное количество денег. Для куса лакированной фанеры на трех колесиках стоила планшетка освежающе дорого — и эта несообразность цены и предмета вызывала доверие, к которому вряд ли привели бы объяснения любой глубины.

— Вот, — сказал он, кладя банкноты на прилавок. — Так с каким духом входить в контакт?

— Ответ на этот вопрос зависит от вашего уровня личной силы, — сказала девушка, — и особенно от вашей веры в существование духов. Если вы останавливаете внутренний диалог по методике из второго тома, то входите в контакт с духом абстрактного. А если вы христианин или сатанист, можно с конкретными... Вас какие интересуют?

Татарский пожал плечами.

Девушка подняла кристалл, висевший у нее на шее на черном кожаном ремешке, и две-три секунды смотрела сквозь него на Татарского, прямо в центр его лба.

— Вы кто по профессии? — спросила она. — Чем занимаетесь?

— Рекламой, — ответил Татарский. Девушка сунула руку под прилавок, вынула оттуда общую тетрадь в клетку и некоторое время листала страницы, расчерченные в таблицу, графы которой были исписаны мелким почерком.

— Вам, — сказала она наконец, — лучше всего подошло бы считать получающийся текст свободным выходом подсознательной психической энергии при посредстве моторных навыков письма. Своего рода чистка авгиевых конюшен сотрудника рекламной сферы. Такой подход меньше всего оскорбит духов.

— Простите-простите, — сказал Татарский, — то есть вы хотите сказать, что духи будут оскорблены, узнав, что я сотрудник рекламной сферы?

— Я полагаю, да. Поэтому лучшей защитой от их гнева было бы подвергнуть их существование сомнению. В конце концов, всё в этом мире — вопрос интерпретации, и квазинаучное описание спиритического сеанса так же верно, как и все остальные. Да и потом, любой просветленный дух согласится с тем, что он не существует.

— Интересно. А как духи догадаются, что я сотрудник рекламной сферы? У меня это что, на лбу написано?

— Нет, — сказала девушка. — Это на рекламе написано, что она из вашего лба.

Татарский чуть было не обиделся на эти слова, но после короткого размышления почувствовал себя скорее польщенным.

— Знаете, — сказал он, — если мне понадобится консультация по духовным вопросам, я зайду к вам. Не возражаете?

— Всё в руках Аллаха, — ответила девушка.

— Позвольте, — вдруг повернулся к ней молодой человек с широкими зрачками, мирно глядевший до этого в огромный хрустальный шар. — Как это всё? А сознание Будды? Руки Аллаха ведь есть только в сознании Будды. С этим вы не станете спорить?

Девушка за прилавком вежливо улыбнулась.

— Конечно нет, — сказала она. — Руки Аллаха есть только в сознании Будды. Но вся фишка в том, что сознание Будды все равно находится в руках Аллаха.

— Как писал Исикава Такубоку, — вмешался мрачный покупатель мефистофелевского вида, подошедший тем временем к прилавку, — оставь, оставь этот спор... Мне говорили,

что у вас была брошюра Свами Жигалкина «Летние мысли сансарического существа». Вы не могли бы посмотреть? Наверно, на той полке, не-не, вот там, слева, под берцовой флейточкой...

Планшетка смотрелась на столе как танк на центральной площади маленького европейского городка. Стоявшая рядом закрытая бутылка «Johnny Walker» напоминала рагушу. Соответственно красненькое, которое Татарский допивал, тоже мыслилось в этом ряду. Его вместилище — узкая длинная бутылка — походило на готический собор, занятый под горком партии, а пустота внутри этой бутылки напоминала об идеологической исчерпанности коммунизма, бессмысленности исторических кровопролитий и общем кризисе русской идеи. Припав к горлышку, Татарский допил остаток вина и швырнул пустую бутылку в корзину для бумаг. «Бархатная революция», — подумал он.

Он сидел за столом в майке с надписью «Rage Against the Machine» и дочитывал инструкцию к планшетке. Гелевая ручка, которую он купил возле метро, без усилий встала в паз, и он закрепил ее винтом. Она была подвешена на слабой пружине, которая должна была прижимать ее к бумаге. Бумага — целая стопка — уже лежала под планшеткой; можно было начинать.

Оглядев комнату, он положил было руки на планшетку, но вдруг нервно встал, прошелся по комнате взад-вперед и затворил окна. Подумав еще немного, он зажег свечу над столом. Дальнейшие приготовления были бы просто смешными. Смешными, в сущности, были и последние.

Сев за стол, он положил руки на планшетку. «Так, — подумал он, — а теперь что? Надо что-то вслух говорить или нет?»

— Вызывается дух Че Гевары. Вызывается дух Че Гевары, — сказал он и сразу же подумал, что надо не просто вызывать дух, а задать ему какой-нибудь вопрос. — Я хотел бы узнать... ну, скажем, что-нибудь новое про рекламу, чего не было у Эла Райса и товарища Огилви, — сказал он. — Чтоб больше всех понимать.

В ту же секунду планшетка эпилептически задергалась под его ладонями, и вставленная в паз ручка вывела в верхней части листа крупные печатные буквы:

ИДЕНТИАЛИЗМ КАК ВЫСШАЯ СТАДИЯ ДУАЛИЗМА

Татарский отдернул руки и несколько секунд испуганно смотрел на надпись. Потом он положил руки назад, и планшетка пришла в движение опять, только буквы из-под ручки стали появляться мелкие и аккуратные:

Первоначально эти мысли предназначались для журнала кубинских вооруженных сил «Oliva Verde». Но глупо было бы настаивать на мелких подробностях такого рода теперь, когда мы точно знаем, что весь план существования, где выходят журналы и действуют вооруженные силы, есть просто последовательность моментов осознания, объединенных единственно тем, что в каждый новый момент присутствует понятие о предыдущих. Хоть с безначального времени эта последовательность непрерывна, само осознание не осознает себя никогда. Поэтому состояние человека в жизни плачевно.

Но великий борец за освобождение человечества Сиддхартха Гаутама во многих своих работах указывал, что главной причиной плачевного состояния человека в жизни является прежде всего само представление о существовании человека, жизни и состояния плачевности, то есть дуализм, заставляющий делить на субъект и объект то, чего на самом деле никогда не было и не будет.

Татарский вытянул исписанный лист, положил руки на планшетку, и она затряслась

ОПЯТЬ:

Сиддхартха Гаутама сумел донести эту простую истину до многих людей, потому что в его времена их чувства были простыми и сильными, а их внутренний мир — ясным и незамутненным. Одно услышанное слово могло полностью изменить всю жизнь человека и мгновенно перевести его на другой берег, к ничем не стесненной свободе. Но с тех пор прошли многие века. Сейчас слова Будды доступны всем, а спасение находит не многих. Это, без сомнения, связано с новой культурной ситуацией, которую древние тексты всех религий называли грядущим «темным веком».

Соратники!

Этот темный век уже наступил. И связано это прежде всего с той ролью, которую в жизни человека стали играть так называемые визуально-психические генераторы, или объекты второго рода

Говоря о том, что дуализм вызван условным делением мира на субъект и объекты. Будда имел в виду субъектно-объектное деление номер один. Главной отличительной чертой темного века является то, что определяющее влияние на жизнь человека оказывает субъектно-объектное деление номер два которого во времена Будды просто не существовало.

Чтобы объяснить, что подразумевается под объектами номер один и объектами номер два приведем простой пример — телевизор. Когда телевизор выключен, он является объектом номер один. Это просто ящик со стеклянной стенкой, на который мы вольны смотреть или нет. Когда взгляд человека падает на темный экран. движение его глаз управляется исключительно внутренними нервными импульсами или происходящим в его сознании психическим процессом. Например, человек может заметить, что экран засижен мухами. Или решить, что хорошо бы купить телевизор в два раза больше. Или подумать, что его хорошо было бы переставить в другой угол. Неработающий телевизор ничем не отличается от предметов, с которыми люди имели дело во времена Будды, будь то камень, роса на стебле травы или стрела с раздвоенным наконечником, — словом, все то, что Будда приводил в пример в своих беседах.

Но когда телевизор включают, он преобразуется из объекта номер один в объект номер два. Он становится феноменом совершенно иной природы. И хоть смотрящий на экран не замечает привычной метаморфозы, она грандиозна. Для зрителя телевизор исчезает как материальный объект, обладающий весом, размерами и другими физическими качествами. Вместо этого у зрителя возникает ощущение присутствия в другом пространстве, хорошо знакомое всем собравшимся.

Татарский огляделся, словно ожидая увидеть вокруг себя этих собравшихся. Никого, конечно, не обнаружилось. Вынув из-под планшетки очередной исписанный лист, он прикинул, надолго ли хватит бумаги, и вернул ладони на деревянную полочку.

Соратники!

Вопрос заключается только в том, кто именно присутствует. Можно ли сказать, что это сам зритель? Повторим вопрос, так как он очень важен, — можно ли сказать, что телевизор смотрит тот человек, который его смотрит?

Мы утверждаем, что нет. И вот почему. Когда человек разглядывал выключенный телевизор, движение его глаз и поток его внимания управлялись его собственными волевыми импульсами, пусть даже хаотичными. Темный экран без всякого изображения не оказывал на них никакого влияния или оказывал, но только как фон.

Включенный телевизор практически никогда не передает статичный вид с одной неподвижной камеры, поэтому изображение на нем не является фоном. Напротив, это изображение интенсивно меняется. Каждые несколько секунд происходит либо смена кадра, либо наплыв на какой-либо предмет, либо переключение на другую камеру — изображение непрерывно модифицируется оператором и стоящим за ним режиссером. Такое изменение изображения называется техномодификацией.

Здесь мы просим быть очень внимательными, так как следующее положение достаточно сложно понять, хотя суть его очень проста. Кроме того, может возникнуть чувство, что речь идет о чем-то несущественном. Берем на себя смелость заметить, что речь идет о самом существенном психическом феномене конца второго тысячелетия.

Смене изображения на экране в результате различных техномодификаций можно поставить в соответствие условный психический процесс, который заставил бы наблюдателя переключать внимание с одного события на другое и выделять наиболее интересное из происходящего, то есть управлять своим вниманием так, как это делает за него съемочная группа. Возникает виртуальный субъект этого психического процесса, который на время телепередачи существует вместо человека, входя в его сознание как рука в резиновую перчатку.

Это похоже на состояние одержимости духом; разница заключается в том, что этот дух не существует, а существуют только симптомы одержимости. Этот дух условен, но в тот момент, когда телезритель доверяет съемочной группе произвольно перенаправлять свое внимание с объекта на объект, он как бы становится этим духом, а дух, которого на самом деле нет, овладевает им и миллионами других телезрителей.

Происходящее уместно назвать опытом коллективного небытия, поскольку виртуальный субъект, замещающий собственное сознание зрителя, не существует абсолютно — он всего лишь эффект, возникающий в результате коллективных усилий монтажеров, операторов и режиссера. С другой стороны, для человека, смотрящего телевизор, ничего реальнее этого виртуального субъекта нет.

Больше того. Лабсанг Сучонг из монастыря Пу Эр полагает, что в случае, если некоторую программу — например, футбольный матч — будет одновременно смотреть более четырех пятых населения Земли, этот, виртуальный эффект окажется способен вытеснить из совокупного сознания людей коллективное кармическое видение человеческого плана существования, последствия чего могут быть непредсказуемыми (вполне вероятно, что в дополнение к аду расплавленного металла, аду деревьев-ножесей и т. д. возникнет новый ад — вечного футбольного чемпионата). Но его расчеты не проверены, и в любом случае это дело будущего. Нас же интересуют не пугающие перспективы завтрашнего дня, а не менее пугающая реальность сегодняшнего.

Подведем первый итог. Объекту номер два, то есть включенному телевизору, соответствует субъект номер два, то есть виртуальный зритель, который управлял бы своим вниманием так же, как это делает монтажно-режиссерская группа. Чувства и мысли, выделение адреналина и других гормонов в организме зрителя диктуются внешним оператором и обусловлены чужим расчетом. И конечно, субъект номер один не замечает момента, когда он вытесняется субъектом номер два, так как после вытеснения это уже некому заметить — субъект номер два нереален.

Но он не просто нереален (это слово, в сущности, приложимо ко всему в человеческом мире). Нет слов, чтобы описать степень его нереальности. Это нагромождение одного

несуществования на другое, воздушный замок, фундаментом которого служит пропасть. Может возникнуть вопрос — зачем барахтаться в этих несуществованиях, измеряя степень их нереальности? Но эта разница между субъектами первого и второго рода очень важна.

Субъект, номер один верит, что реальность — это материальный мир. А субъект номер два верит, что реальность — это материальный мир, который показывают по телевизору.

Будучи продуктом ложного субъектно-объектного деления, субъект номер один иллюзорен. Но у хаотического движения его мыслей и настроений, во всяком случае, есть зритель — метафорически можно сказать, что субъект номер один постоянно смотрит телепередачу про самого себя, постепенно забывая, что он зритель, и отождествляясь с передачей.

С этой точки зрения субъект номер два — нечто совершенно невероятное и неопишное. Это телепередача, которая смотрит другую телепередачу. В этом процессе участвуют эмоции и мысли, но начисто отсутствует тот, в чьем сознании они возникают.

Быстрое переключение телевизора с одной программы на другую, к которому прибегают, чтобы не смотреть рекламу, называется zapping. Буржуазная мысль довольно подробно исследовала психическое состояние человека, предающегося заппингу, и соответствующий тип мышления, который постепенно становится базисным в современном мире. Но тот тип заппинга, который рассматривался исследователями этого феномена, соответствует переключению программ самим телезрителем.

Переключение телезрителя, которым управляют режиссер и оператор (то есть принудительное индуцирование субъекта номер два в результате техномодификаций), — это другой тип заппинга, насильственный, работы по изучению которого практически закрыты во всех странах, кроме Бутана, где телевидение запрещено. Но принудительный заппинг, при котором телевизор превращается в пульт дистанционного управления телезрителем, является не просто одним из методов организации видеоряда, а основой телевидения, главным способом воздействия рекламно-информационного поля на сознание. Поэтому субъект второго рода будет в дальнейшем обозначаться как Ното Zapiens, или ХЗ.

Повторим этот чрезвычайно важный вывод: подобно тому как телезритель, не желая смотреть рекламный блок, переключает телевизор, мгновенные и непредсказуемые техномодификации изображения переключают самого телезрителя. Переходя в состояние Ното Zapiens, он сам становится телепередачей, которой управляют дистанционно. И в этом состоянии он проводит значительную часть своей жизни.

Соратники! Положение современного человека не просто плачевно — оно, можно сказать, отсутствует, потому что человека почти нет. Не существует ничего, на что можно было бы указать, сказав: «Вот, это и есть Ното Zapiens». ХЗ — это просто остаточное свечение люминофора уснувшей души; это фильм про съемки другого фильма, показанный по телевизору в пустом доме.

Закономерно возникает вопрос — почему современный человек оказался в такой ситуации? Кто пытается заменить и так заблудившегося Ното Sapiens на кубометр пустоты в состоянии ХЗ?

Ответ, разумеется, ясен — никто. Но не будем замыкаться на горьком абсурде ситуации. Для того чтобы понять ее глубже, вспомним, что главной причиной

существования телевидения является его рекламная функция, связанная с движением денег. Поэтому нам придется обратиться к направлению человеческой мысли, известному как экономика.

Экономикой называется псевдонаука рассматривающая иллюзорные отношения субъектов первого и второго рода в связи с галлюцинаторным процессом их воображаемого обогащения.

С точки зрения этой дисциплины каждый человек является клеткой организма который экономисты древности называли маммоной. В учебных материалах Фронта полного и окончательного освобождения его называют просто ORANUS (по-русски — «ротожоба»). Это больше отвечает его реальной природе и оставляет меньше места для мистических спекуляций. Каждая из этих клеток, то есть человек, взятый в своем экономическом качестве, обладает своеобразной социально-психической мембраной, позволяющей пропускать деньги (играющие в организме орануса роль крови или лимфы) внутрь и наружу. С точки зрения экономики задача каждой из клеток маммоны — пропустить как можно больше денег внутрь мембраны и выпустить как можно меньше наружу.

Но императив существования орануса как целого требует, чтобы его клеточная структура омывалась постоянно нарастающим потоком денег.

Поэтому оранус в процессе своей эволюции (а он находится на стадии развития, близкой к уровню моллюска) развивает подобие простейшей нервной системы, так называемую медиа», основой которой является телевидение. Эта нервная система рассылает по его виртуальному организму нервные воздействия, управляющие деятельностью клеток-монад.

Существует три вида этих воздействий. Они называются оральным, анальным и вытесняющим вау-импульсами (от коммерческого междометия wow!)).

Оральный вау-импульс заставляет клетку поглощать деньги чтобы уничтожить страдание от конфликта между образом себя и образом идеального сверх-я», создаваемого рекламой. Заметим, что дело не в вещах, которые можно купить за деньги, чтобы воплотить это идеальное «я», — дело в самих деньгах. Действительно, многие миллионеры ходят в рванье и ездят на дешевых машинах — но, чтобы позволить себе это, надо быть миллионером. Нищий в такой ситуации невыразимо страдал бы от когнитивного диссонанса, поэтому многие бедные люди стремятся дорого и хорошо одеться на последние деньги

Анальный вау-импульс заставляет клетку выделять деньги чтобы испытать наслаждение при совпадении упомянутых выше образов.

Поскольку два описанных действия — поглощение денег и их выделение — противоречат друг другу, анальный вау-импульс действует в скрытой форме, и человек всерьез считает, что удовольствие связано не с самим актом траты денег, а с обладанием тем или иным предметом. Хотя очевидно, что, например, часы за пятьдесят тысяч долларов как физический объект не способны доставить человеку большее удовольствие, чем часы за пятьдесят, — все дело в сумме денег.

Оральный и анальный вау-импульсы названы так по аналогии со сфинкторными функциями, хотя их вернее было бы соотнести со вдохом и выдохом: чувство, вызываемое ими, похоже на своего рода психическое удушье или, наоборот гипервентиляцию. Наибольшей интенсивности орально-анальное раздражение достигает за игорным столом

в казино или во время спекуляций на фондовой бирже, хотя способы вау-стимуляции могут быть любыми.

Вытесняющий импульс подавляет и вытесняет из сознания человека все психические процессы, которые могут помешать полному отождествлению с клеткой орануса. Он возникает когда в психическом раздражителе отсутствуют орально-анальные составляющие. Вытесняющий импульс — это глушилка-jammer, который забивает передачу нежелательной радиостанции, генерируя интенсивные помехи. Его действие великолепно выражено в поговорах Money talks, bullshit walks»^[16] и «If you are so clever show me your money»^[17]. Без этого воздействия оранус не мог бы заставить людей выполнять роль своих клеток. Под действием вытесняющего импульса, блокирующего все тонкие психические процессы, не связанные прямо с движением денег, мир начинает восприниматься исключительно как воплощение орануса. Это приводит к устрашающему результату. Вот как описал свои видения один брокер с Лондонской биржи недвижимости: Мир — это место, где бизнес встречает деньги».

Не будет преувеличением сказать, что это психическое состояние широко распространено. Все, чем занимаются современная экономика, социология и культурология. — это, в сущности, описание обменных и соматических процессов в оранусе.

По природе оранус — примитивный виртуальный организм паразитического типа. Но его особенность заключается в том, что он не присасывается к какому-то одному организму-донору, а делает другие организмы своими клетками. Каждая его клетка — это человеческое существо с безграничными возможностями и природным правом на свободу. Парадокс заключается в том, что оранус как организм эволюционно стоит гораздо ниже, чем любая из его клеток. Ему недоступно ни абстрактное мышление, ни даже саморефлексия. Можно сказать, что знаменитый глаз в треугольнике, изображенный на купюре достоинством в доллар, на самом деле ничего не видит Он просто намалеван на поверхности пирамиды художником из города Одессы, и все. Поэтому, чтобы не смущать склонных к шизофрении конспирологов, правильнее было бы закрыть его черной повязкой...

Татарскому в голову пришла внезапная мысль. Он отпустил планшечку, схватил карандаш, которым протыкал пробку красненького, и еле различимой скорописью настроил в углу листа:

1) Клип для очков «Ray-ban»: освобождение дуче, конец — крупный план Отто Скорцени, на глазной повязке надпись «Ray-ban». 2) Не забыть — рекл. клип/фотоплакат для «Sony Black Trinitron». Статуя Свободы. В ее руке вместо факела — сверкающая трубка телевизора.

Подумав, Татарский заменил «Sony» на «Panasonic» и дописал: «А вместо книги — программа телепередач». Потом он с легким чувством стыда вернул ладони обратно на планшечку. Та сохраняла оскорбленную неподвижность. Татарский подождал с минуту. Ничего не происходило. Все-таки профессионал в нем был сильнее романтика, и за это приходилось платить.

В голову ему пришла новая идея. Он снова схватил карандаш и дописал под первой надписью:

Рекл. клип/фотоплакат для «Sony Black Trinitron». Рукава кителя крупным планом. Пальцы ломают «Герцеговину Флор» и шарят по столу. Голос: — Ви не видылы маю трубку, таварыщ Горький?

— Я ее выбросил, товарищ Сталин.

— А пачему?

— Потому, товарищ Сталин, что у вождя мирового пролетариата может быть только трубка «Тринитрон-плюс»!

(Возм. вариант: «Мацусита» — мониторы «ViewSonic».) Подумать.

Кладя руки обратно на планшетку. Татарский был почти уверен, что ничего больше не произойдет и дух не простит предательства. Но как только его пальцы легли на прохладную деревянную поверхность, планшетка стронулась с места:

У орануса нет ни ушей, ни носа, ни глаз, ни ума. И он, конечно же, вовсе не является воплощением зла или исчадием ада, как утверждают многие представители религиозного бизнеса. Сам по себе он ничего не желает, так как просто не способен желать отвлеченного. Это бессмысленный полип, лишенный эмоций или намерений, который глотает и выбрасывает пустоту. При этом каждая из его клеток потенциально способна осознать, что она вовсе не клетка орануса а наоборот, оранус — всего лишь один из ничтожных объектов ее ума. Именно для блокирования этой возможности оранусу и требуется вытесняющий импульс.

Раньше у орануса была только вегетативная нервная система. Появление электронных СМИ означает, что в процессе эволюции он выработал центральную. Главным нервным окончанием орануса достигающим каждого человека в наши дни является телевизор. Мы уже говорили о том, как сознание телезрителя замещается сознанием виртуального Homo Zapiens. Теперь рассмотрим механизм воздействия трех вау-импульсов.

Человек в нормальном состоянии теоретически способен отслеживать вау-импульсы и противостоять им. Но бессознательно слитый с телепередачей Homo Zapiens — это уже не личность, а просто состояние. Субъект номер два не способен на анализ происходящего, точно так же, как на это не способна магнитофонная запись петушиного крика. Даже возникающая иллюзия критической оценки происходящего на экране является частью индуцированного психического процесса.

Через каждые несколько минут в телепередаче — то есть в сознании субъекта номер два — происходит демонстрация блока рекламных клипов, каждый из которых является сложной и продуманной комбинацией анальных, оральных и вытесняющих вау-импульсов, резонирующих с различными культурными слоями психики.

Если провести грубую аналогию с физическими процессами, получится, что пациента сначала усыпляют (вытеснение субъекта номер один субъектом номер два), а потом проводят ускоренный сеанс гипноза закрепляя память о всех его этапах условно-рефлекторной связью.

В какой-то момент субъект номер два выключает телевизор и снова становится субъектом номер один, то есть обычным человеком. После этого он уже не получает трех вау-импульсов прямо. Но возникает эффект, похожий на остаточную намагниченность. Ум начинает вырабатывать те же воздействия сам. Они возникают спонтанно и подобны фону, на котором появляются все остальные мысли. Если субъект в состоянии ХЗ подвержен действию трех вау-импульсов, то при возвращении в нормальное состояние он подвергается действию трех вау- факторов, которые автоматически генерируются его умом.

Постоянное и регулярное попадание человека в состояние ХЗ и облучение вытесняющим вау-импульсом приводит к тому, что в сознании возникает своеобразный

фильтр, который позволяет поглощать только ту информацию, которая насыщена орально-анальным вау-содержанием. Поэтому у человека не возникает даже возможности задаться вопросом о своей настоящей природе.

Но что такое его настоящая природа?

В силу ряда обстоятельств, на которых у нас нет места останавливаться, каждый может ответить на этот вопрос только сам. Каким бы жалким ни было состояние обычного человека, возможность найти ответ у него все-таки есть. Что касается субъекта номер два, то этой возможности для него нет, поскольку нет его самого. Тем не менее (а возможно, именно поэтому) медиа-система орануса, которая рассылает по информационному пространству три вау-импульса, ставит перед ХЗ вопрос о самоидентификации.

И здесь начинается самое интересное и парадоксальное. Поскольку никакой внутренней природы у субъекта номер два нет, единственная возможность ответа для него — определить себя через комбинацию показываемых по телевизору материальных предметов, которые заведомо не являются ни им, ни его составной частью. Это напоминает апофатическое богословие, где Бог определяется через то, что не есть он. только здесь мы имеем дело с апофатической антропологией.

Для субъекта номер два ответ на вопрос «Что есть я?» может звучать только так: — тот, кто ездит на такой-то машине, живет в таком-то доме, носит такую-то одежду». Самоидентификация возможна только через составление списка потребляемых продуктов, а трансформация — только через его изменение. Поэтому большинство рекламируемых объектов связываются с определенным типом личности, чертой характера, склонностью или свойством. В результате возникает вполне убедительная комбинация этих свойств, склонностей и черт, которая способна производить впечатление реальной личности. Число возможных комбинаций практически не ограничено, возможность выбора — тоже. Реклама формулирует это так: «Я спокойный и уверенный в себе человек, поэтому я покупаю красные тапочки». Субъект второго рода, желающей добавить в свою коллекцию свойств спокойствие и уверенность в себе, достигает этого, запоминая, что надо приобрести красные тапочки, что и осуществляется под действием анального вау-фактора. В классическом случае орально-анальная стимуляция закольцовывается, как в известном примере с кусающей, себя за хвост змеей: миллион долларов нужен, чтобы купить дом в дорогом районе, дом нужен, чтобы было где ходить в красных тапочках, а красные тапочки нужны, чтобы обрести спокойствие и уверенность в себе, позволяющие заработать миллион долларов, чтобы купить дом, по которому можно будет ходить в красных тапочках, обретая при этом спокойствие и уверенность.

Когда орально-анальная стимуляция замыкается, можно считать, что цель рекламной магии достигнута: возникает иллюзорная структура, у которой нет центра, хотя все предметы и свойства соотносятся через фикцию этого центра, называемую identity.

Identity — это субъект второго рода на такой стадии развития, когда он способен существовать самостоятельно, без постоянной активации тремя вау-импульсами, а только под действием трех остаточных вау-факторов, самостоятельно генерируемых его умом.

Identity — это фальшивое эго, и этим все сказано. Буржуазная мысль, анализирующая положение современного человека, считает, что прорваться через identity назад к своему эго — огромный духовный подвиг. Возможно, так оно и есть, потому что эго не

существует относительно, а identity — абсолютно. Беда только в том что это невозможно, поскольку прорываться неоткуда, некуда и некому. Несмотря на это, мы можем допустить, что лозунги «Назад к эго!» или «Вперед к эго!» приобретают в этой ситуации если не смысл, то эстетическую оправданность.

Наложение трех вау-импульсов на более тонкие процессы, происходящие в человеческой психике, рождает все посредственное многообразие современной культуры. Особую роль здесь играет вытесняющий импульс. Он подобен грохоту отбойного молотка, который глушит все звуки. Все внешние раздражители, кроме вау-орального и вау-анального, отфильтровываются, и человек теряет интерес ко всему, в чем отсутствует оральная или анальная составляющая. В нашей небольшой работе мы не рассматриваем сексуальную сторону рекламы, но заметим, что секс все чаще оказывается привлекательным только потому, что символизирует жизненную энергию, которая может быть трансформирована в деньги — а не наоборот. Это может подтвердить любой грамотный психоаналитик. В конечном счете современный человек испытывает глубокое недоверие практически ко всему, что не связано с поглощением или испусканием денег.

Внешне это проявляется в том, что жизнь становится все скучнее и скучнее, а люди — все расчетливее и суше. В буржуазной науке принято объяснять новый код поведения попыткой сохранить и законсервировать эмоциональную энергию, что связано с требованиями корпоративной экономики и современного образа жизни. На самом деле эмоций в человеческой жизни не становится меньше. Но постоянное воздействие вытесняющего вау-фактора приводит, к тому, что вся эмоциональная энергия человека перекачивается в область психических процессов, связанных с оральной или анальной вау-тематикой. Многие буржуазные специалисты инстинктивно чувствуют роль средств массовой информации в происходящем парадигматическом сдвиге, но, как говорил товарищ Альенде-младший, «ищут черную кошку, которой никогда не было, в темной комнате, которой никогда не будет». Если они даже и называют телевидение протезом для сморщившегося усохшего «я» или говорят, что медиа раздувают ставшую нереальной личность, они все равно упускают из виду главное.

Стать нереальной может только личность, которая была реальной. Чтобы сморщиться и усохнуть, это «я» должно было существовать. Выше, а также в наших предыдущих работах (см. «Русский вопрос и Сендера Луминоса») мы показали всю ошибочность такого подхода.

Под действием вытесняющего вау-фактора культура и искусство темного века редуцируются к орально-анальной тематике. Основная черта этого искусства может быть коротко определена как ротожопие.

Черная сумка набитая панками стодолларовых купюр, уже стала важнейшим культурным символом и центральным элементом большинства фильмов и книг, а траектория ее движения сквозь жизнь — главным сюжетобразующим мотивом. Точнее сказать, именно присутствие в произведении искусства этой большой черной сумки генерирует эмоциональный интерес аудитории к происходящему на экране или в тексте. Отметим, что в некоторых случаях сумка с деньгами не присутствует прямо: в этом случае ее функцию выполняет либо участие так называемых «звезд», про которых доподлинно известно, что она есть у них дома, либо навязчивая информация о бюджете фильма и его кассовых сборах. А в будущем ни одного произведения искусства не будет создаваться просто так; не за горами появление книг и фильмов, главным содержанием

которых будет скрытое воспевание «Кока-колы» и нападки на «Пепси-колу» — или наоборот.

Под действием сетки орально-анальных импульсов в человеке вызревает внутренний аудитор (характерный для рыночной эпохи вариант «внутреннего парткома»). Он постоянно производит оценку реальности, сведенную к оценке имущества и осуществляет карательную функцию, заставляя сознание невыразимо страдать от когнитивного диссонанса Оральному вау-импульсу соответствует выбрасываемый внутренним аудитором флажок «loser»^[18]. Анальному вау-импульсу соответствует флажок «winner»^[19]. Вытесняющему вау-импульсу соответствует состояние, когда внутренний аудитор одновременно вывешивает флажки «winner» и «loser».

Можно назвать несколько устойчивых типов identity. Это:

а) оральный вау-тип (преобладающий паттерн, вокруг которого организуется эмоциональная и психическая жизнь, — озабоченное стремление к деньгам).

б) анальный вау-тип (преобладающий паттерн — сладострастное испускание денег или манипулирование замещающими их объектами, называемое также анальным вау-эксгибиционизмом).

в) вытесненный вау-тип (в возможной комбинации с любым вариантом из первых двух) — когда достигается практическая глухота ко всем раздражителям, кроме орально-анальных.

Относительность этой классификации проявляется в том, что одна и та же identity может быть анальной для тех, кто стоит ниже в вау-иерархии, и оральной — для тех, кто находится выше (разумеется, никакой identity в себе не существует — речь идет о чистом эпифеномене). Линейная вау-иерархия, которую образует множество identity, выстроенных подобным образом, называется корпоративной струной. Это своего рода социальный вечный двигатель; его секрет в том, что любая identity должна постоянно сверять себя с другой, которая находится ступенькой выше. В фольклоре этот великий принцип отражен в поговорке «To keep up with the Johnes»^[20].

Организованные по принципу корпоративной струны, люди напоминают нанизанных на веревку рыб. Но в нашем случае эти рыбы еще живы. Мало того — под действием орального и анального вау-факторов они как бы ползут по корпоративной струне в направлении, которое кажется им верхом. Делать это их заставляет инстинкт или, если угодно, стремление к смыслу жизни.

А смысл жизни с точки зрения экономической метафизики — трансформация оральной identity в анальную.

Ситуация не ограничивается тем, что субъект, пораженный действием трех остаточных вау-факторов, вынужден воспринимать самого себя как identity. Вступая в контакт с другим человеком, он точно так же видит на его месте identity. Абсолютно все, что может характеризовать человека, уже соотнесено культурой темного века с орально-анальной системой координат и помещено в контекст безмерного ротожопия.

Вытесненный вау-человек анализирует любого встречного как насыщенный коммерческой информацией клип. Внешний вид другого человека его речь и поведение немедленно интерпретируются как набор вау-символов. Возникает очень быстрый неконтролируемый процесс, состоящий из последовательности анальных, оральных и вытесняющих импульсов, вспыхивающих и затухающих в сознании, в результате чего определяются отношения людей друг с другом. Ното homini lupus est — гласит один

крылатый латинизм. Но человек человеку уже давно не волк. Человек человеку даже не имиджмейкер, не дилер, не киллер и не эксклюзивный дистрибьютор, как предполагают современные социологи. Все гораздо страшнее и проще. Человек человеку вау — и не человеку, а такому же точно вау. Так что в проекции на современную систему культурных координат это латинское изречение звучит так: *Vau Vau Vau!*

Это относится не только к людям, но и вообще ко всему, что попадает в поле нашего внимания. Оценивая то, на что мы смотрим, мы испытываем тяжелую тоску, если не встречаем знакомых стимуляторов. Происходит своеобразная бинаризация нашего восприятия — любой феномен раскладывается на линейную комбинацию анального и орального векторов. Любой имидж имеет четкое денежное выражение. Если даже он подчеркнута некоммерческий, то сразу возникает вопрос, насколько коммерчески ценен такой тип некоммерциализованности. Отсюда и знакомое любому чувство, что все упирается в деньги.

И действительно, все упирается в деньги — потому что деньги давно уперлись сами в себя, а остальное запрещено. Орально-анальные всплески становятся единственной разрешенной психической реакцией. Вся остальная деятельность ума оказывается заблокированной.

Субъект второго рода абсолютно механистичен, потому что является эхом электромагнитных процессов в трубке телевизора. Единственная свобода, которой он обладает, — это свобода сказать «*Vau!*» при покупке очередного товара, которым, как правило, бывает новый телевизор. Именно поэтому управляющие импульсы орануса называются вау-импульсами, а бессознательная идеология идентичности называется вауеризмом. Что касается соответствующего вауеризму политического режима, то он иногда называется телекратией или медиакратией, так как объектом выборов (и даже их субъектом, как было показано выше) при нем является телепередача. Следует помнить, что слово «демократия», которое часто употребляется в современных средствах массовой информации, — это совсем не то слово «демократия», которое было распространено в XIX и в начале XX века. Это так называемые омонимы; старое слово «демократия» было образовано от греческого *демос», а новое — от выражения «*demo-version*».

Итак, подведем итоги.

Идентичность — это дуализм на той стадии развития, когда крупнейшие корпорации заканчивают передел человеческого сознания, которое, находясь под непрерывным действием орального, анального и вытесняющего вау-импульсов, начинает самостоятельно генерировать три вау-фактора вследствие чего происходит устойчивое и постоянное вытеснение личности и появление на ее месте так называемой *identity*. Идентичность — это дуализм, обладающий тройкой особенностью. Это дуализм а) умерший; б) сгнивший; в) оцифрованный.

Можно дать множество разных определений *Identity*, но это совершенно бессмысленно, поскольку реально ее все равно не существует. И если на предыдущих стадиях человеческой истории можно было говорить об угнетении человека человеком и человека абстрактным понятием, то в эпоху идентичности говорить об угнетении уже невозможно. На стадии идентичности из поля зрения полностью исчезает тот, за чью свободу можно было бы бороться.

Поэтому конец света, о котором так долго говорили христиане и к которому неизбежно ведет вауеризация сознания, будет абсолютно безопасен во всех смыслах — ибо

исчезает тот, кому опасность могла бы угрожать. Конец света будет просто телепередачей. И это, соратники, наполняет нас всех невыразимым блаженством.

Че Гевара,

гора Шумеру, вечность, лето.

— Тоже шумер. Все мы шумеры, — тихо прошептал Татарский и поднял глаза.

За шторой окна дрожал серый свет нового дня. Слева от планшетки лежала стопка исписанной бумаги, и страшно болели усталые мышцы предплечий. Единственное, что он помнил из записанного, было выражение «буржуазная мысль». Встав из-за стола, он подошел к кровати и не раздеваясь повалился на нее.

«А что такое буржуазная мысль? — подумал он. — Черт его знает. Наверно, о деньгах. О чем же еще».

В лифте, который поднимал Татарского на его новое рабочее место, было единственное граффити, но такое, что сразу делалось ясно: где-то рядом бьется самое сердце рекламного бизнеса. Граффити было вариацией на тему классики — рекламы виски «Jim Beam», где простейший гамбургер эволюционировал в сложный многослойный бутерброд, бутерброд — в еще более замысловатый багет, а багет — опять в исходный простейший гамбургер, что доказывало: все возвращается на круги своя. Гигантскими объемными буквами, отбрасывающими длинную нарисованную тень, на стене лифта было вычерчено:

хуй

Снизу мелкими буквами был повторен слоган Джим Бима:

YOU ALWAYS COME BACK TO THE BASICS^[21]

То, что весь подразумеваемый эволюционный ряд надписей был просто опущен, восхищало Татарского — он чувствовал за этой лаконичностью тень мастера. Кроме того, несмотря на рискованную пограничность темы, в тексте не было и тени фрейдизма.

Неизвестным мастером, вполне возможно, был один из его двух коллег криэйторов, работавших у Ханина. Их звали Сережа и Малюта. и они были практически полной противоположностью друг другу. Сережа, невысокий худой блондин в золотых очках, изо всех сил старался походить на западного копирайтера, а поскольку он не знал, что из себя представляет западный копирайтер, и следовал исключительно своим странным представлениям на этот счет, он производил впечатление чего-то трогательно русского и почти вымершего.

Малюта, здоровый жлоб в затертом джинсовом костюме, был товарищем Татарского по несчастью — он тоже пострадал от тяги родителей-романтиков к неожиданным и редким именам. Но это их не сблизило. Когда он заговорил с Татарским на свою любимую тему, о геополитике, Татарский сказал, что, по его мнению, ее основным содержанием является неразрешимый конфликт правого полушария с левым, который бывает у некоторых людей от рождения. После этого Малюта стал держаться с ним недружелюбно.

Малюта был вообще человек пугающий. Он был пламенным антисемитом, но не потому, что у него были какие-то причины не любить евреев, а потому, что он изо всех сил старался поддерживать имидж патриота, логично полагая, что другого пути у человека с именем Малюта нет. А все аналитические таблоиды, в которых Малюта встречал описание мира, соглашались, что антисемитизм — неременная черта патриотического имиджа. Поэтому, в результате долгих усилий по формированию своего образа, Малюта стал больше всего напоминать злодея из ливанской мафии в тупом малобюджетном боевике, что заставило Татарского всерьез задуматься — так ли уж тупы эти малобюджетные боевики, если они ухитряются трансформировать реальность в свое подобие.

Знакомясь, Татарский и двое сотрудников Ханина обменялись папочками со своими работами; в этом было что-то от взаимного позиционирования собак, обнюхивающих друг друга при первой встрече. Листая работы из Малютиной папочки. Татарский несколько раз вздрагивал. То самое будущее, которое он игриво описал в концепции для «Спрайта»

(кокошник ложнославянской эстетики, все яснее видный сквозь черные дымы военного переворота), вставало с этих отпечатанных под копирку страниц в полный рост. Особенно Татарского потряс сценарий клипа для мотоциклов «Харлей-Давидсон»:

Улица небольшого русского городка. На переднем плане — несколько расплывающийся, не в фокусе, мотоцикл, нависающий над зрителем. Вдалеке возвышается церковь, звонит колокол. Только что кончилась служба, и народ идет по улице вниз. Среди прохожих двое молодых людей в красных рубахах навывпуск — возможно, курсанты военного училища на отдыхе. Крупно: у каждого в руках по подсолнуху. Крупно: рот, сплевывающий лузгу. Крупно: передний план — руль и бензобак мотоцикла, позади — наши герои, озадаченно глядящие на мотоцикл. Крупно: пальцы, выламывающие семечки из подсолнуха. Крупно: герои переглядываются; один говорит другому:

— А у нас во взводе сержант был по фамилии Харлей. Зверь был мужик. Но спился.

— Чего так? — спрашивает второй.

— Того. Нет сейчас жизни русскому человеку.

Следующий кадр — из двери дома выходит огромных размеров хасид в черной кожаной куртке, черной широкополой шляпе и с пейсами. Рядом с ним наши герои кажутся маленькими и худенькими — они непроизвольно пятятся. Хасид садится на мотоцикл, с грохотом заводит его и через несколько секунд исчезает из виду — остается только синее бензиновое облако. Наши герои опять переглядываются. Тот, кто вспоминал сержанта, сплевывает лузгу и говорит со вздохом:

— И сколько же еще лет Давидсоны будут ездить на Харлеях? Россия, проснись!

(Или: «Всемирная история. Харлей-Давидсон». Возможен мягкий вариант слогана: «Мотоцикл Харлей. Без Давидсона не обошлось».)

Сначала Татарский решил, что это пародия, и только из других Малютиних текстов понял, что подсолнух и лузга были для него положительной эстетической характеристикой: убедившись из аналитических таблоидов, что подсолнечные семечки намертво спаяны с имиджем патриота, Малюта привил себе любовь к ним так же самоотверженно и безоглядно, как привил антисемитизм.

Второй копирайтер, Сережа, часами листал западные журналы и со словарем переводил рекламные слоганы, полагая, что сгодившееся для пылесоса в одном полушарии вполне может подойти для стенных часов, тикающих в другом. На хорошем английском языке он подолгу расспрашивал своего кокаинового дилера, пакистанца по имени Али, о культурных кодах и паролях, к которым отсылала западная реклама. Али долго жил в Лос-Анджелесе и мог если не объяснить большую часть непонятностей, то хотя бы убедительно наврать про то, чего сам не понимал. Возможно, из-за глубокого знакомства с теорией рекламы и вообще западной культурой Сережа очень высоко оценил первую работу Татарского, основанную на секретной вау-технике, почерпнутой из спиритического сеанса с команданте Че. Это была реклама туристической фирмы, организующей туры в Акапулько. Слоган звучал так:

ВАУ! АКАПУЛЬКОПСИС NOW!

— Рубишь, — коротко сказал Сережа и пожал Татарскому руку.

Татарского, в свою очередь, искренне восхитила одна из ранних Сережиных работ, которую сам автор считал неудачной:

Нет, ты уже не моряк... Так упрекнул тебя друзья за равнодушие к штурму соседней палаты. Но ты улыбнешься в ответ. Ты и не был им никогда — ты просто

Плыл всю жизнь в эту тихую гавань.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «ТИХАЯ ГАВАНЬ»

Малюта не прикасался к западным журналам никогда — он читал либо таблоиды, либо сборник «Сумерки богов», заложенный все время на одном и том же месте. Но вскоре Татарский с удивлением заметил, что, несмотря на такие серьезные различия в духовных ориентирах и личных качествах, Сережа и Малюта одинаково глубоко погружены в темную бездну ротожопия. Это проявлялось во множестве деталей и черт. Например, рассказывая как-то Татарскому об одном общем знакомом, они по очереди описали его в таких терминах:

— Ну, знаешь, — сказал Сережа, — психологически это нечто вроде начинающего брокера, который получает в месяц шестьсот долларов, но к концу года рассчитывает выйти на полторы тысячи...

— При этом, — добавил Малюта, поднимая палец, — когда он ходит со своей бабой в «Пиццу-Хат» и тратит там на двоих сорок долларов, он думает, что это очень круто.

Немедленно после этой фразы Малюту накрыло действие анального вау-фактора: вынув дорогой сотовый телефон, он повертел его в руках и сделал совершенно ненужный звонок.

Кроме того, Сережа с Малютой производили удивительно сходный продукт — Татарский понял это, найдя в их папочках две работы, посвященные одному и тому же предмету.

За две или три недели до прихода Татарского в штат контора Ханина сдавала большой заказ. Какие-то темные люди, которым срочно надо было продать большую партию фальшивых кроссовок, заказали Ханину рекламу «Найки» — именно под эту марку были заgrimированы их клеенчатые тапочки. Скидывать товар предполагалось на загородных рынках, но партия была такой большой, что темные люди, поколдовав над своими калькуляторами, решили проплатить телерекламу, чтобы ускорить оборот. Причем рекламу они хотели непременно крутую — «такую, — сказал один из них, — чтоб сразу переключивало». Ханин сдал два варианта, Сережин и Малютин. Сережа, перечитавший во время работы не меньше десяти англоязычных пособий по рекламе, родил следующий текст:

В проекте используется широко известная русскому потребителю из средств массовой информации Американская Культурная Параллель (American Cultural Reference), — уважительно писал он, — а именно массовое самоубийство членов оккультной группы «Heaven's Gate» из Сан-Диего, совершенное с целью перехода в тонкие тела для последующего путешествия на комету. Как известно, все покончившие с собой лежали на простых двухъярусных кроватях; видеоряд был выдержан в строгой черно-белой гамме. Лица усопших покрывала простая черная ткань, а на ногах у них были черные кроссовки «Найки» с белым символом, так называемым swoosh. Предлагаемый вариант ролика строится в эстетике интернетовского клипа, посвященного этому событию, — картинка на экране телевизора повторяет экран компьютерного монитора, в центре которого повторяются известные кадры упоминавшегося ролика CNN. В конце, после того как неподвижные подошвы с надписью «Найки» экспонируются достаточное время, в кадре оказывается спинка кровати с приклеенным листом ватмана, на котором черным маркером выведен swoosh, похожий на комету:

Камера сдвигается еще ниже, и виден слоган, выведенный тем же маркером:

JUST DO IT [\[221\]](#).

Малюта во время работы над сценарием не читал ничего, кроме канализационных таблоидов и так называемых патриотических газет с их мрачно-эсхатологическим позиционированием происходящего. Зато он явно смотрел много фильмов. Его вариант выглядел так:

Улица небольшой вьетнамской деревни, затерянной в джунглях. На переднем плане типичная для страны третьего мира мастерская фирмы «Найки» — мы узнаём об этом из вывески «Nike sweatshop № 1567903»^[23] над дверью. Вокруг возвышаются тропические деревья, звенит кусок рельсы, подвешенный на околице вместо колокола. У входа в мастерскую стоит вьетнамец с автоматом Калашникова, на нем брюки хаки и черная рубашка, заставляющая вспомнить фильм «Охотник на оленей». Крупно: руки на автомате. Камера входит в дверь, и мы видим два ряда рабочих столов, за которыми сидят скованные цепью работники. Зрелище заставляет нас вспомнить гребцов галеры из фильма «Бен-Гур». Все работники в невероятно старой, ветхой и рваной американской военной форме. Это последние американские военнопленные. На столах перед ними — кроссовки «Найки» в разной степени готовности. У всех военнопленных кудрявые черные бороды и горбатые носы. (Последняя фраза была вписана между строк ручкой — видимо, Малюту осенило, когда текст был уже отпечатан.) Военно-пленные чем-то недовольны — сначала они тихо бузят, потом начинают стучать недоклеенными кроссовками по столам. Раздаются крики: «Требуем свидания с американским консулом!», «Требуем приезда комиссара ООН!» Неожиданно раздается автоматная очередь в потолок, и шум мгновенно стихает. В дверях стоит вьетнамец в черной рубашке, с дымящимся автоматом в руках. Глаза всех сидящих в помещении — на нем. Вьетнамец нежно проводит рукой по автомату, потом тычет указательным пальцем в ближайший стол, на котором лежат недоделанные кроссовки, и говорит на ломаном английском:

Голос диктора: «Найки. Добро побеждает!»
— Just do it!

Застав как-то Ханина одного в кабинете, Татарский спросил:

— Скажите, а вот эти Малютины работы — они что, проходят иногда?

— Проходят, — сказал Ханин, откладывая книгу, которую читал. — Конечно, проходят.

Ведь хоть кроссовки американские, впарить-то их надо русскому менталитету. Поэтому все это очень уместно. Мы, конечно, редактируем немного, чтоб под статью не попасть.

— И что, рекламодателям нравится?

— Рекламодатели у нас такие, что им объяснять надо, что им нравится, а что нет. И потом, рекламодатель зачем у нас рекламу дает?

Татарский пожал плечами.

— Нет, ты скажи, скажи.

— Чтобы товар продать.

— Это в Америке — чтоб товар продать.

— Ну тогда чтобы крутым себя почувствовать.

— Это три года назад было, — сказал Ханин поучительно. — А теперь по-другому.

Теперь клиент хочет показать большим мужчинам, которые внимательно следят за происходящим на экране и в жизни, что он может взять и кинуть миллион долларов в мусорное ведро. Поэтому чем хуже его реклама, тем лучше. У зрителя остается ощущение, что заказчик и исполнители — полные кретины, но тут, — Ханин поднял палец и сделал мудрые глаза. — в мозг наблюдателя приходит импульс о том, сколько это стоило денег. И окончательный вывод про заказчика оказывается таким — хоть он и полный кретин, а

бизнес у него так идет, что он может пустить в эфир любую байду много-много раз. А лучше этого рекламы быть не может. Такому человеку в любом месте дадут кредит без всякого скрипа.

— Замысловато, — сказал Татарский.

— А то. Это тебе не Эла Райса читать.

— А откуда можно почерпнуть такое глубокое знание жизни? — спросил Татарский.

— Из самой жизни, — проникновенно сказал Ханин.

Татарский поглядел на книгу, лежащую перед ним на столе. Она выглядела точь-в-точь как секретное издание Дейла Карнеги для членов ЦК — на обложке стоял трехзначный номер экземпляра, а под ним было отпечатанное на машинке название: «Виртуальный бизнес и коммуникации». В книге было несколько закладок; на одной из них Татарский прочел пометку: «Суггест. шизоблоки».

— Это про что-то компьютерное? — спросил он.

Взяв книгу, Ханин спрятал ее в ящик стола.

— Нет. — сказал он неохотно. — Именно про виртуальный бизнес.

— А что это такое?

— Если коротко, — сказал Ханин, — это бизнес, в котором основными товарами являются пространство и время.

— Это как?

— Да как у нас. Ты посмотри, ведь страна уже давно ничего не производит. Ты вообще делал хоть один рекламный проект для продукта, произведенного в России?

— Не припоминаю, — ответил Татарский. — Хотя, подождите, был один — для «калашников». Но это можно считать имиджевой рекламой.

— Вот, — сказал Ханин. — В чем главная особенность российского экономического чуда? Главная особенность российского экономического чуда состоит в том, что экономика опускается все глубже в жопу, в то время как бизнес развивается, крепнет и выходит на международную арену. Теперь подумай: чем торгуют люди, которых ты видишь вокруг?

— Чем?

— Тем, что совершенно нематериально. Эфирным временем и рекламным пространством — в газетах или на улицах. Но время само по себе не может быть эфирным, точно так же, как пространство не может быть рекламным. Соединить пространство и время через четвертое измерение первым сумел физик Эйнштейн. Была у него такая теория относительности — может, слышал. Советская власть это тоже делала, но парадоксально — это ты знаешь: выстраивали зэков, давали им лопаты и велели рыть траншею от забора до обеда. А сейчас это делается очень просто — одна минута эфирного времени в прайм-тайм стоит столько же, сколько две цветных полосы в центральном журнале.

— То есть деньги и есть четвертое измерение? — спросил Татарский.

Ханин кивнул.

— Больше того, — сказал он, — с точки зрения монетаристической феноменологии это субстанция, из которой построен мир. Был такой американский философ Роберт Пирсиг, который считал, что мир состоит из моральных ценностей. Но это в шестидесятые годы могло так казаться — знаешь, «Битлз» там, ЛСД. С тех пор многое прояснилось. Ты слышал про забастовку космонавтов?

— Вроде слышал, — ответил Татарский, смутно припоминая какую-то газетную статью.

— Наши космонавты получают за полет двадцать-тридцать тысяч долларов. А

американские — двести или триста. И наши сказали: не будем летать к тридцати штукам баксов, а тоже хотим летать к тремстам. Что это значит? А это значит, что летят они на самом деле не к мерцающим точкам неведомых звезд, а к конкретным суммам в твердой валюте. Это и есть природа космоса. А нелинейность пространства и времени заключена в том, что мы и американцы сжигаем одинаковое количество топлива и пролетаем одинаковое количество километров, чтобы добраться до совершенно разных сумм денег. И в этом одна из главных тайн Вселенной...

Ханин неожиданно замолчал и стал закуривать сигарету.

— Короче, сейчас еще не все ясно до конца, — сказал он, явно сворачивая разговор, — но я думаю, что в принципе рубль так же неисчерпаем, как и доллар. А теперь иди работай.

— А можно будет книжечку почитать? — спросил Татарский, кивая на стол, куда Ханин убрал секретное пособие. — Для общего развития?

— Со временем, — сказал Ханин и сладко улыбнулся.

Но Татарский и без секретных пособий начинал разбираться в коммуникациях эпохи виртуального бизнеса.

Как он быстро понял из наблюдения за поведением товарищей по работе, основой этих коммуникаций был так называемый черный PR, или, как полностью произносил Ханин, «black public relations». Когда Татарский впервые услышал эти слова, в его душе воскрес на миг бард-литинститутовец, пропевший мрачным басом: «Черный пи-ар, запряженный судьбою...» Но никакой романтики за этим пиратским словосочетанием на самом деле не стояло. И оно было совершенно лишено тех негативных коннотаций, которыми нагружают его сайентологи и другие последователи Рона Хаббарда, понимающие под black PR атаку, ведущуюся через средства массовой информации.

Все было совсем наоборот — реклама, как и остальные виды человеческой деятельности на холодных российских просторах, была намертво пристегнута к обороту черного нала, что в практическом плане означало две вещи. Во-первых, журналисты охотно обманывали свои журналы и газеты, принимая черный нал от тех, кто как бы естественно оказывался в поле их внимания, — причем платить должны были не только рестораторы, которым хотелось, чтобы их сравнили с «Максимом», но и писатели, которым хотелось, чтобы их сравнили с Маркесом, отчего грань между литературной и ресторанной критикой становилась все тоньше и условней. Во-вторых, копирайтеры с удовольствием обманывали свои агентства, находя через них клиента, а потом заключая с ним устный договор за спиной начальства. Осмотревшись, Татарский осторожно вступил на эту ниву, и сразу же его ожидал успех.

С первого раза прошел проект для дистрибьютора джинсов «Дизель», основанный на русском фольклоре. Это был грубый, даже лубочный вариант, сляпанный Татарским в духе «Не-колы для Николы». Визуальный ряд был следующим: у огромного, облитого маслом и мазутом дизеля на бетонном фундаменте стояли два толстоватых усатых дурачка, оба совершенно голые (вероятно, это было эхом несостоявшегося путешествия на запад с рекламы сигарет «West»). Рядом был берег реки и песчаная полоса; по крупным каплям воды на телах двух друзей было ясно, что они только что вылезли из воды. Прикрывая срам руками, они изумленно глядели в глаза зрителю. Текст гласил:

**МЫ С ИВАНОМ ИЛЬИЧОМ
РАБОТАЛИ НА ДИЗЕЛЕ.**

Я МУДАК, И ОН МУДАК,
У НАС «ДИЗЕЛЬ» СПИЗДИЛИ!

Обычно Татарский имел дело с PR-шестерками, но в этот раз его вызвали к совладельцу фирмы, которая собиралась стать дистрибьютором «Diesel». Это был хмурый корректный юноша. Прочитав несколько раз две принесенные Татарским странички, он хмыкнул, подумал, позвонил секретарше и попросил подготовить бумаги. Через полчаса одуревший Татарский вышел на улицу, неся во внутреннем кармане конверт, где было две с половиной тысячи долларов и контракт на полную и безусловную передачу всех прав на это произведение фирме молодого человека.

По новым временам этот улов был совершенно фантастическим. Пытаясь не выпустить из рук синий хвост удачи. Татарский немедленно произвел аналог. Его имитация фольклора была довольно пошлой (впрочем, это не влияло на рыночную ценность), и надеяться можно было только на малое количество использованных слов:

НА ВОСЬМОЕ МАРТА МАНЕ
ПОДАРИЮ КОЛЬЕ ДЕ БИРС
И СЕРЕЖКИ ОТ АРМАНИ —
ТО-ТО БУДЕТ ЗАЕБИСЬ!

Клон был абсолютно точным — сохранялась даже рифмовка брэнд-нэйма с матерным термином. У Татарского мелькнуло подозрение, что в качестве героини всплыла из Леты та самая Манька, которая появлялась в его последнем стихотворении («Что такое лето — это осень»), а сережки и колье — плата мировой масонской закулисы за все-таки состоявшееся предательство баньки с пауками. Но он сразу же отогнал эту мысль как нефункциональную. Вообще, с трудом верилось, что совсем недавно он проводил столько времени в поисках бессмысленных рифм, от которых давно отказалась поэзия рыночных демократий. Казалось просто невыносимым, что всего несколько лет назад жизнь была настолько мягкой и ни к чему не обязывающей, что можно было тратить киловатты ментальных усилий на абсолютно не окупающиеся мертвые петли ума.

Вторая частушка звучала настолько фальшиво, что по всем иррациональным понятиям, управляющим московской жизнью, просто обязана была пройти. Но как-то не удалось добраться до представителей «Де Бирс», даже до их PR; у Татарского создалось ощущение, что он прыгает вверх и ловит руками вежливо молчащую пустоту. Армани, как выяснилось, вообще не давал рекламы в Москве, поскольку здесь у него не было ни одного бутика. Сережки повисли на совести Татарского двумя крошечными Есениными, и весенняя народно-фольклорная струя в его сознании угасла.

А через пару месяцев Татарский случайно выяснил совершенно оскорбительную подробность: оказалось, что будущий дистрибьютор «Diesel» заплатил не потому, что решил использовать его текст в рекламе, а скорее по суеверно-мистическим причинам. Его партнера и главного финансиста действительно звали Иваном Ильичом, и выплата Татарскому была своего рода попыткой откупиться от злого и проницательного шамана, угадавшего слишком многое. Татарского утешило известие о том, что дизель у них все-таки

спиздили: в дистрибьюторы Иван Ильич с партнером не прошли.

И все же черный пи-ар был более широким и значительным явлением, чем просто способ существования белковых тел в эпоху четвертой власти. Но Татарский никак не мог соединить разнородные догадки о природе этого явления в одно ясное и цельное понимание. Чего-то не хватало.

Public relations — это отношения людей друг с другом, — сумбурно писал он в своей книжечке. — Люди хотят заработать, чтобы получить свободу или хотя бы передышку в своем непрерывном страдании. А мы, копирайтеры, так поворачиваем реальность перед глазами target people, что свободу начинают символизировать то уют, то прокладка с крылышками, то лимонад. За это нам и платят. Мы впариваем им это с экрана, а они потом впаривают это друг другу и нам, авторам, — это как радиоактивное заражение, когда уже не важно, кто именно взорвал бомбу. Все пытаются показать друг другу, что уже достигли свободы, и в результате мы только и делаем, что под видом общения и дружбы впариваем друг другу всякие черные пальто, сотовые телефоны и кабриолеты с кожаными креслами. Замкнутый круг. Этот замкнутый круг и называется черный пи-ар.

Татарский так углубился в размышления о природе этого феномена, что совсем не удивился, когда Ханин однажды остановил его в коридоре, взял за пуговицу и сказал:

— Я гляжу, у тебя с черным пи-аром полная ясность.

— Почти, — автоматически сказал Татарский, только что думавший на эту тему. — Только не хватает какого-то центрального элемента.

— И я тебе скажу какого. Не хватает понимания, что black public relations существуют только в теории. А в жизни имеет место серый пи-ар.

— Интересно, — загорелся Татарский, — очень интересно! Потрясающе! А что это значит в практическом плане?

— Ав практическом плане это значит, что отстегивать надо.

Татарский вздрогнул. Мысли, туманившие его голову, разлетелись в мгновение ока, и наступила устрашающая ясность.

— То есть как? — слабо спросил он.

Ханин взял его под руку и повел за собой по коридору.

— Ты две тонны грин с дизелей получил? — спросил он.

— Да, — неуверенно отозвался Татарский. Ханин чуть поджал средний и безымянный пальцы на руке — так, что, с одной стороны, это еще не было «пальцами», но, с другой стороны, уже как бы и было.

— Теперь запомни, — сказал он тихо. — Пока ты здесь работаешь, ходишь ты подо мной. По всем понятиям так. Поэтому из калькуляции выходит, что одна тонна грин моя. Или ты на чистый базар выйти хочешь?

— Да я... Я с удовольствием, — ошарашенно пролепетал Татарский. — То есть я как раз не хочу... То есть хочу. Я сам поделиться хотел, только не знал, как разговор завести.

— А ты не стесняйся. А то ведь всякое можно подумать. Знаешь чего? Ты приезжай ко мне сегодня в гости. Выпьем, поговорим. Заодно и лэвэ забросишь.

Ханин жил в большой свежотремонтированной квартире, в которой Татарского поразили узорчатые дубовые двери с золотыми замками, — поразили они его тем, что дерево успело потрескаться и щели в палец толщиной были кое-как замазаны мастикой. Ханин встретил его уже пьяный. Он был в замечательном настроении — когда Татарский с порога

протянул ему конверт, Ханин нахмурил брови и махнул рукой, как бы в обиду на такую деловитость, но прямо на излете этого жеста вынул конверт из руки Татарского и сразу же куда-то спрятал.

— Идем, — сказал он, — Лиза есть приготовила.

Лиза оказалась высокой женщиной с красным от каких-то косметических шелушений лицом. Она угостила Татарского голубцами. Татарский ненавидел их с раннего детства, когда считал их заживо сваренными голубями. Чтобы побороть отвращение, он выпил много водки и, когда дошло до десерта, почти достиг ханинской стадии опьянения, отчего общение пошло значительно легче.

— А чего это такое у вас? — спросил Татарский, кивнув на стену.

Там висела репродукция сталинского плаката — тяжелые красные знамена с желтыми кистями, в просвете между которыми весело синело здание университета. Плакат был явно старше Татарского лет на двадцать, но распечатка была совсем свежей.

— Это? Это один парень, который до тебя работал, на компьютере сделал, — ответил Ханин. — Видишь, там серп с молотом был и звезда, а он их убрал и вместо них поставил «сoca-cola» и «соке».

— Действительно, — с удивлением сказал Татарский. — И ведь не заметишь сразу — такие же желтенькие.

— Приглядишься — заметишь. Этот плакат раньше у меня над столом висел, только ребята коситься начали. Малюта за флаг обиделся, а Сережа за кока-колу. Пришлось домой снести.

— Малюта обиделся? — удивился Татарский. — Да у него самого над столом такие надписи... Вы видели, что он вчера наклеил?

— Нет еще.

— У него над столом написано: «Как с деньгами?» Ну, это ладно, этот импульс мы понять можем. А теперь снизу такой текст появился: «У всякого брэнда своя легенда. У каждого Демида — своя планида, а у каждого Абрама — своя программа».

— И что?

Татарский вдруг почувствовал, что Ханин действительно не видит в такой сентенции ничего странного. Больше того, он сам вдруг перестал видеть в ней что-то странное.

— Я не понял, что это значит: «У всякого брэнда — своя легенда».

— Легенда? Это у нас так переводят выражение «brand essence». То есть концентрированное выражение всей имиджевой политики. Например, легенда «Мальборо» — страна настоящих мужчин. Легенда «Парламента» — джаз, ну и так далее. Ты что, не знаешь?

— Да нет, знаю, конечно. За кого вы меня принимаете. Просто очень странный перевод.

— Что делать, — сказал Ханин. — Азия.

Татарский встал из-за стола.

— А где у вас туалет? — спросил он.

— Следующая дверь, как из кухни.

Зайдя в туалет. Татарский уперся взглядом в фотографию бриллиантового кольца с надписью «De Beers. Diamonds age forever»^[24], висевшую на стене напротив входа. Это несколько сбilo его с толку, и несколько секунд он вспоминал, зачем сюда пришел. Вспомнив, оторвал листок туалетной бумаги и записал:

«1) Бренд-эссенция (легенда). Вставлять во все концепции вместо «психологической кристаллизации».

2) «Парламент» с танками на мосту — сменить слоган. Вместо «дыма Отечества» — «АН that jazz». Вариант плаката — Гребенщиков, сидящий в лотосе на вершине холма, закуривает сигарету. На горизонте — церковные купола Москвы. Под холмом — дорога, на которую выползает колонна танков. Слоган:

ПАРЛАМЕНТ

ПОКА НЕ НАЧАЛСЯ ДЖАЗ

Спрятав листок в нагрудный карман и спустив для конспирации воду, он вернулся на кухню и подошел вплотную к плакату с краснознаменной «Кока-колой».

— Просто потрясающе, — сказал он. — Как вписывается, а?

— А ты думал. Чему удивляться? Знаешь, как по-испански «реклама»? — Ханин икнул. — «Пропаганда». Мы ведь с тобой идеологические работники, если ты еще не понял. Пропагандисты и агитаторы. Я, кстати, и раньше в идеологии работал. На уровне ЦК ВЛКСМ. Все друзья теперь банкиры, один я... Так я тебе скажу, что мне и перестраиваться не надо было. Раньше было: «Единица — ничто, а коллектив — всё», а теперь — «Имидж — ничто, жажда — всё». Агитпроп бессмертен. Меняются только слова.

У Татарского зародилось тревожное предчувствие.

— Послушайте, — сказал он, садясь за стол, — а вы случайно на загородных собраниях актива не выступали?

— Выступал, — ответил Ханин. — А что?

— В Фирсановке?

— В Фирсановке.

— Так вот в чем дело, — сказал Татарский и залпом выпил водку. — Все время такое чувство, что лицо знакомое, а где видел, никак вспомнить не могу. Только бороды у вас тогда не было.

— Ты чего, тоже в Фирсановку ездил? — с веселым удивлением спросил Ханин.

— Один раз, — ответил Татарский. — Вы там с такого похмелья на трибуну вышли, что я подумал — вас сразу вырвет, как рот откроете...

— Ну, ты не очень-то при жене... Хотя да, мы туда в основном пить и ездили. Золотые дни.

— И чего? Такую речь толкнули, — продолжал Татарский. — Я тогда уже в Литинститут готовился — так даже расстроился. Позавидовал. Потому что понял — никогда так словами манипулировать не научусь. Смысла никакого, но пробирает так, что сразу все понимаешь. То есть понимаешь не то, что человек сказать хочет, потому он ничего сказать на самом деле и не хочет, а про жизнь все понимаешь. Для этого, я думаю, такие собрания актива и проводились. Я в тот вечер сел сонет писать, а вместо этого напился.

— А о чем говорил-то, помнишь? — спросил Ханин. Видно было, что воспоминание ему приятно.

— Да чего-то о двадцать седьмом съезде и его значимости.

Ханин прокашлялся.

— Я думаю, что вам, комсомольским активистам, — сказал он громким и хорошо поставленным голосом, — не надо объяснять, почему решения двадцать седьмого съезда нашей партии рассматриваются не только как значимые, но и как этапные. Тем не менее методологическое различие между этими двумя понятиями часто вызывает недопонимание

даже у пропагандистов и агитаторов. А ведь пропагандисты и агитаторы — это архитекторы завтрашнего дня, и у них не должно быть никаких неясностей по поводу плана, по которому им предстоит строить будущее...

Сильно икнув, он потерял нить.

— Во-во, — сказал Татарский, — теперь точно узнал. Самое потрясающее, что вы действительно целый час объясняли методологическое различие между значимостью и этапностью, и я отлично понял каждое отдельное предложение. Но когда пытаешься понять два любых предложения вместе, уже словно стена какая-то... Невозможно. И своими словами пересказать тоже невозможно. Хотя, с другой стороны... Вот как это понять — «Just do it»? И в чем методологическое различие между «Just do it» и «Just be»?

— Я о чем и толкую, — сказал Ханин, разливая водку. — То же самое.

— Что ж вы так пьете-то, мужчины, — подала голос молчавшая до этого Лиза. — Хоть бы тост кто сказал.

— Точно, давай тост, — сказал Ханин и снова икнул. — Только такой, знаешь, — чтоб не только значимый был, но и этапный. Как комсомолец — коммунисту, понял?

Держась за стол. Татарский встал. Поглядев на плакат, он задумался, поднял стакан и произнес:

— Товарищи! Утопим русскую буржуазию в море имиджей!

Вавилонская марка

Приехав домой. Татарский ощутил прилив энергии, какого не помнил давно. Метаморфоза Ханина помещала все недавнее прошлое в такую странную перспективу, что вслед за этим непременно должно было произойти что-то чудесное. Раздумывая, чем бы себя занять. Татарский несколько раз беспокойно обошел квартиру и вспомнил о марке, купленной в «Бедных людях». Она так и лежала в столе — за все это время не нашлось повода проглотить ее, да и страшно было.

Подойдя к столу, он вынул марку из ящика и внимательно посмотрел на нее. Ему ухмыльнулось лицо с острой бородкой; на неизвестном был странный головной убор — не то шлем, не то колпак с очень узкими полями. В колпаке, — подумал Татарский, — наверно, шут. Значит, будет весело». Больше не раздумывая, он кинул марку в рот, растер ее зубами в крохотный комочек кашицы и проглотил. После этого лег на диван и стал ждать.

Но просто так лежать стало скучно. Встав, он закурил сигарету и еще раз прошелся по квартире. Подойдя к стенному шкафу, он подумал, что после подмосковного приключения так и не лазил больше в папку «Тихамат-2». Это был классический случай вытеснения: он ни разу не вспомнил, что хотел дочитать собранные там материалы, хотя, с другой стороны, вроде бы никогда про это и не забывал. Получилось точно так же, как с маркой, словно оба эти предмета были припасены на тот особый случай, который при нормальном и благополучном течении жизни не наступает никогда. Татарский достал скоросшиватель с верхней полки и вернулся в комнату. В папке было много фотографий, наклеенных на страницы. Одна из них выпала, как только он открыл скоросшиватель, и он поднял ее с пола.

На снимке был фрагмент барельефа — небо, в котором были высечены крупные звезды. В нижней части фотографии были видны две воздетые ладони, обрезанные краем снимка. Звезды были настоящими — древними, огромными и живыми. Такие уже давно погасли для людей и остались только для каменных героев на допотопных изваяниях. Впрочем, подумал Татарский, сами звезды с тех пор вряд ли изменились, — изменились люди. Каждая звезда состояла из центрального круга и восьми острых лучей, между которыми змеились пучки симметричных волнистых линий.

Татарский заметил, что вокруг этих линий мерцают еле заметные красно-зеленые жилки, как будто он смотрит на экран плохо настроенного монитора. Глянцевая поверхность фотографии приобрела бриллиантово-радужный блеск, ее мерцание стало привлекать больше внимания, чем само изображение. «Началось, — подумал Татарский. — Действительно, до чего же быстро...»

Найдя страницу, от которой отклеилась фотография, он провел языком по засохшему пятну казеинового клея и приложил ее на место. После этого он осторожно перевернул страницу и разгладил ее ладонью, чтобы фотография лучше приклеилась. Поглядев на следующий снимок, он чуть не выронил папку из рук.

На фотографии было то же лицо, что и на марке. Оно было в другом ракурсе — в профиль, но сомнений никаких не было.

Это была полная фотография того же самого барельефа. Татарский узнал фрагмент со звездами — теперь они были маленькими и плохо различимыми, а воздетые к ним руки, как оказалось, принадлежали крошечному человечку на крыше здания, замершему в полной ужаса позе.

Центральная фигура барельефа, чье лицо Татарский узнал, была в несколько раз больше человечка на крыше и всех остальных людей вокруг. Это был мужчина в остром железном колпаке, с загадочной полупьяной улыбкой на губах. Его лицо смотрелось на древнем изображении странно и даже нелепо — оно было настолько свойским, что Татарский вполне мог бы решить, что барельеф изготовлен не три тысячи лет назад в Ниневии, а в конце прошлого года в Ереване или Калькутте. Вместо положенной древнему шумеру лопатоподобной бороды в симметричных кудряшках у мужчины была хилая козлиная бородка, и похож он был не то на кардинала Ришелье, не то на дядю Сэма, не то на дедушку Ленина.

Татарский торопливо перевернул страницу и нашел относящийся к фотографии текст:

«Энкиду (Энки создал) — бог-рыбак, слуга бога Энки (владыка земли). Бог-покровитель Великой Лотереи. Заботится о прудах и каналах: кроме того, известны обращенные к Энкиду заговоры от различных болезней пищеварительного тракта. Создан из глины, как ветхозаветный Адам, — считалось, что глиняные таблички с вопросами Лотереи есть плоть Энки, а ритуальный напиток, изготовлявшийся в его храме, — его кровь».

Читать было трудно — смысл плохо доходил, а буквы радужно переливались и подмигивали. Татарский стал рассматривать изображение божества в подробностях. Энкиду был завернут в мантию, покрытую овальными бляшками, а в руках держал два пучка струн, веером расходящихся к земле, чем напоминал Гулливера, которого армия лилипутов пытается удержать за привязанные к рукам канаты. Никаких прудов и каналов, о которых Энкиду полагалось заботиться, вокруг не было — он шел по горящему городу, дома которого в три-четыре этажа высотой доходили ему до пояса. Под его ногами лежали поверженные тела с однообразно раскинутыми руками — поглядев на них, Татарский отметил несомненную связь между шумерским искусством и соцреализмом. Самой интересной деталью изображения были струны, расходящиеся от рук Энкиду. Каждая струна кончалась большим колесом, в центре которого был треугольник с грубо прорисованным глазом. На струны были насажены человеческие тела — как рыбы, которых Татарский сушил когда-то в детстве, развешивая на леске во дворе.

На следующей странице был увеличенный фрагмент барельефа с человечками на струне. Татарский почувствовал легкую тошноту. На барельефе с отвратительным натурализмом было показано, что канат входит каждой человеческой фигурке в рот и выходит из ее зада. Руки некоторых людей были раскинуты в стороны, другие прижимали их к голове, а в пространстве между ними висели большеголовые птицы. Татарский стал читать дальше:

По преданию, Энду, жена бога Энки (по другой версии — его женская ипостась, что маловероятно; также возможно отождествление с фигурой Иштар), однажды сидела на берегу канала и перебирала четки из радужных бусин, подаренные ей мужем. Ярко светило солнце, и Энду сморил сон. Она выронила четки, которые упали в воду, рассыпались и утонули. После этого радужные бусины решили, что они люди, и расселились по всему водоему. У них появились свои города цари и бога Тогда Энки взял комок глины и слепил из него фигурку рыбака Вдохнув в него жизнь, он назвал его Энкиду. Дав ему веретено с золотой нитью, он велел ему спуститься под воду, чтобы собрать все бусины. Поскольку в имени Энкиду содержится имя самого Энка оно обладает чрезвычайным могуществом, и

бусины, подчиняясь божественной воле, должны сами нанизываться на золотую нить. Некоторые исследователи полагают, что Энкиду собирает души умерших и переносит их на этой нити в царство мертвых. — в этом смысле он подобен транскультурной фигуре загробного паромщика.

В более поздние времена Энкиду стал выполнять функцию покровителя рынков и мелкого служилого люда сохранилось множество изображений, где торговцы и чиновники обращаются к Энкиду с просьбами о помощи. Эти молитвы содержат повторяющуюся просьбу «поднять выше сильных на золотой нити» и «наделить земным энлильством» (см. «Энлиль»). В мифе об Энкиду заметны и эсхатологические мотивы — как только Энкиду соберет на свою нить всех живущих на земле, жизнь прекратится, потому что они снова станут бусинами на ожерелье великой богини. Это событие, которое должно произойти в будущем, отождествляется с концом света.

В древней легенде присутствует труднообъяснимый мотив: в нескольких источниках подробно описано, как именно люди-бусины ползут вверх по нитям Энкиду. Они не пользуются при этом руками — руки служат им для того, чтобы закрывать глаза и уши или отбиваться от белых птиц, которые стараются сорвать их с нитей. А по нити люди-бусины взбираются сперва заглатывая ее, а затем попеременно схватываясь за нее ртом и анусом. Не совсем понятно, откуда в мифе об Энкиду взялись такие пантагрюэлистические детали, — возможно, это отголосок другого мифа, не дошедшего до нас.

Следует также обратить внимание на колеса которыми заканчиваются нити Энкиду. На них изображено подобие глаза вписанного в треугольник. Здесь реальное пересекается с мифическим: колеса древнешумерских боевых колесниц действительно укреплялись треугольной бронзовой пластиной, набивавшейся на колесо с внешней стороны. А нарисованная на пластине фигура напоминающая контуром глаз, символизирует веретено, на которое намотана золотая нить. Колесо — символ движения; таким образом, перед нами самодвижущееся веретено бога Энки (ср., например, нить Ариадны или многоглазые колеса из видения пророка Иезекииля). Могущество имени Энки таково, что, хоть это веретено изначально одно, людям может казаться, что их бесчисленное множество».

Татарский заметил мерцание в полутьме комнаты. Он решил, что это отблеск какого-то огня на улице, встал и выглянул в окно. Там ничего интересного не происходило. Он увидел отражение своего дивана в стекле и поразился — обрыдлое лежбище, которое ему столько раз хотелось вынести на помойку и сжечь, в зеркальном развороте показалось лучшей частью незнакомого и удивительно красивого интерьера. Вернувшись на место, он опять краем глаза заметил мерцающий свет. Он перевел взгляд, но свет сдвинулся тоже, как будто его источником была точка на роговице. «Так, — радостно подумал Татарский, — пошли глюки». Его внимание переместилось в эту точку и пребывало там всего миг, но этого было достаточно, чтобы в уме отпечаталось событие, которое стало постепенно всплывать и проясняться в памяти, как фотография в ванночке с проявителем.

Он стоял на улице летнего города, застроенного однообразными коттеджами. Над городом поднималась не то коническая заводская труба, не то телебашня — сложно было сказать, что это такое, потому что на вершине этой трубы-башни горел ослепительно белый факел, такой яркий, что дрожащий от жара воздух искажал ее контуры. Было видно, что ее нижняя часть похожа на ступенчатую пирамиду, а выше, в белом сиянии, никаких деталей разобрать было нельзя. Татарский подумал, что эта конструкция напоминала бы газовый

факел вроде тех, что бывают на нефтезаводах, не будь пламя таким ярким.

За раскрытыми окнами домов и на улице неподвижно стояли люди — они смотрели вверх, на этот белый огонь. Татарский тоже поднял глаза, и его сразу же рвануло вверх. Он почувствовал, что огонь притягивает его и, если он не отведет взгляда, пламя утащит его вверх и сожжет. Откуда-то он многое знал про этот огонь. Он знал, что многие уже ушли туда перед ним и тянут его за собой. Он знал, что есть много таких, кто сможет пойти туда только вслед за ним, и они давят на него сзади. Татарский заставил себя закрыть глаза. Открыв их, он заметил, что башня переместилась.

Теперь он увидел, что это была не башня — это была огромная человеческая фигура, стоявшая над городом. То, что он принял за пирамиду, теперь выглядело расходящимся одеянием, похожим на мантию. Источником света был конический шлем на голове фигуры. Татарский ясно увидел лицо с чем-то вроде сверкающего стального тарана на месте бороды. Оно было обращено к Татарскому — и он понял, что видит не огонь, а лицо и шлем только потому, что этот огонь на него смотрит, а в действительности ничего человеческого в нем нет. В направленном на Татарского взгляде было ожидание, но, прежде чем он успел задуматься над тем, что он, собственно, хотел сказать или спросить и хотел ли он чего-нибудь вообще, фигура дала ему ответ и отвела от него взгляд. На том месте, где только что было лицо в шлеме, появилось прежнее нестерпимое сияние, и Татарский опустил глаза.

Он заметил рядом с собой двух людей — пожилого мужчину в рубашке с вышитым якорем и мальчика в черной футболке: держась за руки, они смотрели вверх, и было видно, что они почти истаяли и утекли в этот огонь, а их тела, улица вокруг и весь город — просто тени.

Перед тем как картинка окончательно погасла. Татарский догадался, что огонь, который он видел, горит не вверху, а внизу, как будто он загляделся на отражение солнца в луже и забыл, что смотрит не туда, где солнце находится на самом деле. Где находится солнце и что это такое, он так и не успел понять, зато понял нечто другое, очень странное: это не солнце отражалось в луже, а, наоборот, все остальное — улица, дома, другие люди и он сам — отражалось в солнце, которому не было до этого никакого дела, потому что оно даже про это не знало.

Мысль насчет лужи и солнца наполнила Татарского таким счастьем, что от восторга и благодарности он засмеялся. Все проблемы в жизни, все то, что казалось неразрешимым и страшным, просто перестало существовать — мир за мгновение изменился так же, как изменился его диван, отразившись в оконном стекле.

Татарский пришел в себя — он сидел на диване, держа пальцами страницу, которую так и не успел перевернуть. В его ушах пульсировало непонятное слово — то ли «сиррукх», то ли «сирруф». Это и был ответ, который дала фигура.

— Сиррукх, сирруф, — повторил он. — Непонятно.

Только что испытанное счастье вдруг сменилось испугом. Он подумал, что узнавать такое не положено, потому что непонятно, как с этим знанием жить. «А если я один это знаю, — нервно подумал он, — то ведь не может быть так, чтобы мне позволили это знать и ходить тут дальше? Вдруг я кому-нибудь расскажу? Хотя, с другой стороны, кто может позволить или не позволить, если я один это знаю? Так, секундочку, а что я, собственно, могу рассказать?»

Татарский задумался. Ничего особенного он и не мог никому рассказать. Ведь не расскажешь пьяному Ханину, что это не солнце отражается в луже, а лужа в солнце и

печалиться в жизни особо не о чем. То есть рассказать-то, конечно, можно, только вот... Татарский почесал в затылке. Он вспомнил, что это уже второе откровение такого рода в его жизни: наевшись вместе с Гиреевым мухоморов, он постиг нечто невыразимо важное, потом, правда, начисто забытое. В его памяти остались только слова, которым надлежало нести эту истину: «Смерти нет, потому что ниточки исчезают, а шарик остается».

— Господи, — пробормотал он, — как все-таки трудно протащить сюда хоть что-то...

— Вот именно, — сказал тихий голосок. — Откровение любой глубины и ширины неизбежно упрется в слова. А слова неизбежно упрутся в себя.

Голос показался Татарскому знакомым.

— Кто здесь? — спросил он, оглядывая комнату.

— Сирруф прибыл, — ответил голос.

— Это что, имя?

— This game has no name, — ответил голос. — Скорее, это должность.

Татарский вспомнил, где он слышал этот голос — на военной стройке в подмосковном лесу. На этот раз он увидел говорящего, или, скорее, мгновенно и без всяких усилий представил его себе. Сначала ему показалось, что перед ним подобие собаки — вроде гончей, но с мощными когтистыми лапами и длинной вертикальной шеей. У зверя была продолговатая голова с коническими ушами и очень милая, хотя немного хитрая мордочка, над которой завивался кокетливый гребешок. Кажется, к его бокам были прижаты крылья. Приглядевшись, Татарский понял, что зверь был таких размеров и такой странный, что лучше к нему подходило слово «дракон», тем более что он был покрыт радужно переливающейся чешуей (впрочем, к этому моменту радужно переливались почти все предметы в комнате). Несмотря на отчетливые рептильные черты, существо излучало такое добродушие, что Татарский не испугался.

— Да, все упирается в слова, — повторил сирруф. — Насколько я знаю, самое глубокое откровение, которое когда-либо посещало человека под влиянием наркотиков, было вызвано критической дозой эфира. Получатель нашел в себе силы записать его, хотя это было крайне сложно. Запись выглядела так: «Во всей вселенной пахнет нефтью». До таких глубин тебе еще очень далеко. Ну ладно, это все лирика. Ты лучше скажи, где ты марочку-то эту взял?

Татарский вспомнил коллекционера из «Бедных людей» с его альбомом. Он собирался ответить, но сирруф перебил:

— Гриша-филателист. Я так и думал. Сколько у него их было?

Татарский вспомнил страницу альбома и три сиреневых квадратика в прозрачном пластиковом кармане.

— Понятно, — сказал сирруф. — Значит, еще две.

После этого он исчез, и Татарский опомнился. Он понял, что происходит с человеком во время так называемой белой горячки, про которую он столько читал у русских классиков XIX века. Никакого контроля над галлюцинациями у него не было. И было совершенно непонятно, куда его закинет следующая случайная мысль. Ему стало страшно. Встав, он быстро прошел в ванную, подставил голову под струю воды и держал ее так до тех пор, пока не стало больно от холода. Вытерев волосы, он вернулся в комнату и еще раз посмотрел на ее отражение в окне. Теперь знакомая обстановка показалась готической декорацией к какому-то грозному событию, которое должно было вот-вот произойти, а диван стал очень похож на жертвенный алтарь для крупных животных.

«Зачем надо было эту дрянь есть?» — подумал он с тоской.

— Совершенно незачем, — сказал сирруф, опять появляясь в неизвестном измерении его сознания. — Вообще никаких наркотиков человеку принимать не стоит. А особенно психоделиков.

— Да я и сам понимаю, — ответил Татарский тихо. — Теперь.

— У человека есть мир, в котором он живет, — назидательно сказал сирруф. — Человек является человеком потому, что ничего, кроме этого мира, не видит. А когда ты принимаешь сверхдозу ЛСД или объедаешься пантерными мухоморами, что вообще полное безобразие, ты совершаешь очень рискованный поступок. Ты выходишь из человеческого мира, и, если бы ты понимал, сколько невидимых глаз смотрит на тебя в этот момент, ты бы никогда этого не делал. А если бы ты увидел хоть малую часть тех, кто на тебя при этом смотрит, ты бы умер со страху. Этим действием ты заявляешь, что тебе мало быть человеком и ты хочешь быть кем-то другим. Во-первых, чтобы перестать быть человеком, надо умереть. Ты хочешь умереть?

— Нет. — ответил Татарский и искренне прижал руку к груди.

— А кем ты хочешь быть?

— Не знаю, — сокрушенно сказал Татарский.

— Вот о чем я и говорю. Тем более, ладно еще марка из счастливой Голландии. Но то, что ты съел, — это совсем другое. Это номерной пропуск, служебный документ, съедая который ты перемещаешься в такую область, где нет абсолютно никаких удовольствий. И где не положено шататься без дела. А у тебя никакого дела нет. Ведь нет?

— Нет, — согласился Татарский.

— С Гришей-филателистом мы вопрос решим. Больной человек, коллекционер. И пропуск у него случайно оказался. Но ты-то зачем его съел?

— Хотел ощутить биение жизни, — сказал Татарский и всхлипнул.

— Биение жизни? Ну ощути, — сказал сирруф.

Когда Татарский пришел в себя, единственное, чего ему хотелось, — это чтобы только что испытанное переживание, для описания которого у него не было никаких слов, а только темный ужас, больше никогда с ним не повторялось. Ради этого он был готов на все.

— Еще хочешь? — спросил сирруф.

— Нет, — сказал Татарский, — пожалуйста, не надо. Я больше никогда-никогда не буду есть эту гадость. Обещаю.

— Обещать участковому будешь. Если до утра доживешь.

— Что?

— А то самое. Ты хоть знаешь, что этот пропуск на пять человек? А ты здесь один. Или тебя пять?

Когда Татарский снова пришел в себя, он подумал, что действительно вряд ли переживет сегодняшнюю ночь. Только что его было пять, и всем этим пяти было так нехорошо, что Татарский мгновенно постиг, какое это счастье — быть в единственном числе, и поразился, до какой степени люди в своей слепоте этого счастья не ценят.

— Пожалуйста, — взмолился он, — не надо со мной больше этого делать.

— Я с тобой ничего не делаю, — ответил сирруф. — Ты все делаешь сам.

— Можно я объясню? — жалобно попросил Татарский. — Я понимаю, что совершил ошибку. Я понимаю, что на Вавилонскую башню нельзя смотреть. Но я же не...

— При чем тут Вавилонская башня? — перебил сирруф.

— Я только что ее видел.

— Вавилонскую башню нельзя увидеть, — ответил сирруф. — На нее можно только взойти — говорю это тебе как ее сторож. А то, что ты видел, — это ее полная противоположность. Можно сказать, что это Карфагенская шахта. Так называемый тофет.

— Что такое «тофет»?

— Это место жертвенного сожжения. Такие ямы были в Тире, Сидоне, Карфагене и так далее, и в них действительно жгли людей. Поэтому, кстати, Карфаген и был уничтожен. Еще эти ямы называли геенной — по имени одной древней долины, где впервые открыли этот бизнес. Я мог бы добавить, что Библия называет это «мерзостью аммонитской» — но ты ведь ее все равно не читал.

— Не понимаю.

— Хорошо. Можешь считать, что тофет — это обычный телевизор.

— Все равно не понимаю. Я что, был в телевизоре?

— В некотором смысле. Ты видел техническое пространство, в котором сгорает ваш мир. Нечто вроде станции сжигания мусора.

Татарский опять заметил на периферии своего внимания фигуру со сверкающими струнами в руках. Продолжалось это долю секунды.

— Разве это не бог Энкиду? — спросил он. — Я про него только что читал. Я даже знаю, что это за струны у него в руках. Когда бусины с ожерелья великой богини решили, что они люди, и расселились по всему водоему...

— Во-первых, это не бог, а, скорее, наоборот. Энкиду — это одно из его редких имен, а больше он известен как Ваал. Или Балу. В Карфагене ему пытались приносить жертвы, сжигая детей, но в этом не было смысла, потому что он не делает скидок и сжигает всех подряд. Во-вторых, это не бусины решили, что они люди, а люди решили, что они бусины. Поэтому тот, кого ты называешь Энкиду, собирает эти бусины и сжигает их, чтобы люди когда-нибудь поняли, что они вовсе не бусины. Понял?

— Нет. Что такое бусины?

Сирруф помолчал немного.

— Как тебе объяснить. Бусины — это то, что твой Че Гевара называет словом *identity*.

— А откуда взялись эти бляшки?

— Они ниоткуда не брались. Их на самом деле нет.

— Что же тогда горит? — недоверчиво спросил Татарский.

— Ничего.

— Не понимаю. Если есть огонь, значит, должно быть что-то, что горит. Какая-то материя.

— Ты Достоевского читал?

— Чего-чего?

— Ну, который про баньку с пауками писал?

— Знаю. Я его, если честно, терпеть не могу.

— А зря. У него в одном из романов был старец Зосима, который с ужасом догадывался о *материальном огне*. Непонятно, почему он так его боялся. Материальный огонь — это и есть ваш мир. Огонь, в котором вы сгораете, надо обслуживать. И ты относишься к обслуживающему персоналу.

— К обслуживающему персоналу?

— Ведь ты копирайтер? Значит, ты один из тех людей, которые заставляют людей глядеть в пламя потребления.

— Пламя потребления? Потребления чего?

— Не чего, а кого. Человек думает, что потребляет он, а на самом деле огонь потребления сжигает его, давая ему скромные радости. Это как безопасный секс, которому вы неустанно предаетесь даже в одиночестве. Экологически чистая технология сжигания мусора. Но ты все равно не поймешь.

— А кто мусор-то, кто? — спросил Татарский. — Человек, что ли?

— Человек по своей природе прекрасен и велик, — сказал сирруф. — Почти так же прекрасен и велик, как сирруф. Но он этого не знает. А мусор — это и есть его незнание. Это identity, которой на самом деле нет. Человек в этой жизни присутствует при сжигании мусора своей identity. Согласись, что лучше греться у этого огонька, чем гореть в нем заживо.

— Зачем человеку глядеть в этот огонь, если в нем сгорает его жизнь?

— Вы все равно не знаете, что с этими жизнями делать. И куда бы вы ни глядели, вы все равно глядите в огонь, в котором сгорает ваша жизнь. Милосердие в том, что вместо крематориев у вас телевизоры и супермаркеты. А истина в том, что функция у них одна. И потом. огонь — это просто метафора. Ты видел его, потому что съел пропуск на станцию сжигания мусора. Большинство видит перед собой просто телеэкран.

После этого он исчез.

— Эй, — позвал Татарский.

Ответа не было. Татарский подождал еще минуту и понял, что остался один на один со своим умом, готовым пойти вразнос. Надо было срочно чем-то себя занять.

— Звонить, — прошептал он. — Кому? Гирееву! Он знает, что делать.

Долгое время трубку никто не брал. Наконец, на пятнадцатом или двадцатом гудке, Гиреев хмуро отозвался:

— Алло.

— Андрюша? Здравствуй. Это Татарский.

— Ты знаешь, сколько сейчас времени?

— Слушай, — торопливо заговорил Татарский, — у меня беда. Я кислоты обожрался. Специалисты сказали, пять доз. Колбасит, короче, по всему мясокомбинату. Что делать?

— Что делать? Не знаю, что делать. Я в таких случаях мантру читаю.

— Можешь мне дать?

— Как я тебе дам. Передача нужна.

— А таких нет, чтобы без передачи?

Гиреев задумался.

— Сейчас, подожди минуту, — сказал он и положил трубку на стол.

Несколько минут Татарский вслушивался в далекие звуки, которые приносил по проводу электрический ветер. Сначала были слышны обрывки разговора, надолго вклинился раздраженный женский голос, а потом все покрыл резкий и требовательный детский плач.

— Записывай, — сказал наконец Гиреев. — Ом мелафэфон бва кха ша. Повторяю по буквам: о-эм...

— Записал, — сказал Татарский. — Что это значит?

— Неважно. Концентрируйся чисто на звуке, понял? Водка у тебя есть?

— Вроде была. Две бутылки.

— Можешь смело выпить. С этой мантрой очень хорошо. Через час все пройдет. Завтра позвоню.

— Спасибо. Слушай, а кто это там плачет?

— Сын, — ответил Гиреев.

— У тебя сын есть? Не знал. Как зовут?

— Намхай, — недовольно ответил Гиреев. — До завтра.

Положив трубку. Татарский кинулся на кухню, быстро пришептывая полученное заклинание. Достав бутылку «Абсолюта», он в три приема выпил ее из стакана, запил холодной заваркой и пошел в ванную — в комнату возвращаться было страшно. Сев на край ванны, он устался в дверь и зашептал:

— Ом мелафефон бва кха ша, ом мелафефон бва кха ша...

Предложение было настолько труднопроизносимым, что ни на какие другие мысли ума уже не хватало. Прошло несколько спокойных минут, и теплая волна опьянения разлилась по телу. Татарский уже почти успокоился и вдруг заметил знакомое мерцание на периферии взгляда, сжал кулаки и зашептал мантру быстрее, но новый глюк уже было не остановить.

В том месте, где только что была дверь ванной, вспыхнуло нечто вроде салюта, а когда красно-желтый огонь чуть угас, он увидел перед собой пылающий куст. Его ветви обвивало яркое пламя, словно он был облит пылающим бензином, но широкие темно-зеленые листья не обгорали в этом огне. Как только Татарский рассмотрел куст в подробностях, из его середины к нему протянулась рука, сжатая в кулак. Татарский покачнулся и чуть не свалился в ванну спиной. Кулак разжался, и Татарский увидел на ладони перед своим лицом маленький мокрый огурец в пупырышках.

Когда куст исчез. Татарский уже не помнил, взял он огурец или нет, но во рту ощущался явственный соленый привкус. Возможно, это была кровь из надкушенной губы.

— Не, Гиреев, не катит твоя мантра, — прошептал Татарский и пошел на кухню.

Выпив еще водки (для этого пришлось сделать усилие), он вернулся в комнату и включил телевизор. Раздалась торжественная музыка, синее пятно на экране расплылось и превратилось в изображение. Передавали какой-то концерт.

«Го-осподи, к Тебе воз-звах!» — вращая выпученными глазами, пропел человек с напудренным лицом, в бабочке и перламутровом жилете под фраком. Во время пения он странно отгребал ладонью, словно его куда-то сносил невидимый поток горнего эфира.

Татарский щелкнул пультом, и человек в бабочке угас. «Помолиться, что ли? — подумал он. — Вдруг поможет...» Ему вспомнился человек с барельефа, воздевавший руки к звездному небу.

Выйдя в центр комнаты, он с трудом встал на колени, сложил руки на груди и поднял взгляд в потолок.

— Господи, к Тебе воззвах, — сказал он тихо. — Я так виноват перед Тобой. Я плохо и неправильно живу, я знаю. Но я в душе не хочу ничего мерзкого, честное слово. Я никогда больше не буду есть эту дрянь. Я... Я просто хочу быть счастливым, а у меня никак не получается. Может, так мне и надо. Я ведь ничего больше не умею, кроме как писать плохие слоганы. Но Тебе, Господи, я напишу хороший — честное слово. Они ведь Тебя совершенно неправильно позиционируют. Они вообще не въезжают. Вот хотя бы этот последний клип, где собирают деньги на эту церковь. Там стоит такая бабуля с ящиком, и в него сначала кладут рубль из «запорожца», а потом сто баксов из «мерседеса». Мысль понятная, но как позиционирование это совершенно не катит. Ведь тому, кто в «мерседесе», запахло после «запорожца». Коню ясно. А как target group нам нужны именно те, кто в «мерседесах», потому что по отдаче один в «мерседесе» — это как тысяча в «запорожцах». Надо не так. Сейчас...

Кое-как встав с коленей, Татарский добрал до стола, взял ручку и прыгающим паучьим почерком записал:

Плакат (сюжет клипа): длинный белый лимузин на фоне Храма Христа Спасителя. Его задняя дверца открыта, и из нее бьет свет. Из света высовывается сандалия, почти касающаяся асфальта, и рука, лежащая на ручке двери. Лица не видим. Только свет, машина, рука и нога. Слоган:

ХРИСТОС СПАСИТЕЛЬ
СОЛИДНЫЙ ГОСПОДЬ ДЛЯ СОЛИДНЫХ ГОСПОД

Вариант:

ГОСПОДЬ ДЛЯ СОЛИДНЫХ ГОСПОД

Бросив ручку. Татарский поднял заплаканные глаза в потолок.
— Господи, Тебе нравится? — тихо спросил он.

Божья любовь к человеку проявляется в великом и невыразимом в словах принципе «все-таки можно». «Все-таки можно» означает огромное количество вещей — например, то, что сам этот принцип, несмотря на свою абсолютную невыразимость, все-таки может быть выражен и проявлен. Мало того, он может быть выражен бесконечное число раз, и каждый раз совершенно по-новому, поэтому и существует поэзия. Вот какова Божья любовь. И чем же отвечает ей человек?

Татарский проснулся в холодном поту, не понимая, за что из окон на его голову рушится безжалостный белый свет. У него осталось смутное воспоминание о том, что во сне он кричал и еще, кажется, перед кем-то оправдывался, — в общем, снился похмельный кошмар. А похмелье было таким глубоким и фундаментальным, что нечего было и надеяться влить в горло спасительные сто грамм. Нельзя было и думать об этом, потому что одна мысль об алкоголе вызывала рвотные спазмы. Но, на его счастье, та иррационально-мистическая ипостась Божьей любви, которую воспел великий Ерофеев, уже осенила его своим дрожащим крылом.

Опохмелиться было все-таки можно. Для этого существовал специальный метод, называемый «паровозиком». Он был отточен поколениями алкоголиков и передан Татарскому одним человеком из эзотерических кругов Санкт-Петербурга наутро после чудовищной пьянки. «Метод, в сущности, гурджиевский, — объяснил человек. — Относится к так называемому «пути хитрого человека». В нем ты рассматриваешь себя как машину. У этой машины есть рецепторы, нервные окончания и высший контрольный центр, который ясно объявляет, что любая попытка принять алкоголь приведет к немедленной рвоте. Что делает хитрый человек? Он обманывает рецепторы машины. Практическая сторона выглядит так. Ты набираешь полный рот лимонада. После этого наливаешь в стакан водки и подносишь его ко рту. Потом глотаешь лимонад, и, пока рецепторы сообщают высшему контрольному центру, что ты пьешь лимонад, ты быстро проглатываешь водку. Тело просто не успевает среагировать, потому что ум у него довольно медлительный. Но здесь есть один нюанс. Если ты перед водкой глотаешь не лимонад, а кока-колу, то сблюешь с вероятностью пятьдесят процентов. А если глотаешь пепси-колу, то сблюешь обязательно».

«Вот это бы в концепцию», — мрачно подумал Татарский, выходя на кухню. В одной из бутылок оставалось немного водки. Он налил ее в стакан и повернулся к холодильнику. Его испугала мысль, что там нет ничего, кроме пепси-колы, которую он обычно покупал из верности идеалам поколения, но, к счастью, на нижней полке стояла банка лимонада «7-Up», принесенная кем-то из гостей.

— Seven-Up, — прошептал Татарский, облизнув пересохшие губы. — The Uncola...

Операция удалась. Вернувшись в комнату, он подошел к столу и обнаружил на нем несколько листов, исписанных кривыми буквами. Оказалось, что вчерашняя волна религиозного чувства выбросила на бумагу целую подборку текстов, момента написания которых он не помнил. Первый был таким:

Коммерческая идея: объявить тендер на отливку колоколов для Храма Христа Спасителя. Кока-колокол и Пепси-колокол. Пробка у бутылки в виде золотого колокольчика. (Храм Спаса на рго-V: шампунь, инвестиции.)

Дальше, видимо, душа увлеклась привычным промыслом, но устыдилась — под колоколами помещалось зачеркнутое:

кока-колготки, кока-колбаски, кока-колымские рассказы (нанять команду писателей) .

На следующем листе очень аккуратными печатными буквами было выведено:

КОКТЕЙЛЬ «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ»

ЧЕЛОВЕК! НЕ ХОТИ ДЛЯ СЕБЯ НИЧЕГО.
КОГДА ЛЮДИ ПРИДУТ К ТЕБЕ ТОЛПАМИ,
ОТДАЙ ИМ СЕБЯ БЕЗ ОСТАТКА.
ТЫ ГОВОРИШЬ, ЧТО ЕЩЕ НЕ ГОТОВ?
МЫ ВЕРИМ, ЧТО ЗАВТРА ТЫ СМОЖЕШЬ!
А ПОКА — ДЖИН «BOMBAY SAPHIRE»
С ТОНИКОМ, СОКОМ ИЛИ ПРОСТО
КУБИКОМ ЛЬДА

Самый последний текст, видимо, пришел из огромного рекламного агентства на небесах уже тогда, когда Татарский достиг запредельной стадии опьянения, — только на расшифровку собственных каракулей у него ушло несколько минут. Видимо, слоган был написан, когда пик молитвенного экстаза был пройден и сознание окончательно вернулось к прагматичному рационализму:

DO IT YOURSELF, MOTHERFUCKER^[251].
РЕЕВОК

Зазвонил телефон. «Ханин», — с испугом подумал Татарский, поднимая трубку. Но это оказался Гиреев.

— Ваван? Ты как?

— Так, — ответил Татарский.

— Извини за вчерашнее. Поздно позвонил. Жена наехала. Обошлось?

— Более-менее.

— Я тебе знаешь что хотел рассказать? Тебе, наверно, интересно будет как профессионалу. Туг один лама приезжал — Урган Джамбон Тулку Седьмой, из секты гелугпа. Так он целую лекцию прочел о рекламе. У меня кассета есть, я тебе дам послушать. Там всего много было, но главная мысль очень интересная. С точки зрения буддизма смысл рекламы крайне прост. Она стремится убедить, что потребление рекламируемого продукта ведет к высокому и благоприятному перерождению, причем не после смерти, а сразу же после акта потребления. То есть пожевал «Орбит» без сахара — и уже асур. Пожевал «Дирол» — и вообще бог с белыми-белыми зубами.

— Я ни слова не понимаю в том, что ты говоришь, — сказал Татарский, морщась от рассасывающихся спазмов тошноты.

— Ну, если по-простому, то он хотел сказать, что главная задача рекламы — это показывать людям других людей, которые сумели обмануться и найти счастье в обладании материальными объектами. На самом деле такие обманувшиеся живут только в клипах.

— Почему? — спросил Татарский, пытаясь угнаться за беспокойной мыслью приятеля.

— Потому что всегда рекламируются не вещи, а простое человеческое счастье. Всегда показывают одинаково счастливых людей, только в разных случаях это счастье вызвано разными приобретениями. Поэтому человек идет в магазин не за вещами, а за этим счастьем, а его там не продают. А потом лама критиковал теорию какого-то Че Гевары. Он сказал, что Че Гевара не вполне буддист и поэтому для буддиста не вполне авторитет. И вообще, он не дал миру ничего, кроме очереди из автомата и своей торговой марки. Правда, мир ему тоже ничего не дал...

— Слушай, — перебил Татарский, — сворачивай. Я все равно сейчас не пойму ничего — голова болит. Ты мне лучше скажи, что это ты мне за мантру дал?

— Это не мантра, — ответил Гиреев. — Это предложение на иврите из учебника. У меня жена учит.

— Жена? — переспросил Татарский, вытирая со лба капли холодного пота. — Хотя конечно. Если сын есть, то и жена. А чего она иврит учит?

— А она валить отсюда хочет. У нее недавно видение было страшное. Без всяких глюкал, просто в медитации. Короче, такой камень, и на нем девушка лежит голая, и эта девушка — Россия. И, значит, склонился над ней такой... Лица не разобрать, но вроде в шинели с погонами. Или плащ такой. И он ей...

— Не грузи, — сказал Татарский. — Вырвет. Давай я тебе потом позвоню.

— Давай, — согласился Гиреев.

— Подожди. Почему ты мне это предложение дал, а не мантру?

— Какая разница. В таком состоянии все равно, что повторять. Главное ум занять и водки больше выпить. А мантру без передачи кто ж тебе даст.

— И что эта фраза значит?

— Сейчас посмотрю. Где это... Ага, вот. «Од мелафэфон бва кха ша». Это значит «Дайте, пожалуйста, еще огурец». Прикол, да? Натуральная мантра. Начинается, правда, не с «ом», а с «од», это я поменял. А если в конце еще «хум» поставить...

— Все, — сказал Татарский. — Счастливо. Я за пивом пошел.

Утро было ясным и свежим; в его прохладной чистоте чудился непонятный упрек. Выйдя из подъезда, Татарский остановился в задумчивости. До круглосуточно открытого магазина, куда он обычно ходил за опохмелкой (местные алкаши называли его «кругосветкой»), надо было переться десять минут, и столько же обратно. Совсем рядом, в двух минутах ходьбы, были ларьки, в одном из них он когда-то работал и с тех пор ни разу даже не показывался рядом. Но сейчас было не до смутных страхов. Борясь с нежеланием жить дальше, Татарский пошел к ларькам.

Несколько из них уже открылось; рядом с ними стоял газетный лоток. Татарский купил три банки «Туборга» и аналитический таблоид — он просматривал его из-за рекламных врезов, к которым испытывал профессиональный интерес даже с сильного похмелья. Первую банку он выпил, листая таблоид. Его внимание привлекла реклама Аэрофлота, где по трапу, приставленному к увешанной райскими плодами пальме, поднималась семейная пара. «Вот идиоты, — подумал Татарский. — Кто ж такую рекламу только делает? Допустим, надо человеку в Новосибирск лететь. А ему обещают, что он в рай попадет. А ему, может, в рай еще рано, может, у него в Новосибирске дела... Они бы еще аэробус «Икар» придумали...» Соседнюю страницу занимал красочный плакат шампанского «Вдова Довгань № 57»: ослепительная блондинка катила на водных лыжах мимо заросшего пальмами желтого

острова, говоря с кем-то по мобильному телефону. Еще в таблоиде нашлась реклама американского ресторана на площади Восстания — фотография входа, над которым горела веселая неоновая надпись:

BEVERLY KILLS
A CHUCK NORRIS ENTERPRISE

Сложив газету, Татарский расстелил ее на грязном ящике, стоявшем между ларьками, сел на него и открыл вторую банку.

Почти сразу стало легче. Чтобы не смотреть на мир вокруг. Татарский уставился на банку. На ней, под желтым словом «Туборг», был большой рисунок: толстый мужчина в подтяжках вытирал пот со лба белым платком. Над мужчиной пылало синее небо, а сам он стоял на узкой тропинке, которая уводила за горизонт; словом, в рисунке была такая символическая нагрузка, что было непонятно, как ее выдерживает тонкая жесть банки. Татарский автоматически стал сочинять слоган.

«Примерно так, — думал он. — Жизнь — это одинокое странствие под палящим солнцем. Дорога, по которой мы идем, ведет в никуда. И неизвестно, где встретит нас смерть. Когда вспоминаешь об этом, все в мире кажется пустым и ничтожным. И тогда наступает прозрение. Туборг. Подумай о главном!»

Часть слогана можно было бы написать по-латыни, к этому у Татарского оставался вкус с первого дела. Например, «Остановись, прохожий» — что-то там *viator*. Татарский не помнил точно, надо было посмотреть в «Крылатых латинизмах». Он пошарил по карманам, ища ручку, чтобы записать придуманное. Ручки не было. Татарский решил спросить ее у кого-нибудь из прохожих, поднял глаза и увидел прямо перед собой Гусейна.

Гусейн улыбался краями рта, его руки были засунуты в широкие бархатные штаны, а маслянисто блестящие глаза не выражали ничего — он был на приходе от недавнего укола. Он почти не изменился, разве что немного раздобрел. На его голове была низкая папаха.

Банка с пивом выпала из руки Татарского, и символический желтый ручеек нарисовал на асфальте темное пятно. Чувства, которые за секунду пронеслись сквозь его душу, вполне вписывались в только что придуманную концепцию для «Туборга» — за исключением того, что никакого прозрения не наступило.

— Пойдем, — сказал Гусейн и поманил Татарского пальцем.

Секунду Татарский колебался, не побежать ли прочь, но решил, что разумней этого не делать. Насколько он помнил, Гусейн рефлекторно воспринимал как мишень все быстро движущиеся объекты крупнее собаки и меньше автомобиля. Конечно, за прошедшее время под воздействием морфинов и суфийской музыки в его внутреннем мире могли произойти серьезные изменения, но Татарского не очень тянуло проверять это на практике.

Вагончик, где жил Гусейн, тоже почти не изменился — только на окнах теперь были плотные занавески, а над крышей — зеленая тарелка спутниковой антенны. Гусейн открыл дверь и мягко подтолкнул Татарского в спину.

Внутри было полутемно. Работал огромный телевизор, на его экране застыли три фигуры под развесистым деревом. Изображение чуть подрагивало — телевизор был подключен к видеомэгнитофону, стоящему на «паузе». Напротив телевизора была лавка. На ней, откинувшись к стене, сидел давно не брившийся человек в мятом клубном пиджаке с золотыми пуговицами. От него пованивало. Его правая нога была сцеплена с рукой

пропущенными под лавкой наручниками, из-за чего тело застыло в трудноописуемом полулежачем положении, напомнившем Татарскому вау-анальную позу пассажира бизнес-класса с рекламы «Кореан Эйр» (только на рекламе «Кореан Эйр» тело было повернуто таким образом, что наручники были незаметны). При виде Гусейна человек дернулся. Гусейн вынул из кармана сотовый телефон и показал его прикованному к лавке. Тот отрицательно помотал головой, и Татарский заметил, что его рот заклеен широкой полосой скотча телесного цвета, на котором красным маркером нарисована улыбка.

— Вот зануда, — пробормотал Гусейн. Взяв со стола дистанционный пульт, он нажал на кнопку. Фигуры на экране телевизора вяло зашевелились — магнитофон работал на замедленном воспроизведении. Татарский узнал незабываемые по своей политкорректности кадры из «Кавказского пленного» — кажется, так назывался этот фильм. Русский десантник в мятой униформе весело и неуверенно озирался по сторонам, двое огнеглазых кавказцев в национальной одежде держали его под руки, а третий, в такой же папахе, как на Гусейне, подносил к его горлу длинную музейную саблю. На экране сменилось несколько крупных планов — глаза десантника, приставленное к натянувшейся коже лезвие (Татарский подумал, что это сознательная цитата из «Андалузского пса» Бунюэля, вставленная в расчете на каннское жюри), а затем рука убийцы резко рванула саблю на себя. Немедленно за этим на экране возникло начало сцены: убийца вновь подносил свою саблю к горлу жертвы. Фрагмент был закольцован. Только теперь до Татарского дошло, что он смотрит подобие рекламного ролика, который крутят на выставочном стенде. Даже не подобие — это и был рекламный ролик: Гусейна тоже затронули информационные технологии, и теперь он с помощью визуального ряда позиционировал себя в сознании клиента, объясняя, какие услуги предлагает его предприятие. Возможно, кадр с крупным планом сабли у горла был даже подмонтирован — Татарский не помнил такого в фильме. Клиент, видимо, был хорошо знаком и с этим клипом, и с предприятием Гусейна — закрыв глаза, он уронил голову на грудь.

— Даты смотри, смотри, — сказал Гусейн, схватил его за волосы и повернул лицом к экрану. — Весельчак гребаный. Ты у меня долыбишься...

Несчастный тихо замычал, но из-за того, что на его лице по-прежнему сияла широкая улыбка, Татарский почувствовал к нему иррациональную неприязнь.

Гусейн отпустил его, поправил папаху и повернулся к Татарскому:

— Один всего раз по телефону позвонить надо, а не хочет. И себя мучит, и других. Вот люди... Ты как сам-то? Кумарит тебя, я вижу?

— Нет. — сказал Татарский. — Похмелье.

— Так я тебе налью, — сказал Гусейн.

Подойдя к несгораемому шкафу, он достал из него бутылку «Хеннеси» и пару не особо чистых граненых стаканов.

— Гостю ряды, — сказал он, разливая коньяк. Татарский чокнулся с ним и выпил.

— Что делаешь по жизни? — спросил Гусейн.

— Работаю.

— И где?

Надо было что-то сказать, причем такое, чтобы Гусейн не смог потребовать отступного за выход из бизнеса. Денег у Татарского сейчас не было. Его глаза остановились на экране телевизора, где в очередной раз наступала смерть. «Прибьют вот так, — подумал он, — и цветов никто на могилу не положит...»

— Так где? — переспросил Гусейн.

— В цветочном бизнесе, — неожиданно для себя сказал Татарский. — С азербайджанцами.

— С азербайджанцами? — недоверчиво переспросил Гусейн. — С какими азербайджанцами?

— С Рафиком, — вдохновенно ответил Татарский, — и с Эльдаром. Арендуем самолет, сюда цветы возим, а туда... Сам понимаешь что. Арендую, конечно, не я. Я так, на подхвате.

— Да? А чего тогда как человек объяснить не мог? Зачем ключи бросил?

— Запой был, — ответил Татарский.

Гусейн задумался.

— Даже не знаю, — сказал он. — Цветы дело хорошее. Я б тебе ничего не сказал, объяви ты как мужчина мужчине. А так... Надо с твоим Рафиком говорить.

— Он в Баку сейчас. — сказал Татарский. — И Эльдар тоже.

На поясе у него запищал пейджер.

— Кто это? — спросил Гусейн.

Татарский поглядел на экран и увидел номер Ханина.

— Это просто знакомый. Он никакого отношения...

Гусейн молча протянул руку, и Татарский покорно положил в нее свой пейджер. Гусейн достал телефон, набрал номер и значительно поглядел на Татарского. На том конце линии взяли трубку.

— Але, — сказал Гусейн, — с кем я говорю? Ханин? Здравствуй, Ханин. Это из кавказского землячества звонят. Меня зовут Гусейн. Я тебя чего беспокою — у нас тут сидит твой друг Вова. У него проблема — он нам денег должен. Не знает, где взять. Вот просил тебе позвонить — может, ты поможешь. Ты с ним тоже цветы возишь?

Подмигнув Татарскому, он молча слушал минуту или две.

— Что? — спросил он, наморщась. — Ты скажи, ты с ним цветы возишь? Как это — метафорически возишь? Какая роза персов? Какой Ариосто? Кто? Кого? Давай своего друга... Слушаю...

По выражению лица Гусейна Татарский понял, что на том конце линии сказали что-то немислимое.

— Да мне все равно, кто ты, — ответил Гусейн после долгой паузы. — Да посылай кого хочешь... Да... Да хоть полк вашего ОБЗДОНа на танках. Только ты предупреди их на всякий случай, что тут не раненый пионер из Белого дома лежит, понял, нет? Что? Сам приедешь? Приезжай... Пиши адрес...

Сложив телефон, Гусейн вопросительно посмотрел на Татарского.

— Я же говорил, не стоит, — сказал Татарский.

Гусейн ухмыльнулся:

— За меня боишься? Ценю, что добрый. Но не надо.

Вынув из несгораемого шкафа две лимонки, он чуть разогнул усики на взрывателях и положил по гранате в каждый карман. Татарский сделал вид, что смотрит в другую сторону.

Через полчаса в нескольких метрах от вагончика остановился фольклорный «Мерседес-600» с зачерненными стеклами, и Татарский припал к просвету между занавесками. Из машины вылезли два человека — первым был взъерошенный Ханин, а второго Татарский не знал.

По всем вау-идентификаторам это был представитель так называемого среднего класса

— типичный бык, красномордый пехотинец откуда-нибудь из комиссионного в Южном порту. На нем был черный кожаный пиджак, тяжелая золотая цепь и спортивные штаны. Но, судя по машине, он олицетворял тот редкий случай, когда солдату удается дослужиться до генерала. Перебросившись с Ханиным парой слов, он пошел к двери. Ханин остался на месте.

Дверь открылась. Незнакомец грузно вошел в вагончик, поглядел сначала на Гусейна, потом на Татарского, а потом на прикованного к лавке. На его лице изобразилось изумление. Секунду он стоял неподвижно, словно не веря своим глазам, а потом шагнул к прикованному, схватил его за волосы и два раза сильно ударил лицом о колени. Тот попытался защититься свободной рукой, но не успел.

— Так вот ты где, сука! — надсаживаясь, выкрикнул вошедший, и его лицо побагровело еще сильнее. — А мы тебя две недели по всему городу ищем. Что, спрятаться захотел? Бинтуешься, коммерсант ебаный?

Татарский с Гусейном переглянулись.

— Эй, ты не очень, — неуверенно сказал Гусейн. — Он, конечно, коммерсант, базара нет, но это все-таки мой коммерсант.

— Чего? — спросил неизвестный, отпуская окровавленную голову. — Твой? Он моим коммерсантом был, когда ты еще коз в горах пас.

— Я в горах не коз пас, а козлов, — спокойно ответил Гусейн. — А если ты быковать приехал, так я тебе кольцо в нос продену, реально говорю.

— Как ты сказал? — наморщился неизвестный и расстегнул пиджак, под левой полкой которого что-то бугрилось. — Какое кольцо?

— Вот это, — сказал Гусейн, вынимая из кармана гранату.

Вид сведенных усиков мгновенно успокоил неизвестного.

— Мне этот гад деньги должен, — сообщил он.

— Мне тоже, — сказал Гусейн, убирая гранату.

— Мне он первому должен.

— Нет. Первому он должен мне.

Минуту они глядели друг на друга.

— Хорошо, — сказал неизвестный. — Завтра встретимся и обсудим. В десять вечера. Где?

— А прямо сюда приходи.

— Забились. — сказал неизвестный и ткнул пальцем в Татарского: — Молодого я с собой беру. Он подо мной ходит.

Татарский вопросительно посмотрел на Гусейна. Тот ласково улыбнулся:

— К тебе базаров больше нет. Друг твой на себя все стрелки перевел. А так, по-человечески. — заходи. Цветов принеси, роз. Я их люблю.

Выйдя на улицу вслед за всеми, Гусейн закурил сигарету и оперся спиной о стену вагончика. Сделав два шага, Татарский обернулся.

— Я пиво забыл, — сказал он.

— Иди возьми. — ответил Гусейн.

Татарский вернулся в вагончик и взял со стола последнюю банку «Туборга». Прикованный к лавке замычал и поднял свободную руку. Татарский заметил в ней квадратик цветной бумаги, взял его и торопливо сунул в карман. Пленник издал тихий стон октавой выше, покрутил пальцем диск невидимого телефона и прижал ладонь к сердцу. Татарский

кивнул и вышел. Куривший у крыльца Гусейн, кажется, ничего не заметил. Незнакомец и Ханин были уже в машине; как только Татарский сел на переднее сиденье, она сразу тронулась.

— Познакомьтесь, — сказал Ханин. — Ваван Татарский, один из наших лучших специалистов. А это. — Ханин кивнул на незнакомца, выруливавшего на дорогу, — Вовчик Малой, почти твой тезка. Еще Ницшеанцем зовут.

— Да ну это так, хуйня, — быстро пробормотал Вовчик, смаргивая. — Давно это было.

— Это, — продолжал Ханин, — человек с очень важной экономической функцией. Можно сказать, ключевое звено либеральной модели в странах с низкой среднегодовой температурой. Ты в рыночной экономике понимаешь немного?

— Децул, — ответил Татарский и свел два пальца, оставив между ними миллиметровый зазор.

— Тогда ты должен знать, что на абсолютно свободном рынке в силу такого определения должны быть представлены услуги ограничителей абсолютной свободы. Вовчик — как раз такой ограничитель. Короче, наша крыша...

Когда машина затормозила у светофора, Вовчик Малой поднял на Татарского маленькие невыразительные глаза. Непонятно было, отчего его называли «малым», — он был мужчиной крупных размеров и изрядного возраста. Его лицо было типичной бандитской пельмениной невнятных очертаний, не вызывавшей, впрочем, особого отвращения. Оглядев Татарского, он сказал:

— Короче, ты в русскую идею въезжаешь?

Татарский вздрогнул и выпучил глаза.

— Нет, — сказал он. — Не думал на эту тему.

— Тем лучше, — влез Ханин. — Как говорится, со свежей головой...

— А зачем это нужно? — спросил Татарский, оборачиваясь к нему.

— Тебе заказ на разработку, — ответил Ханин.

— От кого?

Ханин кивнул на Вовчика.

— Вот тебе ручка и блокнот, — сказал он, — слушай его внимательно и делай пометки. Потом по ним распишешь.

— А че тут слушать, — буркнул Вовчик. — И так все ясно. Скажи, Ваван, когда ты за границей бываешь, унижение чувствуешь?

— Я там не был никогда, — признался Татарский.

— И молодец. Потому что поедешь — почувствуешь. Я тебе точно говорю — они нас там за людей не считают, как будто мы все говно и звери. То есть когда ты в каком-нибудь «Хилтоне» весь этаж снимешь, тогда к тебе, конечно, в очередь встанут минет делать. Но если на каком-нибудь фуршете окажешься или в обществе, так просто как с обезьяной говорят. Чего, говорят, у вас крест такой большой — вы что, богослов? Я б тебе, блядь, такое богословие в Москве показал...

— А почему такое отношение? — перебил Ханин. — Мнение есть?

— Есть, — сказал Вовчик. — Все потому, что мы у них на пансионе. Их фильмы смотрим, на их тачках ездим и даже хавку ихнюю едим. А сами производим, если задуматься, только бабки... Которые тоже по всем понятиям ихние доллары, так что даже неясно, как это мы их производить ухитряемся. Хотя, с другой стороны, производим же — на халяву-то никто не дал бы... Я вообще-то не экономист, но точно чувствую — дело

гнилое, какая-то тут лажа зарыта.

Вовчик замолчал и тяжело задумался. Ханин собирался что-то вставить, но Вовчик вдруг взорвался:

— Но они-то думают, что мы культурно опущенные! Типа как чурки из Африки, понимаешь? Словно мы животные с деньгами. Свиньи какие или быки. А ведь мы — Россия! Это ж подумать даже страшно! Великая страна!

— Да, — сказал Ханин.

— Просто потеряли на время корни из-за всей этой байды. Сам знаешь, какая жизнь, — пернуть некогда. Но это ж не значит, что мы забыли, откуда мы родом, как негры эти козлиные...

— Давай без эмоций, — сказал Ханин. — Объясни парню, чего ты от него хочешь. И попроще, без лирики.

— Короче, я тебе сейчас ситуацию просто объясню, на пальцах, — сказал Вовчик. — Наш национальный бизнес выходит на международную арену. А там крутятся всякие бабки — чеченские, американские, колумбийские, ну ты понял. И если на них смотреть просто как на бабки, то они все одинаковые. Но за каждыми бабками на самом деле стоит какая-то национальная идея. У нас раньше было православие, самодержавие и народность. Потом был этот коммунизм. А теперь, когда он кончился, никакой такой идеи нет вообще, кроме бабок. Но ведь не могут за бабками стоять просто бабки, верно? Потому что тогда чисто непонятно — почему одни впереди, а другие сзади?

— Во как, — сказал Ханин. — Учись, Ваван.

— И когда наши русские доллары крутятся где-нибудь в Карибском бассейне, — продолжал Вовчик, — даже на самом деле не въедешь, почему это именно русские доллары. Нам не хватает национальной и-ден-тич-ности...

Последнее слово Вовчик выговорил по складам.

— Понял? У чеченов она есть, а у нас нет. Поэтому на нас как на говно и смотрят. А надо, чтобы была четкая и простая русская идея, чтобы можно было любой суке из любого Гарварда просто объяснить: тыр-пыр-во-семь-дыр, и нефига так глядеть. Да и сами мы знать должны, откуда родом.

— Ты давай задачу ставь, — сказал Ханин и подмигнул Татарскому в зеркальце. — Это ж мой главный криэйтор. У него минута времени больше стоит, чем мы с тобой вместе в неделю зарабатываем.

— Задача простая, — сказал Вовчик. — Напиши мне русскую идею размером примерно страниц на пять. И короткую версию на страницу. Чтоб чисто реально было изложено, без зауми. И чтобы я любого импортного пидора — бизнесмена там, певицу или кого угодно — мог по ней развести. Чтоб они не думали, что мы тут в России просто денег украли и стальную дверь поставили. Чтоб такую духовность чувствовали, бляди, как в сорок пятом под Сталинградом, понял?

— А где я ее... — начал Татарский, но Ханин перебил:

— А это уж, родной, твое дело. Сроку у тебя день, работа срочная. Потом ты мне для других дел нужен будешь. И учти: кроме тебя, мы эту идею еще одному человеку заказали. Так что старайся.

— Кому, если не секрет? — спросил Татарский.

— Саше Бло. Слышал про такого?

Татарский промолчал. Ханин сделал знак Вовчику, и машина остановилась. Протянув

Татарскому сотенную бумажку, Ханин сказал:

— Это тебе на такси. Езжай домой работать. И больше сегодня не пей.

Выйдя на тротуар, Татарский дождался, пока машина уедет, и достал визитку кавказского пленного. Она выглядела странно — в центре была нарисована секвойя, а все остальное место занимали звезды, полосы и орлы. Поверх этого римского великолепия было напечатано кудрявыми золотыми буквами:

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ТАМПОКО»

ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ И СОКИ

Менеджер по размещению акций

МИХАИЛ НЕПОЙМАН

— Ага, — пробормотал Татарский. — Помним-помним.

Спрятав визитку в карман, он повернулся к потоку машин и поднял руку. Такси остановилось почти сразу.

Таксист был толстощеким увальнем с выражением сосредоточенной обиды на лице. У Татарского мелькнула мысль, что он похож на переполненный водой презерватив, которого достаточно слегка коснуться чем-нибудь острым, чтобы он выплеснулся на окружающих одноразовым водопадом.

— Скажите, — спросил Татарский неожиданно для себя, — вы случайно не знаете, что такое русская идея?

— Ха, — сказал водитель, словно только и ждавший этого вопроса. — Я тебе сейчас расскажу. Я же сам мордвин наполовину. Так вот, когда я в армии служил, в первый год, в учебке, там один сержант был по фамилии Харлей. «Я, — говорил, — мордву и чурок ненавижу!»

Посылал меня зубной щеткой очко драить. Два месяца, сука, надо мной издевался. А потом вдруг приходят к нам в учебку сразу три брата-мордвина — и все Штангисты, ты себе можешь представить? Кто здесь, говорят, мордву не любит?

Водитель счастливо засмеялся, и машина широко вильнула на дороге, чуть не выскочив на встречную полосу.

— А при чем здесь русская идея? — вжавшись в сиденье, спросил испуганный Татарский.

— А при том. Этот Харлей таких пиздянок получил, что потом две недели в медсанбате отлеживался. Во как. И еще потом раз пять его метелили, пока до дембеля дотянул. Если б только метелили...

— Вот здесь, пожалуйста, остановите, — не выдержал Татарский.

— Здесь нельзя, — сказал шофер, — развернуться надо. Я говорю, если бы его только били... Не-ет!..

Татарский смирился, и, пока машина везла его домой, шофер посвятил его в такие подробности судьбы сержанта-шовиниста, которые уничтожили даже малейшую возможность сострадания — ведь за ним, в сущности, всегда стоит короткий миг отождествления, а здесь оно было невозможно, потому что на него не решались ни ум, ни душа. Впрочем, это была обычная армейская история. Когда Татарский вылез, водитель сказал ему вслед:

— А насчет идеи этой я тебе прямо скажу — хрен его знает. Мне бы на бензин заработать да на хань. А там — что Дудаев, что Мудаев, лишь бы лично меня мордой об стол не били.

Возможно, из-за этих слов Татарский снова вспомнил о прикованном менеджере, который набирал в пустоте телефонный номер. Войдя в подъезд, он остановился. Только тут до него дошло, чего требует ситуация на самом деле. Вытащив из кармана визитку, он записал на ее обороте:

*АКЦИИ ТАМПОКО!
СЕГОДНЯ — ЛИСТ БУМАГИ,
А ЗАВТРА — ВЕДРА СОКА!*

«Хвойное дерево, значит, — подумал он. — Ладно. Дадим человеку последний шанс. Позвоню, когда Гусейн его отпустит. А пока пусть сворачивает доллары трубочками».

Часто бывает: выходишь летним утром на улицу, видишь перед собой огромный, прекрасный, спешащий куда-то мир, полный невнятных обещаний и растворенного в небе счастья, и вдруг мелькает в душе пронзительное чувство, спрессованное в долю секунды, что вот лежит перед тобой жизнь, и можно пойти по ней вперед без оглядки, поставить на карту самого себя и выиграть, и промчаться на белом катере по ее морям, и пролететь на белом «мерседесе» по ее дорогам. И сами собой сжимаются кулаки, и выступают желваки на скулах, и даешь себе слово, что еще вырвешь зубами много-много денег у этой враждебной пустоты, и сметешь с пути, если надо, любого, и никто не посмеет назвать тебя американским словом loser.

Так действует в наших душах оральный вау-фактор. Но Татарский, бредя к метро с папкой под мышкой, был равнодушен к его требовательным позывам. Он ощущал себя именно «лузером», то есть не просто полным идиотом, а вдобавок к этому военным преступником и неудачным звеном в биологической эволюции человечества.

Вчерашняя попытка сочинить русскую идею кончилась первым в карьере Татарского полным провалом. Сначала задание показалось ему несложным, но, сев за стол, он с ужасом понял, что ничего, абсолютно ничего не приходит в голову. Не помогла даже планшетка, к которой он в отчаянии обратился, когда стрелки часов переехали за полночь. Че Гевара, правда, отозвался, но в ответ на вопрос о русской идее выдал какой-то странный кусок:

Россияне!

Правильнее было бы говорить об орально-анальном вау-воздействии, так как эти влияния сливаются в один импульс, и именно этот комплекс эмоций, этот их конгломерат и считается социально ценной проекцией человека. Отметим, что реклама изредка предпочитает квазиюнгианский подход квазифрейдистскому: бывает, что за приобретением материального объекта стоит не голый акт монетаристического совокупления, а поиск магического свойства, способного убрать орально-анальную стимуляцию на второй план. Например, сине-зеленая зубная щетка гарантирует каким-то образом возможность безопасно перелезть с верхнего балкона на нижний, холодильник защищает от гибели под обломками сорвавшегося с крыши рояля, а банка маринованных киви спасает от авиакатастрофы, — но это подход, который большинство профессионалов считает устаревшим. Аминь.

О русской идее здесь напоминало только блатное обращение «россияне», всегда казавшееся Татарскому чем-то вроде термина «арестанты», которым воры в законе открывают свои письменные послания на зону, теле называемые «малявы». Но даже несмотря на это сходство, Вовчик Малой вряд ли остался бы доволен получившимся отрывком. Попытки Татарского выйти на связь с каким-нибудь более компетентным в вопросе духом кончились ничем. Правда, после обращения к духу Достоевского, на которого Татарский возлагал особые надежды, возникли некоторые побочные эффекты: планшетка мелко затряслась и запрыгала, словно ее дергало во все стороны несколько одинаково сильных присутствий, но оставшиеся на бумаге кривые загогулины тоже не годились заказчику, хотя, конечно, можно было тешить себя мыслью, что искомая идея настолько трансцендентна, что это единственный способ как-то зафиксировать ее на бумаге. Но, как

бы там ни было, работу Татарский не сделал.

Страничку с отрывком про зубную щетку и киви, которая лежала в его папочке, нельзя было показывать Ханину ни при каких обстоятельствах, а показать что-то было необходимо, и ум Татарского был занят самобичеванием. Он переделывал все брэнд-нэймы, в названии которых встречалось слово «loser», и сладостно применял их к себе; «Loser-Jet» и «Loser-Max» хлестко ударяли по душе и позволяли забыть на секунду о надвигающемся позоре.

Впрочем, ближе к метро Татарский немного отвлекся. Там творилось что-то странное. Стояло оцепление — десятка два ментов с автоматами, которые переговаривались друг с дружкой по рациям, делая героические и таинственные лица. В центре оцепленного пространства небольшой кран грузил на платформу тягача обгоревшие остатки лимузина. Вокруг остова машины ходило несколько людей в штатском, которые внимательно оглядывали асфальт, подбирали с него что-то и укладывали в пластиковые пакеты вроде мусорных. Все это Татарский разглядел с возвышенности, а когда он спустился к станции, происходящее скрыла толпа, через которую не было никакой возможности пробиться. Потыкавшись в потные спины сограждан. Татарский вздохнул и пошел дальше.

Ханин был не в духе. Уронив лоб в ладонь, он чертил кончиком сигареты в пепельнице какие-то каббалистические знаки. Татарский сел на край стула напротив и, прижимая к груди папочку, сбивчиво заговорил:

— Я, конечно, написал. Как мог. Но я, по-моему, облажался. и Вовчику это давать не надо. Дело в том, что это такая тема... Такая, оказывается, непростая тема... Может быть, я могу придумать слоган, или дополнить brand essence русской идеи, или как-то расширить то, что напишет Саша Бло, но концепцию мне делать рано. Я это не из скромности говорю, а объективно. В общем...

— Забудь, — перебил Ханин.

— А что такое?

— Завалили Вовчика.

— Как? — откинулся Татарский на стуле.

— А очень просто, — сказал Ханин. — У него вчера стрелка была с чеченами. Как раз возле твоего дома, кстати. Он на двух машинах подкатил, с бойцами, достойно все. Думал, как у людей будет. А эти гады за ночь окоп вырыли на холме напротив. И, как он подъехал, долбанули из двух огнеметов «шмель». А это вещь страшная. Дает объемный взрыв с температурой две тысячи градусов. У Вовчика машина бронированная была, только она ведь от нормальных людей бронированная, а не от выродков...

Ханин махнул рукой.

— Вовчика сразу, — добавил он тихо. — А остальных бойцов, кто после взрыва жив остался, из пулемета добились, когда они из машин повыскакивали. Я не понимаю, как с такими людьми бизнес вести. И люди ли они вообще. Н-да... Укатали сивку крутые урки...

Вместо приличествующей моменту скорби Татарский, к своему стыду, испытал облегчение, граничащее с эйфорией.

— Да, — сказал он, — теперь понимаю. Я сегодня одну из этих машин видел. Он прошлый раз на другой был, так что я ничего плохого не подумал даже. Мало ли, думаю, кого грохнули — каждый день ведь кого-то... А теперь вижу — все один к одному. И что это для нас значит в практическом плане?

— Отпуск, — сказал Ханин. — На неопределенный срок. Очень большой вопрос надо

решать. Гамлетовский. Мне уже звонили с утра два раза.

— Из милиции? — спросил Татарский.

— Да. А потом из кавказского землячества. Пронюхали, гады, что коммерсант освобожден. Как акулы. По запаху крови. Так что вопрос стоит теперь чисто конкретный. Черножопые крышу дают реально, а мусора просто деньги тянут. Чтоб на стрелку поехали, надо все сапоги им вылизать. Но грохнуть могут те и эти. А мусора, между прочим, особенно. Как они на меня сегодня наехали... Мы, говорят, знаем, что у тебя бриллианты. А какие у меня бриллианты? Скажи, какие?

— Не знаю, — ответил Татарский, вспомнив фотографию бриллиантового кольца с обещанием вечности, виденную у Ханина в туалете.

— Ладно, ты не бери в голову. Живи, люби, работай... Тебя, кстати, ждут в соседней комнате.

— Кто? — вздрогнул Татарский.

— Да какой-то знакомый твой. Говорит, у него к тебе дело.

Морковин выглядел так же, как во время последней встречи, только в его проборе стало больше седых волос, а глаза сделались печальней и мудрее. На нем был строгий темный костюм, полосатый галстук и такой же платок в нагрудном кармане. Увидев Татарского, он встал со стула, широко улыбнулся и раскрыл руки для объятий.

— Ух, — сказал он, хлопая Татарского по спине, — ну и морда у тебя. Ваван. Давно пьешь-то?

— Только из штопора выхожу, — виновато ответил Татарский. — Мне тут такое задание дали, что иначе невозможно.

— Это ты о нем по телефону рассказывал?

— Когда?

— Не помнишь, что ли? Я так и думал. Ты сильно не в себе был. Говорил, что концепцию пишешь для Бога, а на тебя за это древний змей наезжает. Еще работу просил новую найти — говорил, что устал от мирского...

— Хватит, — сказал Татарский, поднимая ладонь. — Не гони волну. Я и так в говне по уши.

— Так тебе правда работа нужна?

— Еще как. Нас за одну ногу мусора тянут, а за другую чечены. Всех в отпуск гонят.

— Ну так пойдем. У меня, кстати, в машине пиво есть.

Морковин приехал на крошечном синем «БМВ», похожем на торпеду на колесах. Сидеть в нем было непривычно — тело принимало полулежачее положение, колени поднимались к груди, а дно кузова несло так близко к асфальту, что мышцы живота непроизвольно сжимались каждый раз, когда машина подпрыгивала на очередной выбоине.

— Тебе на такой ездить не страшно? — спросил Татарский. — Вдруг кто-нибудь лом забудет в люке. Или железный прут из асфальта будет торчать...

Морковин ухмыльнулся.

— Я понимаю, о чем ты говоришь, — сказал он. — Но к этому ощущению я давно привык на работе.

Машина затормозила на перекрестке. Справа остановился красный джип с шестью мощными фарами на крыше. Татарский покосился на водителя — это был низколобый мужчина с мощными надбровными дугами, практически вся кожа которого была покрыта

густой черной шерстью. Одна его рука поглаживала руль, а в другой была пластиковая бутылка «Пепси». Татарский вдруг сообразил, что машина Морковина гораздо круче, и испытал крайне редкое в своей жизни воздействие анального вау-фактора. Чувство, надо признать, было захватывающим. Высунув локоть в окно, он отхлебнул пива и поглядел на водителя джипа примерно так, как моряки с кормы авианосца смотрят на пигмея, подплывшего на плоту торговать гнилыми бананами. Водитель поймал взгляд Татарского, и некоторое время они смотрели друг другу в глаза. Татарский почувствовал, что мужчина в джипе воспринимает этот затянувшийся обмен взглядами как приглашение к схватке — когда машина Морковина наконец тронулась, на неглубоком дне его глаз уже закипала ярость. Татарский отметил, что уже видел где-то это лицо. «Наверно, киноактер», — подумал он.

Морковин выехал на свободную полосу и поехал быстрее.

— Понимаю, зачем ты на такой машине едешь, — задумчиво сказал Татарский, косясь на красные углы приборной доски.

— Ну и зачем?

— Как бы это сказать... Для баланса ощущений.

Морковин поднял брови:

— А что. Можно и так сказать.

Татарский выкинул пустую банку в окно.

— Слушай, — спросил он, — а куда мы едем?

— В нашу организацию.

— Что за организация?

— Увидишь. Не хочу портить впечатление.

Через несколько минут машина затормозила у ворот в высокой решетчатой ограде. Ограда выглядела солидно — ее прутья походили на циклопические чугунные копыта с позолоченными наконечниками. Морковин показал милиционеру в будке какую-то карточку, и ворота медленно раскрылись. За ними был огромный сталинский дом конца сороковых годов, похожий на что-то среднее между ступенчатой мексиканской пирамидой и приземистым небоскребом, выстроенным в расчете на низкое советское небо. Верхняя часть фасада была покрыта лепными украшениями — склоненными знаменами, мечами, звездами и какими-то зазубренными пиками; это напоминало о древних войнах и забытом запахе пороха и славы. Сощутив глаза. Татарский прочитал лепную надпись под самой крышей: «Вечная слава героям!»

«Вечная слава — это им многовато будет, — мрачно подумал он. — Хватило бы и пенсии».

Татарский много раз проходил мимо этого здания; давным-давно кто-то говорил ему, что это секретный институт, где разрабатывают новые виды оружия. Это было похоже на правду, потому что у ворот висела казавшаяся приветом из античности доска с гербом СССР и золотой надписью «Институт пчеловодства». Татарский успел рассмотреть под ней неброскую металлическую табличку со словами: «Межбанковский комитет по информационным технологиям».

Место для парковки было плотно заставлено машинами; Морковин с трудом втиснулся между огромным белым «линкольном» и серебристой гоночной «маздой».

— Я хочу представить тебя своему начальству, — сказал Морковин, запирая машину. — Веди себя естественно. Но не говори лишнего.

— А что значит «лишнее»? С чьей точки зрения?

Морковин покосился на него:

— Например, вот это твое высказывание. Оно совершенно лишнее.

Пройдя через двор, они вошли в боковой подъезд и оказались в сером мраморном зале с ненатурально высоким потолком, где сидело несколько охранников в черной униформе. Они выглядели куда серьезнее, чем обычные менты, и дело было не в чешских «скорпионах», которые висели у них на плечах. Менты просто не годились для сравнения — их синяя форма, излучавшая когда-то государственный гнет всеми своими пуговицами и лычками, давно уже вызывала у Татарского презрительное недоумение; за ней до такой степени ничего не стояло, что делалось все непонятнее — с какой стати эти люди постоянно останавливают машины на дорогах и требуют денег. Зато черная униформа охраны была наотмашь: дизайнер (Морковин сказал, что это Юдашкин) гениально соединил в ней эстетику зондеркоманды СС, мотивы фильмов-антиутопий о тоталитарном обществе будущего и ностальгические темы гей-моды времен Фредди Меркьюри. Подбитые ватой плечи, глубокий вырез на груди и раблезианский гульфик смешивались в такой коктейль, что связываться с одетыми в эту форму людьми не хотелось. Message был очевиден даже идиоту.

В лифте Морковин вынул маленький ключ, вставил его в скважину на панели и нажал самую верхнюю кнопку.

— И вот еще что, — сказал он, поворачиваясь к зеркальной стене и поправляя волосы. — Не бойся показаться дураком. Наоборот, бойся показаться очень умным.

— Почему?

— Потому что тогда немедленно возникнет вопрос: если ты такой умный, то почему ты нанимаешься на работу, а не нанимаешь на нее?

— Логично, — сказал Татарский.

— А вот цинизма побольше.

— Это легко.

Двери лифта открылись. За ними был коридор, выстланный серой ковровой дорожкой с желтыми звездами. Татарский вспомнил, что так же выглядит мостовая какого-то бульвара в Лос-Анджелесе. Коридор кончался черной дверью без таблички, над которой висела маленькая телекамера. Морковин дошел до середины коридора, достал из кармана телефон и набрал номер. Две или три минуты прошли в тишине. Морковин терпеливо ждал. Наконец на том конце линии ответили.

— Здорово, — сказал Морковин. — Это я. Да, привел. Вот он.

Морковин повернулся и поманил к себе Татарского, который оробело стоял у дверей лифта. Татарский подошел и по-собачьи поднял глаза на объектив камеры. Видимо, собеседник Морковина сказал что-то смешное, потому что Морковин захихикал и потрепал Татарского по плечу.

— Ничего, — сказал он, — обкатаем.

Замок щелкнул, и Морковин подтолкнул Татарского вперед. Дверь за ними сразу же закрылась. Они оказались в приемной, на стене которой висело старинное бронзовое зеркало с ручкой, а над ним — удивительной красоты венецианская карнавальная маска золотого цвета. «Где-то это было уже, — подумал Татарский, — маска и зеркало. Или нет? Весь день сегодня глючит...» Под маской помещался стол, за которым сидела секретарша холодной птичьей красоты.

— Здравствуй, Алла, — сказал Морковин.

Секретарша помахала ручкой и нажала кнопку на столе. Раздался тихий зуммер, и высокая звукоизолированная дверь в другом конце приемной открылась.

В первый момент Татарскому показалось, что просторный кабинет с зашторенными окнами пуст. Во всяком случае, за огромным письменным столом со сверкающими металлическими тумбами никого не было. Над столом — там, где в советское время полагалось быть портрету вождя, — висела картина в тяжелой круглой раме. Расположенный в центре белого поля цветной квадратик было трудно как следует разглядеть от двери, но Татарский узнал его по цветам — у него был такой же на бейсболке. Это был стандартный лэйбл с американским флагом и надписью «Made in USA. One size fits all». На другой стене была смонтирована строгая инсталляция — линия из пятнадцати консервных банок с портретами Энди Уорхолла в характерном для свиной тушенки картуше.

Татарский опустил глаза. Пол был покрыт настоящим персидским ковром с удивительной красоты рисунком, похожим на виденные когда-то в детстве орнаменты из старинного издания «Тысячи и одной ночи». Следуя за линиями узора, глаза Татарского по прихотливой спирали двинулись к центру ковра и наткнулись на хозяина кабинета.

Это был молодой еще человек, коренастый толстячок с зачесанными назад остатками рыжеватых волос и довольно располагающим лицом, который лежал на ковре в самой непринужденной позе. Он был труднозаметен из-за своей одежды, почти сливавшейся по тону с ковром. На нем был пиджак типа «оргазм плебея» — не деловая униформа и даже не пижама, а нечто карнавально-запредельное, наряд, который надевают особо расчетливые бизнесмены, когда хотят вызвать у партнеров ощущение, будто дела у них идут настолько хорошо, что им уже не надо заботиться о бизнесе и даже самое чудаковатое поведение не в состоянии причинить им никакого ущерба. Яркий ретро-галстук с развратной обезьянкой на пальме выбивался из-под его пиджака и розовым языком расстилался по коврам.

Но Татарского поразило не столько наряд молодого человека, сколько то, что его лицо было ему знакомо, причем очень хорошо, хотя он ни разу в жизни с ним не встречался. Он видел это лицо в сотне мелких телевизионных сюжетов и рекламных клипов, как правило на вторых ролях, но кто такой этот человек, он не знал. Последний раз это произошло прошлым вечером, когда Татарский, раздумывая о русской идее, рассеянно смотрел телевизор. Хозяин кабинета появился в рекламе каких-то таблеток — он был одет в белый халат и шапочку с красным крестом, а на его полное лицо были наклеены светлая бородка и усы, делавшие его похожим на доброго молодого Троцкого. Сидя на кухне в окружении охваченного непонятной эйфорией семейства, он назидательно говорил:

— В море рекламы легко заблудиться. А часто она еще и недобросовестна. Не так страшно, если вы ошибетесь при выборе кастрюли или стирального порошка, но, когда речь идет о лекарствах, вы ставите на карту свое здоровье. Подумайте, кому вы поверите — бездушной рекламе или вашему семейному доктору? Конечно! Ответ ясен! Только вашему семейному доктору, который советует принимать пилюли «Санрайз»!

«Понятно. — подумал Татарский, — это, значит, наш семейный доктор».

Семейный доктор между тем поднял руку в приветственном жесте, и Татарский заметил в его пальцах короткую пластиковую соломинку.

— Подсаживайтесь, — сказал он глуховатым голосом.

— Давно подсели, — ответил Морковин. Видимо, слова Морковина были обычной в этом месте присказкой, потому что хозяин кабинета с долей снисходительности кивнул

головой.

Морковин взял со стола две соломинки, протянул одну Татарскому и прилег на ковер. Татарский последовал его примеру. Опустившись на ковер, он вопросительно поглядел на хозяина кабинета. Тот ласково улыбнулся в ответ. Татарский заметил на его запястье часы с браслетом из необычных звеньев разного размера. Заводная головка часов была украшена маленьким брильянтом; вокруг циферблата тоже были три спиральных брильянтовых кольца. Татарский вспомнил редакционную статью о дорогих часах, прочитанную в каком-то радикально-кислотном журнале, и уважительно сглотнул. Хозяин кабинета заметил его взгляд и посмотрел на свои часы.

— Нравятся? — спросил он.

— Еще бы, — сказал Татарский. — Если не ошибаюсь, Piaget Possession»? Кажется, стоят семьдесят тысяч?

— Пеже позесьон? — Тот поглядел на циферблат. — Да, действительно. Не знаю, сколько стоят.

— Господин Пеже со своими пацаками, — сказал Морковин.

Хозяин кабинета явно не понял шутки.

— Вообще, — быстро добавил Морковин, — ничто так не выдает принадлежность человека к низшим классам общества, как способность разбираться в дорогих часах и автомобилях.

Татарский покраснел и опустил взгляд.

Участок ковра перед его лицом был покрыт узором, изображавшим разноцветные фантастические цветы с длинными лепестками. Татарский заметил, что ворсинки ковра густо, как инеем, покрыты крошечными белыми катышками, похожими на цветочную пыльцу. Он покосился на Морковина. Морковин вставил трубочку в ноздрю, зажал другую пальцем и провел свободным концом трубочки по лепестку небывалой фиолетовой ромашки. Татарский понял наконец, в чем дело.

Несколько минут тишину в комнате нарушало только сосредоточенное сопение. Наконец хозяин кабинета приподнялся на локте.

— Ну как? — спросил он, глядя на Татарского. Татарский оторвался от бледно-пурпурной розы, которую он самозабвенно обрабатывал. Обида успела совершенно отпустить.

— Отлично, — сказал он, — просто отлично!

Говорить было легко и приятно; если он и чувствовал некоторую скованность, когда входил в этот огромный кабинет, то теперь она исчезла без следа. Кокаин был настоящим и почти не разбодяженным — разве что чувствовался слабый привкус анальгина.

— Вот только я не понимаю, — продолжил Татарский, — почему такая технология? Это, конечно, изысканно, но как-то необычно!

Морковин с хозяином кабинета переглянулись.

— Ты вывеску на нашей конторе видел? — спросил хозяин. — «Институт пчеловодства»?

— Видел, — сказал Татарский.

— Ну вот. А мы тут вроде пчелок.

Все трое засмеялись, и смеялись очень долго, даже тогда, когда причина смеха успела забыться. «Эх. — с умилением подумал Татарский, — есть же на свете хорошие люди!»

Наконец веселье угасло. Хозяин кабинета поглядел по сторонам, как бы вспоминая,

зачем он здесь, и, видимо, вспомнил.

— Так, — сказал он, — к делу. Морковка, подожди у Аллы. Я с человеком поговорю.

Морковин торопливо обнюхал пару райских васильков, поднялся и вышел. Встав, хозяин кабинета потянулся, прошел за письменный стол и опустился в кресло.

— Присаживайся, — сказал он.

Татарский сел в кресло напротив стола. Оно было очень мягким и таким низким, что он провалился в него, как в сугроб. Подняв глаза. Татарский обомлел. Стол нависал над ним, как танк над окопом, и это сходство явно не было случайным. Две тумбы, украшенные пластинами из гофрированного никеля, выглядели точь-в-точь как широкие гусеничные траки, а картина в круглой раме, висевшая на стене, оказалась прямо за головой хозяина кабинета и напоминала теперь крышку люка, из которого он высунулся, — сходство усиливалось тем, что над столом были видны только его голова и плечи. Несколько секунд он наслаждался произведенным эффектом, а потом встал, перегнулся над своим танком и протянул Татарскому руку:

— Леонид Азадовский.

— Владимир Татарский, — сказал Татарский, приподнимаясь и пожимая пухлую вялую ладонь.

— Ты не Владимир, а Вавилен. — сказал Азадовский. — Я про это знаю. Только и я не Леонид. У меня папаша тоже мудака был. Он меня знаешь как назвал? Легионом. Даже не знал, наверно, что это слово значит. Сначала я тоже горевал. Зато потом выяснил, что про меня в Библии написано, и успокоился. Значит, так...

Азадовский зашелестел разбросанными по столу бумагами.

— Что там у нас... Ага. Посмотрел я твои работы. Мне понравилось. Молодец. Такие нам нужны. Только вот местами... не до конца верю. Вот, например, ты пишешь: «коллективное бессознательное». А ты знаешь, что это такое?

Татарский пошевелил в воздухе пальцами, подбирая слова.

— На уровне коллективного бессознательного, — ответил он.

— А ты не боишься, что найдется кто-то, кто знает отчетливо?

Татарский шмыгнул носом.

— Господин Азадовский, — сказал он, — я этого не боюсь. Потому не боюсь, что все, кто отчетливо знает, что такое «коллективное бессознательное», давно торгуют сигаретами у метро. В той или иной форме, я хочу сказать. Я и сам у метро сигаретами торговал. А в рекламный бизнес ушел, потому что надоело.

Азадовский несколько секунд молчал, обдумывая услышанное. Потом он усмехнулся.

— Ты хоть во что-нибудь веришь? — спросил он.

— Нет, — сказал Татарский.

— Ну хорошо, — сказал Азадовский и снова заглянул в бумаги, на этот раз в какую-то разграфленную анкету. — Так... Политические взгляды — что там у нас? Написано «*upreg left*»^[26]. Не понимаю. Вот, блядь, дожили — скоро в документах вообще все по-английски будет. Ты по политическим взглядам кто?

— Рыночник, — ответил Татарский, — довольно радикальный.

— А конкретнее?

— Конкретнее... Скажем так, мне нравится, когда у жизни большие сиськи. Но во мне не вызывает ни малейшего волнения так называемая кантовская сиська в себе, сколько бы молока в ней ни плескалось. И в этом мое отличие от бескорыстных идеалистов вроде

Гайдара...

Зазвонил телефон, и Азадовский жестом остановил разговор. Взяв трубку, он несколько минут слушал, и его лицо постепенно сложилось в гримасу отвращения.

— Ищите дальше, — буркнул он, бросил трубку на рычаг и повернулся к Татарскому: — Так чего там про Гайдара? Только короче, а то сейчас опять звонить будут.

— Если короче, — сказал Татарский, — в гробу я видел любую кантовскую сиську в себе со всеми ее категорическими императивами. На рынке сисек нежность во мне вызывает только фейербаховская сиська для нас. Такое у меня видение ситуации.

— Вот и я так думаю, — совершенно серьезно сказал Азадовский, — пусть лучше небольшая, но фейербаховская...

Телефон зазвонил опять. Азадовский взял трубку, послушал немного, и его лицо расцвело широкой улыбкой:

— Вот это я хотел услышать! Контрольный сделали? Хвалю.

Видимо, новость была очень хорошей — встав, Азадовский потер руки, пружинисто пошел к встроенному в стену шкафу, достал из него большую клетку, на дне которой что-то быстро заметалось, и перенес ее на стол. Клетка была старой, со следами ржавчины, и походила на скелет абажура.

— Что это? — спросил Татарский.

— Ростропович, — ответил Азадовский.

Он открыл дверцу, и из клетки на стол вылез маленький белый хомячок. Посмотрев на Татарского маленькими красными глазками, он спрятал мордочку в лапки и потер нос. Азадовский Гладко вздохнул, достал из стола что-то вроде сумочки для инструментов, раскрыл ее и вы-дожил на стол пузырек японского клея, пинцет и маленькую баночку.

— Подержи его, — велел он. — Да не бойся, не укусит.

— Как его держать? — вставая с кресла, спросил Татарский.

— Возьми за лапки и разведи их в стороны. Как исусика. Ага, вот так.

Татарский заметил на грудке хомячка несколько зубчатых металлических кружков, похожих на часовые шестеренки. Вглядевшись, он увидел, что это маленькие копии орденов, выполненные с удивительным искусством, — кажется, в них даже мерцали крошечные камни, что усиливало сходство с деталями часов. Ни одного из орденов он не узнал — они явно относились к другой эпохе и напоминали регалии с мундира екатерининского полководца.

— Кто это ему дал? — спросил он.

— А кто ж ему даст, если не я, — пропел Азадовский, вынимая пинцетом из баночки короткую ленточку из синего муара. — Держи крепче.

Выдавлив на лист бумаги каплю клея, он ловко провел по ней ленточкой и приложил ее к брюшку хомяка.

— Ой, — сказал Татарский, — он, кажется...

— Обосрался, — констатировал Азадовский, окуная в клей зажатую в пинцете бриллиантовую снежинку, — это он от радости. Оп...

Бросив пинцет на стол, он наклонился к хомячку и несколько раз сильно дунул ему на грудь.

— Сохнет мгновенно, — сообщил он. — Можешь отпускать.

Хомячок суетливо забегал по столу — подбегая к краю, он опускал мордочку, словно пытаясь разглядеть далекий пол, мелко тряс ею и пускался на другой край, где повторялось

то же самое.

— За что ему орден? — спросил Татарский.

— А настроение хорошее. Что, завидно?

Поймав хомячка, Азадовский кинул его назад в клетку, запер ее и отнес обратно в шкаф.

— Почему у него имя такое странное?

— Знаешь, Вавилен, — сказал Азадовский, садясь за стол, — чья бы корова мычала, а твоя б молчала.

Татарский вспомнил совет не говорить и не спрашивать лишнего. Азадовский убрал наградные принадлежности в стол, смял испачканный клеем лист и швырнул его в корзину.

— Короче, мы тебя берем с испытательным сроком в три месяца, — сказал он. — У нас сейчас свой отдел рекламы, но мы не столько ее сами разрабатываем, сколько координируем работу нескольких крупных агентств. Типа не играем, а счет ведем. Так что будешь пока сидеть в отделе внутренних рецензий, на третьем этаже в соседнем подъезде. Мы к тебе приглядимся, подумаем, а потом, если подойдешь, переведем на более ответственный участок. Видел, сколько у нас этажей?

— Видел, — сказал Татарский.

— Вот то-то. Пространство для роста не ограничено. Вопросы есть?

Татарский решился задать вопрос, мучивший его с первого момента встречи.

— Скажите, господин Азадовский, я вчера видел клип про какие-то пилюли — это не вы там играли доктора?

— Ну я, — сухо сказал Азадовский. — А что, нельзя?

Отведя взгляд от Татарского, он взял трубку и открыл записную книжку. Татарский понял, что аудиенция окончена. Нерешительно переступив с ноги на ногу, он поглядел на ковер.

— А можно ли...

Азадовский понял его с полуслова. Улыбнувшись, он вытащил соломинку из вазочки и кинул ее на стол.

— Говно вопрос. — сказал он и принялся набирать номер.

Стержневым элементом офисного пространства был пронзительный голос кухарки с Западной Украины, доносившийся почти весь день из небольшого буфета. На него, как на веревку, нанизывались все остальные звенья звуковой реальности: звонки телефонов, голоса, пищание факса и жужжание принтера. И уже вокруг этого сгущались материальные предметы и люди, населявшие комнату, — так, во всяком случае, казалось Татарскому вот уже несколько месяцев.

— Короче, еду я вчера по Покровке, — тенорком рассказывал секретарше залетевший с улицы сигаретный критик, — торможу у перекрестка. Пробка. А рядом со мной «Чайка». И, значит, выходит из нее реально крутой чечен и глядит по сторонам с таким видом, словно ему насрать на всех с высокой колокольни. Стоит он так, знаешь, наслаждается, и тут вдруг рядом останавливается такой реальный «кадиллак». И вылезит из него такая девчушка, в рваных джинсах и кедах, и шнырь к ларьку за пепси-колой. Представляешь себе этого чечена? Такое проглотить!

— Ну! — отвечала секретарша, не отрываясь от компьютерных клавиш.

За спиной Татарского тоже говорили, причем очень громко. Выслуживался один его подчиненный, пожилой редактор из партийных журналистов, — он взвинченным басом распекал кого-то через селектор. Татарский чувствовал, что редактор говорит так оглушительно, безжалостно и бодро исключительно в расчете на его уши. Это раздражало, и отвечавший из селектора голос, печальный и тонкий, рождал сочувствие.

— Одну исправил, а другую нет, — тихо говорил этот голос. — Так произошло.

— Ну и ну, — рявкал редактор. — Ты о чем вообще думаешь на работе? У тебя идут два материала — один называется «Узник совести», а другой «Евнухи гарема», да?

— Да.

— Ты берешь оба заголовка в карман, меняешь фонт, а потом на странице тридцать пять находишь «Узника гарема», да?

— Да.

— Так можно, наверно, догадаться, что на странице семьдесят четыре у тебя будут «Евнухи совести»? Или ты совсем мудака?

— Совсем мудака, — соглашался печальный голос.

«Оба вы мудаки», — подумал Татарский. С самого утра его мучила депрессия — скорее всего, из-за затяжного дождя. Он сидел у окна и глядел на поток автомобилей, катящих по проспекту сквозь мутные струи. Старые, собранные еще при советской власти «Лады» и «Москвичи» ржавели вдоль тротуаров как мусор, выброшенный рекой времени на грязный берег. Сама река времени состояла в основном из ярких иномарок, из-под шин которых били фонтаны воды.

На столе перед Татарским лежала пачка «Золотой Явы» в рекламной картонной оправе и стопка бумаги. Он медленно вывел на верхнем листе слово «mercedes».

«Вот, взять хотя бы «мерседес», — вяло подумал он. — Машина, конечно, классная, ничего не скажешь. Но почему-то наша жизнь так устроена, что проехать на нем можно только из одного говна в другое...»

Наклонив голову к окну, он поглядел на стоянку. Там белела крыша купленного им месяц назад белого «мерседеса» второй свежести, который уже начинал понемногу

барахлить.

Вздыхнув, он поменял местами «с» и «d». Получилось «mercedes».

«Правда, — поплелась его мысль дальше. — где-то начиная с пятисотого или, пожалуй, даже с триста восьмидесятого турбодизеля это уже не имеет значения. Потому что к этому моменту сам становишься таким говном, что ничего вокруг тебя уже не испачкает. То есть говном, конечно, становишься не потому, что покупаешь шестисотый «мерседес». Наоборот. Возможность купить шестисотый «мерседес» появляется именно потому, что становишься говном...»

Он еще раз посмотрел в окно и дописал:

«Merde-SS. В смысле магического ордена ездунгов-изуверов».

Неожиданно его мысли приняли радикально другое направление, и по душе прокатилась волна профессиональной бодрости. Он выхватил из стопки новый лист и быстро написал на нем:

Плакат: золотой двуглавый орел с короной над головами, висящий в воздухе. Под ним — черный лимузин с двумя мигалками по бокам крыши (головы орла расположены точно над мигалками). Фон — цвета триколора. Слоган:

«МЕРСЕДЕС-600»

СТИЛЬНЫЙ, ДЕРЖАВНЫЙ

Однако пора было возвращаться к работе. Вернее, не возвращаться, а начинать ее. Надо было писать внутреннюю рецензию на рекламную кампанию «Золотой Явы», а потом на сценарии роликов для мыла «Камэй» и мужских духов «Гуччи». С «Явой» была настоящая засада. Татарский так и не понял, хорошего отзыва от него ждут или нет, и было неясно, в каком направлении сдвигать мысли. Поэтому он решил начать со сценариев. Мыльный текст занимал шесть страниц убористым шрифтом. Брезгливо открыв последнюю страницу, Татарский прочел финальный абзац:

Затемнение. Героиня засыпает, и ей снятся волны блестящих светлых волос, которые жадно впитывают льющуюся на них с неба голубею жидкость, полную протеинов, витамина В-5 и бесконечного счастья.

Поморщившись, он взял со стола красный карандаш и написал под текстом:

Литературщина. Сколько раз повторять: нам тут нужны не творцы, а криэйторы. Бесконечное счастье не передается посредством визуального ряда. Не пойдет.

Сценарий для «Гуччи» был намного короче:

В кадре — дверь деревенского сортира. Жужжат мухи. Дверь медленно открывается, и мы видим сидящего над дырой худенького мужичка с похмельным лицом, украшенным усиками подковой. На экране титр: «Литературный обозреватель Павел Бисинский». Мужичок поднимает взгляд в камеру и, как бы продолжая давно начатую беседу, говорит:

— Спор о том, является ли Россия частью Европы, очень стар. В принципе, настоящий профессионал без труда может сказать, что Думал по этому поводу Пушкин в любой период своей жизни, с точностью до нескольких месяцев. Например, в 1833 году в письме князю Вяземскому он писал...

В этот момент раздается громкий треск, доски под мужичком подламываются, и

он обрушивается в яму. Слышен громкий всплеск. Камера наезжает на яму, одновременно поднимаясь (модель движения камеры – облет «Титаника»), и показывает сверху поверхность темной жижи. Из нее выныривает голова обозревателя, которая поднимает глаза и продолжает прерванную погружением фразу:

– Возможно, истоки надо искать в разделе церквей. Крылов не зря говорил Чаадаеву: «Посмотришь иногда по сторонам, и кажется, что живешь не в Европе, а просто в каком-то...»

Что-то сильно дергает обозревателя вниз, и он с бульканьем уходит на дно. Наступает тишина, нарушаемая только гудением мух. Голос за кадром:

GUCCI FOR MEN
БУДЬ ЕВРОПЕЙЦЕМ. ПАХНИ ЛУЧШЕ

Татарский вооружился синим карандашом.

Очень хорошо, – написал он под текстом. – Утвердить, только заменить мух Машей Распутиной, литературного обозревателя – новым русским, а Пушкина, Крылова и Чаадаева – другим новым русским. Сортир обтянуть розовым шелком. Переписать монолог – говорящий вспоминает драку в ресторане на Лазурном берегу. Пора завязывать с литературоведением и думать о реальном клиенте.

Сценарий вдохновил Татарского, и он решил наконец разобраться с «Явой». Взяв в руку рецензируемый объект, он еще раз внимательно его оглядел. Это была пачка сигарет, к ней была приклеена полая картонная коробка такого же размера. На картонке был изображен Нью-Йорк с высоты птичьего полета, на который боеголовкой пикировала пачка «Золотой Явы». Под рисунком была подпись: «Ответный Удар». Подтянув к себе чистый лист. Татарский некоторое время колебался, какой карандаш выбрать — красный или синий. Положив их рядом, он закрыл глаза, покрутил над ними ладонью и ткнул вниз пальцем. Выпал синий.

Большой удачей, – застрочил Татарский синей скорописью, – следует, несомненно, признать использование в рекламе идеи и символики ответного удара. Это отвечает настроениям широких слоев люмпен-интеллигенции, являющейся основным потребителем этих сигарет. В средствах массовой информации уже долго муссируется необходимость противопоставления чего-то здорового и национального засилью американской поп-культуры и пещерного либерализма. Проблема заключается в нахождении этого «чего-то». Во внутренней рецензии, не предназначенной для посторонних глаз, мы можем констатировать, что оно начисто отсутствует. Авторы рекламной концепции затыкают эту смысловую брешь пачкой «Золотой Явы», что, несомненно, приведет к чрезвычайно благоприятной психологической кристаллизации у потенциального потребителя. Она выразится в следующем: потребитель будет подсознательно считать, что с каждой выкуренной сигаретой он чуть приближает планетарное торжество русской идеи...

После короткого колебания Татарский переписал «русскую идею» с заглавных букв.

С другой стороны, необходимо рассматривать совокупное воздействие всей символики, сливающейся в brand essence. В этой связи представляется, что сочетание слогана «Ответный Удар» с логотипом компании «British-American Tobaccos Co.», выпускающей эти сигареты, может вызвать у части target group своего рода умственное короткое замыкание. Возникает закономерный вопрос: падает ли пачка на Нью-Йорк или, наоборот, стартует оттуда? В последнем случае (а это предположение кажется более логичным, так как пачка расположена крышкой вверх) неясно, почему удар называется ответным.

Из-за окна донесся быстрый перезвон колокола с расположенной неподалеку церквушки. Несколько секунд Татарский задумчиво слушал, а потом написал:

И поневоле задумываешься об изначальном превосходстве западной пропаганды, в более широком смысле — о невозможности информационной конкуренции интровертного общества с экстравертным.

Перечитав последнее предложение. Татарский нашел, что от него разит закомплексованным русопятством, зачеркнул его и решительно закрыл тему:

Впрочем, к таким сложным аналитическим умозаключениям способна лишь самая низкообеспеченная часть target group, так что вряд ли эта промашка существенно скажется на объемах продаж. Поэтому проект следует утвердить.

На столе зазвонил телефон, и Татарский снял трубку: — Алло.

— Татарский! К шефу на ковер, — сказал Морковин.

Велев секретарше перепечатать написанное. Татарский спустился вниз. Дождь еще шел. Подняв воротник, он помчался через двор к другому крылу. Дождь был сильным, и он промок почти насквозь, пока добежал до входа в мраморный холл. «Неужели нельзя было внутри переход сделать, — подумал он с раздражением, — дом-то один. Весь ковер изгажу». Но вид охраны с автоматами подействовал на него успокаивающе. Один из охранников со «скорпионом» на плече ждал его у лифта, поигрывая ключом на цепочке.

В приемной Азадовского сидел Морковин.

Увидев мокрого Татарского, он довольно засмеялся:

— Чего, ноздри раскатал, да? Обломайся. Леня в отъезде, так что сегодня никакого пчеловодства.

Татарский почувствовал, что в приемной чего-то не хватает. Оглядев комнату, он заметил, что со стены пропали круглое зеркало и золотая маска.

— Куда это он поехал?

— В Багдад.

— А зачем?

— Там развалины Вавилона рядом. Чего-то его пробило на башню эту подняться, которая там осталась. Он мне фотографию показывал — очень круто.

Татарский не подал виду, что на него как-то подействовало услышанное. Стараясь, чтобы его движения выглядели естественно, он взял со стола сигареты и закурил.

— А чего это ему интересно так? — спросил он.

— Говорит, душа высоты хочет. Что это ты побледнел?

— Не курил два дня, — сказал Татарский. — Бросить хотел.

— Купи пластырь никотиновый.

Татарский уже пришел в себя.

— Слушай, — сказал он, — а я вчера Азадовского опять в двух клипах видел. Я его каждый раз вижу, как телевизор включу. Или в кордебалете танцует, или прогноз погоды объявляет. Что это все значит? Почему так часто? Сниматься любит?

— Да, — сказал Морковин, — есть у него такая слабость. Мой тебе совет — ты в это пока не суйся. Потом, может быть, узнаешь. Идет?

— Ладно.

— Давай к делу. Что у нас нового по сценарию для «калашниковова»? Только что их брэнд-менеджер звонил.

— Нового ничего. Все то же самое: два деда сбивают Бэтмена над Москворецким рынком. Бэтмен, короче, падает на жаровню для шаурмы и бьет по пыли перепончатым крылом, а потом его закрывает хоровод баб в сарафанах.

— А почему два деда?

— У одного укороченный, а у другого — нормальный. Они весь спектр моделей просили.

Морковин немного подумал.

— Лучше, наверно, не два деда, а отец и сын. У отца нормальный, а у сына — укороченный. И тогда уж давай не только Бэтмена, а сразу Спауна, Найтмена и всю эту ихнюю пиздабратию. Бюджет огромный, надо закрывать.

— Бели по уму, — сказал Татарский, — то у сына нормальный, а у отца укороченный.

Морковин подумал еще немного.

— Правильно, — согласился он. — Рубишь. Только не надо матери с подствольником, будет перебор. Ладно, я тебя не для этого вызвал. У меня хорошие новости.

Он сделал интригующую паузу.

— Это какие? — спросил Татарский с вялым энтузиазмом.

— Первый отдел тебя наконец проверил. Так что идешь на повышение — Азадовский велел тебя в курс ввести. Что я сейчас и сделаю.

В буфете было пустынно и тихо. В углу на штанге висел большой телевизор с отключенным звуком, передававший программу новостей. Кивнув Татарскому на столик у телевизора. Морковин подошел к стойке и вернулся с двумя стаканами и бутылкой «Smirnoff citrus twist».

— Выпьем. А то ты мокрый — простудишься.

Сев за столик, он каким-то особым образом потряс бутылку и долго разглядывал возникшие в жидкости мелкие пузырьки.

— Нет, ну надо же, — сказал он с изумлением. — Я понимаю. в ларьке на улице... Но даже тут поддельная. Точно говорю, самопал из Польши... Во как прыгает! Вот что значит апгрейд...

Татарский понял, что последняя фраза относится не к водке, а к телевизору, и перевел взгляд с мутной от пузырьков водки на экран, где румяный хохочущий Ельцин быстро-быстро резал воздух беспалой ладонью и что-то взахлеб говорил.

— Апгрейд? — спросил Татарский. — Это что, стимулятор такой?

— И кто только такие слухи распускает, — покачал головой Морковин. — Зачем. Просто частоту подняли до шестисот мегагерц. Кстати, сильно рискуем.

— Опять не понял, — сказал Татарский.

— Раньше такой сюжет два дня считать надо было. А теперь за ночь делаем. Поэтому и жестов больше можем посчитать, и мимики.

— А что считаем-то?

— Да вот его и считаем, — сказал Морковин и кивнул на телевизор. — И всех остальных тоже. Трехмерка.

— Трехмерка?

— Если по науке, то «три-дэ модель». А мужики их «трехмерзостью» называют.

Татарский уставился на приятеля, стараясь понять, шутит тот или говорит всерьез. Тот молча выдержал его взгляд.

— Ты что мне такое рассказываешь?

— То и рассказываю, что Азадовский велел. В курс ввожу.

Татарский посмотрел на экран. Теперь показывали думскую трибуну, на которой стоял мрачный, как бы только что вынырнувший из омута народного остервенения оратор. Неожиданно Татарскому показалось, что депутат действительно неживой — его тело было совершенно неподвижным, шевелились только губы и изредка веки.

— И этот тоже, — сказал Морковин. — Только его поглубей просчитывают, их много слишком. Он эпизодический. Это полубобок.

— Чего?

— Ну, мы так думских трехмеров называем. Динамический видеобарельеф — проработка вида под одним углом. Технология та же, но работы меньше на два порядка. Там два типа бывает — бобок и полубобок. Видишь, ртом шевелит и глазами? Значит, полубобок. А вон тот, который спит над газетой, — это бобок. Такой вообще на винчестер влазит. У нас, кстати, отдел законодательной власти недавно премию получил. Азадовский смотрел вечером новости, а там депутаты про телевидение говорят, что продажное, блядское и так далее. Азадовский, натурально. в обиду — разбор хотел начинать, трубку даже снял. Уже номер набирает и вдруг думает — с кем разбираться-то? Не, хорошо работаем, раз самих пробивает.

— Так что, они все — того?

— Все без исключения.

— Да ладно, не гони, — неуверенно сказал Татарский. — Их же столько народу каждый день видит.

— Где?

— По телевизору... А, ну да... То есть как... Но ведь есть же люди, которые с ними встречаются каждый день.

— Ты этих людей видел?

— Конечно.

— А где?

Татарский задумался.

— По телевизору, — сказал он.

— То есть понимаешь, к чему я клоню?

— Начинаю, — ответил Татарский.

— Вообще-то чисто теоретически ты можешь встретить человека, который скажет тебе, что сам их видел или даже знает. Есть специальная служба, «Народная воля». Больше ста человек, бывшие гэбисты, всех Азадовский кормит. У них работа такая — ходить и рассказывать, что они наших вождей только что видели. Кого у дачи трехэтажной, кого с блядью-малолеткой, а кого в желтой «Ламборджини» на Рублевском шоссе. Но «Народная воля» в основном по пивным и вокзалам работает, а ты там не бегаешь.

— Ты правду говоришь? — спросил Татарский.

— Правду, правду.

— Но ведь это же грандиозное надувательство.

— Ой, — наморщился Морковин, — только этого не надо. Надуем — громче хлопнут. Да ты чего? По своей природе любой политик — это просто телепередача. Ну, посадим мы перед камерой живого человека. Все равно ему речи будет писать команда спичрайтеров, пиджаки выбирать — группа стилистов, а решения принимать — Межбанковский комитет. А если его кондрашка вдруг хватит — что, опять всю бодягу затевать по новой?

— Ну допустим, — сказал Татарский. — Но как это можно делать в таком объеме?

— Тебя технология интересует? Могу рассказать в общих чертах. Сначала нужен исходник. Восковая модель или человек. С него снимается облачное тело. Знаешь, что такое облачное тело?

— Это что-то типа астрального?

— Нет. Это тебя какие-то лохи запугали. Облачное тело — это то же самое, что цифровое облако. Просто облако точек. Его снимают или щупом, или лазерным сканером. Потом эти точки соединяют — накладывают на них цифровую сетку и сшивают щели. Там сразу несколько процедур — stitching, clean-up и так далее.

— А чем сшивают?

— Цифрами. Одни цифры сшивают другими. Я вообще сам не все до конца понимаю — гуманитарий, сам знаешь. Короче, когда мы всё сшили и зачистили, получаем модель. Они бывают двух видов — полигональные и так называемый purbs patch. Полигональные — из треугольничков, а «нурбс» — из кривых, это продвинутая технология, для серьезных трехмеров. Депутаты все полигональные — возни меньше и лица народнее. Ну вот, когда модель готова, в нее вставляют скелет. Тоже цифровой. Это как бы палочки на шарнирах — действительно, выглядит на мониторе как скелет, только без ребер. И вот этот скелет анимируют, как мультфильм, — ручка сюда, ножка туда. Вручную, правда, мы уже не делаем. У нас специальные люди есть, которые скелетами работают.

— Скелетами?

Морковин поглядел на часы.

— Сейчас как раз съемка в третьем павильоне. Пойдем посмотрим. А то я тебе до вечера объяснять буду.

Помещение, куда Татарский робко вошел вслед за Морковиным через несколько минут, походило на мастерскую художника-концептуалиста, получившего большой грант на работу с фанерой. Это был зал высотой в два этажа, заставленный множеством фанерных конструкций разной формы и не очень ясного назначения, — тут были ведущие в никуда лестницы, недоделанные трибуны, фанерные плоскости, спускавшиеся к полу под разными углами, и даже длинный фанерный лимузин. Ни камеры, ни софитов Татарский не заметил — зато у стены громоздилось множество непонятных электрических ящиков, похожих на музыкальную аппаратуру, возле которых сидело на стульях четверо человек, по виду инженеров. На полу возле них стояла полупустая бутылка водки и множество пивных банок. Один из инженеров, в наушниках, глядел в монитор. Морковину приветственно помахали руками, но никто не стал отвлекаться от работы.

— Эй, Аркаша, — позвал человек в наушниках. — Ты будешь смеяться, но придется еще раз.

— Что? — раздался сиплый голос из центра зала.

Татарский обернулся на голос и увидел странное приспособление — фанерную горку вроде тех, что бывают на детских площадках, только выше. Скат горки обрывался над гамаком, растянутым на деревянных стойках, а на ее вершину вела алюминиевая стремянка. Рядом с гамаком сидел на полу пожилой грузный человек с лицом милицейского ветерана. На нем были тренировочные штаны и майка с надписью «Sick my duck»^[27]. Надпись показалась Татарскому слишком сентиментальной и не вполне грамотной.

— То, Аркаша, то. Давай по новой.

— Сколько ж можно, — пробормотал Аркаша. — Голова кружится.

— Да ты накати еще стакан. У тебя как-то зажато выходит. Серьезно, накати.

— До меня еще прошлый стакан не доехал, — отозвался Аркаша, поднялся с пола и побрел к инженерам.

Татарский заметил, что к его запястьям, локтям, коленям и щиколоткам прикреплены небольшие диски из черной пластмассы. Такие же были и на его теле — всего Татарский насчитал четырнадцать.

— Кто это? — шепотом спросил он.

— Это Аркаша Коржаков. Не, не думай. Просто однофамилец. Он скелетоном Ельцина работает. Та же масса, те же габариты. К тому же актер — раньше в ТЮЗе работал на шекспировских ролях.

— А что он делает?

— Сейчас увидишь. Хочешь пива?

Татарский кивнул. Морковин принес две банки «Туборга» и какую-то фотографию. Со странным чувством Татарский увидел на банке знакомого человека в белой рубашке — Tuborg man все так же вытирал платком пот со лба, страхась продолжить свое окончательное путешествие.

Выпив, Аркаша вернулся к горке, вскарабкался по стремянке вверх и замер над фанерным скатом.

— Начинать? — спросил он.

— Подожди. — сказал человек в наушниках, — сейчас откалибруем заново.

Аркаша присел на корточки и взялся рукой за край площадки, сделавшись похожим на огромного жирного голубя.

— Что это на нем за шайбы? — спросил Татарский.

— Это датчики, — ответил Морковин. — Технология Motion capture». Они у него там же, где у скелетона шарниры. Когда Аркаша двигается, снимаем их траекторию. Потом ее фильтруем чуть-чуть, совмещаем с моделью, и машина все считает. Это новая система, «Star Tгак». Самая сейчас крутая на рынке. Без проводов, тридцать два датчика, работает где угодно — но и стоит, сам понимаешь...

Человек в наушниках оторвался от монитора.

— Готово, — сказал он. — Значит, повторяю по порядку. Сначала обнимаешь, потом приглашаешь спуститься, потом спотыкаешься. Только когда рукой вниз будешь делать, величественнее и медленнее. А падай по полной, наотмашь. Понял?

— Понял, — пробурчал Аркаша и осторожно встал. Его чуть покачивало.

— Начали.

Аркаша повернулся влево, развел руки и медленно сомкнул их в пустоте. Татарский поразился — его движения мгновенно наполнились государственным величием и державной неспешностью. Сначала Татарский вспомнил про систему Станиславского, но сразу же понял, что Аркаша просто с трудом балансирует на пяточке высоко над полом, изо всех сил стараясь не упасть. Разжав объятия, Аркаша широким жестом указал своему невидимому спутнику на скат, шагнул к нему, качнулся на краю фанерной бездны и безобразно обрушился вниз. За время падения он два раза перекувырнулся, и, если бы не гамак, в который приземлилось его грузное тело, не обошлось бы без членовредительства. Упав, Аркаша так и остался лежать в гамаке, обхватив руками голову. Инженеры столпились вокруг монитора и стали тихо о чем-то спорить.

— Что это такое будет? — спросил Татарский. Морковин молча протянул ему

фотографию.

Татарский увидел какой-то кремлевский зал с малахитовыми колоннами, в который спускалась широкая мраморная лестница с красной ковровой дорожкой.

— Слушай, а почему его бухим показывают, если он виртуальный?

— Рейтинг повышаем.

— У него от этого рейтинг растет?

— Да не у него. Какой у электромагнитной волны рейтинг. У канала. Почему в новостях в прайм-тайм минута сорок тысяч стоит, прикидывал?

— Уже прикинул. А давно его... того?

— После танца в Ростове. Когда он со сцены упал. Пришлось в коды переводить в аварийном режиме. Помнишь, операцию делали по шунтированию? Проблем была куча. Когда доцифровывали, все уже в респираторах работали. С тех пор под фанеру и пашем.

— А как лицо делают? — спросил Татарский. — Жесты, мимику?

— То же самое. Только не магнитная система, а оптическая, «Adaptive optics». А для рук — перчатки «CyberGlove». Два пальца на одной отрезали — и порядок.

— Эй, мужики, — сказал кто-то из инженеров, — вы бы потише, а? Аркаше сейчас опять прыгать. Пусть отдохнет.

— Что? — спросил Аркаша, приподнимаясь в гамаке. — Да вы чего, опухли?

— Пойдем, — сказал Морковин.

Следующее помещение, куда Морковин привел Татарского, называлось «Виртуальной студией». Несмотря на название, в ней стояли самые настоящие камеры и софиты, которые приятно грели. Студия была большой комнатой с зелеными стенами и полом, где снимали нескольких человек в модном сельскохозяйственном прикиде. Обступив пустое пространство, они вдумчиво кивали головами, а один мял в руках спелый пшеничный колос. Морковин объяснил, что это зажиточные фермеры, которых дешевле снимать на «кодак», чем анимировать.

— Говорим им, куда глядеть примерно, — сказал он, — и когда вопросы задавать. Потом с кем угодно свести можно. Смотрел «Starship troopers»^[28]? Где космический десант с жуками воюет?

— Смотрел.

— То же самое. Только вместо десантников — фермеры или там малый бизнес, вместо автоматов — хлеб-соль, а вместо жука — Зюганов или Лебедь. Потом сводим, сзади накладываем Храм Христа Спасителя или космодром Байконур, перегоняем на «бетакам» — ив эфир... Пойдем еще в аппаратную зайдем.

Аппаратный зал, находившийся за дверью с игривой надписью «Машинное отделение», не произвел на Татарского особого впечатления. Произвели впечатление два автоматчика, стоявшие у входа. Само помещение выглядело скучно — это была комната со скрипучим паркетом и пыльными обоями в зеленых гладиолусах, которые явно помнили еще советское время. Никакой мебели в комнате не было; на одной стене висела цветная фотография Гагарина с голубем в руках, а у другой стояли металлические стеллажи со множеством однообразных синих ящиков, единственным украшением которых была похожая на снежинку эмблема «Silicon Graphics». Внешне ящики мало отличались от аппарата, когда-то виденного Татарским в «Драфт Подиуме». Никаких интересных лампочек или индикаторов на этих ящиках не было — так же могла бы выглядеть какая-нибудь банальная трансформаторная подстанция. Но Морковин вел себя чрезвычайно торжественно.

— Азадовский говорил, что ты любишь, когда у жизни большие сиськи, — сказал он. — Вот это самая большая. И если она тебя пока не возбуждает, то это просто с непривычки.

— Что это такое?

— Рендер-сервер 100/400. Их «Силикон Графике» специально для этих целей гонит — хай энд. По американским понятиям в принципе уже старье, но нам хватает. Да и вся Европа на таких пашет. Позволяет просчитывать до ста главных и четырехсот вспомогательных политиков.

— Крутой компьютер, — без энтузиазма сказал Татарский.

— Это даже не компьютер. Это стойка, где двадцать четыре компьютера, которыми управляют с одной клавиатуры. В каждом по четыре процессора, частота восемьсот мегагерц. Кадры каждый блок считает по очереди, а вся система работает примерно как авиационная пушка, у которой стволы крутятся. Американцы с нас бабок взяли немеряно. Но что делать — когда все начиналось. у нас таких не было. А теперь, как ты сам понимаешь. уже никогда и не будет. Американцы, кстати, и есть наша главная проблема. Опускают нас, как козлов.

— Это как?

— Да на мегагерцы. Сначала за Чечню на двести опустили. На самом деле, конечно, из-за нефтепровода, ты ведь понимаешь. Потом за то, что кредит украли. И так по любому поводу. Мы, конечно, разгоняем по ночам, но они же в посольстве тоже телевизор смотрят. Как только мы чуть-чуть частоту поднимем, они просекают и инспектора шлют. В общем, позор. Великая страна, а сидим на четырехстах мегагерцах. Да и те не наши.

Морковин подошел к стойке, выдвинул из нее узкий синий блок и откинул вверх его крышку, на которой оказался жидкокристаллический монитор. Под ним была клавиатура с трэк-болом.

— С этой клавиатуры и управляют? — спросил Татарский.

— Да ты что, — махнул рукой Морковин. — Чтобы в систему войти, нужен допуск. Все терминалы наверху. Это просто контрольный монитор — хочу посмотреть, что считаем.

Он потыкал в кнопки, и в нижней части монитора появилось окно с прогресс-индикатором и несколькими малопонятными надписями: memory used 5184 M, time elapsed 23:11:12 и что-то еще очень мелким шрифтом. Потом выскочил набранный крупными буквами путь:

C:/oligarchs/berezka/excesses/vo_pole/ slalom.prg.

— Понятно, — сказал Морковин. — Это Березовский в Швейцарии.

Экран стал покрываться квадратиками с фрагментами цветного рисунка, как будто кто-то собирал головоломку. Через несколько секунд Татарский увидел знакомое лицо, в котором чернело несколько недосчитанных дыр. — его особенно поразила сумасшедшая радость, которой сиял правый, уже посчитанный глаз.

— На лыжах катается, сука, — сказал Морковин, — а мы тут с тобой пылью дышим.

— А почему каталог «excesses»? Что в этом такого — на лыжах покататься?

— А у него по сюжету вместо этих палок с флажками голые балерины стоят. — ответил Морковин. — У одних синие банты, у других красные. Девочек на «кодак» снимали, прямо на трассе. Вот они довольны-то были — на халяву в Швейцарию съездить. Две там до сих пор еще вертятся.

Он выключил монитор, закрыл его и задвинул контрольный блок обратно. Татарскому пришла в голову тревожная мысль.

— Слушай, — спросил он, — а что, у американцев то же самое?

— Конечно. И гораздо раньше началось. Рейган со второго срока уже анимационный был. А Буш... Помнишь, когда он у вертолета стоял, у него от ветра зачес над лысиной все время вверх взлетал и дрожал так? Просто шедевр. Я считаю, в компьютерной графике рядом с этим ничего не стояло. Америка...

— А правда, что у нас на политике их копирайтеры работают?

— А вот это вранье. Они для себя-то ничего хорошего придумать не в состоянии. Разрешающая способность, число точек, спецэффекты — это да. Но страна бездуховная. Криэйторы у них на политике — говно полное. Кандидатов в президенты двое, а команда сценаристов одна. И работают в ней только те, кого с Мэдисон-авеню поперли, потому что деньги в политике маленькие. Я недавно их предвыборные материалы пересматривал — просто ужас. Если один про мост в прошлое заговорит, то другой через два дня обязательно про мост в будущее скажет. Бобу Доулу просто найковский слоган переделали — из «Just do it» в «Just don't do it». А позитивного ничего придумать не могут, кроме минета в Оральном офисе... Нет, наши сценаристы раз в десять круче. Ты посмотри, какие характеры выпуклые. Что Ельцин, что Зюганов, что Лебедь. Чехов. «Три сестры». Так что пускай все люди, которые говорят, что в России своих брэндов нет, этим базаром подавятся. У нас здесь такие таланты, что ни перед кем не стыдно. Да вон, например, видишь?

Он кивнул на фотографию Гагарина. Татарский поглядел на нее внимательнее и понял, что на ней изображен не Гагарин, а генерал Лебедь в парадном мундире, и в руках у него не голубь, а поджавший уши белый кролик. Фотография до такой степени напоминала снимок-прототип, что возникал своеобразный обман зрения: кролик в руках Лебеда в первую минуту казался неприлично разжиревшим голубем.

— Шахтерский парнишка один сделал, — сказал Морковин. — Это на обложку «Плейбоя». Слоган к нему — «Россия будет красивой и толстой». Для голодных районов — в десятку. Раньше парень, бывало, ел раз в два дня, а теперь один из главных криэйторов. Правда, у него все как-то вокруг еды вертится... Помнишь, у Ахматовой: «Когда б вы знали, из какого сора...»

— Погоди, — сказал Татарский. — у меня мысль хорошая. Дай запишу.

Вынув из кармана свою книжечку, он написал:

Silicon Graphics/большие сиськи — новая эмблема. Вместо снежинки — контур огромной сиськи, как бы раздутой силиконовым протезом (небрежно прочерченный пером, т. к. graphics). В динамике (клип) — из соска выползает кремнийорганический червяк и сгибается в виде \$ (модель — species-II). Подумать.

— Потный вал вдохновения? — спросил Морковин. — Даже завидно. Ладно, экскурсия кончена. Пошли в буфет.

В буфете было по-прежнему пусто. Так же беззвучно работал телевизор, а на столе под ним стояла недопитая бутылка «Smirnoff citrus twist» и два стакана. Морковин наполнил их, молча чокнулся со стаканом Татарского и выпил. После экскурсии Татарский ощущал какое-то смутное беспокойство.

— Слушай, — сказал он, — я чего понять не могу. Вот, допустим, копирайтеры им всем тексты пишут. Но кто за тексты-то отвечает? Откуда мы берем темы и как мы определяем, куда завтра повернет национальная политика?

— Большой бизнес. — коротко ответил Морковин. — Про олигархов слышал?

— Ага. И что они, собираются и решают? Или в письменном виде концепции присылают?

Морковин зажал большим пальцем горлышко бутылки, потряс ее и стал вглядываться в пузырьки — видимо, его что-то захватывало в этом зрелище. Татарский молча ждал ответа.

— Ну как они могут где-то собираться, — отозвался наконец Морковин, — когда их всех этажом выше делают. Ты же сейчас сам Березовского видел.

— Ага, — вдумчиво ответил Татарский. — Ну да, конечно. А по олигархам кто сценарии пишет?

— Копирайтеры. Все то же самое, только этаж другой.

— Ага. А как мы выбираем, что эти олигархи решат?

— Исходя из политической ситуации. Это ведь только говорят — «выбираем». На самом деле особого выбора нет.

Кругом одна железная необходимость. И для тех. и для этих. Да и для нас с тобой.

— Так что, олигархов тоже нет никаких? Но ведь у нас снизу доска висит — «Межбанковский комитет»...

— Да это чтоб мусора уважали, — ответил Морковин, — и с крышей своей не лезли. Комитет-то мы межбанковский, это да, только все банки эти — межкомитетские. А комитет — это мы. Во как.

— Понял, — сказал Татарский. — Кажется, понял... То есть как, подожди... Выходит, что те определяют этих, а эти... Эти определяют тех. Но как же тогда... Подожди... А на что тогда все опирается?

Не договорив, он взвыл от боли — Морковин изо всех сил ущипнул его за кисть руки — так сильно, что даже оторвал маленький лоскуток кожи.

— А вот про это, — сказал он, перегибаясь через стол и заглядывая в глаза Татарскому почерневшим взглядом, — ты не думай никогда. Никогда вообще, понял?

— А как? — спросил Татарский, чувствуя, что боль только что откинула его от края какой-то глубокой и темной пропасти. — Как не думать-то?

— Техника такая, — сказал Морковин. — Ты как бы понимаешь, что вот-вот эту мысль подумаешь в полном объеме, и тут же себя щипаешь или колешь чем-нибудь острым. В руку, в ногу — неважно. Надо там, где нервных окончаний больше. Типа как пловец в икру, когда у него судорога. Чтобы не утонуть. И потом, постепенно, у тебя вокруг этой мысли образуется как бы мозоль, и ты ее уже можешь без особых проблем обходить стороной. То есть ты чувствуешь, что она есть, но никогда ее не думаешь. И постепенно привыкаешь. Восьмой этаж опирается на седьмой, седьмой опирается на восьмой, и везде, в каждой конкретной точке в каждый конкретный момент, есть определенная устойчивость. А завалит делами, нюхнешь кокоса и будешь конкретные вопросы весь день решать на бегу. На абстрактные времени не останется.

Татарский залпом выпил остаток водки и несколько раз подряд ущипнул себя за ляжку. Морковин грустно усмехнулся.

— Вот Азадовский, — сказал он, — почему он здесь всех разводит и грузит? Да потому, что ему в голову даже не приходит, что во всем этом есть что-то странное. Такие люди раз в сто лет рождаются. У человека, можно сказать, чувство жизни международного масштаба...

— Хорошо, — сказал Татарский и еще раз ущипнул себя за ногу. — Но ведь, наверно, нужно не только грузить и разводить, но еще и регулировать? Ведь общество — вещь сложная. А для регулирования нужны какие-то принципы?

— Принцип очень простой, — сказал Морковин. — Чтобы все в обществе было нормально, мы должны всего лишь регулировать объем денежной массы, которая у нас есть. А все остальное автоматически войдет в русло. Поэтому ни во что нельзя вмешиваться.

— А как этот объем регулировать?

— А чтобы он у нас был максимальный.

— И все?

— Конечно. Если он у нас максимальный, это и значит, что все вошло в русло.

— Да, — сказал Татарский, — логично. Но кто-то ведь должен всем этим командовать?

— Чего-то быстро ты все понять хочешь, — нахмурился Морковин. — Я говорю, погоди. Это, братец, большая проблема — понять, кто всем этим командует. Скажу тебе пока так — миром правит не «кто», а «что». Определенные факторы и импульсы, о которых знать тебе еще рано. Хотя, Ваван, не знать про них ты просто не можешь. Такой вот парадокс...

Морковин замолчал и о чем-то задумался. Татарский закурил сигарету — больше говорить не хотелось. В буфете тем временем появился новый посетитель, которого Татарский сразу узнал, — это был известный телеаналитик Фарсук Сейфуль-Фарсейкин. В жизни он выглядел намного старше, чем на экране. Видимо, он возвращался с эфира: его лицо покрывали крупные капли пота, а знаменитое пенсне сидело на носу как-то косо. Татарский подумал, что Фарсейкин сразу кинется к буфету за водкой, но тот подошел к их столу.

— Можно звук включить? — спросил он, кивая на телевизор. — Этот клип сынишка мой делал. А я не видел еще.

Татарский поднял глаза. На экране происходило что-то странно знакомое: на поляне посреди березового леса стоял хор морячков немного подозрительного вида [Татарский сразу узнал Азадовского — тот стоял в самом центре группы и был единственным, у кого на груди блестела медалька). Обнявшись за плечи и раскачиваясь из стороны в сторону, морячки неслышно подпевали желтоволосому солисту, похожему на Есенина в кубе. Сначала Татарскому показалось, что солист стоит на пне гигантской березы, но по идеально цилиндрической форме этого пня и маленьким желтым лимонам, нарисованным на его поверхности, он догадался, что это увеличенная во много раз банка софт-дришса, раскрашенная то ли под березу, то ли под зебру. Вылизанный видеоряд свидетельствовал, что клип из очень дорогих.

«Бом-бом-бом», — глухо выдали раскачивающиеся морячки. Солист протянул руку от сердца к камере и тенором пропел:

И Родина щедро
Поила меня
Березовым Спрайтом,
Березовым Спрайтом!

Татарский резким движением раздавил в пепельнице сигарету.

— Суки, — сказал он.

— Кто? — спросил Морковин.

— Если б знать... Слушай, а меня на какое направление хотят поставить?

— Старшим криэйтором в отдел компромата. Еще на подхвате будешь во время авралов. Так что стоять теперь будем, опираясь друг на друга. Вот как эти морячки. Плечом к плечу... Ты извини, брат, что я тебя в это впугал.

Ботве ведь, кто этого не знает, им жить легче. Они даже думают, что есть разные телеканалы, какие-то там телекомпании... Но на то они и ботва.

Часто бывает — проезжаешь в белом «мерседесе» мимо автобусной остановки, видишь людей, бог знает сколько времени остервенело ждущих своего автобуса, и вдруг замечаешь, что кто-то из них мутно и вроде бы даже с завистью глядит на тебя. И на секунду веришь, что этот украденный у неведомого бюргера аппарат, еще не до конца растаможенный в братской Белоруссии, но уже подозрительно стучащий мотором с перебитыми номерами, и правда трофей, свидетельствующий о полной и окончательной победе над жизнью. И волна горячей дрожи проходит по телу: гордо отворачиваешь лицо от стоящих на остановке и решаешь в своем сердце, что не зря прошел через известно что и жизнь удалась.

Так действует в наших душах анальный вау-фактор. Но Татарскому никак не удавалось испытать его сладостной щекотки. Возможно, дело было в какой-то особой последождевой апатичности представителей среднего класса, жавшихся на своих остановках. Или, может быть. Татарский просто слишком нервничал — предстоял просмотр его работы, на котором должен был присутствовать сам Азадовский.

А может, дело было в сбоях, которые в последнее время стал давать социальный локатор в его душе.

«Если смотреть на происходящее с точки зрения чистой анимации, — думал он, оглядывая экипажи соседей по пробке, — то все понятия у нас перевернуты. Для небесного «Силикона», который обсчитывает весь этот мир. мятый «Запорожец» куда более сложная работа, чем новый «БМВ», который три года обдували в аэродинамических трубах. Так что все дело в криэйторах и сценаристах. Но какая же гадина написала этот сценарий? И кто тот зритель, который жрет свою пиццу, глядя на этот экран?

И самое главное, неужели все это происходит только для того, чтобы какая-то жирная надмирная тушка наварила себе что-то вроде денег на чем-то вроде рекламы? А похоже. Ведь известно: все в мире держится на подобии...»

Пробка наконец стала рассасываться. Татарский включил радио. В машину ворвался гнусавый, с подвыва-ми голос, похожий на гул в печной трубе:

Ни иконы, ни Бердяев,
ни программа «Третий глаз»
не спасут от негодяев,
захвативших нефть и газ!

Рекламная служба Русского Радио!

Инфернальная веселость, которой дышал голос, не оставляла сомнений в том, что говоривший и сам был не последним человеком среди этих негодяев. Татарский нервно выключил радио и взялся за ручку сцепления.

Его настроение совсем ухудшилось; захотелось живого человеческого тепла. Вырулив из потока машин к автобусной остановке, он нажал на тормоз. Разбитое боковое стекло будки было заделано рекламным щитом телеканала СТС с аллегорическим изображением четырех смертных грехов с пультами дистанционного управления в руках. На лавке под навесом сидели неподвижная старуха с корзиной на коленях и кудрявый мужик лет сорока в

подмокшем военном ватнике, с бутылкой пива в руке. Отметив, что в мужике еще достаточно жизненной силы. Татарский опустил стекло и высунул локоть наружу.

— Простите, господин военный, — сказал он, — вы не подскажете, где тут магазин «Мужские сорочки»?

Мужчина поднял на него взгляд. Видимо, он обо всем догадался, потому что его глаза заволокло холодной белой яростью. Короткий обмен взглядами оказался очень информативным — Татарский понял, что мужик понял. А мужик, видимо, понял даже то, что Татарский понял, что понят.

— Под Кандагаром было круче, — сказал мужик.

— Извините, что вы сказали?

— То и сказал, — ответил мужик, перехватывая бутылку за горлышко, — что круче было под Кандагаром. А извинить не проси даже.

Что-то подсказало Татарскому, что мужик идет к его автомобилю не для того, чтобы подсказать дорогу к магазину, и он вдавил педаль газа в днище. Чутье не обмануло — через секунду по заднему стеклу что-то сильно ударило, и оно покрылось сеткой трещин, по которой потекла вниз белая пена. Под действием адреналиновой волны Татарский резко увеличил скорость. «Вот мудак, — подумал он, оглядываясь. — Правильно таких братва на квартиры ставит».

Когда он припарковался во дворе Межбанковского комитета, рядом с его машиной затормозил красный «рэйн-джровер» последней модели с немислимыми фарами над крышей и веселым рисунком на двери: восход солнца над прерией и голова индейца в уборе из перьев. «Кто это, интересно, на таких ездит?» — подумал Татарский и чуть задержался у дверцы.

Из «рэйнджровера» вылез полный и низенький мужчина в подчеркнуто буржуазном полосатом костюме, повернулся, и Татарский с изумлением узнал в нем Сашу Бло — разжиревшего, еще сильнее облысевшего, но с той же гримасой мучительного непонимания на лице.

— Саша, — сказал Татарский, — ты?

— А, Ваван, — сказал Саша Бло. — Тоже здесь? В компромате?

— Откуда ты знаешь?

— А оттуда все начинают. Чтоб руку набить. Креативный штат-то не особо большой. Все друг с другом знакомы. Так что, если я тебя раньше не видел, а теперь ты у этого подъезда паркуешься, значит, ты в отделе компромата. Да и то — недели две, не больше. Элементарно, Ватсон.

— Месяц уже, — ответил Татарский. — А ты кем работаешь?

— Я? Я заводелом русской идеи. Это во флигеле. Идеи будут — заходи.

— От меня толку мало, — ответил Татарский. — Я пробовал думать — не выходит. Ты бы поездил по окраинам, поспрашивал у мужиков.

Саша Бло недовольно наморщился.

— Да я пробовал вначале, — сказал он. — Стакан нальешь, в глаза заглянешь, а тебе в ответ: «Да разъебись ты на хуй, Мерседес козлиный». Они круче «мерседеса» ничего представить не могут... И все так деструктивно... Твоя?

Вопрос относился к машине Татарского.

— Ну, моя, — с достоинством ответил он.

— Понятно. — сказал Саша Бло, запирая дверь «рэйнджровера». — Сорок минут

позора, и ты на работе. Да ты не комплексуй. Все еще впереди.

Кивнув, он вприпрыжку побежал ко входу, отмахивая на ходу пухлой засаленной папочкой. Татарский проводил его долгим взглядом, потом поглядел на заднее стекло своей машины и вынул записную книжку.

Главное зло в том, — записал он на последней странице, — что люди строят общение друг с другом на бессмысленно-отвлекающей болтовне, в которую они жадно, хитро и бесчеловечно вставляют свой анальный импульс в надежде, что для кого-то он станет оральным. Если это случается, человек приходит в оргиастическое содрогание и несколько секунд ощущает так называемое «биение жизни».

Азадовский с Морковиным сидели в просмотрном зале с самого утра. Перед входом прохаживалось несколько человек, которые болтали о политике и яростно ругали правительство. Татарский решил, что это копирайтеры политического отдела, практикующие корпоративное неделание. Их вызывали по одному; в среднем они проводили с начальством минут по десять, а вопросы, которые там решались, явно были государственного значения: Татарский понял это по несколько раз долетевшему из зала голосу Ельцина, включенному на максимальную громкость. Первый раз он недоуменно пробубнил:

— Зачем нам столько пилотов? Нам нужен один пилот, но готовый на все! Вот у меня внук на PlayStation играет — я как поглядел, так сразу и понял...

Второй раз, видимо, крутили фрагмент из обращения к нации, потому что голос Ельцина был торжественным и размеренным:

— Впервые за многие десятилетия у населения России появилась возможность выбирать между сердцем и разумом...

Один проект завернули, что было ясно по лицу выходящего из зала высокого усатого мужчины с ранней сединой, который держал в руках багровый скоросшиватель с золотой надписью «Царь». Потом в зале стала играть музыка — сначала долго тренькала балалайка и кто-то громко ухал, а потом раздался высокий голос Азадовского:

— К чертовой матери! Будем с эфира снимать. По мне, так пусть лучше Лебедь. У него хоть лысины нет. Следующий.

Очередь Татарского подошла не скоро — он был последним. Полутемный зал, где ждал Азадовский, был мрачно-шикарным, но несколько архаичным, словно его оборудовали и обставили еще в тридцатые или сороковые годы. Войдя, Татарский почему-то пригнулся, трусцой добежал до первого ряда и пристроился на краю стула слева от Азадовского, который пускал дымные струи в луч видеопроектора. Азадовский пожал ему руку не глядя — он явно был не в духе. Татарский знал, в чем дело, — Морковин объяснил еще вчера.

«Опустили до трехсот, — мрачно сказал он. — За Косово. Помнишь, при коммунистах сливочного масла не хватало? А сейчас — машинного времени. Есть в истории этой страны что-то фатальное. Азадовский теперь лично все болванки смотрит. На главный рендер пускают только после письменного распоряжения, так что старайся».

Как выглядит так называемая болванка, то есть не-просчитанный эскиз. Татарский увидел в первый раз. Не будь он сам автором сценария, он никогда бы не догадался, что зеленый контур, пересеченный тонкими желтыми пунктирами, — это стол, на котором разложена «монополия». Фишки были одинаковыми красными стрелками, а игральные кости — двумя синими пятнышками. В нижней части экрана парами выскакивали цифры от

одного до шести, выданные генератором случайных чисел, и ходы соответствовали выпавшим очкам, — игра была смоделирована честно. Но самих игроков пока не существовало: вместо них за столом сидели скелетоны из проградуированных линий с кружками-шарнирами. Были видны только лица, составленные из грубых полигонов, — борода Салмана Радуева походила на рыжий кирпич, приделанный к нижней части лица, а Березовского можно было узнать только по сиреневым треугольникам бритых щек. Как и следовало ожидать, выигрывал Березовский.

— Да, — заговорил он, перетряхивая кости зелеными стрелками пальцев, — с «монополией» в России-магушке проблема. Купишь пару улиц, а потом выясняется, что там люди живут.

Радуев засмеялся:

— Это не только в России. Это везде. И я тебе больше скажу, Борис, люди не просто там живут, а часто еще и думают, что это их улицы.

Березовский бросил кости. У него снова выпало две шестерки.

— Не совсем так. — сказал он. — В наше время люди узнают о том, что они думают, по телевизору. Поэтому, если ты хочешь купить пару улиц и не иметь потом бледный вид, надо сначала сделать так, чтобы над ними торчала твоя телебашня.

Раздался писк, и в углу стола возникла анимационная вставка: военная рация с длинной антенной. Радуев поднес ее к головному шарниру, что-то коротко сказал по-чеченски и поставил назад.

— А я своего теледиктора продаю. — сказал он и щелчком пальца отправил фишку в центр стола. — Не люблю телевидение.

— Покупаю, — быстро отозвался Березовский. — А почему ты его не любишь?

— Там происходит слишком частое соприкосновение мочи с кожей. Как ни включаю телевизор, так сразу же моча начинает соприкасаться с кожей.

— Так ведь не с твоей кожей, Салман.

— Вот именно, — раздраженно сказал Радуев, — тогда почему они соприкасаются у меня в голове? Им что, больше негде?

Верхнюю часть лица Березовского закрыл прямоугольник с подробно просчитанной парой глаз. Они беспокойно покосились на Радуева, несколько раз моргнули, и прямоугольник исчез.

— А действительно, чья моча? — повторил Радуев таким тоном, словно эта мысль только что пришла ему в голову.

— Да брось, Салман, — примирительно сказал Березовский. — Давай лучше ходи.

— Подожди, Борис. Я хочу узнать, чья моча и кожа соприкасаются друг с другом в моей голове, когда я смотрю твой телевизор.

— А почему он мой?

— Труба проходит по моему полю, значит, за трубу отвечаю я. Ты сам это сказал. Так? Значит, если на твоих клетках все теледикторы, ты отвечаешь за телевизор. Вот и скажи, чья моча плещется в моей голове, когда я его смотрю?

Березовский почесал подбородок.

— Моча твоя, Салман, — решительно сказал он.

— Почему?

— А чья же она может быть? Подумай сам. За твою отвагу тебя называют «человек с пулей в голове». Я думаю, что тот, кто решился бы облить тебя мочой, когда ты смотришь

телевизор, прожил бы не долго.

— Правильно думаешь.

— Значит, Салман, это твоя моча.

— А как она попадает мне в голову, когда я смотрю телевизор? Поднимается вверх из мочевого пузыря?

Березовский протянул руку к костям, но Радуев закрыл их ладонью.

— Объясни, — потребовал он. — Тогда будем играть дальше.

На лбу Березовского вылез анимационный квадратик, в котором появилась глубокая морщина.

— Хорошо, — сказал он, — я попробую объяснить.

— Говори.

— Когда Аллах сотворил этот мир, — начал Березовский, быстро взглянув вверх, — он сначала его помыслил. А потом уже создал предметы. Все священные книги говорят, что в начале было слово. Что это значит на юридическом языке? На юридическом языке это значит, что в первую очередь Аллах создал понятия. Грубые предметы — это удел людей, а у Аллаха, — он опять быстро посмотрел вверх, — вместо них идеи. Так вот, Салман, когда по телевизору ты смотришь рекламу прокладок и памперсов, в голове у тебя не жидкая человеческая моча, а понятие мочи. Идея мочи соприкасается с понятием кожи. Понял?

— Круто, — сказал Радуев задумчиво. — Но я не до конца понял. В моей голове соприкасаются идея мочи и понятие кожи. Так?

— Так.

— А у Аллаха вместо вещей идеи. Так?

— Так, — сказал Березовский и нахмурился. На его иссиня-бритых скулах появились анимационные заплатки, в которых напряглись желваки.

— Значит, в моей голове происходит соприкосновение мочи Аллаха с кожей Аллаха, да будет благословенно его имя? Так?

— Наверно, можно сказать и так, — сказал Березовский, и на его лбу опять появилась вставка с морщиной. (Татарский обозначил это место в сценарии словами: «Березовский чувствует, что разговор идет не туда».)

Радуев погладил рыжий кирпич бороды.

— Истинно говорил аль-Халладж, — сказал он, — самое большое чудо — это человек, не видящий вокруг себя чудесного. Но скажи мне, почему так часто? Один раз на моей памяти моча соприкасалась с кожей семнадцать раз за один час.

— Ну, это, наверно, для отчета в «Гэллап Медиа», — снисходительно ответил Березовский. — Сначала проворовались, а потом бюджет закрывали. А что такого? Сколько времени продадим, столько раз и поставим.

Скелетон Радуева качнулся к столу.

— Подожди-подожди. Ты хочешь сказать, что сколько тебе дадут денег, столько раз моча соприкоснется с кожей?

— Ну да.

— И ты можешь решать это лично?

— Естественно, — ответил Березовский. — Я, конечно, в мелочи не вхожу, но замыкается на мне. А как?

— И ты собираешься делать это и дальше?

— Конечно, — сказал Березовский. — Это ведь у кого моча соприкасается с кожей. А у

кого деньги со счетом.

Скелетон Радуева закрыла вставка с довольно грубо прорисованным туловищем в иорданской военной форме. Он сунул руку за спинку стула, вытащил оттуда «калашников» и навел его в лицо компаньону.

— Ты что, Салманчик? — тихо спросил Березовский, рефлекторно поднимая руки.

— Ты говоришь, что Аллах вначале сотворил понятия, — сказал Радуев, — так вот, по всем понятиям человек, который за деньги готов брызгать мочой на кожу Аллаха, не должен поганить эту землю.

Вставка с иорданским туловищем исчезла, на экран вернулись тонкие линии скелетона, а «калашников» превратился в покачивающийся пунктир. Верхняя часть головы Березовского, в которую уперся этот пунктир, скрылась за анимационной заплатой с мохнатым сократовским лбом, покрывшимся за секунду крупными каплями пота.

— Спокойно, Салманчик, спокойно, — сказал Березовский. — Два человека с пулей в голове за одним столом — это будет перебор. Не волнуйся.

— Как не волнуйся? Каждую каплю мочи, которую ты уронил на Аллаха за деньги, ты будешь смывать ведром своей крови, я тебе отвечаю.

В сощуренных глазах Березовского отразилась бешено работающая мысль. В сценарии так и было написано — «бешено работающая мысль», и Татарский даже не представлял, какая технология помогла аниматорам достичь настолько буквальной точности.

— Слушай, — сказал Березовский, — мне сейчас тревожно станет. Башка у меня, конечно, не бронированная, базара нет. Но ведь и у тебя тоже, как ты хорошо знаешь. А здесь везде моя пехота... Ага... Вот чего тебе по рации сказали.

Радуев засмеялся:

— В журнале «Форбс» написали, что ты все схватываешь на лету. Но каждый человек, который все схватывает на лету, пишет дальше «Форбс», должен быть готов к тому, что когда-нибудь на лету схватят его самого. Отдыхает твоя пехота.

— Выписываешь «Форбс»?

— А то. Чечня теперь часть Европы.

— Так если ты такой культурный, чего ты ствол хватаешь? — сказал Березовский с раздражением. — Давай как два европейца перетрем, без этих волчьих понтов.

— Ну давай.

— Вот ты сказал, что каждую каплю мочи я буду смывать ведром крови.

— Сказал, — с достоинством подтвердил Радуев. — И повторю.

— Но ведь мочу нельзя отмыть кровью. Это тебе не «Тайд».

(Татарскому пришло в голову, что фраза «Мочу нельзя отмыть кровью» — прекрасный слоган для общенациональной рекламы «Тайда», но он постеснялся доставать записную книжку при Азадовском.)

— Это верно, — согласился Радуев.

— И потом, ты согласен, что ничего в мире не происходит без воли Аллаха?

— Согласен.

— Так, едем дальше. Неужели ты думаешь, что я смог бы... смог бы... ну, смог бы сделать то, что сделал, если бы на это не было воли Аллаха?

— Нет.

— Едем еще дальше, — уверенно продолжал Березовский. — Попробуй посмотреть на вещи так: я просто орудие в руках Аллаха, а что и почему делает Аллах, уразуметь нельзя. И

потом, если бы не воля Аллаха, я не собрал бы все телебашни и теледикторов на своих трех клетках. Так?

— Так.

— Еще базары есть?

Радуев ткнул Березовского стволом в лоб.

— Есть, — сказал он. — Мы поедем еще дальше. Я тебе скажу, как говорят у нас в селе старые люди. По замыслу Аллаха, этот мир должен быть подобен тающей во рту малине. А люди вроде тебя из-за своей алчности превратили его в мочу, соприкасающуюся с кожей. Может быть, воля Аллаха была и на то, чтобы в мир пришли такие люди, как ты. Но Аллах милостив, поэтому его воля есть и на то, чтобы грохнуть людей, из-за которых жизнь не кажется малиной. А после разговора с тобой она кажется мне не малиной, а мочой, которая разъела мне весь мозг, понял, нет? Поэтому оптимальным решением для тебя будет помолиться.

Березовский вздохнул.

— Я вижу, ты хорошо подготовился к беседе. Ну, ладно. Допустим, я сделал ошибку. Как я могу ее загладить?

— Загладить? Загладить такое оскорбление? Не знаю. Нужно сделать какое-нибудь богоугодное дело.

— Какое, например?

— Не знаю, — повторил Радуев. — Построить мечеть. Или медресе. Но это должна быть очень большая мечеть. Такая, чтобы в ней можно было отмолить грех, который я совершил, сев за стол с человеком, брызжущим мочой на кожу Неизъяснимого.

— Ясно, — сказал Березовский, чуть опуская руки. — А если конкретно, насколько большая?

— Думаю, первый взнос — миллионов десять.

— А не много?

— Я не знаю, много это или нет, — рассудительно сказал Радуев, огладив бороду рукой, — потому что категории «много» и «мало» мы познаём в сравнении. Но ты, может быть, заметил стадо козлов, когда подъезжал к моему штабу?

— Заметил. А какая связь?

— Пока эти двадцать миллионов не придут на мой счет в Исламский банк, тебя будут каждый час семнадцать раз окунать в бочку с козлиной мочой, и она будет соприкасаться с твоей кожей, и ты будешь думать, много это или мало — семнадцать раз в час.

— Эй-эй-эй, — сказал Березовский, опуская руки. — Ты что? Только что было десять миллионов.

— Ты про перхоть забыл.

— Послушай, Салманчик, так дела не делают.

— Ты хочешь заплатить еще десять за запах пота? — спросил Радуев и тряхнул автоматом. — Хочешь?

— Нет, Салман, — устало сказал Березовский. — За запах пота я платить не хочу. Кстати, кто это нас снимает на скрытую камеру?

— Какую камеру?

— А что это за портфель на подоконнике? — Березовский ткнул пальцем в экран.

— Ах ты, шайтан, — пробормотал Радуев и поднял автомат.

По экрану прошел белый зигзаг, все затянула серая рябь, и в зале зажегся свет.

Азадовский крикнул и переглянулся с Морковиним.

— Ну как? — робко спросил Татарский.

— Скажи мне, ты где работаешь? — брезгливо спросил Азадовский. — В пи-ар отделе «Логоваза»? Или у меня в группе компромата?

— В группе компромата, — ответил Татарский.

— Какое у тебя было задание? Сценарий переговоров Радуева с Березовским, где Березовский передает чеченским террористам двадцать миллионов долларов. А ты что написал? Он что, передает? Он у тебя мечеть строит! Спасибо, что не Храм Христа Спасителя. Если бы не мы сами этого Березовского делали, я бы решил, что ты у него зарплату получаешь. А Радуев? Он у тебя вообще какой-то профессор богословия! Читает журналы, про которые даже я не слышал.

— Но ведь должна же быть логика развития сюжета...

— Мне нужна не логика, а компромат. А это не компромат, а говно. Понял?

— Понял. — потупившись, ответил Татарский.

Азадовский несколько смягчился.

— Вообще-то, — сообщил он, — здоровое зерно есть. Первый плюс — вызывает ненависть к телевидению. Хочется его смотреть и ненавидеть, смотреть и ненавидеть. Второй плюс — «монополия». Это ты сам придумал?

— Сам, — приободрился Татарский.

— Это удача. Террорист и олигарх делят народное добро за игорным столом... Ботва от злобы просто взвоят.

— А не слишком ли... — вмешался Морковин, но Азадовский перебил:

— Нет. Главное, чтоб у людей мозги были заняты и эмоции выгорали. Так что эта телега насчет «монополии» ничего. Она нам рейтинг новостей минимум на пять процентов поднимет. Значит, минуту в прайм-тайм...

Азадовский вытащил из кармана калькулятор и стал что-то подсчитывать.

— ...поднимет тысяч на девять, — досчитав, сказал он. — И что у нас будет за час? Множим на семнадцать... Нормально. Так и сделаем. Короче, пускай они играют в «монополию», а режиссеру скажешь перебить монтажом: очереди в сберкассы, шахтеры, старушки, дети голодные, солдатики раненые. Все дела. Только ты про теледикторов убери, а то в ответ надо будет вой поднимать. Лучше сделай в их «монополии» такую фишку — телевизионно-бурильную установку. И пусть Березовский говорит, что он хочет таких вышек всюду понастроить, чтобы снизу нефть прокачивали, а сверху — рекламу. И монтаж — Шаболовская телебашня с буром. Как тебе?

— Гениально, — с готовностью сказал Татарский.

— А тебе? — спросил Азадовский у Морковина.

— Присоединяюсь на все сто.

— А вы думали. Я один тут вас всех заменить могу... Значит, диагноз такой. Ты, Морковин, дай ему в усиление этого нового, который по еде. Толковый паренек. Радуева в целом так и оставляем, только сделайте ему феску вместо этой кепки, надоела уже. Заодно на Турцию намекнем. И потом, давно спросить хочу, что это за халтура? Почему он все время в черных очках? Что, глаза просчитать долго?

— Долго, — сказал Морковин. — Радуев у нас все время в новостях, а в очках на двадцать процентов быстрее. Убираем всю мимику.

Азадовский чуть помрачнел.

— С частотой, даст Бог, решим. Апо Березовскому чи-чирок добавить, понял?

— Понял.

— И прямо сейчас, материал срочный.

— Сделаем, — ответил Морковин. — Досмотрим, и сразу ко мне.

— Чего у нас следующее?

— Теперь ролики по телевизорам. Новый тип.

Татарский приподнялся со стула, собираясь выйти, но Морковин рукой остановил его.

— Давай, — махнул рукой Азадовский. — Еще есть минут двадцать.

Свет снова погас. С экрана заулыбалась миловидная маленькая японка в кимоно.

Отвесив поклон, она сказала с заметным акцентом:

— Сейчас перед вами выступит Йоохори-сан. Йоохори-сан — старейший сотрудник фирмы «Панасоник», поэтому ему и доверена такая честь. Из-за ран, полученных во время войны, он страдает нарушениями речи. Пожалуйста, добрые телезрители, простите ему эти недостатки.

Девушка отошла в сторону. В кадре оказался круглый зал со стенами, выкрашенными в белый цвет. В центре зала стоял длинный кованый сундук, на котором неподвижно сидели двенадцать фигур в белых саванах. Перед ними появился плотный седой японец с открытой бутылкой рома в руке. Он был в пиджаке, но отчего-то перепоясан мечом. Отхлебнув из бутылки, он щелкнул пальцами, и фигуры в саванах, соскочив с сундука, разбежались в стороны. Сундук раскрылся, и из его глубин поднялся черный телевизор обтекаемых форм, похожий на вырванный глаз огромного чудовища, — такое сравнение пришло Татарскому в голову из-за того, что крышка сундука была обита изнутри алым бархатом.

— «Панасоник» представляет революционное изобретение в мире телевидения, — слегка заикаясь, выговорил японец. — Первый в мире телевизор с голосовым управлением на всех языках планеты, включая русский. «Панасорд ви-ту»!

На экране появилась надпись «Panasword V-2».

Японец с напряженным недружелюбием посмотрел в глаза зрителю и вдруг выхватил из ножен меч.

— Меч, выкованный в Японии! — прокричал он, приставив острие прямо к линзам камеры. — Меч, которым перережет себе горло выродившийся мир! Да здравствует император!

По экрану заметались люди в саванах — мистера Йоохори куда-то поволокли, побледневшая девушка в кимоно стала бить извиняющиеся поклоны, и на всем этом безобразии нарисовался логотип «Панасоника». Низкий голос произнес: «Панасоник. Япона мать!»

Татарский услышал трель телефона.

— Але, — сказал в темноте голос Азадовского. — Чего? Лечу!

Встав, Азадовский заслонил собой часть экрана.

— Ух, — сказал он, — кажется, Ростропович сегодня орден получит. Сейчас из Америки звонить будут. Я им вчера факс послал, что демократия в опасности, просил частоту на двести мегагерц поднять. Вроде доперло до людей, что одно дело делаем.

Татарскому вдруг показалось, что тень Азадовского на экране не настоящая, а элемент видеозаписи, силуэт вроде тех, что бывают в пиратских копиях, снятых камерой прямо с экрана. Для Татарского эти черные тени уходящих из зала зрителей, которых хозяева подпольных видеоточек называли бегунками, служили своеобразным индикатором качества:

под действием вытесняющего вакуум-фактора с хорошего фильма уходило больше народа, чем с плохого, поэтому он обычно просил оставлять ему «фильмы с бегунками». Но сейчас он почти испугался, подумав, что, если бегунком вдруг оказывается человек, который только что сидел рядом, это вполне могло означать, что и сам ты точно такой же бегунок. Чувство было сложное, глубокое и новое, но Татарский не успел в нем разобраться: напевая какое-то смутное танго, Азадовский добрал до края экрана и исчез.

Следующий ролик начался в более традиционной манере. Перед большим камином, горевшим в странной зеркальной стене, сидела семья — отец, мать, дочка с киской и бабушка с недовязанным чулком. Они глядели в пылающий за решеткой огонь, делая быстрые и немного карикатурные движения — бабушка вязала, мать объедала по бокам кусок пиццы, девочка гладила киску, а отец прихлебывал пиво. Камера проехала вокруг них и прошла сквозь зеркальную стену. С другой стороны стена оказалась прозрачной; когда камера закончила движение, на семью наложилось каминное пламя и решетка. Яростно и грозно заиграл орган; камера отъехала назад, и прозрачная стена превратилась в плоский экран телевизора со стереодинамиками по бокам и игривой надписью «Tofetlssimo» на черном корпусе. На экране телевизора пылал огонь, в котором быстро-быстро дергались четыре черных тела за решеткой. Орган стих, и раздался вкрадчивый голос диктора:

— Вы думаете, что за абсолютно плоским стеклом трубки «Блэк Тринитрон» вакуум? Нет! Там горит огонь, который согреет ваше сердце! «Сони Тофетиссимо». It's a Sin^[29].

Татарский мало что понял в увиденном, только подумал, что коэффициент вовлечения можно было бы сильно увеличить, заменив чисто английский слоган на смешанный: «It's a Сон». Еще он почему-то вспомнил, что была такая вьетнамская деревня Сонгми, ставшая культовой после американского авианалета.

— Что это такое? — спросил он, когда зажегся свет. — На рекламу не очень похоже.

Морковин довольно улыбнулся.

— Вот то-то и оно, что не похоже, — сказал он. — Если по науке, то это новая рекламная технология, отражающая реакцию рыночных механизмов на сгущающееся человеческое отвращение к рыночным механизмам. Короче, у зрителя должно постепенно возникать чувство, что где-то в мире — скажем, в солнечной Калифорнии — есть последний оазис не стесненной мыслью о деньгах свободы, где и делают такую рекламу. Она глубоко антирыночно-на по форме и поэтому обещает быть крайне рыночной по содержанию...

Он оглянулся по сторонам, чтобы убедиться, что в зале больше никого нет, и перешел на шепот:

— К делу. Здесь вроде не прослушивают, но говори на всякий случай тихо. Молодец, все отлично. Как по нотам. Вот твоя доля.

В его руке появились три конверта — один пухлый и желтый, два других потоньше.

— Прячь быстрее. Здесь двадцать от Березовского, десять от Радуева и еще две от ваххабитов. От них самый толстый, потому что мелкими купюрами. Собирали по аулам.

Татарский сглотнул, взял конверты и быстро распихал их по внутренним карманам куртки.

— Азадовский не просек, как ты думаешь? — прошептал он.

Морковин отрицательно помотал головой.

— Слушай, — зашептал Татарский, еще раз оглядевшись, — а как так может быть? Насчет ваххабитов я еще понимаю. Но ведь Березовского нет, и Радуева тоже нет. Вернее, они есть, но ведь это просто нолики и единички, нолики и единички. Как же это от них

бабки могут прийти?

Морковин развел руками.

— Сам до конца не понимаю, — прошептал он в ответ. — Может, какие-то люди заинтересованы. Работают в каких-то там структурах, вот и корректируют имидж. Наверно, если разобраться, все в конечном счете на нас самих и замкнется. Только зачем разбираться? Ты где еще тридцать штук зараз заработаешь? Нигде. Так что не бери в голову. Про этот мир вообще никто ничего по-настоящему не понимает.

В зал заглянул киномеханик:

— Мужики, вы долго сидеть будете?

— Говорим про клипы, — шепнул Морковин.

Татарский прочистил горло.

— Если я правильно понял разницу, — сказал он ненатурально громким голосом, — то обычная реклама и та, что мы видели, — это как поп-музыка и альтернативная?

— Именно, — так же громко ответил Морковин, поднимаясь с места и глядя на часы. — Только что это такое — альтернативная музыка? Какой музыкант альтернативный, а какой — попсовый? Как ты это определяешь?

— Не знаю, — ответил Татарский. — По ощущению.

Они прошли мимо застрявшего в дверях киномеханика и направились к лифтам.

— Есть четкая дефиниция, — сказал Морковин назидательно. — Альтернативная музыка — это такая музыка, коммерческой эссенцией которой является ее предельно антикоммерческая направленность. Так сказать, антипопсовость. Поэтому, чтобы правильно просечь фишку, альтернативный музыкант должен прежде всего быть очень хорошим поп-коммерсантом. а хорошие коммерсанты в музыкальный бизнес идут редко. То есть идут, конечно, но не исполнителями, а управляющими... Все, расслабься. У тебя текст с собой?

Татарский кивнул.

— Пойдем ко мне. Дадим тебе соавтора, как Азадовский велел. А соавтору я штуки три суну, чтобы сценарий не испортил.

Татарский никогда еще не поднимался на седьмой этаж, где работал Морковин. Коридор, в который они вышли из лифта, выглядел скучно и напоминал о канцелярии советских времен — пол был покрыт обшарпанным паркетом, а двери обиты звукоизоляцией под черным дерматином. На каждой двери, правда, была изящная металлическая табличка с маркировкой, состоявшей из цифр и букв. Букв было всего три — «А», «О» и «В», но они встречались в разных комбинациях. Морковин остановился возле двери с табличкой «1 — А-В» и набрал код на цифровом замке.

Кабинет Морковина впечатлял размерами и убранством. Один только письменный стол явно стоил в несколько раз больше, чем «мерседес» Татарского. Этот шедевр мебельного искусства был почти пуст — на нем лежала папка с бумагами и стояли два телефона без циферблатов. красный и белый. Еще на нем помещалось какое-то странное устройство — небольшая металлическая коробка со стеклянной панелью сверху. Над столом висела большая картина, которая сначала показалась Татарскому гибридом соцреалистического пейзажа с дзенской каллиграфией. Она изображала угол тенистого сада, где поверх кустов шиповника, вырисованных с фотографической точностью, был небрежно намалеван сложный иероглиф, покрытый одинаковыми зелеными кружками.

— Что это такое?

— Президент на прогулке, — сказал Морковин. — Азадовский подарил для

государственного настроения. Вон, видишь, на скелетоне галстук? И еще значок какой-то — он прямо на фоне цветка, так что приглядеться надо. Но это уже фантазия художника.

Оторвавшись от картины. Татарский заметил, что они с Морковиным в кабинете не одни. На другом конце просторной комнаты помещалась стойка с тремя плоскими мониторами и эргономическими клавишными досками, провода от которых уходили в обитую пробкой стену. За одним из мониторов сидел паренек с пони-тэйлом и неторопливыми движениями руки пас мышку на скудном сером коврик. Уши парня были проткнуты не меньше чем десятью мелкими серьгами, и еще две проходили через левую ноздрю. Вспомнив совет Морковина колоть себя чем-нибудь острым при появлении мысли об отсутствии какой-либо опоры у всеобщего порядка вещей. Татарский решил, что дело тут не в чрезмерном увлечении пирсингом, а в том, что из-за близости к техническому эпицентру происходящего парень с пони-тэйлом просто ни на секунду не вынимает из себя булавок.

Сев за стол. Морковин поднял трубку белого телефона и отдал короткое распоряжение.

— Сейчас твой соавтор подойдет, — сказал он Татарскому. — Ты здесь еще не был? Вот эти терминалы идут на главный рендер. А этот юноша — наш главный дизайнер Семен Велин. Ощущаешь ответственность?

Татарский несмело подошел к парню за компьютером и поглядел на экран, где дрожала тонкая сетка синих линий. Линии соединялись в подобие проволочного каркаса двух ладоней, сложенных домиком, так, что соприкасались только их средние пальцы. Они медленно вращались вокруг невидимой вертикальной оси. Чем-то неуловимым картинка напоминала кадр из малобюджетного фантастического фильма восьмидесятых годов. Парень с пони-тэйлом двинул мышь по коврику, потыкал стрелкой курсора в колонки меню, возникшие в верхней части экрана, и наклон рук изменился.

— Я ведь говорил, сразу надо было золотое сечение забить, — сказал он, поворачиваясь к Морковину.

— Ты про что? — спросил Морковин.

— Про угол между ладонями. Надо было его сделать таким же, как в египетских пирамидах. У зрителя будет возникать безотчетное ощущение гармонии, мира и счастья.

— Чего ты с этим старьем возишься? — спросил Морковин.

— Идея хорошая была насчет крыши. Все равно вернемся.

— Ладно, — согласился Морковин, — забивай свое золотое. Пусть ботва расслабится. Только в сопроводительных документах про это не пиши.

— Почему?

— Потому, — сказал Морковин. — Мы-то с тобой знаем, что такое золотое сечение. А в бухгалтерии, — он кивнул головой вверх, — могут смету не утвердить. Решат, что, раз золотое, дорого. На Черномырдине сейчас экономят.

— Понял, — сказал парень. — Я тогда просто углы заложу. Позвони, чтоб корневую открыли.

Морковин подтянул к себе красный телефон.

— Алла? Это Морковин из анально-вытесняющего. Открой корневую директорию на пятый терминал. У нас там косметический ремонт. Хорошо...

Он положил ладонь на прозрачную панель странного прибора, и по стеклу прошла полоса яркого света.

— Есть, — сказал Морковин. — Подожди. Алла, у тебя Семен что-то спросить хочет.

Парень в белом халате перехватил трубку:

— Аллочка, привет! Посмотри уж заодно, какая у Черномырдина волосатость? Чего? Нет, в том-то и дело — мне для полиграфии. Хочу сразу цветопробы сделать. Так, пишу — тридцать два эйч-пи-ай, курчавость ноль три. Доступ дала? Тогда все.

— Слушай, — тихо спросил Татарский, когда Семен вернулся за свой терминал, — а что это значит — «из анально-вытесняющего»?

— Так наш отдел называется.

— А почему такое название странное?

— Ну, это общая теория выборов, — наморщился Морковин. — Короче, всегда должно быть три вау-кандидата — оральный, анальный и вытесняющий. Только ты меня не спрашивай, что это значит, у тебя допуска пока нет. Да я и сам плохо помню. Могу только сказать, что в нормальных странах обходятся оральным и анальным, потому что вытеснение завершено, а у нас все только начинается и вытесняющий нужен. Мы на него кладем пятнадцать процентов в первом туре. Если тебе интересно, могу допуск выписать. Зайдешь к Марлену в отдел народной души, он тебе объяснит.

— Ладно, — сказал Татарский, — Бог с ним.

— Правильно. На фиг тебе надо мозги размножать за такую зарплату. Чем меньше знаешь, тем легче дышишь.

— Точно, — сказал Татарский, отметив про себя, что, если «Давидофф» начнет выпускать брэнд «ultra lights», лучше слогана не найти.

Морковин раскрыл папку и вооружился карандашом. Из деликатности Татарский отошел к стене и стал изучать прищипленные к ней кнопками бумаги и картинки — их было множество. Сначала его внимание привлек большой плакат с Антонио Бандерасом в голливудском шедевре «Степан Бандера». Бандерас, романтически небритый, с футляром от огромной бандуры в руке, стоял на окраине условной Жмеринки и грустно смотрел на разбитую «тридцатьчетверку» в крапивно-подсолнуховом чап-парале. С первого взгляда на толпу вислоусых селян в расшитых петушками пончо, которые жмурились на красно-желтое фотографическое солнце, делалось ясно, что фильм снимали в Мексике. Плакат был не настоящим — это был коллаж. Неизвестный шутник аккуратно подмонтировал жопастую пару девичьих ног в темных колготках к торсу Бандераса в тяжелом кожаном жупане. Под изображением был слоган:

SAN-PELEGRINO

ЭТУ СВЯЗЬ НЕ РАЗОРВЕТ НИЧТО

Прямо на плакат скотчем был приклеен факс на бланке компании «Янг энд Рубикам». Он был коротким:

Сергея! Перетер. Окончательная коррекция брэнд-эссенций на два квартала:

Чубайс — отвага на пожаре / зеленые в банке

Лебедь — правда в камуфляже / порядок в бабочке

Явлинский — think different / think doomsday. (Apple не возражает)

Ельцин — стабильность в коме / демократия в гробу

Hi there,

Эдик.

— Для Чубайса слабовато они придумали, — сказал Татарский, поворачиваясь к Морковину, — а коммунисты где?

— Их в оральном отделе сочиняют, — ответил Морковин. — И слава Богу. Я бы за две

зарплаты не стал.

— А там что, больше платят?

— Так же. А есть ребята, которые у них за бесплатно вкалывать готовы. Одного, кстати, сейчас увидишь.

Рядом с Бандерасом висела сделанная на цветном принтере открытка с золотым двуглавым орлом, сжимающим в одной когтистой лапе «калашников», а в другой — пачку «Мальборо». Под лапами орла была золотая надпись:

SANTA BARBARA FOREVER [f301](#).
ОТДЕЛ РУССКОЙ ИДЕИ ПОЗДРАВЛЯЕТ
КОЛЛЕГ С ДНЕМ СВЯТОЙ ВАРВАРЫ!

Справа от открытки висел еще один рекламный плакат — Ельцин, склонившийся над шахматной доской с еще не пришедшими в движение фигурами. Смотрел он на нее почему-то сбоку (видимо, мизансцена подчеркивала его роль верховного арбитра), а вместо белого и черного королей стояли маленькие бутылочки с надписями «Обычное виски» и «Black Label». Подпись гласила:

BLACK LABEL
МОЩНЕЙШАЯ РОКИРОВКА!

В дверь постучали. Татарский повернулся и замер. Такое количество встреч со старыми знакомыми за один день казалось неправдоподобным — в кабинет вошел Малюта, копирайтер-антисемит, с которым они работали когда-то в агентстве Ханина. Он был одет в турецкую косоворотку, перехваченную солдатским ремнем, на котором висела целая батарея оргтехники: сотовый телефон, пейджер, зажигалка «Зиппо» в кожаном футляре и шило в узких черных ножнах.

— Малюта! Чего ты здесь делаешь?

Малюта, однако, не проявил удивления.

— Я здесь всему кагалу имидж-меню сочиняю, — ответил он. — Про квасок ядерный с хренком слышал? Или про блины с тешкой? Это всё мои хиты. Еще в оральном отделе работаю на полставки. А ты по компромату?

Татарский промолчал.

— Знакомы? — с любопытством спросил Морковин. — Ну да, у Ханина вместе сидели. Значит, без проблем сработаетесь.

— Работать я один предпочитаю, — сухо сказал Малюта. — Чего делать-то надо?

— Азадовский просил, чтобы ты проект доработал. По Березовскому с Радиевым. Радиева не трогать, а вот по Березовскому надо чичирок добавить. Я тебе вечером позвоню, дам кое-какие инструкции. Сделаешь?

— По Березовскому-то? — спросил Малюта. — Чичирок? Это да. Когда нужно?

— Вчера, как всегда.

— А где исходник?

Морковин посмотрел на Татарского. Тот пожал плечами и протянул Малюте папочку с распечаткой сценария.

— Ты с автором не хочешь поговорить? — спросил Морковин. — Чтоб он тебя в курс ввел?

— Сам по тексту разберусь. Завтра в десять будет готово.

— Ну, как знаешь.

Когда Малюта вышел, Морковин сказал:

— Не очень он тебя любит.

— Да ерунда, — сказал Татарский. — Поспорили как-то о геополитике. Слушай, а кто будет вышки менять? На бурильно-телевизионные?

— Вот черт, забыл. Хорошо, что напомнил, — я ему вечером объясню. Ты, кстати, с ним помирись. Сам знаешь, что у нас сейчас с тактовой частотой, а Леня ему все равно одного 3-D генерала выделил. Говорит, эфир оживляет. Так что кадр он перспективный, а какая завтра коррекция придет и откуда, никто не знает. Может, он вместо меня завождем будет, тогда...

Морковин не договорил. Дверь распахнулась, и в комнату ворвался Азадовский. Следом за ним вошли двое охранников со «скорпионами» на ремнях. Лицо Азадовского было белым от ярости, а пальцы быстро сжимались и разжимались с такой силой, что Татарский вспомнил когти орла с поздравительной открытки. Таким Татарский никогда его не видел.

— Кто Лебеда последний раз сводил? — закричал Азадовский от дверей.

— Как обычно, — испуганно ответил Морковин, — Семен. А что случилось?

Азадовский повернулся к парню с пони-тэйлом.

— Ты? — спросил он. — Это ты сделал?

— Что? — спросил Семен.

— Ты Лебедю сигареты заменил? С «Кэмела» на «Житан»?

— Я, — сказал Семен, — а что такое? Я просто подумал, что так будет актуальнее. Мы же его собирались с Аленом Делоном монтировать.

— Увести, — скомандовал Азадовский.

— Подождите, подождите, — испуганно выставил перед собой руки Семен, — я объясню...

Но охранники уже волокли его в коридор. Азадовский повернулся к Морковину и несколько секунд сверлил его глазами.

— Я ничего не знал, — сказал Морковин. — клянусь.

— А кто про это знать должен? Я? А ты знаешь, откуда мне сейчас звонили? Из «Джей-Ар Рейнольде тобакко», которые нам «Кэмел» у Лебеда на два года вперед проплатили. И знаешь, что они сказали? Что они нас через своего конгрессмена на пятьдесят мегагерц опускают. И опустят еще на пятьдесят, если Лебедь в следующем эфире опять с «Житаном» будет. Я не знаю, сколько этот Семен наварил на черном пи-аре, но потеряем мы много, очень. Мы что, блядь, в двадцать первый век на ста мегагерцах въехать хотим? Когда следующий эфир с Лебедем?

— Завтра. Интервью о русской идее. Уже все досчитано.

— Ты материал смотрел?

Морковин схватился за голову.

— Смотрел, — ответил он. — Ах ты... Точно. У него там «Житан». Я заметил, но решил, что это сверху утверждено. Ты же знаешь, я эти вопросы не решаю. Я и подумать не мог.

— Где у него сигареты? На столе?

— Если бы. Он пачкой все интервью машет.

— Пересчитать успеем?

— Целиком — нет.

— А текстуры поменять на пачке?

— Тоже нет. У «Житана» габариты другие. А пачка все время перед камерой.

— Что будем делать?

Азадовский остановил взгляд на Татарском, словно только что его заметив. Татарский прокашлялся.

— А может быть, — сказал он робко, — добавить пэтч с пачкой «Кэмела» на столе? Это ведь просто.

— И что же, он будет одной пачкой в воздухе махать, а другая перед ним лежать будет? Бред.

— А руку, — продолжал Татарский, повинувшись внезапной волне вдохновения, — в гипс закатать. Так, чтобы пачка ушла.

— В гипс? — задумчиво переспросил Азадовский. — А что скажем?

— Покушение, — сказал Морковин.

— Чего, в руку попали?

— Нет, — сказал Татарский. — Пытались взорвать в машине.

— А что ж он, про покушение в интервью ничего не скажет? — спросил Морковин.

Азадовский секунду думал.

— Это как раз нормально. Непокколебимый такой чувачок... — Он потряс кулаком в воздухе. — Даже не обмолвился. Солдат. Про покушение дадим в новостях. А в пэтч на столе вставляем не пачку «Кэмела», а целый блок. Пусть эти гады подавятся.

— Что в новостях будем давать?

— По минимуму. Чеченский след, исламский фактор, ведется расследование и так далее. На чем Лебедь по легенде ездит? На старом «мерседесе»? Сейчас посылай съемочную группу за город, возьми наряд ментов, найдите старый «мерседес», взорвите и снимите. К десяти должно быть в эфире. Скажете, что генерал сразу уехал по делам и работает по графику. Да, и чтобы на месте преступления феску нашли, типа как у Радуева будет. Мысль ясна?

— Гениально, — сказал Морковин. — Нет, правда гениально.

Азадовский криво улыбнулся — эта улыбка была больше похожа на нервную судорогу.

— А где мы старый «мерседес» найдем? — спросил Морковин. — У нас же все новые.

— Кто-то у нас на таком ездит, — сказал Азадовский, — я на парковке видел.

Морковин поднял глаза на Татарского.

— Ды... Ды... — пробормотал Татарский, но Морковин отрицательно покачал головой.

— Нет, — сказал он, — даже не думай. Давай ключи.

Татарский вынул из кармана ключи от машины и покорно положил их в ладонь Морковина.

— Там чехлы новые, — сказал он жалобно, — может, я сниму?

— Да ты че, охуел? — взорвался Азадовский. — Если нас еще на пятьдесят мегагерц опустят, нам что, опять правительство распускать и Думу разгонять? Какие чехлы? О чем ты думаешь?

У него в кармане запищал телефон.

— Але, — сказал он, поднося трубку к уху. — Как? Я скажу, что с ним делать. Сейчас за город съемочная группа поедет — взорванную машину снимать. Возьмете этого козла, посадите на место шофера и взорвете. Чтоб кровь была и лоскуты, их заснимете. Другим

урок будет насчет черного пи-ара... Как? Ты ему скажи, что важнее того, что с ним сейчас будет, ничего в мире нет. Чтобы и не отвлекался на мелочи. И не считал, что сказать мне что-то может, чего я сам не знаю.

Сложив телефон. Азадовский кинул его в карман, несколько раз глубоко вздохнул и взялся за сердце.

— Болит, — пожаловался он. — Вы что, гады, хотите, чтобы у меня инфаркт был в тридцать лет? По-моему, в этом комитете один я не ворую. Всем живо за работу. А я пойду в Штаты звонить. Может, отмажемся.

Когда Азадовский вышел. Морковин значительно поглядел Татарскому в глаза, вытащил из кармана маленькую жестяную коробочку и высыпал на стол горку белого порошка.

— Давай, — сказал он, — присоединяйся.

Когда процедура была закончена. Морковин намусолил палец, собрал оставшиеся на столе белые крупинки и слизнул их.

— А ты спрашивал — да как это, да на что все опирается, да кем все управляется, — сказал он. — Я ж говорю, тут только о том и думаешь, чтобы жопу свою уберечь и дело сделать. На другие мысли времени не остается. Кстати, ты вот что: деньги в карман переложи, а конвертики эти, в которых они пришли, спусти прямо сейчас в унитаз. На всякий случай. Туалет по коридору налево...

Запершись в кабинке. Татарский распихал пачки банкнот по карманам — он никогда еще не видел такой кучи денег одновременно. Разорвав конверты на мелкие клочки, он бросил обрывки в унитаз. Из одного конверта выпала записка — поймав ее в воздухе, Татарский прочитал:

Ребята! Спасибо вам огромное, что иногда позволяете жить параллельной жизнью. Без этого настоящая была бы настолько мерзка!

Удачи в делах.

Текст был отпечатан на лазерном принтере, а подпись была синим факсимильным отпечатком. «Опять Морковин шуткует, — подумал Татарский. — А может, и не Морковин...»

Перекрестившись, он сильно ущипнул себя за ляжку и спустил воду.

Стреляли, как водится в Москве, с моста. Старенькие «Т-80» работали с большими интервалами — похоже, у спонсоров не хватало денег на снаряды и они боялись, что все кончится слишком быстро, так и не попав в мировые новости. Был, кажется, какой-то негласный лимит на сообщения из России — показывать начинали не то с трех, не то с четырех танков, ста убитых и что-то там еще. Татарский не помнил точно. Но в этот раз, видимо, было сделано исключение из-за крайней живописности происходящего: хоть танков было всего два, вдоль набережной плотно стояли телевизионные команды со своими оптическими базаками и били из них мегатоннами осовелого человеческого внимания по Москве-реке, тешкам, бронзовому Петру I и по окну, за которым прятался Татарский.

Стоящий на мосту танк долбанул из пушки, и одновременно Татарскому в голову пришла интересная идея — предложить людям из имидж-службы группы «Мост» силуэт танка на мосту как перспективный символ вместо их непонятого орла. За долю секунды — быстрее, чем снаряд долетел до цели, — сознание Татарского взвесило возможные перспективы («образ танка символизирует агрессивную мощь группы и вместе с тем вносит традиционно русскую ноту в космополитический финансовый контекст»), и идея была отброшена. «Обоссутся, — констатировал Татарский. — А жаль».

Снаряд попал Петру в голову — но не взорвался, а прошел ее насквозь, улетев куда-то в сторону парка Горького. Вверх ударил высокий плюмаж пара. Татарский вспомнил, что в голове монумента был маленький ресторан со всеми надлежащими коммуникациями, и решил, что болванка перебила систему отопления. С набережной долетели восторженные крики телевизионщиков. Из-за клубящегося плюмажа Петр стал похож на монстра-рыцаря из романа Стивена Кинга. Вспомнив, как по плечам чудовища из «Талисмана» растекался гниющий мозг. Татарский подумал, что сходство будет полным, если следующий снаряд разорвет канализационную трубу.

Голову Петра защищал комитет «Оборона Севастополя». В новостях говорили, что имеется в виду не город, а гостиница «Севастополь», за которую борются две мафии — чеченская и солнцевская. Еще говорили, что солнцевские наняли каскадеров с «Мосфильма» и забили такую странную стрелку, чтобы привлечь телевидение и вообще нагнать антикавказских эмоций (судя по обилию пиротехники и спецэффектов, это было правдой). Простодушные чечены, мало разбирающиеся в PR-кампаниях, не поняли, в чем дело, и наняли под Москвой два танка.

Каскадеры пока держались и даже отстреливались — в дыре возле вывороченного петровского глаза пыхнул дымок, и на мосту разорвалась граната. Танк выстрелил в ответ. В голову Петра ударила болванка, и вниз полетели вырванные клочья бронзы. Почему-то каждое новое попадание делало императора чуть пучеглазее.

Из всех участников драмы Татарский сочувствовал разве что бронзовому истукану, медленно умиравшему под стеклянными глазами телекамер. Да и то не очень — работа была не закончена, и энергию эмоционального центра надо было беречь. Татарский опустил жалюзи, полностью отрезав себя от происходящего, сел за компьютер и перечитал цитату, написанную маркером прямо по обоям над монитором:

Чтобы подействовать на воображение русского заказчика и внушить ему доверие (в качестве заказчиков рекламы в России, как правило, выступают представители бывшего

КГБ, ГРУ и партноменклатуры), рекламная концепция должна по возможности ссылаться на гипотетические полузакрытые или закрытые разработки западных спецслужб по программированию сознания, отдающие невероятным цинизмом и бесчеловечностью. К счастью, на эту тему импровизировать несложно — достаточно помнить слова Оскара Уайльда о том, что жизнь имитирует искусство.

The Final Positioning».

— Ну да, — пробормотал Татарский, — несложно.

Напрягшись, как перед прыжком в холодную воду, он зажмурился, вдохнул, задержал воздух в легких, сосчитал до трех и обрушил пальцы на клавиатуру:

Обобщая вышесказанное, можно сказать, что основным каналом внедрения шизоблоков заказчика в сознание россиян в течение достаточно долгого обозримого периода будет оставаться телевидение. В связи с этим представляется крайне опасной тенденция, наметившаяся в последнее время среди т. н. среднего класса — прослойки зрителей, наиболее перспективной с точки зрения социальных результатов телевизионного шизоманипулирования. Речь идет о полном отказе или сознательном ограничении объема просматриваемых телевизионных передач с целью экономии нервной энергии для работы. Так поступают даже профессиональные телесценаристы, поскольку в постфрейдизме принято считать, что в информационную эпоху сублимации подлежит не столько сексуальность, сколько та энергия, которая растрачивается на бесцельный ежедневный просмотр телепрограмм.

Чтобы в корне пресечь наметившуюся тенденцию, в рамках настоящей концепции предлагается воспользоваться методикой, разработанной Ми-5 совместно с Центральным разведывательным управлением США для нейтрализации остатков национально мыслящей интеллигенции в странах третьего мира. (Мы исходим из того, что средний класс в России формируется как раз из интеллигенции, переставшей мыслить национально и задумавшейся о том, где взять денег.)

Методика чрезвычайно проста. Поскольку в программе любого телеканала содержится достаточное количество синапсдеструктивного материала на единицу времени...

За окном грохнуло, и по крыше забарабанили осколки. Татарский втянул голову в плечи. Перечитав написанное, он зачеркнул «синапс» и заменил его на «нейро»

...задача шизосуггестирования будет выполнена в результате удержания нейтрализованного лица у телеэкрана в течение достаточно длительного промежутка времени. Чтобы добиться этого результата, предполагается использовать такую типическую черту национально мыслящего интеллигента, как сексуальная неудовлетворенность.

Внутренние рейтинги и данные закрытых опросов показывают, что наибольшим вниманием у представителей национально мыслящей интеллигенции пользуются ночные эротические каналы. Но максимальный эффект был бы получен, если бы не определенный набор передач, а сам телеприемник как таковой получил в сознании обрабатываемого лица статус эротического раздражителя. Учитывая патриархальный характер российского общества и ту определяющую роль, которую играет в формировании общественного мнения мужская часть населения, наиболее целесообразным представляется сформировать подсознательную ассоциативную связь «телевизор — женский половой орган». Эту ассоциацию должен вызывать сам телевизор вне зависимости от фирмы-производителя или характера транслируемой передачи, что позволит добиться оптимальных результатов шизоманипулирования.

Самый недорогой и технически простой способ достижения этой цели — развертывание широкомасштабно-избыточной телерекламы женских гигиенических прокладок. Их следует постоянно поливать жидкостью голубого цвета (задействуется

ассоциативное поле — «голубой экран, волны эфира и т. п.»), а сами клипы должны быть построены таким образом, чтобы прокладка как бы напознала на телеэкран, вводя требуемую ассоциацию прямым и непосредственным образом...

Татарский услышал за спиной легкий звон и оглянулся. На экране телевизора под странную, словно бы северную музыку появился золотой женский торс невыразимой и непривычной красоты. Он медленно вращался. «Иштар, — догадался Татарский, — кто же еще...» Лица статуи не было видно за краем экрана, но камера медленно поднималась, и лицо должно было вот-вот появиться. Но за миг до того, как оно стало видимым, камера так приблизилась к статуе, что на экране осталось только золотое мерцание. Татарский щелкнул откуда-то взявшимся в руке пультом, но изменилась не картинка на экране телевизора, а сам телевизор — он стал вспучиваться по краям, превращаясь в подобие огромной вагины, в черный центр которой со звенящим свистом полетел всасываемый ветер.

— Сплю, — пробормотал Татарский в подушку, — сплю...

Он осторожно повернулся на другой бок, но звон не исчез. Приподнявшись на локте, он хмуро оглядел посапывающую рядом тысячедолларовую проститутку, совершенно неотличимую в полутьме от Клаудии Шиффер, протянул руку к лежащему на тумбочке мобильнику и прохрипел:

— Але.

— Что, опять с перепоею? — жизнерадостно заорал Морковин, — Забыл, что на барбекю едем? Давай спускайся быстро, я уже внизу. Азадовский ждать не любит.

— Сейчас, — сказал Татарский. — Только в душ зайду.

Осеннее шоссе было пустынным и печальным. Особенно грустно делалось оттого, что деревья по его бокам были еще зелеными и выглядели вполне по-летнему, но было ясно, что лето кончилось, так и не выполнив ни одного из своих обещаний. В воздухе висело какое-то смутное предчувствие зимы, снегопада и катастрофы, — Татарский долго не мог понять источника этого ощущения, пока не обратил внимания на инсталляции у обочины. Через каждые полкилометра машина проносилась мимо рекламы «Тампакса» — огромного фанерного щита, на котором была изображена пара белых роликовых коньков, лежащих на девственно-чистом снегу. С предчувствием зимы все стало ясно, но было по-прежнему непонятно, откуда берется всепроникающая тревожность. Татарский решил, что они с Морковиным попали в одну из депрессивных психических волн, носящихся над Москвой и окрестностями с самого начала кризиса. Природа этих волн была необъяснима, но в их существовании у Татарского не было никаких сомнений, поэтому он немного обиделся, когда его слова вызвали у Морковина смех.

— Насчет снега ты правильно просек. — сказал тот. — А вот насчет волн каких-то... Ты приглядишься к этим щитам. Ничего не замечаешь?

Возле следующего щита Морковин притормозил, и Татарский вдруг заметил большое граффити, нанесенное кроваво-красным распылителем поверх коньков и снега: «Банду Эльцина под суд!»

— Точно, — сказал он восхищенно. — Ведь и на остальных то же самое было! На прошлом — серп и молот, на позапрошлом — свастика, а до этого — что-то про чурок... Обалдеть. Ведь ум просто отфильтровывает — не замечаешь. А цвет-то, цвет! Кто придумал?

— Будешь смеяться, — ответил Морковин, набирая скорость. — Малюта. Правда, тексты мы почти все переписали. Уж больно страшно было. Но идея осталась. Как ты

любишь выражаться, формируется ассоциативное поле: «критические дни — может пролиться кровь — Тампакс — ваш щит против эксцессов». Прикинь, сейчас по Москве только два брэнда продаются с прежним оборотом — «Тампакс» и «Парламент Лайте».

— Нормально, — сказал Татарский и мечтательно цокнул языком. — Слоган просится: «Тампакс ultra safe: красные не пройдут!» Или персонифицировать — не красные, а Зюганов. И по Кастанеде: менструация — трещина между мирами, и если вы не хотите, чтобы из этой трещины... Или эстетизировать — «Красное на Голубом». Какие горизонты...

— Да, — сказал Морковин задумчиво, — надо будет в оральном отделе мыслишку подкинуть.

— Еще можно тему белого движения поднять. Представляешь — офицер в песочном френче на крымском косогоре, что-то такое набоковское... В пять раз бы больше продали.

— Да какая разница, — сказал Морковин. — Продажи — это побочный эффект. Мы же на самом деле не «Тампакс» внедряем, а тревожность.

— А зачем?

— Так у нас же кризис.

— А, ну да, — сказал Татарский. — Конечно. Слушай, насчет кризиса — я все никак понять не могу, как этот Семен Велин все правительство стер? Там же три уровня защиты было.

— Да ведь Сеня не просто дизайнер был, — ответил Морковин, — а программист. Он знаешь с каким размахом работал? У него на счетах потом тридцать семь лимонов грин нашли. Он даже Зюганову пиджак поменял с Кардена на Сен-Лорана. Как он в оральную директорию с нашего терминала залез, никто до сих пор понять не может. А что по галстукам и сорочкам творилось, вообще не описать. Азадовский, когда отчет прочел, два дня болел.

— Круто.

— А ты думал. Так вот, очко у Семена, видно, играло — знал, с чем дело имеет. И решил он себя обезопасить. Написал программу, которая в конце каждого месяца всю директорию должна была стирать, если он ее вручную не тормознет, и подсадил в файл с Кириенко. А дальше эта программа сама все правительство заразила. От вирусов у нас, ясно, защита есть, но Семен очень хитрую программу придумал, такую, что она по хвостам секторов себя записывала. а в конце месяца сама себя собирала, и по контрольным суммам ее никак нельзя было найти. Только ты не спрашивай, что это значит, я сам не понимаю — просто разговор слышал. Короче, когда его в твоём «мерседесе» за город увозили, он пытался про это Азадовскому рассказать, а тот даже говорить не стал. А потом — дефолт всему. Леня волосы на себе рвал.

— А скоро новое правительство будет? — спросил Татарский. — А то устал уже от безделья.

— Скоро, скоро. Ельцин уже готов — послезавтра выпишем из ЦКБ. Его заново в Лондоне оцифровали. По восковой фигуре у мадам Тюссо, есть у нее такая в запаснике. Третий раз уже восстанавливаем — так он всех замучил, не поверишь. А по остальным нурбсы дошиваем. Только правительство какое-то совершенно левое выходит, в смысле с коммунистами. Оральный отдел интригует. Вообще, я на самом деле не боюсь — нам только легче станет. И народу тоже легче — одна identity на всех плюс карточки на масло. Вот только Саша Бло тормозит пока с русской идеей.

— Эй, погоди-ка, — настораживаясь, сказал Татарский, — ты меня не пугай. Кто

следующий будет? После Ельцина?

— Как кто? За кого проголосуют. Выборы у нас честные. как в Америке.

— А на фиг нам это надо?

— Нам это ни на фиг не надо. Но иначе бы они нам рендера не продали. У них там какая-то поправка есть к закону о торговле — все, короче, должно быть как у них. Маразм, конечно, полный...

— Да какое им до нас дело? Зачем им?

— Потому что выборы стоят дорого, — мрачно сказал Морковин. — Хотят экономику нашу до конца разрушить. Есть, во всяком случае, такая версия... Вообще, не туда мы идем. Нам не долдонов этих надо оцифровывать, а новых политиков делать, нормальных, молодых. С нуля разрабатывать, через фокус-груп — идеологию вместе с мордой.

— Чего ты Азадовскому не посоветуешь?

— Попробуй ему посоветуй... Так, приехали.

От дороги отходила другая, грунтовая, с обеих сторон украшенная знаками «Stop». Морковин свернул на нее, сбавил скорость и поехал по лесу. Скоро дорога привела к высоким металлическим воротам в кирпичной стене. Морковин два раза просигналил, ворота открылись, и машина въехала в огромный, как футбольное поле, двор.

Дача Азадовского производила странное впечатление. Больше всего она напоминала собор Василия Блаженного, увеличенный в два раза и обросший множеством хозяйственных пристроек. Витые чердачки и мансарды были украшены балкончиками с ограждениями из крошечных пузатых колонн, а все окна выше второго этажа были наглухо закрыты ставнями. По двору ходило несколько ротвейлеров, над трубой одной из пристроек поднималась струя сизого дыма (видимо, топили баню), а сам Азадовский в окружении небольшой свиты, включавшей Сашу Бло и Малюту, стоял на ступенях ведущей в дом лестницы. Он был в тирольской шляпе с пером, которая очень ему шла и даже придавала его полному лицу что-то благородно-разбойничье.

— Как раз вас дожидаемся, — сказал он, когда Татарский с Морковиным подошли. — Мы сейчас в народ едем. Пить пиво на станцию.

Татарский почувствовал острое желание сказать шефу что-нибудь приятное.

— Это как Гарун аль-Рашид со своими визирями, да?

Азадовский посмотрел на него с недоумением.

— Он все время переодевался и ходил по Багдаду, — пояснил Татарский, уже жалея, что начал разговор. — Смотрел, как народ живет. И рейтинг свой выяснял.

— По Багдаду? — спросил Азадовский подозрительно.

— Что еще за Гарун?

— Да халиф такой был. Давно, лет пятьсот назад.

— Тогда понятно. Сейчас-то по Багдаду не особоходишь. Всё как у нас — только на трех джипах и с охраной. Ну что, все в сборе? По тачкам.

Татарский сел в последнюю машину — красный «рэйнджровер» Саши Бло. Саша был уже чуть пьян и явно в приподнятом настроении.

— Я тебя все поздравить хочу. — сказал он. — Этот твой материал про Березовского с Радуевым — лучший компромат за всю осень. Реально. Особенно то место, где они собираются пронзить мистическое тело России своими бурильно-телевизионными вышками в главных сакральных точках. И какая надпись на этих монопольных денежках — «In God we Monopoly»!^[31] А на Радуева кипу надеть — это ж надо допереть было...

— Да ладно тебе, — сказал Татарский и мрачно подумал: «Просили же этого мудака Малюту, чтоб не трогал Радуева. Теперь вот бабки назад. И хорошо, если без счетчика обойдется». — Ты лучше скажи, когда твой отдел нам идею родит нормальную? — спросил он. — На какой стадии проект?

— Вообще все строго секретно. Но если в общих чертах, то идея на подходе. И такая, что все припухнут. Осталось додумать роль Аттилы и доработать стилистику — чтобы был как бы постоянный контрапункт органа и гармошки.

— Аттила? Это который Рим сжег? При чем тут он?

— Аттила — значит «человек с Итиля». Сказать по-нашему — Волжанин. Итиль — это древнее название Волги. Чувствуешь, куда клоню?

— Не очень.

— Мы же и есть третий Рим. Который, что характерно, на Волге. Так что и в поход ходить никуда не надо. Отсюда наша полная историческая самодостаточность и национальное достоинство.

Татарский оценил мысль.

— Да, — сказал он, — сурово.

Поглядев в окно, он увидел над кромкой леса верхушку гигантской бетонной постройки — косо поднимающийся вверх спиральный скат, увенчанный небольшой серой башенкой. Он зажмурил глаза и открыл их снова — бетонная глыба не исчезла, только чуть-чуть сместилась назад. Татарский пихнул Сашу Бло под локоть, так, что машина вильнула на дороге.

— Ты чего, одурел? — спросил Саша.

— Гляди быстрее, — сказал Татарский, — вон, видишь, башня из бетона?

— Ну и что?

— Не знаешь, что это такое?

Саша поглядел в окно.

— А, это. Азадовский только что рассказывал. Тут начинали станцию ПВО строить. Чего-то там раннего оповещения. Успели только фундамент доделать и стены, а потом, сам знаешь, оповещать стало некого. У Азадовского есть план все это приватизировать и достроить, только не локатор, а дом себе новый. Говорит, дизайн ему нравится. Не знаю — я, например, бетонные стены не переносу. А чего ты так завелся?

— Ничего, — сказал Татарский. — Вид очень странный. А как станция называется, куда мы едем?

— Расторгуево.

— Расторгуево, — повторил Татарский. — Тогда все понятно.

— Да вон она. кстати. Нам вон в тот дом. Тут самый грязный пивняк под Москвой. Леня любит здесь пивка попить по выходным. Чтобы ощутить как следует, чего он в жизни достиг.

Пивная, помещавшаяся в подвальном этаже облезлого кирпичного дома недалеко от железнодорожной платформы, действительно была на редкость грязна и зловонна. Народ, жавшийся по столикам с чекушками водки, был вполне под стать заведению — несколько не вписывались в среду только два бандита в спортивных костюмах, стоявшие за столиком возле входа. Татарского поразило, что Азадовский поздоровался с несколькими посетителями — видимо, он действительно был здесь завсегдаем. Саша Бло зацепил одной рукой две кружки бледного пива, схватил другой Татарского под руку и потащил его за

дальний столик.

— Слушай, — заговорил он, — а у меня к тебе дело. У меня два брата сюда переехали из Еревана и решили бизнес начать. Короче, открыли эксклюзивное похоронное бюро с высшим классом обслуживания. Просто прикинули, сколько здесь бабок зависло между банками. Их все сейчас выбивать начинают друг из друга, так что на рынке возникла реальная ниша.

— Это точно. — сказал Татарский, поглядывая на бандитов у входа, которые пили чешское пиво из принесенных с собой бутылок. Было непонятно, что они делают в таком месте, — хотя, возможно, ими двигала та же мотивация, что и Азадовским.

— В общем, чисто по дружбе, — продолжал тараторить Саша Бло, — напиши мне для них нормальный слоган, чтобы по целевой группе реально работал. Раскрутятся — заплатят.

— А чего, тряхну стариной, — ответил Татарский. — Какая легенда у нашего брэнда?

— Я ж сказал — смерть экстра-класса.

— А фирма как называется?

— По фамилии. Похоронное бюро братьев Дебирсян. Подумаешь?

— Сделаю, — сказал Татарский. — Какие проблемы.

— Кстати, — продолжал Саша, — ты смеяться будешь, но у них один наш знакомый уже клиентом был. Жена, перед тем как свалить отсюда, проплатила похороны по первому разряду.

— Это кто же?

— Помнишь Ханина из агентства «Тайный советчик»?

Завалили.

— Вот ужас. Я и не слышал. Кто?

— Кто говорит — чечены, а кто говорит — менты. Что-то там из-за бриллиантов. Темное, короче, дело... Ты куда?

— В туалет, — ответил Татарский.

Уборная была даже грязнее, чем остальная часть пивной. Глядя на стену в геологических потеках, поднимающуюся над писсуаром. Татарский заметил треугольный кусок отслоившейся штукатурки, удивительно похожий по форме на бриллиантовое ожерелье с фотографии, висевшей в туалете у Ханина. При первом взгляде на это образование жалость к бывшему начальнику, заполнившая душу Татарского, алхимически трансформировалась в заказанный Сашей Бло слоган.

Выйдя из туалета, он остановился — его поразил внезапно открывшийся вид. Видимо, раньше в коридоре была двойная дверь, которую выломали вместе с рамой, грубо заделав следы, и теперь из стен и потолка торчал выступ кирпичной кладки, замазанный черной краской. Этот ведущий в пивзал пролом удивительно напоминал своим чуть закругленным контуром окантовку телевизионного экрана, напоминал до такой степени, что Татарскому на миг показалось, что он смотрит самый главный телевизор страны. Азадовский с компанией оставались за границей поля зрения, зато были видны два бандита у крайнего столика и новый посетитель, который появился рядом с ними. Это был высокий худой старик в коричневом плаще, берете и мощных очках со слишком короткими дужками, за стеклами которых его глаза казались непропорционально большими и по-детски честными. Татарский готов был поклясться, что где-то его видел. Старик уже успел собрать вокруг себя нескольких бомже-ватых слушателей.

— Мужики, — говорил он тонким и полным изумления голосом, — вы не поверите

никогда! Беру я сейчас пол-литра в овощном у Курского, да? Стою в кассу. И знаете, кто в магазин входит? Чубайс! Мать твою... На нем пальтишко такое серое, шарфик мохеровый и кепка, а охраны — никакой. Только правый карман оттопыривается, как будто ствол там. Подошел к консервному отделу, взял трехлитровую банку болгарских маринованных помидоров — зеленые такие, знаете, да? И сунул в сетку. Я на него гляжу, рот открыл — а он заметил, подмигнул и на улицу. Я к окну. А там машина черная с мигалкой, тоже типа подмигивает... Он в нее прыг! И уехал. Вот ведь бывает, мать твою...

Татарский прокашлялся, и старик перевел на него взгляд.

— Народная воля, — сказал Татарский и, не удержавшись, подмигнул.

Он произнес эти слова совсем негромко, но старик услышал — дернув одного из бандитов за рукав, он кивнул в сторону прохода. Бандиты синхронно поставили на стол недопитое пиво и, чуть улыбаясь, пошли на Татарского. Один из них сунул руку в карман, и Татарский понял, что сейчас его, вполне возможно, убьют.

Адреналиновая волна, прошедшая по телу, придала его движениям удивительную легкость — повернувшись, он выскочил из пивной и побежал через площадь. Когда он был уже на самой ее середине, за его спиной раздались хлопки и что-то несколько раз прожужжало совсем рядом. Татарский удвоил скорость. Он позволил себе оглянуться только возле высокого бревенчатого дома, за углом которого можно было спрятаться, — бандиты уже не стреляли, потому что к ним бежали охранники Азадовского с автоматами в руках. Прислонившись к стене. Татарский негнушимися пальцами вытащил сигареты и закурил. «Вот так оно и бывает, — подумал он, — именно так. Просто и неожиданно». Следующий раз он решился выглянуть из-за угла, когда сигарета почти догорела. Азадовский с компанией рассаживались по машинам; оба бан-дата с разбитыми в кровь лицами уже сидели на задаем сиденье джипа с охраной, а старик в коричневом плаще горячо оправдывался перед равнодушным телохранителем. Татарский наконец вспомнил, где он видел этого старика, — это был преподаватель философии из Литинсти-тута. Вспомнил он его не столько по чертам лица — тот успел сильно постареть, — сколько по этой изумленной интонации, с которой он когда-то читал свои лекции. «А у объекта нрав крутой, — говорил он, запрокидывая лицо к потолку аудитории, — он от субъекта раскрытия требует! И тогда, ежели повезет, может произойти слияние...»

Слияние, как понял Татарский, наконец произошло. «И так тоже бывает», — подумал он, достал книжечку и записал придуманный в пивной слоган:

DIAMONDS ARE NOT FOREVER!^[321]

ПОХОРОННОЕ БЮРО БРАТЬЕВ ДЕБИРСЯН

«Наверно, уволят, — подумал он, когда кавалькада машин скрылась за поворотом. — Куда теперь? Черт его знает куда. К Гирееву. Он как раз где-то здесь живет».

Дом Гиреева нашелся неожиданно легко — Татарский узнал его по саду, над которым поднимался лес неправдоподобно высоких зонтиков, похожих, скорее, на маленькие деревья, чем на большие сорняки. Татарский несколько раз постучал в калитку, и Гиреев появился на веранде. На нем были обвисшие на коленях штаны неопределенного цвета и майка с большой буквой «А» в центре радужного круга.

— Захода, — сказал он. — Калитка открыта.

Гиреев пил, причем не первый день, и пропивал достаточно большую сумму денег,

которая подходила к концу. Такой дедуктивный вывод можно было сделать на основании того, что у самой стены помещались пустые бутылки от виски и коньяка дорогих сортов, а те, что стояли поближе к центру комнаты, были уже от каких-то пристанционных водок осетинского разлива с романтическими и страстными именами. За время, которое прошло с последнего визита Татарского, кухня почти не изменилась, только стала еще грязнее, а на стенах появились изображения страшноватых тибетских божков. Было еще одно новшество — в углу светился маленький телевизор.

Сев за стол, Татарский заметил, что телевизор стоит вверх ногами. На его экране прокручивалась анимационная заставка — вокруг глаза с длинными ресницами, на которых дрожала черная тушь, летала муха. Выскочило название передачи — «Завтречко», и в этот же момент муха села на зрачок, прилипла, и ресницы начали заворачиваться на нее, как жгутики росянки. Появился телеведущий, одетый в форму майора конвойных войск, — Татарский догадался, что это оскорбленная реакция копирайтера с седьмого этажа на недавнее заявление копирайтера с восьмого этажа, что телевидение в России является силовой структурой. Из-за того, что ведущий был перевернут, он очень походил на летучую мышь, свисавшую с невидимой жердочки. Татарский не особо удивился, узнав в нем Азадовского. Тот был выкрашен под жгучего брюнета с узким шнурком усов под носом. Придурковато улыбаясь, он заговорил:

— Скоро, скоро со стапелей в городе Мурманске сойдет ракетно-ядерный крейсер «Идиот», заложенный по случаю столетия со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. В настоящий момент неизвестно, удастся ли правительству вернуть деньги, полученные в залог судна, поэтому все громче раздаются голоса, предлагающие заложить другой крейсер такого типа, «Богоносец Потемкин», который так огромен, что моряки называют его плавучей деревней. В настоящий момент «Богоносец Потемкин» движется по Северному Ледовитому океану к порту приписки. Книжные новинки! — Азадовский вытащил откуда-то книгу, на обложке которой мелькнула сакраментальная комбинация гранатомета, бензопилы и голой женщины. — Добро должно быть с кулаками. Мы знали это давно, но все же чего-то не хватало! И вот книга, которую вы ждали столько лет, — добро с кулаками и большим хуем! Похождения Святослава Лютого. Экономические новости: сегодня в Государственной Думе объявлен новый состав минимальной годовой потребительской корзины. В нее вошли двадцать кило макаронных изделий, центнер картошки, шесть килограмм свинины, пальто, пара обуви, шапка-ушанка и телевизор Сони Блэк Тринитрон». Из Персии пишут...

Гиреев выключил звук.

— Ты чего, телевизор пришел смотреть? — спросил он.

— Да нет. Просто странно — чего это он перевернут?

— Долгая тема.

— Что, как с огурцами? Нельзя без посвящения?

— Почему, — пожал плечами Гиреев. — Это открытые сведения. Но они относятся к практике истинной дхармы, поэтому, если ты просишь, чтобы тебе про это рассказали, ты тем самым берешь на себя кармическое обязательство эту практику делать. А ты ведь не будешь, я думаю.

— Может, и буду. Ты расскажи.

Гиреев вздохнул и посмотрел на покачивающиеся за окном зонтики.

— Есть три буддийских способа смотреть телевизор. В сущности, это один и тот же

способ, но на разных стадиях тренировки он выглядит по-разному. Сначала ты смотришь телевизор с выключенным звуком. Примерно полчаса в день, свои любимые передачи. Когда возникает мысль, что по телевизору говорят что-то важное и интересное, ты осознаешь ее в момент появления и тем самым нейтрализуешь. Сперва ты будешь срываться и включать звук, но постепенно привыкнешь. Главное, чтобы не возникало чувства вины, когда не можешь удержаться. Сначала так со всеми бывает, даже с ламами. Потом ты начинаешь смотреть телевизор с включенным звуком, но отключенным изображением. И наконец, начинаешь смотреть выключенный телевизор. Это, собственно, главная техника, а первые две — подготовительные. Смотришь все программы новостей, но телевизор не включаешь. Очень важно, чтобы при этом была прямая спина, а руки лучше всего складывать на животе — правая ладонь снизу, левая сверху. Это для мужчин, а для женщин наоборот. И ни на секунду не отвлекаться. Если так смотреть телевизор десять лет подряд хотя бы по часу в день, можно понять природу телевидения. Да и всего остального тоже.

— А чего ты его тогда переворачиваешь?

— Это четвертый буддийский способ. Он используется в случае необходимости все же посмотреть телевизор. Например, если ты курс доллара хочешь узнать, но не знаешь, когда именно его объявят и каким образом — вслух скажут или таблички у обменных пунктов будут показывать.

— А зачем переворачивать-то?

— Опять долго объяснять.

— Попробуй.

Гиреев потер лоб ладонью и снова вздохнул. Похоже, он подыскивал слова.

— Ты когда-нибудь думал, откуда у дикторов во взгляде такая тяжелая сверлящая ненависть? — спросил он наконец.

— Брось, — сказал Татарский. — Они вообще в камеру не смотрят, это только так кажется. Прямо под объективом стоит специальный монитор, по которому идет зачитываемый текст и интонационно-мимические спецсимволы. Всего их, по-моему, бывает шесть, дай-ка вспомнить... Ирония, грусть, сомнение, импровизация, гнев и шутка. Так что никакой ненависти никто не излучает — ни своей, ни даже служебной. Уж это я точно знаю.

— А я и не говорю, что они что-то излучают. Просто, когда они читают свой текст, им прямо в глаза смотрит несколько миллионов человек, как правило очень злых и недовольных жизнью. Ты только вдумайся, какой возникает кумулятивный эффект, когда столько обманутых сознаний встречается в одну секунду в одной и той же точке. Ты знаешь, что такое резонанс?

— Примерно.

— Ну вот. Если батальон солдат пойдет по мосту в ногу, то мост может разрушиться. Такие случаи бывали, поэтому, когда колонна идет по мосту, им дают команду идти не в ногу. А когда столько людей смотрит в эту коробку и видит одно и то же, представляешь, какой резонанс возникает в ноосфере?

— Где? — спросил Татарский, но в этот момент у него в кармане зазвонил мобильный телефон, и он поднял ладонь, останавливая разговор. В трубке громко играла музыка и слышались невнятные голоса.

— Ваван! — прорвался сквозь музыку голос Морковина. — Ты где? Ты живой?

— Живой, — ответил Татарский. — Я в Расторгуеве.

— Слушай, — жизнерадостно продолжал Морковин, — мудаков этих отпиздили,

сейчас, наверно, в тюрьму отправим, дадим лет по десять. Азадовский после допроса так смеялся, так смеялся! Он сказал, что ты ему весь стресс снял. В следующий раз орден получишь вместе с Ростроповичем. За тобой тачку прислать?

«Не, не уволят, — подумал Татарский, чувствуя, как приятное тепло распространяется по телу от сердца. — Точно не уволят. И не грохнут».

— Спасибо, — сказал он. — Я домой поеду. Нервы никуда.

— Да? Могу понять, — согласился Морковин. — Езжай, лечись. А я пойду — тут труба вовсю зовет. Только завтра не опаздывай — у нас очень важное мероприятие. Едем в Останкино. Там, кстати, посмотришь коллекцию Азадовского. Испанское собрание. Все, до созвона.

Спрятав телефон в карман, Татарский обвел комнату отсутствующим взглядом.

— Меня, значит, за хомячка держат, — сказал он задумчиво.

— Что?

— Неважно. О чем ты говорил?

— Если коротко, — продолжал Гиреев, — вся так называемая магия телевидения заключается в психорезонансе, в том, что его одновременно смотрит много народу. Любой профессионал знает, что если ты уж смотришь телевизор...

— Профессионалы, я тебе скажу, его вообще никогда не смотрят. — перебил Татарский, разглядывая только что замеченную заплату на штанине собеседника.

— ...если ты уж смотришь телевизор, то надо глядеть куда-нибудь в угол экрана, но ни в коем случае не в глаза диктору, иначе или гастрит начнется, или шизофрения. Но надежнее всего перевернуть, вот как я делаю. Это и значит не идти в ногу. А вообще, если тебе интересно, есть пятый буддийский способ смотреть телевизор, высший и самый тайный...

Часто бывает — говоришь с человеком и вроде нравятся чем-то его слова и кажется, что есть в них какая-то доля правды, а потом вдруг замечаешь, что майка на нем старая, тапки стоптанные, штаны заштопаны на колене, а мебель в его комнате потерянная и дешевая. Вглядываешься пристальней, и видишь кругом незаметные прежде следы унижительной бедности, и понимаешь, что все сделанное и передуманное собеседником в жизни не привело его к той единственной победе, которую так хотелось одержать тем далеким майским утром, когда, сжав зубы, давал себе слово не проиграть, хотя и не очень еще ясно было, с кем играешь и на что. И хоть с тех пор это вовсе не стало яснее, сразу теряешь интерес к его словам, и хочется сказать ему на прощание что-нибудь приятное и уйти поскорей и заняться, наконец, делами.

Так действует в наших душах вытесняющий вау-фак-тор. Но Татарский, попав под его неощутимый удар, не подал виду, что разговор с Гиреевым перестал быть ему интересен, потому что в голову ему пришла одна мысль. Подождав, пока Гиреев замолчит, он потянулся, зевнул и как бы невзначай спросил:

— Слушай, кстати, — а у тебя мухоморы еще остались?

— Есть, — сказал Гиреев, — только я с тобой не буду. Извини, конечно, но после того случая...

— А мне дашь?

— Почему нет. Только здесь не ешь, очень тебя прошу.

Встав со стула, Гиреев открыл покосившийся настенный шкаф и вынул оттуда газетный сверток.

— Здесь как раз дозряк. Ты где собираешься, в Москве?

— Нет, — ответил Татарский, — в городе меня колбасит. Я в лес пойду. Раз уж выбрался на природу.

— Правильно. Подожди, я тебе водки отолью. Смягчает. Чистяком-то сильно по мозгам дать может. Да ты не бойся, не бойся, у меня «Абсолют» есть.

Подняв с пола пустую бутылочку от «Хеннеси», Гиреев отвинтил пробку и стал осторожно переливать туда водку из литровой бутылки «Абсолюта», которая действительно нашлась у него в том же шкафу, где лежали грибы.

— Слушай, ты как-то с телевидением связан, — сказал он, — тут про вас анекдот ходил хороший. Слышал про минет с песнями в темноте?

— Это там, где мужик включает свет и видит, что он один в комнате, а на тумбочке у стены стеклянный глаз? Знаю. На работе самый модный. Как ты, кстати, полагаешь. Этот глаз и тот, что на долларе, — один и тот же? Или нет?

— Не задумывался, — сказал Гиреев. — А что это ты записываешь? Как телевизор смотреть?

— Нет. — сказал Татарский, — мысль одна по работе.

Идея плаката, — записал он в свою книжечку. — Грязная комната в паутине. На столе самогонный аппарат, у стола алкоголик в потрепанной одежде (вариант — наркоман, фильтрующий мульку), который переливает полученный продукт из большой бутылки «Абсолюта» в маленькую бутылочку из-под «Хеннеси». Слоган:

ABSOLUT HENNESSY

Предложить сначала дистрибьюторам «Абсолюта» и «Хеннеси», а если не возьмут — «Финляндии», «Смирнофф» и «Джонни Уокер».

— Держи, — сказал Гиреев, протягивая Татарскому сверток и бутылку. — Только давай договоримся. Ты, когда их съешь, больше сюда не возвращайся. А то я все ту осень забыть не могу.

— Обещаю, — сказал Татарский. — Кстати, где тут недостроенная радиолокационная станция? Я по дороге из машины видел.

— Это рядом. Пройдешь по полю, там дорога начнется через лес. Увидишь проволочный забор — и вдоль него. Километра через три. Ты что, погулять там хочешь?

Татарский кивнул.

— Не знаю, не знаю, — сказал Гиреев. — Так еще можно, а под мухоморами... Старики говорят, что там место нехорошее. Хотя, с другой стороны, где под Москвой хорошее найдешь!

В дверях Татарский обернулся и обнял Гиреева за плечи.

— Знаешь, Андрюха, — сказал он, — не хочу, чтобы это звучало патетично, но спасибо тебе огромное!

— За что? — спросил Гиреев.

— За то, что иногда позволяешь жить параллельной жизнью. Без этого настоящая была бы настолько мерзка!

— Ну спасибо, — ответил Гиреев, отводя взгляд, — спасибо.

Он был заметно тронут.

— Удачи в делах, — сказал Татарский и вышел прочь.

Мухоморы взяли, когда он уже с полчаса шел вдоль забора из проволочной сетки. Сначала появились знакомые симптомы — дрожь и приятная щекотка в пальцах. Потом из придорожных кустов выплыл столб с надписью «Костров не жечь!», который он когда-то принял за Гусейна. Как и следовало ожидать, при дневном свете сходства не ощущалось. Тем не менее Татарский не без ностальгии вспомнил историю про короля птиц Семурга.

— Семург, сирруф. — сказал в голове знакомый голос, — какая разница? Просто разные транскрипции. А ты опять наглотался, да?

«Началось, — подумал Татарский. — зверюшка подъехала».

Но сирруф больше никак не проявил себя всю дорогу до башни. Ворота, через которые Татарский когда-то перелезал, оказались открыты. На территории стройки никого не было видно; вагончики-бытовки были заперты, а с гриба-навеса для часового исчез когда-то висевший там телефон.

Татарский поднялся на вершину сооружения без всяких приключений. В башенке для лифтов все было по-прежнему — пустые бутылки и стол в центре комнаты.

— Ну, — спросил он вслух, — и где тут богиня?

Никто не ответил, только слышно было, как где-то внизу шумит под ветром осенний лес. Татарский прислонился к стене, закрыл глаза и стал вслушиваться. Почему-то он решил, что это шумят ивы, и вспомнил строчку из слышанной по радио песни: «Это сестры печали, живущие в ивах». И сразу же в тихом шелесте деревьев стали различимы обрывки женских голосов, которые казались эхом каких-то давным-давно сказанных ему слов, заблудившихся в тупиках памяти.

«А знают ли они, — шептали тихие голоса, — что в их широко известном мире нет ничего, кроме сгущения тьмы, — ни вдоха, ни выдоха, ни правого, ни левого, ни пятого, ни десятого? Знают ли они, что их широкая известность неизвестна никому?»

«Всё совсем наоборот, чем думают люди, — нет ни правды, ни лжи, а есть одна бесконечно ясная, чистая и простая мысль, в которой клубится душа, похожая на каплю чернил, упавшую в стакан с водой. И когда человек перестает клубиться в этой простой чистоте, ровно ничего не происходит, и выясняется, что жизнь — это просто шелест занавесок в окне давно разрушенной башни, и каждая ниточка в этих занавесках думает, что великая богиня с ней. И богиня действительно с ней».

«Когда-то и ты и мы, любимый, были свободны, — зачем же ты создал этот страшный, уродливый мир?»

— А разве это сделал я? — прошептал Татарский.

Никто не ответил. Татарский открыл глаза и поглядел в дверной проем. Над линией леса висело облако, похожее на небесную гору, оно было таких размеров, что бесконечная высота неба, забытая еще в детстве, вдруг стала видна опять. На одном из склонов облака был узкий конический выступ, похожий на башню, видную сквозь туман. В Татарском что-то дрогнуло — он вспомнил, что когда-то и в нем самом была эфемерная небесная субстанция, из которой состоят эти белые гора и башня. И тогда — давным-давно, даже, наверно, еще до рождения, — ничего не стоило стать таким облаком самому и подняться до самого верха башни. Но жизнь успела вытеснить эту странную субстанцию из души, и ее осталось ровно столько, чтобы можно было вспомнить о ней на секунду и сразу же потерять воспоминание.

Татарский заметил, что пол под столом прикрыт щитом из сколоченных досок.

Поглядев в щель между ними, он увидел черную дыру многоэтажной пропасти. «Ну да, — вспомнил он, — это шахта лифта. А здесь машинное отделение, как в комнате, где этот рендер. Только автоматчиков нет». Сев за стол, он осторожно поставил ноги на доски. Сначала ему стало страшновато, что доски под ногами подломятся и он вместе с ними полетит вниз, в глубокую шахту с многолетними напластованиями мусора на дне. Но доски были толстыми и надежными.

Помещение явно кто-то посещал, скорее всего — окрестные бомжи. На полу валялись свежерастоптанные окурки папирос, а на столе лежал обрывок газеты с телепрограммой на неделю. Татарский прочел название последней передачи перед неровной линией обрыва:

0.00 — Золотая комната.

«Что за передача? — подумал он. — Наверно, что-то новое» Положив подбородок на сложенные перед собой руки, он уставился на фотографию бегущей по песку женщины, которая висела там же, где и раньше. При дневном свете стали заметны пузыри и пятна, проступившие на бумаге от сырости. Одно из пятен приходилось прямо на лицо богини, и в дневном свете оно показалось покоробившимся, рябым и старым. Татарский допил остаток водки и прикрыл глаза.

Короткий сон, который ему привиделся, был очень странным. Он шел по песчаному пляжу навстречу сверкавшей на солнце золотой статуе — она была еще далеко, но уже было видно, что это женский торс без головы и рук. Рядом с Татарским медленно трусил сирруф, на котором сидел Гиреев. Сирруф был печален и походил на замученного работой ослика, а крылья, сложенные на его спине, напоминали старое войлочное седло.

— Вот ты пишешь слоганы, — говорил Гиреев, — а ты знаешь самый главный слоган? Можно сказать, базовый?

— Нет, — отвечал Татарский, щурясь от золотого сияния.

— Я тебе скажу. Ты слышал выражение «Страшный суд»?

— Слышал.

— На самом деле ничего страшного в нем нет. Кроме того, что он уже давно начался, и все, что с нами происходит, — просто фазы следственного эксперимента. Подумай — разве Богу сложно на несколько секунд создать из ничего весь этот мир со всей его вечностью и бесконечностью, чтобы испытать одну-единственную стоящую перед ним душу?

— Андрей, — отвечал Татарский, косясь на его стоптанные тапки в веревочных стременах, — хватит, а? Мне ведь и на работе говна хватает. Хоть бы ты не грузил.

Когда с Татарского сняли повязку, он уже совершенно замерз. Особенно холодно было босым ступням на каменном полу. Открыв глаза, он увидел, что стоит в дверях просторного помещения, похожего на фойе кинотеатра, где, судя по всему, происходит нечто вроде фуршета. Он сразу заметил одну странность — в облицованных желтым камнем стенах не было ни одного окна, зато одна из стен была зеркальной, из-за чего освещенный яркими галогенными лампами зал казался значительно больше, чем был на самом деле. Собравшиеся в зале люди тихо переговаривались и разглядывали листы с машинописным текстом, развешанные по стенам. Несмотря на то что Татарский стоял в дверях совершенно голый, собравшиеся не обратили на него особого внимания — разве что равнодушно поглядели двое или трое. Татарский много раз видел по телевизору практически всех, кто находился в зале, но лично не знал никого, кроме Фарсука Сейфуль-Фарсейкина, стоявшего у стены с бокалом в руке. Еще он заметил секретаршу Азадовского Аллу, занятую разговором с двумя пожилыми плейбоями, — из-за распущенных белесых волос она походила на немного грешную медузу. Татарскому показалось, что где-то в толпе мелькнул клетчатый пиджак Морковина, и он сразу же потерял его из виду.

— Иду-иду, — долетел голос Азадовского, и он появился из прохода в какое-то внутреннее помещение. — Прибыл? Чего у дверей стоишь? Заходи, не съедим..

Татарский пошел ему навстречу. От Азадовского пахло винцом; в галогенном свете его лицо выглядело усталым.

— Где мы? — спросил Татарский.

— Примерно сто метров под землей, район Останкинского пруда. Ты извини за повязочку и все дела — просто перед ритуалом так положено. Традиции, мать их. Боишься?

Татарский кивнул, и Азадовский довольно засмеялся.

— Плюнь, — сказал он. — Это все туфта. Ты пока прогуляйся, посмотри новую коллекцию. Два дня как развесили. А у меня тут пара важных терок.

Он поднял руку и щелчком пальцев подозвал секретаршу.

— Вот Алла тебе и расскажет. Это Ваван Татарский. Знакомы? Покажи ему тут все, ладно?

Татарский остался в обществе секретарши.

— Откуда начнем осмотр? — спросила она с улыбкой.

— Отсюда и начнем. — сказал Татарский. — А где коллекция?

— Так вот она. — сказала секретарша, кивая на стену. — Это испанское собрание. Кого вы больше любите из великих испанцев?

— Это... — сказал Татарский, напряженно вспоминая подходящую фамилию, — Веласкеса.

— Я тоже без ума от старика, — сказала секретарша и посмотрела на него холодным зеленым глазом. — Я бы сказала, что это Сервантес кисти.

Она аккуратно взяла Татарского за локоть и, касаясь его голой ноги высоким бедром, повела к ближайшему листу бумаги на стене. Татарский увидел на нем пару абзацев текста и синюю печать. Секретарша близоруко нагнулась к листу, чтобы прочесть мелкий шрифт.

— Да, как раз это полотно. Довольно малоизвестный розовый вариант портрета инфанты. Здесь вы видите нотариальную справку, выданную фирмой «Оппенхайм энд

Радлер», о том, что картина действительно была приобретена за семнадцать миллионов долларов в частном собрании.

Татарский решил не подавать виду, что его что-то удивляет. Да он, собственно, и не знал толком, удивляет его что-то или нет.

— А это? — спросил он, указывая на соседний лист бумаги с текстом и печатью.

— О, — сказала Алла, — это наша жемчужина. Это Гойя, мотив Махи с веером в саду. Приобретена в одном маленьком кастильском музее. Опять-таки «Оппенхайм энд Радлер» не даст соврать — восемь с половиной миллионов. Изумительно.

— Да, — сказал Татарский. — Правда. Но меня, честно говоря, гораздо больше привлекает скульптура, чем живопись.

— Еще бы, — сказала секретарша. — Это потому что в трех измерениях привыкли работать, да?

Татарский вопросительно посмотрел на нее.

— Ну, трехмерная графика. С бобками этими...

— А. — сказал Татарский, — вы вот про что. Да, и работать привык, и жить.

— Вот и скульптура, — сказала секретарша и подтащила Татарского к новому бумажному листу, где текста было чуть побольше, чем на остальных. — Это Пикассо. Керамическая фигурка бегущей женщины. Не очень похоже на Пикассо, вы скажете? Правильно. Но это потому, что посткубистический период. Тринадцать миллионов долларов почти, можете себе представить?

— А сама статуя где?

— Даже не знаю, — пожалала плечами секретарша. — Наверно, на складе каком-нибудь. А если посмотреть хотите, как выглядит, то вон каталог лежит на столике.

— А какая разница, где статуя?

Татарский обернулся. Сзади незаметно подошел Азадовский.

— Может, и никакой, — сказал Татарский. — Я по правде сказать, первый раз сталкиваюсь с коллекцией такого направления.

— Это самая актуальная тенденция в дизайне, — сказала секретарша. — Монетаристический минимализм. Родился, кстати, у нас в России.

— Иди погуляй, — сказал ей Азадовский и повернулся к Татарскому: — Нравится?

— Интересно. Только не очень понятно.

— А я объясню, — сказал Азадовский. — Это гребаное испанское собрание стоит где-то двести миллионов долларов. И еще тысяч сто на искусствоведов ушло. Какую картину можно, какая будет не на месте, в какой последовательности вешать и так далее. Все, что упомянуто в накладных, куплено. Но если привезти сюда эти картины и статуи, а там еще гобелены какие-то есть и доспехи, тут пройти будет негде. От одной пыли задохнешься. И потом... Честно сказать — ну, раз посмотрел на эти картины, ну два, а потом — чего ты нового увидишь?

— Ничего.

— Именно. Так зачем их у себя-то держать? А Пикассо этот, по-моему, вообще мудака полный.

— Здесь я не вполне соглашусь. — сглотнув, сказал Татарский. — Или. точнее, соглашусь, но только начиная с посткубистического периода.

— Я смотрю, ты башковитый, — сказал Азадовский. — А я вот не рублю. Да и на фигура это надо? Через неделю уже французская коллекция будет. Вот и подумай — в одной

разберешься, а через неделю увезут, другую повесят — опять, что ли. разбираться? Зачем?

Татарский не нашелся, что ответить.

— Вот я и говорю, незачем, — констатировал Азадовский. — Ладно, пошли. Пора начинать. Мы потом сюда еще вернемся. Шампанского выпить.

Развернувшись, он пошел к зеркальной стене. Татарский последовал за ним. Дойдя до стены, Азадовский толкнул ее рукой, и вертикальный ряд зеркальных блоков, бросив на него электрический блик, бесшумно повернулся вокруг оси. В возникшем проеме стал виден сложенный из грубых камней коридор.

— Входи, — сказал Азадовский. — Только пригнись, здесь потолок низкий.

Татарский вошел в коридор, и ему стало еще холодней от сырости. «Когда же одеться дадут?» — подумал он. Коридор был длинным, но Татарский не видел, куда он ведет, — было темно. Иногда под ноги попадал острый камушек, и Татарский морщился от боли. Наконец впереди забрезжил свет.

Они вышли в небольшую комнату, обшитую вагонкой, которая напомнила Татарскому раздевалку перед тренажерным залом. Собственно, это и была раздевалка, о чем свидетельствовали шкафчики у стены и два пиджака, висевшие на вешалке. Кажется, один из них принадлежал Саше Бло, но Татарский не был уверен до конца — у того было слишком много разных пиджаков. Из раздевалки был второй выход — темная деревянная дверь с золотой табличкой, на которой была выгравирована ломаная линия, похожая на зубья пилы. Татарский еще со школы помнил, что так выглядит египетский иероглиф «быстро». Он запомнил его только потому, что с ним была связана одна смешная история: древние египтяне, как объяснял учитель, делали все очень медленно, и поэтому короткая зубчатая линия, означавшая «быстро», становилась в надписях самых великих и могущественных фараонов очень длинной и даже писалась в несколько строк, что означало «очень-очень быстро».

Вокруг умывальника висело три похожих на распоряжения неведомой администрации листа с машинописным текстом и печатями (Татарский, впрочем, догадался, что это никакие не распоряжения, а скорей всего, часть испанского собрания), а одна из стен была занята стеллажом с маленькими пронумерованными ячейками, в которых лежали бронзовые зеркала и золотые маски, такие же точно, как у Азадовского в приемной.

— Чего? — сказал Азадовский, расстегивая пиджак. — Спросить что-то хочешь?

— А что это за бумаги на стенах? — спросил Татарский. — Тоже испанское собрание?

Вместо ответа Азадовский вынул свой сотовый телефон и нажал единственную кнопку на клавиатуре.

— Алла, — сказал он, — тут к тебе вопросы.

Он дал телефон Татарскому.

— Слушаю, — сказал в трубке голос Аллы.

— Спроси ее, что у нас в предбаннике, — сказал Азадовский, стаскивая майку. — А то я забываю все время.

— Здравствуйте, — смущаясь, заговорил Татарский, — это опять Татарский. Скажите, а вот эта экспозиция в предбаннике, — что это такое?

— Это совершенно уникальные экспонаты, — сказала секретарша. — Об этом нельзя говорить по мобильной связи.

Татарский зажал трубку рукой.

— Она говорит, это не для телефона.

— Скажи, что я разрешаю.

— Он разрешает, — повторил Татарский.

— Ну хорошо, — вздохнула секретарша. — Номер один. Элементы ворот Иштар из Вавилона — львы и сир-руфы. Официальное место хранения — Британский музей. Заверены группой независимых экспертов. Номер два. Львы, барельеф из фигурного кирпича и эмали. Улица Шествий, Вавилон. Официальное место хранения — Британский музей. Заверены группой независимых экспертов. Номер три. Эбих-Иль, сановник из Мари. Официальное место хранения — Лувр...

— Эбих-Иль? — переспросил Татарский и вспомнил, что видел фотографию этой статуи из Лувра. Ей было несколько тысяч лет, а изображала она маленького хитрого человечка, выточенного из блестящего белого камня, — с бородой, в странной пушистой юбке, похожей на шорты-галифе.

— Вот этого я особенно люблю, — сказал Азадовский, спуская штаны. — Наверно, просыпался каждое утро и говорил: а эбих иль всех... И поэтому всю жизнь был одинок. Совсем как я.

Он открыл шкафчик и вынул из него две необычные юбки не то из перьев, не то из взбитой шерсти. Бросив одну из них Татарскому, он натянул вторую поверх красных трусов «Calvin Klein», из-за чего немедленно сделался похож на перекормленного страуса.

— Давай телефон, — сказал он. — Ты чего ждешь-то? Переодевайся. Потом возьмешь эти железки — и входи. Можешь брать любую пару, только чтобы намордник по размеру подходил.

Азадовский взял из ячейки маску и зеркало, звякнул ими друг о друга, поднял маску и поглядел на Татарского сквозь глазные прорезы. Маленькое золотое лицо неземной красоты, словно вынырнувшее из толпы ряженных на карнавале в Венеции, настолько не соответствовало его рыжеволосому бочкообразному туловищу, что Татарскому стало страшно. Довольный произведенным эффектом, Азадовский засмеялся, открыл дверь и исчез в полосе золотистого света.

Татарский стал переодеваться. Юбка, выданная Азадовским, была сделана из сшитых между собой кусков длиннорунной овчины, приклеенных к нейлоновым адидасовским шортам. Кое-как нацепив ее на себя (если бы Татарский не видел статую Эбих-Иля, он ни за что не поверил бы, что древние жители Междуречья действительно носили что-то подобное), он надел маску, сразу сильно надавившую на лицо, и взял в руку зеркало. Золото и бронза были, несомненно, настоящими — это было ясно даже по весу. Выдохнув воздух, как перед прыжком в холодную воду, он толкнул дверь с зубчатым знаком.

Комната, в которую он вошел, ослепила его золотым сиянием стен и пола, освещенных студийными софитами. Выложенные листами металла стены уходили вверх, образуя плавно утончающийся конус, как будто это был пустой церковный купол, позолоченный изнутри. Прямо напротив двери помещался алтарь — кубический золотой постамент, на котором лежал массивный хрустальный глаз с эмалевой роговицей и зеркальным зрачком. На полу перед алтарем стояла золотая чаша, а по бокам от него возвышались два каменных сирруфа, покрытых остатками росписи и позолоты. Над глазом висела плита из черного базальта, очень древняя по виду. В самом ее центре был выбит египетский иероглиф «быстро», а вокруг помещались замысловатые фигуры — Татарский различил странного пса с пятью ногами и женщину в высокой тиаре, которая возлежала на чем-то вроде кушетки с чашей в руках. По краям плиты были изображены четверо животных жуткого вида, а между псом и

женщиной из земли поднималось какое-то растение, похожее на росянку, только его корень почему-то разделялся на три длинных ответвления, каждое из которых было помечено непонятным значком. Еще на доске были вырезаны крупные глаз и ухо, а все остальное место занимали плотные столбцы клинописи.

Азадовский в золотой маске, юбке и красных купальных тапочках сидел на складном табурете недалеко от алтаря. Зеркало лежало у него на колене. Больше никого в комнате Татарский не увидел.

— Во! — сказал Азадовский, поднимая вверх большой палец. — Вид что надо. Чего, стремишься? Ты только в измену не уходи, не думай, что мы тут ебанутые. Мне лично все это по барабану, но, если хочешь быть в нашем бизнесе, без этого нельзя. Короче, я тебе сейчас все примерно объясню на пальцах, а если подробнее, то у нашего главного спросишь, он подойдет сейчас. Ты, главное, проще ко всему относись, спокойнее. В пионерлагеря ездил?

— Ездил, — ответил Татарский, отметив про себя этого «главного».

— Был у вас там такой День Нептуна? Когда всех в воду окунали?

— Был.

— Вот считай, что это такой же День Нептуна и есть. Традиция. Короче, базар такой, что была когда-то одна древняя богиня. Я не в том смысле, что она реально была, а просто такая легенда. А боги по этому базару тоже смертные и носят в себе свою смерть, чисто как люди. Поэтому в свой срок эта богиня тоже должна была умереть. А ей этого, понятное дело, не хотелось. И тогда она разделилась на свою смерть и на то, что не хотело умирать. Видишь, на картинке? — Азадовский ткнул пальцем в сторону барельефа. — Вот эта собачка — ее смерть. А эта баба в кивере — она сама. Короче, дальше ты слушай не перебивая, потому что я сам не особо въезжаю. Когда они разделились, между ними сразу началась война, в которой никто долго не мог победить. Последняя битва в этой войне произошла прямо над Останкинским прудом, то есть там, где мы сейчас находимся, только не под землей, а высоко в воздухе. Поэтому считается, что здесь священное место. Сначала в этой битве долго никто не мог победить, а потом этот пес стал одолевать богиню. И тогда другие боги испугались за себя, вмешались и заставили их заключить мир. Здесь как раз все зафиксировано. Это что-то вроде текста мирного договора, который засвидетельствован во всех четырех сторонах света этими быками и...

— Грифонами, — подсказал Татарский.

— Да. А глаз и ухо означают, что все видели и все слышали. Короче, по этому договору досталось обоим. Богиню по нему лишили тела и опустили чисто до понятия.

Она стала золотом, но не просто металлом, а в переносном смысле. Понимаешь?

— Не очень.

— Немудрено, — вздохнул Азадовский. — Короче, она стала тем, к чему стремятся все люди, но не просто, скажем, грудой золота, которая где-то лежит, а всем золотом вообще. Ну, как бы идеей.

— Теперь понял.

— А ее смерть стала хромым псом с пятью лапами, который должен вечно спать в одной далекой стране на севере. Ты, наверно, уже догадался, где именно. Вон он справа, видишь? Нога вместо хуя. Не дай Бог такую во дворе повстречать.

— А как эту собаку зовут? — спросил Татарский.

— Хороший вопрос. Я, если честно, и не знаю. А чего ты спрашиваешь?

— А я читал что-то похожее. В статье из университетского сборника.

— А что именно?

— Долго рассказывать, — ответил Татарский. — Я всего и не помню.

— Про что статья-то? Про нашу контору?

Татарский догадался, что начальство шутит.

— Нет, — сказал он. — Про русский мат. Там было написано, что матерные слова стали ругательствами только при христианстве, а раньше у них был совсем другой смысл и они обозначали невероятно древних языческих богов. И среди этих богов был такой хромой пиздец с пятью лапами. В древних грамотах его обозначали большой буквой «П» с двумя запятыми. По преданию, он спит где-то в снегах, и, пока он спит, жизнь идет более-менее нормально. А когда он просыпается, он наступает. И поэтому у нас земля не родит, Ельцин президент и так далее. Про Ельцина они, понятно, не в курсе, а так все очень похоже. И еще было написано, что самое близкое понятие, которое существует в современной русской культуре, — это детская идиома «ГамOVER». От английского Game Over».

— Да по-английски-то я понял, — сказал Азадовский, — не дурак. Я не понял, кому этот пиздец наступает?

— Не то чтобы кому-то или чему-то, а всему. Поэтому, наверно, остальные боги и вмешались. Я специально спросил, как эту собаку звали, — думал, может быть, это транскультурный архетип. А как богиню зовут?

— Ее никак не зовут, — перебил голос сзади, и Татарский обернулся.

В дверях стоял Фарсук Сейфуль-Фарсейкин. Он был одет в длинный серый плащ с капюшоном, из-под которого поблескивала золотая маска, и Татарский узнал его только по голосу.

— Ее никак не зовут, — повторил Сейфуль-Фарсейкин, входя в комнату. — Когда-то давно ее звали Ишгар, но с тех пор ее имя много раз менялось. Знаешь такой брэнд — No Name? И по хромой собачке та же картина. А все остальное ты правильно сказал.

— Во, давай ты, Фарсук, поговори с ним, — сказал Азадовский. — а то он и без нас все знает.

— Что это ты, интересно, знаешь? — спросил Фарсей-кин.

— Так, — ответил Татарский, — мелочи. Вот, например, этот зубчатый знак в центре плиты. Я знаю его смысл.

— И какой же этот смысл?

— «Быстро» по-древнеегипетски.

Фарсейкин засмеялся.

— Да, — сказал он, — нестандартно. Обычно новые члены думают, что это шоколад «M&M». На самом деле это символ, указывающий на одно очень древнее и довольно туманное изречение. Все древние языки, в которых оно существовало, давно мертвы, и на русский его даже сложно перевести — нет соответствующих глосс. Зато в английском ему точно соответствует фраза Маршалла Мак-Лухана «The medium is the message»^[33]. Поэтому мы расшифровываем этот знак как две соединенных буквы «M».

То есть не только мы, конечно, — такие алтари «Силикон Графике» поставляет вместе с рендер-серверами.

— Так эта плита не настоящая?

— Почему. Самая настоящая, — ответил Фарсей-кин. — Базальт, три тысячи лет. Можешь потрогать. Я, правда, не уверен, что этот рисунок всегда значил то, что он значит

сейчас.

— А что это за росянка между богиней и псом?

— Это не росянка. Это дерево жизни. Еще это символ великой богини, потому что одна из ее ипостасей — дерево с тремя корнями, которое расцветает в наших душах. У этого дерева тоже есть имя, но его узнают только на самых высоких стадиях посвящения в нашем обществе.

— А что это за общество? — спросил Татарский. — Чем занимаются его члены?

— Можно подумать, ты не знаешь. Ты уже сколько времени у нас работаешь? Вот всем этим его члены и занимаются.

— Как оно называется?

— Когда-то давно оно называлось Гильдией Халдеев, — ответил Фарсейкин. — Но так его называли те, кто в нем не состоял, а только про него слышал. Мы сами называем его Обществом Садовников, потому что наша задача — пестовать священное дерево, которое дает жизнь великой богине.

— Давно это общество существует?

— Очень давно. Говорят, что оно действовало еще в Атлантиде, но мы для простоты считаем, что оно пришло из Вавилона в Египет, а оттуда — к нам.

Татарский поправил сползшую с лица маску.

— Понятно, — сказал он. — Оно что, занималось строительством Вавилонской башни?

— Нет. Вовсе нет. Мы не строительная контора. Мы просто слуги великой богини. Если пользоваться твоей терминологией, мы следим, чтобы Пиздец не проснулся и не наступил, это ты правильно понял. Я думаю, ты понимаешь, что в России на нас лежит особая ответственность. Пес спит именно здесь.

— А где именно?

— Повсюду, — ответил Фарсейкин. — Когда говорят, что он спит в снегах, — это метафора. А то, что несколько раз в этом веке он почти просыпался, — уже нет.

— Так чего же нам все время частоту опускают?

Фарсейкин развел руками.

— Человеческое легкомыслие, — сказал он, подходя к алтарю и снимая с него золотую чашу. — Сиюминутные расчеты, близоруко понятая конъюнктура. Но до конца нам ее никогда не опустят, не бойся. За этим тщательно следят. А сейчас, если ты не возражаешь, перейдем к ритуалу.

Приблизившись к Татарскому, он положил руку ему на плечо.

— Встань на колени и сними маску.

Татарский послушно опустился на пол и снял маску с лица. Фарсейкин окунул палец в чашу и провел на лбу Татарского мокрый зигзаг.

— Ты есть посредник, и ты есть послание, — сказал он, — и Татарский понял, что линия на его лбу — сдвоенная «М».

— Что это за жидкость? — спросил он.

— Собачья кровь. Символику, надеюсь, не надо объяснять?

— Нет, — сказал Татарский, поднимаясь с пола. — Не дурак, читал кое-что. Что дальше?

— Теперь ты должен заглянуть в священный глаз.

Почему-то Татарский вздрогнул, и Азадовский это заметил.

— Да не бойся ты, — вмешался он. — Через этот глаз великая богиня узнает своего

мужа. А поскольку муж у нее уже есть, это простая формальность. Смотришься в глаз, выясняется, что ты не бог Мардук, и мы спокойно работаем дальше.

— Какой бог Мардук?

— Ну, или не Мардук, — сказал Азадовский, вынимая из-под юбки пачку «Мальборо» и зажигалку, — неважно.

Это я так. Фарсук, ты объясни ему, ты владеешь. А я отъеду в страну настоящих мужчин.

— Это тоже мифологема, — сказал Фарсейкин. — У великой богини был муж, тоже бог, самый главный из всех богов, которого она опоила любовным напитком, и он уснул в святилище на вершине своего зиккурата. А поскольку он был бог, то и сон у него такой, что... Ну, в общем, дело путаное, но весь наш мир со всеми нами и даже с этой богиней ему как бы снится. И великая богиня постоянно ищет того, кому она снится, потому что только через него она обретает свою жизнь. А поскольку найти его нельзя, у нее есть символический земной муж, которого она сама выбирает.

Татарский покосился на Азадовского. Тот кивнул головой и выпустил сквозь ротовое отверстие маски аккуратное колечко дыма.

— Угадал, — сказал Фарсейкин. — Сейчас он. Для Лени, конечно, довольно напряженный момент, когда кто-то другой заглядывает в священный глаз, но пока все обходилось. Давай.

Татарский подошел к глазу на тумбочке и опустил перед ним на колени. Синяя эмалевая роговица была отделена от зрачка тонким золотым ободком, а сам зрачок был темным и зеркальным. Татарский увидел в нем свое искривленное лицо, изогнутую фигуру Фарсейкина в темном капюшоне и распухшее колено Азадовского.

— Софит поверните, — сказал кому-то Фарсейкин. — Так он не разглядит. А надо, чтобы на всю жизнь запомнил.

На зрачок упала яркая полоса света, и Татарский перестал видеть свое отражение — вместо него появилось размытое золотое мерцание, словно он только что несколько минут смотрел на заходящее солнце, а потом закрыл глаза и увидел его заблудившийся в нервных окончаниях отпечаток. «И что я должен был разглядеть?» — подумал он.

Сзади произошла быстрая суэта, что-то металлическое тяжело звякнуло о пол, и раздался хрип. Татарский мгновенно вскочил на ноги, отпрыгнул от алтаря и обернулся. Сцена, которую он увидел, была настолько нереальна, что он даже не испугался, решив, что это часть ритуала. Саша Бло с Малютой, в пушистых белых юбках и болтающихся на груди золотых масках, душили Азадовского желтыми нейлоновыми прыгалками, стараясь держаться от него как можно дальше, а Азадовский, выпучив бараньи глаза, обеими руками изо всех сил тянул к себе тонкую нейлоновую струну. Силы, увы, были неравными — на его прорезанных ладонях выступила кровь, окрасившая желтую нить, и он упал сначала на колени, а потом на живот, накрыв грудью свалившуюся маску. Татарский успел заметить момент, когда выражение удивления и оторопи в направленных на него глазах Азадовского пропало, не сменившись никаким другим. Только тогда он понял, что если это и было частью ритуала, то совершенно неожиданной для Азадовского.

— Что такое? Что происходит?

— Спокойно, — сказал Фарсейкин. — Уже ничего не происходит. Все уже произошло.

— Зачем? — спросил Татарский.

Фарсейкин пожал плечами:

— Великая богиня устала от мезальянса.

— Откуда вы знаете?

— На священном гадании в Атланте оракул предсказал, что у Иштар в нашей стране появится новый муж. С Азадовским у нас давно были проблемы, но вот кто этот новый, мы долго понять не могли. Про него было сказано только то, что это человек с именем города. Мы думали, думали, искали, а тут вдруг приносят из первого отдела твое личное дело. По всем понятиям выходит, что это ты и есть.

— Я???

Вместо ответа Фарсейкин сделал знак Саше Бло и Малюте. Те подошли к телу Азадовского, взяли его за ноги и поволокли из алтарной комнаты в раздевалку.

— Я? — повторил Татарский. — Но почему я?

— Не знаю. Это ты у себя спроси. Меня вот богиня почему-то не выбрала. А как бы звучало — человек, оставивший имя...

— Оставивший имя?

— Я, вообще, из поволжских немцев. Просто когда университет кончал, с телевидения разнарядка пришла на чурку — корреспондентом в Вашингтон. А я комсомольским секретарем был, то есть на Америку первый в очереди. Вот мне на Лубянке имя и поменяли. Впрочем, это неважно. Выбран ты.

— А вы бы согласились?

— Почему нет. Ведь как звучит — муж великой богини! Должность чисто ритуальная, обязанностей никаких, а возможности широкие. Можно сказать, любые. Но все, конечно, от воображения зависит. У покойного уборщица каждое утро ковер кокаином из ведра посыпала. Ну, дач себе настроил, картин каких-то накопил... А больше ничего и не придумал. Я же говорю — мезальянс.

— А отказаться я могу?

— Не думаю, — сказал Фарсейкин.

Татарский поглядел в дверной проем, за которым происходило что-то странное — Малюта с Сашей Бло укладывали Азадовского в контейнер в форме большого зеленого шара. Его неестественно согнутое тело было уже внутри; из открытой дверцы торчала волосатая нога в красном тапочке, которая никак не хотела влезать внутрь.

— Что это за шар?

— Тут коридоры длинные и узкие, — ответил Фарсейкин. — Нести замучаешься. А катить очень удобно. И когда на улицу выкатываешь, ни у кого никаких вопросов. Это Сеня Велин перед смертью придумал. Какой был дизайнер... И ведь тоже из-за этого идиота пропал. Как бы я хотел, чтобы Сеня все это видел!

— А почему он зеленый?

— Не знаю. Какая разница. Ты, Ваван, не ищи во всем символического значения, а то ведь найдешь. На свою голову.

В раздевалке раздался тихий хруст, и Татарский поморщился.

— Меня тоже когда-нибудь задушат? — спросил он.

Фарсейкин пожал плечами:

— Мужья великой богини, как ты понял, иногда меняются. Но это часть профессии. Если не наглеть, то вполне можно дотянуть до старости. И даже на пенсию выйти. Ты, главное, если сомневаешься в чем, сразу ко мне. И советы мои слушай. Первый будет такой: ты, когда к Азадовскому в кабинет переедешь, убери этот ковер прококаиненный. А то по городу слухи ходят, какие-то совершенно левые люди на прием ломаются. Зачем нам это?

— Ковер-то я уберу. А вот как мы всем остальным объясним, что я в его кабинет переезжаю?

— Им ничего объяснять не надо. Все сами понимают. Других у нас не держат.

Из раздевалки выглянул Малюта, который уже успел переодеться. Он на секунду поднял глаза на Татарского, сразу же отвел их и протянул Фарсейкину мобильный телефон Азадовского.

— Выкатывать? — деловито спросил он.

— Нет, — сказал Фарсейкин, — закатывать. Чего глупые вопросы задаешь?

Дождавшись, пока металлический гул в длинной норе коридора стихнет, Татарский тихо спросил:

— Фарсук Карлович, скажите мне по секрету...

— Да?

— Кто всем этим на самом деле правит?

— Мой тебе совет — не суйся, — сказал Фарсейкин. — Дольше будешь живым богом. Да я, если честно, и сам не знаю. А столько лет уже в бизнесе.

Он подошел к стене за алтарем, открыл ключом потайную маленькую дверцу и, нагнувшись, вошел внутрь. За дверцей зажегся свет, и Татарский увидел большую машину, похожую на раскрытую черную книгу с двумя вертикальными цилиндрами из матового стекла по краям. На черной плоскости, повернутой к Татарскому, белело слово «Сотриwаге» и незнакомый символ, а перед машиной стояло кресло вроде зубоврачебного с ремнями и фиксаторами.

— Что это? — спросил Татарский.

— 3D-сканер.

— Зачем?

— Снимем с тебя облачко.

— А без этого нельзя?

— Никак. По ритуалу ты становишься мужем великой богини только после того, как тебя оцифруют. Превратят, так сказать, в визуальный ряд.

— И что, потом во все клипы и передачи будут вставлять? Как Азадовского?

— Это твоя главная сакральная функция. У богини действительно нет тела, но есть нечто, что заменяет ей тело. По своей телесной природе она является совокупностью всех использованных в рекламе образов. И раз она являет себя посредством визуального ряда, ты, чтобы стать богоподобным, тоже должен быть преображен. Тогда вы будете иметь возможность мистически слиться. Собственно, ее мужем станет именно твоя 3D-модель, а сам будешь как бы... регент, что ли. Иди сюда.

Татарский нервно поежился, и Фарсейкин засмеялся:

— Да не бойся ты. Это не больно, когда сканируют. Как в ксероксе, только крышкой не закрывают... Пока что не закрывают... Да ладно, шучу, шучу. Давай быстрее, а то нас наверху ждут. Торжественный вечер — твоя, так сказать, презентация. Расслабишься в узком кругу.

Татарский последний раз посмотрел на базальтовую плиту с собакой и богиней и решительно нырнул в дверцу, за которой ждал Фарсейкин. Стены и потолок комнатки были выкрашены в белый цвет, и она была почти пуста — кроме сканера, в ней помещались стол с панелью управления и несколько картонных ящиков от какой-то электроники у стены.

— Фарсук Карлович, вы слышали про птицу Семург? — спросил Татарский, садясь в

кресло и укладывая руки на подлокотники.

— Нет. А что это за птица?

— Была такая восточная поэма, — сказал Татарский, — я ее сам не читал, слышал только. Про то, как тридцать птиц полетели искать своего короля Семурга, прошли через много разных испытаний, а в самом конце узнали, что слово «Семург» означает «тридцать птиц».

— Ну и что? — спросил Фарсейкин, втыкая черный штепсель в розетку.

— Да так, — сказал Татарский. — Я вот подумал, а может, наше поколение, которое выбрало «Пепси», — вы ведь тоже в молодости выбрали «Пепси», да?

— А что делать-то было, — пробормотал Фарсейкин, щелкая переключателями на панели.

— Ну да... Мне одна довольно жуткая мысль пришла в голову — может быть, все мы вместе и есть эта собачка с пятью лапами? И теперь мы, так сказать, наступаем?

Фарсейкин, поглощенный своими манипуляциями, явно пропустил эти слова мимо ушей.

— Так, — сказал он, — сейчас замри и не моргай. Готов?

Татарский сделал глубокий вдох.

— Готов, — сказал он.

Машина зажужжала, и белые матовые лампы по ее краям зажглись ослепительным светом. Конструкция, похожая на раскрытую книгу, стала медленно поворачиваться вокруг оси, в глаза Татарскому ударил белый луч, и на несколько секунд он ослеп.

— Склоняюсь перед живым богом, — торжественно сказал Фарсейкин.

Когда Татарский открыл глаза, Фарсейкин, опустив лицо, стоял перед креслом на коленях и протягивал ему маленький черный предмет. Это был телефон Азадовского. Татарский осторожно взял его в руки и внимательно рассмотрел: телефон выглядел как обычный маленький «Филлипс», только на нем была всего одна кнопка в виде золотого глаза. Татарский хотел спросить, в курсе ли Алла, но не успел — поклонившись, Фарсейкин поднялся на ноги, попятился к выходу и деликатно закрыл за собой дверцу.

Татарский остался один. Встав с кресла, он подошел к дверце и прислушался. Ничего слышно не было — видимо, Фарсейкин был уже в раздевалке. Татарский отошел в дальний угол комнаты и осторожно нажал кнопку на телефоне.

— Алло, — тихо сказал он в трубку. — Алло!

— Склоняюсь перед живым богом, — отозвался голос Аллы. — Какие на сегодня распоряжения, шеф?

— Пока никаких, — ответил Татарский, с удивлением чувствуя, что новая роль дается ему без всяких усилий. — Хотя нет, знаешь что, Аллочка, кое-что все-таки будет. Во-первых, пускай ковер в кабинете свернут — надоел. Во-вторых, чтобы в буфете с этого дня была только «Кока-кола» и никакой «Пепси». В-третьих, Малюта у нас больше не работает... Да потому, что он нам тут нужен как собаке пятая нога. Сценарии только чужие портит, а потом на бабки попадаем... И ты, Аллочка, запомни — когда я чего говорю, ты не спрашиваешь «почему», а берешь на карандаш. Поняла? Вот и хорошо.

Закончив разговор. Татарский попытался нацепить телефон на пояс, но овчина эбихилевки была слишком толстой. Несколько секунд он раздумывал, куда его сунуть, а потом вспомнил, что сказал не все, и нажал на золотой глаз снова.

— И вот еще что, — сказал он, — совсем забыл. Позаботьтесь о Ростроповиче.

3D-дублер Вавилена Татарского появлялся на экране несчетное число раз, но сам Татарский, вспоминая пролетевшие как во сне былые дни, любил пересматривать только несколько пленок. Первая — пресс-конференция офицеров ФСБ, получивших приказ на ликвидацию известного бизнесмена и политика Бориса Березовского: Татарский, в глухой черной маске, сидит за уставленным микрофонами столом крайний слева. Вторая — похороны телекомментатора Фарсука Сейфуль-Фарсейкина, при странных обстоятельствах задушенного прыгалками в подъезде собственного дома: Татарский, в черных очках и с черной повязкой на рукаве, целует безутешную вдову и бросает на полузасыпанный гроб зеленый бильярдный шар. Происхождение следующего сюжета малопонятно: это выполненная скрытой камерой оперативная съемка разгрузки американского военно-транспортного самолета «Геркулес С-130», севшего на ночной Красной площади. Из самолета выносят множество картонных коробок с надписью «electronic equipment» и необычным логотипом — небрежно прочерченным контуром молочной железы такого размера, какой достигается только установкой силиконового протеза. Татарский, в форме омовца, мерзнет в оцеплении. Следующее его появление всем известно — это Степан Разин на Лобном месте в монументальном клипе для шампуня «Head and Shoulders» (слоган «Снявши голову, по волосам не плачут»). Значительно менее известный клип, тоже снятый на Красной площади. — это показанная несколько раз по Петербургскому телевидению реклама «Кока-колы», изображающая слет радикальных фундаменталистов всех главных мировых конфессий. Татарский изображает одетого во все черное евангелиста из Альбукерки, Нью-Мексико, — яростно растоптав пустую банку «Пепси-колы», он поднимает руку, указывает на Кремлевскую стену и произносит стих из псалма номер 14:

There they are In great dread,
For God is with the Righteous Generation!^[34]

Многим запомнилось его появление в клипах для водки «Лже-Борис Второй» и быстросупа «Кармино Бурано». Но сам Татарский отчего-то не держал их в своей коллекции. Нет в ней и знаменитой рекламы московской сети магазинов «Gar», где Татарский снялся вместе со своим заместителем Морковиным: Морковин в расшитой золотом джинсовой куртке прохаживается в витрине магазина, а одетый в военную телогрейку Татарский швыряет в бронированное стекло кирпич, выкрикивая: «Под Кандагаром было круче!» (слоган «Enjoy the Gar»). Но его самая любимая видеозапись, после просмотра которой, как шепотом рассказывала секретарша Алла, на глазах у него выступали слезы, вообще ни разу не была показана по телевизору.

Это незаконченный клип для пива «Туборг» под слоган «Sta, viator!» (вариант для региональных телекомпаний — «Шта, авиатор?»), в котором анимирована известная картинка с одиноким странником. Татарский в распахнутой на груди белой рубахе идет по пыльной тропинке под стоящим в зените солнцем. Внезапно в голову ему приходит какая-то мысль. Он останавливается, прислоняется к деревянной изгороди и вытирает платком пот со лба. Проходит несколько секунд, и герой, видимо, успокаивается — повернувшись к камере спиной, он прячет платок в карман и медленно идет дальше к ярко-синему горизонту, над

которым висят несколько легких высоких облаков.

Ходили слухи, что был снят вариант этого клипа, где по дороге один за другим идут тридцать Татарских, но так это или нет, не представляется возможным установить.



ОМОН РА

Героям Советского Космоса

Омон — имя не особо частое и, может, не самое лучшее, какое бывает. Меня так назвал отец, который всю свою жизнь проработал в милиции и хотел, чтобы я тоже стал милиционером.

— Пойми, Омка, — часто говорил он мне, выпив, — пойдешь в милицию — так с таким именем, да еще если в партию вступишь...

Хоть отцу и приходилось иногда стрелять в людей, он был человек незлой души, по природе веселый и отзывчивый. Меня он очень любил и надеялся, что хотя бы мне удастся то, что не удалось в жизни ему. А хотел он получить участок земли под Москвой и начать выращивать на нем свеклу и огурцы — не для того, чтобы продавать их на рынке или съесть, хотя и это все тоже, а для того, чтобы, раздевшись до пояса, рубить лопатой землю, смотреть, как шевелятся красные черви и другая подземная жизнь, чтобы возить через весь дачный поселок тачки с навозом, останавливаясь у чужих калиток побалагурить. Когда он понял, что ничего из этого у него не выйдет, он стал надеяться, что счастливую жизнь проживет хотя бы один из братьев Кривомазовых (мой старший брат Овир, которого отец хотел сделать дипломатом, умер от менингита в четвертом классе, и я помню только, что на лбу у него была продолговатая большая родинка).

Мне отцовские планы на мой счет особого доверия не внушали — ведь сам он был партийный, имя у него было хорошее — Матвей, но все, что он себе выслужил, это нищую пенсию да одинокое старческое пьянство.

Маму я помню плохо. Осталось в памяти только одно воспоминание — как пьяный папа в форме пытается вытянуть из кобуры пистолет, а она, простоволосая и вся в слезах, хватается за руки и кричит:

— Матвей, опомнись!

Она умерла, когда я был совсем маленьким, и я вырос у тетки, а отца навещал по выходным. Обычно он был опухший и красный, с косо висящим на засаленной пижамной куртке орденом, которым он очень гордился. В комнате у него нехорошо пахло, а на стене висела репродукция фрески Микеланджело «Сотворение мира», где над лежащим на спине Адамом парит бородатый Бог, простерший свою длань навстречу тонкой человеческой руке. Эта картинка довольно странно действовала на душу отца и, видно, что-то ему напоминала из прошлого. У него в комнате я обычно сидел на полу и играл с маленькой железной дорогой, а он храпел на раздвинутом диване. Иногда он просыпался, некоторое время щурил на меня глаза, а потом, опершись о пол, свешивался с дивана и протягивал мне большую венистую кисть, которую я должен был пожать.

— Фамилия твоя как? — спрашивал он.

— Кривомазов, — отвечал я, подделывая застенчивую улыбку, и он гладил меня по голове и кормил конфетами; все это выходило у него так механически, что мне даже не было противно.

О тетке мне сказать почти нечего — она была ко мне равнодушна и старалась, чтобы я больше времени проводил в разных пионерлагерях и группах продленного дня — кстати сказать, удивительную красоту последнего словосочетания я вижу только сейчас.

Из своего детства я запомнил только то, что было связано, так сказать, с мечтой о небе. Конечно, не с этого началась моя жизнь — еще раньше была длинная светлая комната,

полная других детей и больших пластмассовых кубиков, беспорядочно разбросанных по полу; были обледенелые ступени деревянной горки, по которым я торопливо топал вверх; были какие-то потрескавшиеся юные горнисты из крашеного гипса во дворе и много другого. Но вряд ли можно сказать, что все это видел я: в раннем детстве (как, быть может, и после смерти) человек идет сразу во все стороны, поэтому можно считать, что его еще нет; личность возникает позже, когда появляется привязанность к какому-то одному направлению.

Я жил недалеко от кинотеатра «Космос». Над нашим районом господствовала металлическая ракета, стоящая на сужающемся столбе титанового дыма, похожем на воткнутый в землю огромный ятаган. Странно, но как личность я начался не с этой ракеты, а с деревянного самолета на детской площадке у своего дома. Это был не совсем самолет, а скорее домик с двумя окошками, к которому во время ремонта прибили сделанные из досок снесенного забора крылья и хвост, покрыли все это зеленой краской и украсили несколькими большими рыжими звездами. Внутри могло поместиться человека два-три, и еще был небольшой чердачок с глядящим на военкоматовскую стену треугольным окошком — по негласному дворовому соглашению этот чердачок считался пилотской кабиной, и когда самолет сбивали, сначала выпрыгивали те, кто сидел в фюзеляже, и только потом, когда земля уже с ревом неслась к окнам, пилот мог последовать за остальными — если, конечно, успевал. Я всегда старался оказаться пилотом и даже овладел умением видеть небо с облаками и плывущую внизу землю на месте кирпичной стены военкомата, из окон которого безысходно глядели волосатые фиалки и пыльные кактусы.

Я очень любил фильмы про летчиков; с одним из таких фильмов и было связано сильнейшее переживание моего детства. Однажды, в космически черный декабрьский вечер, я включил теткин телевизор и увидел на его экране покачивающийся крыльями самолет с пиковым тузом и крестом на фюзеляже. Я наклонился ближе к экрану, и на нем сразу же возник увеличенный фонарь кабины: за его толстыми стеклами улыбалось нечеловеческое лицо в очках вроде горнолыжных и в шлеме с блестящими эбонитовыми наушниками. Пилот поднял ладонь в перчатке с черным раструбом и помахал мне рукой. Потом на экране появился фюзеляж другого самолета, снятый изнутри: за двумя одинаковыми штурвалами сидели два летчика в полушубках и внимательно следили сквозь перехваченный стальными полосами плексиглас за эволюциями вражеского истребителя, летевшего совсем рядом.

— «Ме-сто девять», — сказал один летчик другому. — Сажать будут.

Другой, с красивым испитым лицом, кивнул головой.

— Зла на тебя не держу, — сказал он, видимо продолжая прерванный разговор. — Но запомни: чтоб у тебя это с Варей было на всю жизнь... До могилы.

Тут я перестал воспринимать происходящее на экране — меня поразила одна мысль, даже не мысль, а ее слабо осознанная тень (словно сама мысль проплыла где-то рядом с моей головой и задела ее лишь своим краем), — о том, что если я только что, взглянув на экран, как бы посмотрел на мир из кабины, где сидели два летчика в полушубках, то ничто не мешает мне попадать в эту и любую другую кабину без всякого телевизора, потому что полет сводится к набору ощущений, главные из которых я давно уже научился подделывать, сидя на чердаке красноразвездной крылатой избушки, глядя на заменяющую небо военкоматовскую стену и тихо гудя ртом.

Это неясное понимание так потрясло меня, что остаток фильма я досмотрел не очень внимательно, включаясь в телевизионную реальность только при появлении на экране

дымных трасс или набегающего ряда стоящих на земле вражеских самолетов. «Значит, — думал я, — можно глядеть из самого себя, как из самолета, и вообще не важно, откуда глядишь, важно, что при этом видишь...» С тех пор, бредя по какой-нибудь зимней улице, я часто представлял себе, что лечу в самолете над заснеженным полем; поворачивая, я наклонял голову, и мир послушно кренился вправо или влево.

И все же тот человек, которого я с полной уверенностью мог бы назвать собой, сложился позже и постепенно. Первым проблеском своей настоящей личности я считаю ту секунду, когда я понял, что кроме тонкой голубой пленки неба можно стремиться еще и в бездонную черноту космоса. Это произошло в ту же зиму, вечером, когда я гулял по ВДНХ. Я шел по пустой и темной заснеженной аллее; вдруг слева донеслось жужжание, похожее на звонок огромного телефона. Я повернулся и увидел *его*.

Откинувшись назад и сидя в пустоте, как в кресле, он медленно плыл вперед, и за ним так же медленно распрямлялись в пространстве шланги. Стекло его шлема было черным, и только треугольный блик горел на нем, но я знал, что он видит меня. Возможно, уже несколько веков он был мертв. Его руки были уверенно протянуты к звездам, а ноги до такой степени не нуждались ни в какой опоре, что я понял раз и на всю жизнь, что подлинную свободу человеку может дать только невесомость — поэтому, кстати, такую скуку вызывали у меня всю жизнь западные радиоголоса и сочинения разных Солженицыных; в душе я, конечно, испытывал омерзение к государству, невнятные, но грозные требования которого заставляли любую, даже на несколько секунд возникающую группу людей старательно подражать самому похабному из ее членов, — но, поняв, что мира и свободы на земле не достичь, духом я устремился ввысь, и все, чего потребовал выбранный мною путь, уже не вступало ни в какие противоречия с моей совестью, потому что совесть звала меня в космос и мало интересовалась происходящим на Земле.

Передо мной была просто освещенная прожектором мозаика на стене павильона, изображавшая космонавта в открытом космосе, но она за один миг сказала мне больше, чем десятки книг, которые я прочел к этому дню. Я смотрел на нее долго-долго, а потом вдруг почувствовал, что кто-то смотрит на меня.

Я оглянулся и увидел у себя за спиной мальчика моего возраста, который выглядел довольно необычно — на нем был кожаный шлем с блестящими эбонитовыми наушниками, а на шее у него болтались пластмассовые плавательные очки. Он был выше меня на полголовы и, вероятно, чуть постарше; войдя в освещенную прожектором зону, он поднял ладонь в черной перчатке, растянул губы в холодной улыбке, и перед моими глазами на секунду мелькнул летчик в кабине истребителя с пиковым тузом.

Его звали Митёк. Оказалось, что мы живем совсем рядом, хоть и ходим в разные школы. Митёк сомневался во многих вещах, но одно знал твердо. Он знал, что сначала станет летчиком, а потом полетит на Луну.

Есть, видимо, какое-то странное соответствие между общим рисунком жизни и теми мелкими историями, которые постоянно происходят с человеком и которым он не придает значения. Сейчас я ясно вижу, что моя судьба уже вполне четко определилась в то время, когда я еще даже не задумывался всерьез над тем, какой бы я хотел ее видеть, и больше того — уже тогда она была мне показана в несколько упрощенном виде. Может быть, это было эхо будущего. А может быть, то, что мы принимаем за эхо будущего, — на самом деле семя этого будущего, падающее в почву в тот самый момент, который потом, издали, кажется прилетавшим из будущего эхом.

Короче, лето после седьмого класса было жарким и пыльным. Из его первой половины мне запомнились только долгие велосипедные прогулки по одному из подмосковных шоссе. На заднее колесо своего полугоночного «Спорта» я ставил специальную трещотку из куска сложенной в несколько раз плотной бумаги, прикрепленной к раме прищепкой, — когда я ехал, бумага билась о спицы и издавала быстрый тихий треск, похожий на шум авиационного двигателя. Несясь вниз с асфальтовой горы, я много раз становился заходящим на цель истребителем, далеко не всегда советским, но вина тут была не моя, просто в самом начале лета я услышал от кого-то идиотскую песню, в которой были слова: «Мой «Фантом», как пуля быстрый, в небе голубом и чистом с ревом набирает высоту». Надо сказать, что ее идиотизм, который я достаточно ясно осознавал, не мешал мне трогаться ею до глубины души. Какие еще я помню слова? «Вижу в небе дымную черту... Где-то вдалеке родной Техас». И еще были отец, и мать, и какая-то Мэри, очень реальная из-за того, что в песне упоминалась ее фамилия.

К середине июля я вернулся в Москву, а потом родители Митька достали для нас путевки в пионерлагерь «Ракета». Это был обычный южный лагерь, может быть даже немного лучше других. Я хорошо запомнил только первые дни, которые мы там провели, но именно тогда и случилось все то, что потом стало существенным. В поезде мы с Митьком бегали по вагонам и сбрасывали в унитазы все бутылки, которые мне удавалось найти, — они падали на несущееся под крохотным люком железнодорожное полотно и неслышно лопались; привязавшаяся ко мне песенка придавала этой простой процедуре привкус борьбы за свободу Вьетнама. На следующий день всю смену, ехавшую одним поездом, выгрузили на мокром вокзале южного города, пересчитали и посадили в грузовики. Мы долго ехали по дороге, петлявшей между гор, потом справа появилось море и к нам поплыли разноцветные домики. Нас выгрузили на асфальтовый плац, построили и повели вверх по обрамленной кипарисами лестнице к плоскому стеклянному зданию на вершине холма. Это была столовая, где нас ждал холодный обед, хотя пора было ужинать, — мы приехали на несколько часов позже, чем ожидалось. Обед был довольно невкусный — суп с макаронными звездочками, курица с рисом и компот.

С потолка столовой на нитях, облепленных какой-то липкой на вид кухонной дрянью, свисали картонные космические корабли. Я загляделся на один из них. Неизвестный оформитель потратил на него много фольги и густо исписал его словом «СССР». Корабль висел перед нашим столом, и на его фольге оранжево сияло закатное солнце, которое вдруг показалось мне похожим на прожектор поезда метро, зажигающийся в черной дали тоннеля. Отчего-то мне стало грустно.

Митёк, наоборот, был разговорчив и весел.

— В двадцатых годах были одни космические корабли, — говорил он, тыча вилкой вверх, — в тридцатых — другие, в пятидесятых вообще третьи, и так далее.

— Какие еще в двадцатых годах космические корабли? — вяло спросил я.

Митёк на секунду задумался.

— У Алексея Толстого были такие большие металлические яйца, в которых через крохотные промежутки времени происходили взрывы, дававшие энергию для движения, — сказал он. — Это основной принцип. Ну а вариантов может быть много.

— Так они же никогда на самом деле не летали, — сказал я.

— А эти тоже не летают, — ответил он и показал на предметы нашего разговора, которые чуть качались от сквозняка.

Я понял наконец, что он имел в виду, хотя вряд ли сумел бы четко это выразить в словах. Единственным пространством, где летали звездолеты коммунистического будущего — кстати, встречая слово «звездолет» в фантастических книгах, которые я очень любил, я почему-то считал, что оно связано с красными звездами на бортах советской космической техники, — так вот, единственным местом, где они летали, было сознание советского человека, точно так же как столовая вокруг нас была тем космосом, куда жившие в прошлую смену запустили свои корабли, чтобы те бороздили простор времени над обеденными столами, когда самих создателей картонного флота уже не будет рядом. Эта мысль наложила на особую непередаваемую тоску, которую всегда вызывал у меня пионерлагерный компот из сухофруктов, и мне пришла в голову странная идея.

— Я раньше очень любил клеить пластмассовые самолеты, — сказал я, — сборные модели. Особенно военные.

— Я тоже, — ответил Митёк, — только давно.

— Гэдээровские наборы мне нравились. А в наших часто не было летчика. Тогда такая лажа получалась. Когда кабина пустая.

— Точно, — сказал Митёк. — А чего это ты об этом заговорил?

— Я вот думаю, — сказал я, показывая вилкой на висящий перед нашим столом картонный звездолет, — есть там внутри кто-нибудь или нет?

— Не знаю, — сказал Митёк. — Действительно, интересно.

Лагерь был расположен на пологом склоне горы; его нижняя часть образовывала что-то вроде парка. Митёк исчез, и я пошел туда один; через несколько минут я оказался в длинной и пустой кипарисовой аллее, где было уже полутемно. Вдоль асфальтовой пешеходной дорожки тянулась длинная проволочная сетка, на которой висели большие фанерные щиты с рисунками. На первом был пионер с простым русским лицом, глядящий вперед и прижимающий к бедру медный горн с флажком. На втором — тот же пионер с барабаном на ремне и палочками в руках. На третьем — он же, так же глядящий вдаль из-под поднятой для салюта руки. А дальше висел щит раза в два шире остальных и очень длинный — метра, наверно, в три. Он был двухцветным: справа, откуда я медленно шел, — красным, а дальше — белым, и делила эти два цвета набегающая на белое поле рваная волна, за которой оставался красный след. Я сначала не понял, что это такое, и только когда подошел ближе, узнал в переплетении красных и белых пятен лицо Ленина с похожим на таран выступом бороды и открытым ртом; у Ленина не было затылка — было только лицо, вся красная поверхность за которым уже была Лениным; он походил на бесплотного бога, как бы

проходящего рябью по поверхности созданного им мира.

Я споткнулся о выбоину в асфальте и перевел взгляд на следующий щит — это был пионер, но уже в космическом костюме, с красным шлемом в руке; на шлеме была надпись «СССР» и острая антенна. Следующий пионер высовывался из летящей ракеты и отдавал честь рукой в тяжелой перчатке. И последним был пионер в скафандре, стоящий на веселой желтой поверхности Луны рядом с космическим кораблем, похожим на картонную ракету из столовой; у него были видны только глаза, абсолютно такие же, как на остальных щитах, но из-за того, что вся остальная часть лица была скрыта шлемом, они казались полными невыразимой тоски.

Сзади долетели быстрые шаги — я обернулся и увидел Митька.

— Точно, — сказал он, подходя.

— Что точно?

— Смотри. — Он протянул ко мне ладонь, на которой было что-то темное. Я разглядел небольшую пластилиновую фигурку, голова которой была облеплена фольгой.

— Там внутри было маленькое картонное кресло, на котором он сидел, — сказал Митёк.

— Ты что, ракету из столовой разобрал? — спросил я.

Он кивнул.

— Когда?

— А только что. Минут десять назад. Самое странное, что там все... — Он скрестил пальцы, образовав из них решетку.

— В столовой?

— Нет, в ракете. Когда ее делали, начали с этого человечка. Слепили, посадили на стул и наглухо обклеили со всех сторон картоном.

Митёк показал мне обрывок картонки. Я взял его и увидел очень тщательно и мелко нарисованные приборы, ручки, кнопки, даже картину на стене.

— Но самое интересное, — задумчиво и как-то подавленно сказал Митёк, — что там не было двери. Снаружи люк нарисован, а изнутри на его месте стена с какими-то циферблатами.

Я еще раз поглядел на обрывок картонки и заметил иллюминатор, в котором голубела маленькая Земля.

— Найти бы того, кто эту ракету склеил, — сказал Митёк, — обязательно бы ему по морде дал.

— А за что? — спросил я.

Митёк не ответил. Вместо этого он размахнулся, чтобы швырнуть человечка за проволочную сетку, но я поймал его за руку и попросил отдать фигурку мне. Он не возражал, и следующие полчаса ушли у меня на то, чтобы отыскать пустую сигаретную пачку под футляр.

Эхо этого странного открытия настигло нас на следующий день, во время тихого часа. Открылась дверь, и Митька позвали; он вышел в коридор. Долетели обрывки разговора, несколько раз прозвучало слово «столовая», и все стало ясно. Я встал и вышел в коридор. Митька зажимали в углу усатый худой вожатый и рыжая низкая вожатая.

— Я тоже там был, — сказал я.

Вожатый одобрительно смерил меня взглядом.

— Вместе хотите ползти или по очереди? — спросил он. Я увидел у него в руке зеленую сумку с противогазом.

— Ну как же они вместе поползут, Коля, — застенчиво сказала вожатая, — когда у тебя противогаз один. По очереди.

Митёк, чуть оглянувшись на меня, шагнул вперед.

— Надевай, — сказал вожатый.

Митёк надел противогаз.

— Ложись.

Он лег на пол.

— Вперед, — сказал Коля, щелкая секундомером.

Коридор был длиной во весь корпус, поверхность пола была затянута линолеумом, и когда Митёк пополз вперед, линолеум тихо, но неприятно завизжал. Конечно, Митёк не уложился в три минуты, которые назначил вожатый, — он не дополз за них даже в один конец, — но когда он подполз к нам, Коля не заставил его повторить маршрут, потому что до конца тихого часа оставалось всего несколько минут. Митёк снял противогаз. Его лицо было красным, в каплях слез и пота, а на ступнях успели вздуться натертые о линолеум волдыри.

— Теперь ты, — сказал вожатый, передавая мне мокрый противогаз. — Приготовиться...

Загадочно и дивно выглядит коридор, когда смотришь в его затянутую линолеумом даль сквозь запотевшие стекла противогаза. Пол, на котором лежишь, холодит живот и грудь; дальний его край не виден, и бледная лента потолка сходится со стенами почти в точку. Противогаз слегка сжимает лицо, давит на щеки и заставляет губы вытянуться в каком-то полупоцелуе, относящемся, видимо, ко всему, что вокруг. До того, как тебя слегка пинают, давая команду ползти, проходит десятка два секунд; они тянутся томительно медленно, и успеваешь многое заметить. Вот пыль; вот несколько прозрачных песчинок в щели на стыке двух линолеумных листов; вот покрашенный сучок на планке, идущей по самому низу стены; вот муравей, ставший после смерти двумя тончайшими лепешечками и оставивший после себя маленький мокрый след в будущем — в полуметре, там, куда нога шедшего по коридору ступила через секунду после катастрофы.

— Вперед! — раздалось над моей головой, и я весело, искренне пополз вперед. Наказание казалось мне скорее шуткой, и я не понимал, чего это вдруг Митёк так суксился. Первые метров десять я прополз мигом; потом стало труднее. Когда ползешь, в какой-то момент отталкиваешься от пола тыльной частью ступни, а кожа там тонкая и нежная, и если на ногах ничего нет, почти сразу же натираешь мозоли. Линолеум прилипал к телу, и казалось, что сотни мелких насекомых впиваются мне в ноги или что я ползу по свежепроложенному асфальту. Я удивился тому, как медленно тянется время, — в одном месте на стене висела большая пионерская акварель, изображавшая крейсер «Аврору» в Черном море, и я заметил, что уже довольно долго ползу мимо нее, а она все висит на том же месте.

И вдруг все изменилось. То есть все продолжалось по-прежнему — я так же полз по коридору, как и раньше, — но боль и усталость, дойдя до непереносимости, словно выключили что-то во мне. Или, наоборот, включили. Я заметил, что вокруг очень тихо, только под моими локтями скрипит линолеум, словно по коридору катится что-то на ржавых колесиках; за окнами, далеко внизу, шумит море, и где-то еще дальше, словно бы за морем,

детскими голосами поет репродуктор:

Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко.

Не будь ко мне жестоко, жестоко не будь...

Жизнь была ласковым зеленым чудом; небо было неподвижным и безоблачным, сияло солнце — и в самом центре этого мира стоял двухэтажный спальный корпус, внутри которого проходил длинный коридор, по которому я полз в противогазе. И это было, с одной стороны, так понятно и естественно, а с другой — настолько обидно и нелепо, что я заплакал под своей резиновой мордой, радуясь, что мое настоящее лицо скрыто от вожатых и особенно от дверных щелей, сквозь которые десятки глаз глядят на мою славу и мой позор.

Еще через несколько метров мои слезы иссякли, и я стал лихорадочно искать какую-нибудь мысль, которая дала бы мне силы ползти дальше, потому что одного страха перед вожатым было уже мало. Я закрыл глаза, и настала ночь, бархатную тьму которой изредка пересекали вспыхивающие перед моими глазами звезды. Опять стала слышна далекая песня, и я тихо-тихо, а может быть и вообще про себя, запел:

От чистого истока в прекрасное далеко.

В прекрасное далеко я начинаю путь.

Над лагерем пронесся светлый латунный звук трубы — это был сигнал подъема. Я остановился и открыл глаза. До конца коридора оставалось метра три. На темно-серой стене передо мной висела полка, а на ней стоял желтый лунный глобус; сквозь запотевшие и забрызганные слезами стекла он выглядел размытым и нечетким; казалось, он не стоит на полке, а висит в сероватой пустоте.

Первый раз в жизни я выпил вина зимой, когда мне было четырнадцать лет. Произошло это в гараже, куда меня привел Митёк, — его брат, задумчивый волосатик, обманом избежавший армии, работал там сторожем. Гараж помещался на большой обнесенной забором территории, заставленной бетонными плитами, и мы с Митьком довольно долго лазили по ним, иногда оказываясь в удивительных местах, полностью отгороженных от всей остальной реальности и похожих на отсеки давно покинутого космического корабля, от которого остался только каркас, странно напоминающий нагромождение бетонных плит. К тому же фонари за косым деревянным забором горели загадочным и неземным светом, а в пустом и чистом небе висело несколько мелких звезд — словом, если бы не бутылки из-под сушняка и застывшие потеки мочи, вокруг был бы космос.

Митёк предложил пойти погреться, и мы направились к алюминиевой ребристой полусфере гаража, в которой тоже было что-то космическое. Внутри было темно; смутно виднелись контуры машин, от которых пахло бензином. В углу стояла дощатая будка со стеклянным окном, как бы пристроенная к стене; там горел свет. Мы с Митьком протиснулись внутрь, сели на узкой и неудобной лавке и молча напились чаю из облезлой жестяной кастрюли. Брат Митька курил длинные папиросы, разглядывал старый номер «Техники — молодежи» и совершенно никак не реагировал на наше присутствие. Митёк вытащил из-под лавки бутылку, со стуком поставил ее на цементный пол и спросил:

— Будешь?

Я кивнул, хоть мне и стало не по себе. Митёк до краев наполнил темно-красной жидкостью стакан, из которого я только что пил чай, протянул его мне; словно войдя в ритм какого-то процесса, я подхватил стакан, поднес его ко рту и выпил, удивившись, насколько мало усилий надо приложить для того, чтобы сделать что-то впервые. Пока Митёк с братом допивали остальное, я прислушивался к своим ощущениям, но со мной ничего не происходило. Я взял освободившийся журнал, наугад раскрыл его и попал на разворот с крохотными рисунками летательных аппаратов, названия которых надо было угадать. Один понравился мне больше других — это был американский самолет, крылья которого могли служить пропеллером на время взлета. Еще там была маленькая ракета с кабиной для пилота, но ее я не успел толком рассмотреть, потому что Митьков брат, молча и даже не подняв глаз, вытянул журнал из моих рук. Чтобы не показать обиды, я пересел к столу, на котором стояла банка с торчащим кипятильником и лежали полусохшие очистки колбасы. Мне вдруг стало противно от мысли, что я сижу в этой маленькой заплеванной каморке, где пахнет помойкой, противно от того, что я только что пил из грязного стакана портвейн, от того, что вся огромная страна, где я живу. — это много-много таких маленьких заплеванных каморок, где воняет помойкой и только что кончили пить портвейн, а самое главное — обидно от того, что именно в этих вонючих чуланчиках и горят те бесчисленные разноцветные огни, от которых у меня по вечерам захватывает дух, когда судьба пронесит меня мимо какого-нибудь высоко расположенного над вечерней столицей окна. И особенно обидным мне это показалось по сравнению с красивым американским летательным аппаратом из журнала. Я опустил глаза на газету, которой был застелен стол, — она была в жирных пятнах, в пропалинах от окурков и в круглых следах от стаканов и блюдец. Заголовки статей пугали какой-то ледяной нечеловеческой бодростью и силой — уже давно

ведь ничто не стояло у них на пути, а они со страшным размахом все били и били в пустоту, и в этой пустоте спьяну (а я заметил, что уже пьян, но не придавал этому значения) легко можно было оказаться и попасть замешкавшейся душой под какую-нибудь главную задачу дней или привет хлопкоробам. Комната вокруг стала совершенно незнакомой; на меня внимательно глядел Митёк. Поймав мой взгляд, он подмигнул и спросил чуть заплетающимся языком:

— Ну что, полетим на Луну?

Я кивнул, и мои глаза остановились на маленькой колонке с названием «Вести с орбиты». Нижняя часть текста была оборвана, и в колонке оставалось только: «Двадцать восьмые сутки...», напечатанное жирным шрифтом. Но и этого было достаточно — я все сразу понял и закрыл глаза. Да, это было так — норы, в которых проходила наша жизнь, действительно были темны и грязны, и сами мы, может быть, были под стать этим норам — но в синем небе над нашими головами среди реденьких и жидких звезд существовали особые сверкающие точки, искусственные, медленно ползущие среди созвездий, созданные тут, на советской земле, среди блевоты, пустых бутылок и вонючего табачного дыма, — построенные из стали, полупроводников и электричества и теперь летящие в космосе. И каждый из нас — даже синелицкий алкоголик, жабой затаившийся в сугробе, мимо которого мы прошли по пути сюда, даже брат Митька и уж конечно Митёк и я имел — там, в холодной чистой синеве, свое маленькое посольство.

Я выбежал во двор и, долго-долго глотая слезы, глядел на желто-голубой, неправдоподобно близкий шар луны в прозрачном зимнем небе.

Не помню момента, когда я решил поступать в летное училище. Не помню, наверно, потому, что это решение вызрело в душе и у меня и у Митька задолго до окончания школы. Перед нами на некоторое время встала проблема выбора — летных училищ было много по всей стране, — но мы решили все очень быстро, увидев в журнале «Советская авиация» цветной разворот-вклейку про жизнь Лунного городка при Зарайском Краснознаменном летном училище имени Маресьева. Мы сразу словно оказались в толпе курсантов, среди покрашенных желтой краской фанерных гор и кратеров, узнали будущих себя в стриженных ребятах, кувыркающихся на турнике и обливающихся застывшей на снимке водой из большого эмалированного таза такого нежно-персикового оттенка, что сразу вспоминалось детство, и этот цвет почему-то вызывал больше доверия и желания ехать учиться в Зарайск, чем все помещенные рядом фотографии авиационных тренажеров, похожих на кишасщие людьми полуразложившиеся трупы самолетов.

Когда решение было принято, остальное оказалось несложным. Родители Митька, напуганные непонятной судьбой его старшего брата, были рады, что их младший сын окажется при таком уверенном и надежном деле; мой же отец к этому времени окончательно спился и большую часть времени лежал на диване лицом к стене, под ковром с пучеглазым оленем; по-моему, он даже не понял, что я собираюсь в летчики, а тетке было все равно.

Помню город Зарайск. Точнее, нельзя сказать ни что я его помню, ни что я его забыл — настолько в нем мало того, что можно забыть или помнить. В самом его центре высилась белокаменная колокольня, с которой когда-то давно прыгнула на камни княгиня, и хоть прошло уже много веков, ее поступок в городе помнили. Рядом стоял музей истории, а неподалеку от него — отделения связи и милиции.

Когда мы вышли из автобуса, шел неприятный косой дождь и было холодно. Мы забились под навес подвала со словом «Агитпункт» и полчаса ждали, пока дождь пройдет. За дверью, кажется, пили; оттуда долетал густой луковый запах и голоса: кто-то долго предлагал спеть «мерси ку-ку», и, наконец, немолодые мужские и женские голоса затаили:

Пора-пора-порадуемся на своем веку...

Дождь перестал, мы пошли искать автобус и нашли тот самый, на котором приехали. Оказалось, что нам не надо было выходить и мы могли переждать дождь в салоне, пока водитель обедал. За окнами потянулись маленькие деревянные домики, потом они кончились и начался лес. В этом лесу, уже за городом, и было расположено Зарайское летное училище. До него надо было добираться пешком километров пять от конечной остановки автобуса, называвшейся «Овощной магазин», — магазина рядом не было, а это название осталось, как нам объяснили, с довоенных времен. Мы с Митьком сошли с автобуса и пошли по дороге, присыпанной размокшими осиновыми сережками: она вела все дальше в лес, и когда мы уже стали подумывать, что идем не туда, вдруг увидели сваренные из стальных труб ворота с большими жестяными звездами; по бокам лес упирался в высокий забор из некрашенных серых досок, по верху которого змеилась ржавая колючая проволока.

Мы предъявили сонному солдату на проходной направления из райвоенкомата и недавно полученные паспорта, и нас пустили внутрь, велел идти к клубу, где скоро должна была начаться встреча.

В глубь небольшого поселка вела асфальтовая дорога, справа от которой сразу же начался тот самый Лунный городок, который я видел в журнале, он состоял из нескольких длинных одноэтажных бараков желтого цвета, десятка врытых в землю шин и участка, изображавшего панораму лунной поверхности. Мы прошли мимо и оказались у гарнизонного клуба — там у колонн толпились приехавшие поступать ребята. Вскоре к нам вышел офицер, назначил кого-то старшим и велел зарегистрироваться в приемной комиссии, а потом идти получать инвентарь.

Из-за жары приемная комиссия сидела в решетчатой беседке китайского вида во дворе клуба — это были три офицера, которые пили пиво под негромкую восточную музыку по радио и выдавали картонки с номерами в обмен на документы. Потом нас повели на край стадиона, заросшего высокой, в пояс, травой (видно было, что никто на нем уже лет десять ни во что не играл), и выдали две сложенных общевоинских палатки — в них нам предстояло жить во время экзаменов. Это были свернутые полотнища тяжелой резины, которые нам пришлось натягивать на врытых в землю деревянных шестах. Мы перезнакомились, таская в палатки койки, которые потом установили внутри в два яруса, — койки были старые, тяжелые, с никелированными шариками, которые можно было накрутить на спинку, если она не соединялась с койкой наверху. Эти шарики нам дали отдельно, в специальном мешочке, и когда экзамены кончились, я тайком свинтил один такой и спрятал его в ту же сигаретную пачку, где хранился пластилиновый пилот с головой из фольги — единственный свидетель далекого и незабываемого южного вечера.

Кажется, мы провели в этих палатках совсем немного времени, но когда их сняли, оказалось, что под резиновым полом успела вырасти отвратительно бесцветная, толстая и густая трава. Самых экзаменов я почти не запомнил. Помню только, что они оказались совсем не сложными, и даже было немного обидно, что не удалось поместить на экзаменационном листе все те формулы и графики, в которые впитались долгие весенние и летние дни, проведенные над раскрытыми учебниками. Мы с Митьком набрали нужные баллы без труда; потом было собеседование, которого все боялись больше всего. Его проводили майор, полковник и какой-то дедок с кривым шрамом на лбу, одетый в потертую техническую форму. Я сказал, что хочу в отряд космонавтов, и полковник спросил меня, что такое советский космонавт. Я долго не мог найти правильный ответ; наконец по тоске на лицах экзаменаторов я понял, что сейчас меня отправят в коридор.

— Хорошо, — заговорил молчавший до сих пор дедок. — а вы помните, как вам в голову пришла мысль стать космонавтом?

Я ощутил отчаяние, потому что совершенно не представлял, как надо правильно отвечать на этот вопрос. И, видимо от отчаяния, принялся рассказывать про красного пластилинового человечка и картонную ракету, из которой не было выхода. Дедок сразу оживился, заблестел глазами, а когда я дошел до того, как нам с Митьком пришлось ползти в противогазе по коридору, вообще схватил меня за руку и захохотал, отчего шрам у него на лбу стал совсем багровым. Потом он вдруг посерьезнел.

— А ты знаешь, — сказал он, — что это непростое дело — в космос летать? А если Родина попросит жизнь отдать? Тогда что, а?

— Это уж как водится, — насупившись, сказал я.

Тогда он уставился мне в глаза и смотрел, наверное, минуты три.

— Верю, — сказал он наконец, — можешь.

Услышав, что Митёк, который с детства хотел на Луну, поступает тоже, он записал его фамилию на листе бумаги. Митёк потом рассказывал, что старичок долго выяснял, почему именно на Луну.

На следующий день после завтрака на колоннах гарнизонного клуба появились списки с фамилиями поступивших; мы с Митьком в списке стояли рядом, не по алфавиту. Кто-то поплелся на апелляцию, кто-то прыгал от радости на расчерченном белыми линиями асфальте, кто-то бежал к телефону, и над всем этим, помню, тянулась в выцветшем небе белая полоса инверсионного следа.

Зачисленных на первый курс позвали на встречу с летно-преподавательским составом — преподаватели уже ждали в клубе. Помню тяжелые бархатные шторы, стол во всю сцену и сидящих за ним официально строгих офицеров. Вел встречу молодежавый подполковник с острым хрящеватым носом; пока он говорил, я представлял его в летном комбинезоне и гермошлеме, сидящим в кабине пятнистого, как дорогие джинсы, МИГа.

— Ребята, очень не хочется вас пугать, очень не хочется начинать нашу беседу со страшных слов, так? Но вы ведь знаете: не мы с вами выбираем время, в которое живем, — время выбирает нас. Может быть, с моей стороны и неверно давать вам такую информацию, так, но все же я скажу...

Подполковник замолчал на секунду, нагнулся к сидящему рядом с ним майору и что-то сказал ему на ухо. Майор нахмурился, постучал, раздумывая, по столу тупым концом карандаша и потом кивнул.

— Значит, — заговорил подполковник тихим голосом. — недавно на закрытом совещании армейских политработников время, в которое мы живем, было определено как предвоенное!

Подполковник замолчал, ожидая реакции, но в зале, видимо, ничего не поняли — во всяком случае, ничего не поняли мы с Митьком.

— Поясняю, — сказал он тогда еще тише, — совещание было пятнадцатого июля, так? Значит, до пятнадцатого июля мы жили в послевоенное время, а с тех пор — месяц уже целый — живем в предвоенное, ясно или нет?

Несколько секунд в зале стояла тишина.

— Я это говорю не к тому, чтоб пугать, — заговорил уже нормальным голосом подполковник, — просто надо помнить, какая на наших с вами плечах ответственность, так? Вы правильно сделали, что пришли в наше училище. Сейчас я хочу сказать вам, что мы тут готовим не просто летчиков, а в первую очередь настоящих людей, так? И когда вы получите дипломы и воинские звания, будьте уверены, что к этому времени вы станете настоящими людьми с самой большой буквы, так, какая только бывает в советской стране.

Подполковник сел, поправил галстук и поймал губами край стакана — руки у него тряслись, и мне показалось, что я услышал тихий-тихий звон зубов о стекло. Встал майор.

— Ребята, — певуче сказал он, — хотя правильнее уже называть вас курсантами, но все же обращусь к вам так — ребята! Вспомните знаменитую историю легендарного персонажа, воспетого Борисом Полевым! Того, в чью честь названо наше училище! Он, потеряв в бою обе ноги, не сдался, а, встав на протезы, Икаром взмыл в небо бить фашистского гада! Многие говорили ему, что это невозможно, но он помнил главное — что он советский человек!

Не забывают этого и вы, никогда и нигде не забывают! А мы, летно-преподавательский состав, и лично я, летающий замполит училища, обещаем: мы из вас сделаем настоящих людей в самое короткое время!

Потом нам показали наши места в казарме первого курса, куда нас перемещали из палаток, и повели в столовую. С ее потолка свисали на нитях пыльные МИГи и ИЛы, казавшиеся громадными воздушными островами рядом с эскадрильями быстрых черных мух. Обед был довольно невкусный: суп с макаронными звездочками, курица с рисом и компот. После еды очень захотелось спать; мы с Митьком еле добрались до коек, и я сразу уснул.

На следующее утро я проснулся от стога, полного боли и недоумения. На самом деле я уже давно слышал эти звуки сквозь сон, но полностью очнулся только от особенно громкого и страдальческого вскрика. Я открыл глаза и огляделся. На койках вокруг происходило какое-то непонятное медленно-мычащее шевеление — я попытался приподняться на локте, но не смог, потому что был, как оказалось, пристегнут к койке несколькими широкими ремнями наподобие тех, которыми стягивают распухшие чемоданы; единственное, что я мог, — это чуть поворачивать голову из стороны в сторону. С соседней койки на меня смотрели полные страдания глаза Славы, паренька из поселка Тында, с которым я вчера успел познакомиться, а нижняя часть его лица была скрыта под какой-то натянутой тряпкой. Я открыл было рот, чтобы спросить его, в чем дело, но обнаружил, что не могу пошевелить языком и вообще не чувствую всей нижней половины лица, словно она затекла. Я догадался, что мой рот тоже чем-то заткнут и перемотан, но удивиться этому не успел, потому что вместо удивления испытал ужас: там, где должны были быть Славины ступни, одеяло ступенькой ныряло вниз и на свеженакрахмаленном пододеяльнике проступали размытые красноватые пятна — такие оставляет на вафельных полотенцах арбузный сок. Самое страшное, что собственных ног я не чувствовал и не мог поднять голову, чтобы взглянуть на них.

— Пятый взву-уд! — загремел в дверях необыкновенно богатый интонациями, полный множества намеков сержантский бас. — На перевязку!

И сейчас же в палату вошло человек десять — это были второкурсники и третьекурсники (правильнее сказать — курсанты второго и третьего года службы; об этом я догадался по нашивкам на их рукавах). Раньше я их не видел, а офицеры говорили, что они на картошке. Они были в странных сапогах с негнушимися голенищами и ступали не очень уверенно, держась то за стены, то за спинки кроватей. Еще я заметил нездоровую бледность их лиц, на которых застыл отпечаток многодневной муки, словно переплавленной в какую-то невыразимую готовность; как ни неуместно это было, но в этот момент я вспомнил слова пионерского заклинания, которые мы с Митьком вместе со всеми повторяли в пионерлагере, на асфальтовой площадке, — вспомнил и понял, в чем именно, крича: «Всегда готов!» — мы обманно уверяли себя, товарищей по линейке и прозрачное июльское утро.

Одну за другой курсанты выкатили в коридор койки, на которых мычали и извивались примотанные первогодки, и в комнате осталось только две — моя и стоявшая у окна, на которой лежал Митёк. Ремни не давали мне повернуть голову, но краем глаза я видел, что он лежит спокойно и вроде бы спит.

За нами пришли минут через десять, развернули ногами вперед и покатали по коридору. Один из курсантов толкал койку, а другой шел спиной вперед и тянул ее на себя; выглядело это так, словно он пятился по коридору, отталкивая несущуюся за ним койку. Мы зарулили в длинный узкий лифт с дверями с обеих сторон и поехали вверх, потом второкурсник пропятился от меня еще по одному коридору, и мы остановились возле обитой черным двери с большой коричневой табличкой, которую я не смог прочесть из-за своей неудобной позы. Дверь открылась, и меня вкатили в комнату, где под потолком висела огромная хрустальная люстра в виде авиабомбы, а по верхней части стены шла полоса выпуклого орнамента из серпов, молотов и увитых виноградом ваз.

С меня сняли ремни, и я приподнялся на локтях, стараясь не смотреть себе на ноги; передо мной в глубине комнаты стоял массивный письменный стол с зеленой лампой, освещенный косо падающим из высокого узкого окна серым светом. Сидящий за столом был от меня скрыт развернутым номером «Правды», с первой страницы которой глядело морщинистое лицо с добрыми лучистыми глазами, наведенными прямо на меня. Заскрипел линолеум пола, и рядом с моей койкой затормозила койка Митька.

Газета несколько раз прошуршала переворачиваемыми страницами и легла на стол.

Перед нами сидел тот самый старичок со шрамом на лбу, который во время собеседования хватал меня за руку. Сейчас на нем был мундир генерал-лейтенанта с золотыми венчиками на петлицах, волосы были тщательно приглажены, а взгляд был ясным и трезвым. И еще я заметил, что его лицо как бы повторяло лицо с обложки «Правды», которое глянуло на меня минуту назад; получилось совсем как в фильме, где вначале долго показывали одну икону, а потом на ее месте постепенно возникла другая — изображения были похожие, но разные, и из-за того, что момент перехода был размазан, казалось, что икона меняется на глазах.

— Поскольку нам с вами, ребята, предстоит еще довольно долгие отношения, можете называть меня «товарищ начальник полета», — сказал старичок. — Хочу вас поздравить — по итогам экзаменов и особенно собеседования, — тут старичок подмигнул, — вы зачислены сразу на первый курс секретной космической школы при первом отделе КГБ СССР. Так что настоящими людьми станете как-нибудь потом, а пока собирайтесь в Москву. Там и встретимся.

Смысл этих слов дошел до меня только в пустой палате, куда нас отвезли по тем же длинным коридорам, линолеум которых пел под крошечными стальными колесиками койки что-то тихое и исполненное ностальгии, заставившее меня непонятно почему вспомнить давний июльский полдень у моря.

Весь день мы с Митьком проспали — кажется, за прошлым ужином нас накормили каким-то снотворным (спать хотелось и на следующий день). — а вечером за нами зашел веселый желтоволосый лейтенант в громко скрипящих сапожках и, хохоча и балагуря, отвез по очереди наши койки на асфальтовый плац перед бетонной раковиной эстрады, где за столом сидело несколько высших генералов с интеллигентными добрыми лицами, и среди них — товарищ начальник полета. Мы с Митьком могли, конечно, пойти и сами, но лейтенант сказал, что это общий порядок для первого курса, и велел нам лежать тихо, чтобы не смущать остальных.

Из-за множества стоящих впритирку друг к другу коек плац был похож на двор автомобильного завода или тракторного комбината; над ним по сложной траектории порхал придавленный стон: исчезая в одном месте, он возникал в другом, в третьем — словно над койками носился огромный невидимый комар. По дороге желтоволосый лейтенант сказал, что сейчас начнется выпускной вечер, совмещенный с последним госэкзаменом.

А вскоре он сам, первый из полусотни таких же лейтенантов, волнуясь и бледнея, но с неподражаемым мастерством танцевал перед приемной комиссией «Калинку» под скупую на лишний перебор гармонь летающего замполита. Фамилия лейтенанта была Ландратов — я услышал ее, когда начальник полета вручил ему раскрытую красную книжечку и поздравил с получением диплома. Потом тот же танец исполняли остальные, и под конец мне наскучило смотреть на них. Я повернулся к начинавшемуся сразу за плацем полю стадиона и вдруг понял, почему над ним стелется такой высокий бурьян.

Я долго глядел, как его стебли качаются под ветром. Мне казалось, что серый, растрескавшийся от дождей забор с колючкой, начинающийся сразу за развалившимися футбольными воротами, — это и есть Великая Стена, и, несмотря на все отодранные и покосившиеся доски, она, как и тысячи лет назад, тянется с полей далекого Китая до города Зарайска и делает древнекитайским все появляющееся на ее фоне: и решетчатые беседки, где в жару работает приемная комиссия, и списанный ржавый истребитель, и древние общевойсковые шатры, на которые я гляжу со своей койки, сжимая под одеялом свинченный на память никелированный шарик.

На следующий день грузовик провез нас с Митьком по летнему лесу и полю; мы сидели на своих рюкзаках, прислонясь к прохладному стальному борту. Помню качающийся край брезентовой полости, за которым мелькали стволы деревьев и усохшие серые столбы давно оборванного телеграфа. Время от времени деревья расступались и вверху мелькал треугольник задумавшегося бледного неба. Потом была остановка и пять минут тишины, перемежавшейся только далеким тяжелым стуком; вышедший по нужде шофер объяснил, что это бьют короткими очередями несколько пулеметов на стрельбище пехотного училища имени Александра Матросова. Опять началась долгая тряска в кузове; я заснул, а проснулся на несколько секунд уже в Москве, когда в брезентовой щели мелькнули — будто из какого-то далекого школьного лета — арки «Детского мира».

Часто в детстве я представлял себе газетный разворот, еще пахнувший свежей краской, с моим большим портретом посередине (я в шлеме и улыбаюсь) и подписью: «Космонавт Омон Кривомазов чувствует себя отлично!» Сложно понять, почему мне этого так хотелось. Я, наверное, мечтал прожить часть жизни через других людей — через тех, кто будет смотреть на эту фотографию и думать обо мне, представлять себе мои мысли, чувства и строй моей души. И самое, конечно, главное — мне хотелось самому стать одним из других людей; уставиться на собственное, составленное из типографских точек лицо, задуматься над тем, какие этот человек любит фильмы и кто его девушка, — а потом вдруг вспомнить, что этот Омон Кривомазов и есть я. С тех пор, постепенно и незаметно, я изменился. Меня перестало слишком интересовать чужое мнение, потому что я знал: до меня другим все равно не будет никакого дела, и думать они будут не обо мне, а о моей фотографии с тем же безразличием, с которым я сам думаю о фотографиях других людей. Поэтому новость о том, что мой подвиг останется никому не известным, не была для меня ударом; ударом была новость, что придется совершать подвиг.

К начальнику полета нас с Митьком водили по очереди, на следующий день после приезда, сразу после того, как одели в черную форму вроде суворовской — только погоны были ярко-желтыми, с непонятными буквами «ВКУ». Сперва пошел Митёк, а часа через полтора вызвали меня.

Когда передо мной раскрылись высокие дубовые двери, я даже оторопел — до того увиденное напоминало сцену из какого-то военного фильма. В центре кабинета был накрытый большой желтой картой стол, за которым стояли несколько человек в военной форме — начальник полета, три генерала, совершенно не похожие друг на друга, но все очень похожие на писателя и драматурга Генриха Боровика, и два полковника, один низкий и толстый, с малиновым лицом, а другой — худенький и жидковолосый, напоминающий пожилого болезненного мальчика; он был в темных очках и сидел в инвалидном кресле.

— Начальник ЦУПа полковник Халмурадов. — сказал начальник полета, указывая на толстяка с малиновым лицом.

Тот кивнул.

— Замполит особого отряда космонавтов полковник Урчагин.

Полковник в кресле повернул ко мне голову, чуть наклонился вперед и снял очки, словно чтобы лучше меня разглядеть. Я непроизвольно вздрогнул — он был слепым; веки одного его глаза срослись, а между ресницами другого чуть поблескивала беловатая слизь.

— Можешь звать меня Бамлагом Ивановичем, Омон, — сказал он высоким тенором. — Надеюсь, мы с тобой подружимся.

Почему-то начальник полета не представил мне генералов, а они никак своим поведением не показали, что хотя бы видят меня. Впрочем, я, кажется, видел одного из них на экзамене в Зарайском летном.

— Курсант Кривомазов, — представил меня начальник полета. — Ну что, можем начинать?

Он повернулся ко мне, сложил руки на животе и заговорил:

— Ты, Омон, наверное, читаешь газеты, смотришь фильмы и знаешь, что американцы высадили на Луну несколько своих космонавтов и даже ездили по ней на мотоколяске. Цель

вроде бы мирная, но это как посмотреть. Представь себе простого человека труда из какого-нибудь небольшого государства, скажем, в Центральной Африке...

Начальник полета наморщил лицо и сделал вид, что засучивает рукава и вытирает пот со лба.

— И вот он видит, что американцы высадились на Луне, а мы... Понимаешь?

— Так точно, товарищ генерал-лейтенант! — ответил я.

— Главная цель космического эксперимента, к которому тебя начинают готовить, Омон, — это показать, что технически мы не уступаем странам Запада и тоже в состоянии отправлять на Луну экспедиции. Послать туда возвращаемый пилотируемый корабль нам сейчас не по силам. Но есть другая возможность — послать туда автоматический экипаж, который не потребует возвращать назад.

Начальник полета наклонился над рельефной картой с выступающими горами и маленькими лунками кратеров. По ее центру шла ярко-красная линия, похожая на свежепрокорябанную гвоздем царапину.

— Это фрагмент лунной поверхности, — сказал начальник полета. — Как ты знаешь, Омон, наша космическая наука преимущественно исследует обратную сторону Луны, в отличие от приземляющихся на дневной стороне американцев. Вот эта длинная полоса — так называемая трещина имени Ленина, открытая несколько лет назад отечественным спутником. Это уникальное геологическое образование, в район которого в прошлом году была отправлена автоматическая экспедиция по получению образцов лунного грунта. По предварительным результатам исследований сложилось мнение о необходимости дальнейшего изучения трещины. Тебе, наверно, известно, что наша космическая программа ориентирована в основном на автоматические средства — это американцы рискуют человеческими жизнями. Мы подвергаем опасности только механизмы. И вот возникла мысль об отправке специального самоходного транспортного средства, так называемого лунохода, который проедет по дну трещины и передаст на Землю научную информацию.

Начальник полета открыл ящик стола и, не отводя от меня глаз, стал шарить там рукой.

— Общая длина трещины — сто пятьдесят километров, а ширина и глубина крайне незначительны и измеряются метрами. Предполагается, что луноход проедет по ней семьдесят километров — на столько должно хватить энергии в аккумуляторах — и установит в ее центре вымпел-радиобуй, который передаст в космос преобразованные в радиоимпульсы слова «МИР», «ЛЕНИН» и «СССР».

В его руке появилась маленькая машинка красного цвета. Он завел ее ключом и поставил в начале красной линии на карте. Машинка зажужжала и поползла вперед. Это была детская игрушка: напоминающий маленькую консервную банку корпус на восьми маленьких черных колесах, со словом «СССР» на борту и двумя похожими на глаза выступами впереди. Все напряженно провожали ее взглядом: даже полковник Урчагин поворачивал голову синхронно с остальными. Машинка доехала до края стола и свалилась на пол.

— Где-то так, — задумчиво сказал начальник полета и вскинул на меня глаза.

— Разрешите обратиться! — услышал я свой голос.

— Валяй.

— Но ведь луноход автоматический, товарищ генерал-лейтенант!

— Автоматический.

— Так зачем тогда я?

Начальник полета опустил голову и вздохнул.

— Бамлаг, — сказал он, — давай.

Тихонько зажужжал электромотор кресла, и полковник Урчагин выехал из-за стола.

— Пойдем прогуляемся, — сказал он, подъехав и взяв меня за рукав.

Я вопросительно поглядел на начальника полета. Он кивнул головой. Вслед за Урчагиным я вышел в коридор, и мы медленно двинулись вперед — я шел, а он ехал рядом, регулируя скорость рычагом, на конец которого был насажен самодельный шарик из розового плексигласа с резной красной розой внутри. Несколько раз Урчагин открывал рот и собирался заговорить, но каждый раз закрывал его, и я уже подумал, что он не знает, с чего начать, когда он вдруг метко схватил меня за запястье чуть влажной узкой ладонью.

— Слушай меня внимательно и не перебивай, Омон, — сказал он задушевно, словно мы только что вместе пели у костра под гитару. — Начну издалека. Понимаешь ли, в судьбе человечества много путаного, много кажущейся бессмыслицы, много горечи. Надо видеть очень ясно, очень четко, чтобы не наделать ошибок. В истории ничего не бывает так, как в учебниках. Диалектика в том, что учение Маркса, рассчитанное на передовую страну, победило в самой отсталой. У нас, коммунистов, не было времени доказать правоту наших идей — слишком много сил отняла война, слишком долгой и серьезной оказалась борьба с эхом прошлого и врагами внутри страны. Мы не успели технологически победить Запад. Но борьба идей — это такая область, где нельзя останавливаться ни на секунду. Парадокс — и, опять же, диалектика — в том, что обманом мы помогаем правде, потому что марксизм несет в себе всепобеждающую правду, а то, за что ты отдашь свою жизнь, формально является обманом. Но чем сознательнее...

У меня под ложечкой екнуло, и я рефлекторно попытался вырвать свою кисть, но ладонь полковника Урчагина словно превратилась в маленький стальной обруч.

— ...сознательнее ты осуществишь свой подвиг, тем в большей степени он будет правдой, тем больший смысл обретет короткая и прекрасная твоя жизнь!

— Отдам жизнь? Какой подвиг? — дурным голосом спросил я.

— А тот самый, — тихо-тихо и словно испуганно ответил полковник. — который уже совершило больше ста таких же ребят, как ты и твой друг.

Он помолчал, а потом заговорил прежним тоном:

— Ты ведь слышал, что наша космическая программа основана на использовании автоматики?

— Слышал.

— Так вот, сейчас мы с тобой пойдем в триста двадцать девятую комнату, и тебе расскажут, что такое наша космическая автоматика.

— Товарищ полковник!..

— «Товарищ полковник!» — передразнил он. — Тебя ведь в Зарайском летном ясно спросили — готов жизнь отдать? Ты что ответил?

Я сидел на железном стуле, привинченном к полу в центре комнаты; мои руки были пристегнуты к подлокотникам, а ноги — к ножкам. Окна комнаты были плотно зашторены, а в углу стоял небольшой письменный стол с телефоном без диска. Напротив меня сидел в своем кресле полковник Урчагин: говорил он посмеиваясь, но я чувствовал, что он абсолютно серьезен.

— Товарищ полковник, вы поймите, я ведь совсем простой парень. Вы меня принимаете за кого-то... А я совершенно не из тех, кто...

Кресло Урчагина зажужжало, он тронулся с места, подъехал ко мне вплотную и остановился.

— Подожди, Омон, — сказал он, — подожди-ка. Вот мы и приехали. А как ты думаешь, чьей кровью полита наша земля? Думаешь, какой-то особенной? Какой-то специальной кровью? Каких-то непростых людей?

Он протянул ко мне руку, ощупал мое лицо и ударил меня сухим кулачком по губам — несильно, но так, что я почувствовал вкус крови во рту.

— Вот такой же точно и полита. Таких ребят, как ты...

Он потрепал меня за шею.

— Не сердись, — сказал он, — я теперь тебе второй отец. Могу и ремнем выдрать. Чего жмешься, как баба?

— Я, Бамлаг Иванович, не чувствую, что готов к подвигу, — слизывая кровь, ответил я. — То есть чувствую, что не готов... Лучше уж назад в Зарайск, чем так...

Урчагин наклонился ко мне и, поглаживая меня по шее, заговорил совсем тихо и ласково:

— Вот ты дурачок-то какой, Омка. Ты пойми, милый, что в этом и суть подвига, что его всегда совершает не готовый к нему человек, потому что подвиг — это такая вещь, к которой подготовиться невозможно. То есть можно, например, наловчиться быстро подбегать к амбразуре, можно привыкнуть ловко прыгать на нее грудью, этому всему мы учим, но вот самому духовному акту подвига научиться нельзя, его можно только совершить. Чем больше тебе перед этим хотелось жить, тем лучше для подвига. Подвиги, даже невидимые, необходимы стране — они питают ту главную силу, которая...

Я услышал громкое карканье. За шторой мелькнула черная тень близко пролетевшей птицы, и полковник замолчал. Минуту он размышлял в своем кресле, включил двигатель и укатил в коридор. Дверь за ним хлопнула, а через минуту снова открылась, и в комнату вошел желтоволосый лейтенант ВВС с резиновым шлангом в руке. Его лицо показалось мне знакомым, но я не мог сообразить, где я его видел.

— Узнаешь? — спросил он.

Я помотал головой. Он подошел к столу и сел на него, свесив ноги в блестящих черных сапогах гармошкой, глянув на которые я вспомнил, где его видел. — это был тот самый лейтенант из Зарайского летного, который вывозил наши с Митьком койки на плац. Я даже помнил его фамилию.

— Лан... Лан...

— Ландратов, — сказал он, сгибая шланг. — С тобой поговорить послали. Урчагин послал. Ты чего, правда назад в Маресьевское хочешь?

— Я не то что туда хочу, — сказал я, — я на Луну не хочу. Подвиг совершать.

Ландратов хмыкнул и хлопнул себя ладонями по животу и по бедрам.

— Интересно. — сказал он, — не хочешь. Ты думаешь, они тебя теперь в покое оставят? Отпустят? Или в училище вернут? А если и вернут даже — ты хоть знаешь, что это такое, когда встаешь с койки и делаешь первые шаги на костылях? Или как себя перед дождем чувствуешь?

— Не знаю, — сказал я.

— А может, думаешь, когда ноги заживут, малина пойдет? В прошлом году у нас двух человек за измену Родине судили. С четвертого курса занятия начинаются на тренажерах — знаешь, что это такое?

— Нет.

— В общем, все как в самолете, сидишь в кабине, ручка у тебя, педали, только смотришь на экран телевизора. Так эти двое на занятии, вместо того чтоб иммельман отрабатывать, пошли, суки, на запад на предельно малой. И не отвечают по радио. Их потом вытаскивают и спрашивают — вы чего, орлы? На что рассчитывали, а? Молчат. Один, правда, ответил потом. Хотел, говорит, ощутить, говорит. Хоть на минуту...

— И что с ними было?

Ландратов сильно ударил шлангом по столу, на котором сидел.

— Да какая разница, — сказал он. — Главное что — ведь их тоже понять можно. Все время надеешься, что в конце концов летать начнешь. Так что когда тебе потом всю правду говорят... Думаешь, ты кому-то без ног нужен? Да и самолетов у нас в стране всего несколько, летают вдоль границ, чтоб американцы фотографировали. И то...

Ландратов замолчал.

— Чего «и то»?

— Неважно. Я что сказать хочу — думаешь, после Зарайского училища облака рассекать будешь в истребителе? В лучшем случае попадешь в ансамбль песни и пляски какого-нибудь округа ПВО. А скорее всего вообще будешь «Калинку» в ресторане танцевать. Третью наших спивается, а треть — у кого операция неудачно прошла — вообще самоубийством кончает. Ты, кстати, как к самоубийству относишься?

— Так как-то, — сказал я. — Не думал.

— А я думал раньше. На втором курсе особенно. Особенно один раз, когда по телевизору Уимблдонский турнир показывали, а я в клубе дежурил с костылями. Такая тоска взяла. А потом ничего, отошел. Тут, знаешь, надо про себя что-то решить, а потом уже легче. Так что ты смотри, если у тебя такие мысли появятся, не поддавайся. Ты лучше подумай, сколько интересного увидишь, если на Луну двинешь. Все равно ведь эти суки живым не отпустят. Соглашайся, а?

— Ты их, похоже, не очень любишь, — сказал я.

— А за что их любить? Они же правды слова не скажут. Кстати, ты когда будешь с начальником полета говорить. ты ничего не упоминай про смерть или про то, что ты вообще на Луну летишь. Говорить только про автоматику, понял? А то опять в этой комнате беседовать будем. Я ведь человек служебный.

Ландратов покачал в воздухе шлангом, вынул из кармана пачку «Полета» и закурил.

— А друг твой сразу согласился, — сообщил он.

Когда я вышел на воздух, у меня слегка кружилась голова. Внутренний двор, отделенный от города огромным серо-коричневым квадратом здания, очень напоминал кусок подмосковного поселка, вырезанный точно в форме двора и перенесенный сюда: была тут и деревянная беседка с облупленной краской, и сваренный из железных труб турник, на котором сейчас висела зеленая ковровая дорожка, — видно, ее выбивали да и забыли; были огороды, курятник и спортивная площадка, несколько теннисных столов и круг наполовину врытых в землю раскрашенных автомобильных шин, сразу же напомнивший мне фотографии Стоунхеджа. Митёк сидел на лавке возле выхода; я подошел, сел рядом, вытянул ноги и поглядел на черные форменные штаны, заправленные в сапоги, — почему-то после беседы с Ландратовым мне казалось, что в них не мои ноги.

— Неужели все это правда? — тихо спросил Митёк.

Я пожал плечами. Я не знал, что именно он имеет в виду.

— Ладно, насчет авиации я поверить еще могу, — сказал он. — Но вот насчет атомного оружия... Допустим, в сорок седьмом еще можно было заставить подпрыгнуть два миллиона политзаключенных. Но сейчас-то их у нас нет, а атомное оружие ведь каждый месяц...

Открылась дверь, из которой я только что вышел, и во двор выехало кресло полковника Урчагина; он затормозил и несколько раз обвел двор ухом. Я понял, что он ищет нас, чтобы добавить что-то к сказанному, но Митёк затих, и Урчагин, видно, решил нас не тревожить. Зажужжал электромотор кресла, и оно поехало к противоположному крылу здания; проезжая мимо нас, Урчагин с улыбкой повернул голову и словно заглянул нам в души добрыми впадинами глазниц.

Думаю, что большинство москвичей отлично знает, что находится глубоко под их ногами в те часы, когда они стоят в очередях «Детского мира» или проезжают через станцию «Дзержинская». Поэтому не буду повторяться.

Скажу только, что макет нашей ракеты был выполнен в натуральную величину и рядом с ним мог поместиться еще один такой же. Интересно, что лифт был старым, еще довоенным, и ехал вниз так долго, что можно было успеть прочитать две-три книжные страницы.

Макет ракеты был собран довольно условно, местами даже просто сколочен из досок, и только рабочие места экипажа точно повторяли настоящие. Все это предназначалось для практических занятий, которые у нас с Митьком должны были начаться еще не скоро. Но несмотря на это, нас перевели жить глубоко вниз, в просторный бокс с двумя картинами, изображавшими окна с панорамой строящейся Москвы. Там стояло семь коек, и мы с Митьком поняли, что скоро нас ждет пополнение. Бокс был отделен от учебного зала, в котором стоял макет ракеты, всего тремя минутами ходьбы по коридору, и с лифтом произошла интересная вещь: совсем недавно он долго опускался вниз, а теперь оказалось, что на самом деле он очень долго поднимает вверх.

Но вверх мы ездили довольно редко и большую часть свободного времени проводили в учебном зале. Полковник Халмурадов читал нам краткий курс теории ракетного полета и делал пояснения на макете ракеты. Когда мы проходили матчасть, ракета была просто учебным экспонатом, но когда наступал вечер и гасло основное освещение, в свете тусклых настенных ламп макет иногда превращался на несколько секунд во что-то забытое и удивительное и словно посылал нам с Митьком последний привет из детства.

Мы с ним были первыми. Остальные ребята из нашего экипажа появлялись в училище постепенно. Первым пришел Сема Аникин, невысокий крепыш из-под Рязани, служивший раньше моряком. Ему очень шла черная курсантская форма, которая на Митьке висела как на вешалке. Сема был очень спокойным и немногословным и все свое время тратил на тренировки, как полагалось бы и всем нам, хотя его задача была самой простой и наименее романтической. Он был нашей первой ступенью, и молодая его жизнь, как сказал бы Урчагин, любивший для торжественности менять порядок слов в предложении, должна была прерваться уже на четвертой минуте полета. Успех всей экспедиции зависел от точности его действий, и ошибись он чуть-чуть, скорая и бессмысленная смерть ждала нас всех. Видимо. Сема очень переживал и поэтому тренировался даже в пустой казарме, доводя свои движения до автоматизма. Он садился на корточки, закрывал глаза и начинал шевелить губами — считал до двухсот сорока, потом начинал поворачиваться против часовой стрелки, через каждые сорок пять градусов замысловато перебирая руками, хоть я знал, что он мысленно открывает защелки, крепящие первую ступень ко второй, каждый раз его движения напоминали мне сцену из гонконгского боевика; проделав эту сложную манипуляцию восемь раз, он мгновенно падал на спину и сильно ударял ногами вверх, отталкиваясь от невидимой второй ступени.

Нашей второй ступенью был Иван Гречка, пришедший месяца через два после Семы. Это был светловолосый и голубоглазый украинец; к нам его взяли с третьего курса Зарайского летного, поэтому ходил он еще с некоторым трудом. Но была в нем какая-то

душевная ясность, какая-то постоянная улыбка миру, за которую его любили все, с кем он встречался. Особенно Иван подружился с Семой. Они подшучивали друг над другом и постоянно соревновались в том, кто быстрее и лучше выполнит всю операцию отстрела ступени. Конечно, Сема был проворнее, но Ивану надо было открыть только четыре замка, поэтому у него иногда получалось быстрее.

Наша третья ступень — Отто Плуцис — был румяный задумчивый прибалт, который ни разу на моей памяти не присоединялся к Ивану с Семой, когда они тренировались в казарме, — он, казалось, только и делал, что решал кроссворды из «Красного воина», лежа на своей койке (он всегда скрещивал на сверкающей никелированной спинке ноги в тщательно начищенных сапогах). Но стоило посмотреть, как он управляется со своей частью защелок на макете, и становилось ясно, что уж если есть в нашей ракете надежная часть, так это система отделения третьей ступени. Отто был немного странный — он очень любил рассказывать после отбоя идиотские истории вроде тех, которыми дети пугают друг друга в лагерях.

— Вот раз полетела экспедиция на Луну. — говорил он в темноте. — Летят, летят. Почти подлетают. И вдруг открывается люк, и входят какие-то люди в белых халатах. Космонавты говорят: «Мы на Луну летим!» А эти, в белых халатах: «Хорошо-хорошо. Волноваться только не надо. Сейчас укольчик сделаем...»

Или что-нибудь такое:

— Летят люди на Марс. Уже подлетают почти, смотрят в иллюминатор. Вдруг оборачиваются и видят — стоит сзади такой чувак, низенький и весь в красном, а в руке такой огромный финак. «Чего, — спрашивает, — ребята, на Марс захотели?»

* * *

Мы с Митьком еще не были допущены к нашей матчасти, когда тренировки ребят из баллистической группы усложнились. Сему Аникина это практически не затронуло — высота его подвига была четыре километра, и он просто надевал поверх формы ватник. Ивану было труднее — на сорока пяти километрах, где наступал миг его бессмертия, было холодно, и воздух был уже разрежен, поэтому он тренировался в цигейковом тулупе, унтах и кислородной маске, из-за чего ему было нелегко пролезать в узкое окошко люка на макете. Отто было проще — для него был подготовлен специальный скафандр с электроподогревом, сшитый ткачихами Красной Горки из нескольких американских высотных костюмов, захваченных во Вьетнаме; скафандр пока не был готов — доделывали систему обогрева. Отто, чтобы не терять времени, занимался в водолазном костюме; у меня и теперь перед глазами его покрасневшее и потное рябоватое лицо за стеклом шлема, поднимающегося над люком; здороваясь, он говорил что-то вроде «Ввейте!» или «Цвейкс!».

Общую теорию космической автоматики нам читали по очереди начальник полета и полковник Урчагин.

Начальника полета звали Пхадзер Владиленович Пидоренко. Он был родом из маленькой украинской деревни Пидоренки, и его фамилия произносилась с ударением на первом «о». Его отец тоже был чекистом и назвал сына по первым буквам слов «партийно-хозяйственный актив Дзержинского района»; кроме того, в именах Пхадзер и Владилен в сумме было пятнадцать букв, что соответствовало числу советских республик. Но все равно

он терпеть не мог, когда к нему обращались по имени, и подчиненные, связанные с ним различными служебными отношениями, называли его или «товарищ генерал-лейтенант», или, как мы с Митьком, «товарищ начальник полета». Он произносил слово «автоматика» с такой чистой и мечтательной интонацией, что его лубянский кабинет, куда мы поднимались слушать лекции, на секунду словно превращался в резонатор гигантского рояля, — но, хоть это слово всплывало в его речи довольно часто, никаких технических сведений он нам не сообщал, а рассказывал в основном житейские истории или вспоминал, как партизанил во время войны в Белоруссии.

Урчагин тоже никаких технических тем не касался, а обычно лузгал семечки и посмеивался или рассказывал что-нибудь смешное, например, спрашивал:

— Как разделить пук на пять частей?

И когда мы говорили, что не знаем, отвечал сам себе:

— Надо пукнуть в перчатку.

И заливался тонким смехом. Меня поражал оптимизм этого человека, слепого, парализованного, прикованного к инвалидному креслу — но выполняющего свой долг и не устающего радоваться жизни. У нас в космической школе было два замполита, которых за глаза называли иногда политруками. — Урчагин и Бурчагин. оба полковники, оба выпускники Высшего военно-политического училища имени Павла Корчагина, очень похожие друг на друга. С нашим экипажем занимался обычно Урчагин. У замполитов на двоих было одно японское инвалидное кресло с электромотором, и поэтому, когда один из них вел воспитательную работу, второй молча и неподвижно полулежал на кровати в крохотной комнате пятого этажа — в кителе, до пояса прикрытый одеялом, скрывавшим от постороннего взгляда судно. Бедная обстановка комнаты, планшет для письма с узкими прорезями в накладываемой сверху картонке, неизменный стакан крепкого чая на столе, белая занавеска и фикус — все это трогало меня почти до слез, и в эти минуты я переставал думать, что все коммунисты хитрые, подловатые и основательные люди.

Последним в экипаж пришел Дима Матюшевич, отвечавший за лунный модуль. Он был очень замкнутым и, несмотря на молодость, совершенно седым, держался особняком, и про него я знал только то, что раньше он служил в армии. Увидев над койкой Митька репродукции картин Куинджи, вырванные из «Работницы», он повесил над своей койкой лист бумаги, на котором была нарисована маленькая птичка и крупно написано:

OVERHEAD

THE ALBATROSS

Приход Димы совпал по времени с появлением новой учебной дисциплины. Она называлась как фильм: «Сильные духом». Это не было учебным предметом в обычном смысле слова, хотя в расписании ему отводилось почетное место. К нам стали приходиться люди, чьей профессией был подвиг. — они рассказывали нам о своей жизни без всякого пафоса; их слова были просты, как на кухне, и поэтому сама природа героизма казалась вырастающей из повседневности, из бытовых мелочей, из сероватого и холодного нашего воздуха.

Лучше других сильных духом мне запомнился майор в отставке Иван Трофимович Попадья. Смешная фамилия. Он был высокий — настоящий русский богатырь (его предки участвовали в битве при Кадке), со множеством орденов на кителе, с красным лицом и шеей, весь в беловатых бусинках шрамов и с повязкой на левом глазу. У него была очень

необычная судьба: начинал он простым егерем в охотничьем хозяйстве, где охотились руководители партии и правительства, и его обязанностью было гнать зверей — кабанов и медведей — на стоящих за деревьями стрелков. Однажды случилось несчастье. Матерый кабан-секач вырвался за флажки и клыком нанес смертельную рану стрелявшему из-за березки члену правительства. Тот умер по пути в город, и на заседании высших органов власти было принято решение запретить руководству охоту на диких животных. Но, конечно, такая необходимость продолжала возникать, и однажды Попадью вызвали в партком охотхозяйства, все объяснили и сказали:

— Иван! Приказать не можем — да если б и могли, не стали бы, такое дело. Но только нужно это. Подумай. Неволить не станем.

Крепко думал Попадья — всю ночь, — а наутро пришел в партком и сказал, что согласен.

— Иного не ждал, — сказал секретарь.

Ивану Трофимовичу дали бронежилет, каску и кабанью шкуру, и началась новая работа — такая, которую смело можно назвать ежедневным подвигом. В первые дни ему было немного страшно, особенно за открытые ноги, но потом он пообвыкся, да и члены правительства, знавшие, в чем дело, старались целить в бок, где был бронежилет, под который Иван Трофимович для мягкости подкладывал думку. Иногда, конечно, какой-нибудь дряхленький ветеран ЦК промахивался, и Иван Трофимович надолго попадал на бюллетень — там он прочел много книг, в том числе и свою любимую, воспоминания Покрышкина. Какой это был опасный — под стать ратному — труд, ясно хотя бы из того, что Ивану Трофимовичу каждую неделю меняли пробитый пулями партбилет, который он носил во внутреннем кармане шкуры. В дни, когда он бывал ранен, вахту несли другие егеря, в числе которых был и его сын Марат, но все же опытнейшим работником считался Иван Трофимович, которому и доверяли самые ответственные дела, иногда даже придерживая в запасных, если охотиться приезжал какой-нибудь небольшой обком (Иван Трофимович каждый раз оскорблялся, совсем как Покрышкин, которому не давали летать с собственным полком). Ивана Трофимовича берегли. Они с сыном тем временем изучали повадки и голоса диких обитателей леса — медведей, волков и кабанов — и повышали свое мастерство.

Было это уже давно, когда в столицу нашей Родины приезжал американский политик Киссинджер. С ним велись важнейшие переговоры, и очень многое зависело от того, сумеет ли мы подписать предварительный договор о сокращении ядерных вооружений — особенно это важно было из-за того, что у нас их никогда не было, а наши недруги не должны были об этом узнать. Поэтому за Киссинджером ухаживали на самом высоком государственном уровне и задействованы были все службы — например, когда выяснили, что из женщин ему нравятся полные низкие брюнетки, именно такие лебеди проплыли сомкнутой четверкой по лебединому озеру Большого театра под его поблескивающими в правительственной ложе роговыми очками.

На охоте проще было вести переговоры, и Киссинджера спросили, на кого он любит охотиться. Наверное, желая сосречь с каким-то тонким политическим смыслом, он сказал, что предпочитает медведей, и был удивлен и напуган, когда на следующее утро его действительно повезли на охоту. По дороге ему сказали, что для него обложили двух топтыгиных.

Это были коммунисты Иван и Марат Попадья, отец и сын, лучшие спецегеря хозяйства. Ивана Трофимовича гость положил метким выстрелом сразу, как только они с Маратом,

встав на задние лапы и рыча, вышли из леса: его тушу подцепили крючьями за особые петли и подтащили к машине. А в Марата американец никак не мог попасть, хотя бил почти в упор, а тот нарочно шел как мог медленно, подставив американским пулям широкую свою грудь. Вдруг произошло совсем непредвиденное — у заморского гостя отказало ружье, и он, до того как кто-нибудь успел понять, в чем дело, швырнул его в снег и кинулся на Марата с ножом. Конечно, настоящий медведь быстро бы справился с таким охотником, но Марат помнил, какая на нем ответственность. Он поднял лапы и зарычал, надеясь отпугнуть американца, но тот — пьяный ли, безрассудный ли — подбежал и ударил Марата ножом в живот; тонкое лезвие прошло между пластин бронежилета. Марат упал. Все это произошло на глазах у его отца, лежащего в нескольких метрах; Марата подтащили к нему, и Иван Трофимович понял, что сын еще жив — тот тихонько постанывал. Кровь, которую он оставил на снегу, не была специальной жидкостью из баллончика — она была настоящей.

— Держись, сынок! — прошептал Иван Трофимович, глотая слезы. — Держись!

Киссинджер был от себя в восторге. Он предложил сопровождающим его официальным лицам распить бутылку прямо на «мишках», как он сказал, и там же подписать договор. На Марата и Ивана Трофимовича положили снятую со стены домика лесника доску почета, где были и их фотографии, и превратили ее в импровизированный стол. Все, что Иван Трофимович видел в следующий час, — это мельканье множества ног: все, что слышал, — это чужая пьяная речь и быстрое лопотание переводчика: его почти раздавили танцевавшие на столе американцы. Когда стемнело и вся компания ушла, договор был подписан, а Марат — мертв. Узкая струйка крови стекала из раскрытой его пасти на синий вечерний снег, а на шкуре мерцала в лунном свете повешенная начальником охоты Золотая звезда героя. Всю ночь лежал отец напротив мертвого сына, плача — и не стыдясь своих слез.

Я вдруг по-новому понял давно потерявшие смысл и приевшиеся слова «В жизни всегда есть место подвигу», каждое утро глядевшие на меня со стены учебного зала. Это была не романтическая бессмыслица, а точная и трезвая констатация того факта, что наша советская жизнь есть не последняя инстанция реальности, а как бы только ее тамбур. Не знаю, понятно ли я объяснил. Скажем, в какой-нибудь Америке, где-нибудь на тротуаре между горячей витриной и припаркованным «плимутом», не было и нет места подвигу — если, конечно, не считать момента, когда там проходит советский разведчик. А у нас хоть и можно оказаться у такой же внешне витрины и на таком же тротуаре, но произойти это может только в послевоенное или предвоенное время, и именно здесь приоткрывается ведущая к подвигу дверь, но не где-то снаружи, а внутри, в самой глубине души.

— Молодец, — сказал мне Урчагин, когда я поделился с ним своими мыслями, — только будь осторожней. Дверь к подвигу действительно открывается внутри, но сам подвиг происходит снаружи. Не впади в субъективный идеализм. Иначе сразу же, за одну короткую секунду, лишишься смысла высокий и гордый твой путь ввысь.

Был май, под Москвой горели торфяные болота, и в затянутом дымкой небе висело бледное, но жаркое солнце. Урчагин дал мне прочитать книжку японского писателя, бывшего во время второй мировой войны летчиком-смертником, и я до крайней степени поразился сходству своего состояния с тем, что он описывал. Я точно так же не думал о ждущем меня впереди и жил сегодняшним днем — погружался в книги, забывал про все на свете, глядя на полыхающий разрывами киноэкран (в субботу вечером нам показывали военно-исторические фильмы), искренне переживал за свои не слишком высокие оценки. Слово «смерть» присутствовало в моей жизни как бумажка с памятной записью, уже давно висящая на стене, — я знал, что она на месте, но никогда не останавливался на ней взгляд. Мы не говорили на эту тему с Митьком, но когда нам сказали, что начинаются наконец и наши занятия на аппаратуре, мы переглянулись и словно ощутили первое дуновение приближающегося ледяного ветра.

(«Чапаяев и пустота»)

Два матроса в лесу
Обращаются к ветру и сумраку,
Рассекают листву
Темной кожей широких плечей.
Их сердца далеко,
Под ремнями, патронными сумками,
А их ноги, как сваи,
Спускаются в сточный ручей.
Император устал.
Ведь дорога от леса до города —
Это локтем поддых
И еще на колене ушиб,
Чьи-то лица в кустах,
Санитары, плюющие в бороду,
И другие плоды
Разложения русской души.
Он не слышит ни клятв,
Ни фальшивых советов зажмуриться,
Ни их «... твою мать»,
Ни как бьется о землю приклад —
Император прощается
С лесом, закатом и улицей,
И ему наплевать
На все то, что о нем говорят.
Он им крикнет с пенька:
«In the midst of this stillness and sorrow,
In these days of distrust
May be all can be changed — who can tell?
Who can tell what will come
To replace our visions tomorrow
And to judge our past?»^[35]
Вот теперь я сказал, что хотел.



Принимая разные формы, появляясь, исчезая
и меняя лица,
И пиля решетку уже лет, наверное, около семиста
Из семнадцатой образцовой психиатрической
больницы
Убегает сумасшедший по фамилии Пустота.

Времени для побега нет, и он про это знает.
Больше того, бежать некуда, и в это некуда нет пути.
Но все это пустяки по сравнению с тем, что того,
кто убегает
Нигде и никак не представляется возможным найти.

Можно сказать, что есть процесс пиления решетки,
А можно сказать, что никакого пиления решетки нет.
Поэтому сумасшедший Пустота носит на руке
лиловые четки
И никогда не делает вида, что знает хоть один ответ.
Потому что в мире, который имеет свойство деваться
непонятно куда,
Лучше ни в чем не клясться, а одновременно говорить
«Нет, нет» и «Да, да».

* * *



У княгини Мещерской была одна изысканная
вещица —

Платье из бархата, черного, как испанская ночь.
Она вышла в нем к другу дома, вернувшемуся
из столицы,
И тот, увидя ее, задрожал и кинулся прочь.

О, какая боль, подумала княгиня, какая истома!
Пойду сыграю что-нибудь из Брамса — почему бы
и нет?
А за портьерой в это время прятался обнаженный
друг дома,
И страстно ласкал бублик, выкрашенный в черный
цвет.

Эта история не произведет впечатления были
На маленьких ребят, не знающих, что когда-то у нас
Кроме крестьян и рабочего класса жили
Эксплуататоры, сосавшие кровь из народных масс.

Зато теперь любой рабочий имеет право
Надевать на себя бублик, как раньше князя и графы!



ЭЛЕГИЯ 2 («ДПП»)

*Вот так придумывал телегу я
О том, как пишется элегия*

Мы скоро встретимся едва ль.
За болью боль,
За далью даль,
За дыркой *catcher in the rye*^[36],
За раем тоже рай.

За полднем вечер голубой,
За боем буй,

За геем гой.
Проснись и пой, и бог с тобой
Задрывает ногой.

Товарищ, тырь. Товарищ, верь.
За дурью дурь,
За дверью дверь.
Здесь и сейчас пройдет за час,
Потом опять теперь.

Семь бед — один переверот.
За кедом кед,
За годом год,
И только глупый не поймет,
Что все наоборот.

Милиционер, миллионер,
За торой бор,
За хором хер.
Премного разных трав и вер.
Бутылка, например.

Катюшин муж объелся груш.
За горем Гор,
За Бушем Буш.
Гомер, твой список мертвых душ
На середине уж.

За приговором приговор,
За морем мур,
За муrom вор,
За каламбуром договор,
Гламур, кумар, атог.

Мы выпекаем каравай.
За киром кар,
За воем вай.
Лжедмитрий был Первомамай,
И я люблю свой край.

Вокруг качается ковыль.
За далью даль,
За былью быль,
И небольшой автомобиль
Вздымает в поле пыль.

Довольно быстрая езда,
Закат,
Вечерняя звезда,
И незнакомые места.
Все это неспроста?



ПАМЯТИ МАРКА АВРЕЛИЯ («Жизнь насекомых»)

Трезвое и совершенно спокойное настроение
никогда не приводит к появлению подтянутых строк.
А стихи надо писать со всем стремлением,
как народный артист выпиливает треугольный брелок.

А тут идет дождь, и совершенно нет сил, чтобы
сосредоточиться. Лежишь себе, лежишь на спине,
и не глядя ясно, что в соседнем доме окна желты,
и недвижимый кто-то людей считает в тишине.

Но тоска очищает. А испытывать счастье осенью — гаже,
чем напудренной интеллигентной старухе давать минет.
Отдыхай, душа. Внутренний плевок попадет в тебя же,
а внешний вызовет бодрый коллективный ответ.

Так и живешь. Читаешь всякие книги,
думаешь о трехметровой яме,
хоть и без нее понятно, что любая неудача или успех —
это как если б во сне ты и трое пожарных мерились
хуями,
и оказалось бы, что у тебя короче

Размышляешь об этом,
выполняя назначенную судьбой работу,
и все больше напоминаешь себе человека,
построившего весь расчет
на том, что в некой комнате и правда нет никакого
комода,
когда на самом деле нет никакой комнаты, а только Коммод.

Бывает еще, проснешься ночью где-нибудь в полвторого
и долго-долго глядишь в окно на свет так называемой Луны,
хоть давно уже знаешь, что этот мир — галлюцинация
наркомана Петрова,
являющегося, в свою очередь, галлюцинацией
какого-то пьяного старшины.

Хорошо еще, что с сумасшедшими возникают трения
и они гоняются за тобой с гвоздями и бритвами в руках.
Убегаешь то от одного, то от другого, то от третьего
и не успеваешь почувствовать ни свое одиночество, ни
страх.

Хорошо бы куда-нибудь спрятаться и дождаться лета,
и вести себя как можно тише, а то ведь не оберешься
бед,
если в КГБ поймут, что ты круг ослепительно яркого света.



(«Ампир В»)

Зачем скажи Начальнег Мира
Твой ладен курицца бин серой?
Кто Бени, Фици, Ары пира?
Они твои акционеры?

Зачем ты так нипабедимо
Керзою чавкаиш в ацтои?
Каму кадиш в тумани виннам
Под купалами Главмосстройа?

Ты щаслеф. Ветир мньот валосья,
Литит салома тибе ф морду.
Но биригис. Твой след ф навози
Уж уведал Начальнег Морга.

(«Омон Ра»)

Мы с тобою так верили в связь бытия,
Но теперь я оглядываюсь, и удивительно —
До чего ты мне кажешься, юность моя,
По цветам не моей, ни черта недействительной.

Если вдуматься, это — сиянье Луны
Между мной и тобой, между мелью и тонущим,
Или вижу столбы и тебя со спины,
Как ты прямо к Луне на своем полуночном.



Внешне луноход напоминал большой бак для белья, поставленный на восемь тяжелых колес, похожих на трамвайные. На его корпусе было много всяких выступов, антенн разной формы, механических рук и прочего — все это не работало и нужно было в основном для телевидения, но впечатление оставляло очень сильное. Крыша лунохода была покрыта маленькими косыми насечками; это было сделано не специально — просто металлический лист, из которого она изготовлялась, был таким же, как на полу у входа в метро. Но выглядела машина из-за этого еще таинственней.

Странно устроена человеческая психика! В первую очередь ей нужны детали. Помню, когда я был маленький, я часто рисовал танки и самолеты и показывал их своим друзьям. Нравились им всегда рисунки, где было много всяких бессмысленных черточек, так что я даже потом их нарочно пририсовывал. Вот так же и луноход казался очень сложным и умным аппаратом.

Его крышка откидывалась в сторону — она была герметичной, на резиновой прокладке, с несколькими слоями теплоизоляции. Внутри было свободное место — примерно как в башне танка, и там стояла чуть переделанная рама от велосипеда «Спорт» с педалями и двумя шестеренками, одна из которых была аккуратно приварена к оси задней пары колес. Руль был обычным полугоночным-баранкой — через специальную передачу он мог чуть-чуть поворачивать передние колеса, но, как мне говорили, такой необходимости не должно было возникнуть. Из стен выступали полки, пока они были пустыми; к середине руля был приделан компас, а к полу — жестяная зеленая коробка передатчика с телефонной трубкой. В стене перед рулем чернели две крошечные круглые линзы, похожие на дверные глазки; через них были видны края передних колес и декоративный манипулятор. С другой стороны висело радио — самый обычный кирпич из красной пластмассы с черной ручкой регулировки громкости (начальник полета объяснил, что для преодоления психологического отрыва от страны на все советские космические аппараты обязательно транслируют передачи «Маяка»). Внешние линзы, большие и выпуклые, были закрыты шорами сверху и по бокам, так что у лунохода появлялось как бы лицо или, точнее, морда — довольно симпатичная, вроде тех, что рисуют у арбузов и роботов в детских журналах.

Когда я впервые залез внутрь и над моей головой щелкнула крышка, я подумал, что не вынесу такой тесноты и неудобства. Приходилось как бы висеть над рамой, распределяя вес между руками, лежащими на руле, ногами, упертыми в педали, и седлом, которое не столько принимало на себя часть веса, сколько задавало позу, которую должно было принимать тело. Так наклоняется велосипедист, когда развивает большую скорость, — но у него хоть есть возможность выпрямиться, а тут ее не было, потому что спина и затылок практически упирались в крышку. Правда, недели через две после начала занятий, когда я пообвыкся, оказалось, что места вполне достаточно, чтобы на целые часы забывать о том, как его мало.

Круглые глазки оказывались прямо напротив лица, но линзы так все искажали, что совершенно невозможно было понять, что там, за тонкой сталью борта. Зато четким и сильно увеличенным был пятачок земли прямо перед колесами и конец ребристой антенны; остальное расплывалось в какие-то зигзаги и пятна, и казалось, что сквозь слезы смотришь в длинный темный коридор за стеклами противогаза.

Машина была довольно тяжелой, и приводить ее в движение было трудно, так что у

меня даже появились сомнения, что я сумею преодолеть в ней целых семьдесят километров лунной пустыни. Даже сделав круг по двору, я сильно уставал; ныла спина, болели плечи и поясница.

Теперь через день, сменяя Митька, я в лифте поднимался наверх, выходил во двор, раздевался до трусов и майки, залезал в луноход и подолгу, чтобы укрепить мышцы на ногах, ездил кругами по двору, разгоняя кур и иногда даже давя их — конечно, я делал это не нарочно, просто через оптику совершенно невозможно было отличить замешкавшуюся курицу от, например, газеты или сорванной ветром с бельевой веревки портянки, да и затормозить я все равно не успевал. Сначала впереди меня на своем кресле, показывая дорогу, ездил полковник Урчагин — сквозь линзы он казался размытым серо-зеленым пятном, но постепенно я так наловчился, что мог с закрытыми глазами объехать весь двор — для этого просто надо было под определенным углом повернуть руль, и машина сама совершала плавный круг, возвращаясь на то же место, где начинался маршрут. Я иногда даже переставал смотреть в глазки и просто работал мышцами, опустив голову и думая о своем. Иногда я вспоминал детство, иногда представлял себе, каким именно будет стремительно приближающийся миг старта в вечность. А иногда я додумывал старые-старые мысли, опять поднимавшиеся в моем сознании. Вот, например, я часто думал — кто же такой я?

Надо сказать, что этим вопросом я задавался еще в детстве, просыпаясь рано утром и глядя в потолок. Потом, когда я немного вырос, я стал задавать его в школе, но единственное, что услышал, — что сознание является свойством высокоорганизованной материи, вытекающим из ленинской теории отражения. Смысла этих слов я не понимал, и меня по-прежнему удивляло — как это я вижу? И кто этот я, который видит? И что это вообще значит — видеть? Вижу ли я что-то внешнее или просто гляжу сам на себя? И что такое вне меня и внутри меня? Я часто чувствовал, что стою на самом пороге разгадки, но, пытаясь сделать последний шаг к ней, я вдруг терял то «я», которое только что стояло на этом пороге.

Когда тетка уходила на работу, она часто просила посидеть со мной старуху соседку, которой я и задавал все эти вопросы, с удовольствием чувствуя, как трудно ей на них отвечать.

— У тебя, Омочка, внутри есть душа, — говорила она, — и она выглядывает сквозь глазки, а сама живет в теле, как у тебя хомячок живет в кастрюльке. И эта душа — часть Бога, который нас всех создал. Так вот ты и есть эта душа.

— А зачем Бог посадил меня в эту кастрюлю? — спрашивал я.

— Не знаю, — говорила старуха.

— А где он сам сидит?

— Всюду, — отвечала старуха и показывала руками.

— Значит, я тоже Бог? — спрашивал я.

— Нет, — говорила она. — Человек не Бог. Но он богоподобен.

— А советский человек тоже богоподобен? — спрашивал я. с трудом произнося непонятное слово.

— Конечно, — говорила старуха.

— А богов много? — спрашивал я.

— Нет. Он один.

— А почему в справочнике написано, что их много? — спрашивал я, кивая на

справочник атеиста, стоящий у тетки на полке.

— Не знаю.

— А какой бог лучше?

Но старуха опять отвечала:

— Не знаю.

И тогда я спрашивал:

— А можно я сам выберу?

— Выбери, Омочка, — смеялась старуха, и я начинал рыться в словаре, где разных богов была целая куча. Особенно мне нравился Ра, бог, которому доверились много тысяч лет назад древние египтяне, нравился, наверно, потому, что у него была соколиная голова, а летчиков, космонавтов и вообще героев по радио часто называли соколами. И я решил, что если уж я на самом деле подобен богу, то пускай этому. Помню, я взял большую тетрадь и сделал в нее выписку:

«Днем Ра, освещая землю, плывет по небесному Нилу в барке Манджет, вечером пересаживается в барку Месектет и спускается в преисподнюю, где, сражаясь с силами мрака, плывет по подземному Нилу, а утром вновь появляется на горизонте».

Древние люди не могли знать, что на самом деле Земля вращается вокруг Солнца, было написано в словаре, и поэтому создали этот поэтический миф.

Сразу под статьей в словаре была древнеегипетская картинка, изображавшая переход Ра из одной барки в другую, — там были нарисованы две одинаковые приставленные друг к другу ладьи, в которых стояли две девушки, одна из которых передавала другой круг с сидящим в нем соколом — это и был Ра. Сильнее всего мне понравилось, что в этих ладьях, помимо множества непонятных предметов, были еще четыре совершенно явные хрущевские пятиэтажки.

И с тех пор, хоть я и откликался на имя «Омон», сам себя я называл «Ра»; именно так звали главного героя моих внутренних приключений, которые я переживал перед сном, закрыв глаза и отвернувшись к стене, — до тех пор, пока мои мечты не подверглись обычной возрастной трансформации.

Интересно, придет ли в голову кому-нибудь из тех, кто увидит в газете фотографию лунохода, что внутри стальной кастрюли, существующей для того, чтобы проползти по Луне семьдесят километров и навек остановиться, сидит человек, выглядывающий наружу сквозь две стеклянные линзы? Какая, впрочем, разница. Если кто-нибудь и догадается об этом, он все равно никогда не узнает, что этим человеком был я, Омон Ра, верный сокол Родины, как сказал однажды начальник полета, обняв меня за плечи и показывая пальцем на сияющую тучу за окном.

Еще один предмет, появившийся в наших занятиях — «Общая теория Луны», — считался факультативным для всех, кроме нас с Митьком. Занятия вел доктор философских наук в отставке Иван Евсеевич Кондратьев. Мне он почему-то был несимпатичен, хотя никаких объективных поводов для неприязни я не имел, а лекции его были довольно интересными. Помню, свою первую встречу с нами он начал очень необычно — целых полчаса читал нам по бумажке всякие стихи о Луне: в конце он так сам себя растрогал, что пришлось протирать очки. Я тогда еще вел конспекты, и от этой лекции в них осталось какое-то бессмысленное нагромождение цитатных обломков: «Как золотая капля меда мерцает сладостно Луна... Луны, надежды, тихой славы... Как много в этом звуке... Но в мире есть иные области. Луной мучительной томимы. Для высшей силы, высшей доблести они навек недостижимы... А в небе, ко всему приученный, бессмысленно кривится диск... Он управлял течением мыслей, и только потому луной... Неуютная жидкая лунность...» И еще полторы страницы в том же духе. Потом он посерьезнел и заговорил официально, нараспев:

— Друзья! Вспомним исторические слова Владимира Ильича Ленина, сказанные им в тысяча девятьсот восемнадцатом году в письме к Инессе Арманд. «Из всех планет и небесных тел, — писал Владимир Ильич, — важнейшим для нас является Луна». С тех пор прошли годы; многое изменилось в мире. Но ленинская оценка не потеряла с тех пор своей остроты и принципиальной важности; время подтвердило ее правоту. И огонь этих ленинских слов по-особому подсвечивает сегодняшний листок в календаре. Действительно, Луна играет в жизни человечества огромную роль. Видный русский ученый Георгий Иванович Гурджиев еще во время нелегального периода своей деятельности разработал марксистскую теорию Луны. Согласно ей, всего лун у Земли было пять — именно поэтому звезда, символ нашего государства, имеет пять лучей. Падение каждой луны сопровождалось социальными потрясениями и катастрофами — так, четвертая луна, упавшая на планету в 1904 году и известная под именем Тунгусского метеорита, вызвала первую русскую революцию, за которой вскоре последовала вторая. До этого падения лун приводили к смене общественно-экономических формаций — конечно же, космические катастрофы не влияли на уровень развития производительных сил, складывающийся независимо от воли и сознания людей и излучения планет, но способствовали формированию субъективных предпосылок революции. Падение нынешней Луны — луны номер пять, последней из оставшихся, — должно привести к абсолютной победе коммунизма в масштабах Солнечной системы. В этом же курсе мы изучим две основные работы Ленина, посвященные Луне, — «Луна и восстание» и «Советы постороннего». Сегодня мы начнем с рассмотрения буржуазных фальсификаций вопроса взглядов, по которым органическая жизнь на Земле служит просто пищей для Луны, источником поглощаемых ею эманаций. Неверно это уже потому, что целью существования органической жизни на земле является не кормление Луны, а, как показал Владимир Ильич Ленин, построение нового общества, свободного от эксплуатации человека номер один, два и три человеком номер четыре, пять, шесть и семь...

И так далее. Он говорил много и сложно, но лучше всего я запомнил удививший меня своей поэтичностью пример: тяжесть висящей на цепочке гири заставляет часы работать: Луна — такая гиря. Земля — часы, а жизнь — это тиканье шестеренок и пение

механической кукушки.

Довольно часто у нас проводились медицинские проверки — всех нас изучили вдоль и поперек, и это было понятно. Поэтому, услышав, что нам с Митьком нужно пройти какое-то реинкарнационное обследование, я подумал, что это будет проверка рефлексов или измерение давления — первое слово мне ничего не сказало. Но когда меня вызвали вниз и я увидел специалиста, который должен был меня обследовать, я почувствовал детский страх, непреодолимый и совершенно неуместный в свете того, что мне предстояло в очень близком будущем.

Передо мной был не врач в халате с торчащим из кармана стетоскопом, а офицер, полковник, но не в кителе, а в какой-то странной черной рясе с погонами, толстый и крупный, с красным, словно обваренным щами, лицом. На груди у него висели никелированный свисток и секундомер, и если бы не глаза, напоминающие смотровую щель тяжелого танка, он был бы похож на футбольного судью. Но вел себя полковник приветливо, много смеялся, и под конец беседы я расслабился. Он говорил со мной в маленьком кабинетике, где были только стол, два стула, затянута клеенкой кушетка и дверь в другую комнату. Заполнив несколько желтоватых бланков, он дал мне выпить мензурку чего-то горького, поставил на стол передо мной маленькие песочные часы и ушел за вторую дверь, велел прийти туда, когда весь песок пересыплется вниз.

Помню, как я глядел на часы, удивляясь, до чего же медленно песчинки скатываются вниз сквозь стеклянное горло, пока не понял, что это происходит из-за того, что каждая песчинка обладает собственной волей и ни одна не хочет падать вниз, потому что для них это равносильно смерти. И вместе с тем для них это было неизбежно: а тот и этот свет, думал я, очень похожи на эти часы: когда все живые умрут в одном направлении, реальность переворачивается, и они оживают, то есть начинают умирать в другом.

Я некоторое время грустил по этому поводу, а потом заметил, что песчинки уже давно не падают, и вспомнил, что надо бы зайти к полковнику. Я ощущал волнение и вместе с тем необычайную легкость: помню, что я очень долго шел к двери, за которой меня ждали, хотя на самом деле до нее было два или три шага. Положив ладонь на дверную ручку, я толкнул ее, но она не открылась. Тогда я потянул ее на себя и вдруг заметил, что тяну на себя не ее, а одеяло. Я лежал в своей койке, на краю которой сидел Митёк. У меня чуть кружилась голова.

— Ну? Чего там? — спросил Митёк. Он выглядел странно возбужденным.

— Где — там? — спросил я, поднимаясь на локтях и пытаясь сообразить, что произошло.

— На реинкарнационном обследовании, — сказал Митёк.

— Сейчас. — сказал я, вспоминая, как только что тянул на себя дверь, — сейчас... Нет. Ничего не помню.

Отчего-то я чувствовал пустоту и одиночество, словно очень долго шел сквозь голое осеннее поле; это было настолько необычное состояние, что я забыл обо всем остальном, в том числе и о постоянном в последние месяцы ощущении приближающейся смерти, которое уже потеряло остроту и стало просто фоном для всех остальных мыслей.

— Подписку, что ли, дал? — с легким презрением спросил Митёк.

— Отстань, — сказал я, поворачиваясь к стене.

— Сейчас приволакивают тебя два таких мордастых прапорщика в черных рясах, — продолжал он, — и говорят: «На, забирай своего египтянина». А у тебя вся гимнастерка

облевана. Правда, что ли, не помнишь ничего?

— Правда, — ответил я.

— Ну пожелай мне, — сказал он, — а то идти сейчас.

— К черту, — сказал я. Больше всего на свете мне хотелось спать, потому что я чувствовал, что если я достаточно быстро засну, то проснусь опять самим собой.

Я слышал, как Митёк со скрипом закрыл за собой дверь, а потом уже было утро.

— Кривомазов! К начальнику полета! — крикнул мне в ухо кто-то из наших. Только одевшись, я проснулся окончательно. Койка Митька была пустой и неразобранной: остальные ребята в майках сидели на своих местах. Я чувствовал в воздухе какое-то напряжение; они смущенно переглядывались, и даже Иван не отвечивал своих обычных утренних шуток, глупых, но очень смешных. Что-то произошло, и всю дорогу наверх, на третий надземный этаж, где был кабинет начальника полета, я пытался понять, что именно. Идя по коридору и шурясь от пробивающегося сквозь занавески солнца, которого я давно уже не видел, я заметил свое отражение в огромном пыльном зеркале на одном из поворотов, поразился мертвенной бледности своего лица и понял, что мой подвиг, в сущности, давно уже начался.

Начальник полета встал мне навстречу и пожал мою руку.

— Как подготовка? — спросил он.

— Нормально, товарищ начальник полета, — сказал я.

Он оценивающе поглядел мне в глаза.

— Вижу, — сказал он через некоторое время, — вижу. Я тебя, Омон, вызвал вот зачем.

Ты мне поможешь. Возьми вот этот магнитофон, — он показал на маленький японский кассетник на столе перед собой, — бланки, ручку и иди в триста двадцать девятую комнату, она как раз сейчас пустая. Ты когда-нибудь записи расшифровывал?

— Нет, — ответил я.

— Это просто. Прокручиваешь чуть-чуть пленку, записываешь то, что слышишь, и крутишь дальше. Если не разбираешь с первого раза, слушаешь несколько раз.

— Ясно. Могу идти?

— Можешь. Постой. Я думаю, что ты поймешь, почему я попросил заняться этим именно тебя. У тебя скоро возникнут всякие вопросы, на которые тебе никто там, — начальник полета ткнул пальцем в пол, — не ответит. Я тоже мог бы тебе не отвечать, но, по-моему, лучше, чтобы ты был в курсе. Я не хочу, чтобы ты мучил себя лишними мыслями. Но учти, ни политруки, ни экипаж не должны знать того, что сейчас узнаешь ты. То, что происходит, — это с моей стороны служебное нарушение. Как видишь, их делают даже генералы.

Я молча взял со стола магнитофон и несколько желтых бланков — таких же, как те, что я видел вчера, — и пошел в триста двадцать девятую. Ее окна были плотно зашторены, а в центре стоял знакомый металлический стул с кожаными ремнями на ножках и подлокотниках, только сейчас к нему от стены шли какие-то провода. Я сел за небольшой письменный стол в углу, положил перед собой разлинованный бланк и включил магнитофон.

— Спасибо, товарищ полковник... Очень удобно, просто кресло какое-то, а не стул, ха-ха-ха... Конечно, нервничаю. Это ведь как экзамен, да?.. Понял. Да. Через оба «и» — Свириденко...

Я выключил магнитофон. Это был голос Митька, но какой-то странный, будто к его голосовым связкам вместо легких подключили кузнечные мехи, он говорил легко и певуче, все время на выдохе. Чуть перемотав пленку назад, я опять нажал на «Play» и больше не останавливал пленку.

— ...Экзамен, да?.. Понял. Да. Через оба «и» — Свириденко... Нет, спасибо, не курю. У нас в группе никто не курит — таких не держат... Да, второй год уже. Даже не верится. Еще мальчишкой мечтал на Луну полететь... Конечно, конечно. Именно так, только людям с кристальной душой. Еще бы — когда вся Земля внизу... Про кого на Луне? Нет, не слышал... Ха-ха-ха, это вы шутите, веселый вы... Ау вас странно как-то. Ну, необычно. Это у вас везде так или только в особом отделе? Сколько ж тут черепов-то на полках. Господи, — прямо как книги стоят. И с бирками, ты смотри... нет, я не в том смысле. Раз лежат, значит, надо. Экспертиза там, картотека. Я понимаю. Я понимаю. Что вы говорите... И как только сохранился... А это, над глазом, — от ледоруба? Моя. Там еще две анкеты было. Перед Байконуром — последняя проверка. Да. Готов. Так я ведь, товарищ полковник, все это подробно... Просто про себя рассказать, с детства? Да нет, спасибо, мне удобно... Ну, если положено. А вы бы сделали такие подголовники, как в машинах. А то подушечка падать будет, если наклониться... Ага, а я-то думаю, зачем у вас зеркало такое на стене. А вы, значит, другое на стол ставите. Какая свеча толстая... Из чьего? Ха-ха-ха, шутите, товарищ полковник... Удивительно. Честное слово, первый раз вижу. Читал только, что так можно сделать, а сам не видел. Поразительно. Как будто коридор какой-то. Куда? Вот в это? Господи Христе, сколько у вас зеркал-то, прямо парикмахерская. Да нет, что вы, товарищ полковник... Что вы. Это присказка, от бабки прилипла. Я научный атеист, иначе бы и в летное не пошел... Помню примерно. Я ведь в Москву только в одиннадцать лет приехал, а родился в маленьком таком городке — знаете, стоит себе у железной дороги, раз в три дня поезд пройдет, и все. Тишина. Улицы грязные, по ним гуси ходят. Пьяных много. И все такое серое — зима, лето, не важно. Две фабрики, кинотеатр. Ну, парк еще — туда, понятно, лучше вообще было не соваться. И вот, знаете — иногда в небе загудит, — поднимаешь глаза и смотришь. Да чего объяснять... И еще книги все время читал, всем хорошим в себе им обязан. Самая, конечно, любимая — это «Туманность Андромеды». Очень на меня большое влияние имела. Представляете, железная звезда... И на черной-черной планете стоит радостный советский звездолет с бассейном, вокруг пятно голубого света, и где этот свет кончается — враждебная жизнь, она света боится и может только таиться во тьме. Медузы какие-то, это я не понял, и еще черный крест — тут, по-моему, на церковников намек. Такой был черный крест, крался в темноте, а там, где свет голубой, люди работают, добывают анамезон. И тут этот черный крест по ним чем-то непонятным как пальнет! Целился в самого Эрга Ноора, но его Низа Крит заслонила своей грудью. И наши потом отомстили — ядерный удар до горизонта, Низу Крит спасли, а главных медуз поймали — и в Москву. Я еще читал и думал: как же люди в наших посольствах за рубежом работают! Хорошая книга. А еще другую помню. Там какая-то пещера была, что ли...

— ...

— Или нет, пещера потом была, не пещера, а коридоры. Низкие коридоры, а на потолках — копоть от факелов. Это воины по ночам все время с факелами ходили, стерегли господина царевича. Говорили, от аккадов. На самом деле от брата стерегли, конечно... Вы, господин начальник северной башни, простите меня, если я не то говорю, только у нас все так считают — и воины и слуги. А если язык мне велите отрезать, так вам все равно любой

то же самое скажет. Это сама царица Шубад такой гарнизон здесь поставила, от Мескаламдуга. Он как на охоту поедет, так всегда мимо южной стены проезжает, и с ним двести воинов в медных колпаках — это что ж, на львов охотиться? Все об этом говорят... то есть как? Да вы что, господин начальник северной башни, опять пятилистника нажевались? Нинхурсаг я, жрец Арраты и резчик печатей. То есть когда вырасту, буду жрецом и резчиком, пока я маленький еще... да что вы пишете, вы ж меня знаете. Еще уздечку мне подарили с медными бляхами. Не помните? Почему... Сейчас... Сидели это мы с Намтурой — ну, знаете, у которого уши отрезанные, он меня треугольник вырезать учил. Тяжелее всего для меня. Там сначала делаешь два глубоких надреза, а потом надо с третьей стороны широким резцом подцепить и... Ну да. а тут снаружи кто-то занавес срывает, нагло так — мы глаза поднимаем. а там два воина стоят. Радость, говорят, какая! Наш царевич уже не царевич, а великий царь Абарагги! Только что отбыл к божеству Нанне, ну и нам, выходит, надо собираться. Намтура заплакал от счастья, запел что-то по-аккадски и стал свои тряпки в узел вязать. А я сразу во двор пошел, сказал только, чтобы Намтура резцы собрал. А во дворе — Уршу-победитель! — воины с факелами и светло как днем... Да нет, что вы, господин начальник северной башни! Конечно нет. Это просто Намтура так бормочет все время... Нет, и жертв никогда не приносил. Не надо. Я теперь нун великого царя Абарагги, мне так запросто ушей не отрежешь, на это царский указ нужен... Ладно, прощаю. Да, и колесницы с быками уже стояли. Тут ко мне господин владыка засова подходит — на, говорит, Нинхурсаг, кинжал из государственной бронзы, ты уже взрослый. И еще ячменной муки дал мешочек — сваришь, говорит, себе еды в дороге. Тут я смотрю, а по двору эти ходят, в медных колпаках. Ну, думаю, великий Уршу! То есть великий Ану! Помирились, значит, Мескаламдуг с Абарагги... Да и то — с царем как ссориться будешь, когда у него каждое слово — Ану. Тут мне мою колесницу показали, ну, я на нее и влез. Там еще один мальчик стоял — он быками управлял. Я его раньше даже не видел. Помню только, бусы у него были из бирюзы, дорогие бусы. И кинжал за поясом — тоже только что дали. В общем, оглянувшись я на крепость, взгрустнул немного. Но тут облака разошлись, и в просвете Луна как засияет... И сразу мне легко стало и весело... Тут в скале возле конюшен плиту отодвинули — а там вход в пещеру. Я и не знал раньше, что там пещера. Правда не знал... Чтоб мне подвига в битве не совершить! Это же вы и были! Вспомнил теперь. И тут, значит, вы, господин начальник северной башни, к нам подходите с двумя чашами пива и говорите — мол, от царского брата Мескаламдуга. И юбка на вас эта же самая была, только на голове — колпак медный. Ну, мы и выпили. Я до этого пива никогда не пил. А потом второй мальчик что-то крикнул, натянул вожжи, и мы поехали — прямо в пролом в скале. Помню, там дорога вниз вела, а что по бокам — не видел, темно было... Потом? А потом у вас в башне оказался. Это меня от пива так, да?.. Накажут? Уж заступитесь, господин начальник северной башни. Расскажите, как все было. Или таблички передайте, раз уж все записали все. Конечно, с собой... Нет, вам не дам, сам поставлю. Кто ж печать-то дает. У... Ану заступник! Вот. Правда нравится? Сам делал. С третьего раза получилось. Это бог Мардук. Какой забор, это старшие боги стоят. Вы заступитесь за меня, господин начальник северной башни! Я вам тогда три печати вырежу. Нет, не плачу... Все, не буду. Спасибо. Вы — муж мудрый и мощный, это я всем сердцем говорю. Не рассказывайте никому только, что я плакал... А то скажут, какой он жрец Арраты — напьется пива и плачет... Конечно, хочу. А где? С юга или с севера? А то у вас тут вся стена в зеркалах. Понял... Ну, знаю. Это когда Нинлиль пошла в чистом потоке купаться, а потом вышла на берег канала. Мать ей говорила,

говорила, ну а она все равно, значит, на берег канала вышла, ну тут ее Энлиль и обрюхатил. А потом он в Киур приходит, а ему совет богов и говорит: Энлиль, насильник, прочь из города! Ну а Нинлиль, понятно, за ним пошла... Нет, не спит. Два других? Ну это уже после было, когда Энлиль сторожем на переправе притворился и когда Нанна у Нинлиль уже под самым сердцем был...

— ...

— Да и потом, эти два — просто разные проявления одного и того же. Можно так сказать: Геката — это темная и странная сторона, а Селена — светлая и чудесная. Но я здесь, признаться, не очень сведущ так, слышал кое-что в Афинах... Бывал, бывал. Еще при Домициане. Прятался там. Иначе б мы с вами, отец сенатор, в этих носилках сейчас не ехали... Как обычно, оскорбление величия. Будто бы у хозяина во дворе статуя принцепса стоит, а рядом двух рабов похоронили. А у него и статуи такой никогда не было. Даже и при Нерве вернуться опасались. А при нынешнем принцепсе бояться нечего. Он к нам легатом самого Плиния Секунда прислал — вот какое время настало, слава Изиде и Серапису! Недаром... Да нет, что вы, отец сенатор, клянусь Геркулесом! Это у меня с Афин, там сейчас египтянин на египтянине... Какие у вас дощечки интересные, воска почти не видно. А львиные морды — из электрона? Скажите, коринфская бронза... Первый раз вижу... Да вы же меня знаете — Секстий Руфин. Нет, из вольноотпущенников. Все-таки чем носилки хороши — если рабы, конечно, умелые: едешь и пишешь. И светильник горит, как в комнате, а мимо пинии проплывают... Вы, отец сенатор, прямо в душе читаете. Постоянно про себя слагаю. Конечно, не Марциал — так, туплю себе стилосы... «Песни я пою мелкими стишками. Как когда-то Катулл их пел, а также — Кальв и древние. Мне-то что за дело! Я стишки предпочел, оставив форум...» Ну, преувеличиваю, конечно, отец сенатор, так на то они и стихи. Я, собственно, свидетелем по делу о христианах из-за литературы и пошел. Чтоб на легата нашего посмотреть. Великий человек... Ну, не совсем свидетелем. Да нет, все как есть написал — ой и правда из Галилеи, Максим этот. У него по ночам собираются, какой-то дым вдыхают. А потом он на крышу вылезает в одних калигах и петухом кричит — я как увидел, так сразу понял, что они христиане... Про летучих мышей приврал, конечно. Чего там. Да все равно им одна дорога — в гладиаторскую школу. А легат наш мне очень понравился. Да... К столу пригласил, стихи мои послушал. Хвалил очень. А потом говорит: приходи, говорит, Секстий, на ужин. Когда полнолуние будет. Я. говорит, пришлю... И точно, прислал. Я все свитки со стихами собрал — а ну, думаю, в Рим отправит. Лучший плащ надел... Да нельзя мне тогу, у меня же римского гражданства нет. Поехали мы, значит, только почему-то за город. Долго ехали, я аж заснул в повозке. Просыпаюсь, гляжу — не то вилла какая-то, не то храм, и факельщики. Ну, значит, прошли мы внутрь — через дом и во двор. А там уже стол накрыт, прямо под небом, и Луна все это освещает. Удивительно большая была. Мне рабы и говорят — сейчас господин легат выйдет, а вы ложитесь пома к столу, вина выпейте. Вон ваше место, под мраморным ягненком. Я лег, выпил — а остальные вокруг лежат и на меня смотрят... И молчат. Чего, думаю, легат им о моих стихах порассказал... Даже не по себе стало. Но потом за ширмой на двух арфах заиграли, и мне вдруг так весело стало — удивительно. Я уж и не понял, как с места вскочил и танцевать начал... А потом вокруг треножки появились с огнем и еще люди какие-то в желтых хитонах. Они, по-моему, не в себе были — посидят-посидят, а потом вдруг руки к Луне протянут и что-то петь начнут по-гречески... Нет, не разобрал — я танцевал, мне весело было. А потом господин легат появился — на нем почему-то фригийский колпак был с

серебряным диском, а в руке — свирель. И глаза блестят. Еще вина мне налил. Хорошие, говорит, стихи пишешь, Секстий. И про луну заговорил — вот прямо как вы, отец сенатор... Пойдите, так ведь и вы там были — точно. Хе-хе, а я-то все думаю — чего это мы с вами в носилках едем? Да-а... Так сейчас-то на вас тога, а тогда хитон был и колпак фригийский, как на легате. Ну да. У вас еще в руке копье было красное, с конским хвостом. Все мне к вам неудобно было спиной повернуться, только мне легат говорит — погляди, говорит, Секстий, на Гекагу, а я тебе на свирели сыграю. И заиграл — тихо так. Ну, я глаза поднял, гляжу, гляжу, а потом вы меня про эту самую Гекагу и Селену спрашивать стали. И когда ж я к вам в носилки сесть успел? Все в порядке? Ну слава И... Геркулесу. Аполлону и Геркулесу... Ну и хорошо, верните, я их и принес, чтобы легат прочел. А вы, отец сенатор, тоже литературой занимаетесь? То-то я смотрю — вы все пишете, пишете. А-а. На память. Тоже стихи понравились. Этот час для тебя — гуляет Лицей, и царит в волосах душистых роза. Конечно. Давайте даже гемму приложу. Ничего, тут резьба неглубокая, много воска не надо. Пропечатается. Подъезжаем? Вот спасибо, отец сенатор, а то прическа растрепалась. И сколько такое зеркало в метрополии стоит? Скажите, у нас в Вифинии за такие деньги домик можно купить. Тоже коринфская бронза? Серебро? И надпись какая-то...

— ...

— Ничего, прочту. Так... «Лейтенанту Вульффу за Восточную Пруссию. Генерал Людендорф». Ой, извините, бригаденфюрер, он сам раскрылся. Удивительный портсигар, блестит как зеркало. А вы, значит, в пятнадцатом уже лейтенантом были? И тоже летчиком? Ну что вы, бригаденфюрер, даже неловко. Из-за этих трех крестов даже на задание не слетаешь. Яков с МИГаами, говорят, много, а Фогель фон Рихтгофен у нас один. Если б не спецмиссия, я б заплесневел, наверное, в пустой казарме... Да, имя пишется как «птица». Мать сначала расстроилась, когда узнала, как меня отец назвать хочет. Зато Бальдур фон Ширах — он с отцом дружил — целое стихотворение мне посвятил. В школах сейчас проходят... Осторожнее, это вон из того окна стреляют... Да нет, стена толстая... Представляю, чего бы он написал, если б узнал про спец-миссию. Это прямо какая-то поэма была. Я-то поверил, что на Западный фронт переводят, только в Берлине все и узнал. Сперва, конечно, расстроился. Что им, думаю, в «Анэнербе», делать нечего — боевых летчиков с фронта отзывают... Но когда этот самолет увидел — Дева Мария! Сразу... Да что вы, бригаденфюрер, просто жил в детстве в Италии. Да. Сколько летаю, а такой красоты не видел. Потом только разобрался, что это. собственно. Me-109, только с другим мотором и с длинными крыльями... Черт, ленту перекосило... Да ладно, сам... В общем, только в ангар вошел, и сразу дух захватило. Белый, легкий такой и словно светится в темноте. Но что удивило — это подготовка. Я думал, матчасть учить буду, а вместо этого к вам в «Анэнербе» возили, череп мерили, и все под Вагнера.

А спросишь о чем — молчат. В общем, когда меня той ночью разбудили, я решил, что опять череп мерить будут. Нет, смотрю — под окнами два «мерседеса» стоят, урчат моторами... Отлично, бригаденфюрер! Прямо под башню. Где это вы так наловчились из этой штуки... Ну сели, значит, поехали. Потом... Да, оцепление стояло, эсэсовцы с факелами. Проехали, потом лес кончился, здание какое-то с колоннами и аэродром. Ни души кругом, только ветерок такой легкий и Луна в небе. Я-то думал, что все аэродромы под Берлином знаю, а этого никогда не видел. И самолет мой стоит, прямо на полосе, и что-то такое под фюзеляжем у него, тоже белое, вроде бомбы. Но мне рядом даже остановиться не дали, а сразу повели в это здание... Нет, не помню. Помню только, Вагнер играл. Велели

раздеться, вымыли, как ребенка... Нет, гранаты потом... Масло в кожу втирали — знаете, чем-то древним пахнет, приятный запах такой. И дали летную форму, всю белую. И все мои награды на груди. Да, думаю, Фогель, вот оно... Ведь всю жизнь о чем-то таком и мечтал. Потом эти, из «Анзиербе», говорят: ступайте, капитан, к самолету. Там вам все скажут. Руку пожали, все по очереди. Ну, я и пошел. А сапоги тоже белые, в пыль боишься наступить... Сейчас... Подхожу к самолету, а там... Так это ведь вы и были, бригаденфюрер, только не в каске этой, а в таком черном колпаке... И, значит, стали вы мне все это объяснять — взлететь на одиннадцать тысяч, курс на Луну и красную кнопку нажать на левой панели... А черт. Чуть-чуть не достал... Ну и планшет этот белый мне дали, а потом — кофе с коньяком из термоса. Я говорю — не надо, не пью перед вылетом, а вы мне так строго: да ты хоть знаешь. Фогель, от кого этот кофе? Тут я оборачиваюсь и вижу — никогда бы не поверил... Да. Как в кинохронике, и китель тот самый, двубортный. Только колпак на голове и бинокль на груди. И усы чуть пошире, чем на портретах. Или из-за лунного света так показалось. Рукой так помахал, прямо как на стадионе... В общем, выпил я кофе, сел в самолет, надел сразу кислородную маску и взлетел. И так мне сразу легко стало — будто в две груди задышал.

Поднялся на одиннадцать тысяч, курс на Луну — она огромная была, в полнеба, и вниз поглядел. А там все зеленоватое такое, река какая-то блеснула... Тут я кнопку и нажал. И чего-то вправо стало заносить, а как сел — даже не помню... Расписаться? И вы мне черкните что-нибудь на память. Спасибо... А много их к Берлину прорвалось? Да это-то понятно... Ерунда, кирпичной крошкой, наверно. Переносица цела... Ага, вижу, ерунда. С этим портсигаром бриться можно, и зеркала не нужно...

— ...

— Нет, больше не нужно, я ведь и не просил. Это вы сами поставили, товарищ полковник, когда свечу зажгли... Ну, чего дальше — книги читал, а потом телескоп себе сделал маленький. В основном Луну изучал. Даже на утренник в школе один раз луноходом нарядился... Отлично этот вечер помню... Да нет, у нас всегда утренники вечером были, а тогда еще субботу на понедельник перенесли... Все ребята в актовом зале собрались — у них костюмы простые были, танцевать можно было. А на мне такое надето было — встанешь на карачки, и действительно как луноход. В зале музыка играет, раскраснелись все... А я постоял у дверей и пополз на четвереньках по пустой школе. Коридоры темные, нет никого... Вот так я на карачках к окну подползаю, а за ним в небе Луна, и даже не желтая, а зеленая какая-то. как у Куинджи на картине — знаете? У меня над койкой висит, из «Работницы». И вот тогда я себе слово и дал на Луну попасть... Ха-ха-ха... Ну если вы, товарищ полковник, все возможное сделаете, тогда точно попаду... Ну что дальше — после школы в Зарайское летное, оттуда сразу сюда... Получили представление? Да я знаю, товарищ полковник, всегда лучше по-человечески. Вот тут? Ничего, что чернила синие? Правильно. Простая душа, короткий протокол... Спасибо. Если можно, с малиновым. А где вы баллончики берете для сифона? Хотя да... Товарищ полковник, а можно вопрос? Скажите, а правда весь лунный грунт к вам отвозят? Да не помню, кто-то из наших... Конечно, ведь только по телевизору видел... Ух ты... И сколько в такую банку входит — грамм триста? А разве можно? Спасибо... Вот спасибо... Дайте еще листок, чтоб понадежней... Спасибо. Помню. Направо по коридору, к лифтам и вниз. Не дойду? Еще действует? Ну проводите тогда... Опять колпак на вас? Почему, нравится. У нас ведь в армии уже колпаки были — буденовки. Красиво, только непривычно — козырька нет,

кокарда круглая... Нет, не забыл... Как налево? А зачем факел у вас? А электрик... ну да, допуск. Посветите, ступеньки крутые... Как у нас на посадочном модуле. Товарищ полковник, так здесь же ту...

Раздался щелчок, и два голоса, мужской и женский, вывели в унисон:

— ...зубах. Ах, песенку эту поныне хранит...

Возникла как бы короткая пауза.

— Трава молодая, — полувопросительно пропела женщина.

— Степной малахит, — подтвердил щедрый баритон.

Я выключил магнитофон. Мне было очень страшно. Я вспомнил полковника в черной рясе со свистком и секундомером на груди. Никаких вопросов Митьку никто не задавал, а то, на что он отвечал, было негромким свистом, иногда прерывавшим его монолог.

Никто из наших не спросят меня о Митьке. Он, собственно, ни с кем, кроме меня, не дружил, только иногда играл с Отто в самодельные карты. Его койку уже унесли из нашего бокса, и только висящие на стене цветные вставки из «Работницы» с картинами Куинджи «Лунная ночь над Днепром» и «Хан Байконур» напоминали о том, что когда-то на свете жил такой Митёк. На занятиях все делали вид, что ничего не произошло; в особенности бодр и приветлив был полковник Урчагин.

Между тем наш небольшой отряд, как бы не заметивший потери бойца, уже допевал свое «Яблочко». Прямо об этом никто не говорил, но ясно было: скоро лететь. Несколько раз с нами встречался начальник полета и рассказывал, как он в дни войны сражался в отряде Ковпака; всех нас сфотографировали поодиночке, потом всех вместе, потом с преподавательским составом, у знамени. Наверху стали попадаться новые курсанты — их готовили отдельно от нас, а к чему — я точно не знал; говорили об отправке какого-то автоматического зонда к Альфе Микроцефала сразу после нашей экспедиции, но уверенности, что новые ребята и есть экипаж этого зонда, у меня не было.

В начале сентября, вечером, меня неожиданно вызвали к начальнику полета. Его не было в кабинете; адъютант в приемной, скучавший над старым «Ньюсуиком», сказал, что он в триста двадцать девятой комнате.

Из-за двери с цифрами «329» доносились голоса и что-то похожее на смех. Я постучал, но мне не ответили. Я постучал еще раз и повернул ручку.

Под потолком комнаты висела полоса табачного дыма, отчего-то напомнившая мне инверсионный след в летнем небе над Зарайским летным. К металлическому стулу в центре комнаты за руки и за ноги был пристегнут маленький японец — то, что это японец, я понял по красному кругу в белом прямоугольнике на рукаве его летного комбинезона. Его губы были синими и распухшими, один глаз превратился в тоненькую щелку посреди багрового кровоподтека, а комбинезон был в пятнах крови — и совсем свежих, и бурых, высохших. Перед японцем стоял Ландратов в высоких сверкающих сапогах и парадной форме лейтенанта ВВС. У окна, опершись на стену и скрестив руки на груди, стоял невысокий молодой человек в штатском. За столом в углу сидел начальник полета — он рассеянно глядел сквозь японца и постукивал по столу тупым концом карандаша.

— Товарищ начальник полета! — начал было я, но он махнул рукой и стал собирать разложенные по столу бумаги в папку. Я перевел взгляд на Ландратова.

— Привет, — сказал он, протянул мне широкую ладонь и вдруг, совершенно неожиданно для меня, изо всех сил ударил японца сапогом в живот. Японец тихо захрипел.

— Не хочет, сука, в совместный экипаж! — удивленно округляя глаза и разводя руками, сказал Ландратов и, неестественно выворачивая ступни, отбил короткую присядку с двойным прихлопом по голенищам.

— Прекратить. Ландратов! — буркнул начальник полета, выходя из-за стола.

Из угла донеслось тихое, полное ненависти скуление; я поглядел туда и увидел собаку, сидящую на задних лапах перед темно-синим блюдечком с нарисованной ракетой. Это была очень старая лайка с совершенно красными глазами, но меня поразили не ее глаза, а покрывавший ее туловище светло-зеленый мундирчик с погонами генерал-майора и двумя орденами Ленина на груди.

— Знакомься, — поймав мой взгляд, сказал начальник полета. — Товарищ Лайка. Первый советский космонавт. Родители ее, кстати, наши с тобой коллеги. Тоже в органах работали, только на севере.

В руках у начальника полета появилась маленькая фляжка коньяку, из которой он налил в блюдце. Лайка вяло попыталась цапнуть его за руку, но промахнулась и опять тихо завывала.

— Она у нас шустрая. — Начальник полета улыбнулся. — Вот только ссать где попало не надо бы. Ландратов, сходи за тряпкой.

Ландратов вышел.

— Иой о тэнки ни наримасита нэ, — с трудом разлепив губы, сказал японец. — Хана ва сакураги, хито ва фудзивара.

Начальник полета вопросительно повернулся к молодому человеку.

— Бредит, товарищ генерал-лейтенант, — сказал тот.

Начальник полета взял со стола свою папку.

— Идем, Омон.

Мы вышли в коридор, и он обнял меня за плечи. Ландратов с тряпкой в руке прошел мимо нас и, закрывая за собой дверь в триста двадцать девятую, подмигнул мне.

— Ландратов молодой еще, — задумчиво сказал начальник полета, — бесится. Но отличный летчик. Прирожденный.

Несколько метров мы прошли молча.

— Ну что, Омон, — сказал начальник полета, — послезавтра на Байконур. Вот оно.

Уже несколько месяцев я ждал этих слов, и все равно показалось, что в мое солнечное сплетение врезался снежок с тяжелой гайкой внутри.

— Твой позывной, как ты и просил, «Ра». Трудно было, — начальник полета многозначительно ткнул пальцем вверх, — но отстояли. Только ты там, — он ткнул пальцем вниз, — пока ничего не говори.

Я совершенно не помнил, чтобы когда-нибудь кого-нибудь просил о чем-то подобном.

Во время зачетного занятия на макете нашей ракеты я был просто зрителем — сдавали остальные ребята, а я сидел на лавке у стены и смотрел. Свой зачет я сдал за неделю до этого, во дворе, пройдя на полностью снаряженном луноходе восьмерку длиной в сто метров за шесть минут. Ребята уложились точно в норматив, и нас построили перед макетом, чтобы сделать прощальный снимок. Я не видел его, но отлично себе представляю, как он получился: впереди — Сема Аникин в ватнике, со следами машинного масла на руках и на лице; за ним — опирающийся на алюминиевую трость (от подземной сырости у него иногда ныли культы) Иван Гречко в длинном овчинном тулупе, со свисающей на грудь расстегнутой кислородной маской; за ним — в серебристом скафандре, утепленном в некоторых местах кусками байкового одеяла в желтых утятах, Отто Плуцис — его шлем был откинут и напоминал задубевший на космическом морозе капюшон. Дальше — Дима Матюшевич в таком же скафандре, только куски одеяла не в утятах, а в простую зеленую полоску; последним из экипажа — я в курсантской форме. За мной, в электрическом своем кресле, — полковник Урчагин, а слева от него — начальник полета.

— А сейчас, по ставшей добрым обычаем традиции, — сказал начальник полета, когда фотограф закончил, — мы поднимемся на несколько минут на Красную площадь.

Мы прошли через зал и на секунду задержались у маленькой железной дверки — задержались, чтобы последний раз окинуть взором ракету, в точности подобную той, на которой нам предстояло вскоре взмыть в небо. Начальник полета открыл ключом со своей

связки маленькую железную дверь в стене, и мы пошли по коридору, в который я раньше не попадал.

Мы довольно долго петляли между каменных стен, вдоль которых тянулись разноцветные провода; несколько раз коридор поворачивал, а его потолок иногда становился таким низким, что приходилось нагибаться. В одном месте я заметил неглубокую нишу, где лежали подвявшие цветы; рядом висела небольшая мемориальная доска со словами: «Здесь в 1932 году был злодейски убит лопатой товарищ Серов Налбандян». Потом под ногами появилась красная ковровая дорожка; коридор стал расширяться и наконец уперся в лестницу.

Лестница была очень длинная, а сбоку шла гладкая наклонная плоскость в метр шириной с узким рядом ступенек посередине — как для колясок в подземном переходе. Я понял, зачем это устроено, когда увидел, как начальник полета покатил вверх кресло с полковником Урчагиным. Когда он уставал, Урчагин вытягивал ручной тормоз, и они застывали, поэтому и остальные шли не слишком быстро, тем более что Ивану длинные лестницы давались с трудом. Наконец мы вышли к тяжелым дубовым дверям с разными гербами; начальник полета отпер замок своим ключом, но разбухшие от сырости створки раскрылись, только когда я сильно толкнул их плечом.

В нас ударил дневной свет; кто-то закрыл глаза ладонью, кто-то отвернулся — только полковник Урчагин сидел спокойно, с обычной полуулыбкой на лице. Когда мы привыкли к свету, оказалось, что мы стоим лицом к серым надгробьям перед Кремлевской стеной, и я догадался, что мы вышли через черный ход Мавзолея. Я так давно не видел над собой открытого неба, что у меня закружилась голова.

— Все космонавты, — негромко заговорил начальник полета, — все, сколько их ни было в нашей стране, перед полетом приходили сюда, к священным для каждого советского человека камням и трибунам, чтобы взять частичку этого места с собою в космос. Огромный и трудный путь прошла наша страна — начиналось все с тачанок и пулеметов, а сейчас вы, ребята, работаете со сложнейшей автоматикой, — он сделал паузу и не мигая обвел холодным взглядом наши глаза, — которую вам доверила Родина и с которой мы с Бамлагом Ивановичем познакомили вас на лекциях. Я уверен, что в этот ваш последний проход по поверхности Родины вы тоже унесете с собой частичку Красной площади, хотя чем окажется эта частица для каждого из вас, я не знаю...

Мы молча стояли на поверхности родной планеты. Был день; небо чуточку хмурилось, и голубые ели качали своими лапами под ветром. Пахло какими-то цветами. Куранты начали бить пять; начальник полета, глянув на свои часы, подвел стрелки и сказал, что у нас есть еще несколько минут.

Мы вышли на ступени у передних дверей Мавзолея. Народу на Красной площади не было совсем, если не считать двух только что сменившихся часовых, которые никак не показали, что видят нас, и трех спин, удаляющихся в сторону Спасской башни. Я огляделся по сторонам, впитывая в себя все, что видел и чувствовал: седые стены ГУМа, пустые «овощи-фрукты» Василия Блаженного, Мавзолей Ленина, угадываемый за стеной краснознаменный зеленый купол, фронтон Исторического музея и серое, близкое и как бы отвернувшееся от земли небо, которое еще, быть может, не знало, что совсем скоро его прорвет железный пенис советской ракеты.

— Пора, — сказал начальник полета.

Наши медленно пошли назад за Мавзолей. Через минуту под словом «ЛЕНИН» остались

только мы с полковником Урчагиным; начальник полета посмотрел на часы и кашлянул в кулак, но Урчагин сказал:

— Минуту, товарищ генерал-лейтенант. Хочу Омону два слова сказать.

Начальник полета кивнул и скрылся за полированным гранитным углом.

— Подойди ко мне, мой мальчик, — сказал полковник.

Я подошел. На брусчатку Красной площади упали первые крупные и редкие капли. Урчагин поискал в воздухе, и я протянул ему свою ладонь. Он взял ее, чуть сжал и дернул к себе. Я наклонился, и он стал шептать в мое ухо. Я слушал его и глядел, как темнеют ступени перед его коляской.

Товарищ Урчагин говорил минуты две, делая большие паузы. Замолчав, он еще раз пожал мою ладонь и отнял руку.

— Теперь иди к остальным, — сказал он.

Я сделал было шаг к люку, но обернулся.

— А вы?

Дождевые капли все чаще били вокруг.

— Ничего, — сказал он, доставая зонт из похожего на кобуру чехла на боку кресла. — Я покатаюсь тут.

И вот что я унес с предвечерней Красной площади — потемневшую брусчатку и худенькую фигуру в старом кителе, сидящую в инвалидном кресле и раскрывающую непослушный черный зонт.

Обед был довольно невкусный: суп с макаронными звездочками, курица с рисом и компот; обычно, допив компот, я съедал все разваренные сухофрукты, но в этот раз съел почему-то только сморщенную горькую грушу, а дальше почувствовал тошноту и даже отпихнул тарелку.

Вроде бы я плыл на водном велосипеде по густым камышам, из которых торчали огромные телеграфные столбы: велосипед был странный — не такой, как обычно, с педалями перед сиденьем, а как бы переделанный из наземного: между двух толстых и длинных поплавков была установлена рама со словом «Спорт». Совершенно было непонятно, откуда взялись все эти камыши, водный велосипед да и я сам. Но меня это не очень волновало. Вокруг была такая красота, что хотелось плыть и плыть дальше и смотреть, и, наверное, ничего другого не захотелось бы долго. Особенно красивым было небо — над горизонтом стояли узкие и длинные сиреневые облака, похожие на звено стратегических бомбардировщиков. Было тепло; чуть слышно плескалась вода под винтом, и с запада доносилось эхо далекого грома.

Потом я понял, что это не гром. Просто через равные промежутки времени не то во мне, не то вокруг меня все сотрясалось, после чего у меня в голове начинало гудеть. От каждого такого удара все окружающее — река, камыши, небо над головой — как бы изнашивалось. Мир делался знакомым до мельчайших подробностей, как дверь сортира изнутри, и происходило это очень быстро, пока я вдруг не заметил, что вместе со своим велосипедом нахожусь уже не среди камышей, и не на воде, и даже не под небом, а внутри прозрачного шара, который отделил меня от всего вокруг. Каждый удар заставлял стены шара становиться прочнее и толще; через них просачивалось все меньше и меньше света, пока не стало совсем темно. Тогда вместо неба над головой появился потолок, зажглось тусклое электричество, и стены начали менять свою форму, приближаясь ко мне вплотную, выгибаясь и образуя какие-то полки, заставленные стаканами, банками и чем-то еще. И тогда ритмичное содрогание мира стало тем, чем оно было с самого начала. — телефонным звонком.

Я сидел внутри лунохода в седле, сжимая руль и пригнувшись к самой раме; на мне были летный ватник, ушанка и унты; на шею, как шарф, была накинута кислородная маска. Звонила привинченная к полу зеленая коробка радио. Я снял трубку.

— Ну ты, е... твою мать, пидарас сраный! — надрывным страданием взорвался в моем ухе чудовищный бас. — Ты что там, х... драчишь?

— Кто это?

— Начальник ЦУПа полковник Халмурадов. Проснулся?

— А?

— Хуй на. Минутная готовность!

— Есть минутная готовность! — крикнул я в ответ, от ужаса до крови укусил себя за тубу и свободной рукой вцепился в руль.

— Коз-зел, — выдохнула трубка неразборчиво и заквакала — видно, тот, кто кричал на меня, говорил теперь с другими, отведя трубку от лица. Потом в трубке что-то бикнуло и послышался другой голос, говорящий безлично и механически, но с сильным украинским акцентом:

— Пятьдесят девять... пятьдесят уосемь...

Я был в том состоянии стыда и шока, когда человек начинает громко стонать или выкрикивать неприличные слова; мысль о том, что я чуть было не сделал что-то непоправимое, заслонила все остальное. Следя за взрывающимися у меня в ухе цифрами, я попытался вспомнить происшедшее и осознал, что вроде бы не совершил ничего страшного.

Я помнил только, как оторвал ото рта стакан с компотом и отодвинулся от стола — мне вдруг расхотелось есть. А следующее, что я понял, — это что звонит телефон и надо взять трубку.

— Тридцать три...

— Я заметил, что луноход полностью снаряжен. Полки, раньше пустые, теперь были плотно заставлены — на нижней блестяли вазелином банки с китайской тушенкой «Великая стена», на верхней лежал планшет, кружка, консервный нож и кобура с пистолетом; все это было перехвачено контровочной проволокой. В мое левое бедро упирался кислородный баллон с надписью «Огнеопасно», а в правое — алюминиевый бидон; в нем отражалась горящая на стене маленькая лампа, под которой висела карта Луны с двумя черными точками, нижняя из которых была подписана «Место посадки». Рядом с картой на нитке висел красный фломастер.

— Шестнадцать...

За двумя глазками была полная тьма — как и следовало ожидать, понял я, раз луноход закрыт колпаком обтекателя.

— Девять... Уосемь...

«Секунды предстартового отсчета, — вспомнил я слова товарища Урчагина, — что это, как не помноженный на миллион телевизоров голос истории?»

— Три... Два... Один... Зажигание.

Где-то далеко внизу послышался гул и грохот, с каждой секундой он становился громче и скоро перерос все мыслимые пределы — словно сотни молотов били в железный корпус ракеты. Потом началась тряска, и я несколько раз ударился головой о стену перед собой — если б не ушанка, я бы, наверно, вышиб себе мозги. Несколько банок тушенки полетело на пол, потом качнуло так, что я подумал о катастрофе, — а в следующий момент в трубке, которую я все еще продолжал прижимать к уху, раздалось далекое:

— Омон! Летишь!

— Поехали! — крикнул я. Грохот превратился в ровный и мощный гул, а тряска — в вибрацию наподобие той, что испытываешь в разогнавшемся поезде. Я положил трубку на рычаг, и телефон сразу же зазвонил снова.

— Омон, ты в порядке?

Это был голос Семы Аникина, накладывающийся на монотонно произносимую информацию о начальном участке полета.

— В порядке. — сказал я, — а почему это мы вдруг... Хотя да...

— Мы думали, пуск отменят, так ты спал крепко. Момент-то ведь точно рассчитан. От этого траектория зависит. Даже солдата послали по мачте залезть, он по обтекателю сапогом бил, чтоб ты проснулся. По связи тебя без конца вызывали.

— Ага.

Несколько секунд мы молчали.

— Слушай, — опять заговорил Сема, — мне ведь четыре минуты осталось всего, даже меньше. Потом ступень отцеплять. Мы уж все друг с другом попрощались, а с тобой... Ведь не поговорим никогда больше.

Никаких подходящих слов не пришло мне в голову, и единственное, что я ощутил, — это неловкость и тоску.

— Омон! — опять позвал Сема.

— Да, Сема, — сказал я, — я тебя слышу. Летим, понимаешь.

— Да, — сказал он.

— Ну ты как? — спросил я, чувствуя бессмысленность и даже оскорбительность своего вопроса.

— Я нормально. А ты?

— Тоже. Ты чего видишь-то?

— Ничего. Тут все закрыто. Шум страшный. И трясет очень.

— Меня тоже, — сказал я и замолчал.

— Ладно, — сказал Сема, — мне пора уже. Ты знаешь что? Ты, когда на Луну прилетишь, вспомни обо мне, ладно?

— Конечно. — сказал я.

— Вспомни просто, что был такой Сема. Первая ступень. Обещаешь?

— Обещаю.

— Ты обязательно должен долететь и все сделать, слышишь?

— Да.

— Пора. Прощай.

— Прощай, Сема.

В трубке несколько раз стукнуло, а потом сквозь треск помех и рев двигателей долетел Семин голос — он громко пел свою любимую песню:

А-а, в Африке реки вот такой ширины...

А-а. в Африке горы вот такой вышины.

А-а. крокодилы-бегемоты.

А-а. обезьяны-кашалоты.

А-а... А-а-а-а...

На «кашалотах» что-то затрещало, словно разрывали кусок брезента, и почти сразу в трубке раздались короткие гудки, но за секунду до этого — если мне не показалось — Семин песня стала криком. Меня опять тряхнуло. ударило спиной о потолок, и я выронил трубку. По тому, как изменился рев двигателей, я догадался, что заработала вторая ступень. Наверно, самым страшным для Семы было включать двигатель. Я представил себе, что это такое — разбив стекло предохранителя, нажать на красную кнопку, зная, что через секунду оживут огромные зияющие воронки дюз. Потом я вспомнил о Ване, схватил трубку снова, но в ней были гудки. Я несколько раз ударил по рычагу и крикнул:

— Ваня! Ваня! Ты меня слышишь?

— Чего? — спросил наконец его голос.

— Сема-то...

— Да, — сказал он, — я слышал все.

— А тебе скоро?

— Через семь минут. — сказал он. — Знаешь, о чем я сейчас думаю?

— О чем?

— Да вот что-то детство вспомнилось. Помню, как я голубей ловил. Брели мы, знаешь, такой небольшой деревянный ящик, типа от болгарских помидоров, сыпали под него хлебную крошку и ставили на ребро, а под один борт подставляли палку с привязанной веревкой метров так в десять. Сами прятались в кустах или за лавкой, а когда голубь заходил

под ящик, дергали веревку. Ящик тогда падал.

— Точно, — сказал я, — мы тоже.

— А помнишь, когда ящик падает, голубь сразу хочет смыться и бьет крыльями по стенкам — ящик даже подпрыгивает.

— Помню, — сказал я.

Ваня замолчал.

Между тем стало уже довольно холодно. Да и дышать было труднее — после каждого движения хотелось отдышаться, как после долгого бега вверх по лестнице. Чтобы сделать вдох, я стал подносить к лицу кислородную маску.

— А еще помню, — сказал Ваня, — как мы гильзы взрывали с серой от спичек. Набьешь, заплющишь, а в боку должна быть такая маленькая дырочка — и вот к ней прикладываешь несколько спичек в ряд...

— Космонавт Гречка, — раздался вдруг в трубке разбудивший и обругавший меня перед стартом бас, — приготовиться.

— Есть, — вяло ответил Ваня. — А потом приматываешь ниткой или, еще лучше, изолентой, потому что нитка иногда сбивается. Если хочешь из окна кинуть, этажа так с седьмого, и чтоб на высоте взорвалось, то нужно четыре спички. И...

— Отставить разговоры, — сказал бас. — Надеть кислородную маску.

— Есть. По крайней надо не чиркать коробкой, а зажигать лучше всего от окурка. А то они сбиваются от дырочки.

Больше я ничего не слышал — только обычный треск помех. Потом меня опять стукнуло о стену, и в трубке раздалась короткая гудка. Заработала третья ступень. То, что мой друг Ваня только что — так же скромно и просто, как и все, что он делал, — ушел из жизни на высоте сорока пяти километров, не доходило до меня. Я не чувствовал горя, а, наоборот, испытывал странный подъем и эйфорию.

Я вдруг заметил, что теряю сознание. То есть я заметил не то, как я его теряю, а то, как я в него прихожу. Только что я вроде бы держал у уха трубку — и вот она уже лежит на полу; у меня звенит в ушах, и я отупело гляжу на нее из своего задранного под потолок седла. Только что кислородная маска, как шарф, была перекинута через мою шею — и вот я мотаю головой, силясь прийти в себя, а она лежит на полу рядом с телефонной трубкой. Я понял, что мне не хватает кислорода, дотянулся до маски и прижал ее ко рту — сразу же стало легче, и я почувствовал, что сильно замерз. Я застегнул ватник на все пуговицы, поднял воротник и опустил уши ушанки. Ракету чуть трясло. Мне захотелось спать, и хотя я знал, что этого не стоит делать, перебороть себя я не сумел, — сложив руки на руле, я закрыл глаза.

Мне приснилась Луна — такая, как ее рисовал в детстве Митёк: черное небо, бледно-желтые кратеры и гряда далеких гор. Вытянув перед мордой передние лапы, к пылающему над горизонтом шару Солнца медленно и плавно шел медведь со звездой героя на груди и засохшей струйкой крови в углу страдальчески оскаленной пасти. Вдруг он остановился и повернул морду в мою сторону. Я почувствовал, что он смотрит на меня, поднял голову и взглянул в его остановившиеся голубые глаза.

— И я, и весь этот мир — всего лишь чья-то мысль, — тихо сказал медведь.

Я проснулся. Вокруг было очень тихо. Видно, какая-то часть моего сознания сохраняла связь с внешним миром, и наступившая тишина подействовала на меня как звонок будильника. Я наклонился к глазкам в стене. Оказалось, что обтекатель уже отделился —

передо мной была Земля.

Я стал соображать, сколько же я спал, — и не смог прийти ни к какому определенному выводу. Наверно, не меньше нескольких часов: мне уже хотелось есть, и я стал шарить на верхней полке — я вроде бы видел на ней консервный нож. Но его там не было. Я решил, что он свалился на пол от тряски, и принялся оглядываться, и в этот момент зазвонил телефон.

— Алло!

— Ра, прием. Омон! Ты меня слышишь?

— Так точно, товарищ начальник полета.

— Ну, вроде нормально все. Был один момент тяжелый, когда телеметрия отказала. Не то что отказала, понимаешь, а просто параллельно включили другую систему, и телеметрия не пошла. Контроль даже на несколько минут отменили. Это когда воздуха стало не хватать, помнишь?

Говорил он странно, возбужденно и быстро. Я решил, что он сильно нервничает, хоть у меня и мелькнула догадка, что он пьян.

— А ты, Омон, перепугал всех. Так спал крепко, что чуть запуск не отложили.

— Виноват, товарищ начальник полета.

— Ничего-ничего. Ты и не виноват. Это тебе снотворного много дали перед Байконуром. Пока все отлично идет.

— Где я сейчас?

— Уже на рабочей траектории. К Луне летишь. А ты что, разгон с орбиты спутника тоже проспал?

— Выходит, проспал. А что, Отто уже все?

— Отто уже все. Разве не видишь, обтекатель-то отделился. Но пришлось тебе два лишних витка сделать. Отто запаниковал сначала. Никак ракетный блок включать не хотел. Мы уж думали, струсил. Но потом собрался парень, и... В общем, тебе от него привет.

— А Дима?

— А что Дима? С Димой все в порядке. Автоматика прилунения на инерционном участке не работает. А, хотя у него еще коррекция... Матюшевич, ты нас слышишь?

— Так точно, — услышал я в трубке Димин голос.

— Отдыхай пока, — сказал начальник полета. — Связь завтра в пятнадцать дня, потом коррекция траектории. Отбой.

Я положил трубку и прижался к глазкам, глядя на голубой полукруг Земли. Я часто читал, что всех без исключения космонавтов поражал вид нашей планеты из космоса. Писали о какой-то сказочно красивой дымке, о том, что сияющие электричеством города на ночной стороне напоминают огромные костры, а на дневной стороне видны даже реки, — так вот, все это неправда. Больше всего Земля из космоса напоминает небольшой школьный глобус, если смотреть на него, скажем, через запотевшие стекла противогаза. Это зрелище быстро мне надоело; я поудобнее оперся головой на руки и заснул опять.

Когда я проснулся, Земли уже не было видно. В глазках мерцали только размытые оптикой точки звезд, далекие и недостижимые. Я представил себе бытие огромного раскаленного шара, висящего, не опираясь ни на что, в ледяной пустоте, во многих миллиардах километров от соседних звезд, крохотных сверкающих точек, про которые известно только то, что они существуют, да и то не наверняка, потому что звезда может погибнуть, но ее свет еще долго будет нестись во все стороны, и, значит, на самом деле про звезды не известно ничего, кроме того, что их жизнь страшна и бессмысленна, раз все их

перемещения в пространстве навечно предопределены и подчиняются механическим законам, не оставляющим никакой надежды на нечаянную встречу. Но ведь и мы, люди, думал я, вроде бы встречаемся, хохочем, хлопаем друг друга по плечам и расходимся, но в некоем особом измерении, куда иногда испуганно заглядывает наше сознание, мы так же неподвижно висим в пустоте, где нет верха и низа, вчера и завтра, нет надежды приблизиться друг к другу или хоть как-то проявить свою волю и изменить судьбу; мы судим о происходящем с другими по долетающему до нас обманчивому мерцанию и идем всю жизнь навстречу тому, что считаем светом, хотя его источника может уже давно не существовать. И вот еще, думал я, всю свою жизнь я шел к тому, чтобы взмыть над толпами рабочих и крестьян, военнослужащих и творческой интеллигенции, и вот теперь, повиснув в сверкающей черноте на невидимых нитях судьбы и траектории, я увидел, что стать небесным телом — это примерно то же самое, что получить пожизненный срок с отсидкой в тюремном вагоне, который безостановочно едет по окружной железной дороге.

Мы летели со скоростью двух с половиной километров в секунду, и инерционная часть полета заняла около трех суток, но у меня осталось чувство, что я летел не меньше недели. Наверно, потому, что Солнце несколько раз в сутки проходило перед глазками, и каждый раз я любовался восходом и закатом небывалой красоты.

От огромной ракеты теперь оставался только лунный модуль, состоявший из ступени коррекции и торможения, где сидел Дима Матюшевич, и спускаемого аппарата, то есть попросту лунохода на платформе. Чтоб не тратить лишнее горючее, обтекатель отстрелился еще перед разгоном с орбиты спутника, и за бортом лунохода теперь был открытый космос. Лунный модуль летел как бы задом наперед, развернувшись главной дюзой к Луне, и постепенно в моем сознании с ним произошло примерно то же, что с прохладным лубянским лифтом, превратившимся из механизма для спуска под землю в приспособление для подъема на ее поверхность. Сначала лунный модуль все выше и выше поднимался над Землей, а потом постепенно выяснилось, что он падает на Луну. Но была и разница. В лифте я и опускался и поднимался головой вверх. А прочь с земной орбиты я понесся головой вниз; только потом, примерно через сутки полета, оказалось, что я, уже головой вверх, все быстрее и быстрее проваливаюсь в черный колодец, вцепившись в руль велосипеда и ожидая, когда его несуществующие колеса беззвучно врежутся в Луну.

У меня хватало времени на все эти мысли потому, что мне ничего пока не надо было делать. Мне часто хотелось поговорить с Димой, но он все время был занят многочисленными и сложными операциями по коррекции траектории. Иногда я брал трубку и слышал его непонятные отрывистые переговоры с инженерами из ЦУПа:

— Сорок три градуса... Пятьдесят семь... Тангаж... Рысканье...

Некоторое время я все это слушал, потом отключался. Как я понял, главной Диминой задачей было поймать в один оптический прибор Солнце, в другой — Луну, что-то замерить и передать результат на Землю, где должны были сверить реальную траекторию с расчетной и вычислить длительность корректирующего импульса двигателей. Судя по тому, что несколько раз меня сильно дергало в седле, Дима справлялся со своей задачей.

Когда толчки прекратились, я подождал с полчаса, снял трубку и позвал:

— Дима! Алло!

— Слушаю, — ответил он своим обычным суховатым тоном.

— Ну чего, скорректировал траекторию?

— Вроде да.

— Тяжело было?

— Нормально, — ответил он.

— Слушай, — заговорил я, — а где это ты так наблатыкался? С этими градусами? У нас ведь на занятиях этого не было.

— Я два года в ракетных стратегических служил, — сказал он, — там система наведения похожая, только по звездам. И без радиосвязи — сам все считаешь на калькуляторе. Ошибешься — п...дец.

— А если не ошибешься?

Дима промолчал.

— А кем ты служил?

— Оперативным дежурным. Потом стратегическим.

— А что это значит?

— Ничего особенного. Если в оперативно-тактической ракете сидишь — оперативный.

А если в стратегической — тогда стратегический дежурный.

— Тяжело?

— Нормально. Как сторожем на гражданке. Сутки в ракете дежуришь, трое отдыхаешь.

— Так вот почему ты седой... У вас там все седые, да?

Дима опять промолчал.

— Это от ответственности, да?

— Да нет. Скорее от учебных пусков, — неохотно ответил он.

— От каких учебных пусков? А, это когда в <Извести-ях> на последней странице мелким шрифтом написано, чтобы в Тихом океане не заплывали в какой-то квадрат, да?

— Да.

— И часто такие пуски?

— Когда как. Но спичку каждый месяц тянешь. Двенадцать раз в год, вся эскадрилья — двадцать пять человек. Вот и сидят ребята.

— А если тянуть не захочешь?

— Это только так называется, что тянешь. На самом деле перед учебным пуском замполит всех обходит и каждому по конверту дает. Там твоя спичка уже лежит.

— А что, если там короткая, отказаться нельзя?

— Во-первых, не короткая, а длинная. А во-вторых, нельзя. Можно только заявление написать в отряд космонавтов. Но это сильно повезти должно.

— И многим везет?

— Не считал. Мне вот повезло.

Дима отвечал неохотно и часто делал довольно невежливые паузы. Я не нашелся, что еще спросить, и положил трубку.

Следующую попытку поговорить с ним я сделал, когда до торможения оставалось несколько минут. Стыдно признаться, но мною владело бесчувственное любопытство — изменится ли Дима перед... Словом, я хотел проверить, будет ли он так же сдержан, как и во время нашего прошлого разговора, или близкое завершение полета сделает его чуть более разговорчивым. Я снял трубку и позвал:

— Дима! Это Омон говорит. Возьми трубку.

Я услышал в ответ:

— Слушай, перезвони через две минуты! У тебя радио работает? Включи скорей!

Дима бросил трубку. Его голос был взволнованным, и я решил, что по радио передают что-то про нас. Но <Маяй> передавал музыку — включив его, я услышал затихающее дребезжание синтезатора; программа уже кончалась, и через несколько секунд наступила тишина. Потом пошли сигналы точного времени, и я узнал, что в какой-то Москве четырнадцать каких-то часов. Прождав еще немного, я взял трубку.

— Слышал? — взволнованно спросил Дима.

— Слышал, — сказал я. — Но только самый конец.

— Узнал?

— Нет, — сказал я.

— Это «Пинк Флойд» был. «One of These Days».

— Неужто трудящиеся попросили? — удивился я.

— Да нет, — сказал Дима. — Это заставка к программе «Жизнь науки». С пластинки «Meddle». Чистый андерграунд.

— А ты что, «Пинк Флойд» любишь?

— Я-то? Очень. Они у меня все собраны были. А ты к ним как относишься?

Первый раз я слышал, чтобы Дима говорил таким живым голосом.

— В общем ничего, — сказал я. — Но только не все. Вот есть у них такая пластинка, корова на обложке нарисована.

— «Atom Heart Mother», — сказал Дима.

— Эта мне нравится. А вот еще другую помню двойную, где они во дворе сидят, и на стене картина с этим же двором, где они сидят...

— «Ummagumma».

— Может быть. Так это, по-моему, вообще не музыка.

— Правильно! Говно, а не музыка! — рывкнул в трубке чей-то голос, и мы на несколько секунд замолчали.

— Не скажи, — заговорил наконец Дима, — не скажи. Там в конце новая запись «Sauciful of Secrets». Тембр другой, чем на «Nice Pair». И вокал. Гилмор поет.

Этого я не помнил.

— А что тебе на «Atom Heart Mother» нравится? — спросил Дима.

— Знаешь, на второй стороне две такие песни есть. Одна тихая, под гитару. А вторая с оркестром. Очень красивый проигрыш. Там та-та-та-та-та-та-та там-тарам тра-та-та...

— Знаю, — сказал Дима. — «Summer Sixty Eight». А тихая — это «If».

— Может быть, — сказал я. — А у тебя какая пластинка любимая?

— У меня, знаешь ли, любимой пластинки нет, — надменно сказал Дима. — Мне не пластинки нравятся, а музыка. Вот с «Meddle», например, нравится первая. Про эхо. Я даже без слез слушать не могу. Со словарем переводил. Аль-ба-трос над го-ло-вой, па-рарам, парам со мной... And help me understand the best I can...

Дима сглотнул и замолчал.

— А ты хорошо английский знаешь, — сказал я.

— Да, мне в ракетной части уже говорили. Замполит говорил. Не в этом дело. Я одной пластинки так и не нашел. В последний отпуск специально в Москву ездил, четыреста рублей брал. Толкался, толкался — никто про нее не слышал даже.

— А что за пластинка?

— Да ты не знаешь. Музыка к фильму. Называется «Забрийски поинт». Зи-эй-би-ар-ай-эс-кей-ай-и. «Zabriskie Point».

— А, — сказал я. — Да она была у меня. Не пластинка только, а запись на катушке. Ничего особенного... Дим, ты чего замолчал? Эй, Дима!

В трубке долго что-то потрескивало, потом Дима спросил:

— На что она похожа?

— Да как объяснить, — задумался я. — Вот ты «Морэ» слышал?

— Ну. Только не «Морэ», а «More».

— Вот примерно такая же. Только там не поют. Обычный саундтрек. Можешь считать, если «Морэ» слышал, то ее тоже слышал. Типичные «Пинки» — саксофон, синтезатор. Вторая сто...

В трубке бикнуло, и мою черепную коробку заполнил рев Халмурадова:

— Ра, прием! Вы что там, блядь, базарите? Дел мало? Подготовить автоматику к мягкой

посадке!

— Да готова автоматика! — с досадой ответил Дима.

— Тогда начать ориентацию оси тормозного двигателя по лунной вертикали!

— Ладно.

Я выглянул сквозь глазки лунохода в космос и увидел Луну. Она была уже совсем рядом — картина перед моими глазами напоминала бы петлюровский флаг, если бы ее верхняя часть была не черной, а синей. Зазвонил телефон. Я взял трубку, но это опять оказался Халмурадов:

— Внимание! По счету три включить тормозной двигатель по команде от радиовысотомера!

— Понял, — ответил Дима.

— Раз... Два...

Я бросил трубку.

Включился двигатель. Он работал с перерывами, а минут через двадцать меня вдруг ударило плечом в стену, потом спиной в потолок, и все вокруг затряслось от невыносимого грохота; я понял, что Дима ушел в бессмертие, не попрощавшись. Но я не испытал обиды — если не считать нашего последнего разговора, он всегда был молчалив и неприветлив, да и мне почему-то казалось, что, сутками сидя в гондоле своей межконтинентальной баллистической, он понял что-то особенное, такое, что навсегда лишило его необходимости здороваться и прощаться.

Момента посадки я не заметил. Тряска и грохот внезапно кончились, и, выглянув в глазки, я увидел такую же тьму, как перед стартом. Сначала я подумал, что произошло что-то неожиданное, но потом вспомнил, что по плану я и должен был приземлиться лунной ночью.

Некоторое время я ждал, сам не зная чего, и вдруг зазвонил телефон.

— Халмурадов, — сказал голос. — Все в порядке?

— Так точно, товарищ полковник.

— Сейчас телеметрия сработает, — сказал он, — опустятся направляющие. Съедешь на поверхность и доложишь. Только подтормаживай, понял?

И добавил тише, отведя трубку ото рта:

— Ан-де-храунд. Вот ведь блядь какая.

Луноход качнуло, и снаружи донесся глухой удар.

— Вперед, — сказал Халмурадов.

Это была, наверно, самая тяжелая часть моей задачи — нужно было съехать со спускаемого аппарата по двум узким направляющим, которые откидывались на лунную поверхность. На направляющих были специальные пазы, в которые входили реборды колес лунохода, поэтому соскользнуть с них было невозможно, но оставалась опасность, что одна из направляющих попадет на какой-нибудь камень, и тогда луноход, съезжая на грунт, мог накрениться и перевернуться. Я несколько раз повернул педали и почувствовал, что массивная машина наклонилась вперед и едет сама. Я нажал на тормоз, но инерция оказалась сильнее, и луноход поволокло вниз: вдруг что-то лязгнуло, тормоз сорвался, и мои ноги несколько раз со страшной скоростью провернули педали назад; луноход неудержимо покатился вперед, качнулся и встал ровно, на все восемь колес.

Я был на Луне. Но никаких эмоций по этому поводу я не испытал; думал я о том, как мне поставить на место слетевшую цепь. Когда мне это наконец удалось, зазвонил телефон.

Это был начальник полета. Его голос был официальным и торжественным.

— Товарищ Кривомазов! От имени всего летно-командного состава, присутствующего сейчас в ГлавЦУПе, поздравляю вас с мягкой посадкой советской автоматической станции «Луна-17Б» на Луну!

Послышались хлопки, и я понял, что открывают шампанское. Долетела музыка — это был какой-то марш; он был еле слышен, и его почти забивал раздававшийся в трубке треск.

Мои детские мечты о будущем родились из легкой грусти, свойственной тем отделенным от остальной жизни вечерам, когда лежишь в траве у остатков чужого костра, рядом валяется велосипед, на западе еще расплываются лиловые полосы от только что зашедшего солнца, а на востоке уже видны первые звезды.

Я мало что видел и испытал, но мне многое нравилось, и я считал, что полет на Луну вберет в себя все, мимо чего я проходил, надеясь встретить это потом, окончательно и навсегда; откуда мне было знать, что самое лучшее в жизни каждый раз видишь как бы краем глаза? В детстве я часто представлял себе вземные пейзажи — залитые мертвенным светом, изрытые кратерами каменные равнины; далекие острые горы, черное небо, на котором огромной головней пылает солнце и блещут звезды; я представлял себе многометровые толщи космической пыли, представлял камни, неподвижно лежащие на лунной поверхности многие миллиарды лет, — почему-то меня очень впечатляла мысль о том, что камень может неподвижно пролежать на одном и том же месте столько времени, а я вдруг нагнусь и возьму его толстыми пальцами скафандра. Я думал о том, как увижу, подняв голову, голубой шар Земли, похожий на чуть искаженный заплаканными стеклами противогаза школьный глобус, и эта высшая в моей жизни секунда свяжет меня со всеми теми моментами, когда мне казалось, что я стою на пороге чего-то непостижимого и чудесного.

На самом деле Луна оказалась крохотным пространством, черным и душным, где только изредка загоралось тусклое электричество; она оказалась неизменной тьмой за бесполезными линзами глазков и беспокойным неудобным сном в скорченном положении, с головой, упертой в лежащие на руле руки.

Двигался я медленно, километров по пять в день, и совершенно не представлял, как выглядит окружающий меня мир. Хотя, наверно, это царство вечной тьмы не выглядело вообще никак — кроме меня, здесь не было людей, для которых что-то может как-то выглядеть, а фару я не включал, чтобы не сажать аккумулятор. Грунт подо мною был, по-видимому, ровной плоскостью — машина ехала гладко. Но руль нельзя было повернуть совсем — очевидно, его заклинило при посадке, так что мне оставалось только крутить педали. Страшно неудобным для пользования был туалет — настолько, что я предпочитал терпеть до последнего, как когда-то во время детсадовского тихого часа. Но все же мой путь в космос был так долог, что я не позволял мрачным мыслям овладевать собою и даже был счастлив.

Проходили часы и сутки; я останавливался только для того, чтобы уронить голову на руль и заснуть. Тушенка медленно подходила к концу, воды в бидоне оставалось все меньше; каждый вечер я на сантиметр удлинял красную линию на карте, висящей перед моими глазами, и она все ближе подходила к маленькому черному кружку, за которым ее уже не должно было быть. Кружок был похож на обозначение станции метро; меня очень раздражало, что он никак не называется, и я написал рядом: «Zabriskie Point».

Правой рукой сжимая в кармане ватника никелированный шарик, я уже час вглядывался в этикетку с надписью «Великая стена». Мне чудились теплые ветры над полями далекого Китая, и нудно звенящий на полу телефон мало меня интересовал, но все же через некоторое время я взял трубку.

— Ра, прием! Почему не отвечаешь? Почему свет горит? Почему стоим? Я же тут все вижу по телеметрии.

— Отдыхаю, товарищ начальник полета.

— Доложи показания счетчика!

Я поглядел на маленький стальной цилиндр с цифрами в окошке.

— Тридцать два километра семьсот метров.

— Теперь погаси свет и слушай. Мы тут по карте смотрим — ты сейчас как раз подъезжаешь.

У меня екнуло в груди, хотя я знал, что до черного кружка, который дулом глядел на меня с карты, еще далеко.

— Куда?

— К посадочному модулю «Луны-17Б».

— Так ведь это я «Луна-17Б». — сказал я.

— Ну и что. Они тоже.

Кажется, он опять был пьян. Но я понимал, о чем он говорит. Это была экспедиция по доставке лунного грунта; на Луну тогда спустились двое космонавтов. Пасюк Драч и Зураб Парцвания. У них с собой была небольшая ракета, в которой они запустили на Землю пятьсот граммов грунта; после этого они прожили на лунной поверхности полторы минуты и застрелились.

— Внимание, Омон! — заговорил начальник полета. — Сейчас будь внимателен. Сбрось скорость и включи фары.

Я щелкнул тумблером и припал к черным линзам глазков. Из-за оптических искажений казалось, что чернота вокруг лунохода смыкается в свод и уходит вперед бесконечным туннелем. Я ясно различал только небольшой участок каменной поверхности, неровной и шероховатой, — это, видимо, был древний базальт; через каждые метр-полтора перпендикулярно линии моего движения над грунтом поднимались невысокие продолговатые выступы, напоминающие барханы в пустыне; странным было то, что они совершенно не ощущались при движении.

— Ну? — раздалось в трубке.

— Ничего не заметно, — сказал я.

— Выключи фары и вперед. Не спеши.

Я ехал еще минут сорок. Потом луноход на что-то наткнулся. Я взял трубку.

— Земля, прием. Тут что-то есть.

— Включить фары.

Прямо в центре поля моего зрения лежали две руки в черных кожаных перчатках; растопыренные пальцы правой накрывали рукоять совка, в котором еще оставалось немного песка, перемешанного с мелкими камнями, а в левой был сжат тускло поблескивающий «Макаров». Между руками виднелось что-то темное. Приглядевшись, я различил поднятый ворот офицерского ватника и торчащий над ним верх ушанки; плечо и часть головы лежащего были закрыты колесом лунохода.

— Ну чего, Омон? — выдохнула мне в ухо трубка.

Я коротко описал то, что было перед моими глазами.

— А погоны, погоны какие?

— Не видно.

— Отъедь назад на полметра.

— Луноход назад не ездит, — сказал я. — Ножной тормоз.

— А-ах ты... Говорил ведь главному конструктору, — пробормотал начальник полета. — Как говорится, знал бы, где упаду, — сенца бы подбросил. Я вот думаю, кто это — Зура или Паша. Зура капитан был, а Паша — майор. Ладно, выключай фары, аккумуляторы посадишь.

— Есть, — сказал я, но перед тем как выполнить приказ, еще раз поглядел на неподвижную руку и войлочный верх ушанки. Некоторое время я не мог тронуться с места, но потом сжал зубы и всем весом надавил на педаль. Луноход дернулся вверх, а через секунду вниз.

— Вперед, — сказал сменивший начальника полета Халмурадов. — Выходишь из графика.

Я экономил энергию и проводил почти все время в полной темноте, исступленно вращая педали и включая свет только на несколько секунд, чтобы свериться с компасом, хоть это и не имело никакого смысла, потому что руль все равно не работал. Но так приказывала Земля. Сложно описать это ощущение: тьма, жаркое тесное пространство, капающий со лба пот, легкое покачивание — наверно, что-то похожее испытывает плод в материнской утробе.

Я осознавал, что я на Луне. Но огромное расстояние, которое отделяло меня от Земли, было для меня чистой абстракцией. Мне казалось, что люди, с которыми я говорю по телефону, находятся где-то рядом — не потому, что их голоса в трубке были хорошо слышны, а потому, что я не представлял, как связывающие нас служебные отношения и личные чувства — нечто совершенно нематериальное — могли растянуться на несколько сот тысяч километров. Но самым странным было то, что на это же немислимое расстояние удлиннились и воспоминания, связывающие меня с детством.

Когда я учился в школе, я обычно коротал лето в подмосковной деревне, стоявшей на обочине шоссе. Большую часть своего времени я проводил в седле велосипеда и за день иногда проезжал километров по тридцать-сорок. Велосипед был плохо отрегулирован: руль был слишком низким, и мне приходилось сильно сгибаться над ним — так, как в луноходе. И вот теперь, из-за того, наверно, что мое тело надолго приняло эту же позу, со мной стали случаться легкие галлюцинации. Я как-то забывался, засыпал наяву — в темноте это было особенно просто, — и мне чудилось, что я вижу под собой тень на уносящемся назад асфальте, вижу белый разделительный пунктир в центре шоссе и вдыхаю пахнущий бензиновым перегаром воздух. Мне начинало казаться, что я слышу рев проносащихся мимо грузовиков и шуршание шин об асфальт, и только очередной сеанс связи приводил меня в чувство. Но потом я снова выпадал из лунной реальности, переносился на подмосковное шоссе и понимал, как много для меня значили проведенные там часы.

Однажды на связь со мной вышел товарищ Кондратьев и начал декламировать стихи про Луну. Я не знал, как повежливей попросить его остановиться, но вдруг он стал читать стихотворение, которое с первых строк показалось мне фотографией моей души.

Мы с тобою так верили в связь бытия.
Но теперь я оглядываюсь, и удивительно —
До чего ты мне кажешься, юность моя.
По цветам не моей, ни черта не действительной.

Если вдуматься, это — сиянье Луны
Между мной и тобой, между мелью и тонущим,
Или вижу столбы и тебя со спины.
Как ты прямо к Луне на своем полуночном.

Ты давно уж...

Я тихо всхлипнул, и товарищ Кондратьев сразу остановился.

— А дальше? — спросил я.

— Забыл, — сказал товарищ Кондратьев. — Прямо из головы вылетело.

Я не поверил ему, но знал, что спорить или просить бесполезно.

— А о чем ты сейчас думаешь? — спросил он.

— Да ни о чем, — сказал я.

— Так не бывает, — сказал он. — Обязательно ведь в голове крутится какая-нибудь мысль. Правда, расскажи.

— Да я детство часто вспоминаю, — неохотно сказал я. — Как на велосипеде катался. Очень похоже было. И до сих пор не пойму — ведь вроде ехал на велосипеде, еще руль был такой низкий, и вроде впереди светло было, и ветер свежий-свежий...

Я замолчал.

— Ну? Чего не поймешь-то?

— Я ведь к каналу вроде ехал... Так куда же я...

Товарищ Кондратьев пару минут молчал и тихо положил трубку.

Я включил «Маяк» — мне, кстати, не очень верилось, что это «Маяк», хотя так уверяли через каждые две минуты.

— Семь сыновей подарила Родине Мария Ивановна Плахута из села Малый Перехват, — заговорил парящий над рабочим полднем далекой России женский голос. — Двое из них, Иван Плахута и Василий Плахута, служат сейчас в армии, в танковых войсках МВД. Они просят передать для их матери шуточную песню «Самовар». Выполняем вашу просьбу, ребята. Мария Ивановна, для вас сегодня поет народный балагур СССР Артем Плахута, который откликнулся на нашу просьбу с тем большим удовольствием, что сам за восемь лет до братьев демобилизовался старшим сержантом.

Задрезжали домры, два или три раза бухнули тарелки, и полный чувства голос, напирая на букву «р», как на соседа по автобусу, запел:

— Ух, гор-ряч кипя-кипяток!

Я бросил трубку. От этих слов меня передернуло. Мне вспомнилась Дими́на седая голова и корова с обложки «Atom Heart Mother», и по моей спине прошла холодная

медленная дрожь. Минуту или две я выжидал, решив, что песня уже кончилась, повернул черную ручку. Секунду было тихо, а потом притаившийся на секунду баритон грянул мне в лицо:

Угощ-щали гадов чаем
И водицей огневой!

На этот раз я ждал долго, и, когда опять включил приемник, говорила ведущая:

— ...вайте вспомним наших космонавтов и всех тех, чей земной труд делает возможной их небесную вахту. Для них сегодня...

Я вдруг ушел в свои мысли, точнее — провалился в одну из них, как под лед, и опять стал слышать только через несколько минут, когда тяжелый хор далеких басов уже клал последние кирпичи в монументальное здание новой песни. Но, несмотря на то что я полностью отключился от реальности, я автоматически продолжал давить на педали, сильно отводя в сторону правое колено, — так меньше чувствовалась мозоль, которую мне успел натереть унт.

Поразило меня вот что.

Если сейчас, закрыв глаза, я оказывался — насколько человек вообще может где-нибудь оказаться — на призрачном подмосковном шоссе, и несуществующие асфальт, листва и солнце перед моими закрытыми глазами делались так реальны для меня, словно я действительно мчался под уклон на своей любимой второй скорости; если, забыв про *Zabriskie Point*, до которого оставалось совсем немного, я все-таки бывал иногда несколько секунд счастлив, — не значило ли это, что уже тогда, в детстве, когда я был просто неотделившейся частью погруженного в летнее счастье мира, когда я действительно мчался на своем велосипеде вперед по асфальтовой полосе, навстречу ветру и солнцу, совершенно не интересуясь тем, что ждет меня впереди, — не значило ли это, что уже тогда я на самом деле катил по черной и мертвой поверхности Луны, видя только то, что проникало внутрь сознания сквозь кривые глазки сгущающегося вокруг меня лунохода?

Прощай, ячменный колос.
Уходим завтра в космос.
В районе окна
Товарищ Луна
Во всем черном небе одна...

«Социализм — это строй цивилизованных кооператоров с чудовищным Распутиным во главе, который копируется и фотографируется не только большими группами коллективных пропагандистов и агитаторов, но и коллективными организаторами, различающимися по их месту в исторически сложившейся системе использования аэропланов против нужд и бедствий низко летящей конницы, которая умирает, загнивает, но так же неисчерпаема, как нам реорганизовать Рабкрин».

Над текстом, выложенным золотыми буквами, был картуш с золотым остробороденьким профилем и полукруглое слово «ЛЕНИН», обрамленное двумя оливковыми ветвями из фольги. Я часто проходил мимо этого места, но вокруг всегда были люди, а при них я не решался подойти ближе. Я внимательно оглядел всю конструкцию: это был довольно большой, в метр высотой, планшет, обтянутый малиновым бархатом. Он висел на стене на двух петлях, а с другой стороны удерживался вплотную к стене небольшим крючком. Я огляделся. Еще не кончился тихий час, и в коридоре никого не было. Я подошел к окну — идущая к столовой аллея была пуста, только из дальнего ее конца в мою сторону медленно ползли два лунохода, в которых я узнал вожатых Юру и Лену. Стояла тишина, только с первого этажа доносилось тихое постукивание шарика о теннисный стол — мысль о том, что кто-то имеет право играть в настольный теннис во время тихого часа, наполнила меня меланхолией. Откинув крючок, я потянул планшет на себя. Открылся квадрат стены, в центре которого был выключатель, выкрашенный золотой краской. Чувствуя, как у меня все сильнее сосет под ложечкой, я протянул руку и перещелкнул его вверх.

Раздался негромкий гудок, и я, еще не поняв, что это такое, почувствовал, что совершил с окружающим миром и самим собой что-то страшное. Гудок прозвучал опять, громче, и вдруг выяснилось, что выключатель, открытая малиновая дверца и весь коридор, где я стою, — все это ненастоящее, потому что на самом деле я вовсе не стою у стены с выключателем, а сижу в скрюченной и неудобной позе в каком-то крайне тесном месте. Прогудело еще раз, и вокруг меня за несколько секунд сгустился луноход. Еще гудок, и в моем сознании сверкнула мысль о том, что вчера, перед тем как склонить голову на руль, я довел красную линию на карте точно до черного кружка с надписью «Zabriskie Point».

Звонил телефон.

— Выспался, мудила? — прогремывал в трубке голос полковника Халмурадова.

— Ты сам мудила, — сказал я, внезапно разозлившись.

Халмурадов заливисто и заразительно захохотал — я понял, что он совершенно не обиделся.

— Я тут опять один сижу, в ЦУПе. Наши в Японию уехали, насчет совместного полета договариваться. Пхадзер Владиленович тебе привет передает, жалел очень, что попрощаться не успел — в последний момент все решилось. А я из-за тебя тут остался. Ну чего, сегодня вымпел-радиобуй ставишь? Отмучился, похоже? Рад?

Я молчал.

— Да ты на меня злишься, что ли? Омон? Что я тебя тогда козлом назвал? Брось. Ты ведь тогда весь ЦУП раком поставил, чуть полет отменять не пришлось, — сказал Халмурадов и немного помолчал. — Да что ты правда, как баба... Мужик ты или нет? Тем более день такой. Ты вспомни только.

— Я помню, — сказал я.

— Застегнись как можно плотнее, — озабоченно заговорил Халмурадов, — особенно ватник на горле. Насчет лица...

— Я все не хуже вас знаю. — перебил я.

— ...сначала очки, потом замотаешь шарфом, а потом уже — ушанку. Обязательно завязать под подбородком. Перчатки. Рукава и унты перетянуть бечевкой — вакуум шуток не понимает. Тогда минуты на три хватит. Все понял?

— Понял.

— Бля, не «понял», а «так точно». Приготовишься — доложишь.

Говорят, в последние минуты жизни человек видит ее всю как бы в ускоренном обратном просмотре. Не знаю. Со мной ничего подобного не было, как я ни пытался. Вместо этого я отчетливо, в мельчайших деталях, представил себе Ландратова в Японии — как он идет по солнечной утренней улице в дорогих свежкупленных кроссовках, улыбается и, наверно, даже не вспоминает о том, на что он их только что натянул. Представил я себе и остальных — начальника полета, превратившегося в пожилого интеллигента в костюме-тройке, и товарища Кондратьева, дающего задумчивое интервью корреспонденту программы «Время». Но ни одной мысли о себе в мою голову не пришло. Чтобы успокоиться, я включил «Маяк» и послушал тихую песню об огнях, которые загорались там вдали за рекой, о поникшей голове, пробитом сердце и белогвардейцах, которым нечего терять, кроме своих цепей. Я вспомнил, как давным-давно в детстве полз в противогазе по линолеуму, неслышно подпевая далекому репродуктору, и тихим голосом запел:

— Это бе-ло-гвардей-ски-е цепи!

Вдруг радио отключилось и зазвонил телефон.

— Ну чего, — спросил Халмурадов, — готов?

— Нет еще. — ответил я. — Куда спешить?

— Ну ты гандон, парень, — сказал Халмурадов, — то-то у тебя в личном деле написано, что друзей в детстве не было, кроме этого мудака, которого мы расстреляли. Ты о других-то хоть иногда думаешь? Я ж на теннис опять не попаду.

Почему-то мысль о том, что Халмурадов в белых шортах на своих жирных ляжках совсем скоро будет стоять на лужниковском корте и постукивать мячиком об асфальт, а меня в это время уже не будет нигде, показалась мне не? вероятно обидной — не из-за того, что я ощутил к нему зависть, а потому, что я вдруг с пронзительной ясностью вспомнил солнечный сентябрьский день в Лужниках, еще школьных времен. Но потом я понял, что, когда не будет меня, Халмурадова и Лужников тоже не будет, и эта мысль развеяла меланхолию, вынесенную мною из сна.

— О других? Какие еще другие? — тихо спросил я. — Впрочем, чушь. Вы идите, я сам справлюсь.

— Ты брось это.

— Правда, идите.

— Брось, брось, — серьезно сказал Халмурадов. — Мне акт надо закрыть, сигнал с Луны зарегистрировать, московское время проставить. Ты лучше давай это быстрее.

— А Ландратов тоже в Японии? — спросил вдруг я.

— А чего ты спросил? — подозрительно проговорил Халмурадов.

— Так просто. Вспомнил.

— А чего вспомнил? Скажи, а?

— Да так, — ответил я. — Вспомнил, как он «Калинку» танцевал на выпускном экзамене.

— Вас понял. Эй, Ландратов, ты в Японии? Тут про тебя спрашивают.

Послышался смех и скользкий скрип зажимающих трубку пальцев.

— Тут он, — сказал наконец Халмурадов. — Привет тебе передает.

— Ему тоже. Ну ладно, пора, пожалуй.

— Толкнешь люк, — быстро заговорил Халмурадов, повторяя известную мне наизусть инструкцию, — и сразу за руль хватайся, чтоб воздухом не выкинуло. Потом вдохни из кислородной маски сквозь шарф и вылазь. Пройдешь пятнадцать шагов по ходу движения, вынешь вымпел-радиобуй, поставишь и включишь. Смотри только, отнеси подальше, а то луноход сигнал заэкранирует... Ну а потом... Пистолет с одним патроном мы тебе выдали, а тросов у нас в отряде космонавтов никогда не было.

Я положил трубку. Телефон зазвонил снова, но я не обращал на него внимания. На секунду у меня появилась мысль не включать вымпел-радиобуй, чтоб эта сволочь Халмурадов просидел в ЦУПе до конца дня, а потом еще получил какой-нибудь партийный выговор, но я вспомнил Сему Аникина и его слова о том, что я обязательно должен долететь и все сделать. Предать парней с первой и второй ступени да и молчаливого Диму с лунного модуля я не мог; они умерли, чтобы я сейчас оказался здесь, и перед лицом их высоких коротких судеб моя злоба на Халмурадова показалась мне мелкой и стыдной. И когда я понял, что сейчас, через несколько секунд, соберусь с духом и сделаю все как надо, телефон замолчал.

Я стал собираться и через полчаса был готов. Плот* но-плотно заткнув уши и ноздри специальными гидро* компенсационными тампонами из промасленной ваты, я проверил одежду — все было плотно застегнуто, заправлено и перетянuto; правда, резинка мотоциклетных очков была слишком тесной, и они впились в лицо, но я не стал возиться — терпеть все равно оставалось совсем недолго. Взяв лежащую на полке кобуру, я вытащил из нее пистолет, поставил его на боевой взвод и сунул в карман ватника. Перебросив мешок с вымпелом-радиобуем через левое плечо, я положил было руку на трубку, но вспомнил, что уже заткнул уши ватой, да мне и не очень хотелось тратить последние мгновения жизни на беседу с Халмурадо вым. Я вспомнил наш последний разговор с Димой и подумал, что я правильно сделал, что наврал ему про «Zabriskle Point». Горько уходить из мира, в котором оставляешь какую-то тайну.

Я выдохнул, как перед прыжком в воду, и принялся за дело.

За долгие часы тренировок мое тело настолько хорошо запомнило, что ему следует делать, что я ни разу не остановился, хотя работать пришлось почти в полной темноте, потому что аккумулятор сел до такой степени, что лампочка уже не давала света — был только виден малиновый червячок спирали. Сначала надо было снять пять винтов по периметру люка. Когда последний винт звякнул об пол, я нащупал на стене стеклянное окошко аварийного сброса люка и сильно ударил по стеклу последней банкой «Великой стены». Стекло разбилось. Я просунул в окошко кисть, зацепил пальцем кольцо пиропатрона и дернул его на себя. Пиропатрон был сделан из взрывателя от гранаты Ф-1 и срабатывал с замедлением в три секунды, поэтому у меня как раз хватило времени схватиться за руль и

как можно ниже пригнуть голову. Потом над моей головой громынуло, и меня так качнуло, что чуть не выбросило из седла, но я удержался. Прошло полсекунды, и я поднял голову. Надо мною была бездонная чернота открытого космоса. Между ним и мною был только тонкий плексиглас мотоциклетных очков. Вокруг была абсолютная тьма. Я нагнулся, глубоко вдохнул из раструба кислородной маски и, неуклюже перевалившись через борт, поднялся на ноги и пошел вперед — каждый шаг давался ценой невероятного усилия из-за страшной боли в спине, разогнутой впервые за месяц. Идти целых пятнадцать шагов не хотелось; я опустился на колени, расслабил тесьму мешка с вымпелом-радиобуем и потащил его наружу — он зацепился рычажком и никак не хотел вылезать. Держать воздух в легких становилось все сложнее, и со мной случился короткий момент паники — показалось, что я сейчас умру, так и не выполнив того, зачем я здесь. Но в следующую минуту мешок соскочил, я опустил радиовымпел на невидимую поверхность Луны и повернул рычажок. В эфир полетели закодированные слова: «ЛЕНИН», «СССР» и «МИР», повторяемые через каждые три секунды, а на корпусе вспыхнула крошечная красная лампочка, осветившая изображение плывущего сквозь пшеничные колосья земного шара — и тут я впервые в жизни заметил, что герб моей Родины изображает вид с Луны.

Воздух рвался из легких наружу, и я знал, что через несколько секунд выдохну его и обожженным ртом глотну пустоты. Я размахнулся и швырнул как можно дальше никелированный шарик. Пора было умирать. Я вынул из кармана пистолет, поднес его к виску и попытался вспомнить главное в своем недолгом существовании, но в голову не пришло ничего, кроме истории Марата Попады, рассказанной его отцом. Мне показалось нелепым и обидным, что я умру с этой мыслью, не имеющей ко мне никакого отношения, и я попытался думать о другом, но не смог; перед моими глазами встала зимняя поляна, сидящие в кустах егеря, два медведя, с ревом идущие на охотников, — и, спуская или взведя курок, я вдруг с несомненной отчетливостью понял, что Киссинджер знал. Пистолет дал осечку, но и без него уже все было ясно: перед моими глазами поплыли яркие спасательные круги, я попытался поймать один из них, промахнулся и повалился на ледяной и черный лунный базальт.

В щеку впивался острый камень — из-за шарфа он не очень чувствовался, но было все равно неприятно. Я приподнялся на локтях и огляделся. Видно вокруг не было ничего. В носу свербело; я чихнул, и один из тампонов вылетел из носа. Тогда я сдернул с головы шарф, очки и ушанку, потом вытащил из ушей и носа разбухшие ватные тампоны. Слышно не было ничего, зато ощущался явственный запах плесени. Было сыро и, несмотря на ватник, холодно.

Я поднялся, пошарил вокруг руками, вытянул их перед собой и пошел вперед. Почти сразу же я обо что-то споткнулся, но сохранил равновесие. Через несколько шагов мои пальцы уперлись в стену; пошарив по ней, я нашупал толстые провисающие провода, облепленные каким-то липким пухом. Я повернулся и пошел в другую сторону; теперь я шел осторожней, высоко поднимая ноги, но через несколько шагов споткнулся опять. Потом под моими руками опять оказались стена и кабели. Тут я заметил метрах в пяти от себя крохотную красную лампочку, освещавшую металлический пятиугольник, и все вспомнил.

Но я не успел никак осмыслить вспомненное и что-нибудь по этому поводу подумать — далеко справа вспыхнуло, я повернул голову, инстинктивно заслонил лицо руками и сквозь пальцы увидел уходящий вдаль тоннель, в конце которого зажегся яркий свет, осветив густо

покрытые кабелями стены и сходящиеся в точку рельсы.

Отвернувшись, я увидел стоящий на рельсах луноход, на который падала моя черная длинная тень (неизвестный оформитель густо изрисовал его звездами и крупными словами «СССР»), и попятился к нему, закрываясь от плывущего на меня над рельсами ослепительного огня, почему-то вдруг напомнившего мне закатное солнце. О борт лунохода звякнуло, и в ту же секунду долетел громкий треск; я понял, что в меня стреляют, и кинулся за луноход. О борт снова звякнула пуля, и несколько секунд он гудел, как похоронный колокол. Донеслось негромкое постукивание колес, потом раздался еще один выстрел, и стук колес стих.

— Эй, Кривомазов! — загремел нечеловечески громкий голос. — Выходи с поднятыми руками, сука! Тебе орден дали!

Я осторожно выглянул из-за лунохода: метрах в пятидесяти от меня на рельсах стояла маленькая дрезина с ослепительно горячей фарой, перед которой на широко расставленных ногах покачивался человек с мегафоном в левой руке и пистолетом в правой. Он поднял оружие; громыхнул выстрел, и несколько раз срикошетившая пуля провизжала под потолком. Я спрятал голову.

— Выходи, гад!

Его голос был знакомым, но я не мог понять, кто это.

— Два!

Он еще раз выстрелил и попал в корпус лунохода.

— Три!

Я опять осторожно выглянул и увидел, как он положил мегафон на свою дрезину, развел руки в стороны и медленной трусцой побежал по шпалам к луноходу. Когда он немного приблизился, стало слышно, что он жужжит ртом, изображая рев самолетных двигателей, и я сразу узнал его — это был Ландратов. Я попятился было по тоннелю, но понял, что как только он долетит до лунохода, я окажусь совершенно беззащитным. Секунду поколебавшись, я пригнулся и нырнул под низкое заусенчатое дно.

Теперь я видел только приближающиеся ноги, ловко, но как-то вывороченно ступающие по шпалам. Кажется, он ничего не заметил. Приблизясь к луноходу, он загудел иначе, напряженнее, и я понял, что он закладывает вираж, обходя аппарат сбоку. Потом его сапоги мелькнули между ржавыми трамвайными колесами, и тут, неожиданно для самого себя, я схватил его за ноги. Когда мои пальцы сомкнулись вокруг его щиколоток, я чуть не отпустил их от тошнотворного ощущения почти полной пустоты в его сапогах. Он заорал и упал; я не разжал рук, и протезы под мягкой кожей неестественно вывернулись. Я еще раз крутанул их и полез из-под лунохода наружу; когда я выбрался, он уже подползал к своему пистолету, упавшему между шпалами. У меня оставалось не больше секунды; я схватил тяжелый пятиугольник вымпела-радиобуя и с силой опустил его на желтоволосый ландратовский затылок.

Раздался хруст, и красная лампочка погасла.

Ландратовская ручная дрезина была намного легче моего лунохода и ехала гораздо быстрее. Мощная фара освещала круглую штольню с идущими по стенам кабелями, облепленными чем-то вроде липких волокон, которыми покрываются, например, нити, на которых что-нибудь вешают в пионерлагерной столовой. Эта штольня была, судя по всему, заброшенным тоннелем метро; несколько раз от нее ответвлялись другие тоннели, такие же

черные и безжизненные, как и тот, по которому я ехал. По шпалам иногда пробегали крысы — некоторые были размером с небольшую собаку, — но на меня, слава Богу, особого внимания не обращали. Потом справа возник боковой тоннель, такой же, как и предыдущие, но когда я подъехал к нему, дрезину вдруг так резко мотнуло вправо, что я полетел на рельсы и сильно ушиб плечо.

Оказалось, что стрелка, которую я проезжал, была в полупереведенном состоянии — передние колеса проехали по рельсам вперед, а задние повернули вправо; в результате дрезину заклинило намертво. Я понял, что дальше придется идти в темноте, и медленно побрел вперед, жалея, что не захватил с собой ландратовского «Макарова», хотя, конечно, он вряд ли спас бы меня от крыс, вздумай они напасть.

Не успел я пройти полсотни метров, как впереди послышался лай собак и крики. Я повернулся и побежал назад. У меня за спиной зажглись огни; обернувшись, я увидел серые тела двух овчарок, прыгающих по шпалам впереди преследователей, единственной видимой частью которых были покачивающиеся кружки фонарей. В меня не стреляли — наверно, чтобы не попасть в собак.

— Вон он! Белка! Стрелка! Фас его! — заорал кто-то сзади.

Я повернул в боковой тоннель и помчался с максимальной скоростью, на которую был способен, высоко подпрыгивая, чтобы не переломать ног. Наступив на крысу, я чуть не упал и вдруг увидел яркие и немигающие неземные звезды — они горели справа; я кинулся туда, наткнулся на стену и полез через нее, цепляясь за кабели и спиной чувствуя несущихся ко мне овчарок. Перевалившись через край, я сорвался вниз и не расшибся только потому, что врезался во что-то очень мягкое, похожее на обтянутое полиэтиленом кресло. Я втиснулся в щель между рядами каких-то упаковок и ящиков и пополз по ней; несколько раз я наткнулся руками на затянутые полиэтиленом спинки стульев и поручни диванов. Потом вокруг стало светлее. Я услышал совсем рядом тихий разговор и замер. Передо мной была задняя панель шкафа — оргалитовый лист с большим словом «Невка». Сзади доносились лай и крики, а потом долетел усиленный мегафоном голос:

— Прекратить! Тихо! Прямой эфир через две минуты!

Собаки продолжали лаять, и чей-то наглый тенор принялся объяснять, в чем дело, но мегафон снова проревел:

— А ну на х... с территории! Вместе с собаками под трибунал пойдете!

Лай стал постепенно стихать — видно, собак оттащили. Еще через минуту я отважился выглянуть из-за шкафа, за которым лежал.

В первый момент мне показалось, что я попал в какой-то огромный древнеримский планетарий. На очень высоком сводчатом потолке стеклом и жемчужно поблескивали далекие звезды, включенные примерно в треть накала. Метрах в сорока от шкафа стоял старый кран; на его стреле, метрах в четырех от пола, парил похожий очертаниями на огромную бутылку корабль «Салют» с пристыкованным к нему космическим грузовиком «Агдам Т-3»; корабль был надет на стрелу, как пластмассовая модель самолета — на ножку подставки. Видимо, вся конструкция была слишком тяжелой для одного крана, потому что корму космического грузовика поддерживали два или три упертых в пол длинных бревна; они были различимы в полутьме, но когда совсем рядом со шкафом зажглись два прожектора, они стали практически невидимы, потому что, как и стена за ними, были выкрашены черной краской и облеплены мерцающими в электрических лучах кусочками фольги.

Прожектора были закрыты светофильтрами, и их свет был странным, белесо-

мертвенным. Кроме космического корабля, который сразу стал выглядеть очень правдоподобно, они осветили телекамеру с большой надписью «Samsung», возле которой покуривали два автоматчика, и длинный стол с микрофонами, едой и призрачно-прозрачными водочными бутылками, похожими на вбитые в стол сосульки; за ним сидели два генерала, каждый из которых был чем-то похож на Генриха Боровика. Сбоку стоял маленький столик с микрофоном, за которым сидел человек в штатском. За его спиной был фанерный щит с надписью «Время» и рисунком земного шара, над которым косо взлетала пятиконечная звезда с очень длинными боковыми лучами. Склонившись над столом, с человеком за микрофоном о чем-то говорил другой штатский.

— Дубль три!

Кто это сказал, я не видел. Второй штатский быстро подбежал к телекамере и развернул ее в сторону столика. Раздался звонок, и человек за микрофоном четко и медленно заговорил:

— Сейчас мы находимся на переднем крае советской космической науки, в одном из филиалов ЦУПа. Седьмой год несут орбитальную вахту космонавты Армен Везиров и Джамбул Межелайтис. Этот полет — длинейший в истории — сделал нашу страну лидером мировой космонавтики. Символично, что мы с оператором Николаем Гордиенко оказались здесь в день, когда космонавты выполняют важную научную задачу — ровно через полминуты они выйдут в открытый космос с целью установки астрофизического модуля «Квант».

Весь бокс озарился нежным и неясным светом — я поднял голову и увидел, что лампочки на потолке вспыхнули в полный накал. Открылась величественная панорама звездного неба, к которому столько веков стремился человек, складывая полные красоты, но такие наивные легенды о вбитых в небесную твердь серебряных гвоздях.

Со стороны «Салюта» послышались приглушенные удары — так бывает, когда плечом несильно толкают задубевшую от сырости дверь в погреб, боясь, что от слишком сильного удара она опрокинет стоящие сразу за ней крынки со сметаной. Наконец я увидел чуть приподнявшуюся над поверхностью корпуса космического корабля крышку люка, и сразу же от стола, за которым сидел человек с микрофоном, донеслось:

— Внимание! Включаем прямой эфир!

Люк медленно открылся, и над поверхностью космического корабля появился круглый серебристый шлем с короткой антенной. Все за столом заплотировали; вслед за шлемом появились плечи и серебристые руки — они первым делом прицепили страховочный фал к специальной штанге на корпусе корабля; движения их были очень медленными и плавными, отработанными за время долгих тренировок в бассейне. Наконец первый космонавт вылез в открытый космос и остановился в нескольких шагах от люка — я подумал, что требовалось немалое мужество, чтобы стоять на четырехметровой высоте. Мне показалось, что один из генералов за столом смотрит в мою сторону, и я втянул голову за шкаф, а когда решил ее высунуть, оба космонавта уже стояли на поверхности космического корабля, ослепительно белые на фоне чернильных космических далей, усыпанных крошечными точечками звезд. У одного в руках был небольшой ящик. Это и был, как я понял, астрофизический модуль «Квант». Космонавты медленно и как-то подводно прошли по корпусу корабля, остановились у высокой мачты и довольно быстро привинтили к ней ящик. Потом они повернулись в сторону телекамеры, плавно помахали руками и такими же водолазными шагами вернулись к люку, в котором по очереди исчезли.

Люк закрылся, но я еще долго глядел на мерцающие в невообразимой дали звезды — туда, где раскинуло длинные тонкие руки созвездие Лебедя, колеблясь, кому открыть объятия: огромному ли — в полнеба — Пегасу или маленькой, но такой трогательно яркой и чистой Лире.

Человек в гражданском тем временем быстро и радостно говорил в свой микрофон:

— На время операции в Центре управления полетом наступила тишина. Признаться, и у меня захватило дух, но все прошло успешно. Нельзя не поразиться четкости и слаженности действий космонавтов — видно, не зря прошли для них годы тренировок и орбитальной вахты. Установленное сегодня научное оборудование...

Я отполз за шкаф. Я чувствовал апатию и безразличие ко всему происходящему. Если бы меня сейчас стали хватать, я вряд ли попытался бы бежать или сопротивляться; единственное, чего мне хотелось, так это спать. По лунной привычке положил голову на скрещенные руки и заснул. Сквозь сон я услышал:

— Телевизионная передача о работе в открытом космосе велась с помощью камеры, установленной бортинженером на панели одной из солнечных батарей базового блока.

Спал я долго — наверное, часов пять. Несколько раз возле меня начинали что-то двигать и материться, потом тонкий женский голос требовал заменить диван, но я даже не пошевелился: может быть, мне это снилось. Когда я наконец пришел в себя, вокруг было тихо. Я осторожно поднялся и выглянул из-за шкафа. Стол с микрофоном был пуст, а телекамера накрыта брезентом. Освещая космические корабли, горел один прожектор. Людей видно не было. Я вышел из-за шкафа и огляделся: все было так же, как и во время телепередачи, но сейчас я заметил на полу под космическими кораблями довольно большую кучу нечистот, мерзко белеющую бумажками и банками из-под «Великой стены»: на моих глазах туда что-то тихо шлепнулось. Я подошел к столу, на котором осталась недопитая водка и тарелки с закуской; мне сильно хотелось выпить. Когда я сел, моя спина автоматически согнулась, приняв велосипедную позу; с некоторым усилием я разогнулся, слил остатки водки — ее хватило на два полных стакана — и по очереди опрокинул их в рот. Несколько секунд я колебался, не закусить ли одним из оставшихся на тарелке маринованных грибов, но когда увидел испачканную слизью вилку, победила брезгливость.

Я вспомнил своих товарищей по экипажу и представил себе такой же или похожий зал, на полу которого еще стоят, наверное, цинковые гробы — четыре запаянных и один пустой. Наверное, в чем-то ребята были счастливей меня, но все же я ощутил печаль. Потом я подумал о Митьке. Скоро в голове у меня зашумело и появилась способность думать о сегодняшних событиях. Но вместо того чтобы думать о них, я вспомнил свой последний день на Земле, темнеющую от дождя брусчатку Красной площади, коляску товарища Урчагина и случайное прикосновение его теплых губ, шепчущих в мое ухо:

«Омон. Я знаю, как тяжело тебе было потерять друга и узнать, что с самого детства ты шел к мигу бессмертия бок о бок с хитрым и опытным врагом — не хочу даже произносить его имени вслух. Но все же вспомни один разговор, при котором присутствовали ты, я и он. Он сказал тогда: «Какая разница, с какой мыслью умрет человек? Ведь мы материалисты». Ты помнишь — я сказал тогда, что после смерти человек живет в плодах своих дел. Но я не сказал тогда другой вещи, самой важной. Запомни, Омон, хоть никакой души, конечно, у человека нет, каждая душа — это вселенная. В этом диалектика. И пока есть хоть одна душа, где наше дело живет и побеждает, это дело не погибнет. Ибо будет существовать целая

вселенная, центром которой станет вот это...»

Он обвел рукой площадь, камни которой уже грозно и черно блестели.

«А теперь — главное, что ты должен запомнить, Омон. Сейчас ты не поймешь моих слов, но я и говорю их для момента, который наступит позже, когда меня не будет рядом. Слушай. Достаточно даже одной чистой и честной души, чтобы наша страна вышла на первое место в мире по освоению космоса: достаточно одной такой души, чтобы на далекой Луне взвилось красное знамя победившего социализма. Но одна такая душа хотя бы на один миг необходима, потому что именно в ней взвьется это знамя...»

Я вдруг почувствовал сильный запах пота, обернулся и сразу же полетел на пол, сбитый со стула сильным ударом кулака в толстой резиновой перчатке.

Надо мной стоял космонавт в заношенном войлочном скафандре и шлеме с красной надписью «СССР». Он схватил пустую бутылку, разбил ее о край стола и с розочкой в занесенной руке наклонился надо мной, но я успел откатиться. вскочил на ноги и побежал. Он кинулся за мной — перемещался он медленными движениями, но почему-то очень быстро, и это было страшно. Краем глаза я увидел второго — он торопливо слезал по подпиравшему корпус «Агдама Т-3» черному полену, обдирая звезды из фольги. Я добежал до дверей, ударил в них плечом, но они были заперты. Тогда я кинулся назад, увернулся от первого и столкнулся со вторым, который с размаху ударил меня ногой в ботинке с тяжелой магнитной подошвой — целился он в пах, но попал в ногу, — а потом попытался боднуть острой антенной в живот. Мне опять удалось увернуться. Я вдруг понял, что выпил водку, которой они ждали, может быть, несколько лет. и испугался по-настоящему. Передо мной была небольшая решетчатая дверь с красной молнией в треугольнике и надписью «Опасно!». Я побежал к ней.

За ней начинался очень узкий коридор с гулким железным полом. Я пробежал по нему от силы метров пять и услышал за спиной тяжело-звонкое звяканье магнитных пластин. Это придало мне скорости и сил: я повернул за угол и увидел короткий коридор, кончающийся круглым вентиляционным окном с порванной проволочной сеткой, за которой была видна неподвижная ржавая лопасть. Я дернулся было назад, но вдруг оказался так близко от своего преследователя, что даже не ощутил его как нечто целое, а как бы зафиксировал набор не связанных друг с другом восприятий: шар с забралом из бутылочного плексигласа и красным словом «СССР», черный резиновый кулак с торчащим над ним маленьким прозрачным трезубцем, сильнейший запах пота и майорские погоны на крашенном серебрянкой войлоке. В следующий миг я уже извивался в вентиляционной шахте за люком и довольно быстро протиснулся между лопастями огромного вентилятора, похожего на корабельный винт, но когда я пополз по уходящему куда-то далеко вверх колодцу, мой ватник сбился в ком и я застрял и скорчился, как плод в утробе. Потом снизу зашуршало, что-то коснулось моей лодыжки, и я с криком рванулся вверх, в считанные секунды вскарабкался метра на два и протиснулся в горизонтальное ответвление. Оно кончалось круглым окошком, за которым виднелся земной шар в мутной дымке облаков; я всхлипнул и пополз ему навстречу.

Сквозь тонкую пленку слез Земля виделась нечеткой и размытой и словно висела в желтоватой пустоте; из этой пустоты я и глядел на ее приближающуюся поверхность, протискиваясь к ней навстречу, пока вдруг не расступились сжавшие меня стены и коричневый кафель пола не полетел мне навстречу.

— Эй! Мужчина!

Я открыл глаза. Надо мной склонялась женщина в грязном синем халате; на полу рядом с ней стояло ведро, а в ее руке была швабра.

— Тебе плохо, что ли? Тебе чего надо здесь?

Я перевел взгляд — прямо напротив меня в стене была коричневая дверь с надписью «проверить до 14.VII». Рядом висел календарь с большой фотографией Земли и словами «За мирный Космос!». Я лежал в коротком коридоре с синими крашеными стенами: вокруг было три или четыре двери. Я поглядел вверх и увидел в стене напротив календаря черную дыру вентиляционного люка.

— А? — спросил я.

— Пьяный, что ли, говорю?

Держась за стену, я встал на ноги и побрел по коридору.

— Куда? — сказала женщина и резким движением развернула меня.

Я пошел в другую сторону. За углом начиналась крутая и довольно высокая лестница вверх, упиравшаяся в деревянную дверь; из-за двери доносился неясный шум.

— Давай, — подтолкнула меня женщина в спину. Я поднялся по лестнице, оглянулся — она настороженно смотрела на меня снизу, — толкнул дверь и оказался в полутемной нише, где стояло несколько человек в гражданском. Они не обратили на меня особого внимания. Издалека слышался нарастающий гул, я поглядел вбок и прочел бронзовую надпись: «БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ ЛЕНИНА».

«Земля», — вдруг понял я.

Я вышел из закутка под лестницей и медленно побрел по платформе к большому зеркалу в ее конце. Над зеркалом мигали грозные оранжевые знаки времени, сообщавшие, что еще не вечер, но времени уже довольно много, а последний поезд прошел чуть больше четырех минут назад. Из зеркала на меня посмотрел молодой человек с очень давно не бритой щетиной; его глаза были воспалены, а волосы сильно всклокочены. Одет он был в грязный черный ватник, в нескольких местах вымазанный побелкой, и имел такой вид, словно спал последней ночью черт знает где.

Впрочем, именно так оно и было. На меня начинал посматривать прохаживающийся по залу милиционер с маленькими темными усами, и, когда подошел поезд, я без особых колебаний шагнул в раскрывшуюся дверь. Она закрылась, и поезд повез меня в новую жизнь. «Полет продолжается», — подумал я. Половина лампочек в луноходе не горела, и свет от этого казался каким-то прокисшим. Я уселся на лавку; сидевшая рядом женщина рефлекторно сжала ноги, отодвинулась и поставила в освободившееся между нами пространство сетку с продуктами — там было несколько пачек риса, упаковка макаронных звездочек и мороженая курица в целлофановом мешке.

Однако надо было решать, куда ехать. Я поднял глаза на схему маршрутов, висящую на стене рядом со стоп-краном, и стал смотреть, где именно на красной линии я нахожусь.

По коридору бежит человеческая фигурка. Нарисована она с большой любовью, даже несколько сентиментально. Если нажать клавишу «Up», она подпрыгнет вверх, выгнется, повиснет на секунду в воздухе и попытается что-то поймать над своей головой. Если нажать «Down», она присядет и постарается что-то поднять с земли под ногами. Если нажать «Right», она побежит вправо. Если нажать «Left» — влево. Вообще, ею можно управлять с помощью разных клавиш, но эти четыре — основные.

Проход, по которому бежит фигурка, меняется. большей частью это что-то вроде каменной штольни, но иногда она становится удивительной красоты галереей с полосой восточного орнамента на стене и высокими узкими окнами. На стенах горят факелы, а в — тупиках коридоров и на шатких мостках над глубокими каменными шахтами стоят враги с обнаженными мечами — с ними фигурка может сражаться, если нажимать клавишу «Shift». Если нажимать несколько клавиш одновременно, фигурка может подпрыгивать и подтягиваться, висеть, качаясь, на краю и даже может с разбега перепрыгивать каменные колодцы, из дна которых торчат острые шипы. У игры много уровней, с нижних можно переходить вверх, а с высших проваливаться вниз — при этом меняются коридоры, меняются ловушки, по-другому выглядят кувшины, из которых фигурка пьет, чтобы восстановить свои жизненные силы, но все остается по-прежнему: фигурка бежит среди каменных плит, факелов, черепов на полу и рисунков на стенах. Цель игры — подняться до последнего уровня, где ждет принцесса, но для этого нужно посвятить игре очень много времени. Собственно говоря, чтобы добиться в игре успеха, надо забыть, что нажимаешь на кнопки, и стать этой фигуркой самому — только тогда у нее появится степень проворства, необходимая, чтобы фехтовать, проскакивать через шелкающие в узких каменных коридорах разрезалки пополам, перепрыгивать колодцы и бежать по проваливающимся плитам, каждая из которых способна выдержать вес тела только секунду, хотя никакого тела и тем более веса у фигурки нет, как нет его, если вдуматься, и у срывающихся плит, каким бы убедительным ни казался издаваемый ими при падении стук.

Принц бежал по каменному карнизу: надо было успеть подлезть под железную решетку до того, как она опустится, потому что за ней стоял узкогорлый кувшин, а сил почти не было: сзади остались два колодца с шипами, да и прыжок со второго яруса на усеянный каменными обломками пол тоже стоил немало. Саша нажал «Right» и сразу же «Down», и принц каким-то чудом пролез под решеткой, спустившейся уже наполовину. Картинка на экране сменилась, но вместо кувшина на мостике впереди стоял жирный воин в тюрбане и гипнотизирующе глядел на Сашу.

— Лапин! — раздался сзади отвратительно знакомый голос, и у Саши перехватило под ложечкой, хотя никакого объективного повода для страха не было.

— Да, Борис Григорьевич?

— А зайди-ка ко мне.

Кабинет Бориса Григорьевича на самом деле никаким кабинетом не был. а был просто частью комнаты, отгороженной несколькими невысокими шкафами, и, когда Борис Григорьевич ходил по своей территории, над ними был виден его лысый затылок, отчего Саше иногда казалось, что он сидит на корточках возле бильярда и наблюдает за движением единственного оставшегося шара, частично скрытого бортом. После обеда Борис Григорьевич обычно попадал в лузу, а с утра, в золотое время, большей частью отскакивал от бортов, причем роль кия играл телефон, звонки которого заставляли полусферу цвета слоновой кости над заваленной бумагами поверхностью шкафа двигаться некоторое время быстрее.

Саша ненавидел Бориса Григорьевича той длительной и спокойной ненавистью, которая знакома только живущим у жестокого хозяина сиамским котам и читавшим Оруэлла советским инженерам. Саша всего Оруэлла прочел в институте, еще когда было нельзя, и с тех пор каждый день находил уйму поводов, чтобы с кривой улыбкой покачать головой. Вот и сейчас, подходя к проходу между двух шкафов, он криво улыбнулся предстоящему разговору.

Борис Григорьевич стоял у окна и, подолгу замирая в каждом из промежуточных положений, отрабатывал удар «полет ласточки», причем не бамбуковой палкой, как совсем недавно, когда он начинал осваивать «Будокан», а настоящим самурайским мечом. Сегодня на нем была «охотничья одежда» из зеленого атласа, под которой виднелось мятое кимоно из узорчатой ткани синобу. Когда Саша вошел, он бережно положил меч на подоконник, сел на циновку и указал на соседнюю. Саша, с трудом подвернув под себя ноги, сел и поместил свой взгляд на плакат фирмы «Хонда» с мотоциклистом в высоких кожаных сапогах, второй год делающим вираж на стенке шкафа справа от циновки Бориса Григорьевича. Борис Григорьевич положил ладонь на процессорный блок своей «эй-тишки» — такой же, как у Саши, только с винтом в восемьдесят мегабайт, — и закрыл глаза, размышляя, как построить беседу.

— Читал последние «Аргументы»? — спросил он через минуту.

— Я не выписываю.

— Зря, — сказал Борис Григорьевич, поднимая с пола свернутые листы и потряхивая ими в воздухе, — отличная газета. Я не понимаю, на что только коммунисты надеются? Пятьдесят миллионов человек загубили и сейчас еще что-то бормочут. Все же всем ясно.

— Ага, — сказал Саша.

— Или вот, в Америке около тысячи женщин беременны от инопланетян. У нас тоже таких полно, но их КГБ где-то прячет.

«Чего он хочет-то?» — с тоской подумал Саша.

Борис Григорьевич задумался и помрачнел лицом.

— Странный ты парень, Саня, — наконец сказал он. — Глядишь бирюком, ни с кем из отдела не дружишь. Ведь ты знаешь, люди вокруг, не мебель. А ты вчера Люсю напугал даже. Она сегодня мне говорит: «Знаете, Борис Григория, как хотите, а мне с ним в лифте одной страшно ездить».

— Яс ней в лифте ни разу не ездил, — сказал Саша.

— Так поэтому и боится. А ты съезди, за пизду ее схвати, посмейся. Ты Дейла Карнеги читал?

— А чем я ее напугал? — спросил Саша, соображая, кто такая Люся.

— Да не в Люсе дело, — раздражаясь, махнул рукой Борис Григорьевич. — Человеком надо быть, понял? Ну ладно, этот разговор мы еще продолжим, а сейчас ты мне по делу нужен. Ты «Абрамс» хорошо знаешь?

— Ничего.

— Как там башня поворачивается?

— Сначала нажимаете цэ, а потом курсорными клавишами. Вертикальными можно поднимать пушку.

— Точно? Давай-ка глянем.

Саша перешел к компьютеру; Борис Григорьевич, что-то шепча и подолгу зависая пальцами над клавиатурой, вызвал игру.

— Вот так направо, а так — налево, — сказал Саша.

— Точно. Век бы не догадался.

Борис Григорьевич снял телефонную трубку и принялся накручивать номер. Когда линия отозвалась, все лучшее поднялось из его души и поместилось на лице.

— Борис Емельяныч, — промурлыкал он, — нашли. Нажимаете цэ, а потом стрелочками... Да... Да... Обрато тоже через цэ... Да что вы говорите, а-ха-ха-ха...

Борис Григорьевич повернулся к Саше, умоляюще сложил губы и совсем не обидно пошевелил пальцами в направлении выхода. Саша встал и вышел.

— А-ха-ха... На листе? Попыолос? Даже не слышал. Сделаем. Сделаем. Сделаем. Обнимаю...

Саша ходил курить на темную лестницу, к окну, из которого был виден высотный дом и какие-то обветшалые-красивые земляные террасы внизу. Место у подоконника было для него особым. Закурив, он обычно подолгу смотрел на высотный дом — звезда на его шпильке была видна немного сбоку и казалась из-за обрамляющих ее венков двуглавым орлом; глядя на нее, Саша часто представлял себе другой вариант русской истории, точнее, другую ее траекторию, закончившуюся той же точкой — строительством такого же высотного здания, только с другой эмблемой на верхушке. Но сейчас небо было особенно гнусным и казалось даже серее, чем высотный дом.

На площадке одним пролетом ниже курили двое в одинаковых комбинезонах из тонкой английской шерсти; у обоих из широкого нагрудного кармана торчало по золоченому гаечному ключу. Саша прислушался к их разговору и понял, что оба они из игры «Пайпс», или, по-русски, «Трубы». Саша ее видел и даже ездил устанавливать ее на винчестер какому-то замминистра, но ему самому она не нравилась полным отсутствием романтики, поверхностным пафосом и особенно тем, что в левом углу был нарисован мерзкого вида водопроводчик, который начинал хохотать, когда какую-нибудь из труб на экране прорывало.

А эти двое, судя по разговору, увлекались ею всерьез.

— По старым договорам уже не грузят, — жаловался первый комбинезон, — валюту хотят.

— А ты на начало этапа вернись, — отвечал второй, — или вообще загрузись по новой.

— Пробовал уже. Егор даже в командировку на комбинат ездил, три раза к директору пытался пройти, пока не подвис.

— Если подвисает, надо «Control — Break» нажимать. Или «Reset». Знаешь, как Евграф Емельяныч говорит — семь бед, один «Reset».

Оба комбинезона синхронно подняли глаза на Сашу, переглянулись, кинули окурки в ведро и скрылись в коридоре.

«Вот интересно, — подумал Саша, — они врут друг другу или им правда в эти трубы интересно играть?» Он пошел вниз по лестнице. «Господи, да на что же я надеюсь? — подумал он. — Что я буду здесь делать через год? А ведь они хоть очень глупые, но все видят. И все понимают. И не прощают ничего. Каким же надо оборотнем быть, чтоб здесь работать...»

Вдруг лестница под ногами дрогнула, тяжелый бетонный блок с четырьмя ступенями, как во сне, ушел из-под ног и через секунду с грохотом врезался в лестничный пролет этажом ниже, не причинив, однако, никакого вреда двум девочкам-машинисткам из административной группы, стоявшим точно в месте удара. Девушки подняли хорошенькие птичьи головки и посмотрели на Сашу, которого спасло только то, что он успел схватиться за край оставшейся на месте ступени.

— Ботинки чистить надо, — сказала девушка помоложе, отстраняясь от Сашиних качающихся ног, и девушки захихикали.

Саша скосил на них глаза и увидел, что они стоят на нижней грани пирамидки из разноцветных кубиков. Это была, кажется, игра «Крэйзи берд» — очень милая, с забавной дурашливой музыкой, но с неожиданно тупым и жестоким концом.

Так можно было висеть сколько угодно — было даже что-то приятное в однообразном покачивании взад-вперед, но Саша подумал, что это, наверно, выглядит глупо. Он подтянулся и вылез на незнакомый каменный пяточок, обрывающийся в пропасть, противоположный край которой скрывался за левой границей монитора (там еле слышно что-то жужжало). Другая сторона площадки упиралась в высокую каменную стену, сложенную из грубых блоков. Саша сел на шероховатый и холодный пол, прислонился к стене и закрыл глаза. Откуда-то издалека доносился тихий звук флейты. Саша не знал, кто и где играет на ней, но слышал эту музыку почти каждый день. Сначала, когда он только осваивался на первом уровне, этот далекий дрожащий звук раздражал его своей заунывной однообразностью, какой-то бессмысленностью, что ли. Со временем он привык и стал даже находить в нем своеобразную красоту — стало казаться, что внутри одной надолго растянутой ноты заключена целая сложная мелодия, и эту мелодию можно было слушать часами. Последнее время он даже останавливался, чтобы послушать флейту, и — как сейчас — оставался неподвижен некоторое время после того, как она стихала.

Он огляделся. Выход был только один — прыгать в неизвестность за левым обрезом экрана. Можно было прыгнуть с разбега, а можно — сильно оттолкнувшись обеими ногами от края площадки. Все пропасти в лабиринте были шириной либо в прыжок с разбега, либо в прыжок с места, и надежней, конечно, казался первый способ, но интуиция почему-то подсказывала второй. Саша подошел к обрыву, встал на самый его край и, изо всех сил оттолкнувшись, прыгнул в жужжащую неизвестность.

Он упал на корточки, выпрямился, и на лбу у него выступил холодный пот — стоило ему прыгнуть с разбега... Прямо перед ним на острых стальных шипах висело скрюченное мертвое тело, уже багровое и распухшее, облепленное множеством жирных неторопливых мух, — некоторые из них взлетали отдохнуть и издавали то самое жужжание, которое было слышно на картинке справа.

Мертвец при жизни был мужчиной средних лет; на нем был приличный костюм, а рука до сих пор сжимала портфель. Видно, он был в игре новичком и решил, что надежней будет разбежаться. Впрочем, Саша мог оказаться на дне глубокой каменной шахты, а мужчина в пиджаке — продолжить путешествие к принцессе; способа угадать не существовало — во всяком случае, Саша его не знал. Осторожно обойдя мертвое тело, он побежал вперед по коридору. в одном месте подтянулся, влез на поддерживаемую двумя грубыми столбами площадку и побежал по новому коридору, в трех местах которого пришлось перепрыгивать через глубокие каменные колодцы. Больше всего его поражало, что все это происходило на втором уровне, вроде бы знакомом как собственные пять пальцев, и только когда под ногами щелкнула управляющая плита и из-за угла донесся лязг поднимающейся решетки, он все понял. Недалеко от перехода на третий уровень была одна решетка, которую он так и не сумел открыть, а когда ему удалось выйти на новый этап, он решил, что она была чисто декоративной. Оказалось, что за ней тоже был участок лабиринта — правда, тупиковый. Саша пробежал под поднявшейся решеткой и помчался дальше — места вокруг были уже знакомые и не сулили никаких неожиданностей. Он наступил еще на одну управляющую плиту, перепрыгнул другую — иначе следующая решетка, которая начала подниматься впереди, упала бы, — подтянулся и изо всех сил рванул по коридору — надо было спешить, потому что, поднявшись, решетка сразу же начинала опускаться. Он как раз успел подлезть под зубья, бывшие уже в полуметре от пола, и оказался возле лестничной клетки третьего этажа, совсем недалеко от того места, где несколько минут назад обрушился вниз участок

лестницы. Теперь дверь следующего уровня была рядом. «Черт, — подумал Саша, отряхиваясь и только теперь чувствуя, как бьется сердце, — ведь не проваливалась здесь лестница раньше! На четвертом этаже проваливалась, а здесь нет. Наверное, через несколько раз срабатывает».

— Саша!

Он обернулся. Из двери второго подотдела малой древесины выглядывала Эмма Николаевна. Ее лицо было густо покрыто пудрой и напоминало присыпанный стрептоцидом большой розовый лишай.

— Саша, прикури мне, а?

— А вы что, сами не можете? — довольно холодно спросил Саша.

— Так я же не в «Принце», — ответила Эмма Николаевна, — у меня факелов на стенах нету.

— А что, раньше играли? — подобрев, спросил Саша.

— Приходилось, только вот эти стражники... Что хотели, то со мной и делали... В общем, дальше второго яруса я так и не попала.

— А там шифтом надо, — сказал Саша, взял у нее сигарету и шагнул к зыбкому факелу, горящему на стене. — И курсорными.

— Да мне сейчас уже поздно, — вздохнула Эмма Николаевна, принимая зажженную сигарету и влажно глядя на Сашу.

Он открыл было рот, чтобы выразить вежливый протест, но заметил выглядывающего из-за ее спины полуголового рыжегрудого монстра с большим задумчивым рылом вместо лица — такие встречаются только в небольших внешнеэкономических организациях или на дне колодца смерти в игре «Таргхан», — побледнел и, неловко кивнув, пошел к себе.

«Хана бабе, — подумал он, — скоро в ДОС выйдет... А может, выберется, черт ее знает».

В его отделе громко звонил телефон, и Саша нетерпеливо подпрыгнул на открывающейся вход плите, чтобы дверь следующего уровня скорее поднялась.

— Лапин! К телефону!

Саша подскочил к столу и взял трубку.

— Саня? Здорово.

Звонил Петя Итакин из Госплана.

— Ты сегодня приезжаешь?

— Вроде не собирался.

— Начальник сказал, что сейчас кто-то из Госснаба с новыми программами приедет. Я почему-то решил, что ты.

— Не знаю, — сказал Саша, — мне пока ничего не говорили.

— Это ведь у тебя к «Абрамсу» три лишних файла?

— У меня.

— Значит, точно тебя пошлют. Ты меня дождись, если я выйду, ладно?

— Ладно.

Саша повесил трубку и пошел на свое рабочее место. Рядом, за резервным компьютером, сидел командировочный из Пензы и сосредоточенно бил из лазера по эргонской ракетной установке, которая уже почти повернулась в позицию для стрельбы; вокруг, насколько хватал глаз, тянулись безрадостные пески «Старглайдера».

— Как там у вас? — вежливо спросил Саша.

— Плохо, — отвечал командировочный, с гримасой стуча по клавише, — очень плохо. Если вон та штука...

И вдруг все скрылось в ослепительном огненном смерче; Саша отшатнулся и закрыл лицо ладонями — он сделал это совершенно инстинктивно, а когда сообразил, что с ним самим ничего случиться не может, и открыл глаза, командировочного рядом уже не было, а на полу возле стула тлела пола пиджака.

Из-за шкафа выскочил Борис Григорьевич, швырнул меч на пол и, подтянув полы длинного стеганого плаща, который он перед схваткой надевал поверх панциря, принялся затаптывать испускающий вонючий дым кусок ткани. Рогатый шлем Бориса Григорьевича изображал мрачное японское божество, и выбитый на металле оскал в сочетании с хлопотливыми и какими-то бабьими движениями большого нежного тела был довольно-таки страшен. Ликвидировав зародыш пожара, Борис Григорьевич снял шлем, вытер мокрую лысину и вопросительно поглядел на Сашу.

— Все, — сказал Саша и кивнул на экран, на котором мигала досовская галочка.

— Вижу, что все. Ты мне его вызови снова, а то у нас еще акт не подписан.

У Бориса Григорьевича зазвонил телефон, и он, недоговорив, кинулся за шкафы.

Саша пересел за соседний компьютер, вышел на драйв «а», из которого торчала поганая болгарская дискета гостя, и вызвал игру. Дисковод тихо зажужжал, и через несколько секунд в кресле снова появился мужик из Пензы.

— Когда на вас ракеты летят, — сказал Саша, — вы на высоту лучше уходите. Из лазера больше одной не собьешь, а эта штука пачками бьет.

— Ты не учи, не учи. — огрызнулся тот, припадая к клавиатуре, — не первый год в дальнем космосе.

— Тогда автоэкзэк себе сделайте, — сказал Саша. — а то вас каждый раз вызывать

времени ни у кого нет.

Гость не отзывался — на него шли сразу два шагающих танка, и ему было не до болтовни.

Вдруг из кабинета начальника послышались грохот и крики.

— Лапин! — взревел за шкафом Борис Григорьевич. — Ко мне срочно!

Когда Саша вбежал, Борис Григорьевич стоял на столе и отбивался мечом от крохотного китайца с детским лицом, со скоростью швейной машинки тыкавшего в него пикой. Саша все сразу понял, кинулся к клавиатуре и с размаху ткнул пальцем в клавишу «Escape». Китаец замер.

— Ух, — сказал Борис Григорьевич, — ну и дела. Пятого дана вызвал — по инерции нажал, думал, она тип монитора запрашивает. Ну ничего, сейчас разберемся с ним... Или нет, потом разберемся. Ты вот что. Сейчас сбрось на дискету расширение к «Абрамсу» и поезжай в Госплан. Бориса Емельяновича знаешь?

— Я ж ему «Абрамса» и ставил, — ответил Саша, — завождем на шестом этаже.

— Ну, знаешь, так и отлично. Заодно и договора подпишешь — бери прямо с папкой. Еще он тебе дискету...

Из-за шкафов полыхнуло ослепительным огнем, несколько раз грохнуло, и сразу же завоняло паленым мясом.

— Что такое?

— Да опять этот, из Пензы. Похоже, на пирамидальную мину попал.

— Ладно, завтра утром вызовем, а то второй час вонь и грохот. Езжай. Он тебе дискету даст с «Арканойдом». Ну и ты сам погляди, что у них там нового, понимаешь?

Саша повернулся было к двери, но Борис Григорьевич удержал его за рукав.

— Подожди, — сказал он, надевая шлем, — ты мне еще нужен. Когда я «кия» крикну, нажми клавишу.

— Какую?

— А без разницы.

Он зашел за спину замершему в выпад китайцу, встал в низкую стойку и примерился мечом к его шее.

— Готов?

— Готов, — отворачиваясь, ответил Саша.

— Кия!!!

Саша ткнул в клавиатуру; раздался резкий свист, что-то хрустнуло, стукнулось об пол и покатилося, а следом упало что-то тяжелое и мягкое.

— Теперь иди, — хрипло сказал Борис Григорьевич, — и не задерживайся, работы много.

— Я в столовую хотел пойти, — стараясь глядеть в сторону, сказал Саша.

— Поезжай лучше сразу. Там и пообедаешь.

Саша вышел из-за шкафов, подошел к своему рабочему месту, ногой отшвырнул оплавленные очки гостя под батарею, сел за свой компьютер и сбросил на дискету все, что было нужно. Потом, положив дискету в сумку, встал и неторопливо пошел по усеянному обломками каменных плит коридору, привычно перепрыгнул через ловушку, повис на руках, спрыгнул на нижний ярус, поднял с пола узкий разрисованный кувшин и припал к его горлышку, думая о том, что до сих пор не знает ни того, кто расставляет эти кувшины в укромных местах подземелья, ни куда исчезает кувшин, когда он выпивает содержимое.

Дорога на четвертый уровень была знакома до мелочей, и Саша шел, прыгал, подлезал и подтягивался совершенно механически, думая о всякой ерунде. Сначала ему вспомнился замначальника второго подотдела малой древесины Кудасов, давно уже дошедший в игре «Троаткаттер» до восьмого уровня, но так и не сумевший перепрыгнуть через какую-то зеленую тумбочку, — из-за этого он, как говорили, и оставался вечным замом у нескольких ракетами пролетевших на повышение начальников, у которых это получилось если и не совсем сразу, то, во всяком случае, без особых усилий. Потом Саша стал думать о непонятных словах Итакина, сказанных в одну из прошлых встреч, — что вроде какие-то ребята давно раскололи его игру; непонятно было, что Итакин имел в виду, потому что игра была колотой уже тогда, когда Саша ставил ее себе на винт. Потом впереди медленно поднялась вверх дверь четвертого уровня, и Саша шагнул в оказавшийся за ней вагон метрополитена.

«А куда, собственно, я иду? — думал он, глядя в черное зеркало вагонной двери и поправляя на голове тюрбан. — До седьмого уровня я уже доходил, — ну, может, не совсем доходил, но видел, что там. Все то же самое, только стражники толще. Ну, на восьмой выйду. Так это ж сколько времени займет... И что дальше? Правда, принцесса...!»

Последний раз Саша видел принцессу два дня назад, между третьим и четвертым уровнем. Коридор на экране исчез, и появилась застланная коврами комната с высоким сводчатым потолком. И тут же заиграла музыка — жалующаяся и заунывная, но только сначала и только для того, чтобы особенно прекрасной показалась одна нота в самом конце.

На ковре стояли огромные песочные часы; с каменных плит пола на Сашу, словно в монокль, смотрела изнеженная дворцовая кошка, а в самом центре ковра на разбросанных подушках сидела принцесса. Ее лица издали было не разобрать — кажется, у нее были длинные волосы, или это темный платок падал на ее плечи. Вряд ли она знала, что он на нее смотрит и что вообще есть какой-то Саша, но зато он знал, что стоит ему дойти до этой комнаты — и принцесса бросится ему на шею. Принцесса встала, сложила руки на груди, сделала несколько шагов по ковру, вернулась и села на россыпь маленьких подушек.

И тут же все исчезло, за спиной с грохотом закрылась тяжелая дверь, и Саша оказался возле высокого каменного уступа, с которого начинался четвертый уровень.

«Интересно, о чем она сейчас думает? Может быть, она думает о том, кто идет к ней по лабиринту? То есть обо мне, не зная, что именно обо мне?»

За стеклом замелькали колонны станции; поезд остановился. Саша дал толпе подхватить себя и медленно поплыл к эскалаторам. Работало два: Саша ответвился в ту часть толпы, которая двигалась к левому. В его голове потекли медленные и обычные для второй половины дня угрюмые мысли о жизни.

«Странно, — думал он, — как я изменился за последние три уровня. Когда-то ведь казалось, что стоит только перепрыгнуть через ту расщелину — и все. Господи, как мало надо было для счастья... А сейчас я это делаю каждое утро почти не глядя, и что? На что я надеюсь сейчас? Что на следующем этапе все изменится и я чего-то захочу так, как умел хотеть раньше? Ну, допустим, дойду. Уже ведь почти знаю как: надо после пятой решетки попрыгать — наверняка там ход в потолке, плиты какие-то странные. Но когда я туда залезу, где я найду того себя, который хотел туда залезть?»

Саша вдруг похолодел — до него донесся знакомый лязг. Он поднял голову и увидел впереди по ходу своего эскалатора включившуюся разрезалку пополам — два стальных листа с острыми зубчатыми краями, которые каждые несколько секунд сшибались с такой силой, что получался звук вроде удара в небольшой колокол. Остальные спокойно проезжали сквозь нее — она существовала только для Саши, но для него была настолько реальна, насколько что-нибудь вообще бывает реальным: через всю его спину шел длинный уродливый шрам, а ведь в тот раз разрезалка его только чуть-чуть задела, выкромсав клочок ткани из дорогой джинсовой куртки. Проходить через разрезалки было, вообще говоря, несложно — надо было встать рядом и быстро шагнуть вперед сразу же, как разрезалка откроется. Но сейчас Саша ехал по эскалатору, и никакой возможности угадать, в какой момент он окажется у разрезалки, не было. Не раздумывая, он повернулся и быстро кинулся вниз. Бежать было трудно — на эскалаторе стояла уйма пьяноватых мужичков, каждый из которых давал себя

почувствовать и пропускал с большой неохотой, бросая Саше вдогонку редкие, как самоцветы, слова. Какая-то баба в красном платке и с двумя большими тюками в руках задержала Сашу настолько, что он оказался к разрезалке даже ближе, чем был раньше, но все-таки ему удалось перелезть через тюки. И тут впереди упала решетка. Саша понял, что пропал. Он обмяк, зажмурился, но, вместо того чтобы увидеть за секунду всю свою жизнь, почему-то с невероятной отчетливостью вспомнил, как в четвертом классе довел на уроке пения молодого практиканта из консерватории до того, что тот, перестав играть на рояле музыку Кабалевского, встал с места, подошел к нему и дал по морде. Разрезалка лязгнула совсем близко, и Саша инстинктивно шагнул назад, подумав, что ведь может и про...

«А куда, собственно, я иду? — подумал Саша, глядя в черное зеркало вагонной двери и поправляя на голове тюрбан. — До седьмого уровня я уже доходил — ну, может, не совсем доходил, но видел, что там. Все то же самое, только стражники толще. Ну, на восьмой выйду. Так это ж сколько времени займет... Да и зачем все это? Правда, принцесса...»

Последний раз Саша видел принцессу два дня назад, между третьим и четвертым уровнем. Коридор на экране исчез, и появилась застланная коврами комната с высоким сводчатым потолком. И тут ясе заиграла музыка — жалующаяся и заунывная, но только сначала и только для того, чтобы особенно прекрасной показалась одна неожиданная нота в самом конце.

Он перестал думать о принцессе и стал глядеть по сторонам. Народ вокруг был большей частью привокзальный, поганый. Было много пьяных, много одинаковых баб с сумками; особенно Саше не понравилась одна — в красном платке, с двумя большими тюками в руках. «Где-то я ее видел, — подумал Саша, — точно». С ним так часто бывало последнее время — казалось, что он уже видел происходящее, но вот где и при каких обстоятельствах, он вспомнить не мог. Зато недавно он прочитал в каком-то журнале, что это чувство называется «*deja vu*», из чего сделал вывод, что то же самое происходит с людьми и во Франции.

За стеклом замелькали колонны станции; поезд остановился. Саша дал толпе подхватить себя и медленно поплыл к эскалаторам. Работало два; Саша ответвился в ту часть толпы, которая двигалась к правому. В его голове потекли медленные и обычные для второй половины дня угрюмые мысли о жизни.

«Сейчас мне кажется. — думал он, — что хуже того, что со мной происходит, и быть ничего не может. А ведь пройдет пара этапов, и вот по этому именно дню и наступит сожаление. И покажется, что держал что-то в руках, сам не понимая что, — держал, держал да и выкинул. Господи, как же погано должно стать потом, чтобы можно было жалеть о том, что происходит сейчас... И ведь самое интересное: с одной стороны, жить все бессмысленней и хуже, а с другой — абсолютно ничего в жизни не меняется. На что же я надеюсь? И почему каждое утро встаю и куда-то иду? Ведь я плохой инженер, очень плохой. Мне все это попросту неинтересно. И оборотень я плохой, и скоро меня возьмут и выпрут и будут совершенно правы...»

Он вдруг похолодел — до него донесся знакомый лязг. Он поднял голову и увидел на соседнем эскалаторе включившуюся разрезалку пополам. В первый момент испуг был так силен, что Саша даже не сообразил, что никакой угрозы для него нет. Потом, сообразив, он так громко сказал «уй», что на него с соседнего эскалатора поглядела та самая баба с тюками, которая привлекла его внимание в вагоне. Она проехала разрезалку, глядя на Сашу и даже не догадываясь, что случилось бы, будь на ее месте он. Саше ее взгляд был неприятен, и он отвернулся.

Следующая разрезалка пополам стояла у выхода из метро, и Саша прошел ее без всякого труда. А вот из кувшинчика, стоявшего за ней, он пить не стал — какой-то он был подозрительный, с орнаментом из треугольничков. Он один раз из такого попил и потом две недели сидел на бюллетене. Чутье подсказывало, что где-то рядом должен быть еще один кувшин, и Саша решил поискать. Его внимание привлекла парикмахерская на другой стороне улицы: в вывеске не горели две первых буквы, и Саша был уверен — это что-нибудь

да значит.

Внутри было маленькое помещение, где клиенты дожидались своей очереди, — сейчас оно было совершенно пустым, и это была вторая странность. Саша обошел комнатку кругом, подвигал кресла (в конце прошлого года он сел на стул в коридоре военкомата, куда провалился с третьего уровня, и неожиданно сверху спустилась веревочная лестница, по которой он благополучно вылез в двухмесячную командировку), попрыгал на журнальном столике (иногда они управляли поворачивающимися частями стен) и даже подергал крючки вешалок. Все было напрасно. Тогда он решил проверить потолок, опять влез на журнальный столик и подпрыгнул с него вверх, подняв над головой руки. Потолок оказался глухим, а столик — очень непрочным: сразу две его ножки подломились, и Саша вытянутыми руками врезался в цветную фотографию улыбающегося рыжего дебила, висевшую на стене.

И вдруг в полу со скрипом распахнулся люк, в котором блеснуло медное горло кувшина, стоящего на каменном полу метрах в двух внизу. Саша спрыгнул на каменную площадку, и люк над головой захлопнулся; Саша огляделся и увидел с другой стороны коридора бледного усатого воина в красной чалме с пером; воин отбрасывал две расходящиеся дрожащие тени, потому что за его спиной коптили два факела по бокам высокой резной двери с черной вывеской «ГОСПЛАН СССР».

«Надо же, — подумал Саша, выхватывая меч и кидаясь навстречу вытащившему кривой ятаган воину, — а я на троллейбусе, дурак, все время ездил».

— Итакин? — спросил женским голосом телефон. — Обедает. А вы поднимайтесь, подождите. Это вы из Госснаба должны были программное обеспечение привезти?

— Я, — ответил Саша, — только я лучше тоже в столовую пойду.

— Как к нам идти, знаете? Шестьсот двадцатая комната, от лифтов налево по коридору.

— Доберусь, — ответил Саша.

В столовой было шумно и многолюдно. Саша походил между столами, ища приятеля, но того не было видно. Тогда Саша встал в очередь. Перед ним стояли два Дарта Вейдера из первого отдела — они шумно, с присвистом, дышали и механическими голосами обсуждали какую-то статью — не то «Огонька», не то Уголовного кодекса; из-за неестественности их речи понять что-нибудь было очень сложно. Первый Дарт Вейдер взял на свой поднос две тарелки кислой капусты, а второй — борщ и чай (кормили в Госплане, конечно, уже не так, как до начала смуты, — от прежнего великолепия остались только изредка попадавшиеся в капусте красивые пятиконечные звездочки, нарезанные из моркови с помощью специального японского агрегата). Саше было очень интересно посмотреть, как Дарт Вейдер будет есть капусту — для этого ему обязательно пришлось бы снять свой глухой черный шлем, но черные двое сели за маленький столик в самом углу и задернули за собой черную шторку с изображением щита и меча; под ней остались видны только начищенные хромовые сапоги, левая пара которых упиралась в пол неподвижно и прямо, а правая все время выделывала кренделя — один сапог терся о другой и обнимал его носком за голенище; Саша подумал, что если бы он играл в «Спай», то из двух Дартов Вейдеров стал бы вербовать правого.

Оглядевшись, он пошел с подносом в дальний угол, где за длинным столом у окна сидели около десятка пожилых мужиков в летной форме, и деликатно сел с краю. На него поглядели, но ничего не сказали. Один из пилотов — седой крепыш с двумя незнакомыми медалями на голубом комбинезоне — стоял со стаканом в руке; он только что начал говорить тост.

— Друзья! Мы собрались здесь по поводу торжественному и приятному вдвойне. Сегодня исполняется двадцать лет трудовой деятельности Кузьмы Ульяновича Старопопикова в Госплане. И сегодня же утром Кузьма Ульянович сбил над Ливией свой тысячный МиГ!

Пилоты зааплодировали и повернулись к сидящему в центре стола виновнику торжества — это был низенький, полненький и лысенький мужичок в толстых очках, дужка которых была обмотана черной ниткой. Он совершенно ничем не выделялся — наоборот, был за столом самым незаметным, и, только приглядевшись, Саша заметил на его груди несколько рядов орденских планок — правда, тоже незнакомых.

— Я беру на себя смелость сказать, что Кузьма Ульянович — лучший пилот Госплана! И недавно полученный им от Конгресса орден «Пурпурное сердце» будет на его груди уже пятым.

Вокруг опять зааплодировали; несколько раз Кузьму Ульяновича хлопнули по плечам и спине; он сильно покраснел, махнул рукой, снял очки и долго протирал их носовым платком.

— И это еще не все, — продолжал седой, — кроме эф-пятнадцатого и эф-шестнадцатого, Кузьма Ульянович недавно освоил новейший истребитель — эф-

девятнадцать «Стелс». На его счету и многие технические усовершенствования — осмыслив опыт боев в небе Вьетнама, он попросил своего механика дописать два файла в ассемблере. чтобы пушка и пулемет работали от одной клавиши, и теперь этим пользуемся мы все...

— Да уж хватит бы, — застенчиво буркнул виновник.

Встал другой пилот — у этого на груди тоже были орденские планки, но не в таком количестве, как у Кузьмы Ульяновича.

— Вот тут наш парторг говорил, что Кузьма Ульянович сбил сегодня свой тысячный МиГ. А ведь, кроме этого, он, к примеру, четыре тысячи пятьсот раз разрушил локатор под Триполи, а если мы все ракетные катера посчитаем да еще аэродромы прибавим, такая цифрирь выйдет... Но ведь человека одной цифрой мерить нельзя. Я Кузьму Ульяновича знаю, может быть, лучше других — уже полгода с ним в паре летаю — и сейчас расскажу вам об одном нашем рейде. Я тогда первый раз на эф-пятнадцатом шел, а машина эта, сами знаете, не из простых: чуть заторопишься, захочешь повернуть побыстрее — подвисает. И мне Кузьма Ульянович перед вылетом говорит: «Вася, запомни: не нервничай, иди сзади и ниже, я тебя прикрывать буду». Ну, я неопытный был тогда, а с гонором — чего это, думаю, он прикрывать меня будет, когда я на эф-шестнадцатом весь Персидский залив облетал. Да... Ну, сели мы по кабинам, и дают нам команду на взлет. Взлетали мы с авианосца «Америка», и задание у нас было сначала какой-то корабль потопить в Бейрутском порту, а потом уничтожить лагерь террористов под Аль-Бенгази. Взлетели, значит, и идем на малой, на автопилотах. А там, у Бейрута, локаторов штук восемь, наверное, — ну, вы все там были...

— Одиннадцать, — сказал кто-то за столом, — и еще всегда двадцать пятые МиГи патрулируют.

— Ну да. В общем, дошли на малой, метрах на пятидесяти. с выключенными прицелами, а как километров десять осталось, перешли на ручное, набрали четыре сотни и включили радары. Тут нас, понятно, засекли, но мы уже навелись, выпустили по «Амрааму», сделали противоракетный маневр и пошли на запад со снижением. От корабля щепок не осталось. Это нам по радио сообщили. В общем, опять идем вслепую на малой, и так бы дошли спокойно. но я тут, идиот, заметил двадцать третьего МиГа и пошел за ним — дай, думаю, задвину ему «Сайдвиндер» в сопло. Кузьма Ульянович видит на радаре, что я вправо пошел, и орет мне по радио: «Вася, назад, мать твою!» Но я уже прицел включил, поймал гада и пустил ракету. И хоть тут бы мне развернуться и к земле — так нет, стал смотреть, как этот двадцать третий падает. А потом гляжу на локатор — а на меня уже СА-2 идет, кто пустил, не знаю...

— Это под Аль-Байдой локатор стоит. Когда от Бейрута на запад идешь, никогда вправо брать не надо, — сказал парторг.

— Ну да, а тогда-то я не знал. Кузьма Ульянович кричит: «Помеху ставь!» А я вместо тепловой — это на «эф» нажать надо — на «цэ» жму. Ну и, значит, получил прямо под хвост. Нажал на «эф семь», катапультировался. Опускаюсь, смотрю вниз — а там пустыня и шоссе, на шоссе машины какие-то и меня на них сносит. И не успел я приземлиться, смотрю — мать честная! Кузьма Ульянович прямо на это шоссе на посадку заходит. Тут уж я думаю — кто быстрее...

Саша допил последний глоток чая, встал и пошел к выходу. Плита пола сразу за дверью из столовой была какой-то странной — чуть другого цвета и на полсантиметра повыше, чем остальные. Саша остановился за шаг до нее, высунул голову в коридор и поглядел вверх — так и есть, в метре над головой поблескивали отточенные стальные зубья решетки.

— Ну нет, — пробормотал Саша.

Он внимательно оглядел столовую. С первого взгляда другого выхода не было, но Саша давно знал, что сразу он никогда и не бывает виден. Ход мог быть, например, за огромной картиной на стене, но допрыгнуть до нее можно было, только раскачавшись на люстре, а для этого пришлось бы громоздить несколько столов один на другой. Имелось еще несколько выступов в стене, по которым можно было попытаться залезть вверх, и Саша уже совсем решил это сделать, когда его окликнула баба в белом халате.

— Подносик-то на мойку надо снести, молодой человек, — сказала она, — нехорошо выходит.

Саша вернулся за подносом.

— ...Всем отделом стали пробоины считать, — говорил вedomый Кузьмы Ульяновича. — Помните? Тогда покойный Ешагубин подходит к нам и спрашивает — разве, говорит, эф-пятнадцатый на одном моторе может лететь? И знаете, что ему Кузьма Ульянович ответил?

— Ну хватит, правда, — конфузюсь, сказал Кузьма Ульянович.

— Нет, я скажу, пускай...

Дальше Саша не слышал — все его внимание переключилось на движущуюся ленту, по которой тарелки и подносы ехали на мойку. Она кончалась небольшим окошком, в которое вполне можно было пролезть. Саша решил попробовать, поставил поднос на ленту, оглянулся и быстро забрался на нее сам. Двое стоявших возле окошка танкистов поглядели на него с большим недоумением, но, прежде чем они успели что-то сказать. Саша протиснулся в окошко, перепрыгнул через щель в полу и со всех ног кинулся к медленно поднимающемуся куску стены с большой облезлой раковиной; за ним открывалась освещенная факелами узкая лестница вверх.

Начальник Итакина Борис Емельянович оказался одним из тех двух танкистов, которые с таким удивлением глядели на Сашу в столовой. Саша столкнулся с ним у самого входа в шестьсот двадцатую комнату — за Сашиной спиной осталось примерно с десяток ярусов, на которые можно было забраться, только подпрыгнув и подтянувшись, поэтому он устал и запыхался, а поднявшийся на лифте Борис Емельянович был спокоен и свеж и пахнул одеколоном.

— Ты от Борис Григорича? — ничем не показывая, что узнает в Саше хулигана из столовой, спросил Борис Емельянович. — Пойдем быстрее, мне через пять минут выезжать.

Кабинет Бориса Емельяновича был отгороженной шкафами частью огромного зала, как и кабинет Бориса Григорьевича, только внутри, занимая практически все место, стоял огромный, лоснящийся смазкой танк «М-1 Abrams». У стены были две бочки с горючим, на которых стояли телефон и четырехмегабайтная «супер эй-ти» с цветным ВГА-монитором, при взгляде на которую Саша сглотнул слюну.

— Триста восемьдесят шестой процессор? — уважительно спросил он. — И винт, наверно, мегабайт двести?

— Этого не знаю, — сухо ответил Борис Емельянович, — у Итакина спрашивай, он мой механик. Чего там тебе подписывать?

Саша полез в сумку и вынул чуть подмявшиеся за время долгого путешествия бумаги. Борис Емельянович, сверкнув похожим на пулеметный патрон с золотой пулей «Монт-Бланком», прямо на броне не глядя подмахнул два первых листа, а над третьим задумался.

— Это я так не могу, — сказал наконец он, — это надо в главк звонить. Это даже не я должен подписывать, а Прокудин Павел Семенович.

Поглядывая на часы, он наvertsел номер.

— Павла Семеновича. Так. А когда будет? Нет, сам свяжусь.

Он повернулся к Саше и значительно на него взглянул.

— Ты не очень удачно пришел, — сказал он. — Через пять минут наступление. А если ты бумагу хочешь подписать, в главк надо ехать. Хотя подожди... Может, быстрее выйдет. Проедешь немного со мной.

Борис Емельянович склонился над компьютером.

— Черт, — сказал он через минуту, — где это Итакин ходит? Не могу двигатель запустить.

— А вы директорию смените, — сказал Саша, — вы же в корневой директории. Или сначала в «Нортон» выйдите.

— А ну попробуй, — ответил Борис Емельянович, отходя в сторону.

Саша привычно затюкал по клавишам; заверещал дисковод хард-диска, и почти сразу же мощно и тихо загудела электрическая трансмиссия танка, а воздух наполнился горьким дизельным выхлопом. Борис Емельянович ловко запрыгнул на броню; Саша предпочел подтянуть к танку стул и уже с него шагнул на чуть приподнятую корму.

В башне оказалось просторно и очень удобно. Саша заглянул в прицел, но тот пока не работал; тогда он огляделся. Изнутри башня напоминала любовно украшенную водителем кабину автобуса — по бокам от казенника пушки висели брелочки, флажки, обезьянки, а к броне было приклеено несколько вырезанных из журнала девушек в купальниках.

Борис Емельянович кинул Саше шлемофон и скрылся в отделении водителя; двигатель взревел, и танк выкатился на огромную равнину, где далеко впереди возвышалась похожая на вулкан гора со срезанным границей монитора верхом. Саша по пояс высунулся из люка, огляделся и увидел по бокам еще десятка два таких же танков; два или три возникли прямо на его глазах.

— Как такое построение называется? — спросил он в микрофон.

— Какое? — донесся искаженный наушниками голос Бориса Емельяновича.

— Когда танки все на одной линии? Ну, если бы это солдаты были, была бы цепь, а это как называется?

— Не знаю, — ответил Борис Емельянович. — Так после обеда всегда бывает — просто одновременно выходим. Ты лучше посчитай, сколько танков вокруг?

— Двадцать шесть, — сосчитал Саша.

— Понятно. Бабаракин на бюллетене, Сквородич в Австрии, а остальные все здесь. Жаркий сегодня день будет.

— Двадцать первый, двадцать первый, с кем говорите? — раздался в шлемофоне чей-то голос.

— Говорит двадцать первый, вызываю семнадцатого, прием.

— Семнадцатый слушает.

— Семнадцатый, у меня тут парень из Госснаба, ему одну бумагу подписать. Чтоб не ехать через весь город.

— Понял вас, двадцать первый, — отозвался голос, — через десять минут у фермы.

Танк Бориса Емельяновича резко взял вправо, и Сашу сильно качнуло в люке. Перелетев с разгону через несколько ухабов. Борис Емельянович выехал на шоссе, повернул и километрах на восьмидесяти в час понесся в сторону далекой рощи, перед которой дорога разветвлялась и торчал какой-то указатель на шесте.

— Залазь в башню. — велел Борис Емельянович, — и люк закрой. Вон на том холме гранатометчик сидит.

Саша повиновался — и в самое время: по броне ударило, и послышалось резкое и громкое шипение.

— Вот он, курва-а, — прошептал голос Бориса Емельяновича в наушниках, и башня стала медленно поворачиваться вправо.

Саша увидел на экране прицела совместившийся с вершиной горы квадратик и выскочившую надпись «gun locked». Но Борис Емельянович не спешил стрелять.

— Ну же! — выдохнул Саша.

— Подожди, — зашептал Борис Емельянович, — дай я осколочный заряду... Бронебойные нам еще понадобятся.

Снова зашипело и ударило по броне, а в следующий момент рывкнула пушка «Абрамса», и на вершине холма словно выросло огромное черно-красное дерево.

Вскоре слева от шоссе появилась и стала стремительно приближаться окруженная невысоким забором ферма, похожая на заброшенную правительственную дачу. Метрах в трехстах Борис Емельянович затормозил, и так резко, что Саша, глядевший в прицел, наверняка посадил бы себе синяк под глазом, если бы не мягкая резина вокруг окуляров.

— Что-то мне вон то окно не нравится, — сказал Борис Емельянович, — дай-ка я...

Башня поехала влево, и опять рывкнула пушка. Ферму заволокло огнем и дымом, а когда их снесло, от уютного двухэтажного домика остался только закопченный фундамент с

небольшим куском стены, в котором осталась непонятно куда раскрывшаяся дверь. Борис Емельянович на всякий случай дал длинную очередь из пулемета, перебившую несколько досок в заборе, и медленно поехал к ферме.

— Можешь пока выйти поразмяться, — сказал он Саше, когда танк затормозил у пепелища, — вроде все спокойно.

Саша вылез из башни, спрыгнул на землю и повертел головой. Голова гудела, чуть подрагивали колени, и хотелось на всякий случай схватиться за какой-нибудь поручень вроде тех, что были в башне.

— Что, скис? — дружелюбно спросил Борис Емельянович. — Ты попробуй так пять дней в неделю, по восемь часов, да еще когда на тебя одного по три Т-70 выезжают. Вот когда коленки задрожат. Здесь-то место тихое, благодать...

Действительно, место было красивое — на ровном поле кое-где поднимались деревья, за шоссе зеленела роща и оттуда доносился тихий птичий щебет. Из-за тучи вышло солнце, и все вокруг приобрело такие нежные цвета, которые бывают только на хорошо настроенном ВГА белой сборки и которых никогда не даст ни корейский, ни тем более сингапурский монитор, что бы ни писали в глянцевых многостраничных паспортах хитрые азиаты.

С шоссе донесся гул.

— Павел Семенович едет. Готовь свою бумагу.

Черная точка на шоссе быстро приближалась и вскоре стала таким же танком, как у Бориса Емельяновича, только с торчащим над башней зенитным пулеметом. Танк подъехал, остановился, и из башни выпрыгнул худой и мрачный танкист в золотых очках и черной пилотке.

— Давай, чего у тебя там, — сказал он Саше, присел на одно колено возле сорванного взрывом листа кровли, положил Сашину бумагу на планшет и написал в верхней части листа: «Не возражаю». — А ты, Борис, — сказал он Борису Емельяновичу, — бросай эти дела. Вечно ты со всякой херней перед боем лезешь.

— Ничего, — сказал Борис Емельянович, — нагоним. Этот парень — механик не хуже Итакина. мне сейчас двигатель за минуту завел...

Мрачный покосился на Сашу, но ничего не сказал.

Со стороны далеких синих холмов у горизонта донесся быстро приближающийся гул. Саша поднял голову и увидел эскадрилью F-15, идущих на бреющем полете. Они пронеслись прямо над танками, и передний истребитель, на крыле которого была нарисована красная орлиная голова, в двух десятках метров от земли сделал бочку и свечой, почти вертикально, пошел вверх; остальные разделились на две группы и, набирая высоту, пошли в сторону далекой горы со срезанным верхом, и тут Сашу второй раз за день посетило чувство, что это уже с ним было — может быть, как-то по-другому, но было — он был уверен.

— Ну, сегодня ни один МиГ не сунется, — сказал Борис Емельянович. — Кузьма Ульяныч в воздухе. Это его машина с орлом. Можешь свою зенитку здесь оставить.

— Погожу, — ответил мрачный.

Где-то вдали у горы засверкало, и донесся грохот.

— Началось, — сказал мрачный. — Пора.

— Я вам такую же зенитку привез. — вспомнив, сказал Саша и вынул из сумки дискету. — Там еще два ПТУРСа на башню.

Но Борис Емельянович уже спускался в танк.

— Некогда, отдашь Итакину.

Лязгнул люк, потом второй, и танки, отбрасывая гусеницей комья земли, рванули с места. Саша смотрел им вслед, пока они не превратились в две точки, и пошел к ферме, где на единственном уцелевшем куске стены у двери горели давно замеченные им два призрачных факела.

Когда за Сашиной спиной закрылась дверь, он понял, что выбрался наконец из подземелья и находится где-то во внутренних покоях дворца. Вокруг были уже не грубо обтесанные каменные глыбы, а тонкие ажурные мостики, поддерживаемые легкими резными колоннами. Куда-то в сумрак уходили потолки, блестели в черном бархатном небе за окнами яркие южные звезды, и даже факелы на стенах горели иначе, без треска и копоти.

С двух сторон от Саши были две одинаковые опущенные решетки, а на стенах над ними висели узорчатые персидские ковры, и этого он тоже никогда не видел на нижних уровнях. Он пошел к левой решетке, возле которой из пола чуть поднималась управляющая подъемным механизмом плита, но, когда он встал на нее, подниматься начала решетка за его спиной. Саша развернулся и побежал назад.

За решеткой дорога разветвлялась. Можно было подпрыгнуть, подтянуться и побежать вперед — там звякало сразу несколько разрезовок пополам, и значит, где-то рядом был спрятан кувшин, а может, и два сразу — было такое один раз на третьем уровне. Можно было, наоборот, спуститься вниз, и Саша, секунду поколебавшись, решил так и поступить. Внизу начиналась длинная галерея с узкой полосой росписи на стене; в бронзовых кольцах, ввинченных в стену, коптили факелы, а впереди, защищая путь к лестнице, стоял страж в алом халате, с подкрученными вверх усами и длинным мечом в руке. Саша заметил в правом нижнем углу экрана сразу шесть треугольничков, обозначающих жизненную силу противника, и похолодел: такие ему еще не попадались. Самое большее до сих пор — четыре треугольничка. Саша вытащил свой меч, найденный когда-то возле груды человеческих костей, и встал в позицию. Воин, пристально глядя ему в глаза и постукивая ногой в зеленом сафьяновом сапоге по каменным плитам, стал приближаться. Вдруг он сделал неуловимо быстрый выпад, и Саша, еле успев отбить его меч клавишей «PgUp», сразу нажал «Shift», но этот всегда безотказный прием не сработал — воин успел отскочить и снова стал приближаться.

— Здорово, Саш! — раздалось вдруг за спиной.

Саша испытал острую ненависть к неизвестному идиоту, вздумавшему отвлекать его разговорами в такую минуту, сделал ложный выпад и, целясь врагу мечом прямо в горло, прыгнул вперед. Воин в алом халате опять успел отскочить.

— Саша!

Саша почувствовал, как чьи-то руки разворачивают его вместе с вращающимся стулом, и чуть не ткнул мечом появившегося перед ним человека.

Это был Петя Итакин. На нем был зеленый свитер и протертые джинсы, что очень удивило Сашу, знавшего госплановский этикет.

— Пойдем поговорим, — сказал Итакин.

Саша оглянулся на замершую на мониторе фигурку.

— А я тебя уже час жду, — сказал он. — начальнику твоему «Абрамс» запустил.

— Видел уже. — сказал Итакин. — Ему минут пять назад тэ-семидесятый прямо под башню засадил. Он чиниться приезжал.

Саша встал и пошел за приятелем в коридор. Петя время от времени через что-то перепрыгивал, а один раз упал на пол и замер; Саша заметил огромный синий глаз, проплывший прямо над ним, и догадался, что это «Тауэр», третья или четвертая башня. Сам

он поднялся когда-то до половины первой, но, когда услышал, что после того, как взойдешь на первую башню, надо лезть на вторую и совершенно неизвестно, что будет потом, бросил это дело и стал принцем. А Петя лез на башню уже не первый год.

Они вышли на лестницу, где Петя ловко увернулся от чего-то вроде вертикально летящего бумеранга, и попали на пустой длинный балкон, заваленный выгоревшими на солнце стендами с цветными фотографиями каких-то дряблых лиц. Саша проверил пол под ногами — кажется, сомнительных плит не было. Петя, облокотившись на перила, уставился на огни города внизу.

— Чего? — спросил Саша.

— Так, — сказал Петя. — Я из Госплана скоро уйду.

— Куда?

Петя неопределенно кивнул головой вправо. Саша посмотрел туда — там были тысячи разноцветных светящихся точек, горящих до самого горизонта. Можно было понять Итакина и в том смысле, что он планирует прыжок с балкона.

— Как звезды в «Принце», — вдруг сказал Саша, глядя на огни, — только все вверх ногами. Или вниз головой.

— А может, это в твоём «Принце» все вверх ногами, — сказал Петя. — Никогда не думал, почему там картинка иногда переворачивается?

Саша помотал головой. Как всегда, вид вечернего города навевал печаль. Вспоминалось что-то забытое и сразу же забывалось опять, и это «что-то» больше всего было похоже на тысячу раз данную себе и уже девятьсот девяносто девять раз нарушенную клятву.

— На фига, интересно, мы живём? — спросил он.

— Ну вот, — сказал Петя, — вроде и не пил сегодня, а... Вообще, ты стражника спроси. Он тебе объяснит насчёт жизни.

Саша опять уставился на огни.

— Вот ты второй год по лабиринту бежишь, — заговорил Петя, — а ты думал когда-нибудь, на самом он деле или нет?

— Кто?

— Лабиринт.

— В смысле существует он или нет?

— Да.

Саша задумался.

— Пожалуй, существует. Точнее, правильно сказать, что он существует ровно в той же степени, в какой существует принц. Потому что лабиринт существует только для него.

— Если уж сказать совсем правильно, — сказал Петя, — и лабиринт и фигурка существуют только для того, кто смотрит на экран монитора.

— Ну да. То есть почему?

— Потому что и лабиринт и фигурка могут появляться только в нём. Да и сам монитор, кстати, тоже.

— Ну. — сказал Саша, — мы это на втором курсе проходили.

— Но тут есть одна деталь, — не обращая внимания на Сашины слова, продолжал Петя, — одна очень важная деталь. Её те козлы, с которыми мы это проходили, забыли сообщить.

— Какая?

— Понимаешь, — сказал Петя, — если фигурка давно работает в Госнабе, она почему-

то решает, что это она глядит в монитор, хотя она всего лишь бежит по его экрану. Да и вообще, если б нарисованная фигурка могла на что-то поглядеть, первым делом она бы заметила того, кто смотрит на нее.

— А кто на нее смотрит?

Петя задумался.

— Есть только один спо...

В следующий момент его что-то сильно толкнуло в спину, он перекувырнулся через перила и полетел вниз.

Саша увидел похожую на бумеранг шгуку, какую он уже видел на лестнице, — крутятся, она умчалась куда-то в направлении увенчанных неподвижным дымом труб на горизонте. Саша даже не успел испугаться, так быстро все это произошло. Перегнувшись через перила, он увидел Петю, вцепившегося руками в перила балкона этажом ниже.

— Все в порядке, — крикнул Петя, — костылявки максимум на один этаж сбрасывают. Сейчас я...

Но тут Саша заметил медленно подплывающий к Пете вдоль стены огромный глаз, похожий на круглый аквариум, до краев наполненный синими чернилами.

— Петя! Слева! — крикнул он.

Петя освободил одну руку и пустил в синий глаз два красных шарика размером с клубок шерсти — от первого глаз дернулся и замер, а от второго с хлопаящим звуком растворился в воздухе.

— Иди в шестьсот двадцатую, — крикнул Петя, перелезая через перила, — я сейчас приду, и будем твою игру докалывать.

Саша повернулся к выходу с балкона, и вдруг прямо перед ним с грохотом упала стальная решетка, расколов острыми зубьями несколько кафельных плит пола. Он шагнул назад, и вторая решетка с лязгом ударила в перила балкона. Саша поднял голову, увидел в близком бетонном потолке небольшой квадратный лаз, привычно подпрыгнул, подтянулся и вылез в узкий каменный коридор.

Впереди на пол падало квадратное пятно красноватого света. Прижимаясь к стене, Саша дошел до него и осторожно глянул вверх. Там была узкая четырехугольная шахта, и в ней, далеко наверху, горел факел и виднелся участок закопченного потолка, — видимо, это была обычная коридорная ловушка, но сейчас Саша был на ее дне. Наверху могли быть стражники, поэтому он встал на цыпочки и, осторожно ступая по веками копившемуся праху, пошел вперед. Впереди оказался поворот и в нескольких метрах за ним — тупик. Он двинулся было назад, но услышал, как в дальнем конце коридора лязгнула решетка, и остановился. Он попал в мешок. Теперь оставалось только одно: тщательно проверить все плиты пола и потолка — любая из них могла управлять решетками или поворачивающимися участками стены. Вытянув рука над головой, он подпрыгнул. Потом еще раз. Потом еще. Третья плита чуть-чуть подалась. Дальше все было просто: он еще раз подпрыгнул, толкнул плиту руками и сразу же отскочил: плита выпала. Раздался грохот, и он привычно зажмурился, чтобы взлетевшая с пола пыль не попала в глаза. Немного погодя он шагнул вперед. Теперь в потолке зияло прямоугольное отверстие, через которое можно было пролезть, а над ним вверх уходила стена с деревянными карнизами через каждые два с половиной метра — это расстояние на всех уровнях было одинаковым. Стоя на таком карнизе, можно было подпрыгнуть вверх, в прыжке схватиться за следующий, влезть на него, встать и повторить то же самое — и так до самого вер-ха. На этой стене карнизов было

шесть, и вся процедура заняла у Саши чуть больше минуты, причем он ни и пн о не устал.

Теперь он стоял в коридоре между стен из грубо обтесанных каменных блоков. Впереди был колодец, и оттуда тянуло горьким факельным дымом. Саша заглянул вниз — метрах в пяти был виден ярко освещенный пол. Саша вздохнул, спустил в дыру ноги, повис над пустотой на руках и с некоторым усилием заставил себя разжать пальцы. Высота была не такой уж и большой, но плита, на которую он упал, ушла из-под ног и полетела вниз; уцепиться за край он не успел и после томительно долгого падения врезался в пол, в обломки только что расколовшейся плиты. Он не разбился, но удар и неожиданность оглушили — несколько секунд он с зажмуренными глазами сидел на карачках, вспоминая, как давно в детстве, страшной черной зимой, сильно ушиб копчик, прыгнув из слухового окна газовой подстанции на заиндевевший матрас внизу. А когда он, помотав головой, открыл глаза, оказалось, что он находится в той самой галерее с полосой орнамента на стене, откуда его вытащил Итакин, и на него, сложив руки на груди, смотрит тот же самый стражник в алом халате — это был он, в чем Саша убедился, глянув в нижний угол монитора и увидев там шесть треугольничков, обозначающих жизненную силу. Саша вскочил на ноги, встал в боевую позицию и выхватил меч. Воин выхватил свой и пошел навстречу; его взгляд до такой степени не сулил ничего хорошего, что вспомнившийся совет Итакина поговорить со стражником о жизни показался злой шуткой. Саша повертел в воздухе концом лезвия, собираясь нанести удар, и вдруг воин неожиданным и точным движением выбил меч из Сашиной руки и плашмя ударил его тяжелым клинком по голове.

Саша открыл глаза и с недоумением обвел ими небольшую полутемную комнату, на полу которой он лежал. Под ним был мягкий ковер, на стене горела масляная плошка, а у стены стоял удивительной красоты сундук, окованный чеканными медными листами. Под потолком плыли клубы дыма; пахло чем-то странным, словно палеными перьями или жженой резиной, но запах был приятный. Саша попытался сесть и понял, что не в состоянии пошевелиться: почти по горло на него был натянут похожий на обивку матраса мешок, перемотанный толстой веревкой.

— Проснулся, шурави?

Изогнувшись червем, Саша перевернулся на другой бок и увидел воина в красном халате, сидящего на подушках. Рядом с ним дымился небольшой кальян, длинная кишка которого с медным мундштуком лежала на ковре. По другую сторону валялась Сашина сумка. Воин вынул из складок халата кривой нож, показал его Саше и захохотал.

— Да ты не бойся, шурави, не бойся. — сказал он, нагибаясь над Сашей. — Сразу не убил — теперь не трону.

Петли вокруг мешка ослабли. Воин сел на свои подушки и, посасывая кальян, задумчиво глядел, как Саша выпутывается из мешка. Когда он окончательно вылез и, сев на ковер, стал растирать затекшие ноги, воин молча протянул ему дымящийся шланг. Саша безропотно взял его и глубоко затянулся. Комната сразу сузилась и перекосилась, и вдруг стало слышно потрескивание масла в лампе — как оказалось, это была целая энциклопедия звука.

— Меня зовут Зайнаддин Абу Бакр Аббас ал-Хувафи, — сказал воин, подтягивая к себе раскрытую Сашину сумку и запуская в нее пятерню. — Можешь звать меня по любому из этих имен.

— Меня — Алексей, — наврал почему-то Саша. Из всех непонятных слов он разобрал только «Аббас».

— Ты ведь духовный человек?

— Я-то? — переспросил Саша, с интересом наблюдая за трансформациями комнаты. — Пожалуй, духовный.

Почему-то он чувствовал себя в безопасности.

— Вот я и смотрю, какие ты книги читаешь.

Аббас держал в руках книгу Джона Спенсера Тримингэма «Суфийские ордены в исламе», недавно купленную Сашей в «Академкниге» и дочитанную уже до середины. На ее обложке был нарисован какой-то мистический символ — зеленое дерево, составленное из переплетенных арабских букв.

— Очень тебя убить хотел, — признался Аббас, взвешивая книгу в руке и нежно глядя на обложку. — Но духовного человека — не могу.

— А за что меня убивать?

— А за что ты сегодня Маруфа убил?

— Какого Маруфа?

— Не помнишь уже?

— А. этого, что ли... с ятаганом? И перо еще на тюрбане?

— Этого.

— Да я не хотел, — ответил Саша, — он сам полез. Или не сам... В общем, он уже стоял

у дверей с ятаганом. Как-то все машинально получилось.

Аббас недоверчиво покачал головой.

— Да что ты, меня за изверга принимаешь? — даже растерялся Саша.

— А то нет. Вами, шурави, у нас в деревнях детей пугают. А Маруф этот, которого ты зарезал, утром ко мне подошел и говорит: прощай, говорит, Зайнаддин Абу Бакр. Чую, сегодня шурави придет... Я думал, он гашиша объелся. а днем приносят его в караулку с перерезанным горлом...

— Я правда не хотел, — с досадой сказал Саша.

Аббас усмехнулся.

— Хотел, не хотел. У каждого своя судьба, и все нити в руке Аллаха. Так?

— Точно, — сказал Саша. — Вот это точно.

— Я тут с одним суфием из Хорасана пять дней пил, — сказал Аббас, — он мне и рассказал одну сказку... В общем, я точно не помню, как там было, но там кого-то по ошибке зарезали, а после оказалось, что это был убийца и преступник, который как раз собирался совершить свое самое страшное злодеяние. Я вообще люблю с духовными людьми выпить... Вспомнил я эту сказку и думаю — а вдруг ты тоже какие сказки знаешь?

Аббас подошел к сундуку и вынул бутылку виски «Уайт Хоре», два пластиковых стакана и несколько мятых сигарет.

— Это откуда? — изумился Саша.

— Американцы, — ответил Аббас. — Гуманитарная помощь. Как у вас компьютеры в министерствах начали ставить, так они нам помогать стали. Ну и еще на гашиш меняют.

— А американцы что, не изверги? — спросил Саша.

— Да разные есть, — ответил Аббас, наполняя два пластиковых стакана. — С ними хоть договориться можно.

— Договориться — это как?

— Запросто. Ты, когда видишь стражника, нажимай кнопку «К». Он тогда притворится мертвым, а ты шагай себе дальше.

— Не знал, — ответил Саша, принимая стакан.

— А откуда тебе знать, — сказал Аббас, поднимая свой и салютуя им Саше, — когда у вас все игры колотые. Инструкций-то нет. Но ведь спросить можно? Я думал, шурави говорить не умеют.

Аббас выпил и шумно выдохнул.

— Вот есть там у вас такой Главмосжилинж, — вдруг совершенно другим тоном заговорил он, — и есть там Чуканов Семен Прокофьевич — такой, сука, маленький и жирный. Вот это гадина так гадина. Выходит на первый уровень — дальше боится, ловушки там — и ждет наших. Ну, у нас, понятно, дело военное: хочешь не хочешь — иди. А ребята там неумелые, молодежь. Так он каждый день пять человек убивает. Норма у него. Войдет, убьет и выйдет. Потом опять. Ну, если он на седьмой уровень попадет...

Аббас положил руку на рукоять меча.

— А американцы вам оружие поставляют? — спросил Саша, чтобы сменить тему.

— Поставляют.

— А можно посмотреть?

Аббас подошел к своему сундуку, вынул небольшой пергаментный свиток и кинул его Саше. Саша развернул свиток и увидел короткий столбец команд микроассемблера, витиевато написанных черной тушью.

— Что это? — спросил он.

— Вирус, — ответил Аббас, наливая еще по стакану.

— Ах ты... Я-то думаю, кто у нас все время систему стирает? А в каком он файле сидит?

— Ну ладно, — сказал Аббас. — хватит о чепухе. Пора сказку рассказать.

— Какую сказку?

— Учебную. Ты же духовный человек? Значит, должен знать.

— А про что? — спросил Саша, косясь на длинный меч, лежащий на ковре недалеко от Аббаса.

— Про что хочешь. Главное — чтоб мудрость была.

Чтобы выгадать минуту на размышление, Саша поднял с ковра шланг кальяна и несколько раз подряд глубоко затынулся, вспоминая, что он прочел у Тримингэма про суфийские сказки. Потом на минуту закрыл глаза.

— Ты про магрибский молитвенный коврик знаешь? — спросил он уже приготовившегося слушать Аббаса.

— Нет.

— Ну так слушай. У одного визиря был маленький сын по имени Юсуф. Однажды он вышел за пределы отцовского поместья и отправился гулять. И вот он дошел до пустынной дороги, где любил прогуливаться в одиночестве, и пошел по ней, глядя по сторонам. И вдруг увидел какого-то старика в одежде шейха, с черной шляпой на голове. Мальчик вежливо приветствовал старика, и тогда старик остановился и дал ему сладкого сахарного петушка. А когда Юсуф съел его, старик спросил: «Мальчик, ты любишь сказки?» Юсуф очень любил сказки и так и ответил. «Я знаю одну сказку, — сказал старик, — это сказка про магрибский молитвенный коврик. Я бы тебе ее рассказал, но уж больно она страшна». Но мальчик Юсуф, естественно, сказал, что ничего не боится, и приготовился слушать. И вдруг где-то в той стороне, где было поместье его отца, раздался звон колокольчиков и громкие крики — так всегда бывало, когда кто-нибудь приезжал. Мальчик мгновенно позабыл про старика в черной шляпе и кинулся поглядеть, кто это приехал. Оказалось, это был всего лишь незначительный подчиненный его отца, и мальчик со всех ног побежал назад, но старика на дороге уже не было. Тогда он очень расстроился и пошел назад в поместье. Выбрав минуту, он подошел к отцу и спросил: «Папа! Ты знаешь что-нибудь про магрибский молитвенный коврик?» И вдруг его отец побледнел, затрясся всем телом, упал на пол и умер. Тогда мальчик очень испугался и побежал к маме. «Мама! — крикнул он. — Несчастье!» Она подошла к нему, улыбнулась, положила ему на голову руку и спросила: «Что такое, сынок?» — «Мама, — закричал мальчик, — я подошел к пале и спросил его про одну вещь, а он вдруг упал и умер!» — «Про какую вещь?» — нахмурилась, спросила она. «Про магрибский молитвенный коврик!» И вдруг она тоже страшно побледнела, затряслась всем телом, упала и умерла. Мальчик остался совсем один, и скоро могущественные враги его отца захватили поместье, а самого его выгнали на все четыре стороны. Он долго странствовал по всей Персии и наконец попал в ханаку к очень известному суфию и стал его учеником. Прошло несколько лет, и Юсуф подошел к этому суфию, когда тот был один, поклонился и сказал: «Учитель, я учусь у вас уже несколько лет. Могу я задать вам один вопрос?» — «Спрашивай, сын мой», — улыбнувшись, сказал суфий. «Учитель, вы знаете что-нибудь о магрибском молитвенном коврике?» Суфий побледнел, схватился за сердце и упал мертвый. Тогда Юсуф кинулся прочь. С тех пор он стал странствующим дервишем и ходил по Персии в поисках

известных учителей. И все, кого бы он ни спрашивал про магрибский коврик, падали на землю и умирали. Постепенно Юсуф состарился и стал немощным. Ему стали приходить в голову мысли, что он скоро умрет и не оставит после себя на земле никакого следа. И вот однажды, когда он сидел в чайхане и думал обо всем этом, он вдруг увидел того самого старика в черной шляпе. Старик был такой же, как и раньше, — годы ничуть его не состарили. Юсуф подбежал к нему, встал на колени и взмолился: «Почтенный шейх! Я ищу вас всю жизнь! Расскажите мне о магрибском молитвенном коврике!» Старик в черной шляпе сказал: «Ну ладно. Будь по-твоему». Юсуф приготовился слушать. Тогда старик уселся напротив него, вздохнул и умер. Юсуф целый день и целую ночь в молчании просидел возле его трупа. Потом встал, снял с него черную шляпу и надел себе на голову. У него оставалось несколько мелких монет, и перед уходом он купил на них у владельца чайханы сахарного петушка...

Аббас долго молчал, а потом сказал:

— Признайся, ты скрытый шейх?

Саша не ответил.

— Понимаю, — сказал Аббас, — все понимаю. Скажи, а у этого дедушки шляпа точно была черная?

— Точно.

— Может, зеленая? Я думаю, может, это Зеленый Хидр был?

— А что тут у вас знают о Зеленом Хидре? — спросил Саша. Он еще не прочитал у Тримингэма, кто это такой, и ему было интересно.

— Да все говорят разное. Вот, например, тот дервиш из Хорасана, с которым мы пили. Он сказал, что Зеленый Хидр редко является в своем настоящем обличье, он принимает чужую форму. Или вкладывает свои слова в уста разным людям — и каждый человек, если захочет, может постоянно его слышать, говоря даже с идиотами, потому что некоторые слова произносит за них Зеленый Хидр.

— Это верно, — сказал Саша. — Скажи, Аббас, а кто тут у вас на флейте играет?

— Никто не знает. Уж сколько раз весь лабиринт прочесывали... Без толку.

Аббас зевнул.

— Мне вообще-то на пост пора, — сказал он. — Кувшины надо разнести. Скоро американцы придут. Не знаю, как тебя отблагодарить... Разве что... Хочешь на принцессу посмотреть?

— Хочу, — ответил Саша и залпом выпил то, что оставалось у него в стакане.

Аббас встал, снял с гвоздя на стене связку больших ржавых ключей и вышел в полутемный коридор. Саша вышел за ним. Дверь комнаты, где они сидели, была покрашена под стену, и, когда Аббас закрыл ее, Саша подумал, что ему никогда не пришло бы в голову, что этот тупик — а он побывал в сотнях таких тупиков — на самом деле замаскированная дверь. Они молча дошли до выхода на следующий уровень, который оказался совсем рядом.

— Только тихо, — сказал Аббас, передавая Саше ключи, — а то наших перепугаешь.

— Ключи отдать потом?

— Оставь себе. Или выкинь.

— А тебе они не нужны?

— Будут нужны, — сказал Аббас, — сниму с гвоздя. Это твоя игра. У меня своя. Если что, заходи.

Он протянул Саше клочок бумаги с какой-то надписью.

— Здесь написано, как пройти, — сказал он.

Подъем на самый верх занял от силы десять минут, а если бы Саша сразу попадал ключом в замочные скважины, понадобилось бы и того меньше. От уровня к уровню вела узкая служебная лестница, вырубленная в толще камня — что это за камень, определить было трудно, потому что он был очень приблизительным, да и существовал недолго: когда за Сашей закрылась последняя дверь, реальность снова приобрела ясные цвета и четкость.

Саша увидел перед собой уходящую далеко вверх стену с такими же карнизами, как те, по которым он совсем недавно карабкался навстречу Аббасу. Он машинально шагнул вперед, подпрыгнул и подтянулся. Вспомнив, что у него ключи, он плюнул, спустился вниз и неожиданно для самого себя прыгнул прямо на глухую стену, стукнулся о камни, свалился, опять прыгнул и опять упал. Попытавшись нормально встать на ноги, он вместо этого подскочил, прогнулся и секунду висел в воздухе с вытянутыми над головой руками. Только после этого он пришел в себя и со стыдом подумал: «Вот ведь развезло».

Это был последний уровень, и служебная лестница здесь кончалась. Саша побежал по длинной галерее с факелами в бронзовых кольцах (ему все казалось, что кто-то воткнул их туда вместо флагов) и через некоторое время уткнулся в висящий на стене ковер. Развернувшись, он побежал в другую сторону, петляя по коридорам и галереям, и вышел к тяжелой металлической двери вроде тех, что вели с уровня на уровень. С ключами наготове он нагнулся к ней, но замка в двери не оказалось. Именно за этой дверью должна была быть принцесса, только, чтобы открыть эту дверь, надо было очень долго лазить по далеким аппендиксам двенадцатого уровня, на каждом шагу рискуя свернуть шею, хоть и нарисованную, но единственную.

Другой вход он нашел минут через десять, заглянув за ковер, висящий в тупике коридора. В одной из плит был черный зрачок замочной скважины. Саша сунул туда самый маленький ключ из связки, и открылась крохотная железная дверка, не больше окна пожарного крана. Саша с трудом протиснулся внутрь.

Перед ним был зал с высоким сводчатым потолком; на стенах горели факелы и висели ковры, а в дальнем конце видна была поднятая решетка, за которой начинался полутемный коридор. В другой стене была тяжелая металлическая дверь, та самая, в которой не было замочной скважины и через которую Саше полагалось бы войти, сумеи он когда-нибудь добраться до этого уровня сам. Он узнал это место — именно здесь он видел принцессу, когда она иногда появлялась на экране. Но сейчас ее не было, как не было ни ковров с подонками, ни пузатых песочных часов, ни дворцовой кошки. Был только голый пол. Зато поднятой решетки в стене Саша раньше не видел — эта часть зала не попадала на экран, когда показывали принцессу. Он пошел вперед.

Коридор за решеткой неожиданно кончился банальной деревянной дверью вроде тех, что приводят в коммунальную ванную или сортир, и Саше в душу закралось нехорошее предчувствие. Он потянул дверь на себя.

Комната больше всего напоминала большой пустой чулан. Пахло чем-то затхлым — так пахнет в местах, где хозяйка держат нескольких кошек и собирают советские газеты в подшивку. На полу валялся мусор: пустые аптечные флаконы, старый ботинок, сломанная гитара без струн и какие-то бумажные обрывки. Обои в нескольких местах отстали и свисали целыми лоскутами, а окно выходило на близкую — в метре, не больше —

кирпичную стену. В середине комнаты стояла принцесса.

Саша долго смотрел на нее, потом несколько раз обошел вокруг и вдруг сильно залепил по ней ногой. Тогда все, из чего она состояла, повалилось на пол и распалось — сделанная из сухой тыквы голова с наклеенными глазами и ртом оказалась возле батареи, картонные руки согнулись в рукавах дрянного ситцевого халата, правая нога отпала, а левая повалилась на пол вместе с обтянутым черной тканью поясным манекеном на железном шесте, упавшим плашмя, прямо и как-то однозначно, словно застрелившийся политрук. Саша вышел из комнаты и побрел по коридору назад, но решетка, отделявшая коридор от сводчатого зала, оказалась опущенной. Он вспомнил, что слышал звук ее падения через секунду после того, как ударил ногой по манекену, но в тот момент не обратил на это внимания.

Вернувшись, он еще раз поглядел на пол, на обои и заметил в одном месте контур заклеенной двери. Он подошел и нажал на нее плечом. Дверь прогнулась, но не открылась; видимо, она была очень тонкой. Тогда Саша отошел, сжал кулаки и с разгону врезался в нее плечом — с такой силой, что, распахнув ее и с хрустом прорвав обои, пронесся еще метр или два по воздуху и только потом, споткнувшись обо что-то, полетел на пол, мельком увидев впереди чьи-то плечи, затылок и спинку стула.

— Тише, — сказал Итакин, поворачивая голову от экрана, на котором мерцал высокий сводчатый зал, в центре которого на ковре гладила кошку принцесса. — Бориса Емельяновича растревожишь. Ему сейчас опять в бой. У них сегодня большие потери.

Саша приподнялся на руках и оглянулся — за его спиной поскрипывала раскрытая дверца стенного шкафа, из которой еще планировали на пол какие-то бумаги.

— Ну и дела. Петя, — сказал он, поднимаясь на ноги. — Что же это такое?

— Ты про принцессу? — спросил Итакин.

Саша кивнул.

— Это к ней ты и шел все время, — сказал Итакин. — Я ж говорю, твою игру раскололи.

— Неужели никто до нее не доходил?

— Почему? Очень многие доходили.

— Так почему они молчали? Чтобы другие тоже... чтобы им не было так обидно?

— Я думаю, не поэтому. Просто, когда человек тратит столько времени и сил на дорогу и наконец доходит, он уже не может увидеть все таким, как на самом деле... Хотя это тоже не точно. Никакого <самого дела> на самом деле нет. Скажем, он не может позволить себе увидеть.

— А почему тогда я видел?

— Ну, ты просто прошел по служебной лестнице.

— Но как же можно увидеть что-то другое? И потом, я ведь столько раз видел ее сам — когда переходишь с уровня на уровень, она иногда появляется на экране и она совсем не такая!

— Я, наверное, не совсем правильно выразился, — сказал Итакин. — Эта игра так устроена, что дойти до принцессы может только нарисованный принц.

— Почему?

— Потому что принцесса тоже нарисована. А нарисовано может быть все что угодно.

— Но куда деваются те, кто играет? Те, кто управляет принцем?

— Помнишь, как ты вышел на двенадцатый уровень? — спросил Итакин и кивнул на экран.

— Помню.

— Ты можешь сказать, кто бился головой о стену и прыгал вверх? Ты или принц?

— Конечно принц, — сказал Саша. — Я и прыгать-то так не умею.

— А где в это время был ты?

Саша открыл было рот, чтобы ответить, и замер.

— Вот туда они и деваются, — сказал Итакин.

Саша сел на стул у стены и долгое время думал.

— Слушай, — сказал он наконец, — кто же там все-таки на флейте играет?

— А вот этого до сих пор никто не знает.

Саша поглядел на часы и вдруг икнул.

— На углу еще можно взять, — сказал он, — я сейчас сгоняю. Подождешь? По стакану,

а?

— Мне спешить некуда, — сказал Итакин. — Только тебя назад не пустят.

— Да я быстро, — нажимая «Escape», сказал Саша, — через пятнадцать минут.

На экране застыла картинка: из-под мавританской арки открывался вид на огромный восточный дворец, состоящий из множества башен и башенок, тянувшихся к сияющему огромными звездами летнему небу.

Возле углового гастронома шевелилась такая очередь, что Саша понял: взять бутылку будет крайне трудно и, может быть, невозможно вообще. Будь он трезвым, это точно было бы невозможно, но он, как оказалось, выпил достаточно, чтобы через несколько минут броуновского движения по переполненному залу оказаться не так уж далеко от кассы. Со всех сторон напирала и материлась, но скоро Саша сообразил, что кажущийся хаос на самом деле представляет собой упорядоченное движение четырех очередей, трущихся друг о друга из-за разной скорости. Очередь за портвейном была слева, а та, в которую он попал, — за килькой в томате, той самой, что после открытия банки имеет обыкновение внимательно глядеть на открывшего не меньше чем десятком крошечных блестящих глаз. Сашина очередь двигалась быстрее, чем очередь за портвейном, и он решил преодолеть следующие несколько метров в ее составе и только потом перейти в соседнюю. Этот маневр удался, и Саша оказался между стройотрядовской курткой, на спине которой было выведено загадочное слово «КАТЭК», и коричневым пиджаком, надетым прямо на голое мужское тело лет пятидесяти.

— Ы-ы-ы-ы... — сказал мужик в коричневом пиджаке, когда Саша посмотрел на него, и закатил глаза. Из рта у него невыносимо воняло; Саша торопливо отвернулся и стал смотреть на стену, где висел треугольный матерчатый вымпел и выпиленная из раскрашенной фанеры голова Ленина.

«Господи, — вдруг подумал он, — а я ведь действительно живу в этом... в этой... Стою пьяный в очереди за портвейном среди всех этих хрюсел — и думаю, что я принц?!»

— Килька кончается! — раздались испуганные голоса в соседней очереди. — Килька!

Саша почувствовал, что сзади его дергают за плечо.

— Что такое? — спросил он, оборачиваясь.

— Я так считаю. — сказал мужик в пиджаке, — надо нам идти на исконные наши земли — Владимир, Ярославль, — раздать людям оружие и опять всю Россию завоевать.

— А потом?

— Потом идти воевать хана Кучума, — сказал мужик и потряс перед Сашей кулаком.

— Портвейн кончается... — тревожно зашептал народ.

Саша выдавился из очереди и стал проталкиваться к выходу. Пить теперь совершенно не хотелось. У выхода стояли две женщины в белых халатах и шапочках и, поглядывая на часы, тихо, но горячо что-то обсуждали.

Вдруг где-то сзади, словно бы под невидимым потолком раза в три выше магазинного, возник и стал расти странный звук, похожий на одновременный гул множества авиационных двигателей. За несколько секунд он достиг такой интенсивности, что люди, только что мирно матерившиеся в очередях, сначала стали в недоумении озирались, а потом приседать на корточки или даже откровенно падать на пол, затыкая руками уши. Звук достиг наибольшей силы, так же резко пошел на убыль и стих совсем, но ему на смену пришел грохот танковых моторов. так же непонятно где возникший и непонятно куда ушедший через несколько секунд.

— Вот так каждый вечер, — сказала женщина в белом халате, — ровно без пятнадцати шесть. Мы уж куда только не звонили. Мне Зоя из «Новоарбатского» говорила — у них то же самое...

Люди поднимались с пола и подозрительно пялились друг на друга, вспоминая, за кем и за чем кто стоял. Но это было не важно, потому что и килька и портвейн уже кончились.

Саша вышел на улицу и медленно побрел к сияющему веселыми электрическими огнями зданию Госплана. Впереди включилась разрезалка пополам — по тому болезненному скрипу, с которым она работала, и по большим щелям между гнутыми зубьями Саша догадался, что она не из его игры, а обычная советская разрезалка пополам, плохая и старая, то ли забытая кем-то на улице, то ли стоящая на положенном ей месте. Он прошел было мимо, но по приобретенной в игре привычке вернулся и посмотрел, не стоит ли сразу за ней, как это обычно бывало в лабиринте, кувшин с восстанавливающим жизненную силу напитком. Кувшина не было, зато были сразу три бутылки семьдесят второго портвейна. Саша пошел дальше, прислушиваясь к ухающему скрипу за спиной и угадывая в нем несколько повторяющихся нот из «Подмосковных вечеров» — словно пластинку, стоящую на проигрывателе, заело, и ржавый голос безнадежно задавал тусклому московскому небу вечный русский вопрос: «есть ли бзна?.. есть ли бзна?.. есть ли бзна?»

Саша дошел до Госплана и понял, что опоздал. Рабочий день кончался, и высокая ассирийская дверь выбрасывала на улицу одну волну народа за другой. Он все-таки попытался войти, преодолел несколько метров против течения и уже уцепился было за холодное ограждение турникета, но был смыт и вынесен обратно на улицу группой жизнерадостных женщин. Мимо прочапал Кузьма Ульянович Старопопиков с портфелем в руке, и Саша машинально пошел за ним. Кузьма Ульянович сразу углубился в какие-то темные переулки — видно, жил где-то неподалеку. Саша сам не знал, зачем он идет за Старопопиковым — ему нужно было какое-нибудь дело, к которому можно на время пристроиться, чтобы спокойно подумать.

Минут через десять — а может, и через полчаса, он как-то потерял счет времени — Кузьма Ульянович, дойдя до большого и совершенно безлюдного двора, направился к угловому подъезду. Саша решил, что дальше идти за ним будет еще глупее, чем до сих пор, и совсем уже собрался развернуться, когда вдруг к Кузьме Ульяновичу подошли двое долговязых парней в модных натовских куртках. Саша мог дать что угодно на отсечение, что только что их не было во дворе. Он почуял неладное и быстро нырнул за пожарную лестницу, до самого низа забитую досками, — здесь его никто не мог увидеть, хоть он был рядом с подъездом.

— Вы — Кузьма Ульянович Старопопиков? — громко спросил один из подошедших — по-русски он говорил с сильным акцентом и, как и второй, был курчав, черен и небрит.

— Да, — с удивлением ответил Кузьма Ульянович.

— Вы бомбили лагерь под Аль-Джегази?

Кузьма Ульянович вздрогнул и снял очки.

— Вы сами-то кто бу... — начал было он, но собеседник не дал ему договорить.

— Организация Освобождения Палестины приговорила вас к смерти — сказал он, доставая из кармана длинный пистолет. То же сделал и второй.

Кузьма Ульянович подпрыгнул и выронил из руки портфель, а в следующий миг оглушительно загрели выстрелы и полетели на асфальт стреляные гильзы. Первая же пуля отбросила Кузьму Ульяновича на дверь, но до того, как он упал, палестинцы уже разрядили в него обоймы своих пистолетов, повернулись и пошли прочь; Саша с удивлением заметил, что сквозь них видны деревья и скамейки, а когда они дошли до угла, то были уже почти

невидимы и даже, кажется, не стали делать вид, что поворачивают за него. Наступила странная тишина. Саша вышел из-за пожарной лестницы, посмотрел на Кузьму Ульяновича, который тихо ворочался на асфальте у двери, и растерянно огляделся. Из соседнего подъезда вышел какой-то мужчина в спортивном костюме, и Саша со всех ног кинулся к нему. Тот удивленно остановился, и Саша вдруг почувствовал себя глупо.

— Вы сейчас ничего не слышали? — спросил он.

— Ничего. А что я должен был слышать?

— Так... Там человеку плохо.

Мужчина наконец увидел Кузьму Ульяновича.

— Пьяный, наверно, — сказал он, подходя и приглядываясь. — Хотя вроде нет. Эй, что с вами?

— Сердце, — слабо заговорил Кузьма Ульянович, делая между словами большие паузы. — Вызывайте «скорую». мне двигаться нельзя. Или лучше жену позовите. Второй этаж, сорок вторая квартира.

— Может, лучше мы вас отнесем?

— Нет, — сказал Кузьма Ульянович. — У меня уже два инфаркта было. Я знаю, что лучше и что хуже.

Мужик в спортивном костюме кинулся вверх по лестнице, а Саша повернулся и быстро пошел прочь.

Он сам не заметил, как добрал до метро и доехал до Госснаба. Когда он пришел в себя на набережной, возле родной пятиэтажки с колоннами у фасада, он был уже окончательно трезв. Два окна на третьем этаже еще горели, и он решил подняться.

Третий этаж был пуст и темен, и все, казалось, ушли — только в первом подотделе малой древесины кто-то еще работал. Саша подошел к приоткрытой двери и заглянул в щель.

В центре помещения в ветхом голубом кимоно и зеленых хакама, с шапкой чиновника пятого ранга на голове и веером в руке стоял Борис Григорьевич. Он не мог видеть Сашу, потому что тот был в темном коридоре, но в момент, когда Саша заглянул в щель, Борис Григорьевич поднял веер над головой, сложил и опять раскрыл его. прижал на секунду к груди и резким движением протянул к Саше; затем медленно, перед каждым шажком подтягивая одну полусогнутую ногу к другой, поплыл к двери, не опуская повернутого на себя красным шелковым разворотом веера. Саше показалось, что начальник плачет — или тихо воет, — но через секунду он разобрал нараспев читаемое стихотворение:

Как капле росы.

Что на стебле

Сверкнет на секунду

И паром

Летит к облакам. —

Не так ли и нам

Скитаться всю вечность

Во тьме?

О безысходность!

Борис Григорьевич закрутился на месте и замер, высоко подняв веер. Так он стоял

несколько минут, а затем словно пришел в себя — поправил пиджак, пригладил руками волосы и исчез в узком проходе между шкафами. Вскоре оттуда донесся свист меча, и Саша понял, что начальник принялся за свои обычные вечерние упражнения в «Будокане», во втором слева от ворот зале. Тогда он вошел, прокашлялся и крикнул:

— Борис Григорьевич!

Свист меча стих.

— Лапин?

— Я все подписал. Борис Григорьевич!

— Ага. Положи на шкаф, я сейчас занят.

— Я поработаю. Борис Григорьевич?

— Работай, работай. Я сегодня допоздна.

Саша положил бумаги на шкаф, сел на свое место и занес было палец над кнопкой, включающей компьютер. Потом он ухмыльнулся, взял с полки над столом телефонный справочник, полистал его и притянул к себе телефон.

— Алло, — сказал он в трубку, дождавшись ответа, — Главмосжилинж? Чуканов Семен Прокофьевич еще на месте? Какой?

Он записал новый номер и сразу же его набрал.

— Семена Прокофьевича. Семен Прокофьевич? Это из Госплана беспокоят, по поручению товарища Старопопикова... Главное, что он вас помнит... Ну как хотите. Ваше... Нет, насчет «Принца». Он просил вам передать, как на седьмой уровень сразу выйти... Не знаю, может быть, в министерстве на совещании. Ну вы сами там вспомните, где кто кого видел, а сейчас запишите. Жду... Значит, так...

Саша развернул данную ему Аббасом бумажку.

— Набираете слова «принц мегахит семь». Да, латинские. Русское «эн»... Нет, цифра. Ну что вы, не за что. Всего наилучшего. До свидания.

Он встал и вышел покурить, а вернувшись через несколько минут, набрал тот же номер.

— Семена Прокофьяча... Как... Я же только что с ним говорил... Какой ужас... Какой ужас... Извините...

Положив трубку, Саша включил компьютер.

Level 1

Спрыгнув с каменного карниза, он побрел по коридору в тупичок, куда раньше стаскивал всякие найденные вещи. Он уже давно туда не заходил, но все осталось прежним — сложенная из обломков каменных плит лежанка, накрытая для мягкости ворохом истлевшего тряпья, чья-то берцовая кость, из которой он начинал было долбить мундштук, да забросил, пара узких медных кувшинов, в одном из которых что-то еще оставалось, и лежащий на полу госснабовский бланк с планом первого уровня, успевший покрыться густым слоем пыли. Саша лег на лежанку и закрыл глаза, и почти сразу же далеко-далеко наверху, за множеством каменных потолков, еле различимо запела флейта. Он стал вспоминать сегодняшний день, но слишком хотелось спать, и, натянув на себя часть тряпья и устроившись так, чтоб ниоткуда не дуло, он уснул.

Сначала ему снился Петя Итакин, сидящий на вершине какой-то башни и играющий на длинной камышовой флейте, а потом приснился Аббас в переливающемся зеленом халате, который долго объяснял ему, что если нажать одновременно клавиши «Shift», «Control» и «Return», а потом еще дотянуться до клавиши, на которой нарисована указывающая вверх стрелка, и нажать ее тоже, то фигурка, где бы она ни находилась и сколько бы врагов перед ней ни стояло, сделает очень необычную вещь — подпрыгнет вверх, выгнется и в следующий момент растворится в небе.

Have a nice DOSI B >>



ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ

САРАЯ НОМЕР XII

В начале было слово, и даже, наверное, не одно — но он ничего об этом не знал. В своей нулевой точке он находил пахнувшие свежей смолой доски, которые лежали штабелем на мокрой траве и впитывали желтыми гранями солнце; находил гвозди в фанерном ящике, молотки, пилы и прочее, — представляя все это, он замечал, что скорей домысливает картину, чем видит ее. Слабое чувство себя появилось позже, когда внутри уже стояли велосипеды, а его правую сторону заняли полки в три яруса. По-настоящему он был тогда еще не Номером XII, а просто новой конфигурацией штабеля досок, но именно эти времена оставили в нем самый чистый и запомнившийся отпечаток: вокруг лежал необъяснимый мир, а он, казалось, в своем движении по нему остановился на какое-то время здесь, в этом месте.

Место, правда, было не из лучших — задворки пятиэтажки, возле огородов и помойки, — но стоило ли расстраиваться? Ведь не всю жизнь он здесь проведет. Задумайся он об этом, пришлось бы, конечно, ответить, что именно всю жизнь он здесь и проведет, как это вообще свойственно сараям, — но прелесть самого начала жизни заключается как раз в отсутствии таких размышлений: он просто стоял себе под солнцем, наслаждаясь ветром, летящим в щели, если тот дул от леса, или впадая в легкую депрессию, если ветер дул со стороны помойки; депрессия проходила, как только ветер менялся, не оставляя на его неоформившейся душе долговечных следов.

Однажды к нему приблизился голый по пояс мужчина в красных тренировочных штанах; в руках он держал кисть и здоровенную жестянку краски. Этот мужчина, которого сарай уже научился узнавать, отличался от всех остальных людей тем, что имел доступ внутрь, к велосипедам и полкам. Остановись у стены, он обмакнул кисть в жестянку и провел по доскам ярко-багровую черту. Через час весь сарай багровел, как дым, в свое время восходивший, по некоторым сведениям, кругами к небу; это стало первой реальной вехой в его памяти — до нее на всем лежал налет потусторонности и счастья.

В ночь после окраски, получив черную римскую цифру — имя (на соседних сараях стояли обычные цифры), он просыхал, подставив луне покрытую толем крышу.

«Где я, — думал он, — кто я?»

Сверху было темное небо, потом он, а внутри стояли новенькие велосипеды; на них сквозь щель падал луч от лампы во дворе, и звонки на их рулях блестели загадочней звезд. Сверху на стене висел пластмассовый обруч, и Номер XII самыми тонкими из своих досок осознавал его как символ вечной загадки мироздания, представленной — это было так чудесно — ив его душе. На полках лежала всякая ерунда, придававшая разнообразие и неповторимость его внутреннему миру. На нитке, протянутой от стены к стене, сохли душица и укроп, напоминая о чем-то таком, чего с сараями просто не бывает, — тем не менее они именно напоминали, и ему иногда мерещилось, что раньше он был не сараем, а дачей или по меньшей мере гаражом.

Он ощутил себя и понял, что то, что ощущало — то есть он сам, — складывалось из множества меньших индивидуальностей: из неземных личностей машин для преодоления

пространства, пахнувших резиной и сталью; из мистической интроспекции замкнутого на себе обруча; из писка душ разбросанной по полкам мелочи вроде гвоздей и гаек и из другого. В каждом из этих существований было бесконечно много оттенков, но все-таки любому соответствовало что-то главное для него — какое-то решающее чувство, и все они, сливаясь, образовывали новое единство, огражденное в пространстве свежевыкрашенными досками, но не ограниченное ничем: это и был он, Номер XII, и над ним в небе сквозь туман и тучи неслась полностью равноправная луна... С тех пор по-настоящему и началась его жизнь.

Скоро Номер XII понял, что больше всего ему нравится ощущение, источником или проводником которого были велосипеды. Иногда, в жаркий летний день, когда мир вокруг затихал, он тайно отождествлял себя то со складной «Камой», то со «Спутником» и испытывал два разных вида полного счастья.

В этом состоянии ничего не стоило оказаться километров за пятьдесят от своего настоящего местонахождения и катить, например, по безлюдному мосту над каналом в бетонных берегах или по сиреневой обочине нагретого шоссе, сворачивать в тоннели, образованные разросшимися вокруг узкой грунтовой дорожки кустами, чтобы, пропетляв по ним, выехать уже на другую дорогу, ведущую к лесу, через лес, через поле — прямо в оранжевое небо над горизонтом: можно было, наверное, ехать по ней до самого конца жизни, но этого не хотелось, потому что счастье приносила именно эта возможность. Можно было оказаться в городе, в каком-нибудь дворе, где из трещин асфальта росли какие-то длинные стебли, и провести там вечер — вообще, можно было почти все.

Когда он захотел поделиться некоторыми из своих переживаний с оккультно ориентированным гаражом, стоящим рядом, он услышал в ответ, что высшее счастье на самом деле только одно, и заключается в экстатическом единении с архетипом гаража, — как тут было рассказать собеседнику о двух разных видах совершенного счастья, одно из которых было складным, а другое зато имело три скорости?

— Что, и я тоже должен стараться почувствовать себя гаражом? — спросил он как-то.

— Другого пути нет, — отвечал гараж, — тебе это, конечно, вряд ли удастся до конца, но у тебя все же больше шансов, чем у конуры или табачного киоска.

— А если мне нравится чувствовать себя велосипедом? — высказал Номер XII свое сокровенное.

— Ну что же, чувствуй. Запретить не могу. Чувства низшего порядка для некоторых — предел, и ничего с этим не поделаешь, — сказал гараж.

— А чего это у тебя мелом на боку написано? — переменял тему Номер XII.

— Не твое дело, говно фанерное, — ответил гараж с неожиданной злобой.

Номер XII заговорил об этом, понятно, от обиды — кому не обидно, когда его чувства называют низшими? После этого случая ни о каком общении с гаражом не могло быть и речи, да Номер XII и не жалел. Однажды утром гараж снесли, и Номер XII остался в одиночестве.

Правда, с левой стороны к нему подходили два других сарая, но он старался даже не думать о них. Не из-за того, что они были несколько другой конструкции и окрашены в тусклый неопределенный цвет — с этим можно было бы смириться. Дело заключалось в другом: рядом, на первом этаже пятиэтажки, где жили хозяева Номера XII, находился большой овощной магазин, и эти сараи служили для него подсобными помещениями. В них хранилась морковь, картошка, свекла, огурцы — но определяющим все главное относительно Номера 13 и Номера 14 была, конечно, капуста в двух затянутых

полиэтиленом огромных бочках. Номер XII часто видел их стянутые стальными обручами глубоководные тела, выкатывающиеся на ребре во двор в окружении свиты испитых рабочих. Тогда ему становилось страшно и он вспоминал одно из высказываний покойного гаража, которого он часто с грустью вспоминал: «От некоторых вещей в жизни надо попросту как можно скорее отвернуться», — вспоминал и сразу следовал ему. Темная труднопонимаемая жизнь соседей, их тухлые испарения и тупая жизнеспособность угрожали Номеру XII, потому что само существование этих приземистых построек отрицало все остальное и каждой каплей рассола в бочках заявляло, что Номер XII в этой вселенной совершенно не нужен; во всяком случае, так он расшифровывал исходившие от них волны осознания мира.

Но день кончался, свет мерк. Номер XII становился велосипедом, несущимся по пустынной автостраде, и вспоминать о дневных ужасах было просто смешно.

Была середина лета, когда звякнул замок, откинулась скоба запора и внутрь Номера XII вошли двое: хозяин и какая-то женщина. Она очень не понравилась Номеру XII, потому что непонятным образом напомнила ему все то, чего он не переносил. Не то чтобы от женщины пахло капустой и поэтому она производила такое впечатление — скорее наоборот, запах капусты содержал сведения об этой женщине; она как бы овеществляла собой идею квашения и воплощала ту угнетающую волю, которой Номера 13 и 14 были обязаны своим настоящим.

Номер XII задумался, а люди между тем говорили:

— Ну что, полки снять, и хорошо, хорошо...

— Сарай — первый сорт. — отзывался хозяин, выкатывая наружу велосипеды. — Не протекает, ничего. А цвет-то какой!

Выкатив велосипеды и прислонив их к стене, он начал беспорядочно собирать с полок все, что там лежало. Тогда Номеру XII стало не по себе.

Конечно, и раньше велосипеды часто исчезали на какой-то срок, и он умел закрывать возникавшую пустоту своей памятью — потом, когда велосипеды ставили на место, он удивлялся несовершенству созданных памятью образов по сравнению с действительной красотой велосипедов. за просто излучаемой ими в пространство. — так вот, пропав, велосипеды всегда возвращались, и эти недолгие расставания с главным в собственной душе сообщали жизни Номеру XII прелесть непредсказуемости завтрашнего дня; но сейчас все было по-другому. Велосипеды забирали навсегда.

Он понял это по полному и бесцеремонному опустошению, которое производил в нем носитель красных штанов, — такое было впервые. Женщина в белом халате давно уже ушла, а хозяин еще копался, сгребая инструменты в сумку, снимая со стен жестянки и старые клееные камеры. Потом почти к двери подъехал грузовик, и оба велосипеда вслед за набитыми до отказа сумками покорно нырнули в его разверстый брезентовый зад.

Номер XII был пуст, а его дверь открыта настежь.

Но, несмотря ни на что, он продолжал быть самим собой. В нем продолжали жить души всего того, чего его лишила жизнь; и хоть они стали подобны теням, они по-прежнему сливались вместе, чтобы составить его. Номера XII, индивидуальность, вот только для сохранения индивидуальности требовалась вся сила воли, которую он мог собрать.

Утром он заметил в себе перемену — его не интересовал больше окружающий мир, а все, что его занимало, находилось в прошлом, перемещаясь кругами по памяти. Он знал, как это объяснить: хозяин, уезжая, забыл обруч, оставшийся единственной реальной частью его нынешней призрачной души, и поэтому Номер XII теперь сильно напоминал себе замкнутую

окружность. Но у него не было сил как-то к этому отнестись и подумать: хорошо ли это? Плохо ли? Все заливала и обесцвечивала тоска. Так прошел месяц.

Однажды появились рабочие, вошли в незащитно раскрытую дверь и за несколько минут выломали полки. Не успел Номер XII почувствовать свое новое состояние, как волна ужаса обдала его, показав, кстати, сколько в нем еще оставалось жизненной силы, нужной, чтобы испытывать страх.

По двору к нему катили бочку. Именно к нему. Даже на самом дне ностальгии, когда ему казалось, что ничего *хуже* случившегося с ним не может и присниться, он не думал о такой возможности.

Бочка была страшной. Она была огромной и выпуклой, она была очень старой, и ее бока, пропитанные чем-то чудовищным, издавали вонь такого спектра, что даже привычные к изнанке жизни работяги, катившие ее на ребре, отворачивались и матерились. При этом Номер XII видел нечто незаметное рабочим: в бочке холодело внимание, и она мокрым подобием глаза воспринимала мир. Как ее вкатывали внутрь и крутили на полу, ставя в самый его центр, потерявший сознание Номер XII не видел.

Страдание увечит. Прошло два дня, и к Номеру XII стали понемногу возвращаться мысли и чувства. Теперь он был другим, и все в нем было по-другому. В самом центре его души. там. где когда-то покоились омытые ветром рамы велосипедов, теперь пульсировала живая смерть, сгущавшаяся в бочку, которая медленно существовала и думала; ее мысли теперь были и мыслями Номера XII. Он ощущал брожение гнилого рассола, и это в нем поднимались пузыри, чтобы лопнуть на поверхности, образовав лунку на слое плесени, это в нем перемещались под действием газа разбухшие трупные огурцы, и это в нем напрягались пропитанные слизью доски, стянутые ржавым железом. Все это было им.

Номера 13 и 14 теперь не пугали его, наоборот, между ними быстро установилось полубессознательное товарищество. Но прошлое не исчезло полностью — оно просто было оттеснено и смято. Поэтому новая жизнь Номера XII была двойной. С одной стороны, он участвовал во всем на равных правах с Номерами 13 и 14, а с другой, где-то в нем скрывались чувства. Сознание ужасной несправедливости того, что с ним произошло. Но центр тяжести его нового существа лежал, конечно, в бочке, которая издавала постоянное бульканье и потрескивание, пришедшее на смену воображаемому шелесту шин.

Номера 13 и 14 объясняли ему, что все случившееся — элементарный возрастной перелом.

— Вхождение в реальный мир с его заботами и тревогами всегда сопряжено с некоторыми трудностями, — говорил Номер 13, — совсем новые проблемы наполняют душу.

И добавлял ободряюще:

— Ничего, привыкнешь. Тяжело только сперва.

Четырнадцатый был сараем скорее философского склада (не в смысле хранилища), часто говорил о духовном и скоро убедил нового товарища, что если прекрасное заключено в гармонии («Это раз», — говорил он), а внутри — и это объективно — находятся огурцы или капуста («Это два»), то прекрасное в жизни заключено в достижении гармонии с содержимым бочки и в устранении всего, что этому препятствует. Под край его собственной бочки, чтоб не вытекало, был подложен старый философский словарь, который он часто цитировал; он же помогал ему объяснять Номеру XII, как надо жить. Все же Номер 14 до

конца не доверял новичку, чувствуя в нем что-то такое, чего сам Номер XII в себе уже не замечал.

Постепенно Номер XII и вправду привык. Иногда он даже чувствовал специфическое вдохновение, новую волю к своей новой жизни. Но все-таки недоверие новых друзей было оправданным: несколько раз Номер XII ловил быстрый, как луч из замочной скважины, проблеск чего-то забытого и погружался тогда в сосредоточенное презрение к себе: чего уж говорить о других, которых он в эти минуты просто ненавидел.

Все это, конечно, подавлялось непобедимым мироощущением бочки с огурцами, и скоро Номер XII начинал недоумевать, чего это его так занесло. Постепенно он становился проще, и прошлое все реже тревожило его, потому что трудно стало догонять слишком мимолетные вспышки памяти. Зато бочка все чаще казалась залогом устойчивости и покоя, как балласт на корабле, и иногда Номер XII так и представлял себя: в виде теплохода, всплывающего в завтра.

Он стал чувствовать присущую своей бочке своеобразную доброту — но только с тех пор, как окончательно открыл ей что-то в себе. Огурцы теперь казались ему чем-то вроде детей.

Номера 13 и 14 были неплохими товарищами, и главное, в них он находил опору своему новому. Бывало, вечером они втроем молча классифицировали предметы мира, наполняя все вокруг общим пониманием, и когда какая-нибудь из недавно построенных рядом будок содрогалась, он думал, глядя на нее: «Глупость... Ничего, перебесится — поймет...» Несколько подобных трансформаций произошло на его глазах, и это подтвердило его правоту лишней раз. Испытывал он и ненависть — когда в мире появлялось что-то ненужное; слава Богу, так случалось редко. Шли дни и годы, и казалось, уже ничего не изменится.

Как-то летним вечером, оглядывая свое нутро. Номер XII натолкнулся на непонятный предмет: пластмассовый обруч, обросший паутиной. Сначала он не мог взять в толк, что это и зачем, и вдруг вспомнил: ведь столько было когда-то связано с этой штукой! Бочка в нем дремала, и какая-то другая его часть осторожно перебирала нити памяти, но все они были давно оборваны и никуда не приводили. Однако ведь было же что-то? Или не было? Сосредоточенно пытаясь понять, о чем это он не помнит, он на секунду перестал чувствовать бочку и как-то отделился от нее.

В этот самый момент во двор въехал велосипед, и ездок без всякой причины дважды прозвонил звончком на руле. И этого хватило — Номер XII вдруг все вспомнил.

Велосипед.

Шоссе.

Закат.

Мост над рекой.

Он вспомнил, кто он на самом деле, и стал наконец собой — действительно собой. Все, связанное с бочкой, отпало, как сухая корка; он почувствовал отвратительную вонь рассола и увидел своих вчерашних товарищей, Номеров 13 и 14, такими, какими они были. Но думать

об этом не было времени — надо было спешить, потому что он знал, что проклятая бочка, если он не успеет сделать задуманного, опять подчинит его и сделает собой.

Бочка между тем проснулась, поняла, и Номер XII ощутил знакомую волну холодного отупения: раньше он думал, что это его отупение. Проснувшись, бочка стала заполнять его, и он ничем не мог ответить на это, кроме одного.

Под выступом крыши шли два электрических провода. Пока бочка приходила в себя и выясняла, в чем дело, он сделал единственное, что мог: изо всех сил надавил на них, используя какую-то новую возможность, появившуюся у него от отчаяния. В следующий момент его смела непреодолимая сила, исшедшая из бочки с огурцами, и на время он просто перестал существовать. Но дело было сделано — провода коснулись друг друга, и на месте их встречи вспыхнуло лилово-белое пламя. Через секунду где-то выгорела пробка, и ток в проводах пропал, но по сухой доске вверх уже подымалась узкая ленточка дыма, потом появился огонь и, не встречая на своем пути препятствий, стал расти и подползать к крыше.

Номер XII очнулся после удара и понял, что бочка решила уничтожить его. Он сжал все свое существо в одной из верхних досок крыши и почувствовал, что бочка не одна — ей помогали Номера 13 и 14, которые думали о нем снаружи.

«Очевидно, — со странной отрешенностью подумал Номер XII, — для них сейчас происходит что-то вроде обуздания помешанного, а может, прорезавшегося врага, который так ловко притворялся своим...» Додумать не удалось, потому что бочка, всей своей гнилью навалившись на границу его существования, удвоила усилия. Он выдержал, но понял, что следующий удар будет для него последним, и приготовился к смерти. Однако шло время, а нового удара не было. Тогда он несколько расширил свои границы и почувствовал две вещи. Первой был страх, принадлежавший бочке. — такой же холодный и медленный, как все ее проявления. Второй вещью был огонь, полыхавший вокруг и уже подбирившийся к одушевляемой Номером XII части потолка. Пылали стены, огненными слезами рыдал толь на крыше, а внизу горели пластмассовые бутылки с подсолнечным маслом. Некоторые из них лопались, рассол в бочке кипел, и она, несмотря на все свое могущество, погибала. Номер XII расширил себя по той части крыши, которая еще существовала, и вызвал в своей памяти день, когда его покрасили, а главное — ту ночь: он хотел умереть с этой мыслью. Сбоку уже горел Номер 13, и это было последним, что он заметил. Но смерть не шла, а когда его последнюю щепку охватил огонь, случилось неожиданное.

Директор семнадцатого овощного, та самая женщина, шла домой в поганом настроении. Вечером, часов в шесть, неожиданно загорелась подсобка, где стояли масло и огурцы. Масло разлилось, и огонь перекинулся на соседние сараи — в общем, выгорело все, что могло гореть. От двенадцатого сарая остались только ключи, а от тринадцатого и четырнадцатого — по несколько обгорелых досок.

Пока составляли акты и объяснялись с пожарными, стемнело, и идти было страшно, так как дорога была пустынной и деревья по бокам стояли, как бандиты. Директор остановилась и поглядела назад — не увязался ли кто следом. Вроде было пусто. Она сделала еще несколько шагов и оглянулась: кажется, вдали что-то мигало. На всякий случай она отошла в сторону, за дерево, и стала напряженно вглядываться в темноту, ожидая, пока ситуация прояснится.

В самой дальней видимой точке дороги появилось светящееся пятнышко. «Мотоцикл!» — подумала директор и крепче вжалась в дерево. Но шума мотора слышно не было. Светлое

пятно приближалось, и стало видно, что оно не движется по дороге, а летит над ней. Еще секунда, и пятно превратилось в совершенно нереальную вещь — велосипед без велосипедиста, летящий на высоте трех или четырех метров. Странной была его конструкция — он выглядел как-то грубо, будто был сколочен из досок, — но самым странным было то, что он светился и мерцал, меняя цвета, становясь то прозрачным, то зажигаясь до нестерпимой яркости. Не помня себя, директор вышла на середину дороги, и велосипед явным образом отреагировал на ее появление. Он снизился, сбавил скорость и описал над головой одуревшей женщины несколько кругов, поднялся вверх, застыл на месте и строго, как флюгер, повернул над Дорогой. Провисев так мгновение или два, он тронулся наконец с места, разогнался до невероятной скорости и превратился в сверкающую точку в небе. Потом она исчезла.

Придя в себя, директор заметила, что сидит на середине дороги. Она встала, отряхнулась и, совсем позабыв... Впрочем, Бог с ней.



ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ

Водонапорная башня вполне может оказаться тем первым, с чего начнется все остальное, потому что предметы появляются тогда, когда становятся известны их названия, и происходящее за окном сразу приобретает смысл — солдаты заканчивают работу, выкладывая белым кирпичом цифру «1928» на толстой верхней части каменного цилиндра, и даже не догадываются, что кто-то следит за тем, что они делают, думая об этом почти без помощи слов, но очень серьезно: любая башня или даже труба сначала строится таким образом, будто должна подняться до самого неба, чем обязательно завершилось бы простое добавление новых кирпичных колец изо дня в день, если бы не решение строителей уйти, приводящее к тому, что какой-то кирпич обязательно становится последним, а я — единственным свидетелем остановки работ, потому что во всем доме напротив только я понимаю, что означают пустые леса, от вида которых возникает такое странное чувство, что взгляд сам собой переходит вправо, туда, где кончается деревянная коробка с землей, утыканной яблочными семечками, и обои чуть отстают от стены, приоткрывая другой слой обоев и желтый край газеты, еще дореволюционной, оставшейся с тех времен, когда бородатые господа в шляпах удивительной формы и с цепочками на жилетах, предчувствуя свой конец, пили шампанское среди раздетых женщин и измученных рабочих, а Ленин со Сталиным стояли у окна и читали первый номер «Правды», предвидя все на свете и, может быть, даже то, как когда-нибудь на свет появлюсь я и бесконечно длинным летним днем буду наклеивать полоски сиреневой папиросной бумаги на узкие фанерные крылья, сидя на теткиной кровати, глядя за окно и почти не обращая внимания на ее путаные рассказы о том, как в село вошли белые, потом красные, потом опять белые, а потом какие-то непонятные «наши», которых почему-то представляешь себе мужиками в малиновых рубашках каждый раз, когда видишь справа от пыльного крыла ее фотографию и пытаешься сообразить, что это на самом деле значит — взять и умереть, как она, и как можем умереть мы все, если не останемся вечно жить в своих делах по способу Антонины Порфирьевны, даже протирающей после этих слов свои очки, отчего возникает короткая пауза в ее многолетнем рассказе о так называемых материках, возвышающихся над серыми пространствами океанов, где даже самый большой в мире линкор покажется крохотным, как спичка, если вдруг поглядеть на него из неба, заполненного летящими в Канаду журавлями, боевой авиацией и черными пятнами, возникающими от долгого наблюдения за солнцем, медленно меняющим свой цвет при приближении к воображаемой точке, где оно, уже красное и огромное, оказывается только в июне, чтобы на несколько минут коснуться шкафа, осветить его верхнюю половину и превратить его во что тебе хочется, начиная от бастиона Великой Стены и кончая скалою где-то в Америке — смотря куда ты переносишь свою жизнь из этих мест, хрюкающих на тебя всеми своими свиньями, когда ты идешь по грязной улице со своей коллекцией спичечных коробков и размазываешь по лицу соплю пополам с кровью, а тебе вслед орут все те, кто уверенно чувствует себя среди этих косых заборов, обещая вломить тебе завтра еще разок так же безнаказанно, как сегодня, потому что жаловаться все равно некому, и для любого взрослого нет разницы между избиваемыми и избиваемыми детьми, раз те и другие в галстуках, с барабанами и горнами, оставив отцов допивать вонючее пиво, уходят в будущее даже тогда, когда просто стоят шеренгой перед пионерлагерными бараками и

спурются от бьющего в глаза света, глядя кто наползущий вверх по шесту флаг, кто на кота, крадущегося по уже горячим жестяным листам на крыше столовой, чтобы спрыгнуть в кусты, где вечером делят собранные за день окурки, курят, спорят о конструкции женских внутренностей и заедают синий дым зубным порошком, вкус которого остается во рту еще долго после отбоя, запоминаясь как приложение к истории о синем ногте в котлете и чекистах, которые приехали слишком поздно только потому, что спустила шина, и пока в темном дворе меняют колесо, они сильно стучат в дверь, а потом уходят в такой спешке, что соседу приходится одеваться в коридоре, как раз напротив твоей замочной скважины, в которую он вполне мог бы напоследок ткнуть карандашом, раз до этого подсыпал битое стекло в сливочное масло и отравлял колодцы, чтобы ты пил из них тифозную воду и полгода лежал в кровати, глядя в окно и угадывая за пушистой завесой падающего снега очертания водонапорной башни, похожей на приставленного к городу часового, стерегущего твой покой и заодно тебя самого, чтобы ты случайно не скрылся в собственном будущем, воспользовавшись теплой весенней ночью, в которую появляется возможность, почти не касаясь земли, углубляться в черные заросли неизвестно откуда взявшегося леса и уже почти узнать то, к чему бежишь со всех ног перед тем, как проснуться и, поглядев на приоткрытую дверь, за которой слышны бодрые утренние голоса и свист примуса, подумать, что каждое утро к ней, как трап, придвигают забитый сундуками и комодами коридор, выход из которого ведет в тот единственный дневной мир, который тебе известен, и чем лучше ты с ним знаком, тем реже дверь твоей комнаты будет раскрываться куда-то еще, в места, названия которых ты не знаешь и не узнаешь никогда, потому что уже давно похож на человека, стоящего на подножке разгоняющегося трамвая и думающего, что чем быстрее тот едет, тем труднее будет спрыгнуть и пойти своей дорогой, пока слова «своя дорога» еще сохраняют некоторый смысл, а точнее — отблеск понятного когда-то смысла, иногда мелькающий в глазах стоящих рядом, но раз они все-таки едут дальше, то, наверно, на что-то надеются, а они думают то же самое, глядя на тебя, пока один разливает по чашкам водку, а другой пытается играть на гитаре, под которую так надежно затвердевает вокруг тот мир, который ты выбрал, не успев ни с чем его сравнить и поняв только, что все в нем случается крайне быстро, а время суровое и величественное, и хоть Утесов поет, что тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет, люди пропадают целыми оркестрами, так и не дошагав туда, куда они шли, и все-таки попав именно туда, в чем нет ничего удивительного, раз страна движется от одного крутого перелома к другому, еще более крутому, и все по линии партии, отточенной и прямой, как угол твоей комнаты, где стоит патефон с десятком пластинок, позволяющих тебе время от времени нелегально обнять утомленное солнце, вырезанное кем-то из последней на всю страну оранжевой картонки, и догадаться, что если уж ты простился с чем-то навсегда, то оно тоже простилось с тобой. и, обернувшись, ты увидишь на столе воблу на мятой «Правде», бутылочку пивка и больше ничего, потому что другого не положено на стол, и именно это, по всей видимости, и придется защищать, если завтра война, потому что никакая твоя защита не нужна ни качающейся за окном сирени, ни узкому лучу света, падающему на расщепляющее его стекло, за которым застыло красно-сине-желтое лицо Горького, большого приятеля нашей державы, так и не успевшего описать в своих книгах, как ты и такие как ты, в спортивных рубашках и белых кепках, с миллионов порогов улыбнутся ей и таким как она, в простых платьях из ситца в цветочках, и все сразу прояснится, потому что все печальное и непонятное имеет свойство проходить, а жизнь содержит именно тот смысл, который ты

придаешь ей сам, с ясной целью впереди сидя за всенародными брошюрами, недосыпая и рискуя навсегда опоздать на работу и сесть в тюрьму, к глупым блатным, еще не понявшим, что в стране, где на деньгах нарисован вглядывающийся в тревожное небо летчик, быть богатым просто невозможно, потому что даже целая армия этих летчиков в кармане не заставят замолчать раскрытый клюв репродуктора, который так страшно слышать даже не из-за смысла долетающих слов, а из-за неожиданной догадки, что с тобой сейчас говорит диктор, фокусник, зарабатывающий себе на жизнь умением заставить тебя на несколько секунд поверить, будто к тебе обращается что-то огромное и могущественное, готовое позаботиться о тебе, когда на самом деле ты и такие как ты нужны этому огромному, чтобы заботиться о нем и защищать, закрывая это неживое и непонятное, даже не догадывающееся о собственном существовании, той единственной попыткой, которой на самом деле является и твоя жизнь, и жизнь за стриженным затылком, в который ты глядишь, стоя в длинной толпе перед призывным пунктом и теряя мелькнувшую на секунду мысль, узнав в человеке впереди бывшего одноклассника, опять оказавшегося твоим товарищем, которого надо хотя бы оттащить в сторону, чтобы он не лежал у перевернутого грузовика, ногами на дороге, а головой в еще довоенном подорожнике, и муравьи не ползли по его лицу, которое вспоминается тебе, когда над головами гудят невидимые самолеты или когда мимо по платформе ведут очень похожего на него окруженца в мирных калошах, полезшего сдуру искать начальство, а потом сдуру побежавшего от конвоя и свалившегося в трех метрах от последнего вагона, уносящего тебя навстречу зиме, лыжам ленинградской фабрики и карнавальному маскхалату, в котором ты встречаешь Новый год, глядя из сугробов на две красные ракеты, блестящие в прозрачном ночном небе, как елочные шары, пока ты думаешь о том, что оставленный на минуту в покое человек может вдруг оказаться так далеко от оставивших его в покое, что те найдут на его месте кого-то другого, уже совершенно не желающего углублять окоп, а пытающегося вместо этого повернуться к стене и заснуть, позабыв, что никакой стены возле его койки нет, а есть два узких прохода, как раз подходящих для того, чтобы заново учиться сгибать и разгибать ноги, а потом стоять, ходить и бегать за притормаживающими грузовиками, катящими навстречу летнему солнцу, погонам на плечах и походящему на веник с врезанной консервной банкой автомату, из которого ты ни разу не выстрелил за два года, потому что видел перед собой большей частью заваленную списками живых и мертвых поверхность то школьной парты, за которой когда-то сидел писавший фиолетовыми чернилами Чугунков Коля: «седьмой класс — дурак», то переделанного бильярда, сукно которого с такой скоростью впитывает вылившийся из опрокинутой гильзы бензин, что успеваешь поверить, что ты не опытный вредитель, как намекает взглядом товарищ Кожеуров, а просто сраный разгильдяй, твою мать, только тогда, когда уже неделю то на голодных детей, по-прежнему считающих его материалом для строительства снеговиков и крепостей, то на военкора, смотрящего на незнакомый город из-под черного эмалированного полукруга с таким видом, будто перед ним не несколько случайных трупов на мокрой обочине, а и впрямь заря победы с пограничными столбами, прочитав которых во фронтовой газете, ты поймешь, что есть люди, старательно оформляющие местность, по которой ты в последний раз бежишь на пулемет, из-за чего им, наверно, приходится говорить между собой на особом языке, совсем как офицерам железнодорожных сил, обсуждающим какие-то кубометры и максимальное число вагонов теплым майским вечером на игрушечной железнодорожной станции, каких у нас просто не бывает, потому что по эту сторону границы все наоборот: что-то железнодорожное есть в

детских игрушках, и люди делают свои дома чуть похожими на тюрьмы, чтобы не было особого смысла отправлять их в настоящую тюрьму, зато уж внутри этих самых домов они всей толпой беззаветно штурмуют верхние нары, и нет ничего удивительного, что женщина, которой ты четыре года отправлял письма, каждый раз стараясь целиком поместиться в бумажном треугольнике, недоумевает, как это ты не привез ей из Германии вагон барахла, а раздобыл там только часы в стальном корпусе и старый фотоаппарат, который ты вешаешь на стену комнаты, где родился и вырос, пробивая гвоздем новые обои с такими же розовыми узорами, какими скоро покроется все вокруг, хотя пока они появляются только на сетчатке левого глаза после третьего стакана водки, от запаха которой она морщится, потому что не понимает, что человек должен уметь забывать прошлое, если хочет и дальше идти по жизни, где надо улыбаться наглой женщине из отдела кадров, надевать медали на экзамен и приносить домой несколько веток сирени, напоминающей не то о довоенных чернилах, не то о вечном салюте всем живым, если они, конечно, еще есть в этом городе, лучше приспособленном для грузовиков, чем для людей, особенно крошечных, которые дико орут всю ночь, лежа в своих кроватках и глядя то на ползущие по потолку квадраты света, то на лицо матери, разрисованное помадой и тушью, купленной у каких-то сволочей перед вокзалом, прямо на площади, где скользят небывалые, как из сна, голубые «Победы», и весело горят огни на домах, подтверждая, что уже никогда не повторится то, что было раньше, или, если сказать то же самое по-другому, все оказалось позади, и от тебя осталось только то, на что ты надеваешь пиджак и брюки, когда идешь на работу, и переодеваешь в китайский лыжный костюм, приходя домой и плюхаясь в кровать рядом с крупнозадым человеком другого пола, настолько частым опытом многих, что даже есть специальное слово «жена» для описания того, что чувствуешь, видя завитые короткие волосы и вдыхая запах духов «Колхозница», пропитавший все до такой степени, что комната, где едят и дышат четверо человек, становится похожей на парикмахерскую в день погребения Сталина, отчаянного человека, оставившего вся государственные и партийные посты ради самой обыкновенной смерти, после которой вдруг выяснилось, что в любую гранитную задницу можно без труда вбить кукурузный початок, а это, кстати, можно было бы понять еще очень давно, если бы было время задуматься, но только его нет даже у детей, похожих со своими ранцами на маленьких космонавтов, высадившихся на этой безобразной планете в самое спокойное за всю ее историю время и уже создавших вокруг себя какой-то непонятный мир, о котором ты никогда ничего не узнаешь, так что умнее было бы повернуться к тем радостям, которые еще может дать жизнь, и пореже смотреть вниз из окна, потому что добровольная смерть — удел слабых, а удел сильных — недобровольная, а сейчас как раз приходит возраст расцвета, когда внизу тебя ждет кремовая машина со взлетающим над капотом оленем, здоровье в полном порядке, и со спины иногда еще долетают слова «молодой человеку потому что на затылке сохранились волосы, а кроме всего этого, ты очень нужен тем, кто дергает тебя за пальцы, называет папой и просит принести что-нибудь смешное с работы, где самое смешное — на бланках с грифом «секретно», а по коридорам ходят такие псы в костюмах, что надо все время самому рычать, чтобы тебя не съели по ошибке, или от чувства полноты жизни, которое надо все время показывать самому, чтобы тебе все время демонстрировали его в ответ, то есть надо улыбаться, отпускать усы, махать в жэке справками и так далее, и тогда, может быть, найдутся два или три идиота, которые придут к тебе в гости и скажут, что ты живешь как король, после чего ты сможешь представить себе, что чувствует король, десятый год бегая трусцой по обсаженной сиренью

аллее и видя людей, которые будут жить после того, как он последует за недавно оставившей этот мир королевой, а чтобы он ни с чем не перепутал это чувство, у него есть дети, уже прикидывающие, как они разменяют квартиру, собранную по частям из освобождающихся комнат, как из кубиков с фрагментами рисунка, в надежде, что сойдется, а когда все сошлось, страшно даже посмотреть на это, потому что догадываешься, какой рисунок вышел, и тебе приходится отсекал уже гниющие части мира, чтобы в узком коридоре смысла глядеть в телевизор и гадать, чувствуют ли они то же самое, и если да, то зачем они тогда так тщательно растягивают вдоль своих лысин последние оставшиеся пряди и обнажают в улыбках пластмассовые зубы, которые им, как и тебе, придется положить на ночь в специальный раствор, пахнувший сиренью, и долго стоять над плексигласовым стаканом, силясь вспомнить, о чем же напоминает этот запах, но вместо этого вдруг наткнуться на мысль, что догадываешься сейчас о существовании жизни так же, как когда-то догадывался о существовании смерти, от чего становится до того страшно, что делаешь одновременно три вещи: закуриваешь сигарету, включаешь телевизор и открываешь недавно купленную книгу, где сказано, что прошел о Нем слух по всей Сирии, и приводили к Нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и Он исцелял их, и следовало за Ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана, откуда все громче доносится гневный голос арабского народа, обещающий кратковременные дожди и восемнадцать-двадцать градусов тепла — как раз то, что нужно для ритуального посещения дачи, где тебя встречают как неизбежное зло, и из окна которой ты видишь выросший прямо у стены гриб, похожий не то на человечка, не то на крохотную водонапорную башню, что, в сущности, одно и то же. если вспомнить, что человек — это почти что двухметровый столб воды, способный самостоятельно перемещаться по поверхности земного шара, двигаясь к железнодорожной станции сквозь сгущающиеся сумерки и прислушиваясь к долетающей откуда-то музыке, совершенно не подходящей для того, чтобы разместить в ней хоть одно свое чувство. и поэтому чужой и оскорбительной, но все-таки прекрасной, раз вокруг полно тех, кому это удастся без всякого усилия с их стороны в те же дни, когда ты тайком, как другие пьют портвейн, крестишься в подъездах и лифтах, носишь откровенно предсмертное черное пальто и всерьез ищешь чего-то в приобретенной для смеху и интеллигентности книге, когда пытаешься дозвониться бывшим детям, чтобы услышать в трубке свой уверенный бодрый голос и лишней раз понять, что ты не нужен никому и ничему в мире, сужающемся с движением твоего взгляда по обоям навстречу просвету окна перед шторой, за которую ты держишься, надеясь, что на этот раз отпустит, если тебе удастся не поворачивать взгляд дальше вправо, потому что, когда человек начинает принимать треугольное слуховое окно на маленькой зеленой крыше за глаз, который глядел на него с рожденья, уже не имеет никакого значения ни то, как именно он упадет на пол, ни то, что последним увиденным им на свете предметом окажется водонапорная башня.

ЗАТВОРНИК И ШЕСТИПАЛЫЙ

— Отвали.

— ?..

— Я же сказал, отвали. Не мешай смотреть.

— А на что это ты смотришь?

— Вот идиот, Господи... Ну, на солнце.

Шестипалый поднял взгляд от черной поверхности почвы, усыпанной едой, опилками и измельченным торфом, и, щурясь, уставился вверх.

— Да... Живем, живем — а зачем? Тайна веков. И разве постиг кто-нибудь тонкую нитевидную сущность светил?

Незнакомец повернул голову и посмотрел на него с безразличным любопытством.

— Шестипалый, — немедленно представился Шестипалый.

— Я Затворник. — ответил незнакомец. — Это у вас так в социуме говорят? Про тонкую нитевидную сущность?

— Уже не у нас, — ответил Шестипалый и вдруг присвистнул. — Вот это да!

— Чего? — подозрительно спросил Затворник.

— Вон, гляди! Новое появилось!

— Ну и что?

— В центре мира так никогда не бывает. Чтобы сразу три светила.

Затворник снисходительно хмыкнул.

— А я в свое время сразу одиннадцать видел. Одно в зените и по пять на каждом эпицикле. Правда, это не здесь было.

— А где? — спросил Шестипалый.

Затворник промолчал. Отвернувшись, он отошел в сторону, ногой отколупнул от земли кусок еды и стал есть. Дул слабый теплый ветер, два солнца отражались в серо-зеленых плоскостях далекого горизонта, и в этой картине было столько покоя и печали, что задумавшийся Затворник, снова заметив перед собой Шестипалого, даже вздрогнул.

— Снова ты. Ну, чего тебе надо?

— Так. Поговорить хочется.

— Да ведь ты неумен, я полагаю, — ответил Затворник. — Шел бы лучше в социум. А то вон куда забрел. Правда, ступай...

Он махнул рукой в направлении узкой грязно-желтой полосы, которая чуть извивалась и подрагивала, — даже не верилось, что так отсюда выглядит огромная галдящая толпа.

— Я бы пошел, — сказал Шестипалый, — только они меня прогнали.

— Да? Это почему? Политика?

Шестипалый кивнул и почесал одной ногой другую. Затворник взглянул на его ноги и покачал головой.

— Настоящие?

— А то какие же. Они мне так и сказали — у нас сейчас самый, можно сказать, решительный этап приближается, а у тебя на ногах по шесть пальцев... Нашел, говорят, время...

— Какой еще «решительный этап»?

— Не знаю. Лица у всех перекошенные, особенно у Двадцати Ближайших, а больше

ничего не поймешь. Бегают, орут.

— А, — сказал Затворник. — понятно. Он, наверно, с каждым часом все отчетливей и отчетливей? А контуры все зримей?

— Точно, — удивился Шестипалый. — А откуда ты знаешь?

— Да я их уже шгук пять видел, этих решительных этапов. Только называются по-разному.

— Да ну, — сказал Шестипалый. — Он же впервые происходит.

— Еще бы. Даже интересно было бы посмотреть, как он будет во второй раз происходить. Но мы немного о разном.

Затворник тихо засмеялся, сделал несколько шагов по направлению к далекому социуму, повернулся к нему задом и стал с силой шаркать ногами, так, что за его спиной вскоре повисло целое облако, состоящее из остатков еды, опилок и пыли. При этом он оглядывался, махал руками и что-то бормотал.

— Чего это ты? — с некоторым испугом спросил Шестипалый, когда Затворник, тяжело дыша, вернулся.

— Это жест, — ответил Затворник. — Такая форма искусства. Читаешь стихотворение и производишь соответствующее ему действие.

— А какое ты сейчас прочел стихотворение?

— Такое, — сказал Затворник.

Иногда я грущу,
глядя на тех, кого я покинул.
Иногда я смеюсь,
и тогда между нами
вздывается желтый туман.

— Какое ж это стихотворение, — сказал Шестипалый. — Я, слава Богу, все стихи знаю. Ну, то есть не наизусть, конечно, но все двадцать пять слышал. Такого нет, точно.

Затворник поглядел на него с недоумением, а потом, видно, понял.

— А ты хоть одно помнишь? — спросил он. — Прочти-ка.

— Сейчас. Близнецы... Близнецы... Ну, короче, там мы говорим одно, а подразумеваем другое. А потом опять говорим одно, а подразумеваем другое, только как бы наоборот. Получается очень красиво. В конце концов поднимаем глаза на стену, а там...

— Хватит, — сказал Затворник.

Наступило молчание.

— Слушай, а тебя тоже прогнали? — нарушил его Шестипалый.

— Нет. Это я их всех прогнал.

— Так разве бывает?

— По-всякому бывает, — сказал Затворник, поглядел на один из небесных объектов и добавил тоном перехода от болтовни к серьезному разговору: — Скоро темно станет.

— Да брось ты. — сказал Шестипалый, — никто не знает, когда темно станет.

— А я вот знаю. Хочешь спать спокойно — делай как я. — И Затворник принялся сгребать кучи разного валяющегося под ногами хлама, опилок и кусков торфа. Постепенно у него получилась огораживающая небольшое пустое пространство стена, довольно высокая,

примерно в его рост. Затворник отошел от законченного сооружения, с любовью поглядел на него и сказал: — Вот. Я это называю убежищем души.

— Почему? — спросил Шестипалый.

— Так. Красиво звучит. Ты себе-то будешь строить?

Шестипалый начал ковыряться. У него ничего не выходило — стена обваливалась. По правде сказать, он и не особо старался, потому что ничуть не поверил Затворнику насчет наступления тьмы, — и, когда небесные огни дрогнули и стали медленно гаснуть, а со стороны социума донесся похожий на шум ветра в соломе всенародный вздох ужаса, в его сердце возникло одновременно два сильных чувства: обычный страх перед неожиданно надвинувшейся тьмой и незнакомое прежде преклонение перед кем-то, знающим о мире больше, чем он.

— Так и быть. — сказал Затворник, — прыгай внутрь. Я еще построю.

— Я не умею прыгать, — тихо ответил Шестипалый.

— Тогда привет, — сказал Затворник и вдруг, изо всех сил оттолкнувшись от земли, взмыл вверх и исчез за стеной, после чего все сооружение обрушилось на него, покрыв его равномерным слоем опилок и торфа. Образовавшийся холмик некоторое время подрагивал, потом в его стене возникло маленькое отверстие — Шестипалый еще успел увидеть в нем блестящий глаз Затворника — и наступила окончательная тьма.

Разумеется, Шестипалый, сколько себя помнил, знал все необходимое про ночь. «Это естественный процесс», — говорили одни. «Делом надо заниматься», — считали другие, и таких было большинство. Вообще, оттенков мнений было много, но происходило со всеми одно и то же: когда без всяких видимых причин свет гас, после короткой и безнадежной борьбы с судорогами страха все впадали в оцепенение, а придя в себя (когда светила опять загорались), помнили очень мало. То же самое происходило и с Шестипалым, пока он жил в социуме, а сейчас — потому, наверное, что страх перед наступившей тьмой наложился на равный ему по силе страх перед одиночеством и, следовательно, удвоился, — он не впал в обычную спасительную кому. Вот уже стих далекий народный стон, а он все сидел, съежась, возле холмика и тихо плакал. Видно вокруг ничего не было, и, когда в темноте раздался голос Затворника, Шестипалый от испуга нагадил прямо под себя.

— Слушай, кончай долбить, — сказал Затворник, — спать мешаешь.

— Я не долблю, — тихо отозвался Шестипалый. — Это сердце. Ты б со мной поговорил, а?

— О чем? — спросил Затворник.

— О чем хочешь, только подольше.

— Давай о природе страха?

— Ой, не надо! — запищал Шестипалый.

— Тихо ты! — зашипел Затворник. — Сейчас сюда все крысы сбегутся.

— Какие крысы? Что это? — холодея, спросил Шестипалый.

— Это существа ночи. Хотя на самом деле и дня тоже.

— Не повезло мне в жизни, — прошептал Шестипалый. — Было б у меня пальцев сколько положено, спал бы сейчас со всеми. Господи, страх-то какой... Крысы...

— Слушай. — заговорил Затворник, — вот ты все повторяешь — Господи, Господи... у вас там что, в Бога верят?

— Черт его знает. Что-то такое есть, это точно. А что — никому не известно. Вот, например, почему темно становится? Хотя, конечно, можно и естественными причинами

объяснить. А если про Бога думать, то ничего в жизни и не сделаешь...

— А что, интересно, можно сделать в жизни? — спросил Затворник.

— Как что? Чего глупые вопросы задавать — будто сам не знаешь. Каждый, как может, лезет к кормушке. Закон жизни.

— Понятно. А зачем тогда все это?

— Что «это»?

— Ну, вселенная, небо, земля, светила — вообще, все.

— Как зачем? Так уж мир устроен.

— А как он устроен? — с интересом спросил Затворник.

— Так и устроен. Движемся в пространстве и во времени. Согласно законам жизни.

— А куда?

— Откуда я знаю. Тайна веков. От тебя, знаешь, свихнуться можно.

— Это от тебя свихнуться можно. О чем ни заговори, у тебя все или закон жизни, или тайна веков.

— Не нравится, так не говори, — обиженно сказал Шестипалый.

— Да я и не говорил бы. Это ж тебе в темноте молчать страшно.

Шестипалый как-то совершенно забыл об этом. Прислушавшись к своим ощущениям, он вдруг заметил, что не испытывает никакого страха. Это его до такой степени напугало, что он вскочил на ноги и кинулся куда-то вслепую. пока со всего разгона не треснулся головой о невидимую в темноте Стену Мира.

Издали послышался скрипучий хохот Затворника, и Шестипалый, осторожно переставляя ноги, побрел навстречу этим единственным во всеобщей тьме и безмолвии звукам. Добравшись до холмика, под которым сидел Затворник, он молча улегся рядом и, стараясь не обращать внимания на холод, попытался уснуть. Момента, когда это получилось, он даже не заметил.

— Сегодня мы с тобой полезем за Стену Мира, понял? — сказал Затворник.

Шестипалый как раз подбегал к убежищу души. Сама постройка выходила у него уже почти так же, как у Затворника, а вот прыжок удавался только после длинного разбега, и сейчас он тренировался. Смысл сказанного дошел до него именно тогда, когда надо было прыгать, и в результате он врезался в хлипкое сооружение так, что торф и опилки, вместо того чтобы покрыть все его тело ровным мягким слоем, превратились в наваленную над головой кучу, а ноги потеряли опору и бессильно повисли в пустоте. Затворник помог ему выбраться и повторил:

— Сегодня мы отправимся за Стену Мира.

За последние дни Шестипалый наслушался от него такого, что в душе у него все время что-то поскрипывало и ухало, а былая жизнь в социуме казалась забавной фантазией (а может, пошлым кошмаром — точно он еще не решил), но это уж было слишком.

Затворник между тем продолжал:

— Решительный этап наступает после каждых семидесяти затмений. А вчера было шестьдесят девятое. Миром правят числа.

И он указал на длинную цепь соломинок, торчащих из почвы возле самой Стены Мира.

— Да как же можно лезть за Стену Мира, если это — Стена Мира? Ведь в самом названии... За ней ведь нет ничего...

Шестипалый был до того ошарашен, что даже не обратил внимания на темные мистические объяснения Затворника, от которых у него иначе обязательно испортилось бы настроение.

— Ну и что, — ответил Затворник. — что нет ничего. Нас это должно только радовать.

— А что мы там будем делать?

— Жить.

— А чем нам тут плохо?

— А тем, дурак, что этого «тут» скоро не будет.

— А что будет?

— Вот останься, узнаешь тогда. Ничего не будет.

Шестипалый почувствовал, что полностью потерял уверенность в происходящем.

— Почему ты меня все время пугаешь?

— Да не ной ты. — пробормотал Затворник, озабоченно вглядываясь в какую-то точку на небе. — За Стеной Мира совсем не плохо. По мне, так гораздо лучше, чем здесь.

Он подошел к остаткам выстроенного Шестипалым убежища души и стал ногами раскидывать их по сторонам.

— Зачем это ты? — спросил Шестипалый.

— Перед тем как покинуть какой-либо мир, надо обобщить опыт своего пребывания в нем, а затем уничтожить все свои следы. Это традиция.

— А кто ее придумал?

— Какая разница. Ну, я. Больше тут, видишь ли, некому. Вот так...

Затворник оглядел результат своего труда — на месте развалившейся постройки теперь было идеально ровное место, ничем не отличающееся от поверхности остальной пустыни.

— Все, — сказал он, — следы я уничтожил. Теперь надо опыт обобщить. Сейчас твоя

очередь. Залазь на эту кочку и рассказывай.

Шестипалый почувствовал, что его перехитрили, оставив ему самую тяжелую и, главное, непонятную часть работы. Но после случая с затмением он решил слушаться Затворника. Пожав плечами и оглядевшись — не забрел ли сюда кто из социума, — он залез на кочку.

— Что рассказывать?

— Все, что знаешь о мире.

— Долго ж мы здесь проторчим, — свистнул Шестипалый.

— Не думаю, — сухо отозвался Затворник.

— Значит, так. Наш мир... Ну и идиотский у тебя ритуал...

— Не отвлекайся.

— Наш мир представляет собой правильный восьмиугольник, равномерно и прямолинейно движущийся в пространстве. Здесь мы готовимся к решительному этапу, венцу нашей жизни. Это официальная формулировка, во всяком случае. По периметру мира проходит так называемая Стена Мира, объективно возникшая в результате действия законов жизни. В центре мира находится двухъярусная кормушка-поилка, вокруг которой издавна существует наша цивилизация. Положение члена социума относительно кормушки-поилки определяется его общественной значимостью и заслугами...

— Вот этого я раньше не слышал, — перебил Затворник. — Что это такое — заслуги? И общественная значимость?

— Ну... Как сказать... Это когда кто-то попадает к самой кормушке-поилке.

— А кто к ней попадает?

— Я же говорю, тот, у кого большие заслуги. Или общественная значимость. У меня, например, раньше были так себе заслуги, а теперь вообще никаких. Да ты что, народную модель вселенной не знаешь?

— Не знаю, — сказал Затворник.

— Да ты что?.. А как же ты к решительному этапу готовился?

— Потом расскажу. Давай дальше.

— А уже почти все. Чего там еще-то... За областью социума находится великая пустыня, а кончается все Стеной Мира. Возле нее ютятся отщепенцы вроде нас.

— Понятно. Отщепенцы. А бревно откуда взялось? В смысле то, от чего они отщепились?

— Ну ты даешь... Это тебе даже Двадцать Ближайших не скажут. Тайна веков.

— Н-ну, хорошо. А что такое тайна веков?

— Закон жизни, — ответил Шестипалый, стараясь говорить мягко. Ему что-то не нравилось в интонациях Затворника.

— Ладно. А что такое закон жизни?

— Это тайна веков.

— Тайна веков? — переспросил Затворник странно тонким голосом и медленно стал подходить к Шестипалому по дуге.

— Ты чего? Кончай! — испугался Шестипалый. — Это же твой ритуал!

Но Затворник и сам уже взял себя в руки.

— Ладно, — сказал он. — Слезай.

Шестипалый слез с кочки, и Затворник с сосредоточенным и серьезным видом залез на его место. Некоторое время он молчал, словно прислушиваясь к чему-то, а потом поднял

голову и заговорил.

— Я пришел сюда из другого мира, — сказал он, — в дни, когда ты был еще совсем мал. А в тот другой мир я пришел из третьего, и так далее. Всего я был в пяти мирах. Они такие же, как этот, и практически ничем не отличаются друг от друга. А вселенная, где мы находимся, представляет собой огромное замкнутое пространство. На языке богов она называется <Бройлерный комбинат имени Луначарского>, но что это означает, неизвестно даже им самим.

— Ты знаешь язык богов? — изумленно спросил Шестипалый.

— Немного. Не перебивай. Всего во вселенной есть семьдесят миров. В одном из них мы сейчас находимся. Эти миры прикреплены к безмерной черной ленте, которая медленно движется по кругу. А над ней, на поверхности неба, находятся сотни одинаковых светил. Так что это не они плывут над нами, а мы проплываем под ними. Попробуй представить себе это.

Шестипалый закрыл глаза. На его лице изобразилось напряжение.

— Нет, не могу. — наконец сказал он.

— Ладно, — сказал Затворник, — слушай дальше. Все семьдесят миров, которые есть во вселенной, называются Целью Миров. Во всяком случае, их вполне можно так назвать. В каждом из миров есть жизнь, но она не существует там постоянно, а циклически возникает и исчезает. Решительный этап происходит в центре вселенной, через который по очереди проходят все миры. На языке богов он называется Цехом номер один. Наш мир как раз находится в его преддверии. Когда завершается решительный этап и обновленный мир выходит с другой стороны Цеха номер один, все начинается сначала. Возникает жизнь, проходит цикл и через положенный срок опять ввергается в Цех номер один.

— Откуда ты все это знаешь? — тихим голосом спросил Шестипалый.

— Я много путешествовал, — сказал Затворник, — и по крупицам собирал тайные знания. В одном мире было известно одно, в другом — другое.

— Может быть, ты знаешь, откуда мы беремся?

— Знаю. А что про это говорят в вашем мире?

— Что это объективная данность. Закон жизни такой.

— Понятно. Ты спрашиваешь про одну из глубочайших тайн мироздания, и я даже не знаю, можно ли тебе ее доверить. Но поскольку, кроме тебя, все равно некому, я, пожалуй, скажу. Мы появляемся на свет из белых шаров. На самом деле они не совсем шары, а несколько вытянуты, и один конец у них уже другого, но сейчас это не важно.

— Шары. Белые шары, — повторил Шестипалый и, как стоял, повалился на землю. Груз узанного навалился на него физической тяжестью, и на секунду ему показалось, что он умрет. Затворник подскочил к нему и изо всех сил начал трясти. Постепенно к Шестипалому вернулась ясность сознания.

— Что с тобой? — испуганно спросил Затворник.

— Ой, я вспомнил. Точно. Раньше мы были белыми шарами и лежали на длинных полках. В этом месте было очень тепло и влажно. А потом мы стали изнутри ломать эти шары и... Откуда-то снизу подкатил наш мир, а потом мы уже были в нем... Но почему этого никто не помнит?

— Есть миры, в которых это помнят, — сказал Затворник. — Подумаешь, пятая и шестая перинатальные матрицы. Не так уж глубоко, и к тому же только часть истины. Но все равно — тех, кто это помнит, прячут подальше, чтобы они не мешали готовиться к

решительному этапу, или как он там называется. Везде по-разному. У нас, например, назывался завершением строительства, хотя никто ничего не строил.

Видимо, воспоминание о своем мире повергло Затворника в печаль. Он замолчал.

— Слушай, — спросил через некоторое время Шестипалый, — откуда берутся эти белые шары?

Затворник одобрительно поглядел на него.

— Мне понадобилось куда больше времени, чтобы в моей душе созрел этот вопрос, — сказал он. — Но здесь все намного сложнее. В одной древней легенде говорится, что эти яйца появляются из нас, но это вполне может быть и метафорой...

— Из нас? Непонятно. Где ты это слышал?

— Да сам сочинил. Тут разве услышишь что-нибудь. — сказал Затворник с неожиданной тоской в голосе.

— Ты же сказал, что это древняя легенда.

— Правильно. Просто я ее сочинил как древнюю легенду.

— Как это? Зачем?

— Понимаешь, один древний мудрец, можно сказать — пророк (на этот раз Шестипалый догадался, о ком идет речь) сказал, что не так важно то, что сказано, как то, кем сказано. Часть смысла того, что я хотел выразить, заключена в том, что мои слова выступают в качестве древней легенды. Впрочем, где тебе понять...

Затворник глянул на небо и перебил себя:

— Все. Пора идти.

— Куда?

— В социум.

Шестипалый вытаращил глаза.

— Мы же собирались лезть через Стену Мира. Зачем нам социум?

— А ты хоть знаешь, что такое социум? — спросил Затворник. — Это и есть приспособление для перелезания через Стену Мира.

Шестипалый, несмотря на полное отсутствие в пустыне предметов, за которыми можно было бы спрятаться, шел почему-то крадучись, и чем ближе становился социум, тем более преступной становилась его походка. Постепенно огромная толпа, казавшаяся издали огромным шевелящимся существом, распадалась на отдельные тела, и даже можно было разглядеть удивленные гримасы тех, кто замечал приближающихся.

— Главное, — шепотом повторял Затворник последнюю инструкцию, — веди себя наглее. Но не слишком нагло. Мы непременно должны их разозлить — но не до такой степени, чтобы нас разорвали в клочья. Короче, все время смотри, что буду делать я.

— Шестипалый приперся! — весело закричал кто-то впереди. — Здорово, сволочь! Эй, Шестипалый, кто это с тобой?

Этот бестолковый выкрик неожиданно — и совершенно непонятно почему — вызвал в Шестипалом целую волну ностальгических воспоминаний о детстве. Затворник, шедший чуть сзади, словно почувствовал это и пихнул Шестипалого в спину.

У самой границы социума народ стоял редко — тут жили в основном калеки и созерцатели, не любившие тесноты, — их нетрудно было обходить. Но чем дальше, тем плотнее стояла толпа, и уже очень скоро Затворник с Шестипалым оказались в невыносимой тесноте. Двигаться вперед было еще можно, но только переругиваясь со стоящими по бокам. А когда над головами тех, кто был впереди, показалась мелко трясущаяся крыша кормушки-поилки, уже ни шагу вперед сделать было нельзя.

— Всегда поражался, — тихо сказал Шестипалому Затворник, — как здесь все мудро устроено. Те, кто стоит близко к кормушке-поилке, счастливы в основном потому, что все время помнят о желающих попасть на их место. А те, кто всю жизнь ждет, когда между стоящими впереди появится щелочка, счастливы потому, что им есть на что надеяться в жизни. Это ведь и есть гармония и единство.

— Что ж, не нравится? — спросил сбоку чей-то голос.

— Не, не нравится, — ответил Затворник.

— А что конкретно не нравится?

— Да все.

И Затворник широким жестом обвел толпу вокруг, величественный купол кормушки-поилки, мерцающие желтыми огнями небеса и далекую, еле видную отсюда Стену Мира.

— Понятно. И где, по-вашему, лучше?

— В том-то и трагедия, что нигде! В том-то и дело! — страдальчески выкрикнул Затворник. — Было бы где лучше, неужели я б с вами тут о жизни беседовал?

— И товарищ ваш таких же взглядов? — спросил голос. — Чего он в землю-то смотрит?

Шестипалый поднял глаза — до этого он глядел себе под ноги, потому что это позволяло минимально участвовать в происходящем, — и увидел обладателя голоса. У того было обрюзгшее раскормленное лицо, и, когда он говорил, становились отчетливо видны анатомические подробности его гортани. Шестипалый сразу понял, что перед ним — один из Двадцати Ближайших, самая что ни на есть совесть эпохи. Видно, перед их приходом он проводил здесь разъяснения, как это иногда практиковалось.

— Это вы оттого такие невеселые, ребята, — неожиданно дружелюбно сказал тот, — что не готовитесь вместе со всеми к решительному этапу. Тогда у вас на эти мысли времени

бы не было. Мне самому такое иногда в голову приходит, что... И. знаете, работа спасает.

И на той же интонации добавил:

— Взять их.

По толпе прошло движение, и Затворник с Шестипалым оказались немедленно стиснутыми со всех четырех сторон.

— Да плевали мы на вас, — также дружелюбно сказал Затворник. — Куда вы нас возьмете? Некуда вам нас взять. Ну, прогоните еще раз. Через Стену Мира, как говорится, не перебросишь...

Тут на лице Затворника изобразилось смятение, а толстолицый высоко поднял веки — их глаза встретились.

— А ведь интересная идея. Такого у нас еще не было. Конечно, такая поговорка есть, но воля народа сильнее.

Видимо, эта мысль восхитила его. Он повернулся и скомандовал:

— Внимание! Строимся! Сейчас у нас будет нечто незапланированное.

Прошло не так уж много времени между моментом, когда толстолицый скомандовал построение, и моментом, когда процессия, в центре которой вели Затворника и Шестипалого, приблизилась к Стене Мира.

Процессия была впечатляющей. Первым в ней шел толстолицый, за ним — двое назначенных старушками-матерями (никто, включая толстолицего, не знал, что это такое, — просто была такая традиция), которые сквозь слезы выкрикивали обидные слова Затворнику и Шестипалому, оплакивая и проклиная их одновременно, затем вели самих преступников, и замыкала шествие толпа народной массы.

— Итак, — сказал толстолицый, когда процессия остановилась, — пришел пугающий миг воздаяния. Я думаю, ребята, что все мы зажмуримся, когда два эти отщепенца исчезнут в небытии, не так ли? И пусть это волнующее событие послужит страшным уроком всем нам, народу. Громче рыдайте, матери!

Старушки-матери повалились на землю и залились таким горестным плачем, что многие из присутствующих тоже начали отворачиваться и сглатывать; но, извиваясь в забрызганной слезами пыли, матери иногда вдруг вскакивали и, сверкая глазами, бросали Затворнику и Шестипалому неопровержимые ужасные обвинения, после чего обессиленно падали назад.

— Итак, — сказал через некоторое время толстолицый, — раскаялись ли вы? Уследили ли вас слезы матерей?

— Еще бы, — ответил Затворник, озабоченно наблюдавший то за церемонией, то за какими-то небесными телами, — а как вы нас перебрасывать хотите?

Толстолицый задумался. Старушки-матери тоже замолчали, потом одна из них поднялась из пыли, отряхнулась и сказала:

— Насыпь?

— Насыпь, — сказал Затворник, — это затмений пять займет. А нам уже давно не терпится спрятать наш разоблаченный позор в пустоте.

Толстолицый, прищурившись, глянул на Затворника и одобрительно кивнул.

— Понимают, — сказал он кому-то из своих. — только притворяются. Спроси, может, они сами что предложат?

Через несколько минут почти до самого края Ст» Мира поднялась живая пирамида. Те, кто стоял наверху, жмурились и прятали лица, чтобы, не дай Бог, не заглянуть туда, где все

кончается.

— Наверх, — скомандовал кто-то Затворнику и Шестипалому, и они, поддерживая друг друга, пошли по шаткой веренице плеч и спин к терявшемуся в высоте краю стены.

С высоты был виден весь притихший социум, внимательно следивший издали за происходящим, были видны некоторые незаметные до этого детали неба и толстый шланг, спускавшийся к кормушке-поилке из бесконечности, — отсюда он казался не таким величественным, как с земли. Легко, будто на кочку, вспрыгнув на край Стены Мира, Затворник помог Шестипалому сесть рядом и закричал вниз:

— Порядок!

От его крика кто-то в живой пирамиде потерял равновесие, она несколько раз покачнулась и развалилась — все попадали вниз, под основание стены, но никто, слава Богу, не пострадал.

Вцепившись в холодную жесть борта. Шестипалый вглядывался в крохотные задранные лица, в унылые серо-коричневые пространства своей родины; глядел на тот ее угол, где на Стене Мира было большое зеленое пятно и где прошло его детство. «Я больше никогда этого не увижу», — подумал он, и, хоть особого желанья увидеть все это когда-нибудь еще у него не было, горло все равно сводило. Он прижимал к боку маленький кусочек земли с прилипшей соломинкой и размышлял о том, как быстро и необратимо меняется все в его жизни.

— Прощайте, сыновья! — закричали снизу старушки-матери, земно поклонились и принялись, рыдая, швырять вверх тяжелые куски торфа.

Затворник приподнялся на цыпочки и громко закричал:

Знал я всегда,
что покину
этот безжалостный мир...

Тут в него угодил большой кусок торфа, и он, растопыря руки и ноги, полетел вниз. Шестипалый последний раз оглядел все оставшееся внизу и заметил, что кто-то из далекой толпы прощально машет ему, — тогда он помахал в ответ. Потом он зажмурился и шагнул назад.

Несколько секунд он беспорядочно крутился в пустоте, а потом вдруг больно ударился обо что-то твердое и открыл глаза. Он лежал на черной блестящей поверхности из незнакомого материала; вверх уходила Стена Мира — точно такая же, как если смотреть на нее с той стороны, а рядом с ним, вытянув руку к стене, стоял Затворник. Он договаривал свое стихотворение:

Но что так это будет,
не думал...

Потом он повернулся к Шестипалому и коротким жестом велел ему встать на ноги.

Теперь, когда они шли по гигантской черной ленте, Шестипалый видел, что Затворник сказал ему правду. Действительно, мир, который они покинули, медленно двигался вместе с этой лентой относительно других неподвижных космических объектов, природы которых Шестипалый не понимал, а светила были неподвижными — стоило сойти с черной ленты, и все делалось ясно. Сейчас оставленный ими мир медленно подъезжал к зеленым стальным воротам, под которые уходила лента. Затворник сказал, что это и есть вход в Цех номер один. Странно, но Шестипалый совершенно не был поражен величию заполняющих вселенную объектов — наоборот, в нем, скорее, проснулось чувство легкого раздражения. «И это все?» — брезгливо думал он. Вдали были видны два мира, подобных тому, который они оставили, — они тоже двигались вместе с черной лентой и выглядели отсюда довольно убого. Сначала Шестипалый думал, что они с Затворником направляются к другому миру, но на полпути Затворник вдруг велел ему прыгать с неподвижного бордюра вдоль ленты, по которому они шли, вниз, в темную бездонную щель.

— Там мягко, — сказал он Шестипалому, но тот шагнул назад и отрицательно покачал головой. Тогда Затворник молча прыгнул вниз, и Шестипалому ничего не оставалось, как последовать за ним.

На этот раз он чуть не расшибся о холодную каменную поверхность, выложенную большими коричневыми плитами. Эти плиты тянулись до горизонта, и Шестипалый первый раз в жизни понял, что означает слово «бесконечность».

— Что это? — спросил Шестипалый.

— Кафель, — ответил Затворник непонятным словом и сменил тему: — Скоро начнется ночь, а нам надо дойти вон до тех мест. Часть дороги придется пройти в темноте.

Затворник выглядел всерьез озабоченным. Шестипалый поглядел вдаль и увидел далекие кубические скалы нежно-желтого цвета (Затворник сказал, что они называются «ящички») — их было очень много, и между ними виднелись пустые пространства, усыпанные горами светлой стружки. Издали все это походило на пейзаж из забытого детского сна.

— Пошли, — сказал Затворник и быстрым шагом двинулся вперед.

— Слушай, — спросил Шестипалый, скользя по кафелю рядом, — а как ты узнаешь, когда наступит ночь?

— По часам, — ответил Затворник. — Это одно из небесных тел. Сейчас оно справа и наверху — вот тот диск с черными зигзагами.

Шестипалый посмотрел на довольно знакомую, хоть и не привлекавшую никогда его особого внимания деталь небесного свода.

— Когда часть этих черных линий приходит в особое положение, о котором я расскажу тебе как-нибудь потом, свет гаснет, — сказал Затворник. — Это случится вот-вот. Считай до десяти.

— Раз, два, — начал Шестипалый, и вдруг стало темно.

— Не отставай от меня, — сказал Затворник, — потеряешься.

Он мог бы этого не говорить — Шестипалый чуть не наступал ему на пятки. Единственным источником света во вселенной остался косой желтый луч, падавший из-под зеленых ворот Цеха номер один. Место, куда направлялись Затворник с Шестипалым,

находилось совсем недалеко от этих ворот, но, по уверениям Затворника, было самым безопасным.

Видна осталась только далекая желтая полоса под воротами да несколько плит вокруг. Шестипалый впал в странное состояние. Ему стало казаться, что темнота сжимает их с Затворником так же, как недавно сжимала толпа. Отовсюду исходила опасность, и Шестипалый ощущал ее всей кожей как дующий со всех сторон одновременно сквозняк. Когда становилось совсем невмоготу от страха, он поднимал взгляд с наплывающих кафельных плит на яркую полосу света впереди, и тогда вспоминался социум, который издавека выглядел почти так же. Ему представлялось, что они идут в царство каких-то огненных духов, и он уже собирался сказать об этом Затворнику, когда тот вдруг остановился и поднял руку.

— Тихо, — сказал он, — крысы. Справа от нас.

Бежать было некуда — вокруг во все стороны простиралось одинаковое кафельное пространство, а полоса впереди была еще слишком далеко. Затворник повернулся вправо и принял странную позу, велел Шестипалому спрятаться за его спиной, что тот и выполнил с удивительной скоростью и охотой.

Сначала он ничего не замечал, а потом ощутил скорее, чем увидел, движение большого быстрого тела в темноте. Оно остановилось точно на границе видимости.

— Она ждет, — тихо сказал Затворник, — как мы поступим дальше. Стоит нам сделать хоть шаг, и она кинется на нас.

— Ага, кинусь, — сказала крыса, выходя из темноты. — Как комок зла и ярости. Как истинное порождение ночи.

— Ух, — вздохнул Затворник. — Одноглазка. А я уж думал, что мы правда влипли. Знакомьтесь.

Шестипалый недоверчиво поглядел на умную коническую морду с длинными усами и двумя черными бусинками глаз.

— Одноглазка, — сказала крыса и вильнула неприлично голым хвостом.

— Шестипалый, — представился Шестипалый и спросил: — А почему ты Одноглазка, если у тебя оба глаза в порядке?

— А у меня третий глаз раскрыт, — сказала Одноглазка, — а он один. В каком-то смысле все, у кого третий глаз раскрыт, одноглазые.

— А что такое... — начал Шестипалый, но Затворник не дал ему договорить.

— Не пройтись ли нам, — галантно предложил он Одноглазке, — вон до тех ящиков? Ночная дорога скучна, если рядом нет собеседника.

Шестипалый очень обиделся.

— Пойдем, — согласилась Одноглазка и, повернувшись к Шестипалому боком (только теперь он разглядел ее огромное мускулистое тело), затрусила рядом с Затворником, которому, чтобы поспеть, приходилось идти очень быстро. Шестипалый бежал сзади, поглядывая на лапы Одноглазки и перекатывающиеся под ее шкурой мышцы, думал о том, чем могла бы закончиться эта встреча, не окажись Одноглазка знакомой Затворника, и изо всех сил старался не наступить ей на хвост. Судя по тому, как быстро их беседа стала походить на продолжение какого-то давнего разговора, они были старыми приятелями.

— Свобода? Господи, да что это такое? — спрашивала Одноглазка и смеялась. — Это когда ты в смятении и одиночестве бегаешь по всему комбинату, в десятый или в какой там уже раз увернувшись от ножа? Это и есть свобода?

— Ты опять все подменяешь, — отвечал Затворник. — Это только поиски свободы. Я никогда не соглашусь с той inferнальной картиной мира, в которую ты веришь. Наверное, это у тебя оттого, что ты чувствуешь себя чужой в этой вселенной, созданной для нас.

— А крысы верят, что она создана для нас. Я это не к тому, что я согласна с ними. Прав, конечно, ты, но только не до конца и не в самом главном. Ты говоришь, что эта вселенная создана для вас? Нет, она создана из-за вас, но не для вас. Понимаешь?

Затворник опустил голову и некоторое время шел молча.

— Ладно, — сказала Одноглазка. — Я ведь попроситься. Правда, думала, что ты появишься чуть позже, — но все-таки встретились. Завтра я уйду.

— Куда?

— За границы всего, о чем только можно говорить. Одна из старых нор вывела меня в пустую бетонную трубу, которая уходит так далеко, что об этом даже трудно подумать. Я встретила там несколько крыс — они говорят, что эта труба уходит все глубже и глубже и там, далеко внизу, выводит в другую вселенную, где живут только самцы богов в одинаковой зеленой одежде. Они совершают сложные манипуляции вокруг огромных идолов, стоящих в гигантских шахтах.

Одноглазка притормозила.

— Отсюда мне направо, — сказала она. — Так вот, еда там такая — не расскажешь. А эта вселенная могла бы поместиться в одной тамошней шахте. Слушай, а хочешь со мной?

— Нет, — ответил Затворник, — вниз — это не наш путь.

Кажется, в первый раз за все время разговора он вспомнил о Шестипалом.

— Ну что ж, — сказала Одноглазка, — тогда я хочу пожелать тебе успеха на твоём пути, каким бы он ни был. Прощай.

Одноглазка кивнула Шестипалому и исчезла в темноте так же мгновенно, как раньше появилась.

Остаток пути Затворник и Шестипалый прошли молча. Добравшись до ящиков, они пересекли несколько гор стружки и наконец достигли цели. Это была слабо озаренная светом из-под ворот Цеха номер один ямка в стружках, в которой лежала куча мягких и длинных тряпок. Рядом, у стены, возвышалась огромная ребристая конструкция, про которую Затворник сказал, что когда-то она излучала так много тепла, что к ней трудно было даже приблизиться. Затворник был в заметно плохом настроении. Он копошился в тряпках, устраиваясь на ночь, и Шестипалый решил не приставать к нему с разговорами, тем более что сам хотел спать. Кое-как завернувшись в тряпки, он забылся.

Разбудило его далекое скрежетание, стук стали по дереву и крики, полные такой невыразимой безнадежности, что он сразу кинулся к Затворнику.

— Что это?

— Твой мир проходит через решительный этап, — ответил Затворник.

— ???

— Смерть пришла, — просто сказал Затворник, отвернувшись. Натянул на себя тряпку и уснул.

Проснувшись, Затворник поглядел на трясущегося в углу заплаканного Шестипалого, хмыкнул и стал рыться в тряпках. Скоро он достал оттуда штук десять одинаковых железных предметов, похожих на обрезки толстой шестигранной трубы.

— Гляди, — сказал он Шестипалому.

— Что это? — спросил тот.

— Боги называют их гайками.

Шестипалый собирался было спросить что-то еще, но вдруг махнул рукой и опять заревел.

— Да что с тобой? — спросил Затворник.

— Все умерли, — бормотал Шестипалый, — все-все...

— Ну и что, — сказал Затворник. — Ты тоже умрешь. И уж уверяю тебя, что ты и они будете мертвыми одинаково долго.

— Все равно жалко.

— Кого именно? Старушку-мать, что ли?

— Помнишь, как нас сбрасывали со стены? — спросил Шестипалый. — Всем было велено зажмуриться. А я помахал им рукой, и тогда кто-то помахал мне в ответ. И вот когда я думаю, что он тоже умер... И что вместе с ним умерло то, что заставляло его так поступить...

— Да, — сказал Затворник, — это действительно очень печально.

И наступила тишина, нарушаемая только механическими звуками из-за зеленых ворот, за которые уплыла родина Шестипалого.

— Слушай, — спросил, наплакавшись. Шестипалый, — а что бывает после смерти?

— Трудно сказать, — ответил Затворник. — У меня было множество видений на этот счет, но я не знаю, насколько на них можно полагаться.

— Расскажи, а?

— После смерти нас, как правило, ввергают в ад. Я насчитал не меньше пятидесяти разновидностей того, что там происходит. Иногда мертвых рассекают на части и жарят на огромных сковородах. Иногда запекают целиком в железных комнатах со стеклянной дверью, где пылает синее пламя или излучают жар добела раскаленные металлические столбы. Иногда нас варят в гигантских разноцветных кастрюлях. А иногда, наоборот, замораживают в кусок льда. В общем, мало утешительного.

— А кто это делает, а?

— Как кто? Боги.

— Зачем им это?

— Видишь ли, мы являемся их пищей.

Шестипалый вздрогнул, а потом внимательно поглядел на свои дрожащие коленки.

— Больше всего они любят именно ноги, — заметил Затворник. — Ну и руки тоже. Именно о руках я с тобой и собираюсь поговорить. Подними их.

Шестипалый вытянул перед собой руки — тонкие, бессильные, они выглядели довольно жалко.

— Когда-то они служили нам для полета, — сказал Затворник, — но потом все изменилось.

— А что такое полет?

— Точно этого не знает никто. Единственное, что известно, — это то, что надо иметь сильные руки. Гораздо сильнее, чем у тебя или даже у меня. Поэтому я хочу научить тебя одному упражнению. Возьми две гайки.

Шестипалый с трудом подтащил два тяжелых предмета к ногам Затворника.

— Вот так. Теперь просунь концы рук в отверстия. Шестипалый сделал и это.

— А теперь поднимай и опускай руки вверх-вниз... Вот так.

Через минуту Шестипалый устал до такой степени, что не мог сделать больше ни одного маха, как ни старался.

— Все, — сказал он, опустил руки, и гайки повалились на пол.

— Теперь посмотри, как делаю я, — сказал Затворник и надел на каждую руку по пять гаек. Несколько минут он продержал руки разведенными в стороны и, казалось, совершенно не устал. — Ну как?

— Здорово, — выдохнул Шестипалый. — А почему ты держишь их неподвижно?

— С какого-то момента в этом упражнении появляется одна трудность. Потом ты поймешь, что я имею в виду, — ответил Затворник.

— А ты уверен, что так можно научиться летать?

— Нет. Не уверен. Наоборот, я подозреваю, что это бесполезное занятие.

— А зачем тогда оно нужно? Если ты сам знаешь, что это бесполезно?

— Как тебе сказать. Потому что, кроме этого, я знаю еще много других вещей, и одна из них вот такая — если ты оказался в темноте и видишь хотя бы самый слабый луч света, ты должен идти к нему, вместо того чтобы рассуждать, имеет смысл это делать или нет. Может, это действительно не имеет смысла. Но просто сидеть в темноте не имеет смысла в любом случае. Понимаешь, в чем разница?

Шестипалый промолчал.

— Мы живы до тех пор, пока у нас есть надежда, — сказал Затворник. — А если ты ее потерял, ни в коем случае не позволяй себе догадаться об этом. И тогда что-то может измениться. Но всерьез надеяться на это ни в коем случае не надо.

Шестипалый почувствовал некоторое раздражение.

— Все это замечательно. — сказал он, — но что это значит реально?

— Реально для тебя это значит, что ты каждый день будешь заниматься с этими гайками, пока не будешь делать так же, как я.

— Неужели нет какого-нибудь другого занятия? — спросил Шестипалый.

— Есть, — ответил Затворник. — Можно готовиться к решительному этапу. Но этим тебе придется заняться одному.

— Слушай, Затворник, ты все знаешь — что такое любовь?

— Интересно, где ты услышал это слово? — спросил Затворник.

— Да когда меня выгоняли из социума, кто-то спросил, люблю ли я что положено. Я сказал, что не знаю.

— Понятно. Я тебе вряд ли объясню. Это можно только на примере. Вот представь себе, что ты упал в воду и тонешь. Представил?

— Угу.

— А теперь представь, что ты на секунду высунул голову, увидел свет, глотнул воздуха и что-то коснулось твоих рук. И ты за это схватился и держишься. Так вот, если считать, что всю жизнь тонешь — а так это и есть, — то любовь — это то, что помогает тебе удерживать голову над водой.

— Это ты про любовь к тому, что положено?

— Не важно. Хотя, в общем, то, что положено, можно любить и под водой. Что угодно. Какая разница, за что хвататься, — лишь бы это выдержало. Хуже всего, если это кто-то другой, — он, видишь ли, всегда может отдернуть руку. А если сказать коротко, любовь — это то, из-за чего каждый находится там, где он находится. Исключая, пожалуй, мертвых... Хотя...

— По-моему, я никогда ничего не любил, — перебил Шестипалый.

— Нет, с тобой это тоже случалось. Помнишь, как ты проревел полдня, думая о том, кто помахал тебе в ответ, когда нас сбрасывали со стены? Вот это и была любовь. Ты ведь не знаешь, почему он это сделал. Может, он считал, что издевается над тобой куда тоньше других. Мне лично кажется, что так оно и было. Так что ты вел себя очень глупо, но совершенно правильно. Любовь придает смысл тому, что мы делаем, хотя на самом деле этого смысла нет.

— Так что, любовь нас обманывает? Это что-то вроде сна?

— Нет. Любовь — это что-то вроде любви, а сон — это сон. Все, что ты делаешь, ты делаешь только из-за любви. Иначе ты просто сидел бы на земле и выл от ужаса. Или отвращения.

— Но ведь многие делают то, что делают, совсем не из-за любви.

— Брось. Они ничего не делают.

— А ты что-нибудь любишь. Затворник?

— Люблю.

— А что?

— Не знаю. Что-то такое, что иногда приходит ко мне. Иногда это какая-нибудь мысль, иногда гайки, иногда сны. Главное, что я всегда это узнаю, какой бы вид оно ни принимало, и встречаю его тем лучшим, что во мне есть.

— Чем?

— Тем, что становлюсь спокоен.

— А все остальное время ты беспокоишься?

— Нет. Я всегда спокоен. Просто это лучшее, что во мне есть, и, когда то, что я люблю, приходит ко мне, я встречаю его своим спокойствием.

— А как ты думаешь, что лучшее во мне?

— В тебе? Пожалуй, это когда ты молчишь где-нибудь в углу и тебя не видно.

— Правда?

— Не знаю. Если серьезно, ты можешь узнать, что лучшее в тебе, по тому, чем ты встречаешь то, что полюбил. Что ты чувствовал, думая о том, кто помахал тебе рукой?

— Печаль.

— Ну вот, значит, лучшее в тебе — твоя печаль, и ты всегда будешь встречать ею то, что любишь.

Затворник оглянулся и к чему-то прислушался.

— Хочешь на богов поглядеть? — неожиданно спросил он.

— Только, пожалуйста, не сейчас, — испуганно ответил Шестипалый.

— Не бойся. Они тупые и совсем не страшные. Ну гляди же. вон они.

По проходу мимо конвейера быстро шли два огромных существа — они были так велики, что их головы терялись в полумраке где-то под потолком. За ними шагало еще одно похожее существо, только пониже и потолще, — оно несло в руке сосуд в виде усеченного конуса, обращенного узкой частью к земле. Двое первых остановились недалеко от того места, где сидели Затворник с Шестипалым, и стали издавать низкие рокочущие звуки («Говорят», — догадался Шестипалый), а третье существо подошло к стене, поставило сосуд на пол, обмакнуло туда шест с щетиной на конце и провело по грязно-серой стене свежую грязно-серую линию. Запахло чем-то странным.

— Слушай, — еле слышно прошептал Шестипалый, — а ты говорил, что ты знаешь их язык. Что они говорят?

— Эти двое? Сейчас. Первый говорит: «Я выжрать хочу». А второй говорит: «Ты больше к Дуньке не подходи».

— А что такое Дунька?

— Область мира такая.

— А... А что первый хочет выжрать?

— Дуньку, наверно, — подумав, ответил Затворник.

— А как он выжрет область мира?

— На то они и боги.

— А эта, толстая, что она говорит?

— Она не говорит, а поет. О том, что после смерти хочет стать ивою. Моя любимая божественная песня, кстати. Жаль только, я не знаю, что такое ива.

— А разве боги умирают?

— Еще бы. Это их основное занятие.

Двое пошли дальше. «Какое величие!» — потрясенно подумал Шестипалый. Тяжелые шаги богов и их низкие голоса стихли: наступила тишина. Сквозняк крутил пыль над кафельными плитами пола, и Шестипалому казалось, что он смотрит с невообразимо высокой горы на раскинувшуюся внизу странную каменную пустыню, над которой миллионы лет происходит одно и то же: несетя ветер и в нем летят остатки чьих-то жизней, выглядящих издалека соломинками, бумажками, щепками или еще как-то. «Когда-нибудь, — думал Шестипалый, — кто-то другой будет смотреть отсюда вниз и подумает обо мне. не зная сам, что думает обо мне. Так же, как я сейчас думаю о ком-то, кто чувствовал то же самое, что я, только Бог весть когда. В каждом дне есть точка, которая скрепляет его с прошлым и будущим. До чего же печален этот мир...»

— Но в нем есть что-то такое, что оправдывает самую грустную жизнь, — сказал вдруг

Затворник.

«Стать бы после сме-е-е-рти и-и-вою», — протяжно и тихо пела толстая богиня у ведра с краской; Шестипалый, положив голову на локоть, испытывал печаль, а Затворник был совершенно спокоен и глядел в пустоту, словно поверх тысяч невидимых голов.

За то время, пока Шестипалый занимался с гайками, целых десять миров ушло в Цех номер один. Что-то скрипело и постукивало за зелеными воротами, что-то происходило там, и Шестипалый, только подумав об этом, покрывался холодным потом и начинал трястись — но именно это и придавало ему силы. Его руки заметно удлинились и усилились — теперь они были такими же, как у Затворника. Но пока это ни к чему не привело. Единственное, что знал Затворник, — это то, что полет осуществляется с помощью рук, а что он собой представляет, было неясно. Затворник считал, что это особый способ мгновенного перемещения в пространстве, при котором нужно представить себе то место, куда хочешь попасть, а потом дать рукам мысленную команду перенести туда все тело. Целые дни он проводил в созерцании, пытаясь перенестись хоть на несколько шагов, но ничего не выходило.

— Наверно. — говорил он Шестипалому, — наши руки еще недостаточно сильны. Надо продолжать.

Однажды, когда Затворник и Шестипалый, сидя в куче тряпок между ящиками, вглядывались в сущность вещей, случилось крайне неприятное событие. Вокруг стало чуть темнее, и, когда Шестипалый открыл глаза, перед ним маячило огромное небритое лицо какого-то бога.

— Ишь куда забрались, — сказало оно, а затем огромные грязные руки схватили Затворника и Шестипалого, вытащили из-за ящиков, с невероятной скоростью перенесли через огромное пространство и бросили в один из миров, уже не очень далеких от Цеха номер один. Сначала Затворник и Шестипалый отнеслись к этому спокойно и даже с некоторой иронией — они устроились возле Стены Мира и принялись готовить себе убежища души, — но бог вдруг вернулся, вытащил Шестипалого, поглядел на него внимательно, удивленно чмокнул губами, а потом обмотал ему ногу куском липкой синей ленты и кинул его обратно. Через несколько минут подошло сразу несколько богов — они достали Шестипалого и принялись его рассматривать по очереди, издавая возгласы восторга.

— Не нравится мне это, — сказал Затворник, когда боги наконец вернули Шестипалого на место и ушли, — плохо дело.

— По-моему, тоже, — ответил перепуганный Шестипалый. — Может, лучше снять эту дрянь?

И он показал на синюю ленту, обмотанную вокруг его ноги.

— Лучше пока не снимай, — сказал Затворник. Некоторое время они мрачно молчали, а потом Шестипалый сказал:

— Это все из-за шести пальцев. Ну убежим мы отсюда — так ведь они нас теперь искать будут. Про ящики они знают. А где-нибудь еще можно спрятаться?

Затворник помрачнел еще больше, а вместо ответа предложил сходить в здешний социум, чтобы развеяться.

Но оказалось, что со стороны далекой кормушки-поилки к ним уже движется целая депутация. Судя по тому, что, не дойдя шагов двадцать до Затворника и Шестипалого, идущие им навстречу повалились наземь и дальше стали двигаться ползком, у них были серьезные намерения. Затворник велел Шестипалому отойти назад и пошел выяснять, в чем дело. Вернувшись, он сказал:

— Такого я действительно никогда не видел. Они, видимо, очень набожны. Во всяком случае, они видели, как ты общаешься с богами, и теперь считают тебя мессией, а меня — твоим учеником или чем-то вроде этого.

— Ну и что теперь будет? Чего они хотят?

— Зовут к себе. Говорят, какая-то стезя выпрямлена, что-то увито и так далее. И главное, все как в их книгах. Я ничего не понял, но, думаю, пойти стоит.

— Пошли, — безразлично пожал плечами Шестипалый. Его томили мрачные предчувствия.

По дороге было сделано несколько навязчивых попыток понести Затворника на руках, и избежать этого удалось с большим трудом. К Шестипалому никто не смел не то что приблизиться, а даже поднять на него взгляд, и он шел в центре большого круга пустоты.

По прибытии Шестипалого усадили на высокую горку соломы, а Затворник остался у ее основания и погрузился в беседу со здешними духовными авторитетами, которых было около двадцати. — их легко было узнать по обрюзгшим толстым лицам. Затем он благословил их и полез на горку к Шестипалому, у которого было так погано на душе, что он даже не ответил на ритуальный поклон Затворника. что, впрочем, выглядело для всех остальных вполне естественно.

Выяснилось, что все уже давно ждали прихода мессии, потому что приближающийся решительный этап, называвшийся здесь Страшным Супом, из чего было ясно, что у здешних обитателей бывали серьезные прозрения, уже давно волновал народные умы, а духовные авторитеты настолько разъелись и обленились, что на все обращенные к ним вопросы отвечали коротким кивком в направлении неба. Так что появление Шестипалого с учеником оказалось очень кстати.

— Ждут проповеди, — сообщил Затворник.

— Ну так наплети им что-нибудь, — буркнул Шестипалый. — Я ведь дурак дураком, сам знаешь.

На слове «дурак» голос у него задрожал, и вообще было видно, что он вот-вот заплачет.

— Они меня съедят, эти боги, — сказал он. — Я чувствую.

— Ну-ну. Успокойся, — сказал Затворник, повернулся к толпе у горки и принял молитвенную позу: задрал кверху голову и воздел руки. — Эй, вы! — закричал он. — Скоро все в ад пойдете. Вас там зажарят, а самых грешных перед этим замаринуют в уксусе.

Над социумом пронесся вздох ужаса.

— Я же, по воле богов и их посланца, моего господина, хочу научить вас, как спастись. Для этого надо победить грех. А вы хоть знаете, что такое грех?

Ответом было молчание.

— Грех — это избыточный вес. Греховна ваша плоть, ибо именно из-за нее вас поражают боги. Подумайте, что приближает ре... Страшный Суп? Да именно то, что вы обрастаете жиром. Ибо худые спасутся, а толстые нет. Истинно так: ни один костлявый и синий не будет ввергнут в пламя, а толстые и розовые будут там все. Но те, кто будет отныне и до Страшного Супа поститься, обретут вторую жизнь. Эй, Господи! А теперь встаньте и больше не грешите.

Но никто не встал — все лежали на земле и молча глядели — кто на размахивающего руками Затворника, кто в пучину неба. Многие плакали. Пожалуй, речь Затворника не понравилась только первосвященникам.

— Зачем ты так, — шепнул Шестипалый, когда Затворник опустился на солому, — они

же тебе верят.

— А я что, вру? — ответил Затворник. — Если они сильно похудеют, их отправят на второй цикл откорма. А потом, может, и на третий. Да Бог с ними, давай лучше думать о делах.

Затворник часто говорил с народом, обучая, как придавать себе наиболее неаппетитный вид, а Шестипалый большую часть времени сидел на своей соломенной горке и размышлял о природе полета. Он почти не участвовал в беседах с народом и только иногда рассеянно благословлял подползавших к нему мирян. Бывшие первосвященники, которые совершенно не собирались худеть, глядели на него с ненавистью, но ничего не могли поделать, потому что все новые и новые боги подходили к миру, вытаскивали Шестипалого, разглядывали его и показывали друг другу. Один раз среди них оказался даже сопровождаемый большой свитой обрюзгший седенький старичок, к которому остальные боги относились с крайним почтением. Старичок взял его на руки, и Шестипалый злобно нагадил ему прямо на холодную трясущуюся ладонь, после чего был довольно грубо водворен на место.

А по ночам, когда все засыпали, они с Затворником продолжали отчаянно тренировать свои руки — чем меньше они верили в то, что это к чему-нибудь приведет, тем больше прилагали усилий. Руки у них выросли до такой степени, что заниматься с железками, на которые Затворник разобрал кормушку-поилку (в социуме все постылись и выглядели уже почти прозрачными), больше не было никакой возможности, — стоило чуть взмахнуть руками, как ноги отрывались от земли, и приходилось прекращать упражнение. Это было той самой сложностью, о которой Затворник в свое время предупреждал Шестипалого, но ее удалось обойти — Затворник знал, как укреплять мышцы статическими упражнениями, и научил этому Шестипалого. Зеленые ворота уже виднелись за Стеной Мира, и, по подсчетам Затворника, до Страшного Супа остался всего десяток затмений. Боги не особенно пугали Шестипалого — он успел привыкнуть к их постоянному вниманию и воспринимал его с безгливой покорностью. Его душевное состояние пришло в норму, и он, чтобы хоть как-то развлечься, начал выступать с малопонятными темными проповедями, которые буквально потрясали паству. Однажды он вспомнил рассказ Одноглазки о подземной вселенной и в порыве вдохновения описал приготовление супа для ста шестидесяти демонов в зеленых одеждах в таких мельчайших подробностях, что под конец не только сам перепугался до одури, но и сильно напугал Затворника, который в начале его речи только хмыкал. Многие из паствы заучили эту проповедь наизусть, и она получила название «Околеписиса Синей Ленточки» — таково было сакральное имя Шестипалого. После этого даже бывшие первосвященники бросили есть и целыми часами бегали вокруг полуразобранной кормушки-поилки, стремясь избавиться от жира.

Поскольку и Затворник и Шестипалый ели каждый за двоих. Затворнику пришлось сочинить специальный догмат о непогрешимости, который быстро пресек разные разговоры шепотом.

Но если Шестипалый после пережитого потрясения быстро вошел в норму, то с Затворником начало твориться что-то неладное. Казалось, депрессия Шестипалого перешла к нему, и с каждым часом он становился все замкнутей.

Однажды он сказал Шестипалому:

— Знаешь, если у нас ничего не выйдет, я поеду вместе со всеми в Цех номер один.

Шестипалый открыл было рот, но Затворник остановил его:

— А поскольку у нас наверняка ничего не выйдет, это можно считать решенным.

Шестипалый вдруг понял: то, что он только что собирался сказать, было совершенно

лишним. Он не мог переменить чужого решения, а мог только выразить свою привязанность к Затворнику — что бы он ни сказал, смысл был бы именно таким. Раньше он наверняка не удержался бы от ненужной болтовни, но за последнее время что-то в нем изменилось. И в ответ он просто кивнул головой, отошел в сторону и погрузился в размышления. Вскоре он вернулся и сказал:

— Я тоже поеду вместе с тобой.

— Нет, — сказал Затворник, — ты ни в коем случае не должен этого делать. Ты теперь знаешь почти все, что знаю я. И ты обязательно должен остаться жить и найти себе ученика. Может быть, хотя бы он приблизится к умению летать.

— Ты хочешь, чтобы я остался один? — раздраженно спросил Шестипалый. — С этим быдлом?

И он показал на простершуюся на земле при начале беседы пророков паству: одинаковые дрожащие изможденные тела закрывали собой почти все видимое пространство.

— Они не быдло, — сказал Затворник, — они больше походят на детей.

— На умственно отсталых детей, — добавил Шестипалый. — К тому же с массой врожденных пороков.

Затворник с ухмылкой поглядел на его ноги.

— Интересно, а ты помнишь, каким был ты сам до нашей встречи?

Шестипалый задумался и смутился.

— Нет, — наконец сказал он, — не помню. Честное слово, не помню.

— Ладно, — сказал Затворник, — поступай как знаешь.

На этом разговор прекратился.

Дни, оставшиеся до конца, летели быстро. Однажды утром, когда паства только еще продирала глаза. Затворник и Шестипалый заметили, что зеленые ворота, еще вчера казавшиеся такими далекими, нависают над самой Стеной Мира. Они переглянулись, и Затворник сказал:

— Сегодня мы сделаем нашу последнюю попытку. Последнюю потому, что завтра ее уже некому будет делать. Сейчас мы отправимся к Стене Мира, чтобы нам не мешал этот гомон, а оттуда попробуем перенестись на купол кормушки-поилки. Если нам это не удастся, тогда попрощаемся с миром.

— Как это делается? — по привычке спросил Шестипалый.

Затворник с удивлением поглядел на него.

— Откуда я знаю, как это делается, — сказал он.

Всем было сказано, что пророки идут общаться с богами. Скоро Затворник и Шестипалый были уже возле Стены Мира, где уселись, прислонясь к ней спиной.

— Помни. — сказал Затворник, — надо представить себе, что ты уже там, и тогда...

Шестипалый закрыл глаза, сосредоточил все свое внимание на руках и стал думать о резиновом шланге, подходившем к крышке кормушки-поилки. Постепенно он вошел в транс, и у него появилось четкое ощущение, что этот шланг находится совсем рядом с ним — на расстоянии вытянутой руки. Раньше Шестипалый спешил открыть глаза, и всегда оказывалось, что он сидит там же, где сидел. Но сегодня он решил попробовать нечто новое. «Если медленно сводить руки, — подумал он, — так, чтобы шланг оказался между ними, что тогда?» Осторожно, стараясь сохранить достигнутую уверенность, что шланг совсем рядом, он стал сближать руки. И когда они, сойдясь в месте, где перед этим была пустота, коснулись шланга, он не выдержал и изо всех сил завопил:

— Есть! — и открыл глаза.

— Тише, дурак, — сказал стоящий перед ним Затворник, чью ногу он сжимал. —
Смотри.

Шестипалый вскочил на ноги и обернулся. Ворота Цеха номер один были раскрыты, и их створки медленно проплывали по бокам и сверху.

— Вот и приехали, — сказал Затворник. — Пошли назад.

На обратном пути они не сказали ни слова. Лента транспортера двигалась с той же скоростью, с какой шли Затворник и Шестипалый, только в другую сторону, и поэтому всю дорогу вход в Цех номер один был там, где они находились. А когда они дошли до своих почетных мест возле кормушки-поилки, вход накрыл их и поплыл дальше.

Затворник подозвал к себе кого-то из паствы.

— Слушай, — сказал он. — Только спокойно! Иди и скажи остальным, что наступил Страшный Суп. Видишь, как потемнело небо?

— А что теперь делать? — спросил тот с надеждой.

— Всем сесть на землю и сделать вот так, — сказал Затворник и закрыл руками глаза. — И не подглядывать, иначе мы ни за что не ручаемся. И чтоб тихо.

Сперва все-таки поднялся гомон. Но он быстро стих — все уселись на землю и сделали так, как велел Затворник.

— Ну что, — сказал Шестипалый, — давай прощаться с миром?

— Давай, — ответил Затворник, — ты первый.

Шестипалый встал, оглянулся по сторонам, вздохнул и сел на место.

— Все? — спросил Затворник.

Шестипалый кивнул.

— Теперь я, — поднимаясь, сказал Затворник, задрал голову и закричал изо всех сил: —
Мир! Прощай!

— Ишь раскудахтался, — сказал громовой голос. — Который? Этот, что квохчет, что ли?

— Не, — ответил другой голос. — Рядом.

Над Стеной Мира возникло два огромных лица. Это были боги.

— Ну и дрянь, — сокрушенно заметило первое лицо. — Чего с ними делать, непонятно. Они же полудохлые все.

Над миром пронеслась огромная рука в белом, заляпанном кровью и прилипшим пухом рукаве и тронула кормушку-поилку.

— Семен, мать твою, ты куда смотришь? У них же кормушка сломана!

— Цела была, — ответил бас. — Я в начале месяца все проверял. Ну что, будем забивать?

— Нет, не будем. Давай включай конвейер, подгоняй другой контейнер, а здесь — чтобы завтра кормушку починил. Как они не передохли только...

— Ладно.

— А насчет этого, у которого шесть пальцев, — тебе обе лапки рубить?

— Давай обе.

— Я одну себе хотел.

Затворник повернулся к внимательно слушающему, но почти ничего не понимающему Шестипалому.

— Слушай, — прошептал он. — кажется, они хотят...

Но в этот момент огромная белая рука снова метнулась по небу и сгребла Шестипалого.

Шестипалый не разобрал, что хотел сказать Затворник. Ладонь обхватила его, оторвала от земли, потом перед ним мелькнула огромная грудь с торчащей из кармана авторучкой, ворот рубахи и, наконец, пара большущих выпуклых глаз, которые уставились на него в упор.

— Ишь крылья-то. Как у орла! — сказал небывалых размеров рот, за которым желтели бугристые зубы.

Шестипалый давно привык находиться в руках у богов. Но сейчас от ладоней, которые его держали, исходила какая-то странная, пугающая вибрация. Из разговора он понял только, что речь идет не то о его руках, не то о ногах, а потом откуда-то снизу долетел сумасшедший крик Затворника:

— Шестипалый! Беги! Клюй его прямо в морду!

Первый раз за все время их знакомства в голосе Затворника звучало отчаяние. И Шестипалый испугался, до такой степени испугался, что все его действия приобрели сомнамбулическую безошибочность, — он изо всех сил клюнул вылупленный на него глаз и сразу стал с невероятной скоростью бить по потной морде бога руками с обеих сторон.

Раздался рев такой силы, что Шестипалый воспринял его не как звук, а как давление на всю поверхность своего тела. Ладони бога разжались, а в следующий момент Шестипалый заметил, что находится под потолком и, ни на что не опираясь, висит в воздухе. Сначала он не понял, в чем дело, а потом увидел, что по инерции продолжает махать руками и именно они удерживают его в пустоте. Отсюда было видно, что представляет собой Цех номер один: это был огороженный с двух сторон участок конвейера, возле которого стоял длинный, в красных и коричневых пятнах деревянный стол, усыпанный пухом и перьями, и лежали

стопки прозрачных пакетов. Мир, где остался Затворник, выглядел просто большим восьмиугольным контейнером, заполненным множеством неподвижных крохотных тел. Шестипалый не видел Затворника, но был уверен, что тот видит его.

— Эй, — закричал он, кругами летая под самым потолком, — Затворник! Давай сюда! Маши руками как можно быстрее!

Внизу, в контейнере, что-то замелькало и, быстро вырастая в размерах, стало приближаться — и вот Затворник оказался рядом. Он сделал несколько кругов вслед за Шестипалым, а потом закричал:

— Садимся вот туда!

Когда Шестипалый подлетел к квадратному пятну мутного белесого света, пересеченному узким крестом, Затворник уже сидел на подоконнике.

— Стена, — сказал он, когда Шестипалый приземлился рядом, — светящаяся стена.

Затворник был внешне спокоен, но Шестипалый отлично знал его и видел, что тот немного не в себе от происходящего. С Шестипалым происходило то же самое. И вдруг его осенило.

— Слушай, — закричал он, — да ведь это и есть полет! Мы летали!

Затворник кивнул головой.

— Я уже понял, — сказал он. — Истина настолько проста, что за нее даже обидно.

Между тем беспорядочное мелькание фигур внизу несколько успокоилось, и стало видно, что двое в белых халатах удерживают третьего, зажимающего лицо рукой.

— Сука! Он мне глаз выбил! Сука! — орал тот третий.

— Что такое сука? — спросил Шестипалый.

— Это способ обращения к одной из стихий, — ответил Затворник. — Собственного смысла это слово не имеет.

— А к какой стихии он обращается? — спросил Шестипалый.

— Сейчас увидим, — сказал Затворник.

Пока Затворник произносил эти слова, бог вырвался из удерживавших его рук, кинулся к стене, сорвал красный баллон огнетушителя и метнул его в сидящих на подоконнике — он это сделал так быстро, что никто не сумел ему помешать, а Затворник с Шестипалым еле успели взлететь в разные стороны.

Раздался звон и грохот. Огнетушитель, пробив окно, исчез, и в помещение ворвалась волна свежего воздуха — только после этого стало понятно, как там воняло. Сделалось неправдоподобно светло.

— Летим! — заорал Затворник, потеряв вдруг всю свою невозмутимость. — Живо! Вперед!

И, отлетев подальше от окна, он разогнался, сложил крылья и исчез в луче желтого горячего света, бывшего из дыры в крашеном стекле, откуда дул ветер и доносились новые, незнакомые звуки.

Шестипалый, разгоняясь, понесся по кругу. Последний раз внизу мелькнул восьмиугольный контейнер, залитый кровью стол и размахивающие руками боги — сложив крылья, он со свистом пронесся сквозь дыру.

Сначала он на секунду ослеп — так ярок был свет. Потом его глаза привыкли, и он увидел впереди и вверху круг желто-белого огня такой яркости, что смотреть на него даже краем глаза было невозможно. Еще выше виднелась темная точка — это был Затворник. Он разворачивался, чтобы Шестипалый мог его догнать, и скоро они уже летели рядом.

Шестипалый оглянулся — далеко внизу осталось огромное и уродливое серое здание, на котором было всего несколько покрашенных масляной краской окон. Одно из них было разбито. Все вокруг было таких чистых и ярких цветов, что Шестипалый, чтобы не сойти с ума, стал смотреть вверх.

Лететь было удивительно легко — сил на это уходило не больше, чем на ходьбу. Они поднимались выше и выше, и скоро все внизу стало просто разноцветными квадратиками и пятнами.

Шестипалый повернул голову к Затворнику.

— Куда? — прокричал он.

— На юг, — коротко ответил Затворник.

— А что это? — спросил Шестипалый.

— Не знаю, — ответил Затворник, — но это вон там.

И он махнул крылом в сторону огромного сверкающего круга, только по цвету напоминавшего то, что они когда-то называли светилами.

БУБЕН НИЖНЕГО МИРА

Раз уж так вышло, что читатель — или читательница, что мне особенно приятно, — набрел на этот небольшой рассказ, раз уж он решил на несколько минут довериться тексту и впустить в свою душу некое незнакомое изделие, мы просим его как следует запомнить словосочетание «Бубен Нижнего Мира» и попросить прощения за то, что ниже будут встречаться ссылки на словари и размышления о предметах, на первый взгляд не относящихся прямо к теме; все это получит свое объяснение. Да и потом, что значит — относящийся к теме, не относящийся к теме? Ведь связь, невидимая рассудку, может существовать на ассоциативном уровне, где происходят самые тонкие духовные процессы.

На память приходит случай, описанный в недавно изданных во Франции воспоминаниях доктора Чазова: как-то, прогуливаясь с ним по пустой Третьяковской галерее, Брежнев с испугом спросил, что это за мужчина в сером костюме, что так странно глядит на него сквозь предсмертный туман. Чазов осторожно ответил, что впереди зеркало. Брежнев некоторое время задумчиво молчал, а затем — видимо, под влиянием возникшей ассоциации — перевел разговор на ленинскую теорию отражения, которая, по словам генсека, любившего иногда приоткрывать своим приближенным мрачные тайны марксизма, была на самом деле секретной военной доктриной, посвященной одновременному ведению боевых действий на суше, на море и в воздухе. Мы видим, как странно преломляется в инфернальной коммунистической психике термин, не допускающий, казалось бы, никакой двоякости в своем толковании, удивительно также, что важная смысловая линия (зеркало) неожиданно появляется в нашем рассказе в связи с Брежневым, который не имеет к Бубну Нижнего Мира вообще никакого отношения.

Впрочем, мы слишком увлеклись примером, призванным всего лишь показать, что возникающие в нашем сознании смысловые связи часто неуловимы для нас самих, хоть все и лежит, если вдуматься, на поверхности. Вернемся к нашему Бубну Нижнего Мира. Полагаем, что после приведенного выше примера читатель не удивится, если перед разговором о собственно Бубне Нижнего Мира речь пойдет о лучах — тем более что причина такого скачка скоро станет ясна.

«Луч... 2. мн. ч. лучи. -ей. Физ. Направленный поток каких-л. частиц или энергии электромагнитных колебаний, а также линия, определяющая направление потока».

Таково одно из определений, даваемых четырехтомным словарем русского языка, выпущенным Академией наук СССР. Интересно, что даже в небольшом объеме процитированного текста намечено много смысловых ветвлений. Лучом может быть поток частиц, электромагнитные колебания и чистая абстракция: линия. В числе прочего из этого определения можно выудить и такую концепцию: лучи — это направленный поток энергии.

Складывается интересная ситуация. Дав определение одному слову, мы оказываемся перед необходимостью определять составляющие первое определение термины. Подобно тому как свет, проходя сквозь прозрачный объект, имеющий специальную конфигурацию (призма), расслаивается и разделяется, заключенное в одном слове значение оказывается размазанным в нескольких словах, и для выделения интересующего нас смыслового спектра оказывается необходимой обратная операция, эквивалентная действию, которое оказал бы на расщепленный свет другой оптический объект (обратная призма). Попробуем все же

разобраться с употребленными в определении выражениями.

Что такое энергия? Упомянувшийся выше словарь предлагает такое объяснение: «Энергия — способность какого-л. тела, вещества и т. п. производить какую-л. работу или быть источником той силы, которая может производить работу». Приводится пример: «Он долго носился с мыслью использовать энергию одного бурного таежного потока, чтоб получить дешевый бурый уголь. Шишков, Угрюм-река».

Надо сказать, что мы носимся с несколько иной мыслью. Нас посещают самые разные идеи, позднее мы поделимся некоторыми из них. А пока вернемся к обсуждению понятия «энергия», от которого нас отвлекла наша глупая привычка говорить сразу обо всем на свете. Легко видеть, что под приведенное определение подпадает самый широкий круг феноменов: присутствие сокращения «и т. п.» показывает, что энергией могут обладать не только тела и вещества, но и все способное воздействовать, в том числе события, совпадения, идеи, искусство — стоит ли продолжать этот перечень? А сама энергия и есть способность воздействовать, измеряемая, когда воздействие произведено.

Мы уже почти приблизились к Бубну Нижнего Мира и просим еще немного терпения у читателя, уже, вероятно, до смерти уставшего от нашей болтовни.

Устать до смерти... Как все же странна наша идиоматика — бытовое состояние переплетено в ней с самым страшным, что ждет человека. Как примирить наш дух с неизбежностью смерти? Этим вопросом традиционно озабочены лучшие умы человечества, что легко подтвердить хотя бы фактом нашего обращения к данной теме. Еще раз раскроем цитированный словарь:

Смерть... 2. Прекращение существования человека, животного».

Первого определения мы не приводим, потому что там встречается одно пугающее нас слово (гибель). Как заметил албанский юморист Гайдур Джемалия, даже существо, победившее смерть, оказывается совершенно беззащитным перед гибелью. Здесь, кстати, возникает интересная проблема — откуда берется страх? Возникает ли он в наших душах? Или, наоборот, душа — всего лишь опосредствующее образование (своеобразный отражатель), перенаправляющий объективно существующий в мире ужас, поворачиваясь к нему под таким углом, что его адское мерцание, отразившись от чего-то в нашем сознании, проникает в самые глубокие слои психики? Как знать. Особенно угнетает то, что мы можем не распознать этих моментов и понести в себе незаметные, но незаживающие и смертельные раны; бывает ведь так, что вдруг портится настроение и человека охватывает депрессия, хотя поводов к тому, казалось бы, никаких; так же и со смертью, наступающей изнутри.

Да, смерть — это прекращение существования человека. Но вот вопрос: где проходит реальная граница между жизнью и смертью? В какой временной точке ее искать? Тогда ли, когда в бессознательном теле останавливается сердце? Тогда ли, когда исчезает сознание? Ведь личности после этого уже не существует. Тогда ли, когда, пропитываясь окружающим нас ядом, трансформируется душа и на месте одного человека постепенно вызревает другой? Ведь при этом исчезает прежняя личность. Тогда ли, когда ребенок становится юношей? Юноша — взрослым? Взрослый — стариком? Старик — трупом? Не является ли слово «смерть» обозначением того, что непрерывно происходит с нами в жизни? Не является ли жизнь умиранием, а смерть — его концом? И вот еще: нельзя ли сказать, что событие, в сущности, происходит тогда, когда становится необратимым?

В свое время по всем этим поводам великолепно высказался Мишель де Монтень; высокая энергия мысли и изящество удивительным образом переплетаются в его словах.

(«...Если угодно, вы становитесь мертвыми, прожив свою жизнь, но проживаете вы ее умирая: смерть, разумеется, несравненно сильнее поражает умирающего, нежели мертвого, гораздо острее и глубже».

«Сколько бы вы ни жили, вам не сократить того срока, в течение которого вы пребудете мертвыми. Все усилия здесь бесцельны: вы будете пребывать в том состоянии, которое внушает вам такой ужас, столько же времени, как если бы вы умерли на руках кормилицы».

«Где бы ни окончилась ваша жизнь, там ей и конец».)

Впрочем, отсылаем интересующихся этим и подобными вопросами к первоисточнику, где на каждой странице встречается тот же способ компоновки идей (прозрачная диалектическая спираль), что и в процитированных отрывках. Вернемся наконец к нашему Бубну Нижнего Мира — но перед этим сделаем еще одно, последнее, отступление.

Допустим, кому-то в голову придет создать лучи смерти. Из предыдущего анализа видно, что для этого надо построить аппарат, направленно посылающий ведущее к смерти влияние. Традиционный путь — технический. При этом придется долго возиться с паяльником и перебирать разные детальки, одна из которых (глядящая в душу дырочка ствола) вообще не выпускается. Этот путь не для нас.

Но не подойти ли к задаче по-другому? Почему излучение должно обязательно исходить от тривиального электроприбора? Ведь информация — тоже способ направленной передачи различных воздействий. Нельзя ли создать ментальный лазер смерти, выполненный в виде небольшого рассказа? Такой рассказ должен обладать некоторыми свойствами оптической системы, узлы которой удобно выполнить с помощью их простого описания, оставив подсознательную визуализацию и сборку читателю. Рассказ должен обращаться не к сознанию, которое может его вообще не понять, а к той части бессознательного, которая подвержена прямой суггестии и воспринимает слова вроде «визуализация» и «сборка» в качестве команд. Именно там и будет собран излучатель, ментальная оптика которого для большей надежности должна быть отделена от остальных психоформ наклонными скобками.

В качестве рабочего тела для этого виртуального прибора удобно воспользоваться чьими-нибудь глубокими и эмоциональными мыслями по поводу смерти. Ментальный лазер может работать на Сологубе, Достоевском, молодом Евтушенко и Марке Аврелии; подходит также «Исповедь» Толстого и некоторые места из «Опытов» Монтеня. Очень важным является название этого устройства, потому что психическая энергия, на которой он работает, будет поступать из осознающей части психики через название, которое должно надежно закрепиться в памяти. На мой взгляд, словосочетание «Бубен Нижнего Мира» годится в самый раз — есть в нем что-то детское и трогательное; да и потом, его почти невозможно забыть.

И последнее. Проницательный читатель без труда угадает, в какой момент сработает собранный в его подсознании ментальный самоликвидатор.

Менее проницательному подскажем, что это произойдет в тот момент, когда он где-нибудь наткнется на слова «луч смерти сфокусирован», выделенные кавычками.

Впрочем, в течение некоторого времени действие лучей смерти обратимо. Лицам, интересующимся тем, как демонтировать Бубен Нижнего Мира, предлагаем перевести одну тысячу долларов (можно в рублях по биржевому курсу на день перевода) на счет А/О «Бубнимир-финанс» и указать свой адрес.

Принимающим все это за шутку мы рекомендуем поставить простой опыт: засечь по

часам время и попробовать не думать о Бубне Нижнего Мира ровно шестьдесят секунд.



НИЖНЯЯ ТУНДРА

Однажды император Юань Мэн восседал на маленьком складном троне из шаньдунского лака в павильоне Прозрения Истины. В зале перед ним вповалку лежали высшие мужи империи — перед этим двое суток продолжалось обсуждение государственных дел, сочинение стихов и игра на лютнях и цитрах, так что император ощущал усталость — хоть, помня о своем достоинстве, он пил значительно меньше других, голова все же болела.

Прямо перед ним на подстилке из озерного камыша, перевитого синими шелковыми шнурами, храпел, раскинув ноги и руки, великий поэт И По. Рядом с ним ежилась от холода известная куртизанка Чжэнь Чжао по прозвищу Летящая ласточка. И По спихнул ее с подстилки, и ей было холодно. Император с интересом наблюдал за ними уже четверть стражи, ожидая, чем все кончится. Наконец Чжэнь Чжао не выдержала, почтительно тронула И По за плечо и сказала:

— Божественный И! Прошу простить меня за то, что я нарушаю ваш сон, но, разметавшись на ложе, вы совсем столкнули меня на холодные плиты пиршественного зала.

И По, не открывая глаз, пробормотал:

— Посмотри, как прекрасна луна над ивой.

Чжэнь Чжао подняла взгляд, на ее юном лице отразился восторг и трепет, и она надолго замерла на месте, позабыв про И По и источающие холод плиты. Император проследил за ее взглядом — действительно, в узком окне была видна верхушка ивы, чуть колеблемая ветром, и яркий край лунного диска.

«Поистине, — подумал император, — И По — небожитель, сосланный в этот грешный мир с неба. Какое счастье, что он с нами!»

Услышав рядом вежливый кашель, он опустил глаза. Перед ним стоял на коленях Жень Ци, муж, широко известный в столице своим благородством.

— Чего тебе? — спросил император.

— Я хочу подать доклад, — сказал Жень Ци, — о том, как нам умиротворить Поднебесную.

— Говори.

Жень Ци дважды поклонился.

— Любой правитель, — начал он, — как бы совершенен он ни был, уже самим фактом своего рождения отошел от изначального Дао. А в книге «Иньфу Цзин» сказано, что, когда правитель отходит от Дао, государство рушится в пропасть...

— Я это знаю, — перебил император. — Но что ты предлагаешь?

— Смею ли я что-нибудь предлагать? — почтительно сложив на животе руки, сказал Жень Ци. — Хочу только сказать несколько слов о судьбе благородного мужа в эпоху упадка.

— Эй, — сказал император, — ты все-таки не очень... Что ты называешь эпохой упадка?

— Любая эпоха в любой стране мира — это эпоха упадка хотя бы потому, что мир явлен во времени и пространстве, а в «Гуань-цзы» сказано, что...

— Я помню, что сказано в «Гуань-цзы», — перебил император, которому стало обидно, что его принимают за монгола-неуча. — Но при чем здесь судьба благородного мужа?

— Дело в том, — ответил Жень Ци, — что благородный муж как никто другой видит, в какую пропасть правитель ведет государство. И если он верен своему Дао, а благородный муж всегда ему верен, это и делает его благородным мужем — он должен кричать об этом на каждом перекрестке. Только слияние с первозданным хаосом может помочь ему смирить свое сердце и молча переносить открытые его взору бездны.

— Под первозданным хаосом ты, видимо, имеешь в виду изначальную пневму? — спросил император, чтобы окончательно убедить Жень Ци, что тоже читал кое-что.

— Именно, — обрадованно ответил Жень Ци. — Именно. А ведь как сливаются с хаосом? Надо слушать стрекот цикад весенней ночью. Смотреть на косые струи дождя в горах. В уединенной беседке писать стихи об осеннем ветре. Лить вино из чаши в дар дракону из желтых вод Янцзы. Благородный муж подобен потоку — он не может ждать, когда впереди появится русло. Если перед ним встает преграда, он способен затопить всю Поднебесную. А если мудрый правитель проявляет гуманность и щедрость, сердце благородного мужа уподобляется озерной глади.

Император, наконец, начал понимать.

— То есть все дело в щедрости правителя. И тогда благородный муж будет сидеть тихо, да?

Жень Ци ничего не сказал, только повторил двойной поклон. Император заметил, что за спиной Жень Ци появился начальник монгольской охраны. Вопросительно округлив глаза, он положил ладонь на рукоять меча.

— А почему, — спросил император, — нельзя взять и отрубить такому благородному мужу голову? Ведь тогда он тоже будет молчать, а?

От негодования Жень Ци даже побледнел.

— Но ведь если сделать это, то возмутятся духи-охранители всех шести направлений! — воскликнул он. — Сам Нефритовый Владыка Полярной Звезды будет оскорблен! Оскорбить Нефритового Владыку — все равно, что пойти против Земли и Неба. А пойти против Земли и Неба — все равно что пребывать в неподвижности, когда Земля и Небо идут против тебя!

Император хотел было спросить, от кого и зачем надо охранять все шесть направлений, но сдержался. По опыту он знал, что с благородными мужчинами лучше не связываться — чем больше с ними споришь, тем глубже увязаешь в мутном болоте слов.

— Так чего ты хочешь? — спросил он.

Жень Ци сунул руку под халат. К нему кинулись было двое телохранителей, но Юань Мэн остановил их движением ладони. Жень Ци вытащил связку дощечек, покрытых бисерными иероглифами, и принялся читать:

— Два фунта порошка пяти камней. Пятьдесят связок небесных грибов с горы Тяньтай. Двенадцать жбанов вина с юга...

Император закрыл глаза и три раза сосчитал до девяти, чтобы выстроить из своего духа триграмму, позволяющую успокоиться и не препятствовать воле неба.

— Понимаю, — сказал он. — Иначе как ты явишь людям свое благородство? Иди к эконому и скажи, что я разрешил. И не тревожь меня по мелочам.

Кланяясь, Жень Ци попятился назад, споткнулся о вытянутую ногу И По и чуть не упал. Но император уже не смотрел на него — к его уху склонился начальник охраны.

— Ваше величество, — сказал тот, — вы помните дело вэйского колдуна?

Император помнил это дело очень хорошо. Несколько лет назад в столице появился вэйский маг по имени Со-нхама. Он умел делать пилюли из киновари и ртути, которые

назывались «пилюлями вечной жизни». У него не было отбоя от клиентов, и он быстро разбогател, а разбогатев — обнаглел и зазнался.

Сначала император велел не трогать Сонхаму, потому что от его пилюль в столице перемерло много чиновников, разорявших народ непомерными поборами. Император даже пожаловал магу титул «учителя вечной жизни, указующего путь». Но скоро наглость Сонхамы перешла все границы. Он смущал народ на базарной площади, крича, что был в прошлой жизни императором. При этом он показывал людям большую связку ключей, которые почему-то называл драконовыми. Больше того, он посмел сказать, что Юань Мэн стал императором не из-за своей принадлежности к династии Юань, а только потому, что для китайского уха его имя звучит как «человек с деньгами».

Император велел схватить Сонхаму и лично пришел допросить его. Сонхама оказался невысоким нахалом со шныряющими глазами, похожим на обезьяну, у которой было тяжелое детство. При виде Юань Мэна он не проявил никаких признаков уважения или страха.

— Как ты смеешь утверждать, что был императором? — спросил его Юань Мэн.

— Вели испытать меня, — сказал Сонхама, ощерив несколько желтых зубов. — Я знаю все покои этого дворца гораздо лучше тебя.

Император велел принести план дворца. К его изумлению, стоило указать на плане какую-нибудь комнату, как Сонхама безошибочно описывал ее убранство и обстановку.

Но в его описаниях была одна странность — он в мельчайших подробностях помнил узор пола, а то, что было на стенах, описывал очень приблизительно. Про роспись же потолка вообще ничего сказать не мог. Тогда несколько благородных мужей устроили гадание на панцире черепахи. Они долго спорили о значении трещин и наконец объявили, что в прошлой жизни Сонхама действительно жил во дворце.

— Вот так, — сказал Сонхама. — А теперь. Юань Мэн, если ты не боишься, давай есть с тобой небесные грибы — кто сколько сможет. И пусть все вокруг увидят, чей дух выше.

Император не вынес наглости и велел насильно накормить Сонхаму таким количеством грибов, чтобы они полезли у него из ушей и носа. Сонхама отбивался и кричал, но его заставили проглотить не меньше пяти связок. Упав на пол, Сонхама задрыгал ногами и затих. Император испугался, что тот умер, и велел обливать его ледяной водой. Но когда уже стало казаться, что Сонхаму ничто не вернет к жизни, тот вдруг поднял с пола голову и зарычал.

Следующие несколько минут были настоящим кошмаром. Сонхама, захлебываясь лаем, носился на четвереньках по залу для допросов и успел перекусать половину стражников, прежде чем его повалили и связали. Тогда вперед вышел благородный муж Жень Ци и сказал:

— Я слышал, что однажды из смешения жизненных сил льва и обезьяны возникла собака. Имя ей — пекинез. С давних времен пекинезы живут в императорском дворце. Этой собаке свойственно отгонять злых духов. Считается также, что, когда Лао-Цзы ушел в западные страны и стал там Буддой, он поручил пекинезу охранять свое учение. Маг Сонхама, конечно, не был в прошлой жизни императором. По всей видимости, он был пекинезом. Оттого владеет магической силой и помнит узоры пола, а про убранство стен не может сказать.

Император долго смеялся и наградил Жень Ци за прозорливость. Он решил простить Сонхаму за то, что тот выдавал себя за императора в прошлой жизни, поскольку это можно

было объяснить невежеством. Он также простил ему отвратительные слова о значении имени Юань Мэн («Ведь сказано. — подумал император, — что и чистая яшма покажется замутненной»). Но за то, что он посмел назвать ключи от каких-то амбаров драконовыми, император велел дать ему сорок ударов палкой по пяткам.

После этого про Сонхаму забыли. Но вскоре он появился в гуннской степи и вошел в большое доверие к хану Арнгольду. Сонхама обещал ему власть над Поднебесной и бессмертие.

— Мне донесли, что хан уже начал принимать пилюли вечной жизни, — прошептал начальник охраны.

— Значит, — прошептал в ответ император, — он будет беспокоить нас не больше трех месяцев.

— Да, — прошептал начальник охраны, — но мы не можем ждать три месяца. Дело в том, что Сонхама осмелился нарушить древние созвучия, завещанные людям «Книгой Песен». Он создал музыку разрушения и распада. Он играет ее на перевернутых котлах для варки баранов, которые называет «Поющими Чашами». Получается нечто вроде бронзовых колоколов разных размеров. Их у гуннов очень много. А по котлам он бьет железным идолом какого-то духа.

— А что это такое — музыка распада? — совсем тихо спросил император.

— Никто не может сказать, что это, — ответил начальник охраны. — Знаю только, что на всем пространстве, где слышны ее звуки, люди перестают понимать, где верх, а где низ. В их сердцах поселяется ужас и тоска. Оставляя свои дома и огороды, они выходят на дорогу и, склонив шею, покорно ждут своей судьбы.

— А армия? — спросил император.

— С ней происходит то же самое. Сонхама едет перед гуннскими колоннами на огромной повозке, в которую запряжено трижды шесть быков, и бьет по своим котлам. А гунны с заткнутыми промасленной паклей ушами едут вслед за ним на своих маленьких косматых лошадях, оставляя за собой разрушение и смерть.

— Но почему наши солдаты не могут заткнуть уши паклей?

— Это не поможет. Музыка все равно слышна. Но на варваров она не действует, потому что Сонхама не нарушал туннских созвучий. У них просто нет музыки. Он разрушил музыку Поднебесной. Гуннские солдаты затыкают уши только для того, чтобы не слышать этого отвратительного лязга.

— Нельзя ли поразить их стрелами с большого расстояния? — спросил император.

— Нет, — ответил начальник охраны. — Музыка Со-нхамы слышна очень далеко, а ее действие мгновенно.

Император обвел глазами пиршественный зал. Все лежали в прежних позах, только куртизанка Чжэнь Чжао, которой надоело мерзнуть на холодных плитах, встала с пола и теперь говорила о чем-то с благородным мужем Жень Ци — тот задержался у стола, чтобы запихнуть в свой мешок блюдо петушиных гребешков, сваренных в вине. Судя по их лицам, на уме у них были веселые шутки и всякие непристойности. Но императору на миг почудилось, что зал залит кровью и лежат в нем мертвые иссеченные тела.

— Жень Ци! — позвал император. — Нам нужен твой совет.

Жень Ци от неожиданности уронил блюдо на пол.

— Ты уже помог нам однажды обуздать сумасшедшего колдуна Сонхаму. Но сейчас он вновь угрожает Поднебесной. Говорят, он изобрел музыку разрушения и гибели и движется

сейчас к столице во главе гуннских войск. Ты только что говорил, что знаешь, как умиротворить Поднебесную. Так дай нам совет.

Жень Ци помрачнел и задумался, щипая свою редкую бородку.

— Я слышал, что музыка была передана человеку в глубокой древности, — сказал он. — Созвучия «Книги Песен» подарены людям духом Полярной Звезды. По своей природе они неразрушимы, потому что, в сущности, в них нечего разрушать. Они бесформенны и неслышны, но в грубом мире людей им соответствуют звуки. Это соответствие может быть утрачено, если страна теряет Дао-путь. Когда в древности возникла нужда упорядочить музыку, император лично шел к духу Полярной Звезды, чтобы обновить пришедшие в негодность мелодии.

— А как император может пойти к духу Полярной Звезды?

— Это как раз несложно, — сказал Жень Ци. — Волшебную повозку могу изготовить я сам.

Император переглянулся с начальником охраны, и тот, выпучив глаза, кивнул. «Дело, видимо, действительно очень серьезное». — подумал император и объявил:

— Приказываем тебе, Жень Ци, немедленно изготовить нам экипаж для отбытия к духу Полярной Звезды. Тебя снабдят всем необходимым.

Через две или три стражи Жень Ци передал, что повозка готова. Император встал и направился к выходу. Но его остановил начальник охраны.

— Жень Ци говорит, — сказал он, — что нет необходимости покидать покои. Природа волшебной повозки такова, что ей можно воспользоваться прямо здесь.

— Ага, — сказал император, — наверно, это что-то вроде корзины, в которую впряжена пара благовещих фениксов?

— Нет, — сказал начальник охраны. — Честно говоря, когда я увидел то, что сделал Жень Ци, мне опять захотелось отрубить ему голову. Но разве мог я решиться без высочайшего приказа?

Начальник охраны хлопнул в ладоши, и в зал в сопровождении солдат вошел благородный муж Жень Ци. Он чуть покачивался, и его расширенные глаза странно косили — видно было, что он охвачен вдохновением. Следом за ним несли блюдо, на котором стояла маленькая, не больше одного пуня длиной, повозка, а рядом с ней лежал смотанный в клубок шнур. Император подошел к блюду.

Вместо осей и колес у повозки были шляпки и ножки небесных грибов, и красный балдахин с белыми пятнами над крошечным сиденьем тоже был сделан из большого небесного гриба. Под балдахином сидела маленькая фигурка императора, а на коленях у нее была крошечная клетка с собачкой.

Фигурки и повозка были сделаны из толченых грибов, смешанных с порошком пяти камней и медом, — это император понял по характерному аромату. А впряжены в повозку были два темно-зеленых дракона, которых Жень Ци с большим искусством вылепил из конопляной пасты.

— И как я на ней поеду? — спросил император.

— Ваше величество, — сказал Жень Ци. — Наши предки пришли в Поднебесную с севера. Дойдя до реки Янцзы, они основали царства Чу, Юэ и У. Дух Полярной Звезды покровительствовал им издавна. Поэтому искать его следует на севере. Но Чжуан Цзы говорил, что вселенную можно облететь, не выходя из комнаты. Мир, где живет дух Полярной Звезды, вовсе не в небе над нами.

Император сразу все понял.

— То есть ты хочешь сказать...

— Именно, — ответил Жень Ци. — Чтобы отправиться в путешествие на этой повозке, ее надо съесть.

— Но я никогда не ел больше пяти грибов за один раз, — сказал император. — А здесь их не меньше двадцати. Да еще порошок... Да еще... Жень Ци, отвечай, ты задумал погубить меня?

— Ерунда, — сказал Жень Ци. — Перед тем как изготовить эту колесницу, я съел целых тридцать грибов.

Император оглядел своих приближенных. Их глаза были полны страха и надежды. На миг в зале стало очень тихо, и императору показалось, что откуда-то издалека доносятся еле слышные удары колоколов.

— Хорошо, Жень Ци, — сказал император. — А как я найду духа Полярной Звезды, если отправлюсь в путь на твоей колеснице?

— Я слышал, что путь к духу Полярной Звезды лежит через колодец в снежной степи. Нужно спуститься в этот колодец, а что дальше — не знает никто. Поэтому с собой нужно взять прочный шелковый шнур.

— Что я должен сказать Духу Полярной Звезды?

— Это может знать только сам император, — склонился Жень Ци в поклоне. — Уверенность есть только в одном. Если верные созвучия будут обретены, маг Сонхама вернется в свою прежнюю форму и вновь станет пекине-зом. Я уже изготовил для него клетку.

Император, не желая терять времени, приказал принести шубу из соболей, подаренную когда-то гуннским ханом, и накинул ее на плечи, рассудив, что на севере должно быть холодно. Потом он решительно взял волшебную колесницу и откусил большой кусок. Прошло совсем немного времени, и от нее остались только крошки на блюде.

— Ваше величество уже почти в пути, — сказал расплывающийся и меняющий цвета Жень Ци. — Я забыл сказать вот о чем. Обязательно следует помнить две вещи. Перед тем, как спускаться в колодец...

Но больше ничего император не услышал. Жень Ци вдруг пропал, а перед глазами у Юань Мэна замелькала белая рябь. Он хотел было опереться на стол, но его рука прошла сквозь него, и он повалился на пол, который оказался бугристым и холодным. Юань Мэн стал звать слуг, чтобы они подали ему воды промыть глаза, но вдруг понял, что это не рябь, а просто снег, а никаких слуг рядом нет.

Вокруг, насколько хватало глаз, была заснеженная степь, а прямо перед ним был колодец из черного камня. Размотав свой шелковый шнур, Юань Мэн полез вниз. Он спускался очень долго. Сначала вокруг ничего не было видно, а потом туман разошелся. Юань Мэн осмотрелся. Веревка уходила прямо в облака, а внизу было темно. И вдруг со всех сторон налетели белые летучие мыши. Юань Мэн стал отбиваться, выпустил из рук шнур и полетел вниз.

Неизвестно, сколько прошло времени. Юань Мэн очнулся от сильного запаха рыбы и дыма. Он лежал в какой-то странной комнатке пирамидальной формы, стены которой были сделаны из шкур (в первый момент ему показалось, что его накрыло шляпкой огромного гриба). Всюду валялись пустые стеклянные бутылки, а в центре комнаты горел огонь, возле которого сидел давно небритый старик очень странного вида. На нем была ветхая куртка из

блестящего черного материала с меховым капюшоном. На рукаве куртки были знаки «USAF», немного похожие на письма гуннов. А перед стариком стоял железный ящик, на панели которого горело несколько разноцветных огоньков.

Юань Мэн приподнялся на локте и собрался заговорить, но старик остановил его жестом. И Юань Мэн услышал музыку, доносившуюся из ящика. Женский голос пел на незнакомом языке, но Юань Мэн вполне его понимал, хотя точно разобрал только две строчки: «What If God was one of us» и «Just like a stranger on a bus trying to make his way home». Отчего-то император ощутил печаль и сразу позабыл все, что хотел сказать.

Дослушав песню, старик повернулся к Юань Мэну, смахнул с лица слезы и сказал:

— Джоан Осборн.

— Юань Мэн, — представился Юань Мэн. — Скажи, Джоан Осборн...

— Я не Джоан Осборн, — сказал старик. — Я не могу назвать своего имени. Я давал подписку.

— Хорошо, — сказал Юань Мэн. — Я знаю, что у духов нет имен — имена им дают люди. Ты, наверно, дух Полярной Звезды?

— Нельзя столько пить, чукча, — сердито сказал старик. — Впрочем, можешь называть меня как хочешь.

— Я буду называть тебя Джоан Осборн. Как я попал сюда?

— Даже не помнишь. У вас, чукчей, сейчас праздник Чистого Чума. Вот вы все и перепились. Иду я домой — гляжу, лежит пьяный у дороги. Ну я и перенес тебя сюда, чтобы ты не замерз. Хорошая у тебя шуба, однако.

— А сам ты кто?

— Летчик, — сказал старик. — Я летал на самолете SR-71 «Blackbird», а потом меня сбили. Живу здесь уже двадцать лет.

— А почему ты не хочешь вернуться на родину?

— Ты ведь чукча. Ты все равно не поймешь.

— А ты попробуй объяснить, — обиженно сказал Юань Мэн. — Вдруг пойму. Ты не из верхнего мира? Может, ты знаешь, как встретить духа Полярной Звезды?

— Вот черт, — сказал старик. — Ну как тебе объяснить, чтоб ты понял. Я тоже из тундры. Если долго ехать на упряжках на север, дойти до полюса, а потом еще столько же ехать дальше, то будет другая тундра, откуда прилетают черные птицы — разведчики. Вот на такой черной птице я и летал, пока меня не сбили.

Юань Мэн задумался.

— А чего они разведать хотят, — спросил он, — если у них такая же тундра, как здесь?

— Сейчас я и сам не очень это понимаю. — сказал старик. — Попробую тебе объяснить в твоих понятиях. В наших местах издавна правил дух Большого Ковша, а у вас — дух Медведицы. И они между собой враждовали. Духу Большого Ковша служило много таких, как я. Думали, что будем воевать. Но потом вдруг оказалось, что все ваши шаманы давно втайне сами поклоняются Большому Ковшу. Наступил холодный мир — его так называли потому, что и в вашей и в нашей тундре людям очень холодно. Ваши шаманы подчинились нашим. Но мой передатчик сломан — могу только слушать музыку, и все. Двадцать лет я ждал, что меня отсюда вытащат, и все без толку. Хоть на собаках через полюс езжай...

Старик тяжело вздохнул. Юань Мэн мало что понял из его речи — ясно было только то, что вместо мира Полярной Звезды он попал не то к духу Медведицы, не то к духу Большого Ковша. «Ну, Жень Ци, — подумал он, — подожди».

— А что ты знаешь о музыке? — спросил он.

— О музыке? Все знаю. У меня времени много, часто слушаю радио. Если коротко, то после восьмидесятого года ничего хорошего уже не было. Понимаешь, сейчас нет музыки, а есть музыкальный бизнес. А с какой стати я должен слушать, как кто-то варит свои бабки, если мне за это не платят?

— Высокие слова, — сказал Юань Мэн. — А ты знаешь, как восстановить древние созвучия, когда мелодии приходят в упадок?

— Если ты говоришь про вашу чукчину музыку, — сказал старик, — то это не ко мне. Тут рядом живет один старик, тоже чукча. Настоящий шаман. Он раньше делал варганы из обломков моего самолета и менял их у геологов на водку. Вот он тебе все скажет.

— А что такое варган? — спросил Юань Мэн.

Старик пошарил в грязных шкурах и протянул Юань Мэну маленький блестящий предмет. Это было металлическое полукольцо, от которого отходили два стержня, между которыми был вставлен тонкий стальной язычок. С первого взгляда он напомнил Юань Мэну что-то очень знакомое, но что именно, он так и не понял.

— Бери себе на память, — сказал старик. — У меня таких несколько. Корпус у него из титана, а язычок — из высокоуглеродистой стали.

— Где живет этот чукча-шаман? — спросил Юань Мэн.

— Как выйдешь из моего чума, иди прямо. Метров через триста, сразу за клубом, будет другой чум. Вот там он и живет.

Наскоро попрощавшись. Юань Мэн вышел из яранги и пошел сквозь снежную бурю. Вскоре он увидел клуб — это было огромное мертвое здание с разбитыми окнами, перед которым стоял идол местного духа-охранителя с вытянутой вперед рукой. Сразу за клубом действительно стоял еще один чум.

Юань Мэн вошел в него и увидел старика, чертами лица немного похожего на великого поэта И По, только совсем древнего. Старик пилил ржавым напильником кусок железа, лежавший у него на колене. Перед ним стояли бутылка и стакан.

— Здравствуй, великий шаман, — сказал Юань Мэн. — Я пришел от Джоан Осборн спросить тебя о том, как восстановить главенство созвучий «Книги Песен» и победить созданную колдуном Сонхамой музыку гибели.

Услышав эти слова, старик вытаращил глаза, налил себе стакан, выпил и несколько минут растерянно смотрел на Юань Мэна.

— Хорошая у тебя шуба, — сказал он. — Я и правда шаман, только не совсем настоящий. Так, на уровне фольклорного ансамбля. Ты садись, выпей, успокойся. Ты же замерз весь.

Выпив, Юань Мэн долго молчал. Молчал и старик.

— Я не знаю, что такое фольклорный ансамбль, — сказал наконец Юань Мэн, — но ты, я полагаю, должен знать что-то про музыку.

— Про музыку? Я ничего не знаю про музыку, — сказал старик. — Я только знаю, как делать варганы. Если ты хочешь узнать что-то про музыку, тебе надо идти в очень далекое место.

— Куда? — спросил Юань Мэн. — Говори быстрее, старик.

Старый чукча задумался.

— Знаешь, — сказал он, — старые люди в нашем фольклорном ансамбле говорили так. Если встать на лыжи и долго-долго идти на запад, в тундре будет памятник Мейерхольду. За

ним будет речка из замерзшей крови. А за ней, за семью воротами из моржовых костей, будет город Москва. А в городе Москве есть консерватория — вот там тебе и скажут про музыку.

— Хорошо, — сказал Юань Мэн и вскочил на ноги. — Мне пора идти.

— Ну если ты так спешишь, иди, — сказал старик. — Только помни, что из города Москвы невозможно выбраться. Старики говорят, что, как по ней ни петляй, все равно будешь выходить или к Кремлю, или к Курскому вокзалу. Поэтому надо найти белую гагару с черным пером в хвосте, подбросить ее в воздух и бежать туда, куда она полетит. Тогда сумеешь выйти на волю.

— Спасибо, старик, — сказал Юань Мэн.

— И еще, — крикнул ему вслед старик, — никогда не ешь столько мухоморов, как сегодня. А будешь в Москве, опасайся клофелина. Шуба у тебя больно хорошая.

Но Юань Мэн уже ничего не слышал. Он вышел из яранги и пошел прямо на запад. Кругом летели снежные хлопья, скоро стемнело, и через несколько часов он заблудился. На счастье, в темноте раздался рев мотора, и Юань Мэн побежал на свет фар. По дороге, на которую он вышел, ехал большой грузовик. Юань Мэн поднял руку, и грузовик остановился. Из его кабины высунулся толстый прапорщик.

— Тебе куда, чукча? — спросил он.

— Мне в Москву, — сказал Юань Мэн, — в консерваторию возле Курского вокзала.

Прапорщик внимательно посмотрел на его шубу.

— Садись, — сказал он, — подвезу. Я как раз в консерваторию еду.

Юань Мэн залез в кабину. Внутри было тепло и удобно, и снежинки весело плясали перед стеклом в ярком свете фар.

— Чего, — спросил прапорщик, — день Чистого Чума отмечали?

Юань Мэн как-то неопределенно пожал плечами.

— Еще выпить хочешь?

— Хочу, — сказал Юань Мэн.

Прапорщик протянул ему бутылку водки, и Юань Мэн припал к горлышку. Скоро водка кончилась. Юань Мэн перелистал валявшийся рядом с сиденьем журнал, а потом решил отблагодарить прапорщика, сыграв ему на варгане. Достав варган из кармана шубы, он уже поднес его ко рту, и вдруг понял, на что тот был похож.

Варган был похож на микрокосмическую орбиту из тайного трактата по внутренней алхимии, который могли читать только император и его приближенные. Боковые скобы, сходясь внизу в кольцо, образовывали канал действия, соединенный с каналом управления, а полоска стали между ними была центральным каналом. На конце она была изогнута и переходила в язычок, точь-в-точь напоминавший человеческий.

Вдруг Юань Мэн почувствовал, что его неодолимо тянет в сон. И почти сразу же ему стал сниться старик, который делал варганы, только теперь он выглядел очень величественно и даже грозно, а одет был в длинную синюю рубашку, расшитую звездами, и за его спиной в черном небе струились ленты северного сияния.

— Я хочу научить тебя играть на варгане, — сказал старик. — Много тысячелетий назад у нас в фольклорном ансамбле говорили так. Есть Полярная Звезда, и правит ею дух холода. А точно напротив ее на небесной сфере есть Южная Звезда, которую люди не видят, потому что она у них под ногами. Ею правит дух огня. Однажды, давным-давно, дух холода и дух огня решили сразиться. Но сколько они ни нападали друг на друга, никакого сражения у них

не получалось. Духи огня и холода свободно протекали друг сквозь друга — потому что как один дух может победить другого? Они просто есть, и все. И тогда, чтобы можно было говорить о победе, ими был создан человек...

Юань Мэну приснилось, что он поклонился и сказал:

— Наши книги говорят об этом немного по-другому, но по сути так оно и есть.

— Но на самом деле, — продолжал старик, — дух холода и дух огня — это не два разных духа. Это один и тот же дух, который просто не знаком сам с собой. И человека он создал из себя самого, потому что из чего еще дух может что-то создать? И человек заблудился в этой битве двух духов, которые на сеймом деле — он сам.

— Я понимаю, — сказал Юань Мэн.

— В действительности оба они — это один дух, который бесконечно играет и сражается сам с собой, потому что, если бы он этого не делал, его бы просто не было. Ты понял, как играть на варгане. Юань Мэн?

— Да, — сказал Юань Мэн, — я все понял.

— Чего это ты бормочешь? — поглядывая на часы, спросил прапорщик. — Что ты там понял?

— Все, — бормотал во сне Юань Мэн, — все понял... Не надо мне искать никакого духа Полярной Звезды. Я и есть дух Полярной Звезды, и сам себе главный шаман. И вообще все духи, люди и вещи, которые только могут быть, — это и есть я сам. Поэтому играть надо не на инструментах, а на себе, только на себе. Какие законы или ноты могут тогда что-то значить? Нет никаких созвучий, это Жень Ци врет... Каждый сам себе музыка... Слушай, поворачивай. Мне в Китай надо, а не в консерваторию...

— Поворачиваю, — сказал прапорщик и опять поглядел на часы.

— Подожди. Сейчас я тебе сыграю, ты все поймешь... Подберу... Как там было... Just trying to make his way home...

Когда Юань Мэн проснулся, над ним почему-то было небо. Оно было желтоватого цвета, но это не удивило императора. В Поднебесной за последние сто лет было несколько восстаний за установление эры Желтого Неба. Могло ведь такое восстание победить в нижней тундре, подумал Юань Мэн.

Станным было другое — на небе были трещины и желтые разводы, как будто оно дало небольшую течь, когда в верхней тундре началась весна. Похоже, весна начиналась и здесь — по небу медленно ползло несколько возвращавшихся с юга тараканов. Юань Мэн захотел пошевелиться и не смог — кто-то привязал его к сиденью грузовика.

Вдруг он понял, что это не сиденье. Его руки были примотаны грязными бинтами за запястья к какой-то железной раме, а из вены в районе локтевого сгиба торчала тонкая пластмассовая трубка. Юань Мэн проследил за ней взглядом — она поднималась к потолку, который он принял за небо, и кончалась большой перевернутой бутылкой, в которой была какая-то жидкость. Юань Мэн опустил глаза — оказалось, что он совершенно голый и лежит на клеенке, а другая пластмассовая трубка выходит из его причинного места и тянется к бутылке от кока-колы, привязанной к ножке кровати. От тяжкого убожества всего увиденного Юань Мэн помрачнел.

Вокруг ходили люди в несвежих зеленых халатах. Юань Мэн попробовал позвать кого-нибудь из них, но оказалось, что его горло совершенно высохло, и он не в силах произнести ни звука. Люди не обращали на него никакого внимания. Тогда Юань Мэн разозлился и захотел порвать бинты, которыми был привязан к раме кровати, но не смог.

Вскоре к нему подошел человек в зеленом халате. В руках у человека были коробка с надписью «Кофеин» и шприц.

— Где я? — еле слышно спросил Юань Мэн.

— В реанимационном отделении института Склифосовского, — сказал человек в халате, отламывая шейку ампулы и наполняя шприц.

— А это что? — спросил Юань Мэн, кивая на шприц.

— Это ваш утренний кофе, — самодовольно ответил человек, втыкая шприц в то место, где нога Юань Мэна плавно переходила в спину.

Через пару часов Юань Мэн пришел в себя, и, когда ему принесли его шелковый халат со следами ярко-желтой грязи, какой в нормальных городах не бывает, он совсем не удивился. Не удивило его и то, что пропала подаренная гуннским ханом шуба.

— Как я здесь оказался? — спросил он.

— А ты вчера бухал с кем-то в ресторане «Северное сияние» на улице Рылеева. Это у Курского вокзала. Наверно, бабки засветил. Вот тебе клофелина в водку и налили.

«Ну, Жень Ци, — подумал Юань Мэн, — в этот раз точно отрублю тебе голову».

— Клофелин — это глазные капли, — продолжал врач. — Если их налить в водку, то очень резко падает давление, и человек отрубается. Это обычно бляди делают. Выключают клиента часа на два. Но тебе уж очень много налили. Новички, наверно. Вот ты на шестнадцать часов в кому и попал. А вообще частый случай. У Курского вокзала бригада клофелинщиков работает.

Юань Мэн закрыл глаза и вдруг вспомнил странную картинку — он, кажется, видел ее в журнале, который листал в кабине грузовика, перед тем как заснуть. Там был нарисован человек в военном мундире, небритый, со свирепым взглядом. Юань Мэн даже вспомнил подпись:

«Декабрист Рылеев-Пушков в ответ на слова, что тайные общества наши были подобием немецкого Тугенд-бунда, отвечал: «Не к Тугенд-бунду, но к бунту я принадлежала. Император долго хохотал и отправил его в ссылку. А, в сущности, вполне мог повесить — иные повисли и за меньшее».

— Жень Ци, Жень Ци... — пробормотал Юань Мэн. — Голову, может, и не отрублю, но в ссылку точно отправлю.

— Чего? — спросил врач. — У вас были какие-то галлюцинации в коме?

— Не в коме просто, но в Коми я был, — тихо сказал Юань Мэн.

— Как? — спросил врач.

— Так, — сказал Юань Мэн. — И вы сами, в сущности, тоже в Коми. А в ссылке тут мы все.

Врач посерьезнел и внимательно посмотрел на Юань Мэна.

— Придется тебе, братишка, у нас маленько зависнуть, — сказал он и отошел от кровати.

Два дня подряд Юань Мэн отдыхал, глядя на ползавших по потолку и стенам тараканов. Они были большие и умные и могли планировать со стен на пол. Сосед по палате рассказал, что раньше таких тараканов не было и этот вид называется «новый прусский» — от свободы и радиации их развелось видимо-невидимо. Он даже читал стихи поэта Гумилева про какую-то болотную тварь, у которой мучительно прорезались крылья, но Юань Мэн не особо слушал.

Иногда к нему подходили врачи и задавали идиотские вопросы. Юань Мэн на вопросы

не отвечал, а прятался под одеялом и думал. А на третий день рано утром он встал, надел свой грязный халат и пошел к выходу.

По дороге он украл со стола старый скальпель. Его пытались остановить врачи, но он сказал им, что, если они это сделают, их замучает совесть, отчего врачи побледнели от страха и расступились. Юань Мэн нашел их уважение к моральному закону достойным восхищения. Он не знал, что перед ним в палате лежал долгопрудненский авторитет по кличке Вася Совесть, который остался очень недоволен едой и тараканами и обещал разобраться.

Выйдя в тундру, в которой повсюду стояли уродливые каменные дома. Юань Мэн поймал голубя, вымазал ему одно перо из хвоста желтой грязью с обочины, привязал его за длинную веревку к своему пальцу и остановил такси. Поскольку он уже знал, как ведут себя шоферы в нижней тундре, он не стал тратить времени на разговоры, а приставил таксисту к горлу скальпель и велел ехать в ту сторону, куда полетит голубь. Шофер не стал спорить.

По дороге он затормозил только один раз — когда Юань Мэн захотел рассмотреть памятник Мейерхольду, о котором ему рассказывал старый шаман. Это был высокий бетонный обелиск, к которому была приделана вечно падающая трапеция с парящими вокруг голыми боярами из бронзы. Таксист сказал, что скульптор Церетели сначала хотел продать эту композицию как памятник героям парашютно-десантных войск, но потом, когда десантные войска расформировали, переосмыслил уже отлитые статуи.

Голубь летел зигзагами, и машина Юань Мэна часто цепляла другие машины. Некоторые из них были очень красивыми и наверняка дорогими, и сидевшие в них люди с золотыми цепями на шеях злобно шурились и топырили пальцы. Юань Мэн догадался, что это местные чиновники, которые хотят объяснить ему, сколько у них оленей, чтобы он их уважал. В ответ он показывал один палец, средний, чтобы они поняли, что хоть оленей у него совсем нет и он в мире один, зато, по всем китайским понятиям, стоит точно посередине между землей и небом.

Скоро машина выехала из города и стала плутать по разбитым дорогам. Голубь летел то в одну сторону, то в другую, и машина несколько раз увязала в грязи. Шофер еле успевал выкручивать между ствол и пней. И вдруг голубь сел на капот.

Юань Мэн велел затормозить, вылез и огляделся. Машина стояла на круглой поляне со следами от костров, а из низких туч, которые почти цепляли за верхушки деревьев, свисал знакомый шелковый шнур.

Юань Мэн, собственно говоря, этого и ожидал. Отпустив голубя, он забрался на крышу машины. Таксист предательски нажал на газ, но Юань Мэн успел подпрыгнуть и уцепиться за шнур, который сразу же стал подниматься вверх. И, когда он еще виден был в зеркало спешащему назад в нижнюю тундру таксисту, до его ушей уже долетали звуки цитры и гуслей, а вскоре (в этом он был не вполне уверен, но так ему показалось) послышалось печальное пение его любимой наложницы Ю Ли и яростный лай придворного пекинеза, который никак не мог взять в толк, за что его поймали, дали сорок шлепков по заду и заперли в клетку.

А сорок шлепков по заду он получил, понятное дело, не за то, что ему приснился сон, в котором он стал колдуном при гуннском хане, а за то, что в этом сне он обнаглел настолько, что осмелился назвать котлы для варки баранов «Поющими Чашами».

МАКЕДОНСКАЯ КРИТИКА ФРАНЦУЗСКОЙ МЫСЛИ

Любая концепция формирует основу для дуалистического состояния ума, а это создает дальнейшую сансару.

Тулку Ургьен Ринпоче

Во всей вселенной пахнет нефтью.

Вильям Джеймс

По социальному статусу Насых Нафиков, известный друзьям и Интерполу как Кика, был типичным «новым русским» эпохи первоначального накопления кармы. По национальности он, правда, не был русским, но назвать его «новым татаринном» как-то не поворачивается язык. Поэтому лучше обойдемся без ярлыков и просто расскажем его жуткую и фантазмагорическую историю, которая заставила некоторых впечатлительных людей, знакомых с делом по таблоидам, окрестить его Жиль де Рецем нашего времени.

Нафиков родился в Казани, но вырос в Европе. Его ранние дни — время, когда формируется скелет личности, — проходили сначала в англоязычных садиках, а затем в космополитических школах для детей дипломатов. Кика на всю жизнь запомнил стишок, висевший в одном из таких заведений над умывальником:

We condemn in strongest terms.

Dirty nails that harbour germs!^[37]

Неподконтрольные родителям впечатления детства сформировали Кику скорее европейцем, чем «евразийцем», как называл себя его отец, очень любивший этот термин и часто примерявший его на сына. Сыну же это дикое слово казалось обозначением человека, который, будучи в ударе, может сойти за азиата в Европе и за европейца в Азии. Сама же Евразия, о которой часто рассуждал отец, представлялась ему чем-то вроде виртуальной Атлантиды, утонувшей в портвейне задолго до его появления на свет.

В момент рождения сына Насратулла Нафиков был крупным партийным бонзой в Татарстане; в момент своей смерти — нефтяным магнатом, успешно обменивавшим партийную ренту на природную. Он слег от удара, узнав о правительственном решении то ли сократить какие-то квоты, то ли поднять какие-то отчисления. Но ему не дали умереть своей смертью — прямо в палате больницы его добил снайпер. Шептались, что это был сам Александр Солоник, прозванный Шурой Македонским за свой необыкновенный талант к стрельбе по-македонски — с двух рук не целясь. Загуляв и поистратившись в Казани, он якобы взял халтуру, чтобы поправить дела. В пользу этой версии говорило то, что на чердаке

соседнего с больницей дома нашли бельгийскую винтовку калибра 5,45, той самой модели, на которой знаменитый художник-ликвидатор всегда останавливал свой выбор в подобных обстоятельствах. Против нее говорило то, что Солоника убили в Афинах задолго до описываемых событий. Стоит ли говорить, что именно по последней причине народ в эту версию верил.

Кика Нафиков плохо понимал в российских реалиях и не до конца уяснил, что явилось настоящей причиной трагедии. По настоянию отца он изучал философию в Сорбонне, но имел и некоторую экономическую подготовку. Он мог разобраться во всем, касающемся отчислений и квот. Но, как объяснил печальный гонец с родины, причина на самом деле была в том, что отец «взял за яйца серую лошадку», чего делать не следовало, поскольку «крыша в углу кусается». Кика, пораженный колдовской силой русского языка, который он знал немного хуже английского с французским, не стал углубляться в подробности.

Нафикова-старшего многие жалели: при всей своей деловой оборотистости он был хорошим человеком — одним из тех странных советских идеалистов, причина появления которых в СССР навеки останется загадкой мироздания.

Смерть отца, которая совпала с завершением образования, сделала Нафикова-младшего богатым человеком — очень богатым, по меркам любой страны. Поколесив по Европе, Кика осел во Франции, на Кап Ферра, где покойный евразиец еще в советские времена ухитрился каким-то образом заевразировать небольшую виллу. Постройка в стиле «пуэбло» была кубом песчаного цвета с прозрачной крышей — она выглядела бы уместней где-нибудь в Альбукерки, Нью-Мексико. Высокая ограда скрывала ее от нескромных взглядов, и видна она была только со стороны моря. Семь бронзовых слоников работы Церетели, которых Нафиков-старший в ельцинскую эпоху установил на спуске к воде (самый большой весил столько же, сколько танк «тигр», это Кика помнил с детства), были утоплены в Средиземном море командой рабочих, получившей от сына щедрое вознаграждение за работу в ночное время. Дело было не в Кикином равнодушии к искусству. Он подозревал, что эти зверюшки были для отца чем-то вроде противотанковых ежей, призванных защитить от натиска реальности. Тем серьезней был повод уволить их за профнепригодность.

Трудно сказать наверняка, когда началась душевная болезнь Кики. Слухи о том, что он тронулся головой, впервые пошли из-за новшества, которое он ввел на своей вилле. В каждой комнате, даже в небольшом спортзале с покрытым пылью универсальным тренажером, похожим на уэллсовского марсианина, было установлено по телевизору, с утра до вечера крутившему детский канал немецкого телевидения «Кика», передававший в основном мультфильмы. Никаких других программ телевизоры не показывали. Многие считали, что именно этой странности Кика и обязан своим прозвищем.

Нафиков-младший не знал немецкого языка, и в подвальной комнатке было оборудовано место для синхрониста, который непрерывно переводил все, что показывал телеканал. К концу дня синхронист уставал и начинал сбиваться, но Кика не расстраивался по этому поводу, потому что ошибки иногда выходили смешными. Вскоре, однако, пришлось нанять второго переводчика и разбить вахту на две смены, потому что один синхронист не справлялся. Тогда приятель Кики придумал угощать переводчиков какими-то амстердамскими таблетками, вызывавшими у них путаницу в мыслях и сбивчиво-бредовое многословие. Перевод стал выходить очень потешным, и к Кике стали специально ездить в гости на этот номер. Синхронисты поняли, что от них требуется, и, выторговав прибавку за вредность производства, смирились. Обкуренные гости Кики называли одного синхрониста

Урим, а другого Туммим — по аналогии с небесными камнями-переводчиками из мормонской библии.

По другим сведениям, прозвище «Кика» появилось у Нафикова значительно раньше, еще во время изучения философии в Париже. Эту кличку якобы дал ему научный руководитель, полагавший, что подлинное понимание философии пробуждается в ученике только тогда, когда он беззаветно принимает в себя пламя, пылающее в наставнике. Конкретная технология передачи священного огня показалась пришельцу из российской глубинки несколько неожиданной, но стремление к утонченному европейскому идеалу оказалось сильнее смущения и стыда. Так, во всяком случае, вспоминал Зураб (Зизи) Мердашвили, покойный философ, вместе с которым Нафиков обучался *любомудрию* (в сочинении, о котором пойдет речь ниже. Кика возводит этимологию этого термина не к выражению «любовь к мудрости», а к словам «любой мудака»).

Воспоминания покойного Зизи, нигде не задокументированные и дошедшие до нас только в устном пересказе, — слишком зыбкая опора для утверждений, которые могут иметь юридические последствия. Поэтому не будем называть профессора, у которого обучался Кика. Он еще жив, и его громкое имя известно не только в профессиональных кругах. Ограничимся намеком: речь идет о философе, которого в последние годы позиционируют в качестве секс-символа мыслящей французской женщины от сорока пяти до шестидесяти лет.

Повторим — мы не можем утверждать, что однокурсник Нафикова говорил правду. Но трудно не заметить, что его слова объясняют многое — и привязанность к телеканалу «Кика», и болезненную, с четким знаком «минус», одержимость Нафикова французской философией, обличение которой стало главной страстью его жизни. Хочется добавить: все это было бы смешно, когда бы не было так страшно. Но перед тем как перейти к страшной части этой истории, закончим со смешной — потому что одно перетекает здесь в другое постепенно и незаметно.

Кика полагал себя мыслителем, намного превзошедшим своих французских учителей. Это видно уже из названий его первых сочинений: «Где облажался Бодриар», «Деррида из пруда» и тому подобное. Сказать что-нибудь по поводу этих текстов трудно — неподготовленному человеку они так же малопонятны, как и разбираемые в них сочинения великих французов. Отзывы же людей подготовленных туманны и многословны; напрашивается вывод, что без сорбоннского профессора с его инъекцией священного огня невозможно не только понять что-нибудь в сочинениях Нафикова, но даже и оценить их профессиональный уровень. «Гениальный недоумок», «звездное убожество» и прочие уклончивые эпитеты, которыми Нафикова награждали привлеченные Интерполом эксперты, не только не помогли следствию, а наоборот, совершенно его запутали, создав ощущение, что современные философы — это подобие международной банды цыган-конокрадов, которые при любой возможности с гиканьем угоняют в темноту последние остатки простоты и здравого смысла.

Название самой известной работы Кики — «Македонская критика французской мысли», — несомненно, отражает его семейную драму и намекает на Сашу Македонского, легендарного убийцу Нафикова-старшего. Это сочинение, которое становится по очереди воспоминаниями о детстве, интимным дневником, философским трактатом и техническим описанием, — странная смесь перетекающих друг в друга слоев текста, с первого взгляда никак не связанных друг с другом. Только при внимательном прочтении становится видна кошмарная логика автора и появляется возможность заглянуть в его внутреннее измерение

— возможность уникальная, поскольку маньяки редко оставляют нам отчет о ходе своих мыслей.

Философская часть «Македонской критики» — это попытка низвергнуть с пьедестала величайших французских мыслителей прошлого века. Мишель Фуко, Жак Деррида, Жак Лакан и так далее — не обойдено ни одно из громких имен. Названием работа обязана методу, которым пользуется Кика, — это как бы стрельба с двух рук, не целясь, о чем он говорит в коротком предисловии сам. Достигается это оригинальным способом: Кика имперсонировывает невежду, никогда в жизни не читавшего этих философов, а только слышавшего несколько цитат и терминов из их работ. По его мысли, даже обрывков услышанного достаточно, чтобы показать полную никчемность великих французов, и нет нужды обращаться к оригиналам их текстов, тем более что в них, как выражается Кика, «тупой ум утонет, как утюг в океане г-на, а острый утонет, как дамасский клинок».

При этом Кика стремится сделать свой пасквиль максимально наукообразным и точным, уснащая его цитатами и даже расчетными формулами. Подход был бы, возможно, интересен, если бы критик-невежда, которым притворяется Кика, не был таким отчетливым французским философом. Увы, неподготовленный читатель при знакомстве с философскими пассажами «Македонской критики» неизбежно почувствует себя чем-то вроде утюга в ситуации, упомянутой Нафиковым. Все претензии, которые Кика предъявляет французам, могут быть точно так же обращены к нему самому.

Вот, например, как он сравнивает двух философов, Бодриера и Дерриду:

«Что касается Жана Бодриера. то в его сочинениях можно поменять все утвердительные предложения на отрицательные без всякого ущерба для смысла. Кроме того, можно заменить все имена существительные на слова, противоположные по значению, и опять без всяких последствий. И даже больше: можно проделать эти операции одновременно, в любой последовательности или даже несколько раз подряд, и читатель опять не ощутит заметной перемены. Но Жак Деррида, согласится настоящий интеллектуал, ныряет глубже и не выныривает дольше. Если у Бодриера все же можно поменять значение высказывания на противоположное, то у Дерриды в большинстве случаев невозможно изменить смысл предложения никакими операциями».

Бросается в глаза, что особое раздражение Кики во всех случаях вызывает Жан Бодриер, часто называемый «Бодриером» — по аналогии с термином «симулякр» (которым Кика чудовищно злоупотребляет в «Македонской критике», оговариваясь, правда, следующим образом: «Читатель понимает, что слово «симулякр», как его употребляю я. есть всего лишь симулякр бодриеровского термина «симулякр»). Раздражение легко объяснить — именно Бодриер стоял у истоков открытия, которое сделало Кика преступником, но, как он полагал, поставило далеко впереди всех современных мыслителей.

Ненависть Нафикова к Бодриеру — это интеллектуальный эдипов комплекс. Он проявляется в желании уничтожить идейного предшественника, магически перенеся на него судьбу отца, испытавшего на себе всю мощь македонской критики. Дерриде с Соссюром пришлось отдуваться просто за компанию. Но здесь от смешного мы начинаем переходить к страшному.

Расколошматив своих идейных наставников из двух стволов. Кика задумчиво вопрошает: почему вообще существует французская философия? Его ответ таков — это интеллектуальная погремушка, оплачиваемая транснациональным капиталом исключительно для того, чтобы отвлечь внимание элиты человечества от страшного и

позорного секрета цивилизации.

Кика полагал, что был первым, кто увидел этот секрет во всей его жуткой простоте. Зародыш, из которого родилась его мания, мирно дремал в книге Бодрияра «Символический обмен и смерть». Мы приведем эти роковые слова чуть позже: чтобы понять реакцию, которую они вызвали в Кике, надо представить себе гремучую смесь, находившуюся в его сознании к этому моменту. Сделать это несложно — в «Македонской критике» он уделяет воспоминаниям много места, предвкусывая, видимо, внимание историков.

Начинает он с рассказа о том, какую роль сыграла в его жизни нефть. Еще мальчиком он понял, насколько от нее зависит благосостояние семьи, — и отреагировал по-детски непосредственно. На стене кабинета Нафикова-старшего долгие годы висел рисунок сынишки: некто зловещего вида, похожий не то на Синюю Бороду, не то на Карабаса-Барабаса, держит над запрокинутым лицом круглый сосуд с контурами материков, из которого в рот ему льется тонкая черная струйка. Снизу разноцветными шатающимися буквами было написано: «ПАПА ПЬЕТ КРОВЬ ЗЕМЛИ». Рядом висел другой интересный рисунок — сделанный из замерзшей нефти снеговик с головой Ленина (из-за того, что усы и борода Ильича были нарисованы белым по черному, снеговик больше походил на Кофи Аннана). Под снеговиком был стишок, написанный мамой:

Что за черный капитал
Все собою пропитал?
Он смешную кепку носит.
Букву «Р» не произносит!

Став постарше, Кика набросился на книги. Из многочисленных детских энциклопедий, которые покупал отец, выяснилось, что нефть — это не кровь земли, как он наивно полагал, а что-то вроде горючего перегноя, который образовался из живых организмов, в глубокой древности населявших планету. Он был потрясен, узнав, что динозавры, которых, как кажется, может воскресить только компьютерная анимация, не исчезли без следа, а существуют и в наше время — в виде густой и пахучей черной жидкости, которую добывает из-под земли его отец. Когда его впервые посетила эта мысль, он спросил отца: «Папа, а сколько динозавров съедает в час наша машина?» Эти слова, показавшиеся отцу ребячьим бредом, имели, как мы видим, достаточно серьезную подоплеку.

Естественно, маленького Кику интересовала не только нефть. Как и другие дети, он задавался великими вопросами, на которые не знает ответа никто из взрослых. Отец отвечал как мог, со стыдом чувствуя, что ничего не понимает про мир, в котором зарабатывает такие огромные деньги, — словом, все было как в обычной семье. Однажды Кика спросил, куда деваются люди после смерти.

Это случилось в промежутке между двумя заграничными поездками; Кика временно ходил в казанский садик, где сидел на горшке рядом с внуком идеологического секретаря национальной компартии. Нафиков-старший, взобравшийся на вершину жизненного Олимпа исключительно благодаря своей интуиции, сделал стойку. Чутье подсказало ему, что надо быть очень и очень осторожным: именно из-за подобных мелочей бесславно завершилось множество карьер. Сославшись на головную боль, он велел Кике отстать, а сам попросил помощника срочно подготовить по этому вопросу взвешенную справку, в которой будет

максимально внятно отражено все то, что говорит по этому поводу официальная идеология.

На следующий день потрясенный Кика узнал, что после смерти советский человек живет в плодах своих дел. Это знание вдохновило мальчика на новую серию жутковатых рисунков: подъемные краны, составленные из сотен схватившихся друг за друга рук; поезда, словно сороконожки, передвигающиеся на множестве растущих из вагонов ног; реактивные самолеты, из дюз которых смотрят пламенные глаза генерального конструктора, и так далее. Интересно, что всем этим машинам, даже самолетам, Кика подрисовывал рот, в который маршировали шеренги крохотных динозавров, похожих на черных ошипанных кур.

Если у Кики и состоялся обмен метафизическим опытом с соседями по горшку, он закончился без вреда для отцовской карьеры. Но объяснение тайны советского послесмертия засело в сознании ребенка так глубоко, что стало, можно сказать, фундаментом его формирующегося мировоззрения. Естественно, что эта тема вскоре оказалась в тени других детских интересов. Но через много лет, когда выросший Кика уже изучал философию в Сорбонне, началась российская приватизация, и прежний вопрос поднялся из темных глубин его ума.

Допустим, советские люди жили после смерти в плодах своих дел. Но куда, спрашивается, девались строители развитого социализма, когда эти плоды были обналичены по льготному курсу группой товарищей по удаче? То, что в эту группу входил его отец, делало проблему еще более мучительной, потому что она становилась личной. Где они теперь, веселые строители Магнитки и Комсомольска, отважные первопроходцы космоса и целины, суровые покорители Гулага и Арктики?

Ответ, что созданное их трудом сгнило и пропало, не устраивал Кику — он знал, что вещи переходят друг в друга, подобно тому, как родители продолжают себя в детях: детали нового станка вытачивают на старом, а сталь переплавляется в сталь. Другой расхожий ответ — что все, мол, разворовано, продано и вывезено — был одинаково непродуктивен. Кику волновал не уголовно-имущественный, а философско-метафизический аспект вопроса. Можно было месяцами изучать бизнес-схемы и маршруты перетекания капитала, можно было наизусть заучить биографии олигархов — и декоративных, которые у всех на виду, и настоящих, о которых мало что знает доверчивый обыватель, — но от этого не делалось яснее, куда отправились миллионы поверивших в коммунизм душ после закрытия советского проекта. Этот вопрос ржавым гвоздем засел в сознании Кики и долгие годы ждал своего часа.

Однажды этот час пробил.

Предоставим слово Кике и «Македонской критике»:

«Был обычный осенний полдень, ясный и тихий. Я сидел у телевизора с книжкой; кажется, это был «Символический обмен и смерть» чудовищного Бодриера. На экране мелькал какой-то мультфильм, за которым я следил краем глаза: пират в треуголке, радостно хохоча, танцевал вокруг сундука с сокровищами, время от времени нагибаясь над ним, чтобы запустить руки в кучу золотых пиастров... И вдруг крышка сундука обрушилась вниз, вычеканив из его головы монету вроде тех, что лежали внутри. Монета была еще живой — профиль на ней яростно моргал единственным сохранившимся глазом, но рот, похоже, склеился навсегда. Туммим, который в этот момент был на пике прихода, прекратил хихикать (таким образом он переводил смех пирата) и спросил непонятно кого — надо полагать, меня, потому что, кроме нас и охраны, на вилле никого не было:

— Интересно, а остальные монеты... Они что, типа тоже из голов, да? Типа другие

пираты подходили, открывали, потом бам, и все, да? И за несколько веков, значит, набежал целый сундук...

Мой взгляд упал на страницу и выхватил из путаницы невнятных смыслов странное словосочетание: «работник, умерший в капитале». И тайна денег в одну секунду сделалась ясна, как небо за окном».

Попробуем коротко изложить то, что Кика называл «тайной денег». Деньги, по его мнению, и есть остающаяся от людей «нефть», та форма, в которой их вложенная в труд жизненная сила существует после смерти. Денег в мире становится все больше, потому что все больше жизней втекает в этот резервуар. Отсюда Кика делает впечатляющий вывод: мировая финансовая клика, манипулирующая денежными потоками, контролирует души мертвых, как египетские маги в фильме «Мумия возвра-ищется» с помощью чар управляют армией Анубиса (внимательный читатель «Македонской критики» заметит, что Кика чувствует себя немного увереннее, когда оперирует не категориями философии, а примерами из кинематографа).

Здесь и кроется разгадка посмертного исчезновения советского народа. Плезиозавр, плескавшийся в море там, где ныне раскинулась Аравийская пустыня, сгорает в моторе японской «Хонды». Жизнь шахтера-стахановца тикает в бриллиантовых часах «Картье» или пенится в бутылке «Дом Периньон», распиваемой на Рублевском шоссе. Дальше следует еще более залихватский вираж: по мнению Кики, задачей Гулага было создать альтернативный резервуар жизненной силы, никак не сообщающийся с тем, который контролировали финансовые воротилы Запада. Победа коммунизма должна была произойти тогда, когда количество коммунистической «человеконефти», насильно экстрагированной из людей, превысит запасы посмертной жизненной силы, находящейся в распоряжении Запада. Это и скрывалось за задачей «победить капитализм в экономическом единоборстве». Коммунистическая человеконефть не была просто деньгами, хотя могла выполнять и эту функцию. По своей природе она была ближе к полной страдания воле, выделенной в чистом виде. Однако произошло немыслимое: после того как система обрушилась, советскую человеконефть стали перекачивать на Запад.

«По своей природе процесс, известный как «вывоз капитала», — пишет Кика, — это не что иное, как слив инфернальных энергий бывшего Советского Союза прямо в мировые резервуары, где хранится жизненная сила рыночных демократий. Боюсь, что никто даже не представляет себе всей опасности, которую таит происходящее для древней западной цивилизации и культуры».

Эта опасность связана с тем, что Кика называет «Серным фактором». Название взято им из нефтяного бизнеса. Знание технологических аспектов нефтяного дела, которое он обнаруживает в своих выкладках, неудивительно — надо полагать, об этих вопросах Нафиковы говорили за утренним чаем, так же, как в других семьях беседуют о футболе и погоде. Просим прощения, если некоторые понятия, которыми оперирует Кика, покажутся слишком специальными, но цитата поможет лучше представить себе безумную логику «Македонской критики».

«Если полстакана «Red Label» смешать с полстаканом «Black Label», — пишет Нафиков, — получившееся виски будет лучше первого, но хуже второго. С нефтью то же самое. Продукт под названием «Urals», который продает Россия, — это не один сорт, а смесь множества разных по составу нефтей, закачиваемых в одну трубу. При этом происходит усреднение качества. Поэтому те поставщики, нефть которых выше сортом и содержит

меньше серы, получают компенсацию. Это так называемый Серный фактор, рассчитываемый по формуле:

$S_f = 3,68 (S_2 - S_1)$ долларов за тонну.

Здесь S_2 — коэффициент, отражающий среднее содержание серы в смеси, а S_1 — ее содержание в нефти более высокого качества. Тот же принцип пересчета действует для североморской нефти Brent, сахарской смеси Saharan Blend, Arabian Light и так далее. Все это — коктейли из множества ингредиентов, которые значительно отличаются друг от друга. Символично, однако, что в нефти Urals значительно больше серы по сравнению с другими марками — что поэтически точно отражает специфику ее добычи и многие аспекты связанной с ней деятельности. Каждый, кто знаком с российским нефтяным бизнесом[^] знает этот незабываемый привкус Серного фактора, во всем — от первой утренней чашки кофе до последнего ночного кошмара. И чем ближе к трубе, тем сильнее пахнет серой. Отсюда и этот характерный для российской нефтяной элиты «бурильный» взгляд — как на последних фотографиях Бодриера.

Раз уж речь зашла о Бодриере. Вот кого можно назвать *серным* кардиналом французской мысли...»

И пошло и поехало. Если в построении «Македонской критики» проглядывает какой-то принцип, он только в подобных прыжках от предмета к предмету. Забыв на время про нефть (а через абзац — и про Бодриера), Кика устраивает блицпогром в лагере всего того, что он называет «концептуальным языкоблудием».

Он по-быстрому строит всех французских мыслителей в две шеренги, применяя принцип, который без ложной скромности называет «Бритва Нафикова».

В первую шеренгу попадают те, кто занят анализом слов; их Кика называет «лингвистическими философами». По его мысли, они похожи на эксгибиционистов, так глубоко нырнувших в свой порок, что им удалось извратить даже само извращение: «Дождавшись одинокого читателя, они распахивают перед ним свои одежды, но вместо срама, обещанного похотливым блеском их глаз, мы видим лишь маечку с вышитым словом «х-й».

Во вторую шеренгу попадают «нелингвистические философы», то есть те, кто пытается заниматься чем-то еще, кроме анализа слов. Чтобы приведенная аналогия распространялась и на них, пишет Кика, достаточно представить, что «наш эксгибиционист является переодетой женщиной — и не просто женщиной, а девственницей, так и не научившейся прятать под непристойным словом на упругой груди свою веру в то, что детей находят в капусте».

Такая рельефная образность могла бы сделать честь нашему антигерою, если бы не информация Зизи Мердашвили, что Кикку по этому вопросу консультировал другой парижский профессор, называть которого мы не будем по той же причине, что и первого: вряд ли кто-то захочет признать, что питал извращенный ум маньяка концепциями и силлогизмами. Намекнем, однако, что во втором случае речь идет о философе, которого позиционируют как символ всепобеждающего интеллекта на духовном горизонте француженки старше тридцати пяти, ведущей активную половую жизнь.

Трудно сказать, что именно Кика заимствовал у других, а до чего дошел сам. Но одну мысль из посвященной «концептуальному языкоблудию» части можно смело приписать лично ему безо всякого риска ошибиться. Вот она:

«Французы напрасно думают, что это они изобрели «деконструкцию». Еще мальчиком в

Казани я знал, что это такое, как знало до меня несколько поколений казанской урлы. Деррида просто перевел на французский татарское слово «разборка», и все. Но если лингвистическая школа попробует вякнуть, что все сводится к словам, я скажу... Я скажу... Не дождетесь, чтобы Кика начал разборку. Кика лучше сделает деконструкцию. Он молча укажет пальцем на вашу маечку, забудет про вас навсегда и пойдет в каморку к Уриму и Туммиму на косячок амстердамской призовой». (В одном из вариантов «Македонской критики» вместо «разборка» стоит «перестройка».)

И так далее. Когда Кика наконец возвращается к вывозу капитала и Серному фактору, редкий читатель еще помнит, что это такое. Но Кика чувствует себя непринужденно, словно и не отходил от темы:

«Если в трубу, занятую Западно-Техасской Кислой (WTS), начнет вдруг поступать смесь Urals с высоким серным фактором, перерабатывающие заводы получают сырье совершенно другого состава, для которого окажутся неверны все прежние технологические расчеты. Это поймет даже дурак. Но почему-то принято думать, что тридцать миллиардов долларов, которые каждый год вывозились из России, могут незаметно слиться с западным капиталом. Считается, что жизненная сила при трансфере полностью обезличивается, и деньги, выкачанные из России, ничем не отличаются от денег из военного бюджета Пентагона, личного состояния Билла Гейтса или внешнего долга Бразилии. Между тем сущности, о которых идет речь, настолько разнятся по своей природе, что их ни в коем случае нельзя смешивать, как нельзя это делать с Urals и Западно-Техасской Кислой».

Чуть дальше Кика делает очень интересное наблюдение:

«Кстати сказать, существует два сорта нефти, которые добываются в разных точках земного шара, но могут замещать друг друга, поскольку практически не отличаются по качеству и имеют один и тот же Серный фактор. Жуткий и многозначительный символизм: речь идет о российской смеси Urals и иракской нефти Kirkuk. О Саддам! О Иосиф! Oh George!»

В этом разделе Кика, не проявлявший интереса к духовным учениям и числившийся приверженцем ислама только номинально, вплотную приблизился к пониманию того, что самые продвинутые из мусульман называют кармой. Его мысль такова: особенности земного существования душ, превратившихся после смерти в деньги, отбрасывают тень на жизнь общества, пользующегося этими деньгами. Больше того, такая тень становится своего рода лекалом, по которому новые поколения «делают жизнь», даже не догадываясь о том, что именно служит им образцом, хотя постоянно держат этот «образец» в руках в самом прямом смысле. На предсознательном уровне догадки об этом возможны: именно этим объясняется иррациональное на первый взгляд стремление Британии сохранить фунт стерлингов (и весь связанный с ним загробный пантеон империи) после того, как объективные экономические причины для этого исчезли.

«Эхо прошлого, — пишет Кика, — настигает нас на пустыре духа в сумерках истории. Прошлое остается с нами, несмотря на попытки начать все заново, — и всегда оказывается сильнее. Мы не можем ни спрятаться, ни увернуться. Мы даже не в состоянии понять, как именно оно становится будущим. Лист доисторического дерева, отпечатавшийся на угольном сколе, различим в мельчайших деталях. хотя про него нельзя сказать, что он существует: никто не может взять его в руку или заложить между книжных страниц. Но его можно скопировать и даже сделать эмблемой на флаге вроде канадского. Точно так же отзвук прошлого, о котором мы говорим, нематериален и неуловим — но определяет все то,

что случится с нами и нашими детьми».

Никаких детей у Кики, кстати, не было.

Что происходит, когда миллионы советских человекоидней конвертируются в доллары и евро? По мысли Кики, это равносильно неощутимому и потому особо страшному вторжению армии голодных духов в кровеносную систему международной экономики — но чтобы увидеть это, нужны не придурковатые финансовые аналитики, которые не умеют предсказать рецессию даже через год после того, как она началась, а духовидец наподобие Сведенборга. Читатель, видимо, уже догадался, что таким духовидцем Кика полагает себя.

«Человек, наделенный способностью к духовному зрению, увидит гулаговских зэков в рваных ватниках, которые катят свои тачки по деловым кварталам мировых столиц и беззубо скалятся из витрин дорогих магазинов, — пишет он. — Смещение жизненной энергии двух бывших антиподов мироздания — безответственная и безумная акция, которая изменит лицо мира. Кризис, поразивший наиболее продвинутые экономики, и агрессивная военная паранойя их лидеров — только первое следствие этого эксперимента. Все беды, которые обрушились на западную цивилизацию в начале нового тысячелетия, объясняются тем, что Серный фактор западной жизни стал значительно выше».

В России, по его мнению, происходит обратный процесс — экономическая катастрофа и обнищание сопровождаются не демонстрациями и баррикадными боями, как ожидали социологи, а все большей эйфорией и влюбленностью населения в руководство, ведущее народ от одного оврага к другому — поскольку долларизация страны, сопровождающая это веселое путешествие, снижает Серный фактор, и общая инфернальность русской жизни падает.

«Увы, — констатирует Кика, — международные финансовые хищники просчитались — вместо крови они высосали из России весь многовековой ядовитый гной, который теперь безуспешно пытаются переварить».

Это «увы» очень характерно. Многие западные таблоиды, в особенности французские, изображали Кику эдаким «мстителем за Россию», который сводил счеты с воображаемыми виновниками бед своей страны. Ничего не может быть дальше от истины, чем эта точка зрения. «Доказательства», которые приводят журналисты, смехотворны. Например, часто повторяется цитата, где Кика называет Францию «прекрасной скупщицей краденого». Но это вовсе не выражение презрения или ненависти. Напротив, это признание в любви. В кругу, где Кика рос и формировался, никто не стал бы использовать слова «скупщик краденого» в качестве оскорбления, как не стали бы этого делать сбытчики краденого. То же относится и к другим сентенциям Кики, которые выхвачены из контекста и изображают его совсем не тем, чем он был.

Например, утверждают, что Кика называл Серным фактором поток несчастий, поразивший семьи олигархов, которые захватили созданные Гулагом богатства. Но во всей «Македонской критике» лишь одна строчка дает повод для такого толкования:

«Предсмертное проклятие сталинских рабов не растворилось бесследно в морозном воздухе Сибири — отразившись в небесных зеркалах, оно нашло себе новых адресатов».

Серный фактор, про который Кика говорит в другом месте и по другому поводу, здесь ни при чем.

Глупо приписывать Кике антибуржуазный пафос, как это делают журналисты, мужественно поднимающие свой голос в защиту капитализма. Кика действительно приступил к осуществлению своего зловещего плана сразу после того, как посетил показ

коллекции модельера Джона Галиано, где на подиум падал дождь из лепестков золотой фольги. Этот золотой дождь, к образу которого он возвращается несколько раз, стал для него окончательной метафорой человеконефти — жизненной силы мертвых, воплотившейся в деньгах. Но Кикой управляло вовсе не «омерзение к извращенцам, устраивающим похабные танцы под дождем из перебродившей крови», как писал один излишне пронизательный московский обозреватель, путающий собственные чувства с чужими. Наоборот, им двигало стремление защитить хрупкую и утонченную европейскую культуру от опасности, которая, как он полагал, была видна ему одному.

Кика никогда не считал себя левым или правым и не отождествлял себя с какой-либо нацией. Что касается политических взглядов, то их у него просто не было. Он называл себя «мыслящим патриотом» — то есть таким, чей патриотизм распространяется на все места, где тепло и солнечно («история России показала, — писал Кика, — что люди, публично исповедующие иную точку зрения, как правило, просто лжецы, пробирающиеся в теплые и солнечные места окольным путем, причиняя при этом неисчислимы страдания ближним»). Дитя Европы, он имел, если так можно выразиться, среднюю для евротрубы Identity^[38], составленную из обрывков телепередач, комиксов и рекламных клипов, поглощенных им в разных европейских столицах. Вот как он говорит сам:

«Если сравнивать мою душу со зданием, то в ее стены легло лишь несколько вывезенных из России булыжников, которые из орудия пролетариата давно превратились во что-то вроде гадательных камней (мои внутренние Урим и Туммим), которые не делают меня врагом западных ценностей — я люблю секс и деньги и не стыжусь в этом признаться, — но позволяют мне видеть то, чего не понимают наивные и доверчивые европейцы».

Вряд ли разумно объяснять действия Кики и сексуальными проблемами. Эта точка зрения опирается главным образом на то, что Кика заменяет все непристойные термины сокращениями с прочерком — по мысли некоторых склонных к психоанализу авторов, это отражает его половую несостоятельность. Но Кика проделывает ту же операцию и со словом «б-г», беря пример с еврейских священных текстов. Чем это вызвано — стремлением к особо изощренному богохульству или простым оригинальничаньем, — сказать сложно, и вопрос остается открытым. Вот как, например, выглядит пассаж, посвященный писателю Мишелю Уэльбеку, которого Кика причислил к ведомству современной французской мысли:

«Уэльбек, этот живой французский ум, обращает было свой взор к тайне мира, но уже через абзац или два срывается и барахтается — надо полагать, не без удовольствия — в очередной слепленной из букв п-де. Впрочем, не в ней ли главная тайна мира и главный его соблазн? Так спросил бы юный Бодриар. На что Деррида заметил бы, что п-да и х-й, которые вместе с популярным изложением основ квантовой механики занимают в творчестве Уэльбека центральное место, есть не настоящие репродуктивные органы, а скорее, их потемкинские симулякры на «холодном и бледном» (Сартр) теле французского языка. А я, Кика, добавил бы вот что: в отличие от авторов, которые работают по справочникам и энциклопедиям, мне два или три раза в жизни действительно доводилось стоять лицом к лицу с п-дой, глядя прямо в ее тусклый немигающий глаз, поэтому эротические периоды Уэльбека кажутся мне несколько надуманными, умственными, показывающими блестящее знание теории, но обнажающими досадную нехватку практического опыта. Впрочем, б-г с ним. Я не стану упрекать его в том, что он эксплуатирует сексуальную фрустрацию французского обывателя. Но не потому, что нахожу главную ноту его романов безжалостно

точной, а потому, что нет слов, какими я мог бы выразить, насколько мне по х-ю французский обыватель».

Как видно из последней фразы, о ненависти тут говорить не приходится. Мотивация его поступков не имела отношения к мести. Она была диаметрально противоположной. Кика полагал, что спасает Европу от потока грязной азиатской человеконефти, ставя на ее пути магический заслон. Для этого Нафикову пришлось совершить чудовищное по своему цинизму преступление, но цель, как он был уверен, оправдывала средства.

Кика решил помочь Европе с помощью магии. Если точно — симпатической магии, которая призвана воздействовать на большое через подобное ему малое. Суть его идеи сводилась к тому, что Европу можно спасти с помощью прививки, точно так же, как серьезную болезнь предотвращают, заставляя организм переболеть ею в легкой форме.

«Я знаю, что меня проклянут и поставят в один ряд с Джеком-Потрошителем, — пишет Кика, — но кто-то должен взять на себя этот неблагодарный труд. Когда-то варвар Теодорих встал на защиту Рима. Теперь, в наши равно пограничные времена, Теодорихом суждено стать мне».

Новый Теодорих начал свое служение древней европейской цивилизации с того, что снял на рю Сен-Оноре в Париже двухэтажный офис для совместного предприятия «Ойл Эве». Название объяснялось тем, что фирма была зарегистрирована на территории Эвенкского национального округа с целью максимального ухода от налогов — даже на дне шизофрении, как мы видим, потомственный нефтяник не терял деловой сметки.

А дальше Кика стал добывать нефть из французов и откачивать ее обратно в Россию.

Разумеется, речь здесь идет не о густой маслянистой жидкости черного цвета, а о ее виртуальном аналоге, который Кика называл «человеконефтью», — то есть деньгах, которыми становится человеческое страдание. Его выкладки и рассуждения на эту тему напоминают то рассказ Лавкрафта, то сочинения средневекового мистика; они приводят к схеме, где изощренная логика соседствует с разнузданным безумием. По плану Кики, чтобы восстановить нарушенный баланс энергий на европейском пространстве, следовало организовать обратный вывоз капитала из Европы в Россию, пусть даже символический. Но этот капитал обязательно должен был быть функцией человеческого страдания — только это гарантировало магической операции-прививке успех.

Выше мы говорили, что ненависть Кики к Бодрияру сродни эдипову комплексу, потому что Бодрияр был истинным отцом большинства его идей. Вот еще одно подтверждение: трудно не заметить, что весь оккультно-инженерный проект Кики — шизофреническая реакция на книгу «Символический обмен и смерть». Если точно, даже не на саму книгу, а на ту единственную ее часть, которая доступна заурядному уму, — название. Скорее всего, именно оно запало Кике в душу и стало руководством к действию.

«Ойл Эве» было странным предприятием. Его сотрудники набирались из одиноких людей; их огромная зарплата служила компенсацией за долгую командировку «в довольно малоинтересную местность», куда их отправляли вскоре после подписания контракта. Фирма пожирала огромное количество денег, производя смутный и совершенно невостребованный продукт под названием *консультационно-посреднические и расчетно-технические услуги по инвестированию в разведку, освоение и разработку перспективных нефтяных месторождений в зонах взаимно оговоренного интереса*. Консультационными услугами «Ойл Эве», как выяснилось впоследствии, пользовалось только одно предприятие — русско-немецкий консорциум «Айн Нене», зарегистрированный на территории Ненецкой

Республики все с той же целью — попасть под налоговую льготу. Учредителем «Айн Нене» тоже был Кика.

Все это было просто ширмой от полиции и налоговых служб. В офисе на рю Сен-Оноре сидело пять-шесть секретарш, занятых «подготовкой технических условий» или «согласованием расчетных единиц» — речь всегда шла о немудреной технической работе, чуть более сложной, чем перекладывание бумаг из одной папки в другую. После того как «Ойл Эве» выполняло заказ «Айн Нене», деньги с франкфуртского счета Кики переводились на парижский.

Хотя оба предприятия были убыточными и просто транжирили Кикины средства, с технической точки зрения деньги на парижском счету были доходом от деятельности «Ойл Эве», с которого Кика платил налог, что делало его уважаемым бизнесменом. Поэтому никто до поры до времени не задавался вопросом, что это за «длительная командировка в малоинтересную местность», куда так доверчиво отправлялись сотрудники совместного предприятия после фуршета на рю Сен-Оноре.

Подозрения возникли после того, как одного из командированных стала разыскивать его бывшая подруга, которой он явился во сне в виде страдающего духа. Сначала в полиции отмахивались от назойливой посетительницы, сочтя ее ненормальной, но в конце концов вынуждены были начать расследование. Вскоре после этого поступило еще несколько заявлений об исчезновении сотрудников «Ойл Эве», и Кикой заинтересовались всерьез. За ним была установлена слежка, которая не дала никаких результатов.

Однажды, когда он выходил из ресторана «Нобу», к нему подошли двое сотрудников криминальной полиции и попросили сесть с ними в машину. Кика подчинился, но потребовал, чтобы на допросе присутствовал адвокат.

После прибытия адвоката Кика сказал, что хочет сделать заявление. Следователи включили свои диктофоны, адвокат — свой, после чего Кика залез на стол и на прекрасном французском языке произнес полуторачасовой монолог, главная мысль которого сводилась к тому, что сброшенные гадюками шкурки и следы сорок на речном песке должны рассматриваться в качестве элементов дискурса наравне с половыми сношениями, джазовыми фестивалями и авиационными бомбардировками.

Это произвело на полицейских такое сильное впечатление, что Кика был немедленно отпущен под подписку о невыезде даже без залога. Но на следующий день в полицию поступили новые заявления о пропажах людей, и информация просочилась в газеты. Был выписан ордер на арест Кики, но он к этому моменту уже скрылся в неизвестном направлении. Полиция отправилась на рю Сен-Оноре.

Документы в офисе «Ойл Эве» не содержали никакой прямой информации о судьбе пропавших. Но в сейфе Кикиного кабинета была обнаружена документация на мощную печь для сжигания мусора, недавно приобретенную фирмой. Никто из сотрудников ничего об этом не знал.

Кроме того, были найдены заметки Кики и два его рисунка, чрезвычайно встревожившие следствие (впоследствии они были опубликованы в приложении к «Македонской критике»).

Первый набросок Кики изображал кирпичную трубу, окольцованную проводом, по которому пунктирной стрелочкой было показано движение денег. Из пометок под рисунком следовало, что по проводу осуществлялся банковский перевод в Россию. Отдельно был изображен защитный короб, в сечении похожий на гроб. В нем провод поднимался по трубе,

делал петлю у ее жерла и сбегал вниз. Эту технически бессмысленную подробность Кика считал необходимой, чтобы соблюсти полную симметрию с нефтяным бизнесом: деньги должны были проходить «по трубе» и «через гроб», так и написано под чертежом. Но откуда и куда идет провод, из схемы не было ясно. Трубу на эскизе окружали несколько деревьев: с большой аккуратностью были прорисованы кирпичи, ведущие к жерлу скобы и дым. Рядом в воздухе застыла птица: под птицей — рукописный стишок:

Как-то раз восьмого марта
Бодрияр Соссюр у Барта.

Интересно, что это единственное упоминание Ролана Барта во всем теоретическом наследии Кики.

Второй рисунок своей туманной многозначностью произвел на следствие еще большее впечатление. Подпись гласила, что это — «треугольник Соссюра», вписанный в «треугольник Гудериана». Уже знакомого с предметом читателя не удивит, что треугольник Соссюра представлял собой фигуру с девятью углами, вершинами которой наряду с такими понятиями, как «знак» и «означаемое», служили циррозная гусиная печень «фуа гра», красное вино «Божоле» и тайные места человеческого тела.

Что касается треугольника Гудериана, то здесь имелся в виду прицел немецкого танка «тигр» — насечка на оптике, сквозь которую видел мир наводчик орудия. Она действительно представляла собой треугольник, окруженный тремя зубчатыми линиями — двумя горизонтальными и одной вертикальной. У следователей мурашки поползли по коже. Сначала никто не мог понять, при чем тут немецкий танковый стратег Гудериан. И только после того, как кто-то открыл энциклопедию, стало ясно, в чем дело: Гудериан был выпускником Казанского танкового училища, где обучался в тридцатых годах прошлого века.

Интерпол провел обыск в офисе «Айн Нене» во Франкфурте. Оказалось, что это предприятие, помимо составления заказов для парижской конторы, занималось крайне странным делом: строило на берегах уральских рек крохотные замки и разбивало там же карликовые теплицы-виноградники, лоза для которых доставлялась из Франции. Запрос, посланный в Россию, показал, что игрушечные постройки приобретались представителями того же Кики, которые использовали для оплаты покупок счет в московском «Дельта-кредите».

Кроме «Дельта-кредита», с Кикой сотрудничала еще одна московская финансовая структура — «Санбанк». Туда было переведено в общей сложности около тридцати миллионов долларов, дальнейшую судьбу которых следствие не смогло установить. Из обнаруженных документов не было ясно, откуда Кика переводил деньги, — удалось выяснить только балансовую цифру. Полицейские, возможно, поняли бы ее происхождение, будь у них возможность ознакомиться со следующей цитатой из «Македонской критики»:

«Расчеты показывают, что надо удерживать на российском счете-компенсаторе тридцать миллионов евродолларов (так Кика называет доллары, трансмутированные из страдания европейцев) в течение трех лет. Тогда меч судьбы, занесенный над древними цивилизациями Европы, можно будет отразить...»

Но следователи ничего не знали об этом трактате. Им показалось странным, что трансфер осуществлялся суммами в 368 евро (причем каждый день проходило до тысячи

переводов). Но в такой активности не было ничего незаконного.

В офисе «Айн Нене» обнаружилось несколько счетов за оплату помещения заброшенной башмачной фабрики под Парижем, которую фирма уже несколько месяцев снимала в аренду. Никто из сотрудников не имел представления о том, что это за фабрика и что там происходит — все связанные с ней контракты заключал лично Кика. Получив новую информацию, парижская бригада в сопровождении спецназа помчалась по найденному адресу.

Фабрика состояла из нескольких складов и стоявшего особняком производственного цеха, похожего на ангар. К ангару примыкала пристройка, над которой дымила кирпичная труба; сотрудники полиции в бинокль разглядели на ней короб с проводом, в точности как на найденной схеме.

По внешнему периметру весь комплекс охраняли сотрудники частного парижского агентства; производственный цех с крематорием — жутковатого вида бритоголовые братки из Казани в цепях, татуировках и костюмах от Кардена. Там же нашлись два адвоката, которые попытались задержать следствие, требуя у полицейских то одну бумагу, то другую, так что спецназ оказался весьма кстати. Всю эту публику пришлось припугнуть и запереть в пустом складе, после чего спецназ с оружием наготове ворвался в производственный цех, готовясь увидеть самое страшное.

Но того, что открылось их глазам, не ожидал никто.

«Мне показалось, — описывал впоследствии свои впечатления один из полицейских, — что это какая-то эфиопская «Матрица» или, может быть, съемочная площадка садомазохистского порноблокбастера. Или та часть ада, которую у Данте не хватило бесстыдства описать».

В помещении цеха было смонтировано тридцать семь одинаковых ячеек, напоминающих индивидуальное рабочее место в офисе, так называемый cubicle. Но на этом рабочем месте не было ни стола, ни даже стула. Находившиеся в ячейках люди были подвешены на специальных ремнях в позе, напоминающей положение животного в стойле. Их руки и ноги были пристегнуты кожаными лямками ко вбитым в бетонный пол костылям, так что побег был невозможен. Перед лицом каждого из них помещался жидкокристаллический экран, на котором в сложной последовательности высвечивались отрывки из текстов Лакана, Фуко, Бодриера, Дерриды и других титанов мысли — не забыт был даже Мишель Уэльбек.

Все пленники были совершенно голыми (в помещении поддерживалась постоянная температура). Кабинки располагались в два параллельных ряда; над филейными частями пленников были проложены потолочные рельсы, по которым ездили два одинаковых промышленных робота, изготовленных по заказу Кики в Японии. Компьютерная система, которая переключала тексты на экранах, управляла и роботами. Программа была составлена таким образом, что в тот момент, когда перед кем-нибудь из несчастных страдальцев появлялся отрывок из книги Мишеля Фуко «Надзирать и наказывать», робот оказывался точно над ним и наносил хлесткий удар нейлоновыми розгами по его обнаженным ягодицам. Одновременно с этим компьютерная система осуществляла перевод суммы в 368 евро в Россию, на специальный счет московского «Санбанка» — по тому самому проводу, который делал петлю вокруг жерла трубы.

Кормлением пленников и уборкой помещения занимались две глухонемые афганки в паранджах, что впоследствии дало повод говорить о причастности к делу арабских

террористов. Но это, конечно, просто утка, а что до известной фотографии, где Кика в майке с надписью «Je ne regrette rien»^[39] стоит рядом с Усамой бен Ладеном, то это некачественная подделка, на которой при увеличении становятся видны швы от монтажа. Глухонемая обслуга нужна была Кике для того, чтобы уборщицы не жаловались на странности своей работы. Восточные женщины неприхотливы, а условия труда в производственном цехе были довольно тяжелы.

Тяжелы они были прежде всего потому, что там стояла невыносимая вонь — все пленники страдали расстройством желудка из-за своей диеты. Женщины в паранджах кормили их исключительно суши с фуа гра — это блюдо в огромном количестве готовил в соседней деревушке нанятый Кикой повар из парижского ресторана «Мэнрэй». Пили пленники только свежее «Божоле». Подаваемое к суши красное вино должно было, по мысли Кики, сделать их страдания невыносимыми.

Однако здесь он просчитался — циррозная гусиная печень, по мнению многих экспертов, вполне сочетается с молодым красным вином. Как заметил по этому поводу один парижский философ, пугаться самого сочетания слов «суши» и «красное», абстрагируясь от референций, к которым апеллируют эти знаки, означает попасть под влияние номинализма, чтобы не сказать лингвистического детерминизма в его самом примитивном воплощении. Вот тебе, Кика, вот тебе.

Следователи догадались, что еда и некоторые другие детали происходящего, которыми мы не будем смущать читателя, были вариацией на тему «треугольника Соссюра». «Треугольник Гудериана» тоже не был забыт: пол и поддерживающие потолок колонны покрывал орнамент из треугольничков и зигзагообразных линий. Глухие стены помещения украшала фреска-триптих под названием «Мишель Фуко получает от ЦРУ миллион долларов за клевету на СССР». Фуко был изображен три раза — напротив входа он получал во мраке ночи свои сребреники, а на двух боковых стенах бестрепетно и бесстыдно клеветал, делая вид, что не видит вокруг ни комбайнов, ни спутников, ни океанов пшеницы, ни мерцающих огнями новостроек. И над всем этим, заглушая голоса и делая дискурс невозможным, несся из мощных динамиков этнофутуристический хор Клауса Бадельта из фильма «Машина времени».

Следствие сделало несколько умных и точных интерпретаций. Во-первых, было объяснено происхождение суммы в 368 евро, которая переводилась в Россию при каждом ударе розог. Это был увеличенный на два порядка коэффициент из формулы для вычисления Серного фактора, которая дважды встречается в «Македонской критике»:

$S_f = 3,68 (S_2 - S_1)$ долларов за тонну.

Однако иные предположения заходят, пожалуй, чересчур далеко. Например, высказывалась догадка, что макеты Эйфелевой башни и собора Василия Блаженного, стоявшие в разных концах производственного цеха, символизируют слагаемые в выражении $(S_2 - S_1)$, а роль минуса играет флажок с русским и французским триколорами в центре помещения. По понятным причинам, это утверждение трудно поддается проверке.

Другая гипотеза касается количества пленников, которых, как мы уже говорили, было тридцать семь. Основываясь на том, что среди жертв было тридцать шесть французов и один бельгиец, следствие предположило, что это скрытая репрезентация числа 36,8 — увеличенный на порядок серный коэффициент 3,68. В пользу этого предположения говорит то, что число 36,8 как раз вписывается в ряд между 3,68 и 368. Но Кика, в отличие от следователя, которого посетила эта догадка, никогда не был шовинистом.

Пыточный цех функционировал без всяких сбоев поразительно долгое время. Многие задавались вопросом, как такое могло произойти в самом центре Европы. Но Кика оказался очень предусмотрительным безумцем — никто из вовлеченных в дело даже не подозревал, что на фабрике происходит что-то странное. Из здания никогда ничего не выносили. Все отходы жизнедеятельности пленников сжигались в той самой печи, документы на которую были обнаружены на рю Сен-Оноре — это по ее трубе проходил провод в гробообразном коробе. Возможно, кремация тоже играла какую-то роль в алхимических построениях Кики, но сейчас об этом бесполезно гадать.

Сотрудники парижского охранного агентства никогда не приближались к производственному цеху, охраняя только внешний периметр фабрики, а казанские братки, которые часто заходили внутрь и видели все, что там творилось, были введены в заблуждение Кикой, сказавшим, что в помещении фабрики «прячутся его должники». Казанские ребята были уверены, что участвуют в нормальном бизнесе по получению долгов, и их шокировала правда, которая открылась им на следствии.

— Да если б мы знали, что это такой моральный урод, — сказал бригадир казанских Марат, — мы б его сами на ремнях подвесили.

Самым удивительным было то, что никто из потерпевших так и не стал предъявлять Кике уголовного иска, и это пришлось сделать государству. Подписанный потерпевшими контракт был составлен таким образом, что его можно было истолковать как согласие участников на проводимый эксперимент; разрывая его, они теряли право на свое более чем значительное вознаграждение. Поэтому громкого дела не получилось. Но у следствия накопилось столько вопросов к Кике, что и по сей день он остается в списке разыскиваемых Интерполом.

Ходили слухи, что Кика вернулся в Казань и даже написал для Татарского академического театра либретто — автобиографический балет «Непрошенный гость». Другие утверждали, что он поселился в Буэнос-Айресе. Третьи видели его в Малибу. Все эти слухи остались без подтверждения. Достоверно известно одно — спасаясь от отчуждения своей французской собственности. Кика передал виллу на Кап Ферра в собственность Уриму и Туммиму.

Урим и Туммим поженились в Швеции и теперь мирно живут на вилле. С журналистами они общаются не очень охотно и вообще не любят шума вокруг себя. Тем не менее недавно они участвовали в берлинском love-параде. Достав из вод Средиземного моря бронзовых слоников Церетели, они вернули их на место, покрасив в розовый цвет. Теперь о Кике на вилле напоминает только его автограф на стене — выведенная черной краской надпись:

Люди думают, что торгуют нефтью, а сами становятся ею».

Урим и Туммим говорят, что оставили ее на память. Фотография счастливой парочки возле розовых слонов, больше похожих на поросят, обошла все парижские журналы. Российский атташе по делам культуры выразил было по этому поводу вялый протест, но в защиту Урима с Туммимом выступил сам Вацлав Гавел, находившийся проездом во Франции, и дело замяли.

Что известно про Кику? Он жив; из нескольких сделанных им для печати заявлений следует, что он до сих пор уверен, что спас неблагоприятную Европу от нового средневековья (нам, татарам, это не впервые, добавляет Кика). Но в деле, которое он считал главным — разоблачении французских философов XX века, — он, на наш взгляд, потерпел полное

фиаско. Чем яростнее он нападает на эти великие умы, тем сильнее чувствуется, насколько он им не ровня. Инсинуации Кики можно считать своего рода комплиментом: то, что безразлично, не атакуют с такой звериной яростью.

Философия — темный для непосвященного предмет, поэтому мы говорим не о сути его нападков. Дело в интонации, которая каждый раз выдает его с головой, — как, например, в пассаже, которым кончается «Македонская критика французской мысли»:

«В знаменитых французских комедиях — «Высоком блондине», «Великолепном». «Такси-2» и других — встречается следующая тема: немолодой и явно не спортивный человек кривляется перед зеркалом или другими людьми, смешно пародируя приемы кунг-фу, причем самое уморительное в том, что он явно не умеет правильно стоять на ногах, но тем не менее имитирует за пределами продвинутой, почти мистический уровень мастерства, как бы намечая удары по нервным центрам и вроде бы выполняя энергетические пассы, и вот эта высшая и тайная техника, которую может оценить только другой достигший совершенства мастер, и то разве что во время смертельного поединка где-нибудь в Гималаях, вдруг оказывается изображена перед камерой с таким самозабвенным всхлипом, что вспоминается полная необязательность для истинного мастера чего бы то ни было, в том числе и умения правильно стоять на ногах; отвислое брюшко начинает казатьсяместилищем всей мировой энергии ци, волосатые худенькие ручки — каналами, по которым, если надо, хлынет сверхъестественная мощь, и сознание несколько секунд балансирует на пороге того, чтобы поверить в эту буффонаду. Именно возможность задаться, пусть только на миг, вопросом: «А вдруг правда?!» — и делает происходящее на экране так невыразимо смешным.

Скромное обаяние современной французской мысли основано, в сущности, на том же самом эффекте».



Это неправда, что нам досталось в наследство много анекдотов про новых русских. Большею частью это просто рассказы про лохов с большими деньгами, дурным вкусом и чудовищным эгоцентризмом. Такие сюжеты могут существовать в любой культуре и никак не связаны с Россией.

Но среди них встречаются истории, в которых присутствует подобие лампочки, заливающей тусклым светом окружающую область платоновского космоса идей. Огонек такой лампочки нельзя увидеть дважды — он вспыхивает только в тот момент, когда анекдот впервые разворачивается перед линзами ума. Когда история теряет девственность, этот свет становится невидим. Поэтому мы и рассказываем анекдоты — нам хочется снова увидеть его в глазах собеседника.

Что это за свет? Таким же бледным пламенем горят над ночными болотами огоньки неприкаянных душ. Из чего человеку с навыками логического мышления уже несложно сделать вывод о том, что за энергия питает анекдоты о новых русских.

Эти анекдоты сделаны из самих новых русских. В большинстве своем последние недостаточно горячи, чтобы попасть в рай, и недостаточно холодны для ада. А поскольку чистилища в православии нет, после смерти они поступают в ведение древнекитайского божества Янлована, ведающего трансмиграциями в классе «есопоту».

И многие из этих душ становятся чем-то вроде лампочек, освещающих строгие проспекты загробного мира.

Устроена загробная лампочка-анекдот следующим образом — в ней как бы заперто единичное сознание (конечно, ни единичных, ни множественных сознаний нет, да и запереть его никак нельзя, но по-другому просто не скажешь), которое загипнотизированно вглядывается в своего рода оксюморон, то есть самоисключающую смысловую конструкцию. Сознание пытается решить загадку, которую нельзя решить — и поэтому все время остается на месте (конечно, никаких мест там тоже нет, но по-другому опять не скажешь). Получается, что сознание как бы растягивается между двумя смысловыми полюсами. а свойственный ему изначальный свет озаряет окрестности. Так и возникает «загробная лампочка».

Мы смеемся по той же причине, по которой души новых мертвых русских (души мертвых новых русских? мертвые души новых русских? русские души новых мертвых?) навеки застревают в лампочках-анекдотах. Это происходит потому, что одна часть нашего сознания громко говорит «да», а другая так же громко говорит «нет», и, чтобы не застрять в этой смысловой рогатке, мы стряхиваем ее смехом, который больше всего похож на чихание — только чихает не нос, а ум.

Самая яркая из загробных лампочек, конечно, лампочка Ильича, совпадающая с самым первым и самым коротким анекдотом о новых русских: «коммунизм» (выражение «новые русские» придумал не журнал «Newsweek», как принято думать, а Чернышевский). Из Ленина получилась очень яркая спираль. Поэтому странно, что никто до сих пор не поминает Вовчика Симбирского в качестве родоначальника новых русских. Пройдет лет сто-двести, и историки будут гадать — то ли знамена в нашей стране были цвета пиджаков, то ли пиджаки — цвета знамен, то ли все это рок-н-ролл и русско-сибирский гештальт.

Лампочек в посмертном мире очень много, и они образуют подобие гирлянд на ночном Новом Арбате (участок которого возле казино «Метелица» очень похож на тот свет). Поэтому многие духовные люди и говорят — хоть Россия традиционно во мгле, но на духовном плане она ярко сияет, воистину так.

Осталось объяснить только одно — что именно выполняет в такой лампочке функцию стеклянной колбы, создающей отраженную видимость мира. Но это можно сделать только на конкретном примере.

После банальной кончины (взорвали, козлы, в собственном «поршаке») Вован Каширский наконец очнулся. Он находился в странном тускло-сером пространстве, а под его ногами была ровная плита из темного камня, уходящая во все стороны, насколько хватало зрения. Сквозь туман светили далекие разноцветные огни, похожие на гирлянды Нового Арбата, но Вован не успел их рассмотреть. Вдалеке послышался тяжелый удар по камню, потом еще один, и он содрогнулся от ужаса.

«Янлован идет!» — понял он.

Наверняка что-то происходило и до того, как Вован пришел в себя, иначе откуда ему было бы знать про Янлована? Но он ничего не помнил. Янлован, между тем, показался из тумана. Он был огромен, как многоэтажный дом, и шел странно — не как люди, а поворачиваясь при каждом шаге на сто восемьдесят градусов. При этом он ни разу не повернулся к Вовану спиной, потому что спины и затылка у него не было, а была вторая грудь и второе лицо.

Если первое его лицо было бешено-беспощадным (Вован сразу вспомнил про одну гнилую разборку в Долгопрудном, на которую ну совсем не надо было ходить), то второе лицо было снисходительным и добрым, и, видя его, Вован уже ни о чем не вспоминал: хотелось просто бежать к Янловану и, захлебываясь слезами, жаловаться на жизнь (и в особенности смерть). Но шел Янлован быстро, и, поскольку в один момент Вовану хотелось кинуться от него прочь, а в другой, наоборот, изо всех сил побежать ему навстречу, он так и не стронулся с места, и очень скоро Янлован навис над ним, как Пизанская башня.

«Сейчас будет суд», — с оглушительной ясностью понял Вован. Но суд оказался простой и нестрашной процедурой — Вован даже не успел всерьез испугаться или хотя бы зажмуриться. В руках у Янлована появился странный предмет, похожий на гигантскую мухобойку. Описав широкую дугу, она взлетела вверх, и яростно-страшное лицо, которое было в тот момент повернуто к Вовану, открыло рот и громовым голосом произнесло приговор:

«Колдурас!»

Правда, это произошло не совсем так. На самом деле гневное лицо произнесло «Кол...», но Янлован повернулся на пятке, и доброе лицо закончило «...дурас». Получилось странное слово — «Колдурас». Но Вован не успел его осмыслить, потому что с небес упала гигантская мухобойка, ударила по его боку, и он понесся куда-то с такой скоростью, что мерцавшие сквозь туман огни превратились в разноцветные зигзаги и линии.

Вован упал на какой-то заброшенной улице, возле старой футбольной площадки. Был бы он жив, от такого удара немедленно отдал бы кому-нибудь Душу. Но, поскольку он был мертв, ничего не произошло, только было очень, очень больно. Его сразу окружили какие-то мелкие существа, не то карлики, не то дети. Схватив его за руки, они куда-то его потащили. По дороге они покатывались со смеху и приговаривали треснувшими голосами:

— Лучше колымить в Гондурасе, чем гондурасить на Колыме! Лучше колымить в Гондурасе, чем гондурасить на Колыме!

Вован тоже дико хохотал, слушая эту радиоприсказку, напоминавшую о счастливых земных днях. В эйфорической интонации, с которой провожатые произносили ее, чувствовалась уверенность, что дело происходит именно в Гондурасе. Хотя достаточно было посмотреть на трагически облезлую северную природу, чтобы в этом возникли серьезные сомнения. Тем более, что слово «Колдурас», составленное, как понял наконец Вован, из «Колымы» и «Гондураса», давало равные возможности для обеих интерпретаций.

Но задуматься над этим он опять не успел. Свита подтащила его к двери, над которой висела табличка «ЗАО РАЙ» (один из провожатых пояснил, что ЗАО — это не просто «закрытое акционерное общество», но и сокращенное «заоблачный»), и Вован благодарно подумал, что не зря носил тяжелую цепь с Гимнастом. Дверь за ним защелкнулась (общество ведь закрытое, догадался Вован), и он остался один в маленькой комнатке.

В ее центре стояла бронзовая сковорода, при первом взгляде на которую становилось ясно, что вещь эта невероятно древняя. На стене над ней висел такой же древний бронзовый термометр, принцип действия которого был непонятен — у него внутри зеленела какая-то спираль, а на циферблате была только одна отметка. На другой стене висела инструкция под названием «к сведению акционера», нагло пренебрегавшая правилами русского языка (даже буквы «ц» в слове «акционер» не было, а вместо нее стояла какая-то восточноевропейская «с» с галочкой).

То, что Вован прочел в инструкции, наполнило его унынием. Как выяснилось, ему надо было охлаждать эту бронзовую сковородку таким образом, чтобы стрелка ни в коем случае не зашкаливала за отметку на циферблате. Охлаждать ее можно было только обнаженными ягодицами, что объяснялось некой древней тайной и обычаем, о которых инструкция говорила уклончиво. В случае отказа Вована работать инструкция обещала такое, что Вован понял — работать он будет. Инструкция поясняла, что работу можно рассматривать как жертвенный подвиг во имя... (далее шел длинный список; нужное предлагалось подчеркнуть кровью).

Посмотрев на сковородку, Вован вздрогнул. Она уже светилась темно-багровым светом, а стрелка успела заметно подняться по циферблату. Вован стал читать инструкцию дальше. Там было сказано, что, если стрелка поднимется выше отметки, это будет рассматриваться как нежелание работать со всеми вытекающими последствиями. Вован вздохнул и принялся быстро расстегивать штаны...

Прошло около месяца, и Вован освоился на новом месте. Не таким уж оно было и страшным. На сковородке не надо было сидеть все время — она охлаждалась довольно быстро. Правда, процедура была крайне мучительной — но зато, когда стрелка опускалась к началу циферблата, можно было отдыхать несколько часов, пока она снова поднималась к отметке (это время инструкция называла «тайм-аут»).

А в конце месяца случились сразу две неожиданные радости. Во-первых, черт из службы безопасности принес Вовану первую зарплату. Это была огромная картонная коробка с надписью «Rank Херов» (непонятно было, русский это или английский). В коробке были запаянные в пластик доллары. Столько бабок Вован видел только раз в жизни, после одной гнилой разборки в Долгопрудном, да и то ему ничего тогда не досталось. Вторая радость была такой: его акционерное общество из закрытого было перерегистрировано в открытое, и с двери сняли замок.

Довольно скоро у Вована установился новый распорядок. С воплями дожав стрелку до самой нижней отметки, он хватал свою коробку с деньгами, выскакивал на улицу и, считая про себя секунды, мчался к одному из местных центров досуга. Их в радиусе его досягаемости (так, чтобы он успел добежать до места и вернуться назад до того, как стрелка пересечет отметку) было два: клуб финансовой гей-молодежи «Gaydarth Vader» и кафе «Бомондовошка», где собирались представители элитарно-богемных кругов.

Разницы между ними не было никакой — и тут, и там сидели какие-то темные фигуры в капюшонах (ни одного лица Вован так и не увидел) и пили что-то из глиняных чашек. Вован пробовал с ними заговорить, но они не отвечали. А времени на повторные попытки у него не было — надо было бежать назад.

Прохаживаясь вокруг сковородки, перед тем как присесть, он часто размышлял, что же с ним происходит на самом деле — колымит ли он в Гондурасе, или все же гондурасит на Колыме? Трудно было прийти к определенному выводу. Истина, похоже, была посередине — к такому ответу подталкивали не только собственные наблюдения, но и книжки, которые ему приносил черт из службы безопасности. Одну из них написал некий Какс, а другую — некий Сейси. По Каксу выходило, что он колдурасит на Гоныме, а по Сейси — что он гонымит на Колдурасе.

Оба автора сходились в одном: что не бывает ничего слаще тайм-аута. Вован и сам это знал — можно сказать, чувствовал жопой. Но книги на этом не останавливались и объясняли экономическую диалектику: чтобы позволить себе этот тайм-аут, его надо постоянно откладывать. Ибо люди, вся жизнь которых проходит в одном непрерывном тайм-ауте, никогда не накопят достаточно денег, чтобы позволить его себе хоть когда-нибудь.

Сначала у Вована возник метафизический протест, сопровождавшийся, как обычно в таких случаях, вопросом о границах реальности и о том, могут ли они быть преодолены. Дело было в том, что его зад уже давно превратился в огромную ороговевшую мозоль, и он потерял возможность разгибать спину. «Раз уж я стал так похож на гамадрила, — с обидой думал он, — так я бы лучше действительно им стал. Качался бы себе на лианах, ел бы бананы. Все лучше, чем...»

Черт из службы безопасности, с которым он поделился своими соображениями на эту тему, сказал по секрету, что гамадрилом стать можно, но для этого надо попасть в какое-то лоно (он даже набросал на куске серого пергамента, как его опознать), но вот только сначала надо было дождаться конца кальпы. Что это такое, черт не объяснил — похоже, сам толком не знал.

Но вскоре метафизические вопросы полностью перестали мучить Вована. Он узнал, что в обоих центрах досуга у пацанов из службы безопасности можно взять коксу. Правда, когда Вован услышал, сколько этот кокс стоит, и чуть не припух: всей его коробки с долларами хватало на одну дорожку. Но у службы безопасности были свои резоны: возить сюда кокс было куда как сложнее, чем в Москву.

Кстати, пацаны из службы безопасности были совсем свои, даром что черти. Вован уже давно прятал в своей хибаре таз с водой, куда иногда опускал на несколько минут зад, а черт, приносивший ему зарплату, делал вид, что ничего не замечает. В ответ Вован не замечал того, что коробка с грингами была распечатана и некоторые пластиковые упаковки разорваны — словом шла нормальная командная игра, так что чертям Вован верил. Да и потом, ничего другого на эти бабки купить было все равно нельзя, так что Вован жадничал недолго.

Купив дорожку коксу, он вытягивал ее сквозь свернутую банкноту и выходил из «Бомондовошки» на пленэр.

И тогда наступали те три минуты (максимум три минуты двадцать секунд, потом надо было бежать назад), которых он ждал каждый месяц. С души спадала тяжесть, смутные огни в тумане наливались забытой красотой, и он бывал почти что счастлив. Во всяком случае, именно этих трех минут он и ждал все остальное время.

Но однажды этот распорядок нарушило неожиданное событие. В самом начале второй минуты отдыха на пленэре к нему подлетел ангел.

Вован вздрогнул и испугался — но не ангела, а того, что оплаченный страданием кайф вот-вот обломится.

— Слушай, — сказал ангел, озираясь по сторонам, — чего ты здесь маешься? Пошли отсюда. Тебя ведь здесь уже давно никто не держит.

— Да? — недружелюбно сказал Вован, чувствуя, как по зеркалу кайфа поползла мелкая противная рябь. — Куда ж это я пойду? Мне здесь зарплату платят.

— Да ведь твоя зарплата говно, — сказал ангел. — На нее все равно ничего не купишь, кроме дорожки кокаина раз в месяц.

Вован смерил ангела взглядом.

— Знаешь что, лох, — сказал он, — лети-ка отсюда.

Ангел, судя всему, обиделся — взмахнув крыльями, он взвился в черное небо и скоро превратился в крохотную снежинку, летящую вертикально вверх.

Вован чуть приподнялся на задних ногах и поглядел на далекую цепочку тусклых огней. Кайф был порушен. Впрочем, это уже не играло роли, потому что пора было бежать назад.

— Зарплата говно, — повторил Вован, изготавливаясь к старту. — Во баран, а? Хоть бы Сейси почитал, или Какса. Зарплата здесь обалденная. Просто... Просто такой дорогой кокаин.

С первого взгляда казалось, что Светящееся Существо парит в пространстве безо всякой опоры, как облако, сквозь которое просвечивает солнце. Когда глаза немного привыкали к сиянию, становилось видно, что опора все же была. Существо восседало (или возлежало, точно сказать было трудно из-за округлости его очертаний) в кресле, похожем на что-то среднее между гигантской лилией и лампой арт-деко. Эта лилия покачивалась на тонкой серебрястой ножке, от которой отходили три отростка, кончавшихся почкообразными утолщениями.

Стебель выглядел слишком хрупким, чтобы выдержать даже небольшой вес. Но семеро усопших (какое глупое слово, сказал бы любой из них), которые совсем недавно вырвались из мрака к этому ласковому сиянию и теперь сидели вокруг цветка-лампы, не задавались вопросом, сколько весит Светящееся Существо и есть ли у него вес вообще. Их занимало другое: если таков свет, исходящий от его спины, каков же блеск лика? Какими лучами сверкают его глаза?

Этот вопрос мучил всех семерых. Каждый видел нечто вроде округлой спины, плеч и накинутаго на голову капюшона и, глядя на эту спину, делал вывод, что сидящие с другой стороны созерцают лицо. Вывод, однако, был неверен. Но никто даже не подозревал о таком положении дел. Зато все слышали голос — приятный, добродушно-веселый и странно знакомый, словно бы из какой-то телепередачи.

— Итак, — сказала Светящееся Существо, — подведем промежуточные итоги. Несмотря на уважение к культурному наследию веков, мы не хотим жить в яблоневоm саду со змеями. Мы не хотим скитаться по темным пещерам, бродить по пескам в поисках родника, лазить на пальмы за кокосами и все такое прочее. Мы не хотим, чтобы колючки впивались нам в ноги и комары мешали спать по ночам. Мы не хотим никаких экстремальных переживаний — после туннеля никто, как я догадываюсь, не жаждет новых аттракционов. Правильно я понимаю ситуацию? Ха-ха! Вижу, что правильно... Если сформулировать вывод совсем коротко, мы собираемся сосредоточиться на приятных ощущениях. Опять правильно понимаю? Ха-ха-ха! Осталось выяснить, каких. Что по этому поводу думает... Ну, скажем, Дездемона?

Светящееся Существо вело себя с юмором — все получили от него прозвища вроде детских. Дело, впрочем, могло быть не только в юморе, а в том, что земное имя следовало забыть навсегда.

— Чего тут голову ломать, — сказала негритянка с серьгами-обручами в ушах. — Надо перечислить, кому что нравится. А дальше плясать от списка.

Она говорила с сильным украинским акцентом, но это не казалось несуразным — все уже знали, что она дитя портовой любви из Одессы. Наоборот, сочетание черной кожи с малоросским выговором придавало ей какую-то малосольную свежесть.

— Давайте попробуем, — согласилось Светящееся Существо. — Начнем с Барби.

— С меня? — хихикнула блондинка, действительно похожая на куклу Барби после второго развода. — Я люблю кататься на яхте. И нырять с аквалангом.

Барби была не то чтобы очень молодая, но все еще сексапильная. На ней была туго заполненная грудями футболка с надписью «I wish these were brains»^[40]. Сквозь футболку проступали острые соски.

— Монтигомик? — спросило Светящееся Существо.

— Я сладкоежка, — сказал сидевший слева от Барби мужчина с орлиным носом и татуировкой «Монтигомо» на руке. — Чревоугодник, можно сказать. Люблю шоколадки, пончики с сахарной пудрой, пирожные. Только мне врач не советует, у нас в семье наследственный диабет.

Татуировка была уместна — он действительно походил на индейца острыми чертами лица и темно-красным загаром, который бывает у жителей тропиков и алкоголиков с большими почками.

— Диабета теперь можно не бояться. Как говорится, грешите на здоровье... А что скажет Дама с собачкой? Наверно, собаки — ее главная страсть?

Светящееся Существо обратилось таким образом к женщине средних лет с короткой стрижкой, на коленях у которой лежала японская сумочка в виде пекинеса с молнией на спине. Выглядел этот пекинес так правдоподобно, что мог, наверно, сойти за живого не только в загробном мире.

— Не сказала бы, — ответила Дама с собачкой. — Это очень поверхностное наблюдение. Как если бы кто-нибудь сделал вывод, что вы любите вертеть задом из-за того, что вы сидите во вращающемся кресле.

Светящееся Существо засмеялось. Остальные тоже — всем очень льстило, что Светящееся Существо держит себя так просто. Дама с собачкой дождалась, пока смех стихнет, и сказала:

— Я хочу иметь полную видеотеку всех европейских фильмов начиная с изобретения кино. Посмотреть все, что было когда-либо снято. Это для начала.

— Дездемона?

— Я люблю танцевать всю ночь напролет, — сказала Дездемона. — Но только после того, как съем пару колес. Так что если я скажу, что я хочу все время танцевать, это надо понимать комплексно.

— Телепузик?

— Я? — спросил толстяк с лицом, покрытым капельками пота. — Я люблю свободный секс.

Телепузик был не просто толстый, а отталкивающе толстый — он походил на огромный презерватив с водой, в нескольких местах перетянутый ушедшими в складки веревками. Наверное, по причине этого сходства, которое до неприличия усиливала мокрая от пота рубашка, слова о свободном сексе показались вполне уместными.

— Вот как, — сказала Светящееся Существо. — А что это такое — свободный секс?

— Ну это, — ответил Телепузик, — как у Depeche Mode. Напеть? «No hidden catch, no strings attached — this is free love...»^[41]

— Сдается мне, что это просто любовь к трудностям, — сказала Светящееся Существо, и все, кроме толстяка, засмеялись. — Родина-мать?

— Я люблю футбол по телевизору, — сказала седая старушка в красном платье, и правда похожая на Родину-мать после демобилизации с военного плаката. — Но это не самое важное. Больше всего я люблю... Вы смеяться не будете? Мне ужасно нравится французская жидкость для утюга. Дочка привозила. Приятно так пахнет. Гладить с ней — одно удовольствие. Очень люблю гладить шторы с такой жидкостью. И чтоб за окном весна была. А если из еды — яйца вкрутую, фаршированные черной икрой.

— Понятно. Ну а ты, Отличник?

Молодой человек в круглых очках смущенно улыбнулся.

— Не подумайте, что это инфантильность, — сказал он. — Я люблю видеоигры, только не компьютерные, а для Playstation-2. Или на худой конец для X-Box. У компьютеров обычно или видеокарта не тянет, или звук — в общем, всегда проблемы...

— Здесь проблем не будет, — сказала Светящееся Существо. — И что, это все?

— Нет, — сказал Отличник. — Меня раздражает одна особенность игр для Playstation, и для первой, и для второй. Такое чувство, что их главная задача — сжечь как можно больше детского времени. Поэтому без конца приходится повторять одни и те же действия, проходить заново те же уровни, вести какую-то мутную бухгалтерию — чтобы игра занимала часов пятьдесят чистого времени. Хотя интереса там на час-два. Мне бы хотелось играть в игры, где все свежие впечатления сжаты в минимальном объеме времени. Можно так?

— Можно, — ответило Светящееся Существо словно бы даже с каким-то недоумением. — Вы меня удивляете, друзья. Стоило умирать ради таких мелочей?

— Только не думайте о нас плохо, — сказала Дама с собачкой. — Мы не так примитивны. Каждый назвал то, что первым пришло в голову. Но ведь после чего-то одного всегда хочется чего-то другого. После еды захочется танцевать, после танцев, я не знаю, шторы гладить. Если как следует подумать, список можно продолжить до бесконечности. Я одну только еду могу полдня перечислять.

— В Евангелии сказано — не хлебом единым жив человек, — тихо проговорил Монтигомо.

— Правильно, — согласилась Дездемона, — ему нужны еще и зрелища. Мы о том и гутарим.

— Евангелие писали давно, — сказала Барби. — С тех пор в мире многое изменилось. Теперь есть много таких продуктов и потребностей, которые не попадают ни в одну из этих категорий.

— Почему «теперь»? — спросила Родина-мать. — Они всегда были. Только я не уверена, что их можно называть продуктами. Меня в детстве ничто так не радовало, как пятерка в школе. Но разве это продукт?

— Вопрос надо ставить широко, — сказал Отличник. — Почему только пятерки? Речь идет, как я понимаю, о наслаждениях морального свойства.

— Не наслаждения, а наслаждении, — заметил Телепузик. — Оно всегда одно и то же.

— А что доставляет нам это наслаждение? — спросила Дездемона.

— Наверно, — сказала Родина-мать, — сознание того, что мы поступили правильно. Спасли ребенка из огня. Наказали негодяя за совершенное зло...

Монтигомо вздрогнул.

— Что это?! — воскликнул он, указывая пальцем на негритянку. — Посмотрите, что у нее с серьгами!

С серьгами Дездемоны происходило странное. Они отяжелели и набухли, из золотых став зелеными. Это были уже не серьги, а...

— Это же змеи, — прошептал в ужасе Монтигомо.

Действительно, серьги превратились в свернувшихся кольцами зеленых змеек — когда именно, никто не заметил. Они походили на заготовку, над которой только начал работать невидимый резчик, но в некоторых местах чешуя уже ярко и мокро блестела. Дездемона потрогала серьги, и на ее лице изобразилось недоумение.

— Они холодные, — пожаловалась она, — и мокрые! Что это такое?

— Успокойтесь!

Голос Светящегося Существа перекрыл все охи и шепоты, и наступила тишина.

— Помните, что вы умерли. То, что кажется вам телом, — просто память о том, какими вы были. Эта память — как сон. А во сне все условно и зыбко. Ничего не бойтесь. Самое страшное уже случилось.

— А можно вопрос? — сказал Монтигомо. — Мне интересно как религиозному человеку. Есть такой догмат о воскрешении в теле. Я читал в одной духовной книге, что тело после смерти необходимо, чтобы войти в рай, потому что у души тоже должно быть какое-то оформление. Иначе, мол, будет непонятно, кто входит и куда. Это правда?

— Можно сказать и так, — ответило Светящееся Существо. — Но это иллюзорное тело. То, что оно меняется, — естественный процесс. Что-то вроде прыщиков при половом созревании. Помните? Когда оно начинается, кажется, что ужаснее этих прыщей ничего и быть не может.

Но на самом деле это предвестие будущего счастья, не так ли. Телепузик? Не слышу! А? Вот то же самое и здесь.

— Но почему сережки-то? — спросила Дездемона. — Это ведь не тело, а вообще черт знает что.

— Разницы нет. После смерти каждый человек делается всемогущ. И любой дрейф ума становится зримым. В этом источник вечного блаженства, но и огромная опасность. Шарахнувшись от собственной тени, вы можете зашвырнуть себя в бесконечное страдание. А можете так же точно вступить в невообразимое счастье. Я здесь как раз для того, чтобы прийти вам на помощь. Я ваш проводник, друзья мои.

— Так что мне теперь делать? — спросила Дездемона.

— Не обращайтесь на это внимания, — ответило Светящееся Существо. — Считайте просто сном. А если вас раздражают эти манифестации, давайте поторопимся с нашим обсуждением. Как только вы вступите в рай, от случайной ряби сознания не останется и следа. Так что давайте сосредоточимся. На чем мы остановились?

— На моральном наслаждении, — сказал Телепузик.

— Правильно, — сказал Монтигомо. — Мы получаем его, например, от победы над злом. Но разные люди считают злом разные вещи. Например, если вы — следователь по раскрытию секс-преступлений, — он покосился на Телепузика, — то злом для вас будет сексуальный маньяк. А если вы сексуальный маньяк, — он опять поглядел на Телепузика, — то злом для вас будет следователь. Если, конечно, вы не следователь — сексуальный маньяк.

— Так, — рассмеялось Светящееся Существо. — И что же нам делать в условиях такой неопределенности?

— Мне кажется, — заговорила Барби, — что никакой неопределенности нет. Разные люди испытывают моральное наслаждение по разным поводам. Но само это наслаждение всегда одинаково! Мы с ним хорошо знакомы, верно? А раз так, давайте просто добавим его в нашу потребительскую корзину, и все!

— А не слишком ли это просто? — подозрительно спросил Телепузик.

— Я же говорю, — заметило Светящееся Существо, — Телепузик любит трудности.

— Барби права, — сказала Дездемона, стараясь говорить так, чтобы двигался один рот и змеи в ушах оставались неподвижными. — Чего мы тут сами себе проблемы выдумываем. Только время тянем. А тянется оно лично для меня не особо приятно. Бели кто еще не понял.

— У меня тоже чувство, что мы топчемся на месте, — сказал Монтигомо. — Рай.

построенный по нашим заявкам, будет каким-то профсоюзным санаторием. Нужен качественный скачок. Прорыв. Кто?

Некоторое время все напряженно думали. Вдруг Отличник схватил себя за голову и издал победный клекот.

— Оба-на! Да мы вообще не туда едем! Я понял, в чем проблема! Все понял!

— Прошу, — сказала Светящееся Существо.

— Незадолго до... В общем, когда я был проездом в Париже, я видел по телевизору рекламу фирмы «Боинг». Сначала какие-то тенистые кущи с родниками, коврики на лужайках, что-то такое типа исламского рая. Вроде вечного пикника с гуриями. Мне, во всяком случае, так запомнилось. А потом на экране появляется большой серо-синий самолет и надпись: «Boeing. Being there is everything»^[42]. Я почему этот клип и запомнил — как это, думаю, такую фигню после одиннадцатого сентября показывают...

— А при чем тут мы? — спросила Барби.

— А при том, что в этой рекламе все сказано. Everything. То, про что мы говорили, — это something. А рай — это everything. Понятно? Being there is everything!

— То есть как? — спросила Дездемона. — Все вместе, что ли?

— И сразу, — добавил Монтигомо. — Чтоб рыбку съесть и... кино посмотреть.

— Понимаю вашу иронию, — ответил Отличник, — но дело именно в этом! Именно так, как вы сказали! Именно и в точности так! Любой выбор накладывает ограничения. Просто потому что отвергает все остальное, хотя бы на время. Это во-первых. А во-вторых, природа наших удовольствий обусловлена имеющимися у нас органами чувств. И захотеть мы в состоянии только того, что нам знакомо! Только того, что мы когда-то могли... Я понятно говорю?

— Не очень, — отозвалась Родина-мать.

— Круг наших желаний ограничен опытом телесности. Мы вспоминаем о фильмах и сексе, потому что у нас были глаза и сами знаете что. Но мы даже помыслить не можем о чем-то таком, что лежит между этими двумя занятиями, не являясь ни одним из них! Вот в чем наша ущербность.

— Наверно, не следует говорить об ущербности, — заметило Светящееся Существо, — но в целом ход мысли блестящий!

Отличник просиял. Его даже радовало, что Светящееся Существо сидит к нему спиной. Он знал про себя много такого, что это персональное невнимание казалось неожиданно легкой формой заградного наказания, чем-то вроде очистительного ритуала перед входом в вечное блаженство.

— Конечно! — сказал он, преданно глядя вверх. — Что бы мы ни выбрали, потом мы захотим другого, третьего и будем метаться так всю вечность. А приходило ли вам в голову, что могут существовать неизмеримо более высокие формы наслаждения, вбирающие в себя все то, что мы перечислили? Допускали ли вы, что фильм, который мы смотрим, сможет одновременно насыщать? Мечтали ли вы о том, что икра, которую мы едим, разбудит воображение и вызовет захватывающее дух любопытство к каждой проглатываемой икринке? Думали ли вы о половом акте, который доставит высочайшее моральное удовлетворение?

— Ну, — сказал Телепузик, — такое на зоне сплошь и рядом бывает.

Родина-мать выразительно прокашлялась, но Светящееся Существо захохотало, да так заразительно, что все остальные засмеялись тоже.

— Ай! — пискнула Барби.

Все поглядели в ее сторону. Там, где на ее майке красовалась надпись про мозги, теперь было что-то мокрое, большое и очень похожее на полушария обнаженного мозга — разделенное надвое нагромождение серо-фиолетовых бугров, извилин и кровеносных сосудов, блестящее и пульсирующее.

— Что это?

— Все то же самое, — сказала Светящееся Существо. — Постепенное созревание семян прошлого в сознании. Причины превращаются в следствия.

— Какие семена! — завизжала Барби. — Какие причины и следствия! Я что, этими сиськами думала, что ли?

— Видимо, нет, — ответило Светящееся Существо. — В этом и беда. Думать не думала, а майку надела. Зачем?

— Да просто так!

— Значит, хватило. Малейшее движение мысли может здесь воплотиться в видимый образ. Потерпите, друзья, скоро все будет позади — мы уже почти на финишной прямой... Да ты не тереби, не тереби, милая. Считай, что ты в мокрой маечке, вот и все... Ну, что дальше, умник ты наш? Какой следует вывод?

Отличник понял, что эти слова относятся к нему.

— Я еще не все продумал, — сказал он, — но Монтигомо, по сути дела, прав. Нужно все и сразу.

— А если мы не хотим всего и сразу? — откликнулась Дездемона. — Мне, например, совершенно не нужны эти змеи в ушах. Или рак простаты. Тем более что у меня ее нет.

— Тогда давайте объявим, что мы хотим всего того, что нам нравится. И одновременно. Так можно?

— Можно, — сказала Светящееся Существо. — Почему нет.

— Так просто? — спросил Телепузик.

— А зачем нам трудности? — спросило Светящееся Существо, и все засмеялись — даже Барби сквозь слезы.

— Попробую сформулировать четко, — заговорил Отличник. — Мы хотим... Мы хотим, чтобы в потребляемом продукте или услуге были представлены свойства и качества, привлекавшие нас в многообразии того, что доставляло нам удовольствие при жизни. И чтобы переживание этих свойств и качеств происходило одновременно, без всяких препятствий и границ, пространственных, временных или каких-либо еще.

— Вот юрист хренов, а? — пробормотала Родина-мать с восхищением.

— Такого не бывает, — сказала Дездемона.

— Откуда вы знаете? — спросил Отличник.

— А откуда. Если бы такое существовало, его бы рекламировали все гляцевые журналы.

Она произносила «гляцевые» через «х» и с хлюпом, так что выходило «хлямцевые».

— Может быть, в будущем изобретут, — сказал Отличник. — Даже не может быть, а наверняка изобретут! Раз мы с вами додумались, неужели человечество не додумается?

— Просто провидец какой-то, — сказала Светящееся Существо. — Нет слов. Поаплодируем ему, поаплодируем!

Участники обсуждения сговорчиво захлопали в ладоши. Зардевшись, Отличник встал и поклонился. Но приятный момент оказался смазан: Родина-мать заметила, что очки

провидца обросли какими-то острыми коготками. Пока они были короткими, но вид у них был жуткий. Отличник попытался снять очки, но не смог — оправа будто приросла к ушам.

С Телепузиком тоже творилось что-то безобразное. На его рубашке проступили цепочки красноватых пятен — они были бледными, словно на фотобумаге, которую только что бросили в проявитель, но постепенно делались все отчетливей и кровянистей. Толстяк брезгливо оглядывал себя, отводя руки от тела, словно боялся вымазаться. Казалось, что кто-то обмотал беднягу колючей проволокой и сильно потянул за ее концы, отчего шипы впились в плоть под одеждой. К счастью, Монтигомо отвлек внимание аудитории от этой мрачной картины.

— Что-то я не понимаю, как такое смогут изобрести, — сказал он, — даже и в будущем. Человек-то останется тем же, что и сейчас.

— Ну и что. Человек уже сколько тысяч лет тот же самый, а что-то новое каждый год появляется, — откликнулась Барби. — И каждый раз никто не ожидает. Я уверена, лет через сто такое изобретут, чего мы даже и представить не можем.

— Но ведь это все радикально меняет, господа, — сказал Телепузик. — Получается, что мы делаем выбор, основываясь на неполной информации. Это все равно, что заказывать в ресторане обед, не прочитав меню.

— А как же еще? — спросила Дама с собачкой. — В будущее ведь не залезешь.

— Почему, — сказала Барби. — Если я правильно поняла, мы можем попросить все, что пожелаем. Так давайте для начала выясним, что мы вообще можем пожелать. Пускай нам, что называется, покажут весь ассортимент.

Все глаза повернулись к Светящемуся Существо. Оно молчало, видимо, ожидая вопроса.

— Юрист, давай, — сказала Родина-мать. — Загни, чтоб опять никто ничего не понял.

— Мы бы хотели узнать, — заговорил Отличник, — не появится ли в будущем какого-нибудь продукта или процесса, который позволит приблизиться к тому идеалу, о котором мы говорили? То есть сделать потребление бескрайним, а удовлетворение от него бесконечным?

— Появится, — сказала Светящееся Существо.

— Хорошо, — продолжал Отличник, — а можно заглянуть в это самое будущее? Чтобы понять, о чем идет речь. Получить представление. Хоть одним глазком, а?

— Можно всеми тремя, — сказала Светящееся Существо. — Только не пугайтесь.

В следующий момент и оно само, и белый цветок, в котором оно сидело, исчезли из вида.

Стебель с тремя отростками остался на том же месте. Но теперь под ним была сцена, а перед сценой — зал, полный людей, одетых во что-то вроде разноцветных лыжных костюмов. Так, во всяком случае, показалось Отличнику, который оказался в первом ряду этого зала.

Кроме металлического стебля, на сцене была трибуна. Лыжники бешено аплодировали стоявшему на ней оратору в таком же наряде. Не обращая внимания на аплодисменты, тот продолжал говорить. Слышно из-за шума ничего не было, но слова его речи на десятке разных языков бежали светящимися ручейками по экрану, занимавшему всю стену над трибуной. В сеймом верху, над полосой с китайскими иероглифами, шел английский текст:

«...nourishment and entertainment will meet and unite in a single safe, colorful, and crispy product, shimmering with nuances of taste and meaning...»

Родной язык мерцал довольно низко, и перевод отставал, зато можно было прочесть все

с самого начала:

«Неуклонный прогресс человечества и развитие великой технологической революции неизбежно приведут к тому, что хлеб и зрелища встретятся и сольются в одном безопасном, хрустящем и красочном продукте, переливающимся сочными оттенками вкуса и смысла. Потребление этого абсолютного продукта будет происходить посредством неведомого прежде акта, в котором сольются в одну полноводную petty сексуальный экстаз, удачный шоппинг, наслаждение изысканным вкусом и удовлетворение происходящим в кино и жизни. Это поистине будет не только венец материального прогресса, но и его синтез с многовековым духовным поиском человечества, вершина долгого и мучительного восхождения из тьмы полуживотного существования к максимальному самовыражению человека как вида, окончательный акт, где встретятся...»

Английский текст был изящнее и обходился без эвфемизмов, введенных, видимо, импровизирующим синхронистом: вместо слов «абсолютный продукт» стоял термин «entertourishment», а окончательный акт, в котором встречались все земные радости, был обозначен как «shopu-lation» — видимо от «shopping», скрещенного с «copulation».

Отличник задумался о том, как перевести эти термины. Ничего лучше, чем колхозный оборот «ебокупка хлебозрелища», не пришло в голову. Чтобы подчеркнуть протяженность процесса во времени (хотелось, понятное дело, чтобы он длился как можно дольше), можно было заменить «ебокупку» на «покупоебывание», но все равно выходило коряво. Решив посмотреть, как с этим справились переводчики-профессионалы, он опустил взгляд на ту часть табло, где появлялся перевод, но опоздал.

Зал и трибуна с оратором пропали так же мгновенно, как перед этим возникли, и все увидели Светящееся Существо. Цветок, в котором оно возлежало, зажегся над металлическим стеблем одновременно с тем, как ложки растворились во тьме. Сам стебель снова остался на том же месте, и у Отличника мелькнула неприятная мысль, что это какая-то антенна, которая излучает одно наваждение за другим.

Несколько секунд все молчали, приходя в себя.

— Скажите, — нарушила тишину Родина-мать, — а что это такое, что вы тут нам показываете? Будущее?

— Объемное кино, — бросил Телепузик. — Или галлюцинация.

Пятна на его рубашке успели стать ярко-красными.

— Что они, рай на земле построят? — сказала Дездемона. — Завидно.

— Не надо завидовать, — сказала Светящееся Существо. — Если они и построят рай на земле, неужели вы думаете, что у вас не будет его на небе? Все лучшее, что создано мыслью человека, навсегда достанется человеку, потому что...

Светящееся Существо сделало интригующую паузу.

— Потому что кому еще это нужно? — спросило оно шепотом и засмеялось.

— Нет, правда, что это такое? — спросила Дама с собачкой. — Объясните кто-нибудь.

— Рассуждая логически, — сказал Монтигомо, — эта штука должна быть устройством, которое осуществляет то, о чем мы говорили. Во всяком случае, если окажется, что это зубоветеринарный аппарат новой модели, я буду очень удивлен.

— Пускай они объяснят, — застенчиво молвила Родина-мать.

— Как вы проницательно догадались, — сказала Светящееся Существо, — это аппарат, который появится на земле через много лет. В нем воплотится многовековая мечта человечества, о которой само человечество даже не догадывалось все эти века, хотя отгадка

была так близко, что вы сегодня нашли ее без всякого труда путем элементарного логического анализа. Но это не просто машина. Это нечто гораздо большее...

— Я знаю! — завопил Отличник. — Я понял! Только что осенило!

Светящееся Существо замолчало.

— Это второе пришествие! — выпалил Отличник.

— Не говорите глупостей, — бросил Монтигомо.

— Конечно! — продолжал Отличник. — Люди ждут, что бог придет к ним в виде человека. Как две тысячи лет назад. Но почему они так думают, никто не может объяснить. А для чего богу ветхое человеческое тело? Чтобы его опять прибили к доскам? Нет уж, спасибо! Помним!

Он обвел всех горящим взглядом.

— Знаете, есть такое выражение — *Deus ex Machina*? Когда автор греческой трагедии не справлялся с сюжетом, на сцену спускался бог в специальной сценической машине и решал все проблемы. Вот что нужно человечеству. Оно так запуталось со своим сюжетом, что дальше просто некуда. Так почему бог не может протянуть нам руку из машины? Божественной машины? И не просто руку — руки! Этих машин нужно огромное количество, как телевизоров или холодильников... Чтобы вместо одной сломанной появлялось две новые... Правда? Угадал?

— Поразительная острота мышления, — сказала Светящееся Существо. — Скажем так, ты прав настолько, насколько человек может быть прав, рассуждая о сверхчеловеческом. Действительно, после изобретения этой машины начнут циркулировать слухи о втором пришествии. Но ведь так было и после появления ЛСД. Поэтому я не стану говорить, что ты угадал. Или не угадал. При любом варианте возникнет много вопросов, не имеющих ответа.

— А что по этому поводу сказано в Священном Писании? — спросила Дама с собачкой.

— Писание говорит так: «Дух дышит, где захочет», — сказал Монтигомо. — Машина нигде не исключается, насколько я помню.

— А что они такого хорошего сделают в будущем? — спросила Дездемона. — За что им рай при жизни?

— За то же самое, за что и вам, — сказала Светящееся Существо. — Просто так.

— Вот именно, — добавил Монтигомо. — Если бы в рай по заслугам брали, там бы один бог сидел. Никто больше не попал бы. Спасение не по заслугам. — Он покосился на Светящееся Существо. — Только по милосердию. А раз по милосердию, чего удивляться. Милосердие ведь беспредельно. Мы, я думаю, про себя такое могли бы рассказать...

— Это уж точно, — сказала Дездемона и сплюнула.

— Я одного не понимаю, — сказал Отличник, стараясь побыстрее уйти от скользкой темы, — как именно это произойдет? Сначала люди построят аппарат, а потом бог в него снизойдет? Или бог сам явит себя в виде устройства?

— Быть может, бог явит себя в виде устройства, которое построят люди, — глубокомысленно заметил Монтигомо.

— Скажите, — попросила Дама с собачкой, подняв глаза на белый цветок-кресло. — Интересно.

— Не могу, — отозвалось Светящееся Существо. — Это так называемый философский вопрос — как и со вторым пришествием. Я на такие не отвечаю. Понятия, которыми вы оперируете, не указывают ни на что, кроме самих себя, а сами по себе они ничего не значат. Спроси что-нибудь конкретное, хорошо?

— Как он называется, этот аппарат? — спросил Телепузик.

— У него будет много разных названий. Его будут называть даже «Playstation O», что, я думаю, заинтересует нашего вундеркинда...

Отличник широко ухмыльнулся. Ему нравилось персональное внимание Светящегося Существа.

— Но это из области шуток. Шире всего он будет известен потребителям как «Ultima Tool» — по имени самой распространенной модели. В просторечии его станут называть «Рай-машиной». А его техническое наименование — «Глоботрон».

— Почему такое слово? — нахмурилась Родина-мать. — От глобализма?

— Успокойтесь, к глобализму это никакого отношения не имеет, — ответило Светящееся Существо. — Название связано с принципом действия. Аппарат воздействует на G-структуры лобных долей головного мозга, синхронизируя поступающие по нервным каналам сигналы таким образом, что возникает эффект, называемый когнитивным резонансом. Благодаря этому и происходит то, о чем так проницательно догадался наш вундеркинд. Но это физическая сторона, которая в нашем случае не играет никакой роли. Ведь тел у вас уже нет...

— То есть что, мы уже не сможем попробовать? — разочарованно спросила Барби.

— Сможете, — отозвалось Светящееся Существо. — Если захотите.

— А как? Теперь уже я не понимаю, — сказал Отличник. — Ведь лобных долей мозга у нас больше нет. На что же этот аппарат будет действовать?

— Второе пришествие, — сказал Монтигомо, — происходит для мертвых так же, как для живых. По всем источникам так. Значит, этот опыт должен быть доступен нам в измерении чистого духа. Правильно?

— Да, — согласилось Светящееся Существо. — Наверно.

— Вот только что представляет собой эта процедура? — спросил Монтигомо. — Я имею в виду, как духовный опыт?

Светящееся Существо задумалось.

— Можно сказать, — отозвалось оно, — что это прыжок в самый источник того счастья, отблеск которого вы ловили в каждом акте потребления.

— И как называется эта... это действие? — спросил Телепузик. — Г лоботомия?

Дездемона пробормотала что-то вроде «молчал бы уж», но Светящееся Существо раскатисто захохотало — оно, несомненно, получало искреннее удовольствие от беседы.

— Да называйте как хотите, — сказала оно, отсмеявшись. — Какая разница.

— Скажите, — спросил Монтигомо, — а все чувствуют одно и то же?

— Сейчас вы все узнаете сами, друзья, — ответило Светящееся Существо, — и эти вопросы исчезнут. Пора начинать — время подходит к концу.

— Как, прямо так сразу? — спросила Родина-мать.

— А как же еще?

Послышалось тихое жужжание, и стебель цветка ожил — засветился зеленоватым огнем, и три его отростка раскрылись. Верхний распустился веером серебристых пластин, которые изогнулись, образовав углубление в форме человеческого лица. Второй отросток, в полуметре ниже, преобразился в пластину, похожую на ладонь с оттопыренным вверх большим пальцем. Нижний превратился во что-то вроде велосипедного седла. Слово флюгера разной формы, подхваченные ветром, все три отростка повернулись в одну сторону.

Метаморфоза заняла несколько мгновений и напомнила Отличнику компьютерную

анимацию. Ему показалось, что серебристый веер со вдавленным лицом походит на авангардный писсуар, отчего устройство можно принять за скульптуру, соединившую в себе эстетику New Age с идеями Марселя Дюшана. Но он не стал делиться этим наблюдением со Светящимся Существом.

Зеленоватый свет исходил из крохотных дырочек, покрывавших всю поверхность аппарата; когда он зажегся, стали видны струйки пара, окружавшие конструкцию. Аппарат дымился, как ящик мороженщика в жаркий день, и казалось, что он дышит. Было непонятно, из чего сделано это устройство — его детали блестели, как металлические, но так мог выглядеть и полированный камень, и пластик. Да и вообще, подумал Отличник, можно ли говорить, что все это из чего-то сделано? Из чего все состоит в загробном мире? Думать об этом было страшно.

Барби безглаголиво поглядела на свою грудь.

— Я первая, — сказала она и встала. — Что надо делать?

— Подойди к аппарату, — сказало Светящееся Существо. — Теперь зажми нижний электрод ногами. Нет, не так. Представь, что садишься на велосипед... Вот, хорошо. Теперь сложи ладошки так, чтобы второй электрод оказался точно между ними... А теперь прижми лицо к верхнему. Представь себе, что это маска, которую ты примеряешь...

С полусогнутыми коленями и молитвенно сложенными ладонями стоящая перед аппаратом Барби казалась чем-то средним между грешницей на исповеди и ныряльщицей на краю бассейна.

— А больно будет? — спросила она.

— Наоборот, совсем наоборот, — ласково отозвалось Светящееся Существо.

Шмыгнув носом, Барби наклонила голову к серебряному писсуару, и ее лицо скрылось за веером пластин. Опять послышалось жужжание, как будто заработало множество крохотных электромоторов, и пластины прижались к голове Барби, охватив ее со всех сторон.

Вслед за этим произошло нечто невообразимое.

Раздался хлопок (звук был вроде того, что издает унитаз в пассажирском самолете, только намного сильнее), и Барби исчезла. Выглядело это так, словно она была облаком тумана или дыма, которое мгновенно втянули в себя три выступающие части аппарата: руки всосала в себя плоская ладонь, ноги и живот — дырчатое седло, а голова и торс исчезли в веере пластин со вдавленным лицом.

— Трах-тарарах, — сказало Светящееся Существо. — Вот оно какое, счастье.

Все потрясенно молчали. Телепузик обвел остальных глазами, словно чтобы убедиться, что и они видели то же самое. Встретив его взгляд. Дама с собачкой пожала плечами.

— Куда она делась? — спросил Монтигомо.

— В каком смысле? — переспросило Светящееся Существо.

— Ну, где она? Что случилось с ее телом?

— То же, что и с твоим, — ответило Светящееся Существо. — Оно умерло. Поймите, то, что вы принимаете за тела, есть просто привычка ума, воспоминание, которое постепенно начинает стираться под действием новых впечатлений. Так вот, только что она получила столько новых впечатлений, что воспоминание о теле и всем, что с ним связано, стерлось полностью и окончательно. А вместе с ним и воспоминание об этих ужасных мозго-сиськах. Кстати, друзья, есть предположения, что они могли думать? Наверно, как с полушариями — правая рациональная, а левая...

— Я не про это, — перебил Монтигомо. — Где она теперь?

— На этот вопрос каждый сможет ответить только сам, отправившись туда же. И не потому, что я что-то скрываю. Тут мало что можно объяснить.

— Вы как хотите, — сказала Родина-мать, — а я в эту душегубку не пойду.

— И я тоже, — сказала Дама с собачкой. — Вы что же, нас испарить хотите?

Светящееся Существо рассмеялось.

— Испаритесь вы сами, — сказала оно, — без всякой помощи. Подождите еще часок-другой и испаритесь. Или хуже.

— Что значит — хуже? — спросила Дездемона.

— Кто знает. Сложно предсказать, куда метнется испугавшийся себя ум. Один может стать говорящим роялем, обреченным на вечное одиночество. Другой — болотной тиной, думающей одно и то же десять тысяч лет. Третий — запахом фиалок, наглухо запаянным в ржавой кастрюле. Четвертый — отблеском заката на глазном яблоке замерзшего альпиниста. Для всего этого есть слова. А как насчет того, для чего их нет?

— Роялем? — повторил Монтигомо. — Запахом фиалок?

— Это не самое страшное. Куда серьезней другое. Нет никакой уверенности, что, став затерянной в космосе заячьей лапкой, вы будете помнить, что эта лапка — вы. Понимаете? Вы — это вы, пока вы помните, что это вы. А если вы этого не помните, так это, наверно, уже и не вы? — Светящееся Существо тихонько засмеялось. — Или все еще вы? Величайшие философы человечества были бессильны ответить на этот вопрос. Тем более что сами не были уверены, они это или нет... Если серьезно, то никто не гонит вас в счастье насильно. Вы сделали выбор. Вот ведущая к нему дверь. Войдите в нее, пока вы еще помните, как ходят! Никто не знает, что случится, когда вы разбредетесь по бесконечности, откуда никто не возвращается назад.

— И что, со всеми будет то ясе самое, что с этой бедняжкой? — спросила Дама с собачкой. — Я имею в виду, нас так же разорвет на клочки?

— Все зависит от того, чем занят в последнюю минуту ум. Это как салют — одна вспышка голубая, другая розовая. Один залп дает стрелы, другой — гирлянды.

— А это точно не больно? — спросил Телепузик.

— Да будьте же вы мужчиной. Не бойтесь.

Это, видимо, задело Телепузика.

— А кто вам сказал, что я боюсь? — спросил он, вставая.

Когда он подошел к аппарату, стало видно, что его брюки сзади словно разъело кислотой — на заду, ляжках и икрах появились дыры, сквозь которые виднелось тело в красных пятнах. Сам он, похоже, не знал об этом, поскольку не пытался прикрыться. Монтигомо издал стон отвращения. Похожий звук вырвался и у Дамы с собачкой, но Телепузик не обратил внимания, решив, видимо, что это реакция на его общую неуклюжесть. Утопив сиденье в складках своего тела, он принял позу благочестивого ныряльщика.

— О чем думать? — спросил он.

— Представь себе сад, полный румяных яблочек, — сказала Светящееся Существо. — Я шучу. Впрочем, можно действительно представить такой сад или какой-нибудь другой позитивный образ. Можно негативный. Это не особо важно. Наклоняем голову...

Телепузик последний раз поглядел на товарищей по последнему путешествию, словно стараясь увидеть что-то в их глазах, но, видимо, не нашел того, что искал. Выдохнув, он

уронил лицо в писсуар.

На этот раз все случилось иначе. Как только лицо Те-лепузика оказалось внутри металлической выемки, его тело вздулось, одновременно став прозрачным, словно воздушный шарик. Все произошло практически мгновенно — прозрачные ноги оторвались от дырчатого сиденья и взлетели к потолку, а руки раскинулись в стороны, словно короткие крылышки. Раздался такой же хлопок, как в прошлый раз.

— Никого не забрызгало? — поинтересовалось Светящееся Существо. — Шутка... Сиденье дезинфицируется. Тоже шутка.

— Теперь я, — сказала Дездемона. — А то уши болят.

По оттянувшимся вниз мочкам было видно, как тяжелы стали ее серьги; они заметно шевелились. Как только Дездемона приняла требуемую позу, ее тело дернулось и превратилось на секунду в короткий толстый кнут, который оглушительно щелкнул в воздухе и исчез. Отличнику показалось, что он разглядел на кнуте чешуйки и зигзагообразную полосу, но все произошло слишком быстро, чтобы можно было сказать наверняка.

Следующей в бесконечное счастье отправилась Родина-мать. Подойдя к аппарату, она несколько минут внимательно его разглядывала.

— Хотела бы я дожить до дня, когда эту машину построят! — сказала она.

— Так ты до него и дожила, — ответило Светящееся Существо.

— Ну, в общем, да, — без энтузиазма согласилась Родина-мать. — Можно и так сказать.

— В чем разница?

Родина-мать пожала плечами.

— Все-таки, — сказала она.

Монтигомо поднял руку.

— Хочу спросить, — сказал он. — Можно?

— Валяй.

— Может, это праздное любопытство. Но все-таки мне интересно, а потом вопросы задавать будет, я думаю, уже поздно...

— Давай без предисловий, лапочка. Время не ждет.

— Я вот чего никак не могу понять. Когда душа попадает в рай, с ней случается лучшее из возможного. Но разве может лучшее из возможного меняться каждый год?

— А почему нет?

— Тогда это будет уже не лучшее. Тогда сегодня рай будет не тем, чем вчера, а завтра не тем, чем сегодня... Это даже звучит странно... Правда? Разве могут в высшем порядке вещей происходить такие же скачки и шатания, как на земле?

— А сам как думаешь? — спросило Светящееся Существо.

— Думаю, что нет.

— Правильно. В чем же тогда вопрос?

— Вы ведь сказали правду? Про то, что в будущем построят такой аппарат?

— Конечно. Я всегда говорю правду.

— А тем, кто попадал сюда до нас, вы тоже говорили правду?

— Естественно.

— И они тоже видели перед собой этот, как его... Глоботрон?

— Родной мой, для тебя это глоботрон. А у них просто не возникало вопроса, что это такое. Чудо, оно и есть чудо.

— А что вы показывали тому же древнему египтянину? Или христианину?

— Каждому свое, извиняюсь за каламбур. Только показываем не мы. Вы все показываете себе сами, понимаете? Египтянин видел загробную реку и восход новой жизни. Христиане, прячась за ветками своих любимых яблонь, наблюдали второе пришествие Христа и вообще весь свой видеоклип, в котором высшее блаженство исходит от гвоздей. Сейчас все стало проще. Если бы вам, взыскательным потребителям, стали что-то говорить про божью любовь, вы резонно попросили бы воплотить ее в чем-нибудь осязаемым. Как вы, собственно, и сделали. Поэтому с практичными людьми мы с самого начала решаем вопрос в практической плоскости. Хотя, конечно, встречаются исключения... туг перед вами один интересный пассажир был. Белые чулочки, ослиные уши на тесемке — непростая душа. Целый час на меня кидался. Я, говорит, слышал, что в Бардо к свету идти надо. Я его спрашиваю — так чего ты тогда все время крестишься? На всякий случай, говорит...

Светящееся Существо заразительно засмеялось.

Вдруг в зале полыхнуло багровым пламенем, и раздался оглушительный удар. Родина-мать, про которую совсем забыли, исчезла, не попрощавшись, и вокруг аппарата теперь висело постепенно растворяющееся облако пара.

— Уй, напугала, — пробормотало Светящееся Существо.

— Так, значит, всем прежним душам вы говорили неправду? — спросил Монтигомо.

— Неправду? Да почему же неправду. Давайте я еще раз объясню, и хватит разговоров, идет?

— Хорошо, — сказал Монтигомо. — Только чтобы я понял.

— Понимание зависит от вас, не от меня, — сказала Светящееся Существо. — Мост к бесконечному счастью, про который мы говорим, вовсе не соединяет вас с чем-то внешним, с какой-то реальностью, существующей в другом измерении. Я всего лишь помогаю вам найти дорогу к самим себе. Я соединяю то, к чему вы всю жизнь стремились, с тем, что туда стремилось. При этом происходит, если так можно выразиться, короткое замыкание субъекта с объектом. Но обе эти части — просто полюса магнита. Просто половинки вашего существа, как два полушария мозга, как правая рука и левая. Ваши мечты — это и есть вы сами, и если вы стремитесь к чему-то внешнему, то исключительно из-за непонимания того, что внешнего нет нигде, кроме как внутри, а внутри нет нигде вообще. Часто окружающий вас кошмар так беспросветен, что вы говорите — нет в жизни счастья... Может быть, его там и нет. Но раз вы знаете, чего именно там нет, значит, оно есть где-то еще. И если вы знаете, какое оно, оно уже присутствует в вас самих. Это и есть рай. Так вот, мост в это счастье всегда один и тот же. В том смысле, что не меняются те точки, которые он соединяет. А вот архитектурные особенности этого моста в каждую эпоху различаются. Он может иметь множество опор и быть прямым как стрела. Он может висеть на тросах. Он может изгибаться колесом. Его могут украшать статуи мраморных красавиц или жуткие серые химеры. Но это не играет роли, потому что мост нужен только для того, чтобы перейти его. Потом он исчезает. А то, как именно он выглядит, — совершенно произвольная частность, которая не имеет никакого отношения ни к правде, ни ко лжи...

— Так что, христианам прошлого вы показывали Иисуса Христа, а нам показываете какой-то аппарат, и все это правда?

— Именно так.

Монтигомо подумал еще немного.

— Но ведь будет одно из двух. Либо одно второе пришествие. либо другое. Ведь не может этот аппарат существовать в одном мире с воскресшим Иисусом. Так что же

действительно случится в будущем?

— В будущем случится следующее. Вы по очереди встанете, подойдете к глоботрону и испытаете лучшее, что приберегли для вас жизнь и смерть. И там, я уверяю, вы найдете ответы на свои вопросы. Ибо забыть вопрос в виду его полной никчемности тоже означает ответить на него. Причем более полного ответа не бывает, потому что тем самым вопрос исчерпывается окончательно.

Светящееся Существо еще говорило, когда Монтигомо решился. Бормоча что-то неслышное — может быть, молитву, — он подошел к цветку и принял требуемую позу. Раздался треск, и он превратился в три фонтана радужного пара, словно от каждого из электродов пустили вверх струю брызг из гигантского пульверизатора.

— Как в парикмахерской, — весело сказала Светящееся Существо. — Ну а теперь ты, мой любимчик. Последний. Иди скорее к своей окончательной Playstation. Все-таки ты у меня настоящий провидец. Как ты говорил? Хотелось бы играть в игры, где все свежие впечатления сжаты в минимальном объеме времени? Вот оно, перед тобой. Прямо по индивидуальному заказу.

Отличник осторожно потрогал оправу своих очков. Теперь она казалась сделанной из живой колючей проволоки — ее шипы медленно шевелились, словно начиная понемногу приходить в себя.

— А где Дама с собачкой? — спросил он. — Собачку вижу, вон лежит. А сама она где?

— Уже отправилась.

— Когда это?

— А ты в это время что-то говорил, — ответило Светящееся Существо. — Просто не обратил внимания.

— Разве? — подозрительно переспросил Отличник. — А собачку что, бросила?

— Женщины — вздорные, переменчивые и пустые создания, — сказала Светящееся Существо. — Им вообще не свойственно такое чувство, как привязанность. Они его только имитируют, чтобы войти к человеку в доверие. Теперь, когда мы остались вдвоем, можно говорить об этом открыто. Разве это не так?

— Не буду спорить, — сказал Отличник. — У меня вопрос.

— Валяй.

— Что будет потом?

— Потом? Когда потом?

— Ну, после того, как это... Произойдет. Что со мной будет потом?

Светящееся Существо несколько секунд молчало, словно соображая.

— А, вот ты о чем. Ничего.

— Простите?

— Ну подумай сам. Сейчас с тобой случится самое лучшее из того, что только может быть. Ты ведь не хочешь, чтобы потом было хуже?

— Нет.

— Так его и не будет.

— То есть как?

— Да так. Зачем оно. Время ведь штука субъективная. Ты умный человек и должен это понимать. Сколько, по-твоему, длилось заседание фокус-группы?

— Часа три, — сказал Отличник. — Или даже четыре, если с самого начала, пока познакомились.

— Ошибочка. На самом деле прошла всего секунда.

— Как одна секунда?

— Так. Видишь, какой она может быть долгой. И это не предел. А теперь тебе пора.

— Почему вы так уверены, что я отправлюсь вслед за этими баранами? — спросил Отличник.

Светящееся Существо промолчало. Отличник обвел взглядом окружающую тьму, словно соображая, куда бежать. Вдруг он вскрикнул и схватился за лицо.

— Вот поэтому, — сказала Светящееся Существо. — Выбор у нас есть. Но он, как всегда, диалектический.

Отличник кое-как добрался до аппарата и сжал ногами нижний электрод. На несколько мгновений боль отпустила, и он оторвал руки от лица. Его глаза были залиты кровью. Стекла очков покрывала сетка трещин.

— Не понимаю, чего ты ожидаешь, — сказала Светящееся Существо. — Свобода рядом.

Отличник увидел на металлической штанге перед своим лицом маленький логотип — черное слово «GLOBO» в желтом картуше и веселую красную надпись «Die Smart!»^[43] рядом.

— Последний вопрос, — сказал он. — Честное слово, самый-самый последний.

— Слушаю, — терпеливо сказала Светящееся Существо.

Отличник открыл рот, но времени у него действительно не осталось. Очки изогнулись и впились ему в глаза. Он взвыл и попытался сбить их с лица, но это не получилось. Тогда он начал хлопать перед собой в ладоши, словно аплодируя происходящему с ним кошмару. С пятой или шестой попытки ему удалось поймать пластину электрода для рук. Он уронил голову в углубление серебряного писсуара, и тогда...

Светящееся Существо как-то поскучнело. Некоторое время оно сидело в своем цветке, тихонько покачивая капюшоном. Постепенно капюшон перестал светиться. опал, и вниз по металлическому стеблю проплыло округлое утолщение — словно проглоченный кролик спускался по пищеводу удава. Дойдя до основания стебля, утолщение вывалилось наружу в виде чего-то похожего на дыню в сморщенном кожаном мешке.

Одновременно с этим сделался виден окружающий мир, скрытый до этого мраком. Вокруг, во все стороны до горизонта, лежала каменистая пустыня. Из нее торчали блестящие штыри, под которыми подрагивали в пыли продолговатые кожистые яйца. Над некоторыми стеблями мерцали таинственным огнем белые цветы, но их окружали коконы черного тумана, и они были видны еле-еле, как сквозь закопченное стекло.

Небо над пустыней было затянуто тучами. Их разрывал похожий на рану просвет, в котором сияло что-то пульсирующее и лиловое. Из просвета вылетали сонмы голубых огоньков. Они опускались вниз, закручивались вокруг светящихся цветов и, исполнив короткий сумасшедший танец, с треском исчезали в их металлических стеблях. Изредка один или два огонька вырывались из этого круговорота и уносились назад к небу. Тогда по металлическим цветам проходила волна дрожи, и над пустыней раздавался протяжный звук, похожий то ли на сигнал тревоги, то ли на стон, полный сожаления о навсегда потерянных душах.



Один кулон — это количество электричества, проходящее через поперечное сечение проводника при силе тока, равной одному амперу, за время, равное одной секунде.

Система СИ

Один вог — это количество тщеты, выделяющееся в женском туалете ресторана **СКАНДИНАВИЯ**, когда мануал-рилифер Диана и орал-массажист Лада, краем глаза оглядывая друг друга у зеркала, приходят к телепатическому консенсусу, что уровень их гламура примерно одинаков, так как сумка **ARMANI** в белых чешуйках, словно бы сшитая из кожи ящера-альбиноса, и часики от **GUCCI** с переливающимся узором, вписанным в стальной прямоугольник благородных пропорций, вполне компенсируют похожий на мятую школьную форму брючный костюмом от **PRADA**, порочно рифмующийся с короткой стрижкой под мальчика, но этот с трудом достигнутый баланс парадигм и извивов делается совсем не важен, когда в туалет входит натурал-терапевт Мюся с острыми стрелами склеенных гелем волос над воротом белого платья от **BURBERRY**, которое напоминает туго стянутый двубортный плащ с косо отрезанными рукавами, после чего Лада с Дианой приходят в себя и вспоминают, что дело не в **GUCCI** и **PRADA**, которые после недельных усилий может позволить себе любая небрезгливая школьница, и даже не в **BURBERRY** с двумя рядами перламутровых пуговиц, а в доведенном до *космического* совершенства фирмой **BRABUS** автомобиле **MERCEDES GELANDEWAGEN** с золотыми символами **RV-700**, на котором Мюся, как обычно, подъехала со своим другом и спонсором, а Мюся с пронзительной ясностью осознает, что секрет совершенного рилифа не столько в знании мужской психологии, анатомии или других гранях трудного женского опыта, сколько, наоборот, в полном отсутствии такового, в крахмальной свежести души и наивной ясности взгляда, связанных даже не столько с возрастом, сколько с незнанием некоторых вещей, которые Мюся уже не сможет забыть никогда, что при рыночном укладе обстоятельств не гарантирует места в автомобиле **BRABUS RV-700** на завтра, так как Лада с Дианой юны и готовы на все, а крем **VICHY PUETAINE** не поворачивает время вспять, как обещает инструкция-вкладка, а скорее напоминает о его необратимости, и, что может оказаться гораздо серьезнее всего вышперечисленного, сам друг и спонсор, нервно курящий в это время на балконе сигару **TRINIDAD FUNDADORES**, на которую с кривой ухмылкой глядит из-за оцепления безногий инвалид в камуфляжном тряпье, начинает догадываться, что дело вовсе не в оральном массаже и даже не в анальном эскорте, а в этом резком, холодном и невыразимо тревожном порыве ветра, только что долетевшем со стороны **КРЕМЛЯ**, — хотя, может быть (и скорее всего так и есть), что все это в очередной раз просто всем померещилось.

Здравствуй, благородный незнакомец. Ты выглядишь странно, словно родом не из наших мест. Не пришелец ли ты из далеких северных стран? Меня зовут Акико. А как твое славное имя? Введи его и нажми «enter», тогда Акико отойдет.

Мы очень рады, ЙЦУКЕН, что ты заглянул на наш сайт, затерянный в горах древней Японии. Мы — это Акико и обезьянка Мао. Если ты посмотришь в левый нижний угол экрана, ты увидишь два маленьких желтых пятнышка. Это ее глазки. Обезьянка Мао прячется не потому, что ты ей противен, ЙЦУКЕН. Она хорошо знает, как важен для нас твой визит, просто ей требуется время, чтобы привыкнуть к новому человеку. Она очень скрытное существо, но у нее удивительно смелая и любознательная душа. Тебе может показаться смешным, что Акико говорит так об обезьянке, но, кроме Мао, у нее здесь нет друзей.

Может быть, моим другом станешь ты, ЙЦУКЕН? Как только эта надежда зажглась в сердце Акико, мир вокруг преобразился — он засиял всеми красками, словно начался праздник. Акико заметила, как ты смотришь на ее хрупкую фигурку в шелковом кимоно цвета осенней листвы. Твои нескромные взгляды вызывают на щеках Акико жаркий румянец.

Нет, нет, ЙЦУКЕН, даже не подводи туда курсор. Пока ты можешь смотреть только на лицо Акико, покрытое краской стыда. Акико — девушка строгих правил. Если ты хочешь увидеть все остальное, подпишись на наш сайт. Видишь дверь со словом «members»? Когда ты станешь членом, ЙЦУКЕН, ты будешь входить через нее прямо в тайные покои Акико. А пока тебе нужна вот эта калитка с табличкой «Instant access».

Спасибо, что ты решил воспользоваться услугой «Instant access», ЙЦУКЕН. Мы принимаем все ведущие кредитные карточки. Ты можешь стать временным членом на один месяц всего за 9,99 \$. А всего за 24,99 \$ ты на целый год станешь полным членом... Акико видит, ЙЦУКЕН, что ты опытный самурай. Ты открыл сундучок с надписью «terms and conditions», который стоит между статуэткой Канон и пучком камышовых стрел. Так поступает далеко не каждый, кто приходит сюда с визитом... Да, это правда. Для твоего удобства временное членство будет автоматически возобновляться после истечения срока, и 9.99 \$ будут каждый месяц сниматься с твоего счета...

Что? А что можно назвать постоянным в мире, где все подобно росе и облакам? Полное членство, конечно, лучше, ЙЦУКЕН. Но потому и дороже. Помни, что предоставление неверной информации о кредитной карточке преследуется... Нет, нет, просто полагается напомнить. Мы тебе верим. А ты можешь верить нам. Не бойся, что твои враги и завистники узнают о нашей связи. Мы с обезьянкой Мао умеем хранить секреты. Менялы из твоего банка, получив счет от «nipoor.com», ничего даже не заподозрят.

Спасибо, что ты остановил свой выбор на полном членстве за 24,99 \$, которое не будет автоматически возобновляться для твоего удобства, ЙЦУКЕН. Как только твоя кредитная информация будет проверена, ты получишь от нас весточку по журавлиной почте. Да, ЙЦУКЕН, это и есть «instant access». А? Нормальное название. Вся жизнь земная лишь мгновение, лишь летний сон луны в пруду под песню птицы касиваги.

Здравствуй, ЙЦУКЕН. Мы с Мао хорошо помним тебя и твой IP-адрес 211.56.67.4. Ты вошел через дверь со словом «members» — это значит, что белый журавль уже принес тебе письмо с тайным словом. Теперь ты здесь полноправный член — какое, должно быть, волнующее, сильное и свежее чувство! Да, пять дней — это большой срок, но ведь тебе было сказано. ЙЦУКЕН, что журавлиная почта может прийти с опозданием, если ты оставишь

адрес бесплатного сервера вроде Yahoo! или Hotmail. Именно там вьют гнезда разбойники, дающие ложную информацию о кредитных картах. Если уж на то пошло, скажи спасибо, что ты вообще получил письмо с тайным словом...

Почему, предупреждали. Раз ты лазил в сундучок «terms and conditions», ЙЦУКЕН, надо было внимательно прочесть, что написано мелким шрифтом на странице 12. Но стоит ли спорить об этом сейчас, когда минута радости так близко? Отбрось эти мысли, ЙЦУКЕН. и вслушайся в саунд вечерней природы. Разве мир не прекрасен? Тонкие ленты облаков плывут по бледному небу, шелестит ветер в листьях, и грустно поют сверчки в траве. Трогает ли это твое сердце?

Ты шелкаешь мышью по тайному месту Акико, самоуверенный ЙЦУКЕН. Похоже, ты из тех людей, которые точно знают, что им нужно. Ты уверен в себе. Еще бы. Такой изысканно утонченный кавалер, наверное, не встречал отпора ни на одном порносайте. Взволнованная Акико опускает глаза и идет в дальние покои. Акико в таком смущении, что забывает задвинуть за собой перегородку. Она чуть вздрагивает, когда курсор проезжает по ее хрупкой фигурке. Ты заметил. ЙЦУКЕН, что стрелка курсора превращается в кисть руки, когда прикасается к поясу шелкового кимоно цвета осенних листьев? В загадочных глазах Акико отражается пламя светильника. Сейчас Акико расскажет тебе свою историю, ЙЦУКЕН.

В давние времена у могущественного правителя провинции Исэ было три дочери. Старшая... Что? Можно. Вон в верхнем правом углу кнопочка «Skip story»^[44]. Кнопочка с рюмкой? А это если ты захочешь купить вишневой наливки для обезьянки Мао.

Ах... Ну что ты делаешь, ЙЦУКЕН. Теперь Акико в одном нижнем платье. Чтобы раздеть ее совсем, тебе остался всего один щелчок мыши. От волнения у Акико кружится голова — она, с твоего позволения, ляжет на татами. Ай... Ой! ТЫ не оставил на Акико даже тряпочки, ЙЦУКЕН. Тебе нравится ее юное, еще не до конца сформировавшееся тело? Нет, ЙЦУКЕН. Раздвинуть их шире ты не можешь. Не надо щелкать зря. В этой версии ты не увидишь тайного места. Акико стесняется.

Ты спрашиваешь у Акико, как надо ласкать ее хрупкое тело? Это должно подсказать тебе влюбленное сердце. Можешь выбрать любой предмет из тех, что видишь в комнате. Любой, на котором курсор превращается в руку. Чтобы взять его, надо щелкнуть по нему мышью. Важнее всего для тебя вот эти бусы на стене. Поглядывай на них время от времени. Когда ты начнешь играть с Акико, бусины по одной станут менять цвет. Чем больше зеленых бусин, тем желаннее Акико твои ласки. А чем больше красных, тем хуже ты понимаешь ее тайные помыслы.

Чего тебе непонятно? Ты бизнес-ньюз когда-нибудь видел? Акции падают — красная стрелка вниз, акции поднимаются — зеленая стрелка вверх. Здесь все точно так же. Запомни, зайчик, — Акико ждет от тебя маленького экономического чуда. Если ты будешь ласкать ее правильно, она будет делать тебе «О-о-ой!». А если Акико будет делать «Хи-хи-хи!», значит, ты ласкаешь ее неправильно. Когда все бусины позеленеют, ЙЦУКЕН, ты услышишь полный сладостной неги крик «Оох-ауу!», который Акико издаст на бонус.

Ага, ты взял веер «летучая мышь» — память о прошлом лете. Хочешь потеревить им маленькие коричневые соски Акико, похожие на стрелы любви? Хи-хи-хи! Ты на бусы-то посматривай. Три бусины уже красные. Хи-хи-хи! Уже шесть. Подумай. Зачем нормальным людям веер? Правильно! Чтобы обмахиваться. Или обмахивать. А везде. О-о-ой! О-о-ой! О-о-ой! Хи-хи-хи!

Нет, ЙЦУКЕН, если Акико делает «Хи-хи-хи!» после нескольких «О-о-ой!», значит,

тебе надо придумать что-то новое, а то ты можешь надоесть. И не спи. Тебе надо очки набирать, а когда Акико делает «Хи-хи-хи!», ты их теряешь. Попробуй обмахнуть где-нибудь еще. Хи-хи-хи! Хи-хи-хи! О-о-ой! О-о-ой! О-о-ой! Хи-хи-хи! Хи-хи-хи!

Да брось ты этот веер. Надоело. Хватит. Давай что-нибудь другое... Шпилька для волос? Не знаю, ЙЦУКЕН, попробуй. Хочешь провести ею по темным впадинам подмышек? Хи-хи-хи! Слегка уколоть смуглую кожу живота? Хи-хи-хи! Прикоснуться к тайному месту, скрытому изящно приподнятым бедром? Хи-хи-хи! Пощекотать пятку цвета спелого персика? О-о-ой! О-о-ой! О-о-ой! Хи-хи-хи! Кисточка для туши? Ты, наверно, хочешь написать стихотворение для Акико? А, понятно. О-о-ой! О-о-ой! О-о-ой! Ты смотри, получилось. Один совет. ЙЦУКЕН. Если ты обмакнешь кисточку в бутылку саке, то за один мазок получишь в два раза больше очков... Только не урони кисть в бутылку, потом придется все куда-то переливать, а ведра здесь нет...

Что? Медленно грузится? Это обезьянка Мао села на провода, есть у нее такая привычка. Хочешь купить ей вишневой наливки, ЙЦУКЕН? Мао! Слезай. Иди сюда, сейчас тебе... Что? Нет, саке из бутылки она не будет. Мао, иди поиграй веером «летучая мышь». На чем мы остановились? Кисть для туши? О-о-ой! О-о-ой! О-о-ой! Хи-хи-хи! Старое письмо от того, кто когда-то был тебе дорог? Хи-хи-хи! Длинное корневище аира? О-о-ой! О-о-ой! О-о-ой! Хи-хи-хи! Целебные шары-кусудамы, украшенные кистями из разноцветных нитей? О-о-ой!

О-о-ой! О-о-ой! Хи-хи-хи! Чучело соловья? Хи-хи-хи! Шапочка-эбоси? О-о-ой! О-о-ой! О-о-ой! Хи-хи-хи! Сверток в зеленой бумаге, привязанный к ветке сосны? О-о-ой! О-о-ой! О-о-ой! ЙЦУКЕН, ты точно не хочешь заказать наливки для обезьянки Мао? Понятно. О-о-ой! О-о-ой!! О-о-ой!!! Оох-ауу!!!

Как счастлива была бы Акико, если б утро никогда не настало! Но луна уже подернута дымкой предрассветного тумана, и близится час разлуки. Как мучительно долг будет день без тебя, ЙЦУКЕН!

Все... А чего ты хотел? Нет, тайное место только на золотом уровне. С этого дня, ЙЦУКЕН, весенний ветер будет время от времени раскрывать у тебя на десктопе окно с текстом «АКИКО hardcore! Хоть иконки выноси!». Фотография тайного места, которую ты там увидишь, — реальный скриншот из hardcore-версии. Если окно будет мешать, ты его просто закрывай и работай себе дальше. Нет, сейчас посмотреть не можешь. Для этого нужно золотое членство, а у тебя простое. Что? Все было сказано в свитке из сундучка «terms and conditions», мелкий шрифт, страница 17.

Не расстраивайся, ЙЦУКЕН. Акико было хорошо в твоих сильных руках, и она скажет тебе, как остаться с нею подольше. Чтобы получить доступ к версии hardcore, ты можешь сделать апгрейд простого членства до золотого всего за 14,99 \$. Тебе не надо снова вводить номер кредитной карточки — теперь он в нашей базе данных. Достаточно щелкнуть по иконке «one-click purchase», и перед тобой откроется мир незабываемых наслаждений. Точно так же всего одним щелчком ты сможешь купить наливки для обезьянки Мао. Один щелчок отделяет тебя от золотого членства, ЙЦУКЕН! Золотой член может наслаждаться двумя полноэкранными видами на тайное место Акико. В hardcore версии тебя ждут новые орудия восторга, среди которых наш культовый мультискоростной вибратор. Кроме того, для золотых членов Акико с самого начала делает «Оох-ауу!» вместо «О-о-ой!» И потом еще будет «Аах-оой-уааа!» на бонус. Так что подумай. ЙЦУКЕН. Акико будет ждать.

Здравствуй, ЙЦУКЕН. Мы с обезьянкой Мао хорошо тебя помним. IP-адрес 211.56.67.4,

MasterCard 5101 2486 0000 4051, сvc2-910, собственность «Альфа-банка», улица Маши Порываевой, дом 11. Ты не знаешь, ЙЦУКЕН, кто такая Маша Порываева? Раз у девушки целая улица, она, наверно, сумела порадовать самого сегуна, не иначе. Или, может быть, она древнего благородного рода? Даже немного завидно, ЙЦУКЕН. Как говорится, отчего же ей одной моря щедрые дары?

К делу, так к делу. В давние времена у могущественного правителя обширной провинции... Что, опять пропускаем? ЙЦУКЕН, почему ты меня никогда не слушаешь? Ладно, как скажешь. Акико очень рада, что ты стал золотым членом нашего сайта, затерянного в горах древней Японии. Твой визит — большая честь для бедной девушки. Редко бывает, чтобы подобный муж появился в здешней глуши. Может быть, ты закажешь вишневым наливки для обезьянки Мао? Понятно, едем дальше. Акико взволнована, ЙЦУКЕН. Хотя стыдливая застенчивость юной девушки и не позволит ей признаться в этом, она рада, что останется с тобой наедине. Поэтому идем скорее в грот наслаждений, где ты дашь волю своим необузданным желаниям. Если бы даже Акико захотела, она бы не смогла воспротивиться твоей воле, могучий ЙЦУКЕН. Но она хорошо помнит, как сладостны твои ласки.

Да, такой вот грот наслаждений. Как то же самое? Там татами было, а здесь обломок мачты. Там стены зеленые, а здесь желтые. Там портрет Тоетоми Хидэеси, а здесь портрет Токугавы Иэясу. Что? Слушай, ЙЦУКЕН, у тебя ведь тоже поза та же самая, что и в прошлый раз. А разве я тебе что-нибудь говорю?

Как ты стал недоверчив, ЙЦУКЕН. Тебя никто не обманывает. Тайное место будет, просто сейчас перед тобой вид «А». Перейди на вид «Б». Очень просто. Щелкни мышью по худеньким полудетским бедрам Акико и увидишь то, что тебя так интересует. Вот... Ну как тебе? Что?

Тебя не поймешь, ЙЦУКЕН. То тебе мало, то тебе много. Да, тот же вид, что и в рекламе. Вот именно для того, чтобы всякие зануды не говорили, что им не показали того, что обещали. Если хочешь увидеть лицо, вернись на общий вид. Вот так. А чтобы увидеть тайное место, снова щелкни по худеньким полудетским бедрам Акико. Ну подожди немножко, пока загрузится, что делать. Кто ж виноват, что у вас провода такие. Нет, одновременно нельзя. Хи-хи-хи! Нет, Акико над тобой не смеется. Акико тебе «Хи-хи-хи» делает. Послушай, ЙЦУКЕН, где в жизни ты одновременно видел и то и это? А? Что значит — чья угодно? Чья же еще она может быть, глупыш, если здесь только ты и Акико?

Чего? Все по-прежнему. Видишь на стене бусы? Напоминать не надо? А? Какой отбойный молоток. Это наш культовый мультискоростной вибратор. Хи-хи-хи! Акико же сказала: хи-хи-хи!! Вибратор работает только на видах «Б» и «С». Правильно, там его не видно, но зато он работает. А здесь он не работает, зато его видно. Что? Розовое сердце переключает скорости. Да не обманули тебя, ЙЦУКЕН. Будет второй вид на тайное место. Чтобы перейти на вид «С», щелкни мышью по худеньким полудетским бедрам Акико с другой стороны. Вот... Что? Опять не нравится? Что значит — та же фотка вверх ногами? Послушай, ЙЦУКЕН, а когда ты переворачиваешь свою Машу Порываеву со спины на живот, у нее что, вырастает там что-то новое? Может, тебе просто не нравится, как мир устроен, ЙЦУКЕН?

Хи-хи-хи! Да, хи-хи-хи! Не знаю, думай. Попробуй переключить скорость. Почему, все три скорости работают. Акико тебе точно говорит, что работают. Естественно, ничего не видно. А что ты собирался увидеть, ЙЦУКЕН? Ты что, на глаз можешь отличить частоту в

сто герц от частоты в триста? Включи первую скорость. Слышишь «тыг-дык-тыг-дык-тыг-дык»? Слышишь. Теперь включи вторую. Слышишь «ты-ды-ды-ды-ды»? Теперь третью. Есть «т-р-р-р-р-р»? Все работает. Хватит ворчать. Лучше сделай приятно своей Акико. Хи-хи-хи! Хи-хи-хи! Хи-хи-хи! Да, на всех трех скоростях «хи-хи-хи»! Не знаю. Может, ты не там долбишь... Оох-ауу! Оох-ауу! Оох-ауу! А? Ты что, не слышал «Оох-ауу?» А чего тогда спрашиваешь — нравится, не нравится? Я для того тебе и делаю «Оох-ауу!». чтоб у тебя вопросов не возникало.

Нет, пусть торчит. Не выпадет, не бойся. Думай, ЙЦУКЕН, думай. У тебя нет чувства, что не хватает самого важного? Вернись на главный вид, там много разных штучек. Щипцы для волос? Хи-хи-хи! Овальная жаровня с углями? Какой ты сегодня пламенный. Рисовая лепешка? Хи-хи-хи! Портрет Токугавы Иэясу? Ты чего, совсем того? Оох-ауу! Оох-ауу! Оох-ауу! Ах, прекрасный ЙЦУКЕН... Оох-ауу! Оох-ауу! Оох-ауу! Хи-хи-хи! Вот видишь, ЙЦУКЕН, Акико сама не знала. Не бойся экспериментировать. То, что тебе нужно, должно быть где-то рядом. Доспехи самурая? Хи-хи-хи! Бутыль сакэ? Хмм... Ты знаешь, можно попробовать. Не движется? Опять, наверно, обезьянка Мао присела на провода. Сейчас слезет.

Ну что же ты такой робкий, ЙЦУКЕН... Ну и что, что большая. Мы, хрупкие юные девушки, очень это любим. Вот... Вот... Нет, так тебе будет сложно. Акико точно говорит, что будет сложно. У тебя какой коврик для мыши? Нет, мало. Убери все со стола. Чтобы руке ничего не мешало. Нужен пустой квадрат, хотя бы в метр по диагонали — мышью водить. Вот так. Давай... Еще раз. Чего останавливаешься? Ты не останавливайся. И быстрее, быстрее... Оох-ауу!.. Опять уснул... ЙЦУКЕН, ты не тормози, а то очки убывают... Оох-ауу! Оох-а... Акико же говорит, не спи! Правильно, одно «Оох-ауу!» на десять махов. А ты как хотел? На один мах десять «Оох-ауу»? Так это надо было на платиновое членство подписываться. Рука устала? Счастье надо выстрадать. Давай-давай, не хнычь... Оох-ауу! Оох-ауу! Отпусти головку мыши. Акико что сказала? Не зажимай головку мыши, а то так и будешь переключаться с вида на вид. Ты же при этом очки теряешь, ЙЦУКЕН. И держи бутылку за самое доньшко, тогда тебе больше будет капать за каждый мах. Оох-ауу! Оох-ауу! Оох-ауу! Вот... Оох-ауу!! Оох...

Опять уснул. Что ты сказал? Как? Так это и есть киберсекс — когда ты мануально стимулируешь мою мышку. Ты считаешь, что это твоя мышка? Пожалуйста, милый. Я и хочу, чтобы моя мышка как можно чаще была твоей. А ты все бурчишь и бурчишь. Все бурчишь и бурчишь. Чего ты вообще ждешь от жизни? У Акико такое чувство, ЙЦУКЕН, что тебе просто этот мир не нравится, вот ты ко всему и придираешься... Чего? Что? Что? Слушай, вот только этого не начинай, ладно? Как? Что? Как ты сказал, ЙЦУКЕН? Ну-ка перейди на вид «А» и погляди мне в глаза. Вот так...

Повтори. Ты сказал, убого? Надоело мышь дрочить? Ты чем вообще в жизни занимаешься, ЙЦУКЕН? Не мое дело? А хочешь, Акико тебе скажет? В жизни ты с утра до вечера дрочишь пучеглазому черному Франклину со ста баксов. А оттуда, что других вариантов нет. Вы все это делаете. Хотя никто на самом деле даже не понимает, что именно вы ему мануально стимулируете, потому что у него под шейным платком вообще ничего нет, кроме черного овала. Во всяком случае, с семьдесят второго года, когда золотое обеспечение убрали. Вы просто выполняете руками что-то такое продольное и стремительное и смотрите друг на друга с загадочным видом. И это тебе не убого, ЙЦУКЕН. А с Акико тебе убого, да? А ведь Франклин не делает тебе «Оох-ауу!», потому что иначе про тебя писал бы журнал

Forbes. А он про тебя не пишет. ЙЦУКЕН. Какое там. Ты можешь изойти кровавым потом, а Франклин на тебя даже не посмотрит. Он и не знает, ЙЦУКЕН, что ты там что-то такое ему дергаешь под черным овалом, понял? И когда тебя закатает — а хоть у него там с семьдесят второго года ничего нет, закатает тебя в это ничего чисто конкретно, — он на прощание не сделает тебе даже «Хи-хи-хи!», а будет все так же величественно смотреть вдаль, чуть поджав губы. Понял?

Убого ему. Мышь ему надоело драть. Если ты такой требовательный, ЙЦУКЕН, добейся чего-нибудь в жизни и купи себе киберочки за пятнадцать тысяч долларов. Вот тогда будешь глядеть на мышку, а видеть вместо нее свой хи-хи-хи. А еще за пятнадцать тысяч можешь надеть на свой хи-хи-хи синхронный вибростимулятор с подогревом. Вот после этого начнешь водить мышью по столу, и будет полная иллюзия, что держишь себя за хи-хи-хи в реальном времени. Но для этого надо, чтобы черный Франклин сделал тебе хотя бы маленькое «О-о-ой!». А он тебе его не делает. И вряд ли будет. Потому что, если совсем честно, ЙЦУКЕН, не там ты родился. Так что скажи спасибо, что у тебя хоть фотка на экране есть и мышка в руке. А чего ты еще хотел за свои сто баксов?

Так, за сто. Чего? Ну давай посчитаем. 24,99 \$ за простое членство, 14,99 \$ за апгрейд до золотого. А за 59,99 \$ мы тебя льготно подписали на сайт «Принц Гэндзи и шалунишки». Как почему? Это мы автоматом делаем для удобства всех, у кого золотое членство. Но учти, что льготный доступ у тебя будет только до первого автоматического возобновления твоего золотого членства. А дальше... Что? Нет, ты не понял, ЙЦУКЕН. Это простое членство не возобновляется. А золотое автоматически возобновляется. Вот платиновое опять не возобновляется...

Чего? Ну судись. Жалуйся. Все было написано в «terms and conditions», страница 21, второй абзац сверху. Золотые члены имеют пятидесятипроцентную скидку при подписке на тематические сайты в соответствии с личными предпочтениями по текущим расценкам... Что? Ой... Как ты мог такое сказать, ЙЦУКЕН, после того что между нами было. Ой... Пусть тебе все объяснит обезьянка Мао, а Акико будет плакать...

Что не ясно, мужчина? Да, обезьянка Мао. Правильно, поэтому мы тебя и подписали всего за 59.99 \$. Регулярный прайс — 119,99 \$, можешь сходить проверить. Еще вопросы? Откуда про предпочтения знаем? ЙЦУКЕН, ты загляни к себе в «Recently viewed sites», какой там у тебя сайтик между газетой «Завтра» и «Агентством русской информации», а? «Hot Asian Boys». Был? Был. Ну вот мы тебя на принца Гэндзи и подписали. Не волнуйся. Там все нарисованное, проблем с законом не будет — фантазия художника. А вот с «Hot Asian Boys» могут быть, ЙЦУКЕН. Случайно зашел? Бывает такое. Бывает, бывает... Да ты не расстраивайся, ЙЦУКЕН, ты в этом мире не единственный педофил... Какой педофил, ты спрашиваешь? Сейчас скажем, какой... Педофил-внутриутробник. Это такой педофил, ЙЦУКЕН, который хочет это самое сделать с ребеночком, который еще внутри животика... Чего? А что, по-твоему, мы в пятом главном управлении должны думать, если ты с «Hot Asian Boys» идешь на «Pregnant Latino Teens», а с «Pregnant Latino Teens» на «Hot Asian Boys»? Вот это и думаем, что ты педофил-внутриутробник из исламского джихада. Почему? А кто на сайте «Kavkaz.org» закладку сделал? Чеченские пословицы скачивал? Посмеяться хотел, да? Ага. Посмеешься. Реально посмеешься, сука. Уже много кто смеется, и ты будешь. Ага. Убого ему. Ты думаешь, мы тут не понимаем, какой ты ЙЦУКЕН? IP адрес 211.56.67.4, Master Card 5101 2486 0000 4051? Думаешь, не выясним? Что-то подсказывает нам, ЙЦУКЕН, что Маша Порываева расколется очень быстро... Убого ему... Чего, обосрался?

Лечь! Встать! Лечь! Встать! Лечь! Встать! Лечь! Встать! Все понял, говно? Лечь! Встать! Точно все понял? А теперь взял бутылку, сука, и бегом на вид «Б», где тайное место крупным планом. Бегом и молча! Проси прощения у Акико... Убого ему.

Мао говорит, ты все понял, ЙЦУКЕН? Почему, можешь говорить. Иногда. Не очень громко и по делу. По делу, это когда надо. Вот например, когда Акико делает тебе «Оох-ауу!», отвечай ей тихонько: «Аа-ах! Аа-ах!» Смотри только «Аллах» не скажи, тогда с остальными своими висяками точно не отмажешься. Даже обезьянка Мао не поможет. Понял, нет? И работай мышью, работай, не засыпай. Тебе очки надо набирать, а не очко просиживать. Жизнь — это движение. Быстрее. Еще быстрее. Надо ценить то, что у тебя есть, ЙЦУКЕН, потому что в Африке, особенно в некоторых областях ее экваториальной части, люди об этом только мечтают. Оох-ауу! Мир ему не нравится, понимаешь. Ты просто не знаешь, как тебе со мной повезло. Оох-ауу! Оох-ауу! Поэтому и квакаешь не по делу. Оох-ауу! Оох-ауу! Оох-ауу! А ты не думай, что умнее других, понял, нет? Ты, наоборот, думай, что глупее, раз у них денег больше. Оох-ауу! Оох-ауу! Оох-ауу! А если тебе чего-то хочется такого особого, чисто помечтать, так мы ведь и не против. Только тихонько и чтоб мы знали, понял? Оох-ауу! Оох-ауу! Оох-ауу! Вот подпишем тебя на платиновое членство, дадим личный почетный номер, и будут тебе в твоей конурке любые фотки. Оох-ауу!

Оох-ауу! Ты что, ЙЦУКЕН? Как не надо? Там же самое главное начинается — анальный секс! Подпишем, обязательно подпишем. Оох-ауу! Даже скидку сделаем. Только ты сам понимать должен, как себя вести по жизни. Что можно говорить, а что нет, и когда. Оох-ауу! Оох-ауу! Оох-ауу! А не понимаешь, так для этого караоке придумали. Когда «Аа-ах!» на экране загорится, тогда и говори. Понял, нет? Не слышу! Понял? Ну вот. Только потише. За стеной соседи отдыхают, им на работу завтра. И мышью, мышью двигай! Самое страшное в жизни — это потерять темп. Вот так... Оох-ауу! Оох-ауу! Оох-ауу! Оох-ауу! Вон как вспотел весь от удовольствия, глупыш. Акико с тобой хорошо, понял, нет? Оох-ауу! Оох-ауу!! Оох-ауу!!! Аах-оой-уааа!!!



Пелевин В.

П 24 Виктор Пелевин. — М.: Эксмо, 2009. — 608 с. — (Антология Сатиры и Юмора России XX века. Том 55).

УДК 82.3

ББК 84(2 Рос-Рус)6-4

ISBN 978-5-699-32096-7 (т. 55)

ISBN 978-5-04-003950-6

Литературно-художественное издание

Виктор Пелевин

АНТОЛОГИЯ САТИРЫ И ЮМОРА РОССИИ XX ВЕКА

Том 55

Ответственный редактор *М. Яновская*

Художественный редактор *А. Мусин*

Технический редактор *Н. Носова*

Компьютерная верстка *Т. Комарова* Корректор *Н. Сикачева*

ООО «Издательство «Эксмо»

127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5. Тел. 411-68-86, 956-39-21.

Home page: www.eksmo.ru E-mail: lrfo@eksmo.ru

Подписано в печать 16.12.2008.

Формат 84x108 1/32. Гарнитура «Букмэн». Печать офсетная. Бумага писч. Усл. печ. л. 31,92. Тираж 10000 экз. Заказ 4966.

Отпечатано с электронных носителей издательства.

ОАО «Тверской полиграфический комбинат».

170024, г. Тверь, пр-г Ленина, 5. Телефон: (4822) 44-52-03, 44-50-34.

Телефон/факс: (4822)44-42-15

Home page — www.tverpk.ru

Электронная почта (E-mail) — sales@tverpk.ru

.....

ВИКТОР ПЕЛЕВИН

...Семь бед – один переворот.
За кедом кед,
За годом год,
И только глупый не поймет,
Что все наоборот.

Милиционер, миллионер,
За торой бор,
За хором хер.
Премного разных трав и вер.
Бутылка, например.

Катюшин муж объелся груш.
За горем Гор,
За Бушем Буш.
Гомер, твой список мертвых душ
На середине уж.

За приговором приговор,
За морем мур,
За муром вор,
За каламбуром договор,
Гламур, кумар, атог...

Из Элегии 2 (ДПП)

ISBN 978-5-699-32096-7



9 785699 320967 >



ЭКМО

notes

Я сентиментален, если вы понимаете, что я имею в виду;
Я люблю страну, но не переношу то, что в ней происходит.
И я не левый и не правый.
Просто я сижу сегодня дома,
Пропадая в этом безнадежном экранчике (англ.).

Леонард Коен

Либеральные ценности (англ.).

«Добро пожаловать на шоссе 666» (англ.).

«Позиционирование: битва за ваш разум». (англ.).

У этой игры нет названия (англ.).

У этой игры нет названия. Она никогда не будет той же (англ.).

«Золотой глаз» (англ.).

«Окончательное позиционирование» (англ.).

«Признание рекламщика» (англ.).

Попался? Дрочи! (англ.)

Здесь: «Наркотический облом Иоанна Богослова» (англ.).

Просто будь. Келвин Клайн (англ.).

В России всегда существовал разрыв между культурой и цивилизацией. Культуры больше нет. Цивилизации больше нет. Остался только Гар. То, каким тебя видят (англ.). (Игра слов: *gap* — разрыв. *Gap* — сеть универсальных магазинов.)

«Восставший из ада» (англ.).

«Бунт против машин» (англ.) — название американской рок-группы.

«Деньги говорят, пустой базар отдыхает» (англ.).

«Если ты такой умный, покажи мне свои денежки» (англ.).

Неудачник (англ.).

Победитель (англ.).

«Не отставать от Джонсов» (англ.).

Ты всегда возвращаешься к основе (англ.).

Просто делай это (англ.).

«Найковская потогонка № 1567903» (англ.).

«Де Бирс. Бриллианты навсегда» (англ.).

Сделай это сам, засранец (англ).

Верхнелевые (англ.).

Больная моя уточка (англ.).

«Звездный десант» (англ.).

Это грех (англ.).

Санта-Барбара навсегда (англ.).

«На Бога у нас монополия» (англ.).

Бриллианты НЕ навсегда! (англ.)

«Посредник — это послание» (англ.).

И там они томятся в великом отчаянии.

Ибо Господь с поколением праведников! (англ.)

«Среди этой неподвижности и грусти, в эти дни недоверия, быть может, все изменится — как знать? Как знать, что придет на смену тому, во что мы верим, чтобы судить наше прошлое?» (англ.)

Ловец во ржи.

Мы осуждаем в самых сильных терминах
Грязные ногти, дающие приют микробам.

Самоидентификация.

Я не жалею ни о чем (франц.)

Хотела бы я, чтобы это были мозги.

Никаких уловок, никаких манипуляций — это свободная любовь...

Быть там — это все.

Умирай по-умному!

Пропустить историю.